ЙОНАС
АВИЖЮС

ПОТЕРЯННЫЙ КРОВ

Annotation

Йонас Авижюс — один из ведущих писателей Литвы. Читатели знают его творчество по многим книгам, изданным в переводе на русский язык. В издательстве «Советский писатель» выходили книги «Река и берега» (1960), «Деревня на перепутье» (1966), «Потерянный кров» (1974).

«Потерянный кров» — роман о судьбах народных, о том, как литовский народ принял советскую власть и как он отстаивал ее в тяжелые годы Великой Отечественной войны и фашистской оккупации. Автор показывает крах позиции буржуазного национализма, крах философии индивидуализма.

С большой любовью изображены в романе подлинные герои, советские патриоты.

Роман «Потерянный кров» удостоен Ленинской премии 1976 года.

- Йонас Авижюс. Потерянный кров
  - КНИГА ПЕРВАЯ
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвертая
    - Глава пятая
    - Глава шестая
    - Глава седьмая
    - Глава восьмая
    - Глава девятая
    - Глава десятая
  - КНИГА ВТОРАЯ
    - Глава первая
    - Глава вторая

        - Глава третья
        - Глава четвертая
        - Глава пятая
        - Глава шестая
        - Глава седьмая
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30

- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

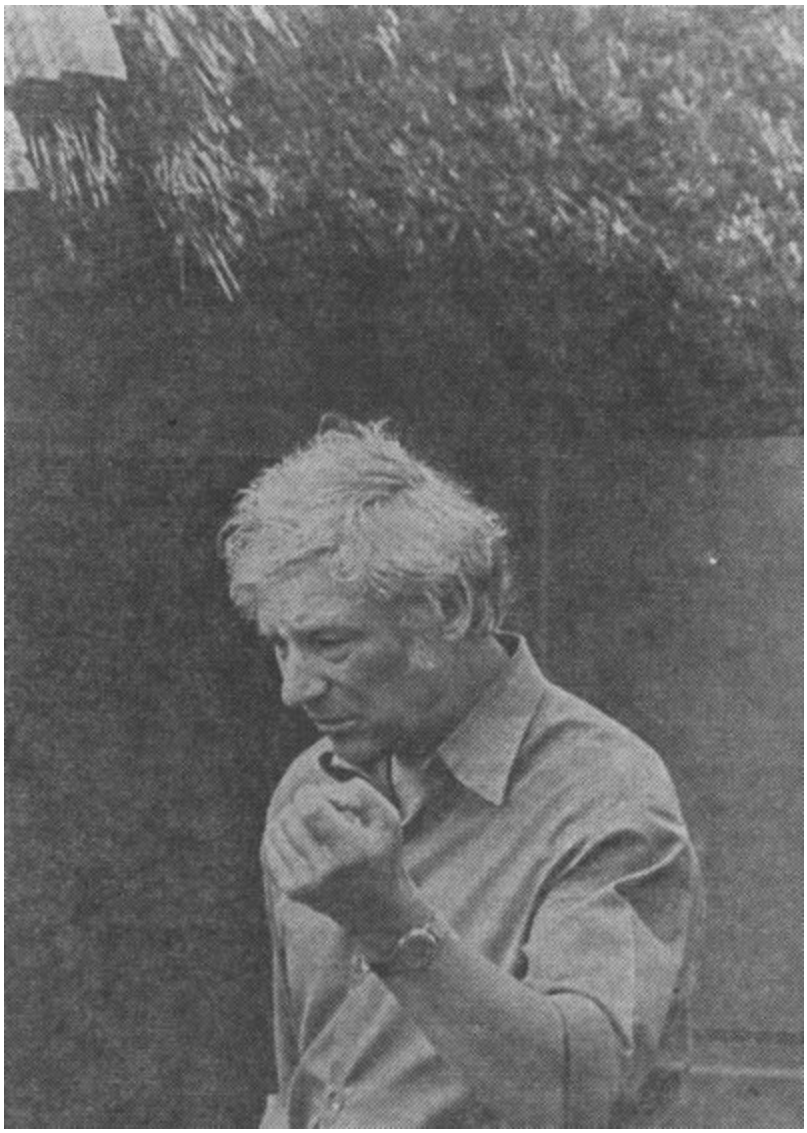
Приятного чтения!

Йонас Авижюс. Потерянный кров

КНИГА ПЕРВАЯ

Веет свежий ветерок
С запада, с востока.
Вей же, ветер, потихоньку,
Спит под кленом паренек.

Литовская народная песня



Глава первая

I

Стояло лето 1941 года, самая середина июля. Желтые поля озимых, отягощенные доспевающим зерном, лениво дремали на солнцепеке. Пахло скошенным лугом и садами, в которых уже созрела вишня-скороспелка и падали в траву, подточенные червем, душистые летние яблоки. По деревенской улице, натужно скрипя, тащился воз с клевером, а потом бойко тарахтел, возвращаясь порожняком, распугивая кур, купающихся в жаркой дорожной пыли, и те, кудахча и шумно хлопая крыльями, перелетали через заборы, через густо обсыпанные ягодами кусты

смородины, в которых белели лохматые головенки маленьких лакомок. Если бы не следы прогремевшей военной грозы у дорог — снарядные ящики, воронка от бомбы, наспех вырытый окопчик или подбитый танк, сейчас облепленный чумазыми ребятишками, — никто бы не поверил, что недавно здесь прокатился фронт и где-то на востоке полыхает война, пожирающая людей и их добро, нажитое за долгие годы.

Сколько таких деревень перевидал Гедиминас, пока, отмахав пешком добрую сотню километров, добрался наконец до своего Краштупенай! Его встретил едкий запах конской мочи и прочих удушливых испарений, присущих городу, где треть жителей держит коров и коз, а в каждом втором дворе деревянный нужник и помойка — рай для бродячих кошек, крыс и мириад мух, которые тучами висят в воздухе, придавая опустевшим улицам неясный звуковой фон. Война едва коснулась города: пострадало несколько домов да разбомбило вокзал. На стенах пестрели приказы оккупационных властей, изредка попадался плакат, воспевающий историческую миссию великого германского народа — уничтожить восточного варвара. И это были не пустые слова — перед трехэтажным зданием комендатуры, украшенным кроваво-красным, с черной свастикой в белом круге флагом третьего рейха, вышагивал вооруженный часовой. Обливаясь потом, он вызывающе подставил грудь и лицо полуденному солнцу, словно презирая его заодно со всем прочим в этом завоеванном краю пигмеев. Кинотеатр зазывал на документальный фильм о победе над Францией. В витринах красовались снимки эпизодов войны: непобедимая Германия шагала по пылающим городам завоеванной страны. Ее приветствовали, ей угодливо улыбались, под ее кованым сапогом стояли на коленях полки

побежденного врага, валялись осквернённые знамена. «Deutschland, Deutschland über alles!»[1]

Неужели занимается эра всемирных завоеваний? Прошлой осенью, когда Гедиминас еще преподавал в гимназии, с этих витрин тоже глядели отважные воины, только другие — в остроконечных суконных шлемах, с пулеметными лентами крест-накрест. «Да здравствует мировая революция!» Неужели отдельные нации и впрямь отжили свой век и нам, малым сим, суждено растаять в массе многочисленных? Бедный большой поэт маленького народа! Как жестоко он ошибался, вещая своим вымирающим соплеменникам:

> Здесь Витаутас славный записан в скрижали
> за Грюнвальд, где он крестоносцев разбил;
> здесь наши отцы за свободу сражались,
> здесь дом наш вовеки пребудет, как был.
> Витаутас за Вильнюс дрался, не жалея жизни.
> Здесь и быть Литве навеки, дорогой отчизне![2]

Гедиминасу бы радоваться при виде родных мест: знакомые, встреченные в пути, сказали ему, что фронт не задел Лауксодиса, отец жив и с нетерпением ждет его; судьба брата Миколаса, правда, не известна, но надо надеяться, что он догадался вовремя удрать из полка и в один прекрасный день явится домой. Свершилось то, из-за чего он не спал ночей, дожидаясь часа, когда можно будет без опаски ходить по родной земле, которая день ото дня становилась все более чужой и все менее надежной. Однако он не испытывал радости. Три недели назад заплакал, когда оркестр грянул национальный гимн и желто-зелено-красное полотнище торжественно поползло вверх по флагштоку, а теперь без волнения, пожалуй даже равнодушно, смотрел на трехцветный флаг на здании

городского самоуправления, словно это была просто тряпка. Противно было даже вспомнить свою дурацкую сентиментальность (хотя тогда, в далеком жемайтийском городке, не он один пустил слезу), и Гедиминас принялся думать о бокале холодного пива из погребка Фридмана — хорошо бы утолить жажду! Но на месте пивной высилась груда закоптелых развалин. (Минуту назад Гедиминас миновал самый роскошный ресторан в Краштупенай, — увы, на двери красовалась табличка с предупреждением: «Nur für Deutsche»[3].)

Его чуть не стошнило, и сама мысль о пиве стала противна, — подсунь кто-нибудь сейчас кружку, он его к черту пошлет. И тогда он вспомнил про колодец. В Краштупенай было много колодцев, он мог зайти в любой двор и напиться прохладной, чистой воды, но у него перед глазами стоял тот колодец. Они (тогда он учился в гимназии, в первом или втором классе) откидывали с круглого цементного сруба тяжеленную обомшелую крышку и, столпившись вокруг, глядели в прохладную глубину, в которой отражался кружок неба, обрамленный их головами. И страшно, и адски приятно было от мысли, что ты можешь сорваться и навеки исчезнуть в холодной бездне, но этого не случится, потому что тебя оберегает добрый, верный сруб.

Теперь крышка колодца на замке, даже ведро снято с цепи — летние каникулы... На пустынной площадке одиноко высятся белые баскетбольные щиты, столбы для волейбола, торчат параллельные брусья... Неказистое здание гимназии — двухэтажная кирпичная коробка под красной черепичной крышей — выглядит осиротевшим и одиноким; трудно себе представить, что три месяца назад (всего три месяца!) тебя выставили отсюда, и ты, до полуночи блуждая по кривым улочкам предместья, размышлял — справедливо ли наказывать человека за то, что он любит прошлое своего народа.

Занятно было бы встретить директора гимназии и посмотреть ему в глаза. Или Баукуса, учителя математики. Ничтожества... Не виноваты, но ничтожества. Трудно будет работать с ними, если придется.

Гедиминас, помрачнев, зашагал дальше. Мимо брели три еврея — муж с женой и мальчик-подросток. Гедиминас поздоровался — это была семья купца Бергмана.

Ему ответили запуганными взглядами, робкими поклонами. Господин учитель! Ой, он хороший человек, этот господин учитель... Но... Когда ты, заклейменный звездой Давида, тащишься по мостовой, словно извозчичья кляча, а ему принадлежат все тротуары, удобней ведь не замечать друг друга...

По тротуару, едва не задев Гедиминаса, промчалась велосипедистка. Ослепительно белая блузка, за спиной толстые черные косы. Две свежевспаханные борозды чернозема на заснеженном поле. Аквиле! Боже мой, как тесен мир!

Гедиминас прислонился к забору, чтоб не упасть. Обнаженные бронзовые руки, длинная, стройная шея, голубые туфли. Она любит контрасты...

Несколько мгновений Гедиминас смотрел ей вслед, потом оторвался от забора и, пошатываясь, побежал вдогонку.

Аквиле, сойдя с велосипеда, шла по мостовой вместе с Бергманами. Он представил себе ее угловатое, не очень-то красивое, но милое, открытое лицо, серые, с оттенком синьки глаза, чуть асимметричную улыбку. Она всегда так улыбалась, когда Гедиминас намекал ей на свои чувства, и он всякий раз понимал, что его надежды совершенно напрасны.

Он остановился в нерешительности. Ни к чему все это, совершенно ни к чему. Она же наверняка его узнала, и все-таки... Нет, не будет он навязываться!

Ослепительно белая блузка и три желтые шестиугольные звезды поднимались по улице в гору. На солнце сверкали никелированные спицы велосипеда и шпильки (а может, гребень?) в волосах. Гедиминас тащился следом, и то жаждал, чтобы она обернулась, то боялся этого. Когда четверо вышли на базарную площадь, Гедиминас снова пустился бегом. «Глупо... глупо... глупо...» — шептал он и все-таки бежал. У костела выскочил на рыночную площадь и в изумлении открыл рот: Бергманы исчезли, словно их поглотила земля, а девушка в ослепительно белой блузке стояла у двери лавки, поставив ногу на педаль велосипеда, и разговаривала с каким-то мужчиной.

Гедиминас мысленно выругался. Спятил он, что ли, — в каждой женщине с черными косами ему мерещится Аквиле...

Из двора волостного управления вышел человек в форме. Полицейский. Гедиминас вытащил несвежий платок и, нарочно став посреди тротуара, принялся вытирать вспотевшее лицо. Ничего! Такие господа могут и обойти его.

Полицейский вышагивал прямо на него, решив не ронять авторитета представителя власти. Сурово насупил лоб, поднял было руку к фуражке, но вдруг обмяк, замигал крохотными карими глазками, лицо расплылось в улыбке.

— Гедмис! Кого я вижу! — воскликнул он, широко раскрывая объятия. — Ты ли это, несчастный беглец? Ну и ну!

Гедиминас удивленно попятился. Перед ним стоял брат Аквиле — Адомас Вайнорас, с которым они родились и выросли в одной деревне, ходили в одну гимназию и водились с малолетства, хотя в последние годы и раздружились. Гедиминас смотрел на рослого, плечистого приятеля (Адомас был выше его на голову) и не знал, плакать ему или смеяться. Он мог себе

представить Адомаса кем угодно — крестьянином, почтальоном, волостным писарем — только не полицейским!..

Вот не думал, что сделаешь такую карьеру! — подивился он, когда они, вдоволь наобнимавшись, принялись испытующие осматривать друг друга. — Полицейские погоны, фуражка... Что ты за птица, разрази тебя гром?

Адомас добродушно расхохотался.

Перед вами начальник полицейского участка Краштупенайской волости, господин учитель.

— Поздравляю, поздравляю... — Гедиминас нагнулся за оброненным платком. Потом медленно и долго выпрямлялся, — невидимый груз давил на плечи.

— Я чертовски счастлив, что ты вернулся, Гедмис. Потопали в «Три богатыря», к братьям Моркайтисам? Расскажешь, куда тебя занесло, где прятался и что свершил. Ну! — Адомас повернул Гедиминаса за плечи и легонько столкнул с тротуара. — Прямо, без оглядки, шаго-ом марш!

Гедиминас подумал: «Хорошо бы еще сегодня оказаться в Лауксодисе, и, разумеется, трезвым. Но как ни верти, мы приятели и друг друга скорее любим, чем ненавидим. Почему бы не забыть все распри и не порадоваться, что опять встретились, — ведь могло быть и иначе...»

— Ладно, — сказал он. — Только давай не напиваться. А то под градусом мы непременно ссоримся.

— Напьемся, в обязательном порядке напьемся, лапочка! Все будет, как положено у добрых приятелей. Тебя ждут отменные новости, Гедмис. Вообще здесь весьма интересуются вашей персоной, господин учитель. Не бойся, с хорошей стороны. Но об этом потом. Изволь дать объяснения: какого черта

дезертировал из Краштупенай? Кого благодарить за то, что сегодня обмоем твое возвращение?

II

В тот вечер вся семья сидела за ужином или уже отужинала, когда в избу ввалилась батрачка Гульбинасов Мигла-Дарата, которую в деревне звали Мигратой, и, захлебываясь слезами, сообщила, что забрали господ.

Бабушка Бригита лежала на кровати, разбухшая, как гора. Ей было семьдесят пять, второе лето она была прикована к постели, ела за двоих и никак не могла умереть. А у ее внучки, Анеле Гульбинене, вся жизнь впереди. Боже, боже, как ты иногда жесток и несправедлив…

Мать, которую тоже звали Анеле, перекрестилась, услышав страшную новость, привстала со стула и тут же упала без чувств. Ее отнесли на кровать, привели в сознание, но до рассвета весь дом не сомкнул глаз.

Рано утром Гедиминас уехал в Краштупенай. На железнодорожной станции, на запасном пути, стояли выцветшие товарные вагоны, предназначенные для перевозки скота. У каждого расхаживало по солдату в красно-голубой фуражке, с карабином в руках.

Гедиминас хотел отыскать вагон, куда запихнули Гульбинасов, — надеялся, что позволят увидеться с сестрой и шурином, — но солдаты отгоняли каждого, кто приближался к составу.

По дороге домой он думал, как странно оборачивается иногда судьба человека. Надо было Анеле выйти не за Гульбинаса, а за Анзельмаса Лукошюса, который увивался вокруг нее, вот и не сидела бы в вагоне. Не сидел бы и Гульбинас, если б когда-то, спасаясь от нужды (в семье было восемь

детей, а земли четыре гектара), не уехал в Америку, не сколотил там капиталец и, вернувшись на родину, не женился бы на молодой помещичьей вдове Гурскене, которая умерла через несколько лет. Анеле хотела быть барыней — это ее и погубило. «На тридцать лет старше? Велика печаль! Говорят же: вольготней под золотой бородой старика, чем под пеньковым кнутом молокососа». Анзельмас Лукошюс остался один со своим пеньковым кнутом. Но он тоже мог бы позолотить свою бороденку, если бы судьбе не было угодно пошутить над ним. Но Анзельмас больше любил веселые пирушки с картами да кувшином пива, чем свое хозяйство, где гнули спину трое батраков. В тридцать восьмом его хозяйство пустили с торгов, а через два года пришла советская власть. Анзельмас митинговал, взобравшись на бочку на рыночной площади, грозил кулаком классу эксплуататоров: «Обидели, сволочи! Настал для вас час расплаты. Кто был ничем, тот станет всем!» Анзельмасу отрезали кусок от его бывших владений. Новосел. Правда, куда там до прежних сорока гектаров, но как-никак не придется канавы копать… до поры до времени…

Еще не завернув во двор, Гедиминас почувствовал, что дома что-то стряслось.

Отец стоял на крыльце, белый, как стена. Из открытой двери избы веяло холодом остывшего очага и горелым воском.

— Поезжай обратно, — глухо сказал отец, переминаясь босиком с ноги на ногу. — Гроб нужен… колокола закажи… Нет у нас больше матери, сын мой…

Вечером на поминки собралось много народу. Пиво только-только начали варить — ведь не готовились к смерти-то! — но и без него певчие тянули от души: Анеле Джюгене была женщина работящая, уживчивая, умница, в деревне ее любили и уважали. Гедиминас глядел на ее обмотанные черными четками,

некрасивые, узловатые руки, сложенные на груди, вспоминал свое детство, когда мать была молодой и красивой и пальцы у нее были гладкие, не искривленные ревматизмом, и ему хотелось подойти, положить голову на холодную грудь и вволю выплакаться.

За полночь, когда начали петь «Холмы», сосед шепнул Гедиминасу, чтобы тот вышел во двор.

У изгороди в сумеречном лунном свете стоял отец. Зеленоватое июньское небо казалось теплым и мягким, как опушка леса, наводненная подснежниками. Пахло свежестью полей, цветущим клевером, и красота в который раз воскресшей природы, неизбывная ее живучесть так не вязались с унылой, похоронной песней, что несколько мгновений Гедиминасу все казалось бредом.

— Зря не бежал с Адомасом прошлой ночью, — сказал отец. — Был человек из Краштупенай. Заберут всех, кто служил при старой власти. Надо и тебе где-нибудь схорониться, пока не начнется война.

— По-твоему, я мог бросить умирающую мать?

— Мертвым могут помочь только мертвые, а живым надобно печься о себе. — Взгляд отца был жестким и ясным, как первый ледок, осунувшееся лицо — на диво спокойным, но Гедиминас знал, что под деланным бесстрастием клокочет огонь.

— Хорошо, отец. Но давай повременим. Когда все разойдутся, вместе посидим возле мамы.

На заре Гедиминас закрыл за собой калитку родного хутора, не зная даже, суждено ли ему вернуться. Он шел без оглядки, почти бежал, чувствуя на губах мраморный холод материнского лба, а на плечах жесткие руки отца, которые редко бывали ласковыми, но всегда справедливыми. Он не знал, ни где устроится, ни что предпримет, — одна мысль гнала вперед, словно кнут погонщика, заглушая все: быстрей, быстрей

отсюда, пока не потянуло вернуться! Когда он наконец посмел оглянуться, хутор уже слился с деревней в одну туманную полоску на горизонте; лишь острый шпилек часовни, вонзенный в светлеющее утреннее небо, помечал место, где остался родной дом.

Только под вечер Гедиминасу стало ясно, куда он идет. Где-то неподалеку был железнодорожный полустанок. Чем тащиться по укромным проселкам, можно сесть в поезд и через несколько часов оказаться в Шилай. Никому и в голову не придет искать его там, а тетя особенно не удивится — он же не одобрял отцовское отношение к ней. И Гедиминасу не нравилось, что Юргела был заражен большевизмом, исповедовал чуждые ему идеи, — с такими Гедиминас не общался, даже удивлялся, что тетя Петроне могла полюбить такого, — но когда она овдовела, можно бы все простить. Однако отец был непреклонен, он твердил, что Петроне стала такой же, как покойный муж, и детей вырастит такими же — безбожниками, людьми без родины и веры. Отец не ошибся — Гедиминас понял это, едва переступил порог теткиного дома. Во всем домике в три комнаты ничто не напоминало, что здесь живет человек, воспитанный в традициях семьи Джюгасов. Вместо изображений древних литовских князей или святых образов на стенах висели портреты Ленина, Сталина и десяток цветных репродукций со сценами гражданской войны у русских. Обе дочки тети Петроне записались в пионеры, а сын Саулюс был комсомольцем. К Гедиминасу все отнеслись как к родному — приветливо, с уважением, — но он все равно чувствовал, что попал в чужой мир, который сам не любит, а только терпит и в котором его тоже не любят, а только терпят, и чем быстрее он уедет, тем легче будет для всех.

Городок Шилай немцы заняли на второй день войны. Саулюс хотел уйти с комсомольцами, но Гедиминас с

теткой связали его и заперли в комнате. Немцы — культурные и благородные воины, твердил Гедиминас. Они сражаются с мужчинами, а не с женщинами и детьми. Саулюсу всего шестнадцать лет, ему надо расти, а не удирать в чужую страну, на верную гибель.

Петроне была обыкновенной матерью, не героиней, ее любовь к ребенку оказалась сильнее рассудка. И правда ведь! Саулюс такой добрый, привязчивый мальчик, он никому не сделал плохого. Огонь войны не разбирает правых и виноватых, раздавит, как букашку, а тут, хоть при немцах, всяко еще может обернуться. Неужто они людоеды?

— Теперь уж лучше меня убейте, — сказал Саулюс, когда его развязали.

Мимо летели бронемашины с немецкими солдатами, в окнах дребезжали стекла.

В тот же день в дом ввалились три вооруженных подростка с белыми повязками на рукавах. Они увели Саулюса.

— Господи, господи, что я натворила! — рыдала тетя Петроне.

III

— Я погнался за ними — надо же спасать мальчика. Ну, виноват, что греха таить — митинговал, сеял раздор между братьями литовцами, загадил родное гнездо, — но зачем сразу к стенке? Такого выпорешь, и образумится. И знаешь, Адомас, что они ответили? Сказали, что сейчас мне зубы пересчитают. А когда я пришел на следующий день и снова начал убеждать этих господ, что они недостойно себя ведут, мне посоветовали больше не соваться, если не хочу очутиться в одной компании с евреями и комсомольцами. Несколько дней спустя начальник

полиции организовал «шествие позора»: арестованные несли большевистские лозунги и портреты вождей, плевали в портреты и вопили: «Да здравствует новая Европа! Смерть азиатским палачам!» Тех, кто оказался покладистее, после демонстрации распустили по домам, но Саулюс с двумя-тремя такими же фанатиками рванул «Интернационал», их снова заперли в синагоге, а вечером расстреляли. Мне пришлось остаться в Шилай еще на неделю — боялся, что тетя Петроне покончит с собой. Этот дом мне никогда не простит Саулюса, Адомас.

Гедиминас замолк. Из зала доносился смутный гул голосов захмелевших посетителей и развеселое пиликанье скрипки. В отдельном кабинете, в котором сидели они с Адомасом, было прохладно, в распахнутое окно из сада веял свежий ветерок, легко шевеля редкую полотняную занавеску. Где-то по соседству гремело радио, голосили дети, бойко громыхали по мостовой колеса крестьянской телеги. Гедиминас осовело глядел на бутылку — водка в ней опустилась ниже этикетки — и чувствовал приятную истому во всем теле. «Человек куда-то стремится, чего-то добивается. А верх блаженства — сидеть вот так за бутылочкой, жевать фаршированного поросенка и ни о чем не думать».

— Стало быть, твоя патриотическая деятельность закончилась провалом — не удалось спасти комсомольца? — съехидничал Адомас.

— А ты? Много их уложил? — в тон приятелю спросил Гедиминас, не поднимая глаз.

— Знаешь, я ведь мог ухлопать Красного Марюса. — Адомас ухмыльнулся. — Ехал на велосипеде, за ним два таких же типа. Я стоял в березняке, когда они чесали мимо. Мог уложить всю троицу. Не знаю, почему этого не сделал, лапочка. Наверное, из-за Аквиле. А может,

потому, что мне лично противно стрелять человеку в спину, да еще своему, литовцу.

— Удивительно!

— Что же?

— Что такие добряки, как ты, руководят полицией и стоят на страже бандитского закона, по которому люди должны ходить по мостовой, как скотина.

— Мы договорились не цапаться, лапочка. — Адомас поднял рюмку, кивнул Гедиминасу, они чокнулись и выпили.

Ах, Элит, ты хороша,
чудо-ножки у тебя, —

страстно завывал по радио тенор.

— Шабаняускас. Когда его слушаешь, можно пить чай без сахара. Не люблю патоки, зато все бабы влюблены в него по уши.

— Мне он тоже не нравится. Да будет об этом. Лучше расскажи, как тут прошел фронт.

— Длинный разговор, лапочка. В воскресенье люди примчались из города, не дождавшись обедни, — война. А в четверг утром немцы уже были в Лауксодисе. Мы ревмя ревели от радости, как последние бабы, Гедмис… Думали, русские воевать умеют, постоят за себя. Где уж там! К Нямунисам зашел взвод напиться, наши ребята пустили несколько очередей от хлева, и солдатики попрятались в рожь. Армия Гитлера чисто поработала, нам осталось только навести порядок. За освободителей, Гедмис!

— История не знает случая, чтоб один народ просто так, но доброте сердечной, освободил другой народ. — Гедиминас оттолкнул свою рюмку. Энтузиазм Адомаса раздражал его.

— Тебе не пристало так говорить, Гедмис. Если б не немцы, недолго бы просидел под тетушкиной юбкой.

— Теперь другие сидят. Такие же литовцы, как мы с тобой. Вчера мы убивали друг друга из-за одних, сегодня — из-за других. И те и эти уверяют, что освободили Литву, а результат? Еще несколько таких освобождений — и не останется литовцев.

— Мне надоело болтать про политику, господин учитель. — Адомас выпил и, не закусив, продолжал говорить. Он явно был раздражен. — Я глупее тебя, меньше учился, но одно мне ясно как день: когда тебе хотят вогнать нож в сердце, надо защищаться всеми способами, чтобы остаться в живых. Может быть, немцы не лучше русских, но лучше шайки Марюса, которая продавала нас русским.

— А теперь нас продают немцам. Давно ли все собаки брехали про независимость, а где она? Господин Амбразявичюс со своим кабинетом — липовые министры; они не правят, а только переводят на литовский язык приказы оккупантов.

— Всему свой час. Пускай Гитлер сперва управится со Сталиным. Как ни верти, Грюнвальд — седая старина, да и больше основания доверять потомкам рыцарей, чем диким азиатам, лапочка. С Западом наш народ сражался, а у Востока был в рабстве. Я предпочитаю рыцаря тирану.

— А я не верю ни в тех, ни в других. Если можно в наше время во что-то верить, то только в самого себя.

— Ты хотел сказать: в свою нацию, в литовцев? Конечно, Гедмис! Сейчас это важнее всего.

— Не в свою нацию, а в себя! Литовцы уже доказали, что не способны работать самостоятельно. Работящая, добросовестная скотина, хорошее стадо, но оно нуждается в чужих пастухах, которые знай щелкают кнутом. Вскоре мы сможем сказать о них словами одного нашего поэта, — несколько лет назад, когда его

попросили написать автобиографию, он сказал: «Автобиографию? Зачем? Литовцы вымерли, а язык, на котором я хотел бы писать, давно забыт». Верить в твоих литовцев, в этих послушных рабов, — значит быть в ответе за них, а я не хочу отвечать за все стадо, хотя и числюсь в нем. Всех нас гонят в хлев, но можно войти туда в разные двери. Я хочу хоть дверь выбрать!

Адомас оттолкнулся вместе со стулом от стола и молча буравил Гедиминаса покрасневшими глазками. Пухлое, свежевыбритое лицо горело и блестело, словно полированное.

— Что с тобой стало, Гедмис? — тихо спросил он, скорее с огорчением, чем удивляясь.

— То же, что и со многими, — например, с тобой. Ты просто не осознал еще, что случилось. Через год, а то и раньше, когда все станет на свои места, ты поймешь меня.

— Солидные люди делают тебе царское предложение — можешь занять пост бургомистра в Краштупенай. Но ведь господин учитель усовершенствовался на тетушкиных большевистских курсах... Такой пост, наверно, покажется ему слишком мизерным?

— Ты прав: господин учитель — безнадежно испорченный человек. Потом — у него нет заслуг…

— Вы неблагодарная свинья, господин Джюгас. — Адомас встал, выпил две рюмки подряд и снова развалился на стуле.

Гедиминас, опустив большую лохматую голову, выводил пальцем на столе вензеля. Крупный, как бы приклеенный нос, широкие скулы, челюсть выступает вперед. На толстых губах ядовитая усмешка. Ну и рожа — как у мартышки!

— Чего ухмыляешься? Хочешь, чтоб тебе положили на тарелку готовую котлетку? Должен ведь кто-то вычистить большевистский навоз, черт подери! —

Адомас трахнул кулаком по столу, даже посуда подскочила. — Вы, господин учитель, один из тех иезуитов, которые говорят: почему непременно я, пускай другие!

— Так и думал, что поцапаемся. — Гедиминас поставил упавшую рюмку, хотел себе налить, но бутылка оказалась пустой.

— Эй, водки! — взревел Адомас.

В дверях появился полутораметровый человечек с увядшим личиком, похожим на печеное яблоко, — один из трех братьев Моркайтисов, которым принадлежал ресторан.

— Если хочешь еще пить, оставим в покое политику, — предложил Гедиминас, когда Моркайтис исчез за дверью.

— Ладно уж, не будем, — миролюбиво ответил Адомас, неожиданно успокоившись. — Помнишь Пятраса Бредиса? С которым в одном классе учились? Славный был парень. Когда немцы пришли, спал на сеновале. Услышал выстрелы, с перепугу выскочил во двор и схлопотал пулю в лоб.

— Несчастная случайность.

— Краштупенайского настоятеля Раугиса тоже нет в живых — красные пристрелили.

— Вечная память…

— А твою бабушку Бригиту, — наверно, уже знаешь? — похоронили на второй день войны.

— Да… Бедная бабушка…

— Старый человек, ничего не попишешь. От смерти не уйдешь. Твоего брата Миколаса, вот кого жалко, лапочка.

— Да… Но я почему-то верю, что он объявится…

— Должен бы. Неглупый парень был, хотя с армией сплоховал: мог ведь не явиться осенью по повестке, пересидеть…

Вернулся Моркайтис с графином водки и двумя кружками пива.

Адомас наполнил рюмки.

— Выпьем за упокой души, Гедмис. За твою маму, бабушку, Бредиса, ксендза Раугиса. — Они встали и, чокнувшись, торжественно выпили. — Маленькая наша Литва, а крови пролито много. И сколько еще прольется! Выпьем за тех, кто ждет своей очереди. За будущих мертвецов, Гедмис! За себя! — по щекам Адомаса катились пьяные слезы.

— Да перестань!

— Да, мы дрянь, Гедмис. Все дрянь! Себе кажемся хорошими, а другие знают — дрянь!

— Я не то говорил.

— Погоди! — Адомас нетерпеливо махнул рукой. Под пропотевшей рубашкой тяжело вздымалась грудь. — Мы не можем быть другими: в мире все так устроено, что, делая добро одному, обязательно причинишь вред другому. Скажем, ты занимаешь ответственный пост, ты патриот. Семья тоже что надо. Приходит к тебе сестра, брат или другой черт из родни и говорит: «У нас на сеновале лежит тяжело раненный русский солдат, помоги!» Вот дела-то какие, черт подери! — Адомас скрипнул зубами. — Ты должен вовлечь в эту аферу знакомого врача, честного семьянина, поставить на карту всю его семью, или выдать родных, или... Ха-ха-ха! Но ты же мудрец, господин учитель! Соломон! Может, скажешь, как в таком случае разделить ребенка?

Гедиминас пристально вглядывался в Адомаса. Тот все еще жутковато хохотал.

— Я считаю, что ребенка уже разделили. — Гедиминасу стало грустно и жалко чего-то. — Мы еще не поднимали бокалов за откровенность, Адомас. («И еще за одного мертвеца или умирающего — за нашу

дружбу».) Выпьем за все, что было прекрасного между друзьями, за все то, чему, наверно, больше не бывать.

— Цицерон, — буркнул Адомас.

Гедиминас перегнулся через спинку стула, на которой висел пиджак, вынул из кармана неначатую пачку сигарет и закурил. Впервые за две недели с того дня, когда решил бросить курить. В комнату хлынула дурманящая музыка, и он в обманчивом успокоении поплыл по ее теплым волнам.

«Почему я не спрашиваю об Аквиле? Нет, нет, не надо. Здесь так грязно, кругом пыль. На столе, на полу, на одежде. Грязь! Сальные руки, подбородки, глаза, потные рубашки. Грязь и жир! А у нее такая белая блузка, она пахнет дождевой водой...»

Явись хоть на мгновенье легким ветром
В мое забытое бытие.

Глава вторая

1

Дома стояли угрюмые, безмолвные, с траурно занавешенными окнами, иные отгородились от мира ставнями и запертыми воротами — и все были на одно лицо: не скажешь, кто на самом деле несчастен, кто только прикидывается, со злорадством глядя из-за шторы на ненавистные рожи и радуясь, что уже приготовил букет для освободителей.

У ограды костела Аквиле увидела взорванный военный грузовик: кто-то швырнул с колокольни костела связку гранат. Раненых увезли, а изуродованные, изорванные на куски трупы все еще грузили на телегу развозчика товаров. Двое с красными

повязками на рукавах вели по мостовой седовласого ксендза. Раугис! Аквиле хотела сказать ему: «Слава Иисусу Христу», но один из парней был приятелем Марюса, и она постеснялась.

— Что он сделал? — только спросила она.

Безмолвный взмах руки в сторону взорванного грузовика: на раскаленном солнцем булыжнике жирно поблескивала еще не засохшая кровь.

Окна в здании исполкома были выбиты — неподалеку упала бомба. Едко пахло гарью. Из открытых настежь дверей и глазниц окон ветер выметал клочья горелой бумаги; они летели на улицу, опускаясь на захламленную, развороченную танками мостовую.

Марюс с друзьями грузил на машину какие-то ящики. Все были без пиджаков, потные, чумазые. Здесь же пирамидой стояли три винтовки. Задний карман брюк Марюса топорщился от револьвера.

— Вот и я! — сказала она, словно пришла на свидание.

Марюс долго заталкивал ящик в кузов. Гораздо дольше, чем требовалось. Грязная ковбойка раздувалась, словно кузнечные мехи. А может, это не его спина?

— Вот и я, Марюс, — повторила она без прежней уверенности.

Мужчины уставились на ее узелок. Она не заметила этих взглядов, просто узелок стал тяжелее. «Не стоило вчера говорить, что жду ребенка». Ей стало страшно.

— Я хотела увидеть товарища Нямуниса, — растерянно пробормотала она.

Он медленно обернулся. Лицо было мятое, некрасивое, по-детски надутые губы дрожали.

— Ты? — удивился он, не скрывая своего недовольства. — А не лучше ли в такое время женщинам сидеть дома?

— Мой дом — где ты, Марюс.

— Вчера ведь договорились… Должна бы понять… Война не воскресная прогулка на велосипеде.

— Ты же вчера сам говорил… Красная Армия непобедима, отшвырнет немцев… мы скоро вернемся…

— Ну конечно. Вот и будь умницей, сиди дома и жди.

— Ждать? — Глянула на Марюса: на его хмуром лице было написано бесповоротное решение. — Ты хочешь от меня избавиться… Удобный случай, чтоб меня бросить… Нет, нет! — Она кинулась к нему и повисла на шее. — Я не останусь, я не могу остаться одна!

— Аквиле… Девочка… моя девочка… Ну будь умницей… — Он гладил ее плечи, бормоча одни и те же слова, а потом схватил за запястья и стал отталкивать прочь. Никогда еще его руки не были такими безжалостными и жестокими.

Она заплакала, хватка ослабела, и она снова бросилась ему на грудь.

Кто-то из парней нетерпеливо кашлянул, кто-то демонстративно сплюнул — люди-то ждут. Ждут три винтовки, недогруженная полуторка. Каждого кто-то ждет дома. Только немцы не ждут. Дымное небо грохочет, как военный барабан. Идет гроза! Идет гроза!

— Очухайся, председатель, хватит! Может, эту кулачку контры нарочно подослали? Пока вы тут будете тискаться, ее дружки нам засаду устроят.

Словно гранату бросили между ними. Она выскользнула из объятий Марюса и убежала; он некоторое время еще обнимал пустоту. Долговязый, кривошеий милиционер осклабился. Она не видела, из чьего рта вылетели эти слова, но была уверена, что так сказать мог только этот кривошеий верзила с рыбьими глазами.

Лишь где-то за базарной площадью она заметила, что узелка нет. «Там лучшее мое платье и белье.

Кривошеий, конечно, отдаст их своей девке… Хотя нет! Я же кулачка, от меня можно заразиться. Они сожгут эту одежду или закопают в землю». И она рассмеялась, хотя ничего веселого в этих мыслях не было. Не заметила, когда кончилась мостовая, но вот впереди открылась зеленая панорама полей, в лицо ударил прохладный запах цветущего клевера, в груди вдруг что-то оборвалось, и она снова заплакала.

Так она шла по тропинке за канавой, утопая в облаках пыли, которую поднимали мужицкие телеги и военные грузовики с ранеными, в душе была пустота, — перед глазами стоял взбешенный бык, тот самый, который хотел поддеть ее рогами, когда ей шел четвертый или пятый год. Отец заколол быка косой, и все сокрушались, что потеряли чистокровного производителя; бык был редкой породы, все долго его поминали, а ведь не было бы этих разговоров (во всяком случае, Аквиле не слышала бы их), если бы он успел сорвать свое бешенство на ее красном платьице, подняв Аквиле на рога.

Потом она подошла к деревянному мосту через Сраую — неширокую речушку с необычайно чистой водой — и в ней тоже увидела быка. Она вошла в воду и долго споласкивала распухшее от слез лицо, а песок всплывал из-под ступней; она смотрела на белесые подводные облачка, которые смывало течение, едва они поднимались, и видела на дне реки быка, выставившего отточенные рога, его налитые кровью глаза — два огнемета. Неподалеку двое парней косили сено. Она уже вытерла лицо и теперь мыла ноги, выше колен задрав платье. Парни смотрели на нее с жадным любопытством, но она ведь была маленькая девочка в красном платьице, и ей ничуть не было стыдно. И бык на дне реки пропал. Золотистый песок расцветал, как в разгар лета, а Марюс шел через белесое поле, теплый южный ветер теребил его белокурые волосы, падающие

прядями на широкий лоб, глубокие темные глаза сверкали. Черная Культя косил яровые, которые посеял не он; его жена с оравой детей хозяйничала в чужой горнице.

— Как жизнь, папаша?

Отец хлебал за столом холодный борщ с картошкой.

— Ничего, живем помаленьку, председатель… Хотел бы пожаловаться, да кто утешит? Оставили ведь тридцать гектаров, согласно закону…

— Живем! — вскочила мать. — Он и под землей жить будет, бараний лоб, ты его не слушай, господин Нямунис!

— Товарищ Нямунис, — вежливо поправил Марюс. — Мы-то господами никогда и нигде не были, гражданка Вайнорене.

— Может, и не были, а сегодня нет господ злее вас! Землю отобрали, в горницу голодранцев напустили. Посмотри, какие у нас руки: это мы-то господа? Надрываемся от зари до зари, хуже батраков — босые, оборванные, потные. Бандиты, грабители, вот кто вы, гос-по-дин Нямунис.

— Мать, э-э… потише… — закряхтел отец.

— Не суйся не в свое дело! На чужое добро голяком пришел, тебе хорошо болтать. А ты, господин Нямунис, не думай, что уж и делу конец и ваше слово последнее. Ни одна обида на земле не остается без возмездия. Настанет время, умоетесь вы нашими слезами. — И как пошла, как пошла, полную избу набила «разбойниками» да «головорезами».

Марюс ходил по избе, терпеливо ждал, пока она выкричится. А Аквиле стало стыдно. Словно она впервые увидела, какая грубая деревенская баба ее мать.

— Мы не бессердечные, мамаша, понимаем ваше недовольствие, — сказал Марюс, когда она выдохлась. — Пожалуйста, посоветуйте, как сделать,

чтоб и Черная Культя перестал быть голодранцем, как вы его назвали, и вас не обидеть? Советская власть хочет хорошей жизни для всех. Вот мы и берем от тех, у кого многовато, и даем тем, у кого ничего нет. Вы же верующая женщина, знаете, что Христос велел делиться с бедняком последним куском хлеба, а эти десять гектаров, что получил Культя, не составляют и четверти вашей земли.

— Иуда! Он меня катехизису будет учить, безбожник проклятый! — надрывалась мать, когда Марюс ушел.

Аквиле захотелось рассмеяться и назвать ее Катре Курилкой, — так ее дразнили в деревне, — но сказала только:

— Культурный человек. — А мысленно добавила: «Если б она знала, что мы любим друг друга...»

— Бандит!

— Как ни назови, а законы веры он знает лучше некоторых помазанных христиан. — Она вызывающе хихикнула и вышла во двор, тщетно подавляя растущую ненависть к матери. За деревьями, что росли за гумном, виднелись хлеба, белесые, как песчаное дно речки, и она смотрела вдаль, не видя того, кого хотела увидеть, но твердо веря, что он где-то там и никуда не денется — ведь от судьбы не уйдешь.

II

«Он прошел здесь, — думала она, не в силах оторвать взгляда от песка, размываемого течением. — Я должна догнать, будь что будет, должна его догнать». Белесое дно речки раздалось вширь, пожелтело, как нагретое солнцем поле спелой пшеницы; ей страстно захотелось прижаться к золотистому морю и раствориться в нем, слившись с теплым хлебным духом,

которым дышала плодоносящая земля. «...Будь что будет, должна его догнать...» Сделала шаг, и все вокруг заполнилось странным гулом, словно нога задела язык невидимого колокола, тот ударил по медной громаде, залив пространство звоном, который распался на тысячи хрупких осколков и со страшным грохотом обрушился на землю.

Она очнулась.

Парни больше не пялили на нее глаза. Они смотрели на небо, усеянное черными крестиками. Самолетов было много, они летели в аккуратном строю, как на параде. Тяжелые, неуклюжие. На крыльях передних можно было различить пятиконечные звезды.

— Глянь-ка! — закричал один из парней. — Сбоку немцы!

В небе стали взрываться лиловые облачка. Строй мгновенно распался. Два самолета, волоча черные шлейфы дыма, ушли в разные стороны и исчезли, а третий лопнул, словно детский шар, и на землю посыпались горящие обломки.

— Вот как воюет немец!

— Я-то их не различаю... Где он, где этот твой немец?

— Посветлее, с крестами на крыльях. Неужто не видишь, вон там двое. Ты правей, правей смотри! Нет, трое! А вот и четвертый! Ишь как ныряют, черти, любо смотреть. Ворвались, как ястребы в голубиную стаю, одного за другим сшибают...

— Вижу, уже вижу! Опять одного подпалили! — подивился второй, показывая рукой на подбитый самолет, который, раскачивая крыльями, спланировал по опустевшему небу куда-то за лес и там взорвался, не долетев до земли.

Аквиле выбралась на берег и зашагала дальше по обочине дороги. Земля была податливая и теплая, как спина спящего животного, воздух мутный, насыщенный

пылью, и небо такое же — запыленный абажур из голубого стекла. Рядом тарахтела телега, которую тащила ледащая сивка. В телеге сидел мужик в сермяжном пиджаке и дешевой сорочке в полоску; из расстегнутого на груди ворота торчала рыжая шерсть. Он смотрел на Аквиле, не решаясь заговорить с ней. Она, кажется, чувствовала это, слышала дребезжание колес, фырканье загнанной клячи, но, не поднимая глаз, все шла по теплой спине спящего животного. Ей казалось, что еще она не родилась, а рядом уже тарахтела телега и фыркала дряхлая сивка, что она умрет, а рядом все будет громыхать вечная ее спутница — телега, заставляя глотать удушливую пыль бесконечных дорог. Потом услышала свое имя, с удивлением посмотрела туда — как в пропасть, где прогремел обвал, — и остановилась. Сивка тоже остановилась, колеса перестали тарахтеть.

— Садись, может, до дому подвезу, — сказал Пеликсас Кяршис, потея от страха, что она откажется.

Впереди, в десятке метров от лошадиной морды, дорогу пересекала узкоколейка. По полотну, далеко отстав друг от друга, шли трое солдат. Они были молоденькие, почти дети. Без оружия, без вещмешков, один даже без пилотки и ремня. У полотна женщина доила корову. Солдатик в гимнастерке навыпуск подошел к женщине и, упав на колени, долго пил из ведра молоко. Потом подоспел второй, за ним третий, и каждый опускался на колени и пил из ведра парное молоко. Женщина стояла, опустив тяжелые руки крестьянки, и печально качала головой в цветастом платке: у нее тоже были дети.

«Увидят ли они своих матерей, бедняги?»

«Они идут домой, — подумала Аквиле. — Все идут домой, у кого есть дом. Один Марюс ищет дом на чужбине».

Она перескочила через канаву и протянула Кяршису вялую, холодную руку.

— Спасибо, если подвезешь. Очень уж печет…

— Сенокос что надо, — проговорил он.

— Да, да…

— И-эх, кабы не война… — Кяршис добавил еще что-то, но она не ответила, и он тоже замолчал.

Аквиле сидела в телеге, ссутулившись, чувствуя рядом робкое сильное плечо; ей было хорошо, что Кяршис не донимает ее расспросами и она может спокойно подумать о своем горе. Мимо проплывали обильные хлеба, встречные знакомые приподымали фуражки — деревня уже была недалеко, — а она все думала о солдатиках, пивших молоко, и о парнях на лугу, которые считали горящие самолеты. И о прощании во дворе исполкома, которое теперь казалось каким-то ненастоящим. Все это она видела будто в тумане. Какие-то пестрые движущиеся пятна. Даже лицо Марюса не могла вспомнить. Словно там была не она, Аквиле, а другая девушка. Аквиле только наблюдала за той со стороны, и ей было жалко, до слез жалко, что девушка так несчастна и она, Аквиле, ничем не может ей помочь.

Потом она увидела военный грузовик, утыканный по бортам ветками деревьев. Уже не в воображении, а настоящий, — он летел навстречу им со стороны деревни. В тот же миг воздух задрожал от оглушительного рева, и в нескольких десятках метров над их головами, яростно стрекоча пулеметами, пролетел желтобрюхий дракон. Грузовик затормозил, солдаты посыпались в кюветы, а сивка, напуганная невиданным чудищем, свернула на подвернувшийся проселок, и телега, прыгая по ухабам, помчалась вдоль ржаного поля. Аквиле лежала, скрючившись, на дне телеги, придавленная чужим телом, и ей было хорошо в теплой темноте, она снова чувствовала на себе сильные

руки Марюса, слышала, как гулко бьется его сердце, и вдыхала острый, как кровь, запах мужского пота.

«Плохо без лошади бобылю, — думал Кяршис, пьянея от близости женского тела, — но ее можно купить. А женщину, которая тебе нравится, не достанешь ни за какие деньги. Пускай уж лучше меня убьют».

— Странно, как это мы остались живы, — сказала Аквиле, когда они вылезли из ивняка, куда сивка затащила телегу.

«Правда, — разочарованно подумал он. — Хоть бы ранило…»

— Ну, будь здоров, Пеликсас. Я, можно сказать, дома. — Она кивнула ему и ушла, не подав руки.

— Будь здорова, Аквиле.

Она остановилась, обернулась и через силу улыбнулась.

— Ты хороший, Пеле…

Он проглотил комок, застрявший в горле. Рыжие ресницы плясали, как мотыльки против солнца.

— Вот… Марюс никуда не денется, Аквиле, он вернется!.. — крикнул он, преисполнясь лицемерной доброты.

Вечером она сидела у открытого окна. По деревенской улице летели немецкие мотоциклисты, — разряженные, как на парад, украсив машины цветами, — закатав рукава, они махали девушкам и весело кричали: «Fräulein, fahren Sie mit uns nach Russland! Fräulein, fahren Sie mit!» [4]

Мать стояла у ворот с кувшином пива и знаками приглашала выпить. Но они только качали головами: «Danke schön, Matka. Wir werden in Moskau satt trinken…»[5]

III

Настало утро, потом пришла ночь и снова утро. Время то вспыхивало, то угасало, словно морской маяк. Она была точно погружавшийся в пучину корабль, и каждая вспышка света в каменном мраке казалась последней. Побыстрей бы утонуть! Но время было безжалостно. «Скорее! Скорее!..» — умоляла она. Но время только улыбалось (завораживающая ухмылка дьявола!) и знай крутило один и тот же фильм. И она в тысячный раз видела солдат — тех, пивших молоко, и этих, таких веселых, крепких, самоуверенных, с закатанными рукавами, — и парней на лугу, и других парней — во дворе исполкома, и желтобрюхого дракона, изрыгающего огонь, и, наконец, чужого человека с мохнатой грудью, который укрыл ее, Аквиле, от пуль, словно крепостная стена, а ведь его могли убить. Проклятая карусель! Когда все это кончится? Какая сила остановит убийственно однообразное движение? Можно с ума сойти!

Однажды утром ее разбудил странный зов. Он исходил не от живого существа, ее звал крутой берег озера Гилуже. Там она часто встречалась с Марюсом. Ей нравилось ясным летним днем сидеть на отвесной песчаной круче и смотреть, как деревья зеленой стеной падают в воду и между их верхушками в голубой бездне озера резвятся белые пуховые облака. Миру, свободному от лишних людей, не было ни конца ни края, и они с Марюсом нераздельно владели им.

— Когда ты меня бросишь, Марюс, я прыгну с этой кручи. Единственное место, где бы я не побоялась умереть, — как-то сказала она.

Он бездумно рассмеялся, даже не подозревая о том, что однажды это чуть не случилось. (Между ними не было тайн, но этой она стыдилась.) Правда, Марюс знал, что он не первый, до него был господин Контроль, но это другое дело. О, этот мотоциклист, весь в брезенте, гроза молочников! У него были имя и фамилия, как у

каждого человека, но почему-то все звали его только господином Контролем. Молодой, чертовски красивый парень с черными усиками над пухлой верхней губой. Невинное лицо младенца, парализующий взгляд льва. Образец нежности, мудрости и мужской силы. Если добавить, что во всей волости ни у кого больше не было мотоцикла, что никто с таким вкусом не одевался, не пел и не танцевал с такой легкостью, не рассказывал таких смешных анекдотов, то станет ясно, почему ни одно женское сердце не могло устоять перед чарами этого молодца. Он разъезжал по деревням, проверяя жирность молока, и хотя его власть ограничивалась крестьянскими коровами, все относились к нему как к важной персоне. «Что там начальник Краштупенайского уезда! Господин Контроль — вот это да!»

Летом Аквиле вернулась с курсов домоводства. Скоро ей стукнет семнадцать, и ночи напролет она ворочалась в обжигающей постели, мечтая о возлюбленном. Он был похож то на сказочного принца, то на простого батрака, пока однажды, когда она шла с поля, ее не догнал мотоцикл и странный рыцарь в кожаном шлеме с огромными очками не уговорил ее сесть на заднее седло. Она не могла устоять перед ним («Покататься на мотоцикле — ну и счастье привалило!»), и они полетели по большаку, как на крыльях, — лошади шарахались в стороны, девушки от зависти кусали губы. Потом гуляли в сосняке у Гилуже, и следующим вечером снова носились на этой устрашающей железной птице, и снова гуляли в сосняке. Потом она до зари металась в кровати, словно в горниле, ее обжигали мечты о возлюбленном, который теперь был похож не на сказочного принца, а на господина Контроля.

— На руках обнесу тебя вокруг света, покажу тебе весь мир, — говорил он.

Никто еще не обещал ей так много. И никто не обманывал. Мать, правда, часто не держала слова, но ведь она никого не любила!

Осенью, когда они изъездили вдоль и поперек весь уезд, господин Контроль вдруг исчез: подыскал новую службу и новую девушку… Она не поверила слухам («Фу, какая чушь!»), сама отправилась в Краштупенай, нашла его квартиру. Глаза у хозяйки были добрые, полные материнского сочувствия. Этой женщине нельзя было не верить. «Паршивец! Охотник за невинными девушками! Но теперь уж крышка: какая-то богатая вдова подрезала соколику крылья…»

Аквиле потеряла сознание. Потом долго болела. Когда поправилась, деревья стояли голые, в озябших ветвях завывал ноябрьский ветер. Аквиле брела по берегу озера, по шуршащей постели листьев. Листья, листья… Бурые, желтые, серые листья. Куски ржавой жести с кладбищенских венков. Обломки разбитых надежд. Она ступала по жестяным листьям, унимая плач души, а в ушах звенела дивная музыка младенческих дней. «А-а, а-а», — пела мама, наклонясь над ее кроваткой, пел сумрачный потолок, пела вся изба. И эта завораживающая музыка погружала ее в небытие, Аквиле сладко таяла в нем, словно льдина в реке, нагретой весенним солнцем.

Тогда мать еще не была для нее Катре Курилкой, любила свою дочку, и Аквиле могла платить ей тем же.

Много лет спустя в ее сознании снова зазвучала забытая мелодия, и она уже не шла, а бежала, — вечный покой обещал открыть ей объятия, и она боялась, чтобы чудо не исчезло.

Почему-то ей казалось, что обрыв лучше всего подходит для этого. Она взглянула вниз, на гремящую воду. На озеро опускался вечер. Промокший до нитки, грязный и усталый, как нищий, день-деньской собиравший подаяние. Мимо кручи, переваливаясь с

волны на волну, плыла лодка. На веслах сидел человек в широкополой шляпе и, запрокинув голову, смотрел вверх, где на ветру, под дождем стояла одинокая фигурка Аквиле.

— Хэлло, девочка! — окликнул он. — Тебе надо домой, а мой корабль идет как раз в том направлении. Пожалуйте на пристань! Билеты продаются на месте!

Она ничего не ответила: в ушах все еще звучала мелодия вечного покоя. Но тот, внизу, в своей утлой посудине, махал веслами, ни на пядь не продвигаясь вперед, и не переставал кричать:

— Поторапливайся, девочка! Не собираешься же ты заночевать тут?

Она опять ничего не ответила, но мелодия оборвалась, и ее охватило полное безучастие ко всему. «Человек — игрушка в руках судьбы». Она спустилась с обрыва, села в лодку. «Лодка тоже в руках судьбы. И бурный ветер, и волны. Не только в море тонут корабли»…

Они уплыли. Марюс в теплой одежде (поверх всего брезентовый плащ) казался неуклюжим и громоздким. У его ног лежало несколько рыбин, которые мать завтра повезет лавочникам в Краштупенай. Лодка ползла по волнам, повинуясь его сильным рукам, но берег приближался очень уж медленно. Деревня лежала в густых сумерках, посинев от холода; были видны лишь смутные очертания домов на фоне прояснившегося неба и рассыпанные среди деревьев огоньки, как светляки в высокой траве. Стемнело, ветер посвежел, он дул в лоб, а они, промокнув до костей, еле-еле ползли вперед.

— Одна уключина на честном слове держится, — донес ветер голос Марюса. — Если выломает гнездо… Давай помолимся, девочка моя!

— Утонем, — ответила она, дрожа от холода.

— Громче! Из-за чертова ветра ничего не слышно!

— Перевернемся! — со злорадством крикнула она.

— Не трусь! Человек не букашка, лодка не лапоть!

— Я не трушу. Только пускай поскорей. Мне холодно.

— А ты смелая, черт побери, девка! Видать, ценнее тебя в хозяйстве Вайнорасов ничего не найдется!

Она не обиделась. Только подумала, что теперь ей понятно, почему хозяева не любят его и обзывают Красным Марюсом. Окоченелыми руками она выливала из лодки воду и уже верила, что им так и не достичь берега. Завтра, а может, через неделю волны выбросят два тела и лодчонку, и никто не узнает тайны этого вечера. Ей захотелось очиститься перед смертью, исповедаться (могла бы даже перед камнем, а тут ведь живой человек...) во всем, в чем провинилась перед собой и близкими, и оправдаться, объяснить, почему это случилось.

Она не хотела брать всей вины на себя. Перед целым миром не оправдаешься, но хоть один человек будет знать истинную правду. Вот этот, тоже приговоренный к смерти.

И она, захлебываясь и задыхаясь от мокрого ветра, стала рассказывать грустную историю своей любви.

— Воду! Воду черпай! — вопил он.

Но она словно оглохла. Тогда он замолчал, еще сильней налег на весла, и они затрещали, словно кому-то ломали кости. А когда она, выкричавшись, затихла, — легкая, словно после родов, — Марюс сказал:

— Что ж!.. Ты угодила в свинский переплет, моя девочка, но в жизни бывает и хуже, куда хуже бывает подчас в жизни.

Каким-то чудом они все-таки дотянули до берега. Аквиле, окоченевшая и разбитая, не могла встать. Марюс выволок ее из лодки и до самого своего дома нес на руках. Его дыхание было по-домашнему теплым и пахло табаком.

— Зайдем к моим старикам посушиться, — сказал он и осторожно, словно треснутое стекло лампы, поставил ее наземь во дворе. Его голос, правда, звучал без прежней уверенности.

IV

Потом пришло счастье — точь-в-точь такое, каким Аквиле его себе представляла. Она слышала: история повторяется, — но думала: это о народах, а не об отдельных людях, тем более не о ней. Но в то утро в конце июня, когда после четырехлетнего перерыва в ее ушах снова зазвучала забытая мелодия вечного покоя и ее позвала песчаная круча, она не удивилась. Как и каждое утро, подоила коров, процедила молоко и прямо от стада отправилась к озеру, в уверенности, что обратно не вернется.

Обрыв лежал на солнце, сухой и белесый. На песке валялись окурки, горелые спички, а за стволом сосны сохранился отпечаток подошвы. За эти несколько дней война разрушила целые города, а след Марюса… Как будто вчера он сидел здесь, курил сигарету за сигаретой, давал ей задуть спичку, как ребенку, а потом ушел («До завтра, моя девочка…») своей косолапой походкой — она, бывало, над ней подшучивала.

Она посмотрела с кручи. Внизу мерцали опрокинутые деревья и жесткая синева неба. Зажмурилась. «Один шаг — и конец…» И тогда случилось неожиданное: обрыв заходил под ногами, а к спине прикоснулась холодная ладонь. Она в ужасе отпрянула и кинулась в лес. Лесные тропинки бросились врассыпную. Чаща, переплетение кустов; ее подстегивало страшное видение. Ветки деревьев хлестали по лицу, раздирали в кровь ноги, руки,

цеплялись за платье. Устав, упала на колени под елью. Господи боже, она сходит с ума… В сердце были мрак и страх — как в густом лесу, который тихо гудел и дышал в лицо теплым, с привкусом скипидара, ветром. Но почти сразу зеленое уединение пригрело ее, стало покойно и хорошо на этой укромной земле, и удивляла мысль, что где-то неподалеку есть другой мир, где суетятся и убивают друг друга люди… Лес ласкал, успокаивал, глядел на нее добрым отцом. Все кругом было не только нарядным, чистым, девственным, но и прочным, безопасным, надежным — как в неприступной крепости. Каждая просека была знакома, исхожена вдоль и поперек в поисках грибов и ягод, каждая прогалина навевала воспоминания, от которых сердце неслось вскачь и перехватывало дыхание. Вот она набрела на сваленную бурей сосну. Прошлой осенью оно еще жило, это могучее, стройное дерево; голова кружилась, когда Аквиле смотрела на верхушку, подпирающую небо. Кривая, чахлая сосенка рядом осталась, а эта великанша… Деревья как люди: у них своя судьба. Тогда она пришла сюда с Марюсом… Снова Марюс! Не надо думать о нем. Не надо, не надо. Его нет и не было никогда. Не было, не было, не было.

Аквиле обвела взглядом гудящие сосны, и ей почудилось, что она слышит плач. «Боже, я и правда помешалась!» Испуганно вскочила со ствола, хотела отбежать, но отчетливо услышала стон, идущий из-под корней поваленной сосны. Человек, только человек может так бессильно, так скорбно стонать! Человек, потерявший все, даже надежду. «Марюс!» Боже мой, и придет же в голову такая несуразица!.. Стон затих. Затаив дыхание она прислушивалась к спасительной тишине, — может, ей померещилось? Но через минуту стон послы-шалея снова. Теперь она безошибочно могла сказать, где находится несчастный. Она дрожала от волнения, но собралась с духом и медленно, шажок за

шажком, подошла к яме, которая образовалась после того, как упала сосна и выдрала из земли корни. Она хотела, чтоб там оказался о н, и умирала от страха.

Нет, это был не он. В яме лежал чужой. Ничком, прижавшись щекой к земле, в диковинной одежде. Такой костюм Аквиле как-то видела в кино — это был летчик. Он мог быть и молодым, и пригожим, и сильным, но теперь в нем едва теплилась жизнь. Аквиле с ужасом смотрела на череп, обтянутый черной щетинистой кожей, на землистые, раскинутые руки, которыми он цеплялся за жизнь, силясь выбраться из ямы, и чувствовала, что вместе со страхом в душу проникает облегчение и свое горе отступает перед чужим страданием.

V

Давно уже вся семья не садилась вместе за воскресный обед. Катре не знает, как и угодить Адомасу, — все ж любимый сыночек. На столе щи из свежей капусты, голубцы, полная миска отварных копченых колбас. Когда съедят горячее, мать принесет сыр, окорок с горчицей и прочую закуску, которая после рюмочки водки проясняет душу и зовет побыстрее осушить стакан домашнего пива. Для своих, ясное дело, так бы не усердствовала, но раз уж такой гость, пускай пожрут вместе и непутевая Аквиле, и соплячка Юсте, и Юргис, и этот бараний лоб. Даже казенной лошади, привязанной в сарае к казенной коляске, напялили на морду мешок с овсом. Ничего не жалко — Адомас приехал!

Адомасу тесно в мундире начальника полиции. Снял портупею, расстегнул китель. Пухлые щеки разрумянились, близко посаженные глаза блестят, будто пуговицы.

Будьте здоровы, мама. Чокнемся, что ли, папа? Аквиле, а ты что сидишь как в воду опущенная? Дзинь-дзинь!

— Аквиле говеет.

Говеет тот, у кого ноги до земли не достают, мама. Выпьем-ка, сестренка. А может, душа не лежит к брату за то, что в детстве твою манную кашку уминал? Пальчики оближешь! Вкусней манной каши, лапочка, в жизни ничего не едал.

— Мама, сварите Адомасу манной кашки. — Это Юсте, языкастая шельма.

Адомас смеется. Сдержанная улыбка пробегает и по озабоченному лицу Лауринаса Вайнораса.

Аквиле встает из-за стола — пойдет, мол, в сарай за яйцами. Адомасу на дорогу. Отец провожает дочь тревожным взглядом и неожиданно делается очень разговорчивым.

— Яиц! На дню по десять раз в сарай — и все за яйцами, — потешается Катре. — Выплакаться побежала, не иначе. По своему большевику сохнет.

— Оставим Аквиле в покое, мама. Ей и так тяжело.

Отец одобрительно кивает.

Катре морщится. С охотой раскурила бы свою трубочку — помогает от нервов, — но Адомас это не одобряет.

— Вы втроем столько горя матери не причинили, как одна Аквиле.

— Возьму еще голубцов, мама. В ресторане таких вкусных не бывает.

— Тебе надо справную жену подыскать, Адомас.

— Не подходящее время для женитьбы, лапочка.

— А с соломенной вдовой миловаться подходящее? — рубит сплеча Катре. — Думаешь, бургомистр-то помер? Вот будет стыд да срам, когда Берженас вернется!

— Бабий трезвон, мама. Ничего у меня с ней нет.

— Эти Дайлиде семейка известная. Голые, как пятка, хитрые, как ужаки. А Милда всех переплюнула, змея подколодная. Ты еще ребенком был, она уже хотела тебя зацапать, да сорвалось.

— Правда, шальная баба, — соглашается Адомас, не желая пререкаться с матерью.

Вернулась Аквиле. В подоле несколько яиц, на побелевшем лице отчаянный зов о помощи. Отец поймал ее взгляд. Опрокинул рюмочку, потянулся за закуской, старается скрыть волнение. Но вилка — стук-стук-стук! — по краю тарелки…

Аквиле исподлобья глядит на Адомаса. Широченные плечи, большие, мускулистые руки. Отец высок ростом, а Адомас его на полголовы выше. Богатырь. Не узнать драчуна мальчугана, каким она его помнит с малолетства. Но в чертах его лица, в движениях, даже в этой милой присказке «лапочка» сохранилось что-то детское, греющее сердце и вызывающее доверие. Нет, он неплохой. Подчас жестковат к другим, зато за своих — за Аквиле, родителей, а потом и за младших — часто пускал в дело кулаки. Однажды чуть не убил сынка Пуплесиса за то, что обозвал мать Курилкой, хотя вся деревня иначе ее и не зовет. Аквиле знала — это старший товарищ, который всегда за них постоит. Нет, мундир не меняет человека, Адомас хороший брат. Несколько дней назад из Краштупенай вернулся Пранас Нямунис, отец Марюса. Его арестовали в первый же день, когда пришли немцы, вместе с другими советскими активистами, и все-таки выпустили. Старик кашлял, харкал кровью: легкие отбили, сволочи…

— Адомас?.. — спросила у него Аквиле, и у нее упало сердце — рушилась последняя опора.

— Нет. Но мог и он. Все они собаки, только твой Адомас меньше кусается.

Аквиле хотела сказать, что без ведома Адомаса его бы не выпустили, но старик закашлялся и, сплевывая,

ушел.

— Заберу тебя в Краштупенай, Аквиле. Будешь готовить мне голубцы. Мама, ты откормишь нам поросенка? Ну вот. На зиму засолим грибов, наделаем яблочного вина. Заживешь, как у настоятеля, лапочка. — Карие глаза приятельски подмигивают: не унывай, сестрица, все обойдется.

Брат, ведь родной брат! У кого же еще искать спасения?

Хлопнула дверь сеней. Старательное шарканье ног, незлобивое ворчание пса, стук в дверь горницы.

Катись подальше! — рубит сплеча Катре: ей уже ясно, кого черт принес.

Пятрас Путримас, которого за чернявость и изувеченную ладонь обзывают Черной Культей, растерянно топчется у двери. Чтоб его сквозняк, этого начальника полиции! Нет ни малейшей охоты попадаться на глаза такому господину, но раз уж так вышло, не кидаться же обратно во двор?

Враждебная тишина. Все ждут, что скажет мать.

Катре медлит. Этот подонок целый год хозяйничал с оравой своих ублюдков в горнице. Пускай теперь поймет, кто тут настоящий хозяин.

— Чего испугался, Путримас? Давай заходи, — не выдержал Адомас, подобрев от маминого угощения.

Катре за милую душу схватила бы свою трубочку.

— Садись, раз пришел, — не говорит, а шипит змеей, не глядя на гостя. — Когда была твоя власть, знал, где стол, где лавка, геройски расхаживал по нашей горнице, аж стекла дрожали, почему ж теперь на цыпочках, со-се-душ-ка?

Культя кусает губы. Яростный взгляд поднимается и опять утыкается в пол. Тише, тише. Черная Культя! Подумай о своих детях, о жене, которая скоро родит шестого. Гордость — дело хорошее, но когда нет хлеба, ею семью не прокормишь.

— Что было — сплыло, госпожа Вайнорене. Я-то человек маленький, не мне судить, худо ли, хорошо ли поступали власти, когда брали у одних, а давали другим. Сам я в вашу горницу не врывался, не брал вашей земли, чтоб ее сквозняк... Пуплесис, председатель сельсовета, сказал: «Путримас, пиши заявление, землю дадим». Раз дают, что ж... Найдите голодного, чтоб не взял хлеба, если в руки суют. А насчет обиды, госпожа Вайнорене, если б не я, другой бы вас обидел. Закон власти решают, а не мы, — мы-то люди маленькие...

— Та-та-та! Трещишь, как несмазанная двуколка. Ласковый стал, хоть за пазуху клади. Ногу мне бы поцеловал, если б подставила. А как тогда пел? Без спросу то в клеть, то в сарай, то на чердак. Здесь зерно ссыплю, тут сало повешу, там коров поставлю. Хозяйничал, как в своем доме. «Ссудите меня плугом, телегой, упряжыо». Ссу-ди-те! Будто нам не известно, что значит ссуда таким товарищам? Да что тут говорить! Грабили, как бандиты, только ладными словами все называли, хапуги, как есть.

Культя мается, как на раскаленных углях, ищет подходящие слова. «Такой закон вышел... Не я один...» Нет, такими отговорками Катре Курилке рот не заткнешь, чтоб ее кровавый понос скрутил. Эх, знать бы загодя, что времена переменятся... Ноги можно было и не целовать, а вот помягче, поуступчивее... Знай, сверчок, свой шесток, чтоб тебя сквозняк. Пуплесис с Марюсом раззадорили: мы — народ, хозяева, наши леса, земли и воды. Выше голову! Вот и подняли голову. Что — голову, ноги и то на стол задрали. Помнится, пришел как-то под хмельком, прямо на половину Вайнорасов, — а те как раз ужинала — развалился без спросу на стуле, ноги на стол. «Нюхните пролетарского духу, кулаки. Я — народ! Мои земли, воды и леса на веки вечные. Аминь».

— Все мы люди, госпожа Вайнорене... Когда под одной крышей живешь, всяко случается... — бормочет Культя, потеряв последнюю надежду, — и бочком-бочком к двери.

— В других волостях скакунов твоей масти упрятали в подвалы, чтоб мозги поостыли, — откликнулся Адомас.

— Да сколько у меня мозгов-то, господин начальник!

— Хорошо, если хоть это раскумекал. — Адомас опять подобрел. — Темный, глупый ты человек, Путримас. Аду-раков мы не наказываем, мы их просто ставим на место. Твое место здесь, с честными хозяевами литовцами, а не с еврейскими прихвостнями, с большевиками.

— Чтоб их сквозняк, господин начальник! Я же литовец все-таки, не еврей, как же я с ними пойду?.. — Культя скулит, как собачонка. К стыду и угодливости униженного человека добавляется страх.

— Так чего пришел, Путримас? — Адомас совсем отмяк. — Подойди поближе, выпей рюмочку.

Культя униженно благодарит (о, он давно знал, что у господина Адомаса золотое сердце!), но в сторону стола — ни на пядь.

— Видите ли, хозяева, дело такое... Я насчет земли... Хм... хм... — лепечет он, стреляя глазами в стороны. Поведение господина начальника полиции ободряет, зато у Катре такая рожа, что по спине мурашки бегают. — Сами знаете, землю я обработал, своим зерном засеял. По закону новых властей вы можете мне кукиш показать, и я еще благодарить должен. Закон есть закон. Но можно ведь по-соседски договориться... Хм... хм... по-христиански, не обижая друг друга. Ну, как в былые годы испольщик с хозяином договаривался. Одному половину урожая за работу да семена, а другому вторая — за землю...

Культя разошелся — выражение лица господина Адомаса кое-что обещает. Если и не обещает, то хоть позволяет на что-то надеяться. И впрямь — как еще распутать весь этот узел? Культя разевает рот, решив окончательно рассеять сомнения, если они еще остались у господ Вайнорасов, но его опережает хохот Катре. Злобный, презрительный, ликующий. Мимо грохочет поезд, набитый хохочущими безумцами.

— Он явился... Явился, чтоб нам милость оказать!.. — Катре наконец обрела дар речи, но спинка скамьи все еще трещит под напором судорожно дергающегося тела, руки хлопают по бедрам, как крылья разозленной наседки, глотка хрипит, не хочет вдыхать воздух — ведь им (как несправедливо устроен мир!) дышит и этот черный бандит у двери. Впалые щеки Катре позеленели, как лужайка, узкое лицо вытянулось еще больше. На приплюснутом носу торчит украшенная волосами бородавка. — Его, вишь, работа да семена... Вы только послушайте этого хапугу-расхапугу, ублюдка несчастного! Свинья свиньей! Его семена! А от кого ты, поганец, получил зерно, ежели не от большевиков? А большевики — пускай они подотрутся своими рублями! — у нас отобрали. Ишь, своим зерном засеял чужую землю. Вот так т***а***к!.. Уйди с глаз долой, брехун паршивый! — Катре вскочила, смахнула локтем со стола тарелку, а Культя — пулей в дверь.

Во дворе добродушно ворчит пес. Назло Катре, даже хвостом помахал Культе. А у того так и чешутся руки погладить Рыжика — единственного обитателя хутора Вайнорасов, которого он любил, — но лучше не дразнить людей в эти смутные времена.

— Рыжика — в мешок да в реку! — кричит Катре. — Когда нас не будет дома этот бандит все добро растащит!

VI

Долго никто не решается сказать ни слова. Особенно приуныли Юргис и Юсте: мать строго-настрого запретила им водиться с голоштанниками. А после того, что случилось сегодня, боязно будет даже издали посмотреть на избы Черной Культи или Пуплесиса.

Адомас вешает мундир на спинку стула. Солнце шпарит прямо в глаза. Жарко.

— Вы, мама, иной раз уж слишком язык распускаете, — недовольно говорит он.

Катре удивлена. На лицах у остальных одобрение. Аквиле услужливо наполняет братнину рюмку.

— Не хочу, чтоб побирушки на шее ездили. Прошло их время.

— Да незачем и к ним на шею садиться, мама. Из-за нашей злополучной жадности губим дело нации.

— Культе шкуру надо было продубить. Чтобы на глаза не лез, знал свое место.

— Если начнем мстить друг другу, конца не будет. Перерезать всех нетрудно — не так нас много, литовцев-то.

— Черная Культя — литовец? Тьфу!.. Чтоб они подохли, такие литовцы.

— Большевики задурили голову своими обещаниями. Таких заблудших овец у нас тысячи. Если пропустить их через веялку, полнации отсеется. Нет, так не годится, мама. Мы должны привлечь их на свою сторону. А если все будут поступать, как вы, мама, ничего путного не выйдет.

— Заведешь свое хозяйство, вот и разбазаривай его нищим, сколько душе угодно. Я не так богата. — Катре пыжится, как индюк. Она обижена и оскорблена — родной сын ее учит.! — Юсте, тащи-ка трубочку!

Адомас встает, благодарит за обед. Настроение у всех окончательно испорчено.

— Поваляюсь часок в саду под яблоней. Очень уж напотчевали.

Катре дымит своей трубочкой. Холодная, неприступная, как горная вершина. Истинное воплощение оскорбленного материнского достоинства. «А мне-то что, валяйся хоть на куче камней во дворе».

Аквиле выбежала вслед за братом, несет подушку.

Сад звенит от птичьих голосов. Сквозь переплетение ветвей, облепленных поспевающими ранними яблоками, проглядывает голубое небо. То тут, то там белое облачко. Хорошо отдыхать в такой день в саду родного хутора, под яблоней, которую посадил сам, и чувствовать, как рука любимой сестры гладит твои волосы.

— Ты — янтарь, а я — деготь.

— В тебе больше материнского, а я весь в отца, лапочка.

— Нехорошо так говорить, но я не люблю мать.

Тяжелый человек. — Адомас закрывает глаза, словно стесняясь своей откровенности. — Хочет держать нас всех, как собак, на цепи. Я-то никогда ее не любил, только боялся.

— Адомас…

— Что, Аквиле?

— Ты хороший… — Она наклоняется, целует его в лоб. — Такой милый, родной без этого… казенного мундира. Мой чудный, прежний Адомас.

Дурацкая сентиментальность! Он через силу улыбается и переворачивается на бок.

— Ночью что-то недоспал. Оставь меня, сестричка.

Аквиле встает, несколько мгновений борется с собой, потом снова опускается на корточки рядом с братом.

— Адомас, ты знаешь доктора Гинкуса.

— Ну и что?

— Вы хорошие друзья.

Адомас ложится на спину. Ладони под головой, локти широко раскинуты. На лице больше чем простое любопытство.

— Друзья. И что с того?

— Видишь ли… — Она долго смотрит ему в глаза. Чувство такое, словно ты над пропастью. Но иного выхода нет, приходится шагнуть вперед. — Я хотела бы, чтоб это осталось между нами. Обещай никому не рассказывать.

Адомас растерян и озабочен. Ага! Вот какие дела, лапочка… Он так и думал, что между ней и Красным Марюсом было нечто большее, чем невинные поцелуи. Успокойся, сестричка, не стоит из этого делать трагедии. Доктор Гинкус охотно поможет, мышь не пикнет, все шито-крыто. Робертас умеет молчать, к этому его обязывает профессия.

Аквиле качает головой. Нет, нет! Марюс здесь ни при чем.

Адомас не слушает. Сел, хрустит пальцами. Покраснел не от водочки — от ярости. Сестру опозорил! Изменник, продажная шкура!.. Ее смешал с грязью, но не меньше позора и на нем, родном брате!

— Прихлопнули, как собаку. И ладно! Таким место только в могиле.

Но Аквиле не понимает, о чем он. Все ее мысли там, с несчастным одиноким человеком. Здесь, под этой плодоносящей яблонькой, решается вопрос его жизни.

— Ты не понял меня Адомас. — Аквиле стоит перед ним на коленях. Прижала кулаки к груди, щеки посерели, побелевшие губы шепчут, словно ксендзу в окошко исповедальни. Исповедь. Слова трепещут, как связанные птицы. Что будет, если не отпустит грехов?

Глаза Адомаса расширяются, лицо то краснеет, то бледнеет. Он не верит своим ушам. Сон, обман!

Опирается руками в землю — душистая, живая трава. Встает, оглядывается: вокруг родной сад, над головой высокое летнее небо. Ужасная действительность!

— Он бы поправился, но что-то случилось… Бред… в слюне кровь… Помоги, Адомас, ты можешь помочь… — струится молитва.

Адомас стоит, согнувшись в дугу. Одной рукой уцепился за сук яблони, чтоб не упасть.

— Почему молчишь? Ты должен понять, я не могла оставить человека умирать в лесу!

— Мертвые не умирают. — Он это сказал или ей послышалось? Нет, это его голос. Холодный, бесчувственный, как рука мертвеца.

— Ты сердишься на меня, брат?

— Нет, радуюсь. — Его голос снова ожил, вернулись прежние краски, темные полутона гнева сменяет насмешка. — Ты могла бы и похлеще придумать: прибить над сеновалом вывеску, что здесь лечат большевистских солдат.

— Лежачий не враг. Ты сам когда-то это говорил.

— Сейчас он страшнее стоячего. Знаешь, что будет, если немцы дознаются? Всех повесят, не поможет даже моя форма.

— Доктор Робертас…

— Замолчи! Я с ним не знаком!

Аквиле молчит. В душу липкой жабой заползает страх. Неужели все? До этой минуты они были братом и сестрой, а теперь…

— Раз так, Адомас, то иди на сеновал и добей.

Аквиле с ужасом видит, что широченные плечи задергались: он смеется. Она уже слышала этот смех. Не такой, правда, истеричный, раскатистый, но в нем та же скрипучая материнская нотка.

— Такое легкомыслие поискать надо. «Не могла оставить в лесу человека…» Благородно, очень благородно, ничего не скажешь. Одного спасать, а

семерых совать в петлю. Своих родителей, братьев, сестру променять на какого-то полудикого русского. Я не понимаю такой математики. И никто не поймет. Может, только твой Марюс, он-то все считал по-еврейски — с другого конца.

Аквиле молчит. Немигающие глаза уткнулись в его затылок. Неужели было время, когда до полного счастья ей не хватало этих светлых шелковистых кудрей?

— Он и тебя обучил своей арифметике, — глухо гудит спина, помеченная коричневым крестом помочей. — Думаешь, вернется — и будете считать дальше. Нет, этому не бывать — Марюса Нямуниса больше нет. Их всех уложили в лесу Венте. В клочья разнесли, некоторых только по одежде и узнали. Немцы велели свалить в известковые ямы, как дерьмо. Вот что осталось от твоего Марюса! — Через плечо серебряной рыбкой летит холодный, блестящий предмет и падает в траву, под ноги Аквиле.

Портсигар! Шахматная доска с изображением миниатюрных фигурок. Начатая партия; еще не ясно, кто одержит верх. Ее подарок Марюсу ко дню рождения.

— У Жакайтиса, этого милицейского щенка, нашли. Он-то хитрей других, пересидел в кустах и пришел в полицию сдаваться.

Жакайтис?.. Ах, это тот: «Очухайся, председатель, хватит! Может, эту кулачку контры нарочно подослали…»

— Хвастался, что сам кокнул Нямуниса, — безжалостно гремит спина. — У нас нет оснований не верить, от таких скотов всего можно ждать.

Аквиле кладет ладонь на портсигар. Холод пронизывает до костей. Остывшее тело, остановившееся сердце.

Глава третья

I

Человек лежал на руках Адомаса — беспомощный как младенец, и тяжелый, как смертный грех, который сейчас свершится. В потухших глазах не было ни страха, ни укора, только примирение с неизбежным и жалость, смешанная с презрением.

«Вот как выглядит смертник..»

Адомас зажмурился, но ледяной взгляд летчика, словно стужа в нетопленную избу, проникал сквозь поры тела, наполняя душу холодом, от которого кровь стыла в жилах и перехватывало дыхание. Он шел со своей ношей на руках по бесконечному подземному коридору; где-то впотьмах мигала едва заметная звезда; там была дверь в мир живых, или мираж; ему было все равно, он знал, что никогда не выберется из этих катакомб.

Проснулся в холодном поту. Колокол звонил к заутрене. Долго лежал с закрытыми глазами и тихо радовался (все ж хорошо, что у тебя под боком теплая постель, а не жесткая гробовая доска!), а потом подумал с издевкой, что такой кошмар может померещиться только после пьянки. Летчик приснился ему впервые после того, как он проделал ту необходимую операцию. «Сновидение — искаженное отражение дневных впечатлений в сознании человека...» Он где-то читал эти слова ученого мужа. Брехня! А вот что вчера перебрал — дело верное, лапочка. Упился, как никогда в жизни, вспомнить тошно. Помнит еще, как они с Гедиминасом лобызались, ругали немцев, опять лобызались. Точнее говоря, он целовал Гедиминаса, а тот бормотал что-то себе под

нос и не вырывался, хотя всегда твердил, что ему противно, когда мужики целуются. Потом откуда-то появилась размалеванная девка с тюленьими глазками, подсел рыжеусый дядя. Лобызались уже вчетвером, ругали большевиков и кричали: «Ура независимой Литве!» Наконец объявился пятый, толстогубый, прыщавый тип, и закричал, барабаня по столу, что немцы их обманули. Уже впятером они хаяли и тех и этих и распевали национальный гимн. Потом все погрузилось в туман. Вроде куда-то шел, что-то делал, с кем-то хватался за грудки. С Гедиминасом, что ли? Да, да, он вспомнил. Он предложил Гедиминасу на одну ночь свою Милду, тот обозвал его свиньей или похуже, и они… Ясное дело, их разняли, хотя этого он тоже не помнит. Но хуже всего, что он не знает, как оказался у Милды! Милда не должна была его видеть в таком состоянии. Сколько раз она ему говорила, да и он поклялся не являться к ней пьяным… Проклятый инстинкт самца!

Адомас, не находя себе места, ногой сбросил одеяло на пол. В открытое окно врывался свежий утренний воздух, каркали вороны. Росистые кроны деревьев отливали медью в лучах зари. Полагалось бы испытывать счастье от самого пробуждения — он был молод, здоров, впереди был еще один чудесный день, — но Адомас чувствовал себя прескверно. Теперь-то он понимал, почему люди пускают себе пулю в лоб или пьют уксусную эссенцию.

С минуту он, кусая губы, кружил по комнате, потом подошел к двери столовой и нерешительно постучался. Еще раз — уже энергичнее, смелее. Тишина. Тогда он нажал на ручку, и дверь с мягким скрипом открылась.

Милда лежала на диване, до подбородка натянув желтое одеяло. На стуле рядом белье, халат. Пахло валерьянкой. Адомас растерянно глядел на мелкое бледное лицо, на котором выделялся небольшой ярко-

красный рот; синеватые веки были крепко зажмурены, но он знал, что Милда не спит: она не умела притворяться.

— Доброе утро, Милда. — Его голос прозвучал робко и просительно.

— Доброе утро, — ответила она, не открывая глаз.

У него отлегло от сердца.

— Вчера я был жуткой свиньей. Прости меня, Милдяле.

— Прощаю.

— Знаю, сердишься, но я заслужил! Бывает, надерешься как собака… Эх… — Он с досадой махнул рукой.

— Не видела пьяной собаки.

— Знаешь, когда встречаешь друга, с которым мог и не встретиться… Ты же у меня умница, лапочка, должна понять… Человек напивается на радостях, напивается с горя, а когда и то и другое наваливается разом, рехнуться можно. — Он запнулся, пронзенный тревожной мыслью, что она вдруг спросит о том, в чем он никогда не посмеет никому признаться, и торопливо добавил: — Знаешь ведь учителя Джюгаса — он никогда не теряет чувства меры, а вчера тоже за землю держался.

Милда поморщилась.

— Боже мой, как я не люблю людей, которые чернят других, чтобы самим казаться чище.

— Я говорю правду, лапочка. — Адомас наклонился и погладил белую прядку волос, лежащую на подушке. Повеяло сонным теплом женского тела. — Иди в свою кровать, Милдяле. До завтрака у нас добрых три часа.

Она искоса глянула на него. Ясные голубые глаза были теплыми, но пустыми, как только что покинутое ложе.

— Для начала, уважаемый, извольте принять ванну.

— Ты просто чудо, Милдяле! — Он хотел ее поцеловать, но Милда спрятала голову под одеяло.

Когда он вернулся, комнаты уже были прибраны. Милда в белой пижаме сидела в гостиной на диване и слушала радио. На столе стояла бутылка с пивом и пустой бокал.

— Ты читаешь мысли, лапочка. — Адомас дрожащей рукой наполнил бокал, выпил одним духом и, глядя в открытую дверь на застланную кровать, разочарованно добавил: — Не знаю, что мы будем делать в такую рань…

— Тебе пора домой, Адомас.

— Почему?

— Тебе не приходит в голову, что женщина, какой бы она ни была, однажды может решить начать новую жизнь?

Адомас растерянно развел руками.

— Надеюсь, ты не надумала уйти в монастырь?

— Нет, просто соскучилась по спокойной жизни.

Адомас сел рядом, привлек одной рукой к себе ее хрупкую фигурку и поцеловал в висок.

— Забавный каприз, лапочка. Ты вечно выдумываешь что-нибудь оригинальное, и это мне по душе.

— Это не каприз, Адомас. Когда тебе кажется, что ты целыми месяцами не видела ванны, хочется только одного: вымыться, сменить грязное белье и выспаться в чистой постели.

Адомас, надувшись, помолчал. Он вспомнил идиотский сон, оскорбительную иронию Гедиминаса, и его вдруг взяла злость.

— Почему все вы думаете, черт подери, что полицейский не меняет белья?

— Не криви душой. Знаешь ведь, о чем я. Жил-был когда-то в Краштупенайском приходе голодранец Никодемас Дайлиде. Шесть гектаров не ахти что, но

хоть бы он их обрабатывал... Выйдет с лошадью в поле, сядет в тенечке и читает газету. Вечерами бегает из избы в избу: учит всех, как строить в Литве новую жизнь. Упрятали его в тюрьму, остались мы вдвоем с матерью. А наши шесть гектаров, оказывается, кругом в долгах. Из-за отцовской политики мы докатились до нищеты. И опять — только-только я выкарабкалась, зажила человеком, политика съела и Берженаса. Жизнь только одна, Адомас. Я не хочу еще раз ставить ее на карту.

— Могла еще выскочить за помещика или торговца-еврея, но тоже дала бы маху: первого сослали бы большевики, а второй разгуливал бы теперь с желтой звездой, — съязвил Адомас.

Милда ничего не ответила.

— Все наши несчастья оттого, что тьма людей рассуждают, как ты, — продолжал Адомас, прислушиваясь к веселой музыке, которая звучала для него похоронным маршем. — Оставим-де политику другим, а сами запремся в золотых клетках. Забудем про обиды всей нации и, наевшись досыта, сладко заснем на костях своих ближних. Быстро мы забываем, лапочка, что у нас было и что мы потеряли.

Милда вздрогнула.

— Нет! Я говорю так именно потому, что ничего не забыла. Берженас может вернуться. А если даже не вернется... все равно я его жена. Иногда думаю, — в то время, как мы тут, в этой самой кровати... он, может, в лагере умирает с голоду... И, знаешь, мне бывает стыдно перед собой... Как низко ты бы ни опустилась, хоть капелька совести остается. — Она слегка картавила, ее низкий теплый голос, каждое слово в ее устах казались осязаемыми, уютными и милыми, как только вылупившийся цыпленок. Подчас бывало трудно отличить, когда она говорит серьезно, когда шутит, где

кончается лирика и начинается цинизм, но сейчас Адомас верил: она говорила то, что думала.

— А раньше у тебя совесть не просыпалась? — Он крепко сжал ее в объятиях, словно старался задушить нараставшую в нем злобу.

— Ах, пусти! Задохнусь.

— Нет, мне любопытно знать: где раньше была твоя совесть?

Она вскрикнула от боли (а может, от страха?) и свободной рукой вцепилась ему в волосы.

Адомас отшвырнул ее, словно котенка, и встал. Его била дрожь.

— Дурак! Ты еще пьян со вчерашнего. Странный способ показывать свою ревность.

— К кому ревность? К дряхлому старцу, кости которого уже сгнили в Сибири? — Адомас вылил в бокал остатки пива, расплескав на стол, выпил и снова развалился на диване. — Все вы на удивление сентиментальны, когда вам это выгодно. Тычете этой своей совестью всем в глаза, словно у вас на нее монополия. Нашла издыхающего паршивца, надо ему помочь — совесть; выполнил гражданский долг, но из-за этого погиб человек, — совесть; изменяет мужу, которого никогда не любила, — опять совесть заедает. Может, скажешь, что любила своего бургомистра? Ну, скажи «да», что для тебя лишний раз соврать доброму другу. Молчишь? Нет, Милда, тебе нужна была не любовь, а имя, деньги, положение в обществе. Ты бы согласилась выйти за полную развалину, будь он «фигурой» и имей двухэтажный дом плюс пятнадцать тысяч в банке.

— Он меня любил, — холодно ответила Милда.

— А я?! — воскликнул Адомас.

— Ты? На словах — да, а когда надо было доказать свою любовь делом, Адомаса как ветром сдуло.

— Надо было повременить — мать рано или поздно уступила бы. А тебе загорелось…

— Ждать? Чего? Смерти Катре Курилки? Такую ведьму и за сто лет топором не убьешь.

— Я же тебя любил, и как любил! Думаешь, не было девок, и не таких голодранок, как ты, мог любую выбрать, а ведь я здесь… Любящая женщина терпеливо ждала бы… Год, пять, десять, всю жизнь, если надо. Ждала бы, ждала, ждала… Настоящая любовь, разумеется, если это настоящая любовь…

— Не лицемерь, Адомас. Настоящая любовь не побоялась бы лишиться отцовского наследства.

Адомас язвительно рассмеялся.

— А тебе оно было ни к чему, наследство-то? Нет, ты не из таких, отнюдь не из таких, лапочка. Любовь для тебя — пирожное к кофе. Конечно, когда брюхо набито.

Милда вскочила с дивана, бросилась к столику с приемником, повернула регулятор. Оглушительная музыка забила последние слова Адомаса.

— Заткни эту адскую машину, черт побери! — в бешенстве крикнул он.

Она стояла спиной к нему. Одна рука на столике, другая прижата к груди. Изящная, миниатюрная, великолепно сложена: большая белая кукла со склоненной на плечо головкой, в которой больше ума, чем полагается красивой женщине, но не столько, чтобы в критическую минуту суметь побороть свое сердце. Адомас в отчаянии смотрел на нее (ах, какая знакомая поза!) и со страхом понимал, что все, столько времени державшее их вместе, не просто игра — он по-настоящему любит Милду; пожалуй, не так наивно, бурно, как в те времена, когда она носила плиссированное гимназическое платье и заплетала свои белокурые волосы в две толстые косы, но любит, ей-богу, любит. Он подошел и выключил радио.

— Милда, — тихонько позвал он, — не надо ссориться, особенно сейчас не стоит ссориться, лапочка. Ты сама не понимаешь, как ты мне нужна.

Она молчала.

Тогда он ласково обнял ее за плечи и повернул лицом к себе. Ее щеки запали, рот мучительно кривился: она не умела плакать со слезами.

— Твой Адомас сволочь, дурак, последняя тварь. Отхлещи его по щекам! Дай ему в морду, Милдяле! — Он взял ее руку, бесчувственную, как неживую, и несколько раз ударил себя по лицу. — Вот так, так и надо этой скотине, этой свинье, этому выродку!

— Не дури! — Милда сердито вырвала руку.

— Я не дурю — я тебя люблю!

— И что же?

— Мы можем быть счастливы, Милдяле. Не надо думать о прошлом. Тогда я был сопляком, дурачком. Ты же знаешь, какая у меня мать... А теперь я свободный человек. Хочешь — хоть сегодня сыграем свадьбу.

— И что же? — равнодушно повторила она, но глаза ее ожили.

— Замолчи, малышка, хватит, лапочка. — Он обнял ее и поцелуем закрыл рот.

— Ах, пусти... отстань... не хочу... — отнекивалась Милда, неуверенно вырываясь из его объятий.

— Нет, нет! Никуда не пущу, никуда ты не пойдешь... Ты же моя, малышка, моя... — Словно ошалелый, он бросился перед ней на колени и стал целовать ноги, живот, грудь. Потом подхватил на руки, обмякшую, побежденную его страстью, и, бессвязно лепеча что-то, понес в спальню.

II

— Вчера какая-то Пуплесите приходила, — вспомнила Милда. — Из твоего Лауксодиса. Просила заступиться, чтоб ты выпустил ее отца.

Адомас накрылся с головой. Мягкая постель и жаркое тело рядом пьянили, как комната, сплошь заставленная цветами.

— Ты слышал, что я сказала? — Она откинула одеяло, обнажив его до пояса.

— Дура девка, — зевнул Адомас.

— Не такая уж она дура. Я спросила, почему она обращается ко мне, ведь я не комендант и не начальник полиции. Госпожа Берженене, говорит она, очень любезная барыня и красивая. А красивые женщины могут больше самых сильных мужчин.

— Хитрости у нее всегда хватало, — лениво ответил Адомас.

— Что грозит старику?

— Суд покажет. В других местах таких пташек кидали в яму без долгих разговоров, а мы суды разводим.

— Тебе ничего не стоит его выпустить. — Милда погладила Адомаса по щеке. — Сделал бы хоть одно доброе дело. У Пуплесиса много детей.

— А ты в курсе дела…

— …Совсем крошки. Ни эта девица, — не помню имени, странное какое-то, международное, — ни сама Пуплесене не любят своего старика. Он им нужен как рабочая скотина. Караете одного, а страдает вся семья.

— Я все это уже слышал, «госпожа Берженене очень любезная барыня». Неделю-другую назад они с мамашей приходили, наслушался.

Он умолчал, что два дня спустя Миграта снова побывала у него, на сей раз без матери; эта встреча оставила такой неприятный осадок, что не хотелось ни самому вспоминать, ни Милде рассказывать.

«Два года у ваших родителей батрачила, из одной деревни мы… Помоги, господин Адомас».

Она каким-то образом обманула хозяйку и проникла в комнату, хотя он и велел в свое отсутствие никого не пускать. Адомас сердито смотрел на ее рослую, пышную фигуру, туго обтянутую платьем из пестрого дешевого ситца в красный цветочек. Голые икры опалены солнцем, лицо румяное, обветренное, прямой, крупноватый нос облупился, под низким лбом кроткие, овечьи глаза.

«Зря сами ходите и других беспокоите», — сказал он, не скрывая своего раздражения.

Миграта положила руку на спинку стула и выставила ногу вперед, обнажая колено. Красавицей ее не назовешь, это она своим куцым умишком понимала, — но женское чутье (а может, и мать, отпуская из дому?) подсказало ей, что и на ее прелести может найтись любитель.

«Отец дурак, его никто не любит, — Миграта чертила носком туфли круги на полу, украдкой наблюдая за Адомасом, — мы все больше маму любим, чем старика. Из-за него одни напасти. Другие разжились, а он только ссориться с соседями умел. В том году завелся с поместьем из-за потравленного ячменя, судился, пока последние штаны с него не спустили, потом из-за зуба, что Катре… ваша маменька метлой выбила. Куда ни сунется наш родитель, все нам боком выходит. Хотел меня в комсомол записать. Не послушалась, и слава богу. Надо все делать наоборот, не так, как он учит…»

«Садись!» — крикнул Адомас.

Она послушно присела на стул. Он — напротив. Округлые бронзовые колени раздвинулись, подрагивают, словно возмущаясь, что приходится иметь дело с ситцем. Бедра беспокойно ерзают под красными цветочками. Сшила бы на лето шелковое, да не вышло:

все жалованье придется матери отдать... «Ох-ох, господин Адомас...» Отвернулась, облокотилась на спинку стула. Плечи дергаются, платье задирается, обнажая розовые ляжки.

Адомас зажмурился. «Сколько ей тогда было лет? Семнадцать, что ли? Да. Она, кажется, лет на шесть меня моложе. Значит, осенью тридцать девятого, на молотьбе...»

...Она стояла на клади, а он — внизу, почти касаясь лбом пальцев ее босых ног. Кругом пыль, шум, звериный рев молотилки. И адский сквозняк. Ее платье трепетало, словно разорванный стяг на флагштоке, а он бесстыдно глядел, запрокинув голову, и смеялся, как дурак. Она тоже смотрела на него. Нахально, вызывающе, обещающе — как умеют только неопытные девчонки, не ведающие, что творят. Сейчас ему ясно, что он ошибался, — она-то ведала, что творит, — но тогда бес помутил рассудок. Он подскочил, как в детстве, срывая спелое яблоко, и схватил Миграту под колени. Она так и бухнулась к нему в объятия и сбила с ног. А мужики, услужливые в таких случаях, мигом забросали их охапками соломы, под которой начиналось то, что обычно завершалось в стогах, по пути домой с дожинок. Он держал ее в объятиях, жаркую, пахнущую полынью, и ждал сопротивления, но вместо этого вокруг шеи обвились ее жаркие, липкие руки. «Господин писарь, ох, господин писарь...» Этот ее шепот, вроде змеиного шипения, а пуще всего эти идиотские слова окончательно отрезвили его. Он выпустил Миграту и никогда больше не думал о ней, как о женщине. Когда они случайно сталкивались, ему сразу вспоминались потные, облипшие пухом одуванчиков икры, и его передергивало.

...Адомас открыл дверь в коридор, вернулся к Миграте и вместе со стулом повернул ее лицом к двери.

«Мне пора уходить, лапочка».

— Кто-то звонит, — прислушалась Милда.

— Ну и ладно. Мы спим.

— Ненавижу, когда за дверью стучится человек, а ты сидишь в комнате и притворяешься, что никого нет дома.

— Надо было этому человеку прийти в подходящее время. — Адомас куснул Милду в обнаженное плечо. — Скажем, после обеда или завтра.

— Не дури! Все равно тебя будут искать.

— Кто? Вы шутите, милостивая барышня! Мой вахмистр господин Бугянис был бы на седьмом небе, если б я вообще не являлся в полицию, — без меня они куда лучше управляются.

Снова задребезжал звонок. Долгий и настойчивый.

— Все-таки схожу посмотрю. Вдруг важное дело!

Пока Адомас спохватился, Милда перекатилась через него и, набросив халат, побежала к двери.

— Вот куница… — недовольно буркнул он.

Через минуту она вернулась.

— Приходила твоя хозяйка. Тебя в комендатуру вызывают.

— Слышал. Не баба — пожарная сирена. Всю улицу подняла на ноги.

— Вставай! — Милда стащила брюки Адомаса со спинки стула и набросила ему на голову.

— Куда ни спрячься, всюду найдут, — пожаловался он, выбираясь из кровати. Раньше, когда кто-нибудь намекал, что знает о его отношениях с Милдой, он чувствовал себя неловко, а сейчас вроде притерпелся.

— Я завтрак приготовлю.

— Не торопись. У господина коменданта времени хоть отбавляй — подождет. Пускай не думает, что мы из борзых: свистнули — и летим, высунув язык.

III

Господин Рудольф Ропп был чистокровным мемельцем[6]. Его предки поселились в Малой Литве еще в те времена, когда носили фамилию Ропе. На древних литовских землях между устьем Немана и Преголой тогда уже прочно стоял сапог колониста, подкованный рурской сталью. Все Ропе любили свою католическую веру, литовский язык, родную землю, но, увы, их хребет был недостаточно крепок, чтобы выдержать давление культуры колонистов. Хребет был скорее гибок, что вообще-то не характерно для жемайтийских хребтов времен Витаутаса Великого. Деды Рудольфа без особого труда отреклись от католичества, как их предки от языческих богов, и уверовали в реформатора Мартина Лютера, а родители уже стеснялись при людях говорить по-литовски и, мечтая, чтоб их дети вошли в избранное — немецкое, конечно, — общество, отдали их в немецкую школу. Здесь выяснилось, что буква «е» в фамилии Ропе совершенно ни к чему. Над документами произвели небольшую операцию, и малолитовец Ропе стал великогерманцем Роппом. Он уже не говорил по-литовски, хоть и умел, а когда настало время создать семью, женился на чистокровной немке; с ее помощью надеялся положить начало новому роду, потомкам которого не придется краснеть за свое происхождение.

В тридцать третьем году, когда к власти пришел Гитлер, Рудольф Ропп, мелкий чиновник вольного города, мало-помалу стал крупным политическим деятелем: вот он руководит местным отделением нацистской партии, вот организует еврейские и литовские погромы, вот пылко ораторствует на митингах, требуя разогнать литовскую директорию и присоединить Клайпедский край к третьему рейху, — что и было проделано пять лет спустя. Тут бы Рудольфу Роппу почувствовать себя на краю блаженства — цель

была близка, тем более что трое его деток уже будут жить в тысячелетнем раю великой Германии, как обещал фюрер... Увы, оказалось, что подкачал нос (кончик его предательски задирался кверху), да и волосы были не белокурые, как у идеального германца, а черные, и глаза зеленые, а не голубые, хотя измерения черепа бесспорно подтверждали, что он — ариец.

Когда Адомас явился в комендатуру (бывшее здание укома партии), Ропп лихорадочно трудился над своей записной книжкой: недавно он перечитывал «Майн кампф», и в его голове так и роились интереснейшие мысли, которые он аккуратно записывал, дабы идейно совершенствоваться самому и просвещать своих сотрудников. В такие минуты он был настроен на философский лад и позволял себе больше интимности, чем допускала служебная дисциплина.

— Располягайтесь, пожалюйста, — обратился он к Адомасу на малолитовском диалекте, протянув ему крупную ладонь и указав на стул.

— Вы говорите по-литовски? — удивился Адомас.

— Ja, ja. Ein bischen[7]. Мы, немцы, не стыдимся ничего, что полезно для нашего фатерлянда.

— Вы, наверно, родом из Клайпеды? Я бывал в Клайпедском крае. Еще гимназистом, с экскурсией. Там почти все литовцы владеют немецким, — ответил Адомас, проникшись симпатией к коменданту.

— Aber nicht alle Deutsche verstehen Litauisch[8],— возразил Ропп, противореча самому себе.

— Ja, natürlich[9],— согласился Адомас. — В немецких гимназиях не учат литовскому. А мы зубрим немецкий, начиная с первого класса. «Но говорить не умеем», — зло подумал он.

Ропп уставился поверх позолоченных очков на Адомаса; черты лица стали строже: чутье всегда

вовремя предупреждало его, что возникает опасность нарушить дистанцию между собой и подчиненным, и в нем тут же автоматически включались необходимые тормоза.

— Оставим школу детям, — сказал он с неожиданной суровостью, листая свою записную книжку. — Судьба новой Европы решается не в классах, а на поле брани, Herr Polizeichef[10].

На устах Адомаса погасла улыбка. Он машинально кивнул.

— Подсчитано: до сих пор большевистская армия потеряла примерно полтора миллиона человек. Взяты Витебск, Смоленск, окружен Петербург. Немецкие потери ничтожны до смешного. В середине августа мы будем в Москве. Мировая история не знает побед такого масштаба!

— Ja, das ist wunderbar[11],— согласился Адомас, хотя мало что понял: комендант сыпал скороговоркой, глотал слова.

— Германия призвана свершить историческую миссию. Мы, немцы, создаем и помогаем другим создавать новый порядок, когда хозяином станет полноценный человек, выдержавший испытание на отбор. Мы уничтожим прогнившую демократию плутократов и диктатуру славянских подонков и на их место поставим личность, поскольку «не масса и не большинство изобретает и мыслит, а всегда только отдельный человек, личность», как учит нас фюрер. «В творении, будь оно материальным или интеллектуальным, из области мира мыслей, ценнее всего сам творец как личность».

— Ja, ja, — кивал Адомас.

Ропп нажал на кнопку.

Вошел солдат.

— Переводчика!

Переводчик оказался седым человеком в хорошо сшитом штатском костюме; он говорил с жемайтийским акцентом.

Ропп повторил свой монолог и, пока говорил переводчик, внимательно следил за Адомасом, которому было неуютно под тяжелым, изучающим взглядом коменданта.

— Мне понятна ваша политика…

— …и идеология.

— Да. Литовцы никогда не забудут, кого они должны благодарить за то, что снова развевается наш государственный флаг и мы без опаски поем свой национальный гимн, господин комендант.

— Не знаю… — Ропп встал. — Во всяком случае, я лично в этом не убежден. До меня доходят вести, что отношение коренного населения к немецким солдатам не таково, как в первые дни после освобождения. Цветы, которыми вы засыпали нашу армию, когда она перешла границу, давно увяли, а новых что-то не видно. Немецкие солдаты едят литовское сало и яйца, но даром им этого не дают: они должны выменивать их у крестьян на табак и сигареты. Ваши девушки очаровательны, милы, но они почему-то не замечают, что армия фюрера состоит из здоровых мужчин, для нормальной жизни которых недостаточно сытного обеда… Если мы хотим поднять боевой дух солдата до максимума, надо, чтоб он чувствовал себя как дома. Увы, увы… — Ропп обошел вокруг стола, чуть не задев плечом Адомаса. Это был стройный, среднего роста человек, он старался держаться истым немцем, но в движениях и в речи сквозили жемайтийская медвежеватость. Ропп остановился перед портретом Гитлера, несколько мгновений постоял, благоговейно, как перед алтарем, и снова сел. — Я не собираюсь делать из вас агитатора, господин Вайнорас, как тут поступали с вашими литовцами большевики, но вы

обязаны приложить все силы, чтобы население поняло, перед кем оно в долгу за свободу.

Адомас слушал, глядя в сторону, не соглашался с комендантом, однако кивал:

— Понятно, ясно… Ja, ja…

— Германия должна получить грамм в грамм все продукты по государственному плану поставок. Предупредите крестьян, что каждый, кто оставит в поле хоть сноп, ответит перед военно-полевым судом. Ваша земля при немцах должна дать урожай не меньше, чем при Сме-тоне. Если крестьяне будут заниматься саботажем, отвечать придется вам, господин начальник полиции.

— Мне? — Адомас помрачнел. — Я могу отвечать только за себя и заранее уверяю вас, господин комендант, что сам не намерен саботировать. А что касается населения, то все будет зависеть от дальнейших обстоятельств. Большевиков на литовской земле тоже встречали цветами, а провожали…

Ропп вздрогнул и испытующе посмотрел на Адомаса.

— Большевики не выполнили обещаний, данных нашей нации, — продолжал тот, подавляя растущее раздражение. — Наши люди отлично помнят, что вещали по радио из Германии. Если вам угодно, я могу слово в слово повторить одно место из воззвания временного правительства Литвы к народу: «Мы хотим быть независимыми, мы готовы жертвовать собой и все отдать Литве». Народ подумывает, что пора бы осуществиться этим словам; поскольку это не так, люди скоро разуверятся и в немцах и в нас.

Пока Адомас говорил, Ропп нервно сжимал короткие толстые пальцы. Потом повернулся вместе со стулом к переводчику, примостившемуся у края стола.

— Странная нация! — Обращенная к Адомасу щека подергивалась. — Окажите любезность, подарите нам независимость… Как поношенные штаны пли пару

чулок… Вильсон в восемнадцатом оказал вам такую любезность, но дареной вещью не дорожат. Финны все поднялись, а вы протягиваете руки да еще благодарите, что вам надели наручники. Нет, господин начальник полиции, независимость нельзя выклянчить, ее надо завоевать!

— Декларация Вильсона осталась бы пустой бумажкой, если бы наши отцы не поддержали ее оружием. В братских могилах покоятся тысячи литовцев. А про сороковой год… лучше не будем. Вы же сами знаете, что истинные литовцы не благодарили…

— Зачем вы мне все это говорите? — Ропп с презрением смотрел на Адомаса поверх очков. — Мы же не за столом дипломатических переговоров. Я пригласил вас, чтобы вы приняли меры во избежание возможных неприятностей. А вы, вместо того чтобы трезво расценивать обстановку, начинаете философствовать.

— Это не философия, а факты. — Адомас хотел встать и уйти: вызывающее поведение коменданта бесило его. — Народ ждал свободы, и если вместо нее он получит… Простите, господин комендант, чем тогда его убедить, что все должно быть так, а не иначе?

— Пулями! — Очки Роппа холодно сверкнули. — У нас их достаточно, господин начальник полиции.

— Пулями? — машинально повторил Адомас.

— Кто не с нами, тот с большевиками. Третьего пути нет. Мы, немцы, призваны свершить историческую миссию — очистить мир от неполноценных людей и положить начало эре сверхчеловеков. Вы знаете, что сказал фюрер в книге «Майн кампф»? Арийская раса, как самая ценная часть человечества, должна похоронить под руинами прежней цивилизации все неполноценные расы. Те литовцы, которых не испортила славянская или еврейская кровь, входят в число арийцев и смогут влиться в великий германский

народ, принять его культуру и пользоваться благами германской цивилизации.

— Или, говоря проще, они станут немцами, — мрачно заметил Адомас.

— Да, кто этого достоин. — Ропп снисходительно покачал головой. — Для представителей малого отсталого народа это — счастье. Вы должны быть благодарны судьбе за будущее своих детей и внуков.

Адомас крепко стиснул руки. Ногти впились в ладони.

— Благодарю за откровенность. — Он встал. — До сих пор мы многое представляли себе иначе.

— Я сказал больше, чем следовало. — Комендант встал со стула и протянул Адомасу руку. — С умными партнерами люблю играть открытыми картами, Негг Polizeichef. Heil Hitler!

— Heil… — буркнул Адомас.

IV

Его кабинет был на втором этаже. Адомас тяжело переставлял ноги по ступеням, держась за шаткие перила, которые скрипели от малейшего прикосновения, и от этих звуков, от невыветриваемого запаха казармы его подташнивало. «История не знает примеров, чтоб один народ по доброте сердечной освободил другой…» Гедиминас прав. Но что мы могли сделать? Бугянис сказал бы: «Желаем мы того или нет, все равно произойдет то, чему положено, господин начальник; Юозасу Бугянису не двинуть колесо истории ни вперед, ни вспять; он может только глядеть в оба, чтоб это колесо не раздавило его самого…» Философия теленка, ведомого на убой… «Нет уж, господин комендант! Пока мы еще хозяева на своей земле, а вы — только гости, и мы постараемся вам это Доказать!»

Адомас без стука нажал на ручку и вошел в кабинет, в котором, как обычно, когда начальник отсутствовал, расположился вахмистр Бугянис.

Это был щуплый человечек неприметной наружности, но весьма энергичный, желчный, с военными повадками, которые он принес из сметоновской армии вместе с чином унтер-офицера. До событий сорокового года он служил в городском самоуправлении, но новая власть уволила его — пришлось дробить камни на строительстве дороги.

Увидев Адомаса, Бугянис вскочил и отдал рапорт. Он болезненно соблюдал воинскую дисциплину и часто выглядел при этом смешно.

— Как изволили почивать, господин начальник? — спросил он после официальной части. — Вчера мы вас видели в «Трех богатырях», надо сказать, в дымину.

— Какое твое дело! Все мы напиваемся.

— Но не до такой степени, не до такой степени, господин начальник. Оба вы с Джюгасом были хороши — тепленькие, как вареники под подушкой.

— Кой черт тебя по ресторанам носит, коли ты святой!..

— Ну и ну, он ничего не помнит! — Бугянис резко повернулся, зашагал к двери, потом снова к столу. Он метался по комнате, словно за ним гонялся пчелиный рой; если не знать его, могло бы показаться, что Бугянис до крайности взволнован. — Ропп велел вас отыскать, чтоб вы сегодня в девять были в комендатуре. Сейчас одиннадцать. Немцы любят пунктуальность.

— Тоже мне немец…

— А кто же он?

«Онемеченная жемайтийская свинья…» Адомас вяло сел. Стул был еще теплым, и его снова затошнило, как на лестнице. «Проклятое похмелье».

— Пуплесиса приведи, — приказал он, не повернув головы. — И Жакайтиса, — добавил он, немного подумав.

Бугянис щелкнул каблуками, однако с места не тронулся.

— Что еще не ясно, черт возьми? — рассердился Адомас. — Приказываю доставить арестованных Матаса Пуплесиса и Пятраса Жакайтиса!

— Слушаюсь! Доставить Пуплесиса и Жакайтиса! — Бугянис выпятил грудь и, повернувшись на одном каблуке, строевым шагом покинул комнату.

Адомас злобно глянул ему в спину: он не любил Бугяниса за многое, но больше всего за то, что никогда не мог понять, говорит тот всерьез или валяет дурака.

«Может, надо было с ним посоветоваться?»

«— Как считаешь, Юозас, куда немцы денут тех, чьи черепа скроены не по установленным стандартам?

— Ха-ха! Таким мы уже нацепили желтые звезды, господин начальник! Скоро загоним в гетто, пускай займутся полезным для нации трудом!

— А ты уверен, что твой череп соответствует всем нормам?

— Чихал я на это! Я не из тех дураков, которые ломают себе голову над завтрашним днем и рассчитывают жить вечно. Юозас Бугянис простой смертный. Сегодня он есть, а завтра его может и не быть, поэтому он признает только сегодня. Смысл жизни? Если успел (пока не закатилось твое солнце) перекусить глотку тем, кто в свое время рыл тебе яму, то более осмысленной жизни и желать не надо, начальник».

(«Говорят, человеку нужны способности, разум, а оказывается, главное — зубы!»)

Адомас тяжело встал и подошел к окну. Базарная площадь была забита телегами и людьми. В открытую

форточку жаркий полуденный ветер доносил острый запах мочи и шум базара.

«Люди… Один язык, одна нация, одна родина — все это мы учились любить с детства. Сколько их соберется на эту площадь лет через десять? Половина? Треть? А может, еще меньше — смотря по тому, с каким рвением будем пользоваться пулями, которые любезно предложил нам господин комендант…»

Он снова вспомнил свой сон и ту ночь, когда сделал то, чего, по глубочайшему его убеждению, нельзя было избежать. Сейчас он не видел летчика, а только чувствовал его — бессильное тело тяжелой глыбой давило на плечи. («Тяжелей ли было нести крест Иисусу Христу?») Чужое сердце — крыло раненой птицы — стучало в спину, и Адомасу казалось, что это эхо собственного сердца. Он удивлялся — они же не в горах, не в лесу, а в мягкой, пахнущей сеном темноте гумна. Его шаги тоже были мягкие, упругие, как неслежавшийся стог, но ему чудилось, что земля под ногами грохочет (он идет по какому-то барабану, черт возьми!), грохот вот-вот поднимет на ноги всю деревню, сейчас сбегутся люди… Уже слышны шаги за дверью!..

Ввели арестованных.

Адомас трясущейся рукой вытер лоб.

V

Бугянис вытолкнул арестованных на середину комнаты, приказал стать смирно.

Адомас вынул из кобуры пистолет и положил на стол.

— Ты свободен, Юозас.

— Я? — Бугянис удивленно выпучил глаза.

Адомас кивнул.

— Садитесь, — сказал он арестованным, когда Бугянис, обидевшись, вышел.

Пуплесис шагнул к письменному столу.

Адомас положил руку на пистолет.

— Туда, — указал он головой на противоположную стену, где стояли два стула.

Арестованные сели. Пуплесис — спокойно, уверенно, словно у себя дома на скамеечку, где обычно сучил веревки, Жакайтис — боязливо, словно сомневаясь, не ослышался ли. Оба заросли густой щетиной; одежда превратилась в лохмотья — одни дыры, без пуговиц — и издавала зловонный запах; чуть не месяц они провели в тесном подвале, не умывались, там ели, там же и нужду справляли. На отекших, отупевших лицах виднелись следы незаживших ран — Бугянис с ребятами потрудились на славу — и свежий синяк под глазом у Пуплесиса.

Жакайтис был в форме милиционера, в которой ушел, собираясь погибнуть или вернуться победителем. Однако не выдержал первого же испытания и вернулся предателем. Сидел он как-то скособочившись, склонив на плечо свою большую, продолговатую голову, словно ее не держала тонкая шея. Матас Пуплесис смахивал на непропорционально сложенного карлика: ростом меньше Жакайтиса чуть ли не на треть, но косая сажень в плечах; силы он был необычайной. Жители Лауксодиса называли его Кедроном, — напившись, он любил распевать псалмы, особенно про реку Кедрон. Человек он был на язык острый, щедро наделенный соленым мужицким юмором да еще и талантом циркача. Он мог выпить на пари двадцать сырых яиц с пивом и закусить битым стеклом с гвоздями. После этого ложился посреди двора, на него клали дверь от сеновала, и по такому своеобразному мосту проезжала телега, битком набитая соседями. У Пуплесисов было шестеро детей; старшей, Мигле-Дарате, стукнуло

девятнадцать, а младшему, Витаутасу-Йокубасу, — четыре. Матавушас Пуплесис был закоренелым безбожником, а его жена Тересе горячо веровала в бога, но из-за этого в семье не возникало особых неполадок, хотя оба в душе презирали друг друга и считали, что большего дурака (дуры) днем с огнем не сыщешь во всей Краштупенайской волости. Когда рождался ребенок, Пуплесис самолично выбирал ему имя, и непременно языческое, но когда приходило время крестить, Пуплесене вставала на дыбы, и в церковные книги младенца записывали с двумя именами, к безбожному непременно присовокупляя христианское. Первый год каждый упорно величал младенца тем именем, которое выбрал сам, но потом оба убеждались, что другая сторона не уступит, и начинали называть двумя именами сразу. Жителям Лауксодиса, не склонным к многословию, это, разумеется, было не по нутру. Всегда находился языкастый деревенский лингвист, который, умело обрубив слоги, так склеивал оба имени, что новое образование тут же прививалось во всей округе. Таким образом из Миглы-Дараты сделали Миграту, Кестутис-Казимерас стал Кестумерасом, а Витаутас-Йокубас превратился в Викураса.

Адомас молча глядел на арестованных. «Могло их тут и не быть, как и тех восемнадцати, которых Бугянис со своими парнями прикончил двадцать седьмого июня».

— Давно бы вас надо расстрелять, — сказал он. — Заслужили! Изменникам родины — высшая мера. Даже суд не нужен. Но я такого мнения, что гнев плохой советчик. Поэтому следует вас отдать немецкой политической полиции. Там бы выяснили, хвастаешься ты, Жакайтис, или на самом деле ухлопал Марюса Нямуниса. А ты, Пуплесис, сразу стал бы шелковым, и мы бы узнали, как ты усердствовал на благо своего

сельсовета, и вообще — шишки покрупней тебя виноваты или ты сам руку приложил, чтоб запихнуть Гульбинасов в вагоны для скота.

Жакайтис беспокойно заерзал. В круглых глазах мелькнула надежда.

— Господин Вайнорас… начальник… Я, правда… готов делом доказать… — заблеял он, пытаясь встать.

Пуплесис повернулся к нему спиной и снова застыл. Тяжелые, крупные руки лежали на коленях, как ломти копченого окорока.

— А ты что думаешь, Пуплесис? — спросил Адомас.

— Я-то? — Пуплесис даже не дрогнул, даже не посмотрел на Адомаса. — Неужто важно коту, о чем думает мышь?

— Не хитри, старик. Хочу поговорить с тобой по-человечески.

— Если по-человечески, то скажу, что вспомнил чудный летний денек, когда косил у твоего отца клевер. Тогда ты был лягушонком лет шести. Так уж случилось, что набрел я на спящего зайца и нечаянно полоснул его косой по задним лапам. Отчикнул обе по колено. Ты тогда меня поколотил — хорошим был драчуном, ничего не скажешь, — а потом ревел, обняв зайца. Нежные мы были тогда…

— Разжалобить хочешь? — Адомас сурово глянул на Пуплесиса, однако в голосе его не было гнева. — А сам-то, как погляжу, ничуть не разжалобился. Изменил своей нации, якшался с врагами, помогал чужим грабить своих, а теперь разглагольствуешь о заячьих лапках.

— Я выполнял приказы своей власти, как ты своей.

Адомас покраснел.

— Выполнял! Ты перед ними выслуживался! — зло крикнул он. — Благодари бога, что ты просто глупый шут. Иначе давно бы вывели тебя в расход.

Пуплесис не ответил.

— Доживаешь свой век, а не можешь понять, глупый ты старик, что овцам место в одном закуте с овцами, коровам с коровами и ни тех, ни других нельзя смешивать с волками, — уже мягче продолжал Адомас. — Мы — маленькая нация, живем между двумя исполинами, как горстка зерна между жерновами. Должны быть стальными, чтоб нас не перемололи. Наша сила — в единстве. Русские навязали нам классовую борьбу, науськивали брата против брата, чтоб мы перерезали друг другу глотки, — тогда им легче будет править. Кое-кто («скажем, господин комендант») и сейчас хотел бы (вести подобную политику, разумеется, с другого конца, но мы не позволим! Да, не позволим... Временное правительство Литвы в своем обращении к народу ясно высказалось по этому вопросу: такую роскошь — междоусобную резню — могут себе позволить только стомиллионные народы, а нам дорог каждый человек. Мы хотим всех заблудших вернуть в лоно нации, — конечно, если они не ярые враги, умеют оценить нашу добрую волю и готовы доказать на деле...

— Я готов! Я уже говорил, господин начальник, что готов!.. — вскочил Жакайтис. — Будто я по своей воле служил в милиции да помогал землю делить? Уговорили, подбили... Слепой был!

— Если бы немцы не отрезали дорогу, вряд ли бы ты прозрел, — желчно усмехнулся Адомас. — Хватит об этом. Вижу, что раскаиваешься, хотя кое в чем, может, и врешь, как пес. Горбат, но молод — время выправит. В полиции служить хочешь?

Жакайтис стоял, понурив голову. Небритое лицо странно подергивалось.

— Могу... Все могу, господин начальник... — всхлипнул он. Его ноги подкосились, и медленно, словно его придерживала за шиворот невидимая рука, он упал на колени рядом со стулом.

— Встань, черт подери! — в ярости крикнул Адомас. — Тряпка! Нам мужчины нужны, не бабы.

Жакайтис вскочил.

— Пошел вон! Слышишь! — Адомас положил руку на пистолет. — Найди дежурного и позови сюда.

Жакайтис, ошалело поглядывая по сторонам, бочком выбрался из кабинета.

— Вот видишь, каковы столпы вашей власти, лапочка, — сказал Адомас Пуплесису, который сидел, словно деревянный истукан; только глаза, поблескивающие исподлобья, показывали, что под толстой корой дерева не прекратилась жизнь. — Таких, как Жакайтис, в Литве тысячи. Что ты на это скажешь?

Мертвая кора дрогнула, и на ожившем лице появилась кривая ухмылка. С таким выражением Пуплесис обычно жевал стекла.

— Умнее не скажешь, как есть, господин начальник. Жакайтис недавно на молоденькой женился, сам молодой, медовый месяц у парня, так сказать, — может, и стоит из-за этого шкуру менять, а я за свою старуху такой цены не дам.

Адомас сунул пистолет в кобуру.

— А может, дети этого стоят?

Пуплесис вздрогнул, но продолжал смотреть на Адомаса в упор. Кулаки на коленях мучительно вздрагивали.

— Дети и без меня вырастут, господин Вайнорас. Чем труднее им в жизни придется, тем крепче будут помнить, кому за это обязаны.

— А мы не хотим, чтобы помнили. — Адомас встал. Ему стало весело. — Убирайся-ка подобру-поздорову — рожь косить пора! Какой ты нам теперь враг? Кузнечик! Скачи не скачи, военную машину не остановишь, хоть под колеса ляг. А может, думаешь, большевики еще вернутся?..

Пуплесис повертел головой, — нельзя было понять, соглашается он или нет.

В эту минуту с шумом открылась дверь и в комнату ввалился Жакайтис, а вслед за ним — Бугянис, выставив пистолет.

— Господин начальник, этот тип... я его задержал... Что тут творится, к чертям собачьим, господин начальник?!

— Жакайтис, как мне кажется, желает потрудиться для нас, — спокойно объяснил Адомас и, повернувшись к Пуплесису, добавил: — Тебе придется ежедневно отмечаться в полиции, а потом видно будет. Жакайтис!

Тот подскочил, словно наступив на змею.

— В Каунасе организуют трудовые батальоны. Набирают добровольцев на военные стройки. Удобный случай, чтоб искупить свои грехи перед родиной. Понял?

— Понял, господин начальник... Искуплю...

— Анархия! — возмутился Бугянис. — Вы бросаете горящие спички в пороховую бочку, господин Вайнорас!

«Милда будет довольна», — с иронией подумал Адомас.

Глава четвертая

I

В исполкоме Марюс сказал:

— Мы организовали курсы ликбеза, товарищ учитель. Ты не сможешь раз в три дня пожертвовать двумя часами?

Гедиминас через силу улыбнулся.

«Было время, когда мы звали друг друга по имени. Теперь между нами стол и девушка, которую мы оба

любим».

— Вы теперь начальник, можете приказать…

— Советская власть не приказывает своим друзьям.

Марюс три года ходил к Гедиминасу, когда тот приезжал на каникулы, показывал ему тетради, полные каракулей, и каждую осень сдавал экстерном экзамены за очередной класс.

Что бы ни случилось, он этого забыть не сможет.

— Нужны ли при советской власти три класса гимназии, чтоб занимать пост председателя волисполкома? Сейчас модно не чистить ногти, не носить галстук, не умываться, ходить в мятых штанах и корчить из себя пролетария, обиженного буржуазией.

— В каждой избе свои мухи, черт подери. Настанет час, переведутся. Мы уж постараемся, товарищ учитель, чтоб такое время пришло поскорей. — Взгляд у Марюса жесткий и тугой, как натянутый канат, тяжелые, жилистые кулаки лежат на столе, — вот-вот бросятся в бой и действиями докажут свою правоту.

Позднее Гедиминас увидел такие кулаки в классе. Их было много. Они парами лежали на школьных партах, словно усталые коровы на выгоне, объеденном до черноты. Зачем они сюда пришли, эти пожилые люди с морщинистыми лицами? Эти женщины, которые до той поры рожали и хоронили своих детей, не умея нацарапать своей фамилии? А их обомшелые мужья, которые днем потели за станками в мастерских или таскали мешки на станции? Неужели они думают, что посидят два часика за школьной партой — и хлеб станет сытнее?

В такие годы… как дети… Ведь смешно, товарищ учитель? — сказал какой-то здоровяк, когда Гедиминас взял его ручищу с карандашом и показал, как правильно пишется слово.

Со лба здоровяка катился пот, лицо побагровело от натуги. Усталый и отчаявшийся, смотрел он на

разбегающиеся буквы и думал, что каждая из них — тяжелей товарного вагона, сотни которых он разгрузил за свою жизнь. Но отступать было поздно. Словно каторжник камни, он будет подкатывать букву к букве, сцепляя их в тысячепудовые слова, покуда мертвая бумага чудодейственно не заговорит.

Его мучил духовный голод.

Гедиминас посмотрел в жадные, по-детски застенчивые глаза и, охваченный странным беспокойством, ответил:

— Учиться никогда не смешно, друг.

Все головы, сколько их было в классе, оторвались от тетрадей и повернулись к Гедиминасу. В глазах были все та же ненасытная жадность и детская застенчивость.

«До сих пор я не знал людей», — с удивлением подумал Гедиминас.

Дня за три до того он побывал в деревне. У дороги босой крестьянин в холщовой рубахе сеял рожь. Шаг его был легок, взмахи широки, лицо празднично-торжественно. Каждый год, осенью и весной, он сыпал зерно в тоскующую по семенам землю, но все в чужую, а теперь впервые засевал свое поле.

— Это моя земля, товарищ учитель. Вон на пригорке в будущем году избу срублю, а возле нее посажу сад! Вы понимаете, что такое своя земля и своя изба, когда у тебя четверо ребят?

— Ну, конечно, вам теперь не придется батрачить…

— Нет, вы ничего не понимаете. — Крестьянин присел на корточки и обеими ладонями, словно лаская, погладил рыхлые комья пашни. — Землица ты, землица! Бросишь ей одно зерно, а она тебе — десять. Родная мать не бывает щедрее с дитем… — Его губы шептали, словно молитву, а глаза горели священным голодом. Как у тех, что собрались в классе, чтобы разгадать тайну грамоты.

Когда он, зачерпнув в лукошко семян, ушел по пашне, Гедиминас долго не мог оторвать зачарованного взгляда от фигуры в холщовой рубахе, которая удалялась, разбрасывая обеими руками солнечные лучи зерен.

«Этот человек мог бы отрезать ломоть своей земли и есть ее, как хлеб. Он обалдел от счастья. Когда видишь его, впору усомниться, знавал ли ты раньше действительно счастливых людей…»

Марюс сказал как-то, — тогда между ними еще не стояла женщина:

— Нация, нация… Твоя нация, Гедиминас, разделена на погонщиков и волов. Пока не рухнут эта преграды, литовец будет пахать на литовца, а наша Литва будет стучаться с сумой в чужие ворота.

Неужели большевики расшатали эти непреодолимые преграды?

Гляжу, не веря сам себе, —
ужели это та страна,
которую обрел в душе,
мечтая по ночам без сна?

Поздно вечером, вернувшись с курсов, Гедиминас открыл пожелтевшую папку, набитую тетрадями. Где-то копошилась мысль, что так поступать не следует, что это святотатство и он изменяет всему, чем жил и во имя чего жил, но перед глазами стоял крестьянин в холщовой рубахе, бросающий в землю лучистые зерна, пожилые люди за маленькими партами, и Гедиминас не смог устоять перед непонятной силой. Так бывало всякий раз, когда его охватывал душевный подъем, и, не умея удержать его в себе, он доверял свои чувства бумаге.

Стихотворение показалось ему удачным; в папке было их несколько сотен — литературные опыты за десять лет, в том числе — правда, всего несколько — опубликованных, но последнее стихотворение, пожалуй, было лучшим.

«Надо бы предложить его в газету».

На следующий вечер Гедиминас перечитал стихи.

Они уже не казались ему такими удачными.

«Что ни говори, неладно будет, если приятели увидят его в печати. Разве что под псевдонимом…»

А потом он встретил этого человека. Казалось бы, ничего особенного — таких людей вокруг было полно, Гедиминас часто с ними сталкивался, да и наслушался всякого. Но этот человек слишком уж смахивал на того мужика в холщовой рубахе, который мог отрезать ломоть своей земли и есть ее, как хлеб. Этот тоже был в холщовой рубахе, босой — влюбленный в свою землю работяга. Давным-давно, когда его дети были маленькими, этот работяга нанимал батрака и девку, а сам вставал на час раньше и ложился на час позже, чем они. Он был кулаком. Когда дети подросли, с хозяйством управлялись сами. Но все равно он был кулаком, земли у него было больше, чем позволял теперь закон.

— Лучше б отобрали эти лишние гектары, раз такой закон у новых властей, — жаловался он Гедиминасу. — Но зачем человека без ножа резать? Кулак, угнетатель, богатство на чужом поту нажил… А землю-то мне родители оставили, а им — ихние! Если хотите знать, мои ноги до первого ледка не знали обувки, а батрак босиком из избы ногой не ступит: обуй нас, так положено! Был человек человеком, вроде бы уважали, не ругали, а теперь сразу зверем стал.

Гедиминас вернулся к себе сам не свой.

«Марюс, а может, твои погонщики поменялись местами с волами?»

Он вынул из папки тетрадь, перечитал стихи.

Мужик в холщовой рубахе стоял посреди пашни, как памятник. Руки были расставлены, словно он хотел обнять землю, но из ладоней уже не струились солнечные лучи.

Гедиминас выдрал из тетради листок со стихотворением и разорвал его.

II

В начале третьего триместра его вызвали в горком партии.

Он догадывался, чем это пахнет: директор не раз отчитывал его за то, что он увиливает от общественной работы, а комсорг гимназии на заседании педсовета открыто поставил ему в вину подрыв авторитета комсомольской организации. И еще не так давно гороно напомнило, что следует неукоснительно придерживаться инструкции Комиссариата просвещения и не протаскивать «идеалистический балласт», изъятый из программы.

В горком партии он отправился в смятении, но полный решимости отразить все обвинения. Избегаю общественной работы? Да, госпо... товарищ секретарь, работа, в которой не вижу смысла, приводит меня в ярость. Все эти собрания, митинги, вопли с трибуны... Беготня, организация, реорганизация... Какой-то бесконечный базар, на котором кто-то, возможно, и набьет себе цену, но только не учитель. И, разумеется, не ученик. Они ведь тоже вовлечены в этот политический кагал, в котором хватает времени на все, кроме уроков. Я считаю, что долг учителя — передать свои знания ученику, а долг ученика — усвоить их, а не политиканствовать, товарищ секретарь. Что же касается авторитета комсомола, то это чистейшее

недоразумение. С какой стати мне ставить хорошую отметку комсомольцу, если он учится плохо? Чтоб комсорг сказал: «Вот какая союзная молодежь! В дневниках за весь триместр ни единой двойки!..» Понимаю, это привлечет больше молодежи в комсомольскую организацию, но ведь не умножит знаний ученика. Я — добросовестный учитель, товарищ секретарь. И отсюда, наверное, еще одно, не менее тяжкое обвинение — что я, мол, не соблюдаю инструкции Комиссариата. Частично — да. Но согласитесь сами, программа истории Литвы сильно урезана, из нее изъят целый ряд важнейших моментов, без которых неполно выглядит историческая истина. Как педагог я не имею права вводить учеников в заблуждение, а как литовец не могу с чистой совестью ступать ногами по святым местам.

Гедиминас не надеялся, что в горкоме партии его поймут (политика остается политикой...), но верил, что сможет убедить товарища Гавенаса в своих благих намерениях. Не плюнут же ему там в лицо так, как плюнул директор гимназии Умила: «Ваша биография, учитель Джюгас, должна бы больше обязывать. Сестра замужем за помещиком, отец — доброволец, да еще награжденный крестом, а сами вы, сдается, в университете были в неолитуанах[12]. Хорошенький букет, ничего не скажешь, хе-хе...» Букет букетом, но Гедиминас хотел только, чтоб его правильно поняли: он ведь все делает от чистого сердца, убежденно, здесь нет тайного умысла или злой воли; он не умеет лицемерить и приспосабливаться, он лишен талантов тех поверхностно мыслящих, беспринципных людей, которые за один час меняют «свою» идеологию, словно сорочку в предбаннике, чтобы потом, при надобности, снова натянуть ее, грязную, но второпях отутюженную, на свою гибкую спину. Увы, он не таков. Он должен

сперва вытравить из мозга и сердца все, чем жил до сих пор, принять чужую правду как собственную, неизбежную необходимость и только тогда уже броситься перед ней на колени и молиться, как молился своим старым богам. Товарищ Гавенас, бесспорно, не оправдает его, Гедиминаса, но он ведь, говорят, толковый человек и должен бы понять, что открытый враг (если придерживаться большевистской формулировки: «Кто не с нами, тот против нас») менее опасен и более достоин уважения, чем двуличный друг, который и другом-то стал по принуждению или из трусости.

Психологически подготовившись таким образом, Гедиминас вступил в кабинет секретаря, в котором когда-то царил бургомистр Берженас. Как все изменилось здесь! Вот в углу квадратный стол с четырьмя мягкими кожаными креслами. Раньше он был застлан зеленым сукном, и на столе до поздней осени стояли живые цветы, которые каждое утро приносил и ставил в воду сам городской голова. Теперь стол накрыт красной тканью; а посреди него, как знак победы, красный флажок. Твой уютный дом — уже не твой дом. Со стен сорваны драгоценные семейные реликвии и развешаны другие: портреты государственных мужей чужой державы, чужой герб, чьи-то чужие слова белыми буквами на красной ленте через всю стену. Все холодное и чужое!

Увидев посетителя, Гавенас встал за массивным дубовым письменным столом и скупым взмахом руки предложил сесть. Он был среднего роста, поджарый, с продолговатым, сухим, скуластым лицом. Довольно яркое, запоминающееся лицо, хотя нельзя было понять, какого цвета у него глаза. Вообще-то казался он человеком любезным и интеллигентным, но, несмотря на все его усилия держаться непринужденно, напрашивалась мысль, что он все время волнуется,

робеет, чувствует, что это замечает собеседник, и оттого еще больше раздражается и злится на самого себя.

Несколько общих фраз — погода, здоровье, как вообще жизнь, сожаления, что не довелось познакомиться раньше. Гедиминас отвечал осторожно, но искренне и ждал, когда же посыплются упреки, но Гавенас держал себя так, словно ему опостылел этот просторный кабинет и он пригласил постороннего человека единственно для того, чтобы рассеяться.

— Подчас меня удивляет сдержанное отношение некоторых слоев нашей интеллигенции к советской власти, — говорил он, — Я имею в виду людей, вышедших из народа, в худшем случае связанных кровными узами с мелкой буржуазией, но в годы правления Сметоны выступавших против режима таутининков[13] понимаю, нелегко перестроиться человеку, потерявшему старые ориентиры, но как можно закрывать глаза на факты? Ведь тем, кто любит свой народ — а та часть интеллигенции, о которой я говорю, во времена Сметоны горько сокрушалась именно о судьбе литовского народа, — должно быть ясно, что советский строй дал народу Литвы то, чего никакой иной строй никогда бы не дал. Я, товарищ Джюгас, человек без национальных предрассудков, но я все-таки попытаюсь взглянуть на наше время глазами интеллигента, не порвавшего с подобными предрассудками. Возьмем для начала землю, главное достояние народа. Мы роздали имения, а среди помещиков был гораздо меньший процент литовцев, чем среди бедноты. Что скажут на это люди, которые во время Сметоны кричали, что литовец по-прежнему батрачит на чужих господ, а теперь все-таки косятся на советскую власть? Потом: право на труд, отдых, на бесплатное лечение и образование. Нация получила

много, чертовски много, товарищ Джюгас. Таковы факты, и они неоспоримы. Подчас мне кажется, что люди, не видящие всего этого, охвачены какой-то непонятной для нас манией.

Гавенас замолк и вопросительно посмотрел на Гедиминаса. «Это про меня, — подумал тот. — Но почему вокруг да около, товарищ секретарь?»

— Не знаю, — сказал он вслух. — Человек, товарищ секретарь, странное создание. Одного озолоти, а он недоволен, другому для счастья достаточно посоха странника и неба над головой. Каждый по-своему маньяк.

— Прошу меня извинить. — Гавенас чуть улыбнулся. — По специальности я профессиональный подпольщик, хотя приходилось работать и бухгалтером. Области, далекие от искусства, так что мне не по зубам аллегории.

Я думаю, что эта мания, как вы выразились, называется национальным самолюбием. Да, наша нация много получила от советской власти. Безземельные получили землю, рабочие — работу, право на бесплатное лечение, учебу и так далее; но те интеллигенты, которые, говоря вашими словами, всего этого не видят, наверное, считают, что, получая все эти блага, нация потеряла главное — государственность.

— Простите, я полагаю, вы хотели сказать — независимость? — осторожно переспросил Гавенас.

— Можете понимать и так, эти два понятия не существуют друг без друга.

— Независимость буржуазной Литвы! — Гавенас от души рассмеялся. — Вы всерьез верите, что она была? Свободная, независимая Литва — с самостоятельной иностранной политикой, со своей экономикой? Короче говоря, государство, а не вотчина западных монополистов, климат в которой зависел от иностранного капитала?

— Пускай она была вотчиной монополистов, но у нее был свой лит[14], своя армия, и когда министр иностранных дел этой вотчины прибывал в другое государство с официальным визитом, перед ним выстраивали почетный караул.

— Вы чувствительны к внешнему блеску, товарищ Джюгас. Но простой народ, по-видимому, считает иначе, раз он поставил крест на мнимой независимости, которая, по сути дела, была только независимостью правящей верхушки.

«Поставил крест… когда вошла чужая армия…»

Гедиминас криво усмехнулся.

— Не поймите меня превратно, товарищ секретарь, — сказал он. — Когда-то я придерживался националистических взглядов. На первом курсе университета даже числился в корпорации неолитуанов. Ненавидел поляков, не любил русских и немцев, с уважением относился к англосаксонским народам, обожал все литовское. А потом понемногу пришел в чувство. Увидел, что тем, кто правит Литвой и говорит нашей нации красивые слова, эта нация нужна лишь затем, чтобы, спекулируя на ее имени, набить карманы деньгами, купить поместье, погулять за счет народа на заграничных курортах. Увидел, как мой отец по три дня выстаивал в очереди, чтоб сдать беконную свинью, как дрожащими руками пересчитывал каждый лит (хватит ли на налоги и за мое обучение?), а студенты — сынки высокопоставленных чиновников — спускали за вечер больше, чем наше хозяйство в полгода выручало за молоко. Мне приходилось видеть мужиков, покидающих родные хутора, и каждый раз, перечитывая в газете списки хозяйств, пущенных с молотка, я представлял себе, сколько семей плачут, целуя порог родного дома, который теперь будут переступать другие. Да, я видел все это, товарищ

секретарь. И неравенство, и эксплуатацию, и ложь. Моя нация страдала от обмана и угнетения, и я не мог не радоваться, когда наконец рухнула власть господ. Народная Литва! Мы все, кого только заботила судьба нации, были за народную Литву. Не предполагали поначалу, что новый строй несовместим с сохранением нашей государственности... — Гедиминас вдруг запнулся: на него глядели пронзительные карие глаза Гавенаса. Да, карие, Гедиминас теперь ясно разглядел их цвет. Мягкие, ласковые черты лица секретаря, побуждавшие открыть душу, потускнели, не осталось ни следа от прежней стеснительности, сквозь которую проглядывала неуверенность в себе. За столом сидел совершенно другой человек, с длинным носом, выпяченными губами и любопытным взглядом, от которого становилось холодно и брала оторопь.

— Продолжайте, продолжайте, — буркнул он, не спуская глаз с посетителя.

Гедиминас помолчал, глядя в окно на улицу, — ему почудилось, что взгляд Гавенаса, словно острая бритва, приближался к горлу. «Какого черта я распустил язык?» Ему стало страшно. За окном виднелась влажная мостовая, залитая ярким мартовским солнцем, и он остро позавидовал прохожим: сверху кажется, что единственная забота у них — как бы обогнуть грязную лужу да исхитриться, чтоб не угодила за шиворот холодная капель.

— Я так думаю, только думаю, товарищ секретарь. Может быть, я ошибаюсь... — Гедиминасу стало тошно от своей последней фразы.

— Ваша мнимая государственность напоминает мне огород без плетня, где роются соседские свиньи, — сказал Гавенас. — Подумать только, перед министром иностранных дел выстраивают караул! А в это время Риббентроп манит пальцем: подойди-ка, малыш, что у тебя там? А-а, Клайпеда! Отдай-ка мне эту конфетку.

Или Бек: что вы там болтаете: «Мы без Вильнюса не успокоимся», а ну-ка, признайте, что он был и будет неотделимой частью Польши! И отдали Клайпеду, и признали за поляками Вильнюс, а попроси немцы в придачу Сувалкию[15] — и ее бы вручили. Нам бы радоваться, что в связи со сложившимися благоприятными обстоятельствами мы смогли присоединиться к Советскому Союзу. Для «маленькой нации», если употреблять ваши термины, это великое счастье. Да и что такое нация? Группа людей, которых объединяют один язык, история, обычаи? Положим, да. Но ничто так крепко не сплачивает людей, как совместный труд, одинаково почетное положение в обществе, общие интересы. Наша нация, това… учитель Джюгас, — это весь трудовой народ, на каком бы языке он ни говорил. Ему наплевать на почетные караулы вашего министра. Он хочет трудиться, созидать и пользоваться плодами своего труда. Социализм ведет мир к такому будущему, где все люди смогут договориться на одном языке, жить без государственных границ, без армий и, само собой, без войн. Это непременно случится — желаем мы этого или нет. Таково веление истории, такова логика диалектического материализма. Вам следовало бы засесть за марксизм-ленинизм, — добавил Гавенас и встал.

— Я читал кое-что… — Гедиминас тоже встал.

«Таково веление истории… Конечно, нации умирают, как и отдельные люди. Но зачем вы торопитесь раньше времени загнать их в могилу?» — подумал он.

— Мы слишком снисходительны к интеллигентам вашего склада, учитель Джюгас. Закрываем глаза на их прошлое, доверяем им воспитание молодежи и так далее…

Не находя ответа, Гедиминас сунул было руку для прощания, но Гавенас, подбоченясь, стоял за столом, словно не заметив этого.

— Всего хорошего, товарищ секретарь.

— Всего хорошего.

Гедиминас повернулся (нет, кто-то чужой повернул его за плечи) и на чужих ногах направился к двери. Взялся за ручку (тоже не своими пальцами), но, чтоб нажать ее, не хватило сил. Обернулся — (не он, а кто-то другой за него) и, сквозь какое-то марево глядя на силуэт человека за столом, проговорил:

— Наверно, следует подать прошение об увольнении…

Силуэт беспокойно задвигался (наверное, замахал руками), и от стола долетел раздраженный голос:

— Об этом уж позаботится сам коллектив гимназии!

III

— Перед собранием меня вызвал директор, сказал, чтоб я был готов выступить. «Ты старый учитель, Баукус, с авторитетом, — сказал директор, — важно, чтоб такой человек меня поддержал». Поначалу я упирался, да-да, я же душой был с вами, всегда уважал вас, должен признаться, даже любил. Но Умила, хоть лопни, хотел вас разгромить.

И мне, сами понимаете, пришлось… ну, пришлось… Жена, детишки, понимаете… Сильный человек, ну вот как вы, устоял бы, а я ведь не герой какой-нибудь, господин Джюгас, не герой…

Преподаватель математики Ляонас Баукус пристроился за уголком стола, спрятав лицо в ладони. Костлявые, сгорбленные плечики, лиловая плешь, лиловый кончик носа. Чучело — не человек. Хотел-де броситься в ноги в первый же день, когда Гедиминас

появился в гимназии, но побоялся, — есть ведь преступления, которых не прощают, и люди которые не умеют прощать.

— Но вы не такой, я знаю, вы не такой, господин Джюгас… Вы понимаете, такое уж было время. Простите старого дурака!

— Я давно вас простил, господин Баукус.

— Не сердитесь, не осудите…

— Не сержусь и не осуждаю. Вы были только орудием. Можно ли осуждать нож, который убийца загнал своей жертве в спину?

— Не говорите так, господин Джюгас, я человек, у меня есть совесть!

— Таких людей, как вы, тысячи. Вчера из страха они помогали топить людей одним, сегодня помогают другим. А если некоторые, вот вы, например, еще держатся в стороне, то лишь потому, что немецкий Гавенас или Умила еще не взяли их за шиворот.

— Нет, вы меня не простили, господин Джюгас. Вы меня презираете!

— Не думаю, господин Баукус. — Гедиминас включает радио, стоит у приемника, повернувшись к гостю спиной. — Не ваша вина, что вы родились в Литве, а не где-нибудь в Швейцарии или африканских джунглях. Вообще, разве мы виноваты, что живем не в девятнадцатом столетии, когда на свете не было Умил, а у людей было меньше хлеба, но больше рыцарства? Нет, не думаю, господин Баукус, чтоб я вас презирал. Мне просто жаль вас, как каждого, у кого незавидная судьба. Вот и все, пожалуй.

— Жаль… вам меня жаль! Я не требую, я не вправе требовать от вас уважения… Но умоляю, не считайте, что я подлец какой-нибудь, господин Джюгас…

По радио — торжественный голос диктора: передают свежее сообщение из ставки фюрера.

На Восточном фронте развернулась последняя, решающая битва. Взяты города: Одесса, Калуга и Калинин. Московское правительство сбежало в Казань… До настоящего момента уничтожено и взято в плен шесть миллионов большевистских солдат. Враг будет разгромлен еще до наступления холодов…

Звучит «Хорст Вессель». Гремят военные марши.

Повторяют отрывки из обращения фюрера к народу:

«Немцы! Великая Германская империя переживает величественнейшие часы в мировой истории. Знамена третьего рейха развеваются от Атлантики до Черного моря. Наша героическая армия уже берет штурмом главные города России — Москву и Ленинград. Все силы — победе! Завершить военную кампанию до холодов.

У Германии нет другого выбора — или победить, или оказаться уничтоженной до последнего человека…»

— Вам не кажется, господин Баукус, что по сравнению с тем, что сейчас творится в мире, наши личные отношения не стоят выеденного яйца? — Гедиминас переключает диапазоны, ищет другую станцию. Танцевальная музыка. — Какое имеет значение, уважаю я вас или презираю, когда рушатся целые державы, а убийство человека возвели в подвиг? Забудем, что было. Вокруг слишком много настоящих врагов, чтоб нам оставаться врагами.

— Без сомнения, без сомнения, господин Джюгас, вы правы. Вы правы на все сто процентов, господин Джюгас… — Баукус впервые за весь разговор поднимает глаза, тяжело встает, робко протягивает руку Гедиминасу. — Мне только пятьдесят лет… время есть… постараюсь… Вы еще увидите, я не подлец какой-нибудь!

Гедиминас молча пожимает его ладонь и провожает коллегу к двери.

Ляонас Баукус удаляется по двору неверной походкой, как бы задевая за невидимые предметы, и

исчезает в саду за осенними деревьями. Еще одно дерево с содранной листвой…

— Господин Гедиминас, будет дождь. Остались бы эту субботу дома.

Это хозяйка дома Онуте, девица не первой молодости. Она проявляет куда больше интереса к делам господина учителя, чем следовало бы.

Гедиминас проходит мимо нее, едва не задев крутую, выставленную напоказ грудь, берет прислоненный к стене велосипед и толкает его к калитке.

— До завтрашнего вечера, барышня Онуте! Желаю вам приятно провести воскресенье!

— И вам того же, господин Гедиминас. Поклон вашему батюшке.

— Большое спасибо, барышня Онуте. Отец будет рад.

По-осеннему низкие тучи висят над городом. Мостовая, тротуары, даже крыши приземистых домов усеяны палыми листьями, а резкий октябрьский ветер все срывает их с оголенных сучьев и швыряет летний наряд под холодные ноги осени.

Влажный дух гниющей жизни, смешанный с запахом земли. Тяжелые, серые люди, серый воздух, серое небо — остывшая зола в очаге. Серое житье-бытье за серыми стенами, в серых дворах, где все еще валяются потрескавшиеся, занесенные серой пылью каштаны. Серость. Нечто среднее между красным и черным, радостью и горем, свадебным платьем и гробовой доской. Будничная одежда, она не украшает, прискучила, но удобна и тепла. Солдатская шинель, уравнивающая убийцу и жертву.

Господин Баукус, берегите свою серую одежонку, под ней удобно прятаться…

«Будь я и в самом деле поэтом, написал бы хорошие стихи. Человек, как и многие твари на земле,

обороняется защитным цветом. Тот, кто не умеет приспособиться, — погибает. Уцелели лишь особи со звериным инстинктом — любой ценой спасти шкуру. Человек-зверь пожирает просто человека; человечество не приближается к совершенству, а удаляется от него».

У перекрестка напротив рынка Гедиминасу приходится слезть с велосипеда: поперек улицы, загородив дорогу, стоят два грузовика. Вокруг снуют вооруженные штатские с белыми повязками на рукавах и полицейские, тут же несколько эсэсовцев. Очкастый шарфюрер, забравшись на капот машины, что-то покрикивает, — наверное, поторапливает. Галдеж, крики, смех: все пьяны. Один грузовик битком набит евреями, второй набивают. Дряхлые старики с пейсами и увядшие, сломленные горем женщины медленно бредут со двора синагоги (здесь недавно поселили пожилых евреев, оторвав их от детей) и по приставной лесенке поднимаются на грузовик, как на эшафот. У лесенки стоят два вооруженных парня. Если древний старец мешкает, они хватают его — одной рукой под мышку, другой за штаны — и, словно мешок, швыряют в кузов.

Вокруг нагруженной машины вертятся два гимназиста. Тоже с винтовками за спиной, навеселе.

— Добрый день, господин учитель. Просим на подмогу!

Гедиминас отвернулся. Ищет глазами Адомаса.

— Куда переселяете? — спрашивает он у вахмистра Бугяниса, который командует литовской группой.

— Где попросторней, господин Джюгас. В Каунас. Там открывают еврейское гетто со всеми удобствами. — Бугянис ржет, как лошадь.

Дружный хохот.

— Надо надеяться, там у них будут человеческие условия? — говорит Гедиминас, поверив словам вахмистра.

— Так точно, господин учитель. Неужели господин комендант приказал бы провести эту операцию, будь это не так? Там они будут жить со своими детьми. А кто не захочет, отправится в приют для престарелых. Будем считать, что близок конец их земных страданий.

Евреи сидят, опустив головы. Седые бороды, ермолки, у женщин платки и шляпки. Тупо смотрят друг другу в спину или под ноги, где растоптано несколько горстей земли родного местечка. Не надо верить тому, что сказали перед посадкой в машины. Но ведь отняли все — детей, имущество, честь. Чем жить, если не надеждой? Не может быть, чтоб Пятрас, которому давали в долг, когда у него не было денег, или Йонас, у отца которого покупали лен и пшеницу, а потом за одним столом пили магарыч, по-приятельски «тыкая» друг друга, или вот этот очкастый Фриц (или Ганс) с товарищами, у которых тоже есть мать и отец, — не может быть, чтобы эти люди посмели обидеть их, бессильных стариков! Нет! Они непременно встретятся со своими детьми в большом Каунасском гетто. Ограбленные до последней нитки, униженные. Низведенные до уровня скотины. Но они встретятся и будут жить, сколько им господь бог назначил.

Шоферы садятся в машины. Рычат моторы.

— Будьте здоровы. — Гедиминас снимает шляпу. — Счастливо вам на новом месте!

— Будь здоров, господин Джюгас.

— Вы были хорошим человеком, господин учитель. Да благословит вас господь.

Гедиминас машет шляпой. Они тоже помахали бы в ответ, но охранник саданул прикладом винтовки по руке первому, кто попытался это сделать.

— Господин Джюгас, — Бугянис грозит пальцем из окна кабины, — если вам так мил чесночный запах, можем подыскать в грузовике свободное местечко.

(«Ему жалко этих пархатых. Тоже нашелся покровитель...»— так и кипит в душе Бугяниса. Не может забыть, как они со старшим братом собрались было разбогатеть. Пустили в дело сбережения, влезли в долги и открыли в одном волостном городке лавку колониальных товаров, но вскоре вынуждены были все распродать, не выдержав конкуренции: оптовики-евреи, поддерживая своих лавочников, поставляли тем товары по более низкой цене, чем братьям Бугянисам. Процент был ничтожным, но его хватило, чтоб отпугнуть покупателей. «Пархатый кагал, погодите! Придет время, попомните вы литовских купцов!» Пришло. Дождался. Не одну зиму промаялся он унтером, но дождался. «Теперь мы играем, а вы пляшите, иуды».)

Машины с глухим рокотом удаляются по улице. Два открытых гроба, набитые еще живыми, но уже не живущими людьми.

Пьяная песня...

Гедиминас, не чувствуя, что надел шляпу задом наперед, садится на велосипед. Ему в другую сторону.

«Сволочи! Вот сволочи!»

Поднимает кулак и, не стесняясь любопытных прохожих, грозит кому-то невидимому за собой.

IV

Чего только не выдумывал в детстве! За гумном сохранилась заросшая ямка, где добывал глину, — наделает кирпича, выстроит большой город и будет в нем королем. Соорудил «маслобойню», сбивал из глины «масло», потом с другими детьми построил из лопухов шалаш — «фабрику», делал из крапивы «шелк», варил «лекарства» и все надеялся открыть что-то необыкновенное и удивить весь мир.

Долгими зимними вечерами, когда бабушка засыпала, не досказав сказки, безудержная фантазия уносила Гедиминаса дальше звезд, и он на несколько часов становился властелином Вселенной — богом. Потом снова опускался на землю, вырезал вместе с деревенскими ребятами из дерева мечи, стрелы, делал луки и скакал верхом на палке освобождать от поляков Вильнюс. Или превращался в белку — хорошо зимой в дупле, а орехи такие вкусные! — и в уютном одиночестве дожидался весны. А весной он уже скворец, вернулся из теплых краев. Выбирает самую красивую скворечню (конечно, на родном хуторе), вьет гнездо, выводит птенцов. Хорошо, укромно в птичьем домике. Слышно, как дождь барабанит по дощатой крыше скворечни, как свистит у лаза ветер, как скребется за стеной кот, просится в домик. Нет уж! Никто не войдет в заколдованный замок скворца!

Дом, родной дом! Каждый раз, увидев радушно раскрытые твои объятия, чувствуешь себя скворцом ребяческих лет! Два каштана у ворот, посыпанный песочком двор — долго ждали тебя, милости просим; обомшелый горбатый журавль — добро пожаловать, низкий поклон; белая каменная изба со старой тесовой крышей, прижавшаяся бочком к саду, — как по тебе соскучились, позволь обнять... В скотном дворе пес прыгает на цепи и радостно скулит. Он тоже здоровается... И ты с ним здороваешься. С облизанными руками и лицом, ощущая запах псины, идешь к пруду, обсаженному плакучими березами. Тут же покосившаяся банька. Приотворил дверь, глянул в жирную, пропахшую дымом темноту. Идешь к гумну (старой бревенчатой постройке, со впалым соломенным хребтом), распахиваешь воротища... К хлеву, сеновалу. Снова раскрываешь дверь. Обходишь хутор своих отцов, как паломник святые места, отворяя все двери, и за каждой оставляешь часть бремени, которое навалило

на твои плечи время. Пылинка за пылинкой стряхиваешь с одежды прах чужих дорог и возвращаешься к себе чистым и невесомым.

Отец уже во дворе — приехал с поля, забросав землей последнюю свекольную яму.

Мужчины обнимаются, прильнув лицом к лицу. Два человека, обобранные жизнью, больше чем когда-либо нуждающиеся друг в друге.

Гедиминас переодевается — поможет задать корм скоту.

Пронзительно скрипит старый журавль, звякают ведра. Милый сердцу запах сена и хлева! Старый фонарь с закопченным стеклом ковыляет с сеновала в амбар, в хлев и обратно. Нетерпеливо визжат свиньи. Блеют овцы. Просительно фыркают лошади.

Они идут от ясель к яслям, от корыта к корыту. Два добрых великана в мирке голодных малюток, раздающие хлеб и воду. За ними по пятам следует сытый покой. Слышны только жадное чавканье, шорох сена, бульканье пойла. И ласковые слова отца, — погрузившись в жизнь этого крохотного мирка, он обращается к скотине, как к человеку.

«Что бы ни случилось, крестьянин не будет одинок — у него есть животные».

Пока отец моет у колодца руки, Гедиминас зажигает в избе керосиновую лампу и обходит с ней комнаты. Здесь спала мама, там — бабушка. Рядом с кухней — комнатка сестры Анеле; ее теперь занимает Аквиле. Кровати без сенников, пустые и холодные, как гробы. Темные тени предметов лезут из углов, ползут по стенам, сливаясь с твоей тенью, вторгшейся сюда, как взломщик во храм. Уныло скрипят под ногами старые половицы. А ведь так весело гремели они когда-то под твоими ножками — таким же бесконечным осенним вечером, когда мама вязала перед очагом, отец у двери сучил веревки, а вы с сестрой играли в салки... Судьба

сунула в весело жужжащий улей пылающую головешку, и вот он умирает, уютный домик, и не найдешь пасечника, который бы вдохнул в него новую жизнь, воскресил погибшую матку.

— Чего ищешь? — Голос отца из соседней комнаты.

Правда — чего? Щепотки соли, чтоб посыпать незаживающую рану?..

Гедиминас, подняв лампу, смотрит на стену. Скорбящая богоматерь, увенчанная ореолом из лучей, Христос в пустыне. Ниже — посеревший гипсовый барельеф Владаса Путвинскиса[16], повесил давней весной, когда получил аттестат зрелости. Юношеская дань патриотизму…

Кровь приливает к лицу. Он срывает барельеф с гвоздя и, присев на корточки, запихивает под кровать. Устало закрывает за собой дверь, садится за стол напротив отца.

— Тебе трудно одному, отец. Я мог бы вернуться в деревню, помочь тебе хозяйничать. Чему ты улыбаешься? Не забыл еще крестьянскую работу, не бойся. А то продай землю и перебирайся ко мне в город.

Миколас Джюгас насупил седые поредевшие брови, глядит исподлобья, с укором. В город! В этакое время, когда каждый цепляется за деревню, как за спасение!..

— Кому земля нужна, только чтоб нужду справить, тот пускай барышничает ею, как цыган лошадьми, — говорит он с подчеркнутой досадой. — Не стало у меня жены, дочери, Микол аса умыкнула война, мать умерла. Четырех человек как не бывало. За один-то год! Не каждому такой крест выпадает на долю. А ты — перебирайся в город! Мои корни тут, сын мой. Отцы отцов тут похоронены, все тропки моими ногами исхожены, вашими, детскими, избеганы. Куда ни пойду, все родное, свое, каждый куст о чем-нибудь

напоминает. Что у меня оста-лось-то, кроме земли? Что я буду делать без нее? Дереву без корней не жить.

— Я тебя люблю, отец. Ты не один. И Миколас еще вернется из России. А может, он туда и не попал? Может, сбежал из полка в тот день, когда началась война? Много литовцев оказалось за границей...

Пока Гедиминас говорит, Миколас Джюгас смотрит на стену с равнодушным лицом — он слышать не хочет о сыне. Никаких надежд, не надо надеяться! Едва Гедиминас замолкает, он гнет свое:

— Вам, не нюхавшим земли, легко махнуть на нее рукой. Побатрачили бы у хозяев, попробовали хлеба из чужих рук — тогда ох как ценили бы клочок своей земли. А я, брат ты мой, из-за него, из-за этого клочка, три раза в госпитале лежал, чуть-чуть с головой не распрощался. За каждый гектар кровушкой плачено. А сколько пота пролил, пока корни мои здесь прижились? О-о, что говорить да вспоминать... — Миколас Джюгас задохнулся, дрожащими пальцами ухватился за край столешницы. В глазах отчаяние и еще что-то невысказанное. — Нет, сынок, чересчур дорого стоила мне земля, чтоб я повернулся к ней спиной, плюнул да ушел. И тебе незачем возвращаться в деревню. Не для того выводил тебя в люди, чтоб ты копошился в грязи. Я-то не могу без земли жить, она на моей крови замешена, слезами и п***о***том разбавлена, я в этой грязи по макушку увяз, а ты весь наверху. Давай оставаться где кому положено. Только не лезь в политику, как Вайнорасов Адомас. Власти приходят и уходят, а человеку при всякой власти положено сидеть у себя дома и делать свое дело.

— Дело — тоже политика, отец. Я иногда говорю себе: ты — учитель, твоя профессия не имеет ничего общего с оккупационными властями. Но я же от них получаю жалованье! За что? Видать, я им нужен, помогаю проводить их политику, служу им... Без меня

оии не могут нормально функционировать, как без рабочего, делающего пушки, или без крестьянина, который выращивает хлеб для армии. Мы лишь крохотные колесики огромной государственной машины и вроде не хотим, чтоб она двигалась, а ведь крутимся-таки, хоть и против своей воли, вместе со всем механизмом, и толкаем машину вперед. В наше время, если хочешь спрятаться от политики, надо жить в непроходимом лесу, отгородившись от мира…

— Мудрено говоришь. — Миколас Джюгас помолчал, пожевал пустым ртом. — Выходит, всем в одной телеге сидеть и в одну дуду дудеть? Нет уж, сын мой. Я отвез властям, что положено, немец жрет мой хлеб, но людей я не убивал и евреев с винтовкой не гонял. Я кормилец, а не убивец. А ежели хлеб, который я вырастил, жрет убийца, ничего не попишешь. Мужик не виноват, что на земле всякой твари по паре, он не может раздавать хлеб только добрым людям.

«Он прав, мой добрый старик. Человек бессилен что-либо изменить. Все, что мы можем сделать, — это стараться остаться честными. Человек безоружен, но у него есть крепость — он сам, и, закрывшись в ней со своей совестью, он может обороняться».

Гедиминас рассеянно слушает отца, машинально вставляет слова. Его мысли далеко. Он замкнулся в себе — в неприступной крепости, которую нежданно-негаданно обрел. Осматривается в покоях, пробует на прочность стены, удивляется, что отсюда все кажется иным, чем он думал: шершавый голос отца превращается в мягкое и ласковое поучение мудрого пророка; пустота комнаты приходит в движение, наполняется звуками и светом; из открытой кухонной двери идет запах теплого варева; весело трещит огонь в очаге; звенит музыка выстраиваемой посуды… Когда Гедиминас впервые увидел, что Аквиле округлилась, и отец объяснил, за что Катре Курилка выгнала дочку, он

возненавидел еще не явившегося в мир человечка. А теперь, полный до краев всепрощающей добротой, как сосуд чистой водой, он прислушивается к шелесту ее шагов, смотрит на руки, ставящие еду на стол, спокойной улыбкой отвечает на улыбку. Он может без дрожи, не потея от страха, смотреть ей в глаза и говорить с ней спокойно — так, как говорят «здравствуйте». Он уже свободен от тирании любви. От былых чувств осталась горстка дотлевающей золы.

После ужина Гедиминас долго сидит за столом, склонившись над тетрадкой. Перо со скрипом скользит по белой бумаге, строчки ложатся одна к другой, словно жирные борозды пашни. Семена сыплются в рыхлую почву, мгновенно всходят, созревают и тут же дают зерно. Волшебный землепашец! Потом, быть может, он увидит, что урожай сплошь куколь да костерь, но сейчас он в радостном хмелю творения.

— Что пишешь?

Все еще за семью замками своей доброй крепости, он не сразу понимает, откуда идет голос. Лампа на столе для него пока не лампа, а яркое солнце, закопченный потолок — высокое весеннее небо, стены комнаты, погруженные в полумрак, — горизонты необозримого мира.

— Ты?! Почему не спишь? — Гедиминас смущенно захлопнул тетрадь.

— Помешала? — Аквиле растерялась не меньше его. На лице просительная улыбка, которой она сама стесняется. — Раньше ты писал красивые стихи. Дашь завтра почитать свою тетрадку?

«Раньше я писал дурацкие любовные стишки и иногда читал тебе. Ты исправно вздыхала, но думала о другом».

— Тебе будет скучно. Поэзии нужен пыл юности, а я уже стар, способен только сухо рассуждать.

— «Он (или она) вдруг постарел (постарела) на десять лет». Когда я находила в книгах эту фразу, она мне ничего не говорила. Теперь понимаю. — Аквиле погладила кончиками пальцев свои щеки. В свете керосиновой лампы лицо было зеленоватое, опухшее, некрасивое.

— Ничего, ты неплохо выглядишь. — Гедиминас хотел, чтоб она села: неприятно было видеть ее большой живот.

— Зачем это?.. Тебе не к лицу лгать. — Улыбка угасла у нее на устах, и Гедиминас увидел прежнюю Аквиле — душевную, искреннюю, но гордую и независимую. — Я хотела поговорить с тобой, как с добрым другом, Гедиминас. Я вроде бы виновата перед тобой… Если бы Марюс раньше показал, каков он на самом деле, все бы, пожалуй, сложилось иначе… Но любовь как котенок — слепа, пока не приходит время прозреть…

— У Марюса не было иного выхода. Бугянис со своей шайкой все равно прихлопнул бы его.

— Я ее осуждаю его за то, что он не остался, но не могу простить, зачем он меня оставил. «Тебе будет трудно… опасно… могут убить…» Я ведь без страха погибла бы вместе с ним. С ним я могла идти хоть на край света. Но на что я ему, если есть друзья и винтовка? Знаю, у него было достаточно ума и порядочности, но он не понимал, что женщине иногда лучше погибнуть вместе с любимым человеком, чем остаться наедине со своим горем.

— Серьезные люди тебя не осуждают, Аквиле, а на бабушек из прошлого столетия наплевать.

— Ты меня не понимаешь. — Она с легким упреком взглянула на Гедиминаса. — Мой отец не осуждает меня только потому, что жалеет. Твой отец тоже принял меня из жалости. Оба они добрые люди, всегда помогут, сколько в их силах, но никогда не оправдают меня. В их

глазах я человек, не умевший разумно жить, а такому полагается милостыня. Я не хочу, Гедиминас, чтоб и ты оказался среди филантропов.

Гедиминас молча покачал головой. Его снова охватило то знакомое чувство, когда Аквиле изливала ему душу, а он, потеряв силу воли и поддаваясь обманчивым надеждам, уже видел себя в ее сердце. Между ними были стол и лампа. Еще закрытая тетрадка. Протянуть бы руки, взять ее за плечи и сказать: «Я тебя все еще люблю, Аквиле. Война ужасна, но, слава богу, она смела то, что стояло между нами. Дай руку, моя милая...» Но, услышав последние ее слова, он уже не мог протянуть руки через стол.

— Ты меньше всего нуждаешься в милостыне, Аквиле, — сказал он, избегая ее проницательного взгляда. — Есть люди, которые ходят с окровавленными руками и думают, что это священный елей. Вот кого надо пожалеть.

Она съежилась на стуле, словно желая провалиться сквозь землю. Лица нет, видна только макушка. В деревне жутко завыл чей-то пес.

— Ты... об Адомасе?..

— Я вообще о таких...

— Таких много, а Адомас — мой брат. У меня больше нет этого брата, Гедиминас.

Гедиминас машинально кивнул.

— Я любила Адомаса. Когда года два назад он заболел воспалением легких, ночей не спала, молила бога о его выздоровлении. А лучше б он тогда умер.

— Да, Адомасу не стоило совать пальцы между дверей...

— Ты ничего не знаешь, Гедиминас, ничего не знаешь... — прошептала Аквиле. — Мне страшно, стыдно об этом говорить, но я должна рассказать. Не могу больше!

V

Отец на крыльце клети точил косу.

Аквиле подошла к нему и мягко оттолкнула плечом братишку, вертевшего точило.

— Беги почитай, Юргюкас. Я покручу.

Точильный камень звенел, искры застревали в густых желтоватых усах отца. Аквиле шептала, а усы топорщились все круче.

Руки отца, такие сильные и выносливые, затряслись. Коса заходила ходуном, зазубрины визжали, касаясь точила.

— Так, говоришь... так, говоришь... — бормотал Лауринас Вайнорас, всем своим существом умоляя ее перестать, опровергнуть сказанное: этого не могло быть! Он не хотел, чтоб это было!

— Там живой человек!

Лауринас Вайнорас еще ниже опустил голову. Коса приставлена к ноге, словно ружье, широкие плечи сникли. Пленный солдат, не знающий, что уготовила ему судьба.

— Немцы... — выдохнул он, вспотев как мышь. — Пронюхают — всем крышка...

— А если б там лежал наш Адомас или Юргис?..

Ответа нет.

— Главное, чтоб мама не дозналась, — сказала она, преисполнившись нежности к отцу.

Укатили вдвоем на телеге, спина к спине. Отец — лицом к лошадям, Аквиле — к дороге, убегающей назад. И страшно, и хорошо, как на головокружительной высоте, когда в любую минуту можешь упасть и расшибиться в лепешку. Потом та же телега катила обратно. Но уже медленно, шагом. На телеге куча хвороста, а они идут рядом, боясь подумать о цене,

которую, быть может, придется уплатить за того, кто лежит на дне телеги.

Вдвоем с отцом вырыли нору в прошлогоднем сене, посовещались, куда денут труп, — не верилось, чтоб летчик выжил.

Но он не умер. Аквиле по нескольку раз на дню, а вначале и по ночам бегала к больному — меняла бинты, носила свежую воду, тайком от матери варила бульон. Мир для нее сузился до тесной конуры в сене. Она заползала в нее в тревоге и страхе и прислушивалась, затаив дыхание. Ночь, бесконечная ночь. С двух сторон — стена из бревен и досок, у изголовья и справа — сено, над головой и под ним — тоже сено. Пышная могила, выстланная благоухающим бархатом, вытканным самой природой. Ее охватывал страх. Лишь уловив слабое дыхание, она собиралась с духом и зажигала электрический фонарик. Узенькая щелочка в стене, через которую сочился тусклый свет дня, пропадала, и обрывалась последняя ниточка, связывавшая Аквиле с внешним миром. Она боялась этого мира и ненавидела его. Глядя на измученного, бессильного человека, навязанного ей судьбой, она растворялась в чужом страдании и забывала свою беду. «Ты же не одна, — утешала она себя. — Гнусный мир, который воровато подглядывает за тобой через щелку в стене, нас обоих затолкал в эту тьму. Чужак — твой брат…»

Однажды, — он уже настолько окреп, что садился с ее помощью, — случилось то, что и раньше с ним случалось в беспамятстве. Она навела порядок, не испытывая ни малейшего отвращения, а он скрипел зубами от досады и что-то шептал на своем непонятном языке. Ребенок! Она еще не чувствовала, как бьется его жизнь под сердцем, но знала: он уже есть, живет. Рассмеялась в порыве материнской нежности и почувствовала, как по щеке скатилась слеза. Погасила,

зажгла, снова погасила фонарик. Из щели в стене брызнул сноп лучей.

Она протянула руку и погладила его — прохладный и свежий, как цветок розы, раскрывшейся на солнце.

— Дурачок, Ванька-дурачок, — прошептала она по-русски, улыбаясь обоим — неродившемуся и другому, который мучительно возвращался в мир.

VI

— А вечером ему стало хуже, Гедиминас. Я не знала, что случилось, но поняла, что не хватит знаний, которых нахваталась в гимназии, на скаутских сборах. На следующий день приехал Адомас, и я все ему рассказала... После ужина забежала на сеновал, он еще был в своей норе, а утром не нашла... Бросилась в Краштупенай, но с полпути вернулась... Я испугалась его, родного брата, Гедиминас...

— Так... — Он не знал, что ответить. — Так, так... — повторял он, потупив глаза и видя только узенькую полоску ее груди и кулаки, лежащие на животе. Ему почудилась мать — это было ее место за столом. Захотелось опуститься на пол и положить усталую голову к ней на колени. «Она святая», — мелькнула глупая мысль, и, робко взглянув исподлобья, он на самом деле увидел вокруг ее головы лучистый венок, как на церковных образах.

— Почему, почему он так сделал, Гедиминас?! — воскликнула Аквиле; ее голос гулко прозвучал в пустой комнате.

— Не знаю, — буркнул он, еще не сбросив оцепенения. — Наверное, каждый человек артист в жизни. Когда возникает вопрос, уходить со сцены или продолжать игру, тогда он и показывает свое истинное лицо.

Аквиле резко встала.

Гедиминас понял: надо было утешить ее, приободрить; она пришла сюда в надежде, что он рассмеется ей в лицо — какая чушь, я, мол, слишком хорошо знаю Адомаса, чтоб поверить такой напраслине! Она бы уцепилась за спасательный круг и постаралась сберечь в себе призрачную надежду. Но он не посмел кривить душой.

«Что он сделал с этим несчастным летчиком? — думал он, уже лежа в кровати и уставившись в холодный мрак комнаты. — Отдал немцам, сочинив правдоподобную историю, чтоб оправдать „находку“? А может, просто-напросто прикончил и закопал где-нибудь? „Видит бог, я этого не хотел, лапочка, но раз речь идет о судьбе всей семьи…“ И убедил себя, что прав. Ну что значит один умирающий человек, когда ежедневно сметают с лица земли тысячи здоровых? Бугянис не таких молодцов (да еще своих, литовцев!) отправил на тот свет…»

Гедиминас испугался, что может об этом думать с иронией. «Неужели мы так и не были настоящими друзьями?» Он вспомнил гимназические времена. До четвертого класса, когда Адомас, оставшись на второй год, бросил школу, друзья называли их Патом и Паташоном, а родители говорили: «Адомас с Гедиминасом вместе встают, вместе ложатся». Или: «Их водой не разольешь». Адомас был на два года моложе Гедиминаса, но крупнее, рослый не по годам, кроткий и благодушный; правда, иногда вдруг заводился и пускал в ход кулаки. И Гедиминасу стало жалко, как невозвратного прошлого, того румяного крепыша в бархатной гимназической шапочке, которая смешно сидела на его крупной голове.

«Надо бы звонить во все колокола: друг гибнет, друг гибнет! А я что? Делаю все, чтоб разминуться при

встрече, а если не удается, говорю не то, что следовало бы».

Правда, однажды он сказал ему:

— Бросай свой проклятый мундир.

— А кому от этого станет лучше, лапочка?

— Тебе самому, болван.

Адомас оскорбительно рассмеялся и ушел.

«Что изменится, если тот же мундир наденет другой? Разве что жизни двух людей (только двух!) пойдут по иному пути, но адская машина все равно будет громыхать дальше. Адомас спасется, а вместо него погибнет Юргис или Никодемас. Да, они не твои друзья, но ведь тоже люди, может, и получше Адомаса. Ты не можешь вытащить из ямы одного, не столкнув в нее другого, — а такой непременно найдется, как находится у часовщика деталь взамен изношенной.

Все мы носим в себе начала добра и зла, смерть и жизнь, осуждение и оправдание. Не кто-нибудь другой, а только я сам волен выбрать одно из двух. Мне говорят: „Прыгай в яму!“ Могу прыгать, могу не прыгать. От меня, только от меня зависит, умру ли я человеком или подохну, как скотина, заколотая ножом мясника. Положим, мне нужен совет, как лучше устроить свою жизнь. Я принимаю его с благодарностью, но не завидую советчику, поскольку тот частенько сам не понимает, какую страшную ответственность он берет на свою совесть».

С этими мыслями, снова запершись в своей надежной крепости, Гедиминас заснул. Где-то за толстенными стенами мелькнула бледная тень Адомаса, зашуршали знакомые шаги. «Ушел...» — с облегчением подумал он сквозь сон. В мире два с половиной миллиарда человек блуждают в поисках своей дороги. Какой мудрец укажет каждому правильную? Кто решит загадку нашей жизни?

…Извечную, мучительную тайну,
что не разгадана вовек…
…Откуда он пришел? Куда идет он?!
Скажите, что такое — человек?

VII

Назавтра после обеда Гедиминас поехал обратно в Краштупенай. Дождя не было давно, но влажная земля липла к шинам велосипеда, — с самого утра в воздухе висела мельчайшая, вроде тумана, изморось. Гедиминас все еще видел ощетинившийся редкими травинками песчаный холмик у дороги, на который, проезжая мимо, он положил букет прихваченных заморозками астр; сосна, растущая у семейной могилы, как и придорожные деревья, застывшие в белесом пространстве, роняла крупные капли, и всю дорогу он ощущал мраморный холод мертвой земли. А когда в тумане стали проступать смазанные очертания башни костела и первые домики предместья, Гедиминасу подумалось, что этот город за мокрой мглой смахивает на кладбище его родной деревни — с тяжелыми могильными крестами, обступившими деревянный шпилек часовни. Сквозь завесу мельчайшей водяной пыли он разглядел приземистую, квадратную фи-ГУРУ — могильную плиту, медленно ползущую с горки, за которой уже начиналась мостовая. Гедиминас хотел побыстрей прошмыгнуть мимо, но горка была крутая, а дорогу развезло. Запыхавшись, он соскочил с велосипеда и, вытащив из кармана платок, принялся вытирать лицо.

— Добрый вечерок, господин учитель, — промолвила могильная плита, превратившись в Матавушаса Пуплесиса.

Гедиминас приподнял шляпу.

— Задержался ты в городе, дядя Матавушас... Не успеешь засветло домой, — заметил он, почуяв водочный душок.

— А я привычный, господин учитель. Каждый второй день в Краштупенай. Баба уже боится, как бы себе городскую не завел. А чего мне зевать? В городе барышни чистые, надушенные, не то что моя, вечно сывороткой воняет. Выберу бабу дюжую, лицом пригожую, да не одну, а с кучей деток, чтоб самому потеть не пришлось. Заживу барином! А кому спасибо? Нашей глубокоуважаемой полиции, двух дней она не может прожить без Матавушаса Пуплесиса.

— По ночам нынче ходить опасно, дядя Матавушас. — Гедиминас положил руки на руль, собираясь трогаться дальше, но Пуплесис застыл на дороге, расставив ноги, понурив большую голову, и, точно бык на красную тряпку, пялился на переднее колесо велосипеда.

— Опасно? — буркнул он, не тронувшись с места. — А как же, а как же, господин Гедиминас. Ночью не мудрено в колодец или в яму угодить. Да и днем всякое бывает, господин Джюгас. Встретишь человека из своей деревни — вроде старые знакомые, а говоришь с ним и думаешь, верно ли ты сказал... Все мы стали чужими, господин учитель. Если б не знал, что ты сидел в Лауксодисе у своего старика, мог бы подумать — возвращаешься из Ольшаника, хоть он и не в той стороне...

— А что я там потерял? — раздраженно спросил Гедиминас. Он не любил Пуплесиса, как и всех прочих, которые с трудом читали газету, но, взяв власть в свои руки, с легким сердцем принялись разрушать старый мир, на фундаменте которого стоял и их собственный дом.

— А что там потеряли господа полицейские да белоповязочники? — Пуплесис все еще стоял, расставив ноги, засунув руки в карманы полушубка, крытого серым домашним сукном. Багровое лицо блестело, как полированное. — Что там потеряли краштупенайские евреи, господин учитель? Скажешь, им хотелось отправиться в Ольшаник и улечься в могилы, на которые никто не положит камня, как велит их обычай?

Пуплесис пошатнулся, раскололся надвое и, бешено вращаясь в алом вихре, стал уходить в землю.

— Не болтай лишнего, старый шут! Ты пьян, разрази тебя гром!

— Я и правда болтаю, господин Джюгас, но мне один черт. Пойду как-нибудь отмечаться, сунут в грузовик — и Пуплесиса как не бывало. Был зубастый старик, скажут люди, жрал стекло и гвозди, а вот мягкую свинцовую пульку сжевать не сумел.

Гедиминас налег грудью на руль.

— Быть того не может… Стариков, женщин… Безоружных людей… Врешь, Пуплесис! Вечно у тебя шуточки! разве этим шутят!..

Один башмак Пуплесиса — набухшая грязная жаба — оторвался от земли и легонько постучал по шине велосипеда.

— Эти шутки не мы с тобой шутим, господин учитель. И слава господу, что не мы…

Башмак вернулся на место, затем оба башмака чуть подались вперед, и Гедиминас почувствовал на плече тяжелую ладонь, но только на миг. На такой короткий миг, что подумал, не почудилось ли ему это. Он выпрямился, но квадратная фигура Пуплесиса уже исчезала за стеной измороси. Впереди, где-то за грудой домов, по-совиному ухал маневровый паровозик. Его жутковатое уханье было нереальным, как и все вокруг.

Гедиминас катил велосипед через весь город и не мог отделаться от гнетущего чувства, что на самом

деле нет ни людей, хоть они и приподнимают, здороваясь, шляпы, ни домов, ни улиц, да и его самого нет — все одно воображение, иллюзия, рассказанная кем-то сказка. Барышня Онуте сидит у окна, закутавшись в белый пуховый платок, но и ее нет. И если она обрадовалась, увидев его, и заплакала, рассказывая о том, «что тут творилось», то лишь потому, что ему хочется, чтоб это было так. Должны же быть в мире люди, не разучившиеся плакать и смеяться!

— Это страшно, господин Гедиминас! Мы слышали стрельбу — сколько тут до этого Ольшаника! — но кто мог подумать... Они до полуночи гуляли у братьев Моркайтисов и шлялись по городу, хвастались своими ужасными подвигами. Приличные женщины, ясно, не захотели иметь с ними дела, и они стали бить окна... Вмешался немецкий патруль, началась перестрелка. Одного отвезли в больницу едва живого. Светопреставление, господин Гедиминас! Утром я встретила Ниёле, бабу вахмистра Бугяниса. На руке золотые часики, каракулевое пальто, что в прошлом году справила жена ювелира Манштейна. Недолго она его носила, бедняжка... А Манштейну повезло — вернули живого из Ольшаника. Проговорился, что спрятал драгоценности, но сказал — пусть у него язык отсохнет, если они дознаются, где спрятал. А они хотят любой ценой заставить старика заговорить.

«Среди этих убийц были два наших ученика».

Все еще не в силах отвязаться от чувства нереальности, он переобулся и вышел в город.

Адомаса не было дома — два дня, как уехал куда-то по делам.

Авраам Манштейн сидел на цементном крыльце своего дома, уставившись угасшим взглядом на рыночную площадь, сложив на коленях морщинистые руки, с козырька промокшей фуражки и седых пейсов на них капала вода. На улице, словно тусклые

субботние свечи, загорались первые фонари; он не знал, доживет ли (да он и не хотел этого) до следующего вечера, но был счастлив, что пошел дождь, что хоть природа не отвернулась от него и, не брезгуя, омывает старое тело, к стыду всего человечества обреченное на поругание.

Гедиминас точно не своей рукой приподнял шляпу, буркнул приветствие, но старик не пошевельнулся. Подойти бы к этому человеку и что-нибудь добавить к «доброму вечеру», но и за эти слова Гедиминасу стало стыдно, — ведь они были произнесены на том же языке, который вчера вместе с выстрелами звучал в Ольшанике.

VIII

— О, Гедиминас! Удивительно! Хоть раз вспомнили старых друзей…

— Я хотел видеть господина Вайнораса, — холодно объяснил Гедиминас, почти веря, что хозяйка Адомаса не солгала, его на самом деле нет в Краштупенай.

— Заходите, заходите же, что мы тут торгуемся в дверях! — Милда схватила Гедиминаса за рукав и, радостно улыбаясь, втащила в прихожую.

— Раз нет Адомаса…

— Когда-то в этом доме вы были желанным гостем и не давали нам скучать. Верните хоть одну счастливую минуту своей старой приятельнице, Гедиминас. — Милда расстегнула ему пальто и, не обращая внимания на робкие протесты, стащила с плеч.

Да, пока у этого дома был хозяин, Гедиминас частенько забредал сюда на досуге. Бургомистр был умным и образованным человеком, к тому же недурно играл в шахматы, с ним можно было засидеться допоздна и ни разу не зевнуть. «Тебе повезло, Милда,

ты получила отличного мужа», — ронял Гедиминас, когда они оставались вдвоем. Она иронически улыбалась, мучительно пытаясь скрыть правду на своем предательски открытом лице. Гедиминасу было больно, что она не любит своего мужа, но он не осуждал Милду. Даже тогда не осудил, когда Берженаса сослали и Милда стала любовницей Адомаса.

Конечно, он перестал бывать в этом доме, хотя Адомас не раз приглашал, а встретив Милду на улице, заговаривал с ней дружелюбно, но официально. Нет, он не осуждал ее за нарушение морали, а просто стеснялся ее, как и каждой красивой и легко — так ему казалось — доступной женщины, к которой не может оставаться равнодушным ни один здоровый мужчина, немного ревновал ее к Адомасу и, стыдясь этого низменного чувства, старался держаться в стороне.

— Сам бог вас прислал, Гедиминас! Одинокая женщина в такие страшные времена!.. — тараторила Милда, схватив Гедиминаса за локоть и ласково подталкивая в гостиную. — Прошу вас, устраивайтесь поудобней, мой милый, а я на минутку исчезну.

Он стоял в растерянности у большого круглого стола, окруженного тяжелыми, обитыми кожей стульями, и не мог понять, зачем пришел. Повидаться с Адомасом? Зачем? Неужели из-за этих нескольких слов, которые гудели у него в ушах, пока он, отчаиваясь и ужасаясь, брел по грязным улицам города: «Хочу посмотреть, как после всего этого выглядит твоя харя...»

А может, надеялся, что Адомас, увидев его, своего друга (?), бросится на грудь и заплачет? На этот счет не надо иметь иллюзий, потому что кровь сейчас — самая дешевая жидкость. «Когда-то бывало уютно в этом доме, я был привязан к нему, как кошка. Наверно, у меня кошачий инстинкт; он заговорил, когда я лишился способности рассуждать, и привел меня сюда, как

кошку на покинутый хутор, чтоб прильнуть к давно угасшему очагу, который когда-то согревал меня».

Гедиминас опустился на стул. Он все еще видел себя в прихожей, перед зеркалом — странного, чужого человека с посеревшим лицом и дикими глазами — и не мог сказать, который из них настоящий. Были две вешалки, две миниатюрные улыбающиеся Милды, две одинаковые стены прихожей, два «я» — в зеркале и в действительности, — но он не мог уловить черту, разделяющую эти два мира; все — и предметы и время — потеряло свою закономерную связь, смешалось в пространстве в какой-то хаос, где не было ни «вчера», ни «завтра», ни «сегодня». Тяжелая шелковая скатерть пахла яблоками. Она была желтая, как спелое пшеничное поле. Круглое солнце, корзины, полные цветов, и амуры, стреляющие со всех сторон. Но он видел только сгусток розового тумана, в котором, словно в исполинском глазе смертельно раненного допотопного зверя, отражались смутные очертания диковинных картин. «Везем в Каунас, к деткам... Ха-ха-ха!» Он слышал, как кто-то входил и выходил, что-то говоря, сам машинально отвечал на чьи-то вопросы, изредка просыпаясь от кошмарного сна, но все время видел завораживающий сгусток розового марева, в котором исчезали, чтоб снова выплыть, одни и те же картины.

— Гедиминас... Что с вами? — Кто-то долго и настойчиво тряс его за плечо.

Розовый сгусток растаял. Он снова увидел стол — желтое солнце в окружении амуров. Перед ним появился пузатый графинчик с темно-красной жидкостью, две рюмки на тонких ножках, ваза с печеньем; рядом стояла Милда, уже не в халате, а в шерстяном вишневом платье, белые волосы аккуратно причесаны, всегда бледное лицо слегка подкрашено; от нее слабо пахло фиалками. В голосе испуг:

— С кем ты разговариваешь? Что с тобой, Гедиминас?

«Ты! Как в старое доброе время… А может, оно еще не кончилось? Может, я вздремнул у стола, дожидаясь возвращения господина Берженаса, и меня одолели кошмары? Вот раздастся стариковское покашливание, и на всю квартиру прозвучит бодрый голос: „Милда, кого я вижу?! Нас снова посетил наш юный друг!“»

— Так ты ничего не знаешь? — тупо спросил он.

— Нет… — На лице застыло напряженное ожидание.

Он посмотрел на нее долгим, испытующим взглядом.

— И ты ничего не слышала? — он говорил медленно, делая ударение на каждом слове. — Эти выстрелы должны были прогреметь на весь мир, а ты их не слышала? Они расстреляли ни в чем не повинных, бессильных стариков…

Напряжение на лице Милды спало.

— Я видел в грузовике врача, — продолжал Гедиминас, чувствуя, как горит пересохшее горло. — За свой век он спас сотни жизней, а сегодня эти самые люди его…

— Да, это страшно, просто кошмар, Гедиминас, — с облегчением сказала она. — Не могу простить Адомасу, что он оставил меня одну в такой час. Но лучше не будем об этом, зачем портить хороший вечер…

Милда отодвинула от стола стул и села рядом с Гедиминасом.

— Это ликер, — продолжала она, наполняя рюмки. — Я не спросила: может, ты хочешь закусить? Прости, что так бесцеремонно перешла на «ты». Наша старая дружба, я полагаю, дает на это право?

Ее равнодушное спокойствие ошпарило его, словно кипятком. «Зачем портить хороший вечер…» Ладно, быть по сему. В то время, как земля корчится в агонии (они ведь хвастались, что побросали в яму полуживые

тела), мы поднимем рюмки и выпьем за беспамятство. И, разумеется, за себя тоже. За то, что живы-здоровы, что, слава господу, не евреи, за то, что у нас над головой сверкает люстра старых добрых времен, а завтра снова взойдет солнце. Прозит!

Гедиминас поднял рюмку.

Милда, взяв свою, подбодрила его кивком головы.

— Кровь… — сказал он, подняв рюмку против света. — Густая кровь. Еще не остывшая… Напьемся горячей кровушки, как поступали наши допотопные предки. Да перельется сила врага в наше тело.

— Гедиминас… — с упреком прошептала Милда.

Он выпил две рюмки подряд и повернулся к ней. Она улыбнулась, но как-то боязливо, словно через траурную вуаль. Его охватило злорадство.

— Адомас упустил случай: он мог бы не тратясь приобрести тебе каракулевую шубу, унизать пальцы перстнями, — сказал он, поддаваясь безудержному желанию причинить ей боль.

— Если я увижу, что у него руки в грязи, между нами все будет кончено. Он это знает, — спокойно ответила Милда.

— И поэтому исчез из Краштупенай, чтобы умыть руки, как Понтий Пилат, — пускай другие делают за него кровавое дело?

— Тебе недостаточно, что человек старается остаться порядочным, насколько это возможно в такое время?

— Остаться порядочным… — Гедиминас осклабился. — Я на минутку устранюсь, а вы, мои милые слуги, трудитесь до кровавого пота. И такой трюк мы изящно называем порядочностью…

— Он — твой друг.

— Был…

— Я его люблю.

— Ты «любила» и господина Берженаса, а теперь, чего доброго, благодарна тем, кто помог тебе с ним развязаться, — отрезал Гедиминас с отвращением, что повторяет чужие слова, но он не мог унять своей ярости. — Когда-то ты сказала — о, я прекрасно помню эти слова: «Давай представим себе, что нам осталось жить только один день, и возьмем у жизни все, что она дает». Ты любишь только себя, Милда, а там хоть трава не расти...

Она деланно рассмеялась.

— Тебя просто не узнать, мой друг. Надо бы давно выставить за дверь, но я добрая. Какое тебе дело, люблю я Адомаса или нет? Чего ты взъелся? Может, ревнуешь? Между прочим, могу тебе сообщить, что настоятель обещал выхлопотать мне развод с Берженасом, зимой мы с Адомасом обвенчаемся.

— Что ж... Брак в определенных случаях удобная ширма, за которой можно догола раздеться с чужим мужиком. — Гедиминас почти с ненавистью посмотрел на Милду, напрасно надеясь увидеть на ее лице растерянность, обиду, горе — хоть какое-нибудь чувство, которое показало бы, что ее безмятежный, самодовольный мирок взбаламучен, что она несчастна, как должен быть несчастен сейчас каждый порядочный человек в этом городе.

— Будь джентльменом, Гедиминас, наполни рюмки, — попросила Милда, лениво жуя печенье.

Гедиминас потупил глаза — она была неуязвима.

Он наполнил рюмки, они молча выпили, а потом послышалась тихая танцевальная музыка: Милда включила радио.

— Расскажи, как живешь.

— Как сыр в масле.

— Только без иронии, милый. Поговорим хоть часок по душам, как когда-то. Ведь было время, когда я чуть-чуть в тебя не влюбилась.

— Что ж, я польщен…

Она тихонько рассмеялась.

— Только не задирай носа. В мыслях у меня не было ничего такого, что не к лицу замужней женщине. Ты был иным, чем все мужчины, — менее зализан, менее глуп и капельку поэт, — соблазнительно подвергнуть искусу такого мужчину, но не обязательно ведь тащить его в постель.

Гедиминас подумал, что она неисправимо цинична, как и раньше. Но даже бесстыдно обнаженные фразы в ее устах не оскорбляли — так дети бегают нагишом при людях, не вызывая возмущения. Она не любила украшений, декольтированных платьев, словно стеснялась совершенных форм своего тела и старалась скрыть их; увы, она делала это с таким вкусом и тактом, что, пряча свою наготу, она еще больше подчеркивала ее. Можно было подумать, что она сама боится своей вызывающей красоты или устала и, желая отдохнуть от нее, пытается неумело облачиться в одежды Золушки.

«Да, она ничуть не изменилась, — подумал Гедиминас, чувствуя ленивую истому во всем теле. — И в этой комнате все как было. Радио, пианино, зеленый плюшевый диван, на нем две думки в наволочках из небеленого холста. Все на своих местах. Даже запах квартиры остался прежним». Но ведь:

Зачем вы, мысли, нынче ночью встали?
Зачем вы, мертвецы, из гроба поднялись?

…Немножко грусти, слов немножко старых
и несколько полузабытых лиц…

— Я сварю кофе, Гедиминас.

«Интересно, сколько еще до комендантского часа?»

Но он не посмотрел на часы и не запротестовал. Вставая, она коснулась его плеча, что-то нежное, с запахом фиалки, пощекотало его щеку, послышалась мягкая, быстрая поступь потревоженной кошки. Он зажмурился и неожиданно вспомнил один вечер ранней весной.

Эпизод был таким ярким, что на мгновение он потерял ощущение времени.

«Я сидел на том же стуле, где она теперь, и читал свои стихи. Мне надо было явиться позднее или вообще не приходить, но откуда я мог знать, что господин бургомистр задержится в городском магистрате? Мои стихи были о несчастной любви, еще свежие и очень печальные».

IX

Но перед этим я встретил ее, свою несчастную любовь, которой и была посвящена эта элегия.

В жизни бывают самые странные курьезы. Скажем, рос в одной деревне с девушкой, не замечал ее, а однажды пелена спала с глаз, и ты, ошалев от удивления, спрашиваешь сам себя: «Как я мог жить, не зная, что она есть на свете?»

«Аквиле, я люблю тебя», — мог я сказать тогда, на крестинах у Гульбинасов, когда мы с ней были крестными, и я внезапно почувствовал, что она часть моей судьбы, без которой дальнейшая жизнь пуста и бессмысленна. Те же банальные, но неизбежные слова я мог повторить (да, повторить, ведь до меня их сказали миллиарды людей) и в тот напоенный медом июньский вечер, когда мы шли за возом сена и пели, словно шальные подростки, а ее глаза как-то особенно лучились. Никогда я не видел такого до слез прекрасного, непостижимо высокого неба и таких

счастливых глаз. Я был почти уверен, что она влюблена. И все-таки не посмел произнести этих слов. Ни в тот вечер, ни потом, хотя случаев было немало. Стеснительность, скорей даже страх сковывали язык каждый раз, когда я открывал рот, чтобы поделиться с ней тайной своего сердца. Мне казалось, что этих трех слов недостаточно, они не выразят моих чувств, а прибавить к ним другие я не умел. Я неплохо выражаю свои мысли, но, увы, не в тех случаях, когда решается моя судьба. Лучше уж напишу письмо — умное, продуманное, страстное, — она не сможет не понять, что такая любовь выпадает только раз в жизни, и сумеет это оценить. Да, письмо — лучше всего!

Для нас обоих было бы лучше, если б я его не писал и не опускал в почтовый ящик на каменной ограде костела. Я пересекал рыночную площадь и потел, хотя был холодный мартовский день, едва волочил ноги, словно на мои плечи навалились кучей все любовные письма мира, оставшиеся без ответа.

А потом я встретил ее. Мы обегали все лавки — она искала какой-то особенный материал на летнее платье. Купив его, отправились в кондитерскую, выпить кофе с пирожным. Я смотрел на ее счастливое, чуть озабоченное лицо и думал о письме, которое завтра в тот же час она будет держать в руках. Меня знобило.

— Что с тобой? Ты плохо себя чувствуешь или какие-нибудь неприятности? — забеспокоилась она.

— Нет, нет. Мне почему-то кажется, что мы видимся в последний раз, — буркнул я.

— Вот дурачок! — Она рассмеялась. — Почему это мы видимся в последний раз? Ты же мой лучший друг, Гедмис.

— Да…

— Марюс говорит, если он добьется чего-то в жизни, то в этом будет и заслуга господина Джюгаса. Он тебе очень благодарен, Гедиминас.

— Марюс способный ученик.

Аквиле огляделась, взяла меня за локоть и, нагнувшись к уху, прошептала:

— Никому этого не говорила, но тебе можно. Знаю, что не разболтаешь, даже не беру честного слова. Видишь, как я тебе доверяю! Я влюблена в него, Гедиминас…

У меня посыпались искры из глаз. Кофейные чашки и недоеденные пирожные сбились в кучу. Я пытался что-то сказать, но изо рта вырвались только бессвязные звуки.

— Ради бога, Гедиминас!

Я отбросил ее руку, встал и, шатаясь, выбежал на улицу. Наверно, выглядел я ужасно, потому что люди оборачивались. Я не понимал, что им от меня надо. Мне было странно, что все стоит на своих местах, когда мой дом сгорел дотла. А когда его отстроят? Да и можно ли восстановить все, как было? Я ползал на коленях по пепелищу, разгребая обожженными пальцами горячий пепел воспоминаний, и хотел кричать, чтоб о моем несчастье узнал весь мир.

Две недели мне было противно смотреть на здоровое, довольное человеческое лицо. Вернувшись после работы в гимназии, я запирался в своей комнате и ночами просиживал за столом, тщетно пытаясь заглушить свою обиду чтением книг.

Итак, в тот весенний вечер я сидел там, где только что сидела Милда, — напротив пианино, на котором, подняв хоботы, выстроились семь слонов мал мала меньше, символ мещанского счастья, — и читал свои стихи — горестный псалом сожженному дому.

— Тебя надо отшлепать, шалунишка, — сказала перед тем Милда. — Где ты от нас прятался? Ну, быстрей скидывай пальто! Мой седовласый котенок скоро придет.

Мог ли я ждать господина бургомистра за спокойной беседой с его женой, если пришел сюда, можно сказать, истекая кровью?

Итак, я сидел перед этим черным, невыносимо тяжелым гробом с семью белыми слониками и читал на память свои стихи, которые до той минуты слышали только стены моей комнатушки.

Мир лежал перед моим взором, словно бескрайняя мертвая пустыня, и в тоскливых просторах я видел откуда-то сверху маленькую потерянную точку — самого себя, В квадрате окна шумел весенний город, где-то текли вечно живые реки, сломавшие ледяные оковы зимы, за моей спиной по-кошачьи мягко ступала Милда — канарейка в золоченой клетке, но я ничего не чувствовал и не видел ничего, кроме крохотной точки — самого себя. Мне стало страшно, и я нестерпимо пожалел эту точку. Губы задрожали, слова трескались, как пересохшая почва, откуда-то изнутри поднялся обжигающий комок и перехватил горло. Я умолк, хотя осталось еще несколько строк, и напряг все силы, стараясь сдержать рыдания. А потом… Нет, это случилось в ту же секунду. Теплые, пахнущие фиалками руки обвились вокруг моей шеи. Я почувствовал щекой ее щеку, мягкий шелк ее белых волос, а плечом упругую опору — ее грудь. Ни одна женщина так не обнимала меня, да еще в такую тяжелую минуту. Я, двадцатипятилетний мужчина, заплакал, как ребенок. Тогда она взяла меня за подбородок, откинула мою голову и принялась целовать меня, шепча: «Потрясающие стихи! Ты их посвятил мне, правда? Но почему ты плачешь — я же тебя люблю…»

Я вскочил, почти отшвырнув ее в сторону, вытащил платок и, отвернувшись, вытер мокрое лицо.

Я не знал, куда девать глаза со стыда. Когда я наконец взглянул на Милду, она стояла перед пианино и как ни в чем не бывало улыбалась. Ее глаза все еще

светились огнем измены. «Мой седой котенок скоро придет...» Даже здесь, в этой вычищенной до блеска комнате, полно грязи! Я хотел уйти, хлопнув дверью, и никогда больше не приходить, но знал, что не сделаю этого, — я слишком устал. «Единственное, что я еще смог бы, — это топать по лужам и не переживать, что брызгаю грязью на других», — подумал я и не удивился, что такая мысль впервые пришла мне в голову.

X

— Кофеек приехал, — за спиной проворковала Милда.

— Хм... Правда?

— Ты сегодня потрясающе рассеян, мой милый.

— Прекрасное слово.

— Какое?

— Вот это «потрясающе». Без него не обойдешься в современном потрясающем мире. Потрясающе пахнет кофе, потрясающе играет радио, потрясающе приятно сидеть за столом с потрясающей женщиной, когда в открытую дверь спальни видна кровать и горка потрясающе белых подушек... Потрясающе сладостный островок спокойствия в бурном океане... Белоснежный, непорочный, девственный, как свадебные простыни перед первой ночью. Так и хочется пройтись по нему вдоль и поперек грязными сапожищами.

Милда смотрела на Гедиминаса, приоткрыв рот, при-щурясь, и тихонько смеялась.

— Скоро комендантский час, но мне чихать на него. Примешь переночевать, Милда?

— Захмелел, мальчик...

— Пожалуй, но не настолько, чтоб было все равно, куда пойти — к невесте бывшего друга или в публичный дом. Не бойся. Адомас не рассердится — не так давно

он предлагал мне с тобой переспать. — Гедиминас нагло уставился на Милду, думая: «Сейчас получу по морде — и пускай: хоть одну ночь эта дамочка не сможет заснуть». И вдруг с удивлением почувствовал, что его охватывает желание.

— Иногда вы, мужчины, бываете очень щедрыми, — сказала она и снова едва слышно рассмеялась. — К сожалению, не все женщины это ценят. Может, потанцуем?

Гедиминас смотрел на нее с презрением, стараясь подавить разгорающуюся страсть.

— Как-то во сне я тебя любил, — сказал он; знал, что этого говорить нельзя, но не мог сдержаться.

— И это было тоже с разрешения Адомаса? — шепотом спросила она.

— Нет, тогда еще был жив господин Берженас, — ответил он, удивляясь, как — просто до неузнаваемости — меняется ее лицо.

— Сегодня ты потрясающе интересен, мой милый.

— Не думаю. — Он покачал головой. — Просто захотелось пройтись грязными сапогами по чистому снегу.

Тогда он услышал приглушенный смех. Ее лицо исчезло, и, как в тот раз, когда он читал ей свои стихи, его охватила лиловая, с фиалочным запахом темнота.

Глава пятая

I

Она жила рядом с аквариумом, иначе говоря — миром, разбитым невидимыми переборками на множество крохотных клетушек. Вещи и люди были запиханы вперемежку в эти стеклянные ларчики, они

что-то делали, куда-то спешили, смеялись или заламывали в отчаянии руки, а она смотрела на эту пантомиму, и ничто ее не пугало. Иногда — очень редко, тайком от Катре Курилки — забредал отец. Несколько скупых ободряющих слов, робкая улыбка, сдержанное рукопожатие, но и тут ее сердце ударялось о холодную стеклянную перегородку — он тоже был обитателем аквариума. Гедиминас писал своему доброму старику (дороги развезло, и он больше не ездил домой): «...и кучу сердечных приветов для Аквиле...» К рождеству он будет дома. Она не обиделась, что он не написал ей лично: что ж, он тоже, как все, в стеклянной клетушке. Брела по деревне с почтового пункта с новыми газетами и этим письмом, а в одном дворе — в стеклянной загородке аквариума — стоял паренек и кричал ей в спину:

Ноги гнутся, толст живот —
разрешимся мы вот-вот.

Бабы, любопытничая, зыркали из окон, а встречные на улице двусмысленно ухмылялись, кивали головами, радовались, что такой позор миновал их дочерей и сестер.

«Ну и ну, Аквиле-то уже на днях!..»

«Мать такой жандарм, а, видишь, не углядела».

«Где уж там! Ведь с самим чертом путалась...»

«Во-во, думала девка, большевики на веки вечные пришли и будет она госпожой комиссаршей, а вот те на...»

«Господь бог каждого на место ставит, голубушка, на все воля его...»

В последние дни ее преследовала болезненная мысль: ребенок родится мертвым. Не может быть иначе — ведь каждая пядь земли теперь дышит смертью. И

когда, еще не очнувшись от дикой боли, она услышала его первый крик («Здравствуй, жизнь!»), она сочла это чудом. «Теперь нас двое», — подумала она и с удивлением увидела, что аквариум разлетается вдребезги, люди и вещи, вырвавшись из стеклянных каморок, окружают ее, наполняя душу блаженным покоем и тихой радостью.

Робко скрипнула дверь, вошел отец. В усах серебряные капли — растаявшие снежинки.

— Хм… хм… В самое рождество. Разом с Иисусом Христом… — Он наклонился над кроватью, хотел поцеловать, но застеснялся своей нежности, виновато усмехнулся и спрятал за спину ненужные руки.

В дверях стояли оба Джюгаса — старый и молодой. Каждая черточка на их лицах плясала и смеялась.

— Ну вот, девонька, все и обошлось…

— Молодцом, Аквиле!

Их слова тоже не отскакивали от стеклянной стенки.

Потом ворвалась Казюне Нямунене. Необузданная и колючая, как еж, но под корой грубости таилась доброта.

— Где эта девка с дитем? Покажите-ка мне пригульного! — уже с порога кричала она.

Повивальная бабка поднесла на подушке крохотного красного человечка со сморщенным лицом столетнего старца.

— Ай да жеребец! — Взвесила на ладони голое хнычущее тельце, внимательно осмотрела со всех сторон и вдруг опустилась на кровать, обнимая Аквиле. — Носик, лоб, глазки… Говори что хочешь — вылитый отец… — прошептала она. — Марюс… Наш бедный маленький Марюкас… Сиротка! — захлебнулась слезами и долго всхлипывала, одной рукой прижимая к груди подушку с младенцем, а другой гладя угловатые плечи незаконной снохи.

Аквиле натянула на голову одеяло и отвернулась к стене. Заплакала как никогда мучительно, облегчая душу слезами.

Несколько дней спустя Пеликсас Кяршис привез долг — десятка три досок, которые брал осенью у Джюгаса. Договаривались: вернет весной, — но он почему-то постарался раньше.

Аквиле сидела в углу у стола и кормила ребенка. Даже грудь не прикрыла, когда он вошел, — не стеснялась Кяршиса, как и другие деревенские женщины, видевшие в нем друга, отца, брата, только не мужчину.

— Значится, уже.. — поздоровавшись, сказал он. — Родился, ага... — Присел на краешек лавки, краснел, сопел, стесняясь посмотреть в сторону Аквиле, да и слова куда-то подевались, словно камни с его старательно ухоженного поля: ни одного под рукой. — Так я, значится, доски привез... Раньше напилил, ага. И потолок вот настлал... Раньше все кострика сыпалась. В будущем году, если бог здоровьем не обидит, стены обошью и крышу новую...

— Может, выпьешь стаканчик рождественского пива, Пеликсас? — предложил старик Джюгас.

Тот заерзал всем своим нескладным телом. Нет-нет, ему некогда. Мать прихворнула, вряд ли сегодня встанет. Скотину кормить, свинью отгородить — скоро опоросится, — дел-то много. Нет-нет! Но все равно сидел, словно привязанный, и потел, — хотел и не мог оторваться от лавки.

— Так-то все, ага... да уж... Раньше-то хоть мама подсобляла... И-эх, и несладко же мужику одному на хозяйстве...

— Жениться надо, Пеликсас, — прервал его Джюгас.

— О-о, хорошо бы... — Глубоко вздохнул, провел ладонью по продолговатому свежевыбритому лицу, словно прикрывая не вовремя родившуюся мысль, и

вдруг невпопад спросил: — И-эх, правда, когда крестины-то?

— Как с лесом управимся, — ответил Джюгас за Аквиле. — Ребенок крепкий, может подождать. Не пойдешь в кумовья, Пеликсас?

Предложено было в шутку, но Кяршис принял за чистую монету. Испуганно вскочил, словно земля под ногами разверзлась. Мотал головой, отнекивался:

— И-эх, нет! Ни за какие пироги! Только не я. Есть люди как люди. Да какой из меня кум!.. И-эх... Вы уж не сердитесь, вот, но так выходит... ага...

На прощание робко взял руку Аквиле и минутку подержал в своей медвежьей лапе. Толстые, заскорузлые пальцы дрожали. Дрожали мохнатые брови, глаза смотрели куда-то над плечом Аквиле, в пространство.

— Да он в тебя втрескался! — пошутил Миколас Джюгас, проводив гостя.

Аквиле пропустила слова старика мимо ушей.

— Обойдемся без шума, дядя. — Ее заботило другое. — Съездим в воскресенье в Краштупенай, Гедиминас со своей хозяйкой пойдут в кумовья, тихо-мирно и окрестим.

— Ты что, белены объелась? Хуже людей? — вспылил Джюгас. — Так не пойдет, девонька, устроим крестины как подобает. Пускай деревня видит: никому ничего не должны, ни перед кем не виноваты. — И, помахав пальцем перед личиком младенца, добавил: — Верно говорит дедушка, Марюс?

Аквиле с досадой тряхнула головой:

— Только не Марюсом, дядя! Как хочешь, только не Марюсом...

II

Окрестили Лауринасом — в честь отца Аквиле и, конечно, назло ее матери. Кумовья тоже подобрались такие, что Катре Курилка чуть не лопнула от злости: жена этого «голодранца паршивого» Юзе Путримене и Гедиминас, которого Вайнорене не терпела, как и всю семью Джюгасов.

В костел ехали через двор Вайнорасов — Аквиле заупрямилась, хотя могли выбраться на большак и другим проселком. Мало того — сама втиснулась между кумовьями: проводит, дескать, до деревни и пригласит на крестины милую матушку... Ми-лу-ю... Просто оторопь взяла — столько яда было в этом слове! Гедиминас поморщился, но остановил лошадь под окнами Вайнорасов и терпеливо ждал, пока Аквиле возилась возле младенца, завернутого в крестильную перинку, и, косясь на избу, давала кумовьям ненужные советы. «Здесь мой дом, и хоть ты, старуха, лопни от злости, я провожу своего сына в первый путь из своего двора», — так и кричали мрачно сверкавшие глаза. И когда ходкая буланка, поблескивая медяшками на сбруе, рванула с места и сани вылетели через двор на большак, она беззастенчиво крикнула вслед («Не простудите моего Лауринаса!»), чтобы услышали там, в избе, и все махала рукой, хотя некому уже было махать, и представляла себе, как кумовья мчатся в вихре снега через деревню, Как развеваются голубые ленты и как потом той же дорогой они понесутся из костела, разбрасывая детям конфеты, а бабы, приплюснув носы к стеклам, будут глазеть из окон или стоять во дворах с постными рожами.

Хоть подавитесь! Никому ничего не должны, ни перед кем не виноваты! Дорогу безотцовщине Лауринасу Вайнорасу!

Подошла к дверям, важно откинув голову, переполнившись гордыней и презрением к той, которую язык не поворачивается назвать матерью. Щеколда —

звяк! — перед самым носом. А вслед за этим звяканьем хихиканье.

— Матушка! Это я, Аквиле. Пожалуйте на крестины Лаурукаса!

Подергала ручку. Раз, другой. Знала — не пустит, но разве за этим она пришла!

— А внучок-то какой красивый! Весь в Красного Марюса... Правда, матушка, не побрезгуйте, приходите на крестины...

За дверью рычание, — точь-в-точь пес, которому наступили на хвост. Слышны удаляющиеся шаги, хлопнула дверь: Катре не выдержала и удрала в дальнюю комнату.

Аквиле пнула ногой косяк и отправилась к кухонному окну. А там отец сидит за столом, перед ним каравай хлеба. Словно из-под земли выросли Юсте с Юргисом. Скачут у окна, словно козлята, увидевшие себя в зеркале, ухмыляются, жестами и взглядами приветствуют старшую сестру — соскучились.

Аквиле прижала кулаки к груди. Улыбается, едва сдерживая слезы, кричит:

— Дети, не прозевайте кумовьев! Полмешка конфет везут!

С грохотом влетела Катре. Юсте — по шее, Юргису — по спине, и кухня вмиг опустела. Только голова отца, спрятанная в ладони, как от удара, и початый каравай хлеба.

Хлопнула наружная дверь, даже окна задребезжали.

— Я те покажу конфеты, шлюха паршивая! Я те дам, чертово семя! Будешь знать, как шлендрать под чужими окнами! Я уж из тебя чертей выгоню, бесноватая, больше меня срамить не будешь, змея подколодная...

В руках у Катре закоптелая кочерга. Сама простоволосая, всклокоченная, как куст чертополоха,

кривые, костлявые ноги болтаются в деревянных башмаках.

Аквиле показала язык — и дай бог ноги. Отбежала малость, оглянулась через плечо — мать все еще бесновалась во дворе, размахивала кочергой.

«Вот потешили деревню...»

Неистовство прошло, словно прояснилось запотевшее стекло. Правда, почему не послушалась дяди Миколаса? Зачем эта глупая затея? После родов ее словно подменили. Вспыльчивая стала, ранимая, чуть что — выходила из себя. К добрым добра до слез, а в злую минуту могла любую пакость сделать. Иногда такая блажь в голову ударит, что потом хоть плачь. «Яблоко от яблони недалеко падает...» Но почему этой яблоней должна быть Катре Курилка? Есть же отец, которого деревня нарекла Агнцем Божьим. «Куда мне до божьей овечки! Кто видел, как я скакала у окон, скажет: „Эта вся в мать“... Мать! Чтоб она сдохла, такая мать! Лучше уж ведьму в матери!..»

Вволю наплакалась, и вроде отлегло от сердца. За сеновалом освежила снегом распухшее лицо, побродила по хутору, пока не остыла, и только тогда пошла в избу помогать женщинам готовить угощение. Но в голову все лезли тревожные мысли, теперь уже про другое: только бы с кумовьями чего не стряслось! Вдруг лошадь понесет, вывалит всех в канаву или немцы арестуют... Ее любовь к сыну, разгоравшаяся все сильней с каждым днем, была такой же неуемной, как и ненависть к матери. Едва увидела, что кумовья возвращаются, стрелой бросилась во двор, растолкав гостей, которые повалили из избы поздравлять маленького Лауринаса. Голодный ротик жадно сосал грудь, и тесная комнатка, в которой Аквиле укрылась от чужих взглядов со своим сокровищем, казалась ей просторней остального мира. И когда на крестинах, положив младенца спать, она села на почетное место матери, в красный угол, и все

поздравляли ее, поднимая стаканы с пивом (правда, были и рюмочки мутной «немецкой» водки) за здоровье младенца, Аквиле хотелось побыстрей убежать от всего этого в свой укромный уголок.

А гостей и впрямь было много — Миколас Джюгас не ударил в грязь лицом. Пришли друзья, родные, соседи Джюгасов и Вайнорасов. В горнице яблоку негде упасть. На столах тоже богато, нищих всего прихода можно бы накормить да напоить. Слава господу, не опустели еще и хлева, и амбары, и кладовки — не успел подчистить немец. Одно вот странно — с хутора Вайнорасов никого нет... Катре Курилка заперла всех в баньке, сказал кто-то, поколебав праздничное настроение. Но стаканы и чарочки тут же выправили его. Соседи подталкивают кумовьев, чтобы сели поплотней, а то крестник будет редкозуб. Культя (под хмельком он становится ревнив) подозрительно поглядывает на жену. Над столами летят острые словечки, гремят раскаты хохота («Осторожнее, господин учитель, Путримас не любит помощников..» — «Да уж, наш Культя сотворит седьмого и без посторонней помощи...»). Какая-то чувствительная душа, усерднее других налегавшая на пиво, предлагает затянуть песню, но с ходу получает суровый отпор: «Сбесился! Траур же...» Все делают вид, что возмущены. Только хозяин снисходительно улыбается, покручивая встопорщенные усы. Песню? Что ж, песню так песню! Мертвому-то все равно, будешь ли ты здесь, в сей юдоли земной, плакать или петь. А если его душа видит нас оттуда, ей бы только радоваться, что мы не деремся, не сквернословим, а красивыми песнями тешим сердце. Так что промочим горло, чтоб звонче пелось, милости просим.

Звенят стаканы, бренчат ножи и вилки, булькает пиво, льющееся из пузатых кувшинов. Ясное дело, сейчас будет песня — у этих Джюгасов все шиворот-

навыворот. Но нет, не поют — и без того вдоволь работы для языка. Снова рядышком человек с человеком, сосед с соседом; еще недавно только приподнимали друг перед другом шапку из-за заваленных сугробами изгородей; если и сходились, то лишь по делу, — уладишь его, и легче в доме, но не на душе. А потолковать есть о чем: такая зима! В одном Лауксодисе столько новостей, что в десяти газетах не пропечатаешь. Кто умер, кто родился, кто женился, у кого ночью из чулана сало унесли, кого немцы угнали с обозом... А перед Новым годом в поместье Гульбинасов въехал новый хозяин, какой-то Петер фон Дизе из-под Тильзита. Поместье, дескать, его собственность, поскольку некогда оно принадлежало Гурскене, первой жене Гульбинаса, которая по кровному родству приходится ему тетей, — фрау Гертруда фон Дизе. Да, когда-то она так называлась, эта фрау Дизе. Любила похвастаться своим прусским происхождением — мы, старики, это хорошо помним. Бедные Гульбинасы. Лучше им не возвращаться из этой Сибири, если они еще там живы.

— Куда уж... — Голова Миколаса Джюгаса свешивается на грудь.

— Верь ты ихним газетам.

— Нет дыма без огня...

— Не горюй, Миколас. Америка раздолбает германца, и тебе достанется поместье Гульбинасов.

— На что оно мне? Лучше выпей.

— Раздолбает... Пустые слова. Такая силища.

— Да Гитлер, считай, почти всю Украину загреб. Русские теперь без хлеба сидят. Немцы ломятся к Москве и Ленинграду.

— А Москву Гитлер таки не взял до зимы, как обещал.

— И не возьмет. Россия — ого! Земля без конца и края. Никто еще ее не осилил.

— Осилишь их! Русским-то и воевать не надо. Будь они похитрей, отступали бы да отступали. Немцы заблудились бы, как гусята в болоте, и сами окочурились.

— Они так и делают. А для верности в тылу партизаны помогают.

— Прикуси язык, отец.

— Пошел ты знаешь куда… Сам я выдумал, что ли?

— Знакомый из Вильнюса приезжал. В гости. Рассказывал, белорусские леса так и кишат партизанами. Говорит, с бабами, с ребятами…

— А куда людям деваться, если немцы их сгребают, будто вшей, — да в огонь? Сам видел намедни, как по Краштупенай пленных гнали. На людей не похожи.

— Злодейства еще никому с рук не сходили. Отрыгнулись одним — выйдут боком и другим.

— Лучше бы пленных хозяевам раздали, чем голодом морить. Для всех была бы выгода.

— Говорят, дадут. Вышел такой приказ.

— Да какой от них прок! На ногах не стоят.

Черная Культя сидит, опустив голову. Крепко сжатый кулак здоровой руки то прячется под стол, то снова появляется на столешнице. Наконец пальцы распрямились, схватили стакан и — до дна! Решился!

— А что, если — чик! — и Гитлеру конец? — восклицает он. — Продул войну. А русские тут как тут — и хоть лопни… А? Что тогда, чтоб вас сквозняк?

— Ждешь?

Юзе Путримене, кума, морщится и подмигивает, унимая мужа, но Культя уже разошелся:

— Не жду, просто так интересуюсь. Хотя, по правде, от собственного клочка земли я бы не отказался. А с другой стороны, на что он мне? Если русские придут, все равно всех в колхозы загонят.

— Иди домой, пьяная свинья! — Путримене то краснеет, то бледнеет; глаза, и без того навыкате,

лезут на лоб, в них животный страх и злоба. — Гони его в шею, господин Джюгас.

— Успокойся, кума. Разговорами русского не накличешь, а немца не выгонишь.

— Во-во, прошлогодний снег не возвращается. Англичане не позволят им ногой на нашу землю ступить. Только до границы, а дальше — стоп!

— Чурбан! Ничему не научился от тех, что за язык головой поплатились… — ужасается Путримене.

На другом конце горницы тоже не обходится без политики. Еврей надувал нашего человека, но зачем с ним так? Литовки стирали ихние пеленки, мыли у евреев пол? Ну и черт с ними! Давайте теперь их баб и дочек приставим к этой работе, пускай выгребают наш навоз, но зачем людей в могилу-то? В Священном писании нигде не сказано: возьми камень и убей своего недруга. Нет, Иисус Христос велел прощать своих должников, хоть они и распяли его. Против веры идем, вот что! Капля невинной крови не высохнет; не приведи господи, если эта кровь падет на наши и наших детей головы. Немцы виноваты? Так-то оно так, без их команды невинная кровь не лилась бы, но что ты за человек, если любой головорез может толкнуть тебя на грабеж и убийство? Ведь они последнюю одежду сдирали с несчастных, бросали в ямы в чем мать родила… В Краштупенай-то хоть люди не видели этих ужасов, а в Пасрауйисе стреляли в самом городке, прямо на рынке, тысячу с лишним человек уложили, кровь стекала по каменному желобу в реку, на целый километр. Срауя стала красной. В суматохе кое-кому удалось убежать, но далеко ли?

В тот день мы молотили у старосты Яутакиса, вспоминает Казюне Нямунене. Гляжу, бродит вокруг тока какой-то человек. Не старый еще, но бородой зарос до ушей, только кончик носа и ошалевшие глаза видны. Люди накинулись на него: «Прячься, здесь тебе не

место». Тащат его в стог соломы, а он упирается. Кривляется, словно мартышка, выставит, как ружье, то одну, то другую руку и кричит: «Трах-тах-тарарах, трах-тах-тарарах!» Помешался, бедняга... Увидел Яутакис — тогда еще был здоров — и велел мужикам связать умалишенного: надо, мол, немцам доставить. Тот улепетывает и все вопит свое «трах-тах-тарарах». И тут откуда-то вылез батрак Яутакиса Пятрас (Кучкайлис его фамилия) с винтовкой. Бухнул три раза, и делу конец... А был хороший адвокат — кто не знал Гринберга? Не одного нашего человека в суде защитил.

Разговоры за столами затихают, комнату наполняет звонкий голос Казюне. Кое-кто робко возражает: в военное время люди всегда гибнут, а убийцы во все времена были и будут. Иной, может, про себя рассуждает, хоть рта открыть не смеет: не Пятрас, другой бы пристрелил. «Такая уж у Гитлера установка — перебить всех евреев, и не нам ее изменить», — отозвался кто-то из угла. Может, и не изменим, вскинулось сразу несколько голосов, но пускай ее, эту установку-то, выполняет тот, кто придумал. Нет, нет, им это даром не пройдет. Яутакис вот пальцем к курку не притронулся, хитер, собака, только еврейское имущество из Краштупенай целыми возами волок, а вот болезнь уже прижала, костлявая хватает за глотку. Ну, а Пятрас, что тут говорить... Сам под мухой хвастался, что добрую сотню в Ольшанике ухлопал.

III

Пеликсас Кяршис сидит спиной к двери, в разговоры не встревает. Когда подгулявшие соседи напомнят, отхлебнет от стакана, а то и чарочку мутненькой опрокинет. В груди приятная теплота, посидеть бы еще, но солнце клонится к земле, зовет домой — скотину

кормить пора. Да и ужин никто за него не приготовит. Ох, была бы женская рука дома! Любую, спору нет, можно привести. Небольшое, правда, хозяйство, но ладное, — только с души воротит. И-эх, если б Аквиле… как красиво она выглядит за столом. Грустная, а все равно со всеми обходительная, заботливая… И труженица какая, во всем Лауксодисе не найдешь второй такой. И-эх, не женщина, просто клад! Да и право на нее он имеет — давно ведь по ней сохнет. Еще не было ни этого господина Контроля, ни второго такого же прощелыги — Марюса. Увидел как то — гимназисточка свеклу пропалывает. Черная, щупленькая, проворная, как бесенок. Ребенок, стыдно сказать, но занозой засела в сердце, и никуда не денешься. Семь лет! Лишь последний дурак может столько ждать и надеяться, что палка выбросит ростки. Но он, Пеликсас, такой уж есть. И-эх, хоть бы лицом вышел… Да ладно, что с того, зачем дурацкими мыслями голову забивать, пора домой…

Кяршис заерзал, вот-вот встанет, но его приковала к лавке странная тишина. Вся горница словно замерла, и ему показалось, что сидящие за столами уставились на него.

— Добрый вечер, господа, дамы и барышни! Добрый вечер! — загремело за спиной, будто из граммофонной трубы.

В дверях стоял Пятрас Кучкайлис. В тулупе, под мышкой засаленный портфель старосты, в правой руке клетчатая фуражка. Похлопывая ею по голенищу, ухмылялся безгубым, в лишаях лицом.

Несколько голосов вразнобой откликнулись на приветствие.

— Присаживайся, Пятрас, поищи себе место, — пригласил Миколас Джюгас, неохотно привстав со стула. — Выпьешь за здоровье новорожденного.

Кто-то из гостей подскочил к Кучкайлису, выхватил из рук фуражку, услужливо принял тулуп, который тот неторопливо снял, и, несмотря на нерешительные протесты («Да зачем это… Я ж по казенному делу, на минутку…»), втиснул незваного гостя между Кяршисом и Пранасом Нямунисом.

— Пеликсас, соседушка, налей нашей власти, авось мягче станет, — попросил Джюгас. — Что ж, Пятрас, опять с подводами погонишь или, может, немец еще зерна захотел?

Пятрас выпил два стакана пива, опрокинул чарочку «немецкой», закусил, не обращая внимания на тревожные взгляды, и только тогда соизволил ответить. О нет! Никаких подвод, никаких дополнительных поставок. На сей раз, видишь — нет, немцы не требуют, а сами дают. Вот он и ходит по дворам, записывает, сколько кому надобно пленных. Немцы, видишь — нет, взяли их тьму-тьмущую, девать некуда. Хватит и чтоб землю унавозить, и чтоб поля обработать. Не будут и марки стоить, за одну кормежку. Поначалу, видишь — нет, недельку-другую придется откармливать — очень уж дохлые, зато потом, когда встанут на ноги, хватит им и объедков. Не кормить же их, видишь — нет, блинами да салом, как нашего человека.

— В поместье устроят для них лагерек. Ночью они там будут — стеречь придется, видишь — нет, самим, по очереди, а утром на работу. Дешево, хорошо и удобно. Пеликсас, запиши себе парочку, без батрака-то не обойтись.

— Это я-то? — Кяршис опешил: такая копна с неба на голову свалилась! — А… а если сбегут? И-эх, тогда… ага…

— Да куда они побегут, бедняги? — встряла Казюне Нямунене. — Ведь у мужика им просто спасение.

— Побегу-ут! — Пятрас так и покатился со смеху. — К немцам да под пулю? Мне смешно!.. Господин

Джюгас, вам тоже парочка пригодится.

— Если возьмем, доброе дело сделаем, — словно про себя сказал Миколас Джюгас.

— Слов нет, — согласился Пятрас. — Немцам не придется их кормить и стеречь. Останется, видишь — нет, больше солдат для фронта.

— Без тебя, Кучкайлис, немцы, пожалуй, и войны не выиграют, — не вытерпел Черная Культя.

Несколько голосов сдержанно рассмеялись, а Культя, воодушевленный одобрительными взглядами, зачастил дальше:

— И впрямь, Кучкайлис. Чего тебе тут с бабами да ребятишками возиться? Подался бы в добровольцы, помог бы Гитлеру разбить большевиков, а через месяц-другой — домой, с музыкой да с железными крестами на брюхе, чтоб тебя сквозняк.

— А кто дома порядок наведет? — вырвалось у Пранаса Нямуниса.

Губы Пятраса совсем втянулись, пухлые, в корке лишаев, щеки задергались, желтые брови встопорщились; что-что, а насмешку он чуял за километр, как пес колбасу, и непременно давал сдачи.

— Я вам, черномордые, солнца не защу. Ты, культявый, не скаль зубы, такие, как ты, очень в Германии нужны. Айн момент могу выписать заграничный паспорт. Да и тебе, кстати, Нямунис, чтоб уважить твоего сынка, который головой заплатил за свою нищую власть.

— Послушай, Кучкайлис, — оборвал его Гедиминас, — если ты пришел грозиться, то не туда попал. Застегни-ка свой портфельчик и катись, где больше пуганых.

— Черт лишавый! — вскочила Казюне Нямунене. — Ты нашего Марюса не трогай! Он святой, руки у него не в крови. Невинных людей не стрелял, его такие же, как ты, бандиты убили!

Миколас Джюгас бросился успокаивать:

— С ума сошли! Может, еды-питья не хватает? Наливайте, кладите на тарелки. Пятрас, Казюне! Здесь святые крестины, а не кабак.

— Распоясался тут…

— А что, привык в Ольшанике…

— Да уж, чтоб голого еврея убить, много храбрости не нужно…

— Как таких святая земля носит? — посыпались возгласы один смелей другого.

Пятрас встал, схватил со стола кувшин — сейчас шмякнет в первого, кто подвернется под руку. Глаза налились кровью, на скулах заходили желваки. Волосатая лапа, стиснувшая ручку кувшина, дергается, как у припадочного, пиво расплескивается через край.

— Пятрас… Пятрюкас… — в напряженной тишине раздался испуганный голос Миколаса Джюгаса. — Сядь… На пьяных не обижаются…

Гедиминас, смутившись, опустил глаза.

Пятрас постоял, напыжившись, словно бык на красное, громко втягивая дрожащими ноздрями воздух, потом наполнил свой стакан и одним махом опрокинул в бездонную пасть. Плюхнулся на стул, словно потянули сзади, и саданул одним локтем в грудь Нямуниса, а другим — Кяршиса.

— У меня-то руки в крови? Ха-ха-ха, мне смешно!.. — хохотал он, запрокинув голову. — Нямунене, большевистская мамаша, скажи на милость: есть ли у них кровь, у этих жидочков, а? Лучше бы сказала, руки у меня в сале! Жирка-то у них хватает — у каждого сальник, видишь — нет, до колен висит. Одна Хайка центнера три весила. Жаль, хорошая была жидовка. Я ей так и сказал: «Мне противно, видишь — нет, пускать пулю в твое сало. Куда наши мужики без тебя денутся-то? Кто даст им в долг селедки, керосину, табаку? Погибнем мы, сиротки, да что поделаешь, видишь —

нет, винтовка-то заряжена...» Тут она — бац! — передо мной на колени: «Ой-ой, господин Пятрас, смилуйся! Ведь жили как брат с сестрой. Ой-ой, не стреляй, я вас на ту пасху мацой угощала...» Мацой на христианской крови, мне смешно!.. Как она про эту мацу сказала, пуля сама айн момент вылетела из дула.

Пятрас заржал, обвел вызывающим взглядом примолкших гостей, и тут случилось нечто неожиданное: Пеликсас Кяршис замычал, повел плечами, словно ему сыпанули за шиворот раскаленных угольев, и двинул кулаком Кучкайлиса в подбородок. Тот, даже не охнув, вместе со стулом шмякнулся на пол. Кяршис неуклюже встал, вытер рукавом пиджака вспотевшее лицо и, схватив упавшего за ноги, выволок во двор. Потом не спеша вернулся в избу, достал из-под стола портфель старосты и швырнул его в открытую дверь, к ногам Кучкайлиса, который пытался оттолкнуться от земли руками и сесть.

— Пора мне... ага... — сказал Кяршис, сунув голову в горницу. — Спасибо за угощение, да... Я пошел.

И, отыскав на кухне свой полушубок, тяжелой, медвежьей поступью побрел домой.

— Пуля сама из дула вылетела... Мацой заряженная... Ирод! Будто его кровь дороже еврейской... — бормотал он, вытирая вспотевшие ладони о полы полушубка.

IV

Миколаса Джюгаса вызвали в волость. Приехал он злой и озабоченный.

— Хотят старостой назначить, — отплевывался он, — С волостным старшиной поцапался, боюсь, как бы пленного не отобрали.

Василь, догадываясь, что речь идет о нем, тревожно поглядывал на Джюгаса; жирный борщ на сале, который столько месяцев снился ему по ночам в лагере, вдруг потерял всякий вкус.

После обеда поехали сажать картошку. Подходящее время — небо обложено мелкими облачками; картошка уродится крупная и рассыпчатая.

Миколас Джюгас запахивал, а Аквиле, Василь да Казюне с женой Культи, пришедшие подсобить, бросали картофелины в борозды. Маленький Лаурукас, обложенный подушками, сидел в конце загона в корзине и сосал молоко из бутылочки. Куда ни глянь, в полях трудились люди, слышались возгласы, то тут, то там даже пение, — все ж весна, а весной в поле и камень шевелится.

Трава для коров еще с гулькин нос, но Миколас Джюгас своих выпустил — пощиплют до вечера пырея.

— Эй-эй! — кричал то один, то другой, заметив скотину в подозрительной близости от ржаного поля, и бежал отгонять ее.

— Ваша Черная на других коров нападает, не дает пастись, — заметила Казюне.

— Быка ищет. Придется вечером сводить, — решил Миколас Джюгас.

— В поместье или к Яутакису? — спросила Аквиле, зная, что это придется сделать ей, поскольку у женщины, да еще недавно родившей, легкая рука.

— Зачем нам с ними родниться? Погонишь к Кяршису. У него ладный бычок, да и по соседству.

Вечером, уложив Лаурукаса, она повела Черную к быку. Деревня лежала в угасающем свете заката, встопорщась верхушками деревьев: фантастическая челюсть, беспорядочно усаженная большими и маленькими зубами; выше всех выдавался красный клык — шпилек деревянной часовни. Легкий ветер приносил с той стороны запах дыма и затихающие звуки

вечернего житья-бытья. У запруды мельницы Сальминиса усыпляюще журчала Срауя. Луна, большая и белая, уже всходила на помрачневшее небо, на добрую пядь оторвавшись от земли, — вечный фонарь природы, светящий и влюбленным, и лягушкам, квакающим в болотах, и хохлатому чибису, который, прилетев раньше прочих птиц, вопит на все поле, радуясь, что перетерпел последние весенние заморозки и что в гнезде проклевываются из яиц пушистые наследники.

Аквиле вела за веревку неспокойную корову, всем телом впитывая благоухающую и звонкую прохладу вечера. Было тихо и хорошо, хотя изредка за сердце брала мягкая тоска. Вспомнилась точно такая же лунная ночь год назад. Отцветали сады, и трава под яблонями была белая, как от инея. «Сам бог постелил нам постель», — сказал Марюс и в шутку повалился наземь, увлекая ее за собой. Они ласкали друг друга, потом, лежа на спине, глядели на луну, запутавшуюся в ветках яблони, и снова обнимались. Марюс иногда терял чувство меры. Это раздражало ее и пугало. «Как собаки. Его не заботит, как я потом залезу в окно к сестренке». Она уже подозревала, что понесла — там, на сеновале Нямунисов, на прошлогоднем сене, когда где-то внизу хрюкала свинья. А может, дня через три, в стоге соломы Яутакисов? Но она не сказала: сама не понимает почему. Неужели и тогда ему не доверяла? «На троицу могли бы пожениться, Марюс», — словно испытывая его, проронила она. Он рассмеялся. «А почему же не на праздник Октябрьской революции, не в День Конституции? Нет, девочка моя, рано говорить о свадьбе, столько неотложных дел, надо сперва их уладить». Что скрывалось за этими словами? Может быть, надежда, что Катре Курилка наконец уступит и даст долю, полагающуюся дочери?

Так Аквиле, вспоминая Марюса, всякий раз неосознанно пятнала подозрениями его память, заталкивала его образ все дальше в закоулки черствеющего сердца, где оставалось все меньше места для прошлого — красивой, но обманчивой сказки, которую надо поскорей забыть. И теперь, взяв себя в руки, она прогнала свои воспоминания и оставшуюся до хутора Кяршиса дорогу думала то о Лаурукасе, то о том, не лег ли хозяин бычка спать.

Кяршис только что отужинал и сидел на крыльце, потягивая самокрутку. У ног лежали кожанцы — он выколотил из них землю, сейчас повесит на изгородь, чтобы ночью пес не утащил. Брови так и запрыгали при виде Аквиле. Хотел встать, но удалось не сразу — коленки подкосились.

— Я… понимаешь, Пеликсас… Дядя Миколас прислал… — объяснила Аквиле, едва удерживая беснующуюся корову.

— Правда, ко мне? — не верилось Кяршису. Губы растянулись в ухмылке до ушей. — И-эх, сейчас выпущу своего Рыжика! Молодой еще, ядреный, увидишь. Породу не испортит.

Черную Аквиле привязала цепью за столб изгороди, а Кяршис пустился бегом в хлев. Ноги в закатанных штанах так и замелькали. Аквиле рассмеялась: в жизни не видела, чтоб Кяршис так торопился, а его медвежья рысца выглядела очень уж смешно.

Вывел своего Рыжика.

— Видишь, бычище какой!

Тот взревел, увидев корову, и вприпрыжку понесся по скотному двору. Кяршис едва удерживал его на цепи. Аквиле, застеснявшись, отвернулась.

— Справный бычок, и-эх, справный… — восхищался Кяршис под храп спарившихся животных. — Но корова тоже хоть куда. Если будет телка, заранее прошу Джюгаса продать мне.

— Скажу, — пообещала Аквиле; ей снова вспомнилась ночь, когда они с Марюсом лежали под яблоней.

…Старуха Кяршене сидела на сбитой из досок кровати, прислонясь спиной к горке подушек. Худая, высохшая, как щепа, только и осталось что хрящеватый нос да большие глаза под желтым пергаментом лба. Рядом, на конце лавки, стакан с настоем каких-то трав, миска с засохшей кашей. У стен набросано свежей хвои, чтоб перебить дурной запах. В избе черт ногу сломит: одежда валяется где попало, в углу, рядом с дверью, куча грязного белья, на столе гора немытой посуды.

— Девку вчера староста переманил — пообещал больше платить. А пленного так и не дал: Пятрас мстит за оплеуху, — пожаловался Кяршис.

Аквиле присела в ногах больной. Она чувствовала за собой вину — ведь так и не проведала ни разу соседку.

— Да что уж там… Не свадьба ведь, не танцы. Кому приятно гладить околевающего пса, — добродушно ответила старуха, когда Аквиле стала извиняться. — У молодых свои дела, свои радости да заботы, а у стариков одно дело — ждать костлявой.

— Никто не ведает, когда она придет, тетушка.

— Я-то знаю, девонька. Цыганка нагадала. Когда самый злобный пес в деревне околеет, и я помру. За Яутакисом вслед пойду.

Аквиле поднялась уходить.

— В воскресенье я загляну, тетушка, — вырвалось у нее обещание.

— Вот хорошо бы! — обрадовалась старуха, не очень-то веря словам Аквиле. — Пеле все работает да работает. А я тут одна лежи…

— Маменька ждать будет, ага. Порадуешь ее, — сказал Кяршис, проводив Аквиле с коровой за ворота хутора. — Да и меня… — добавил робко. И, благословляя в мыслях своего Рыжика, пожирал

глазами сгущающиеся сумерки, пока не растаял вдали белый платок Аквиле.

И-эх, хоть бы не обманула…

Но в воскресенье после завтрака она пришла. На одной руке — Лаурукас, в другой — корзинка с гостинцами для больной старухи: варенье, свежие булочки.

Кяршис вышел во двор встречать. Белая покупная рубашка, новые сермяжные штаны, подпоясанные кожаным ремнем. Свежевыбрит, подстрижен, пахнет мылом и фабричным табаком.

В избе прибрано, хоть и не женской рукой.

Старушка растрогалась до слез. Варенье, булочки… Мало того, что сдержала слово и пришла, да еще такие гостинцы!

— Пеле, Пеле, а мы-то чем гостей дорогих попотчуем?

Кяршис топтался посреди избы, не находил себе места. И приятно и непривычно.

— Есть окорок, сало, мука, яйца, — бормотал он. — Можно ребенку блины испечь… Прошлогоднее яблочное есть…

— Ой, Пеле, Пеле… — пожурила сына старуха, беспокойно ерзая на своих подушках. — Чего же ты ждешь? Вот встану, стыдно тебе будет!

— Не надо, ничего не надо, тетушка, — отказывалась Аквиле. — Мы с Лаурукасом только что позавтракали.

Кяршис вышел в сени. На чердаке затрещали грузные шаги. Вернулся с двумя запыленными бутылками.

— Есть у нас. Всего хватает, справно живем, — слабым голосом, но уже оживившись, хвасталась Кяршене, пока Пеликсас за печкой вытирал бутылки и искал стаканчик для вина. — Работящий, не пьяница

мой сынок, господь ни здоровьем, ни умом не обидел. Если б ему еще жену хорошую, не жизнь будет, а рай.

— Подыщет, тетушка, время-то есть.

— Давно уж время вышло. Вот чтоб ему такую, как ты, цветик.

Аквиле обратила все в шутку.

— Мой муж — вот, — сказала она, целуя Лаурукаса.

Кяршис краснел, как девушка. Бутылка вдруг потяжелела, рюмка уменьшилась, и вино лилось на дощатый некрашеный стол.

— Послезавтра свеклу хочу сажать, — переменил он разговор. — Может, денек подсобите за моего Рыжика…

Аквиле пообещала.

Пришли вдвоем с Василем. Кяршис с вечера проложил борозды и тоже стал помогать. Лаурукас ползал рядом с загоном на лужайке, его загородили хворостинами, как ягненка. Когда он уставал и принимался реветь, Аквиле усаживала его в корзину, совала бутылку молока, и ребенок, посасывая соску, спокойно засыпал.

После полудня Кяршис отпустил ее готовить ужин. Перед этим показал, где что, но она все равно чувствовала себя неловко. Хотела видеть только то, за чем пришла, но в глаза лез каждый пустяк. Черпала из мешка муку для вареников, а взгляд невольно рыскал по всему амбару: закрома с зерном, пласты вощины, висящие под кровлей, развешанные на веревке выделанные овчины. В чулане то же самое — нужен был только ломтик окорока, но хоть в помещении темно, она заметила и тяжелые полти копченого сала, шмат сала на висящей под потолком досочке, и ведро смальца, и другие припасы. В хлеву — две коровы, бычок, супоросая свинья, два подсвинка (покормила она и скотину, хоть ее не просили), у стен — поленницы дров… «Пеликсас умеет хозяйничать…» И в голову

лезли такие мысли, что щеки пылали, как у воровки, пойманной за руку.

После ужина Кяршис взял Лаурукаса к себе, покачивал на колене. Ребенок радостно лепетал. Ему понравился этот нескладный, угрюмый, но добрый дядя. Да и он нравился дяде, который сегодня смотрел именинником: свекла посажена, вареники удались, скотина и та накормлена.

Ночью Аквиле плохо спала. То и дело просыпалась, ее будил какой-то зов. Только вздремнет и сразу видит лес Венте, хотя там никогда не была. На пне сидит Марюс, весь в вишневых лепестках, и суровым, пронзительным взглядом смотрит на исполинскую сосну. За этой сосной стоит она, Аквиле. «Не прячься, все равно вижу, — говорит он слабеющим голосом. — Наши глаза засыпаны, но мы видим сквозь землю. Глупенькая, мы ведь все равно видим...» И он начал удаляться вместе с пнем, словно на экране; стал малюсеньким, с Лаурукаса, потом с куклу и наконец пропал.

Целый день ее преследовало ощущение измены. Она знала, что это глупо, но не могла устоять перед чувством, которое толкает кающегося грешника на посещение святых мест.

Оставив Лаурукаса у Казюне, она отправилась пешком в лес Венте. Старый лесничий показал ей место, где они похоронены, бедные безумцы, как он выразился.

На небольшой прогалине виднелась впадина, еще не заросшая травой, не затянутая мхом, но ветер уже занес ее прошлогодней листвой и сухими ветками. Неподалеку высились кучи почерневшего хвороста и обомшелые пни. «Может быть, когда-нибудь им поставят памятник, — сказал старый лесничий, — но пока мало матерей знают, где покоятся их дети».

Аквиле села на пень рядом с этой впадиной, — во сне она видела, что на нем сидел Марюс. Поискала взглядом исполинскую сосну, но вокруг сосен не было. Только ели и лиственные деревья. «Где же его застрелил Жакайтис?» Она пыталась представить себе Марюса, но перед глазами была только прогалина, захламленная кучами хвороста, и лес. Клочок безмолвной земли, скрывающей осклизлые кости. Ей стало страшно, словно она осталась за полночь одна с покойником. Вскочила с пня и выбралась на лесную дорогу, все боясь, что ее позовет прошлое, радуясь, что на душе спокойно и пусто, как на этой высушенной солнцем поляне.

В воскресенье Кяршис снова снял с чердака две бутылки вина и качал на колене Лаурукаса, а старуха, заметно окрепшая за последние дни, благословляла их растроганным взглядом, шептала: «Даст бог, даст бог...» Аквиле без долгих упрашиваний согласилась нажарить блинов, а для Пеликсаса отдельно приготовить любимые им вареники, и ни закрома в амбаре, ни сало в чулане уже не казались ей такими чужими, а мысли такими кощунственными.

После угощения Кяршис пригласил осмотреть поля. Аквиле шла позади, а он шествовал первым, посадив на шею Лаурукаса.

— Лошадь вот слабовата для десяти гектаров, — по-хозяйски рассуждал он. — Заведу крепкую лошадь, ага. И-эх, хорошо б у немцев какого-нибудь бракованного битюга... Вот здесь овес посеян, там — кормовая смесь, — показывал он, останавливаясь и щедрым, влюбленным взглядом лаская каждую пядь земли. — Всходы-то хороши, если даст бог дождя, будет где коров привязывать. Клевер вот плешинами пошел — повымерз весной, зато вон то поле два раза за лето кошу — не луг, а рутовый садочек. Ржи тоже будет вволю, видишь, какая густая... Стрелы у пшеницы что

твой лук, даже вихрятся. Оба угловых закрома до потолка засыплю, как в лучшие годы.

И-эх, если не случится засухи, ни там града, не приведи господи сглазить, да если немцы не слишком с поставками прижмут, чего и желать-то? Начал бы новый хлев строить, взял бы у кого в аренду гектар-другой; хозяйство бы вширь да ввысь шло. Откупил бы восемь гектаров, которые покойный батюшка продал после худого года. Война, и-эх, война…

Аквиле глядела на широкую спину, на длинные мускулистые руки, которые двумя ветками дерева выгнулись вверх и держали подскакивающего на шее Лаурукаса, а сытный запах хлеба и уютного дома заполнял душу молитвенным смирением.

«Господи, чего я искала, что нашла и что ищу? В такое время, когда человек человеку зверь, всюду обман да вранье, самое большое счастье — найти спокойный уголок…»

Обойдя поле, вернулись на лужайку. Кяршис вдруг помрачнел, замкнулся, что-то прикидывая про себя и все не решаясь сказать.

— Не устала? — вдруг спросил он и, не дожидаясь ответа, сел тут же, на лужайке, у ржаного поля.

Аквиле прилегла в нескольких шагах от него. С минуту они молчали, глядя на голубое небо, где зудел удаляющийся крестик самолета.

— Знаешь что? — наконец промолвил он.

Она опустила глаза — очень уж сильно забилось сердце. Ждала и боялась, что в последний миг заколеблется и ответит не так, как ему хочется.

— Я никому, только тебе одной. — Кяршис помолчал, почесал макушку, словно проверяя, на месте ли все, что он хочет сказать. — Да вот… там человек лежит…

— Где? — вздрогнула Аквиле.

Он долго, с трудом поднимал руку.

— Там… — махнул задубелой ладонью.

Она с удивлением посмотрела туда, куда он показывал. Ничего примечательного, гладкий луг и в трех шагах какой-то дичок.

— Там дикая груша, — еще больше удивилась Аквиле.

— Я ее потом посадил. Там человек лежит… Может, и он, вот как мы сегодня, обходил год назад свое поле… Никто не знает, но тебе я скажу. Ты должна знать, что у меня в хозяйстве.

V

Лошадь, как всегда, он оставил во дворе Бергмана. Вернулся с базара с солдатским непромокаемым плащом под мышкой — выменял у немца. «На что мне этот плащ?» — подумал он тогда, не хотел брать, но испугался, что останется с носом: солдат слишком уж жадно пялился на сало.

В воротах стоял купец Бергман.

— Господин Кяршис, вы уже домой?

— И-эх… господин Бергман… собираюсь. Пора, ага.

— Зайдем на минутку ко мне, господин Кяршис. В комнату. — Бергман опасливо огляделся. — Когда бедного еврея прижали, старые знакомые стали обходить мой двор, а вы по старой памяти привязываете лошадку к той же коновязи. Хорошо сказано, господин Кяршис: друга познаешь в беде.

«Господин Кяршис»… До сих пор он был Бергману Пеликсасом или Пеле, да и он купца, как и другие мужики, звал по имени — Фрейдке. Фрейдке был своим человеком в Лауксодисе, без него не обходилась ни одна сходка. Крестьянин, успешно продав лен или воз пшеницы, всегда угощал покупателя, а купец со своей стороны ставил на стол бутылку водки. И, не боясь никакого талмуда, вместе со всеми ел деревенскую

свиную колбасу, поперченное сало, захмелев, приставал к девкам, распевал песни или рассказывал смешные истории, от которых все хохотали до колик в животе. Если в деревню приезжал другой купец, он обычно слышал одно и то же: «Повременим, авось цены поднимутся». А когда тот уезжал, уточняли: «Лучше уж продадим своему Фрейдке…» Деревню он покорил не только своим веселым нравом, сообразительностью, но и внешностью: высокий, стройный, белокурый, с вечно улыбающимися черными глазами, — человека с такими глазами нельзя было не любить.

— Может, стакан чаю, господин Кяршис? — предложил Бергман, когда они вошли в дом.

— Да не стоит, я сыт…

— Такое время, известное дело. Вы уж не сердитесь, что я с вами заговорил. Теперь с нами, как с прокаженными, лучше дела не иметь. Я вас понимаю, господин Кяршис.

— И-эх, да я ничего, господин Бергман… — Кяршис поерзал на стуле, словно сел на колючку. — Мы ж свои люди. Может, и неплохо бы чайку, ага…

Бергман на минуту вышел из комнаты.

— Надо было в Россию податься, — вернувшись, продолжил он. — Успели бы. Но кто мог подумать, что немцы так далеко продвинутся? Да и от судьбы не уйдешь. Господь не раз испытывал свой народ, и если теперь снова настал этот тяжкий час, остается только покориться его святой воле.

— Немцы тоже люди. Может, все и обойдется, господин Бергман.

Бергман печально улыбнулся.

— Кончится тем, господин Кяршис, что они отберут у нас имущество, загонят в гетто или в концлагеря, как в Германии. Говорят, господь карает за грехи. Но дети-то в чем виноваты? Вы бы видели моего Мойше, господин Кяршис. Восемь лет мальчику и такой

веселый, бойкий, голубоглазый, не отличишь от литовца. — Бергман разволновался, стал запинаться, глаза наполнились слезами. — А какой смышленый, как чисто по-литовски говорит, — никто не скажет, что еврей, господин Кяршис…

— Да уж, страх подумать, какие времена, — буркнул Кяршис, прикидывая, что понадобилось от него Бергману.

— У вас детей нет, вам трудно понять чувства родителей, но поверьте, господин Кяршис, за своего мальчика я бы отдал все блага мира. — Бергман задохнулся и, тяжело дыша, уставился горестным взглядом на Кяршиса.

Тот потупился, словно сам был виноват во всех подлостях, творимых на земле. Искал и не находил слов, чтоб утешить несчастного отца.

— Что мы можем сделать, господин Бергман, что мы можем… — только и сказал.

Бергман долго молчал, думал о чем-то и все не смел заговорить.

— Пеликсас… — наконец сделал он еще один шаг по зыбкой поверхности заросшей трясины. — Пеле, немцы нацепили нам звезды, согнали с тротуаров, отобрали ремесло, но я, слава господу, еще не беден. Мог бы нагрузить телегу такими вещичками, что все твое хозяйство не перевесило бы. Если живы будем, вернешь — знаю твою честную душу, а если нет, останется тебе.

У Кяршиса пересохло во рту, перехватило дыхание.

Несколько мгновений он ловил воздух ртом, краснел, бледнел, хотел встать, но никак не мог опереться ногами о землю. Наконец-то! Взялся руками за столешницу и и поднялся — горячий, так и шипит, словно раскаленная каменка. Белки глаз и те мечут искры.

Бергман, удивленный и испуганный, тоже встал.

— Господин Кяршис, я что-нибудь не так?.. — в отчаянии прошептал он.

— Телегу? Мне? — прорвало того. — Чтоб я грел руки на чужой беде, господин Бергман! И-эх, уж нет! Есть всякая сволочь, которая везет ваше добро телегами, радуется, что прижали еврея, можно попользоваться, только не я, господин Бергман. Вы не думайте, что раз такое время, то каждый католик бандит и убийца…

— Господин Кяршис, я не хотел…

— И-эх, ни к чему мне ваше имущество, господин Бергман! Живите в счастье, в довольстве, и да поможет вам бог.

Вошла Бергманша с подносом, на котором было печенье и два стакана чаю, но тяжелые, сердитые шаги Пеликсаса Кяршиса уже гремели вниз по ступенькам крыльца.

Только на полпути, успокоившись и хладнокровнее обсудив случившееся, он начал жалеть, что погорячился. Ясное дело, на что ему еврейское имущество, но ведь Фрейдке наверняка посулил от доброты сердечной, не стоило накидываться на него зверем. И тут у Кяршиса мелькнула мысль, от которой его бросило в дрожь. «Нет, нет! — отталкивал он от себя эту мысль, словно утес, свалившийся на голову. — Нельзя ходить по тротуарам, нацепили звезды, отобрали ремесло. Худо теперь Фрейдке, но неужто из-за этого отдавать Мойше в чужие руки? Нет, господин Бергман просто не хочет, чтобы немцы попользовались его добром, и решил часть его препоручить знакомому человеку…»

Вернувшись домой, он рассказал матери про встречу с Бергманом.

— Какие родители захотят разлучаться с детьми! — пристыдила его старуха. — Ведь с голоду-то не

умирают. А что не взял имущество, правильно сделал: только беда и срам за такое дело.

Кяршис успокоился, но все равно был зол на себя. Какая-то неверная нотка звучала там, в глубине души, его раздражало это, и он долго не мог заснуть. Теперь ему казалось, что и вспылил он на Бергмана, — он-то, известный тихоня! — неискренне, от страха, поскольку еще до того, как ему предложили имущество, он уже понял, чт***о*** Фрейдке хочет взамен. Такая мысль — смутная, скорее чутье — наверняка возникла уже в тот миг, когда еврей таинственно поманил его пальцем, а может, еще раньше, он не мог сказать точно, когда, но он ее ждал (и не умом даже, а именно чутьем). И убежал он, так и не выпив чаю у Бергманов, не потому, что не захотел присваивать чужое имущество, а потому, что, принимая это имущество, рисковал своей жизнью. Он убежал от слишком высокой цены, хотя в ту минуту, да будет бог ему свидетелем, он и не думал о деньгах…

Да, это была на редкость муторная ночь. Он вздремнул после полуночи и снова проснулся. Незлобиво лаял и скулил пес. Кяршис тихонько оделся, чтоб не разбудить мать, и вышел во двор. Первое, что он увидел, был смутный силуэт на скотном дворе. Он подошел поближе и… О господи! Кяршису показалось, что звездное небо обрушилось на него. На скотном дворе стояла запряженная лошадь, и не чья-нибудь, а его собственная сивка, старая, одышливая кляча с торчащими ребрами и впалыми боками, которые раздувались, словно кузнечные мехи, издавая знакомый запах сохнущего пота! Каким чудом она здесь оказалась, если вчера, вернувшись из Краштупенай, он боронил пары, а на ночь привязал ее на клеверище у межи Вайнорасов, даже телегу там оставил: завтра, возвращаясь с поля, он тем же ходом привезет смеси для свиней; какая нелегкая ее сюда принесла, да еще с телегой?! Кяршис не знал, что и думать. А уж совсем

подкосились ноги и прошиб пот, когда от телеги донесся слабый, хватающий за душу стон. Там лежал человек… Вместо лица — серое пятно, одет в какую-то диковинную одежду с огромным меховым воротником, закрывавшую тело до колен, ноги босые, большие какие-то, правая просто с колоду, — Кяршис только потом разглядел, что она от щиколотки до бедра обмотана толстым слоем ваты и бинта. «Пить… воды… Мама… Наташа…»— шептал по-русски человек, синеватые веки дергались, но он не мог открыть глаз. Кяршис бросился, сколько позволяло его проворство, к колодцу, от колодца в избу, но словно ударился грудью о дверь и тут же засеменил обратно на скотный двор. Он метался по двору, словно потеряв голову, одно бросал, другое хватал, пока наконец снова не очутился у колодца. Тут же на крышке сруба стояла эмалированная кружка. Он зачерпнул воды из ведра и снова заспешил к телеге. Человек уже не стонал. Равнодушная ко всему сивка стояла, свесив длинную, тощую шею и выставив острый свой хребет к созвездиям Вселенной. Кяршис наклонился над лежащим, подставил руку под плечи — сейчас поднимет голову, даст глоток воды. И тут же его глаза натолкнулись на взгляд незнакомца. Холодный, застывший, чего-то искавший, но так и угасший, ничего не найдя…

Следующей ночью, когда мать спала глубоким сном, Кяршис вытащил труп с сеновала, где прятал его под соломой, положил на телегу и отвез в заранее присмотренное место. Яму выкопал еще с вечера, шесть неструганых досок крепко сбиты. Он столкнул нижнюю часть гроба в яму, постелив сначала на дно эту его диковинную одежду, потом опустил на вожжах покойника, спрыгнул в яму, поправил тело, сложил на груди руки и сунул под голову странные сапоги из мягкой шкуры, которые нашел в телеге. Осталось

только закрыть гроб и засыпать землей, ну и сотворить молитву, как полагается христианину.

И-эх, неведомый брат далекой земли! (Все мы, почив, становимся братьями, ибо там, где царит всевышний, одно королевство и один король!) Кто привел тебя сюда умирать и кто, исполняя волю божью, пожелал, чтоб ты последний раз посмотрел на чужое небо во дворе Пеликсаса Кяршиса? Да простит его милосердный господь. И да не рассердится всевышний, что я похоронил тебя в неосвященной земле, без святых молитв, а вместо могильного холмика над тобой дерн, дикий пырей, и никто никогда не посадит здесь цветов. Моя сивка будет щипать траву на твоей могиле, на ней будут пастись коровы, стукаться лбами ягнята. И-эх, и креста не будет, этого святого знака, который бы остановил прохожего, заставил бы его поднять руку для крестного знамения, отверз бы его уста для молитвы за несчастного, дабы облегчить его страждущую душу… И-эх, разве я виноват, господи? Я ли правлю, я ли издаю законы, я ли принуждаю людей кидаться с оружием на таких же смертных, от меня ли зависит, что они мрут, как мухи, и что приходится закапывать их без гробов, будто падаль?.. Нет, спаситель, и ты, несчастный человек… Я только комар, которого носит ветром; все, что я могу сделать (если не считать этих неструганых сосновых досок), — это посадить на могиле деревце, пока еще не сровнял ее с землей и не устлал дерном. А когда дозволит время (ниспошли, господи, побыстрей такой час!), убудет здесь и крест святой, и заборчик вокруг, и каждый католик, проходя мимо, снимет шапку и трижды сотворит «вечный покой».

VI

— Господь сурово устыдил меня… из-за Бергмана… Не помог я живому человеку — прислал мне умирающего. Но кто тогда мог думать, что немцы так с евреями…

«Его прислал Адомас», — хотела успокоить Кяршиса Аквиле. Но сказала только:

— Если б человек знал, что ждет его…

Кяршис угрюмо покачал большой своей головой и тяжело вздохнул.

Аквиле закрыла глаза. Она снова увидела летчика. С такой ясностью, словно это было только вчера. Он полусидит на шуршащем сене. На груди кусок фанеры — «письменный стол», в протянутой руке листок с накарябанными диковинными буквами. Возьмите, барышня. Может, пригодится, когда наши вернутся. Глаза весело улыбаются, хотя в глубине страдание. Взгляд победившего человека. Да, да, барышня. Неделька-другая, станем на ноги — и к своим. А потом с советскими полками обратно… Словно перейти фронт для него то же самое, что переступить порог… Она взяла у него бумажку — отдаст отцу. А его рука — прозрачно-желтая, со скрюченными толстыми пальцами — все еще висела в воздухе, словно ждала, чтоб кто-нибудь погладил ее, согрел живой кровью. И Аквиле, сама не понимая почему, провела по ней ладонью от кисти до кончиков пальцев. Тогда его губы задергались, глаза закрылись и по щекам покатились слезы. Сейчас рука, которую она приласкала, лежит на груди. И глаза, так слепо верившие в жизнь, и губы, когда-то целовавшие свою девушку, и несчастная нога, и пробитая осколком спина, которую Аквиле столько раз трогала пальцами, меняя повязки, все-все его тело здесь, под этой грушей, в деревянном ящике. Аквиле однажды видела труп, целый год пролежавший в земле, — Пуплесисы хоронили мать и попросили открыть гроб умершего раньше сына. Лицо как будто

густо смазали дрожжами; губы и глазницы почернели. Только башмаки новые и волосы словно причесаны час назад.

Аквиле стало страшно, как тогда, в лесу Венте, когда старый лесничий ушел, а она осталась сидеть на пне, напрасно надеясь услышать в сердце зов Марюса.

— Пойдем отсюда, Пеле, — шепнула она, дрожа от холода. Она оперлась рукой о его плечо и встала.

Плечо было сильное и теплое, в груди билось живое сердце…

Казюне во дворе кормила кур. У палисадника в стоячке топтался Лаурукас. Немудреный снаряд — низенький широкий стул с круглой дырой, — но для ребенка новинка: бабушка сегодня впервые поставила его.

— Господи, наш Лаурукас уже стоит! — восхитилась Юлите, младшая девочка Нямунисов.

Казюне перепачканной ладонью смахнула слезу. Совсем недавно, кажется, Марюс скакал в этом же стоячке…

— Кыш-кыш, мерзавка! — пугнула курицу, пришедшую с соседского хутора. — Юозукас, лентяй, гони прочь эту рыжую чертовку! Эти Груйнисы такие разгильдяи, не могут дыры в заборе заделать!

Юозукас, девятилетний сирота (приблудился из разбомбленного детского дома — так объясняли всем Нямунисы), помчался вслед за рыжей чертовкой, стращая ее воплями и камнями.

Аквиле не успела войти во двор, как сразу бросилась к Лаурукасу.

— О-о, что я вижу, что я вижу! Мой Лаурукас уже стоит! — Она захлопала в ладоши и рванулась к сыну так, что косы разлетелись в стороны. — Мой маленький, хорошенький, мой крепыш! Тетушка, ты посмотри, ему ж только седьмой месяц! Вот это мужчина!

— В отца. Марюс тоже был крепок в кости, — резко ответила Казюне.

Аквиле словно холодной водой окатили. Наклонилась, вытащила из стоячка сына, обнимала и целовала, стараясь подавить нарастающее раздражение.

— Носишься по деревне, как бешеная овца, — прорвало Казюне. — Очень уж сладок стал хутор Кяршиса. Приличные люди год траур носят, а на твоей голове черный платок и месяца не удержался. Все только побыстрей да подальше. Торопись, торопись! С наскоку никто еще далеко не убежал, только надорвался. Война еще не кончилась. Не каждый погиб, по ком плакали. Иного люди языками похоронят, а он через десять лет воскреснет и домой придет.

— Мертвые не ходят. А бывает, придет кто, да не находит того, что оставил, — зло ответила Аквиле.

— Сука! — бросила Казюне. — С одним побегала, не успела разродиться, как опять течка одолела…

Аквиле выше подняла на руках ребенка и, прикрыв им горящее лицо, бегом пустилась со двора, подстегиваемая бранью незаконной свекрови.

Глава шестая

I

Три года не виделись! Вроде бы небольшой срок, но сколько в него вместилось! Целые государства развалились, мы сами не раз балансировали на краю пропасти, но живы-здоровы, сидим вот на развалинах своей Литвы и поднимаем бокалы за дорогую покойницу. За будущее, если есть таковое, господин лейтенант! Ведь были друзьями, хотя один офицер, а

другой едва дотянул до унтера. За воинский устав, который стеной стоял между офицером и солдатом, но мы сломали эту стену, господин лейтенант!

Дайнюс Саргунас улыбается сухим раскрасневшимся лицом, вытирает по-женски пухлый рот белоснежным платком. Зачем так официально, Адомас. Впрочем, он уже не лейтенант, а капитан — большевики успели повысить его в звании. Увы, он не оценил по достоинству их усилий и дезертировал в первый же день войны… А если быть откровенным до конца, то он уже и не офицер вообще, эта штатская тройка не маскировочный костюм, а обычное платье ответственного чиновника органов самоуправления. Человек должен работать там, где может принести пользу своей родине. Правда, Каунас — столица без государства, но все-таки столица. И генерал Кубилюнас не президент, но, что ни говори, глава самоуправления, да и человек он разумный, желающий и умеющий помочь нации, насколько позволяют его связанные руки.

— Мы там, в Каунасе, делаем все, что в наших силах, чтобы край поменьше страдал от оккупационного режима, — говорил Саргунас. — Но возможностей раз-два — и обчелся, милый Адомас. Органы самоуправления — это отточенный инструмент в руках немцев, направленный против нашей нации. Этот факт в своих целях использует большевистская пропаганда. Однако инструмент этот не бутафория, а живой организм, способный маневрировать и даже в критическую минуту повернуться тупым концом. Мы принесем куда больше пользы нации, вращаясь в механизме оккупационной машины, чем равнодушно глядя со стороны на ее агонию.

«Он прав», — подумал Адомас и добавил вслух:

— А все-таки люди считают нас пособниками немцев.

— К нашему несчастью, есть и такие. Но истинный патриот сейчас сидит на двух стульях, у него два лица и одна идея — служить родине. Люди видят только то его лицо, которое можно показывать. История сотрет с него плевки, те же люди, которые сейчас распинают патриота, завтра увенчают его лаврами.

Вернулась Милда с вазой яблок.

— Урожай этого года. Из нашего сада, — сказала она, обворожительно улыбнувшись гостю. — Господин Саргунас, пожалуйста, выбирайте порумянее.

— В ваших руках даже картошка превратилась бы в яблоко, мадам, — тоже с улыбкой ответил ей Саргунас. — Адомас, поднимем тост за твою прекрасную жену. Пока есть такие женщины в Литве, будущее нации еще не потеряно.

— О, не делайте из меня героиню. — Милда игриво рассмеялась. — Я простая смертная: хочу любить, быть любимой и…

— …родить двух-трех деток своему Адомасу, — подхватил Саргунас.

— Нет, — Милда капризно надула губки. — Нет-нет, господин Саргунас.

— Ах, вот как? Что же тогда следует за многоточием, если не секрет?

— Секрет, теперь уже секрет, господин Саргунас. — Милда стала серьезной, — Я вижу, вы, как и все мужчины, эгоист: себе оставляете удовольствия, а женщинам навязываете муки родов и бессонные ночи у колыбели.

— Но долг женщины перед нацией…

— Прусский стиль, господин Саргунас! — с горячностью прервала его Милда, начиная нервничать. — Немцы превратили своих фрау в родильные машины, а я придерживаюсь английского стиля: сперва леди, а лишь потом машина. Дайте женщине отстояться, как вину, — пускай становится

матерью, когда сама того захочет, — а вы, мужчины, подливаете в это вино уксуса, чтоб скисло, и преспокойно идете пробовать чужое.

— Будьте снисходительной к нашему полу, мадам! — Саргунас тщетно пытался скрыть неловкость.

— Она сегодня плохо спала. Устала, — недовольно заметил Адомас.

Милда сердито покосилась на мужа:

— Вы не верьте ему, господин Саргунас, я сплю как убитая.

Саргунас в растерянности прикусил черную щеточку коротко подстриженных усиков.

Адомас встал и молча наполнил бокалы.

— Расскажите, господин Саргунас, что нового в Каунасе, — прервала Милда неловкую тишину. — До войны я там не раз бывала. Славный город. Париж я знаю только по рассказам, но думаю, что Каунас не зря называют маленьким Парижем. Культурная публика, темп, все — сама современность... Приедешь туда из такого Краштупенай и чувствуешь себя зайцем, выскочившим на шоссе.

— Каунас теперь не тот, мадам, — без энтузиазма ответил Саргунас. — Нет, нет, от бомбежки почти не пострадал — разрушено только несколько домов около вокзала, — но время наложило свою печать. Война-Джентльмены превращаются в спекулянтов, леди — в проституток; там, где пахло дорогими духами и цветами, воняет солдатами и базарными торговками, извините за грубость. Наш маленький Париж превратился в большой балаган, мадам.

Милду интересовало, какие теперь в Каунасе моды. Какие шляпки, какие туфли...

Саргунас вежливо рассмеялся. Немцы ушли далеко на восток, но моды не продвинулись с запада ни на шаг. А может, он просто не заметил? Впрочем, высокий

острый каблучок никогда не выйдет из моды, им легче всего пронзить мужское сердце.

Заметив, что Адомас угрюмо молчит, гость тоже замолк. Разговор не клеился. Милда, поняв, что мужчины хотят остаться одни, извинилась и ушла к себе.

— Эх, эти женщины... — вздохнул Саргунас, и неясно было, что он хотел этим сказать.

— Женщины меняются, как и все вокруг, — неопределенно заметил Адомас. Его подмывало объяснить гостю поведение жены: у нас, дескать, недавно был серьезный семейный конфликт. Но пришлось бы вдаваться в интимные детали. А кому приятно публично ворошить свое грязное белье? Наконец, Милда, может быть, и права: на кой черт ребенок в такое смутное время? Прусский стиль... Нет, он не хотел, чтобы она прерывала беременность. Проснулись отцовские чувства, ну, и думал, что крепче привяжет к себе Милду.

— Мало у нас женщин, которые могли бы подняться над личными интересами, — услышал он слова Саргунаса. — В этом отношении остается только позавидовать немцам.

Адомас что-то буркнул в ответ.

Саргунас прошелся еще раз насчет литовских женщин и вернулся к прежнему разговору.

— Сейчас главное для нас — сберечь силы нации, — говорил он. — Лояльность — вот на чем стоит пассивное сопротивление. Но лояльность умеренная, без лакейства; главное — не перестараться. Немцы требуют шерсти, кур, мяса, зерна. Дадим им все это. Не пожалеем хлеба и сала, но побережем людей. Мы не против, когда забирают молодежь на трудовую службу рейха или требуют рабочих на свои поля. Там наш человек не пропадет, это нам даже на пользу — у немцев есть чему поучиться, вернувшись, эти люди

вольют свежую струю в литовскую культуру. Но дать солдат для фронта... это уж извините. Тут мы ограничиваемся добровольцами и, само собой, стараемся, чтоб даже их было поменьше... Печать, разумеется, агитирует, воспитывает так называемые патриотические чувства. Это, так сказать, наше второе лицо, а в неофициальном порядке мы настраиваем молодежь в ином духе. Если выражаться четче, это индивидуальная разъяснительная работа, как сказали бы большевики. Видишь, у них мы тоже кое-что взяли... Но, как я уже говорил, главное — чувство меры, милый Адомас. Нельзя раздражать немцев. Взбесившемуся быку ничего не стоит поднять на рога неосторожного подпаска. Сейчас, когда всем уже ясно, что от немцев мы не получим того, чего хотим, нам остается только сохранять живую силу нации и терпеливо ждать, пока немцы с русскими не выдохнутся. А тогда выйдут на сцену Рузвельт с Черчиллем и исправят историческую несправедливость.

Адомас непочтительно рассмеялся.

— Трезво мыслящий человек не может не согласиться, что такая политика сейчас самая удобная для нации, — недовольно добавил Саргунас.

— А как же! — согласился Адомас. — Однако не слишком ли поздно мы спохватились беречь силы нации? За эти пятнадцать месяцев наша земля впитала немало литовской крови, которая бы пригодилась в будущем. Мы перестарались, Дайнюс.

Саргунас долго не сводил испытующего взгляда с Адомаса.

— Мы очистили нацию от выродков, а если под горячую руку подвернулись такие, которые заслуживали снисхождения, то, сам знаешь, лес рубят — щепки летят. Не будем сентиментальны, милый Адомас. Если хочешь знать, наша рубашка еще кишит

вшами; не приведи, господи, вернутся прежние времена, они не пожалеют нашей крови…

Адомас молча кивнул.

Саргунас встал, чтоб попрощаться.

Супруга не рассердится, что я не успел поцеловать ей ручку? — сказал он, с сожалением покосившись на приоткрытую дверь спальни.

Простите… — виновато усмехнулся Адомас.

Я рад, милый Адомас, что наши взгляды в принципе совпадают, — сказал Саргунас, когда они вышли во двор. — У нас одна цель, да и любовь к родине у нас одна. Я не сомневаюсь, что при необходимости смогу на тебя положиться. Да и ты подыщи верных людей. Мы — до поры до времени — с немцами, но не против своей нации. Вот линия, которой мы должны держаться. — Саргунас потряс обеими руками ладонь Адомаса, потом по-мужски хлопнул его по плечу («Держись, приятель! До свидания!») и, по-военному щелкнув каблуками, вышел на улицу.

II

Милда лежала навзничь на кровати. Хрупкая белобрысая кукла с застывшим взглядом.

— Могла быть повежливее, лапочка. — Адомас покосился на ее обнаженные колени.

— Когда ты отучишься от этого дурацкого словечка? — спросила она, оправляя халат.

— А ты каждый день находишь во мне новые недостатки, — буркнул Адомас.

— Зачем ты этому Саргунасу понадобился?

— Вместе служили…

— Отвратный тип.

— Я-то думал, он тебе понравился. Военная выправка, черные усики, мужественное лицо. Такие

женщин с ума сводят, — пытался пошутить Адомас.

— Закоренелый холостяк. Что он понимает в женщинах… Влюблен в свою политику, как в золотого тельца. Не перевариваю таких субъектов.

— Нынче все, хотят они того или нет, вынуждены жить политикой, лап… моя милая. — Адомас сел на кровать.

— Только уж не играть с ней! Видите ли, немцев обведут вокруг пальца! Ловкачи! Сколько уже таких умников угодило за решетку, а то и получило пулю в лоб. Пускай твой Саргунас делает, что его душе угодно, а тебе нечего совать нос куда не следует.

Адомас взял в ладони теплую, мягкую руку Милды.

— Все-таки ты немножко меня любишь, — прошептал он, наклоняясь к ее губам.

— Жаль дурака, а еще больше себя… Не лезь! Отстань, говорят! — Милда уперлась кулачками ему в грудь.

Адомас обиделся и встал.

— У меня куда больше оснований сердиться на тебя, уважаемая.

— Ну конечно. Я уничтожила плод! — Милда села на кровати. — Одного еще не родившегося человечка, в то время когда твои дружки отправили в могилу тысячи живых и здоровых.

— Замолчи!

— Не надо быть сентиментальным — так ведь советовал твой Саргунас…

Адомас вышел из спальни, хлопнув дверью. В бутылке еще оставалось вино. Запрокинул и выпил до дна.

Вечером, когда они легли, за целый день так и не обмолвившись словом, Милда первой прекратила молчаливый бойкот:

— Послушай, Адомас…

— Если хочешь завести старую молитву, лучше помолчи, — незлобиво прервал ее Адомас. — К твоему сведению, эта история волнует меня меньше, чем ты думаешь. Ну, погорячился. Ты тоже. Вот и все. Спокойной ночи.

— Не спеши. Есть дела поважнее; о них-то стоит подумать. Тебе не кажется, что пора переменить профессию? Начальник полиции — хорошо звучит, но не в такое время, когда в его обязанности входит не только поддержание общественного порядка.

— Еще один каприз.

— Совсем нет, Адомас. Мне неприятно, когда люди смотрят на меня как на жену живодера.

— Кто смотрит? — Адомас вскочил в постели. — Какие люди? Большевики!

— Не будешь же всем доказывать, что это батраки проливают кровь, а их хозяин, ни о чем не ведая, гуляет в белых перчатках.

Плюй, плюй и ты плюй мне в лицо, — пробормотал Адомас, вспомнив слова Саргунаса. — Все вы видите не дальше своего носа, но время покажет…

Покажет, что ты еще глубже увязнешь.

Я выполняю свой долг. Перечислить тебе людей, которых давно бы не было, если бы не я?

Что мне с того? Эти люди первыми отворачиваются, когда я иду мимо.

Чего же ты хочешь, черт тебя возьми?! Чтоб я палил из пистолета в каждую рожу, которая тебе не нравится?

— Переходи на такую работу, где не надо стрелять. Будь умницей. Мы теряем старых друзей, а новые ничего не стоят.

— Такова логика жизни, все время что-то теряешь. Поначалу пеленки, потом школьную парту, потом первую любовь. Мы не можем потерять только родину, — мрачно ответил Адомас. В последнее время он сам часто думал об этом, подчас соглашался с

Милдой, но после разговора с Саргунасом не хотел больше соглашаться. — Мы не запроданы немцам. В верхах нашей власти есть порядочные люди, они готовы защищать нацию. Саргунас считает, что на посту начальника полиции я могу принести своим людям пользу.

— Только не мне, — вспылила Милда.

— Отвечу тебе словами Саргунаса: есть идея, ради которой можно отречься от себя. Это родина.

— Ненормальный! — Милда повернулась к нему спиной, отодвинулась на самый край кровати и, сколько ни заговаривал Адомас, не проронила больше ни слова.

Пустышка!

Все стало зыбким, неверным. Словно идет он в кромешной тьме и знает, что где-то неподалеку обрыв. Ведь эта женщина — все, что он еще держит (прочно ли держит?) в своих руках. Прошлое уплывает вдаль, как берег родной земли, а настоящее — вроде навязанной невесты, от которой не сбежишь. Будущее… Да, только оно может вернуть неразумно вложенный капитал. Но пока это абстракция, обетованный рай, куда не каждый попадает. Придет ли день, когда можно будет сказать: «Вот наше утро, теперь решай, кто был прав!» Сказать тем, которые, как Гедиминас, завидев меня, принимаются рассматривать витрины или буравят ядовитым взглядом, и тем, что, растянув рот в подобострастной улыбке, так и сыплют комплиментами, глядят собачьими глазами, а в душе у них ни тени дружбы, одно лицемерное холуйство, порожденное животным инстинктом самосохранения. Сказать Аквиле… Да уж… Недавно встретил ее в городе с Кяршисом. Обрадовался, хотя другой до гроба не простил бы, что не пригласила на свадьбу. «Как поживаешь, сестрица? И ты, Пеликсас? Загляните к нам, Милда будет рада…» Ухмыльнулась — ну чистая ведьма — и ушла, ни слова не сказав.

Как раз перед этим он приезжал в Лауксодис и тоже увидел все не таким, как прежде. Мать накрыла на стол, — что правда, то правда, — но йот нее исходил холодок, как от давно не топленной печи: не может простить, что не послушался ее и женился на соломенной вдове. Юргис с Юсте какие-то испуганные, словно за столом сидит не родной брат, а полицейский, приехавший их арестовывать. Пытался завести разговор с отцом. Старик мямлил, прятал глаза, вот и понимай его, как знаешь. Адомас, правда, никогда не уважал отца: Агнец Божий, неизвестно, что было бы с хозяйством, если б не твердая рука матери. Но он был привязан к отцу, как ребенок к щенку, и по-своему любил его. Странное дело — по матери никогда не скучал, а отца вспоминал часто, хотя приедет и не заметит его, как не замечают соль в супе, но непременно чувствуют, когда ее не хватает. Отец излучал какое-то удивительное тепло, домашность и уют. Адомасу недоставало этого тепла, когда он подолгу не бывал дома, и он спешил в Лауксодис, словно замерзший путник к костру. Если б не один случай, ему, пожалуй, нечего было бы и вспомнить из своих отношений с отцом. Всего несколько скупых, чаще одних и тех же слов, добрую улыбку, несмело раздвигающую желтую подкову усов, кроткие серые глаза, которые грустили от обиды, но никогда не осуждали. В руках у него была недюжинная сила, но ни разу он не поднял руку на человека. Потеряв терпение, только сжимал кулаки и, втянув голову в плечи, уходил от обидчика. Попадись в такую минуту под руку коса — выведет широченный прокос, попадись топор — зверем накинется на корягу, их много валялось во дворе у Вайнорасов…

Да, этот случай…

III

Тогда он уже работал в волости писарем. Мать его поедом ела: шесть лет псу под хвост; столько денег ухлопано, и людям уже нахвастались — ксендзом будет, а вышло ни богу свечка ни черту кочерга. Ах, эта мамаша... Если бы он хоть думал стать ксендзом! Правда, в гимназию рвался — на что ему хозяйство, пускай Юргис на нем сидит, — но только потому рвался, что это казалось интересным и почетным. Фуражка, форма. Гимназист! Вайнорасов Адомас приехал на каникулы... Да и мужицкими работами он гнушался, его манил городской булыжник, хотя он и не имел понятия, как по нему ходить. Только бы из дома, из этой грязищи, да поскорей! Кто-кто, а он мужиком не будет. Вырвался с боем. А потом наука осточертела, с грехом пополам одолел пять классов, в последних по два года отсидел. Может, тянул бы лямку дальше, но Милда Дайлидайте бросила гимназию и пошла в кинотеатр кассиршей. Вот и он за ней. Думал: «Теперь мы самостоятельные люди, сможем пожениться». А мать тут и запела: «Делай как знаешь, но про дом забудь, ни крошки не получишь». Он струхнул, знал, что она не бросает слов на ветер. Оставалась надежда, что пройдет злость, привыкнет мамаша, уступит. Нет, не порол горячку, любовь не затмила глаз, как случилось бы с другим парнем его лет.

— Милда подождет, пока я отслужу в армии, — искал он утешения у Аквиле, с которой делился секретами. — Тогда и мама будет со мной считаться — взрослый человек.

Аквиле хлопала в ладоши.

— Вот увидишь, натяну тебе нос — раньше сыграю свадьбу! — Тогда она еще каталась с господином

Контролем. — Мама, конечно, будет против. Но мы порешили не спрашивать позволения.

Дверь избы была распахнута настежь в этот жаркий летний день, когда они беседовали во дворе, сидя на теплых камнях. Но если бы дверь замуровали и окна тоже, все равно голос Катре Курилки пробился бы…

— Наградил господь муженьком, говорить нечего! — захлебываясь, орала мать. — Кола и то забить не может. Столько свеклы пожрали! Может, скажешь, не ты коров привязывал, байбак ты этакий? Ох, господи, пожалел ты разума верной своей овечке! Такую обузу принять на свою голову! Будто не было мужиков как мужиков. Но нет, где уж там!.. Хоть и пригожие, и здоровые, и богатые. Понес черт за дурака, да еще голоштанника! Кроме протертых порток, ничего за душой не было! На чужое добро пришел, через меня хозяином стал. Другой бы на его месте с утра до вечера мне ноги мыл да воду пил, а ты, бесштанник занюханный…

Отец вывалился из двери. Угловатый, тяжелый, как глыба, отвалившаяся от каменной стены. Держась руками за голову, засеменил вдоль изгороди.

Мать выскочила на крыльцо и уже оттуда честила, надсаживая глотку, пока отец не скрылся за углом сеновала. И ее добро он разбазарил, и лежебока он, и одно горе ей с негодниками детьми.

Потом накинулась на Аквиле с Адомасом:

— Нашли где сидеть в воскресенье, нехристи! А ну-ка, молиться! Просите бога, чтоб этому старому дуралею разум вернул. Ох, господи милосердный, опять он заберется в какую-нибудь дыру, до ночи с лучиной не сыщешь. Чего глаза вылупили, как баран на новые ворота, поглядите, куда он поволокся!

Они обрадовались случаю удрать от матери. Отец мог быть на сеновале, на гумне, в овине. Они обошли все постройки, покричали, на всякий случай заглянули в

баньку, но старик как в воду канул. Тогда у одного из них, скорее всего у Адомаса, мелькнула мысль сходить на Французскую горку, — когда Наполеон отступал из России, на ней хоронили французских солдат.

Они взобрались на пригорок, поросший редкими соснами, кустами шиповника и сирени, среди которых высились три деревянных креста. Обомшелые, покосившиеся кресты равнодушно глядели на заросшую высоким бурьяном землю, приютившую доверенные ей на хранение кости. Раньше здесь было больше крестов — с незапамятных времен на горке хоронили самоубийц, — но остались только эти три последних подарка от близких несчастным людям.

Думали ли они встретить здесь отца (хоть этот пригорок и входил в участок Вайнорасов)? Нет, пришли просто так, — надо было где-то переждать, пока мать остынет. И когда они увидели его там, сидящего на камне под кустом сирени, оба разом подумали, что им мерещится, — немало наслушались жутких историй про Французскую горку. Сейчас трудно вспомнить, он первым заметил их и позвал или они сами подошли, но Адомас никогда не забудет взгляд, которым встретил их отец. Глаза человека, который расстается с миром. Прощают все, благословляют, но не смиряются. Нежность и отчаяние, любовь и гнев, смирение и бунт — все было в бездне его глаз, впервые открывшейся Адомасу. «Странное дело — я ведь не замечал, что у отца есть глаза», — с удивлением подумал он. Не буквально, конечно, — он даже мог сказать, какого цвета отцовские глаза (серые, с порыжевшими белками), но он видел за ними не человека, а только добрую, привязчивую домашнюю скотину, терпеливо тянущую лямку в своей бесконечной борозде. И кто знает, случилось ли бы вообще это чудо, если б они не встретились здесь (на могиле отцовской юности), где он спрятался, чтоб унять душевную боль. Может, его душа

так и осталась бы закрытой для Адомаса и он никогда бы не узнал, чем памятен поросший сорняками клочок земли в двух шагах от камня.

«Надо было здесь крест поставить», — хотел он сказать, когда отец кончил свой рассказ, каждое слово которого было тяжелым и кровавым, как жертвенный камень. Но он не смог открыть запекшихся губ.

Аквиле плакала.

Глаза отца робко улыбались, — отец словно извинялся, что рассказал такую печальную историю.

Домой они возвращались втроем — дети по краям, старик посредине. Как рабы, скованные одной цепью, правда, легкой — они были счастливы в своем несчастье.

Адомас тогда впервые увидел, что отец умеет плакать, и впервые почувствовал, что не любит свою мать. Боится (может, даже больше, чем раньше), но не любит.

Вдвоем с Аквиле они обошли хутор, стараясь оживить в воображении прошлое, и каждое дерево, камень фундамента, каждое бревно выглядели теперь иначе.

Тридцать лет назад…

Старик Яутакис сидит на лавочке на солнцепеке, закутавшись в тулуп, хотя день августовский. Осенью он умрет, и единственная дочь Катре станет владелицей богатого хутора. Старая дева с волосатой бородавкой на носу давно гадает, с какой стороны явятся сваты, но так и не может их дождаться. Ворота широко распахнуты, но в них въезжают только свои телеги, через них по утрам угоняют на пастбище, а вечером пригоняют домой стадо. Нет охотников ни до хозяйства в сорок гектаров, ни до хлевов, полных скота, ни до закромов, с верхом засыпанных зерном; нет смельчака, который, плюнув на женскую красоту, сказал бы: «Ладно, я уж выбью из этой ведьмы беса…»

Правда, пока была помоложе, некоторые предлагали вечную дружбу («Баба — на ночь, да и не видать в темноте-то, а гектары Яутакиса — на всю жизнь»), но все нищие, бобыли; Яутакис посылал их к черту. Так что слава тебе, господи, что старика трясет озноб посреди лета, да и гроб давно припасен на чердаке (сам сколотил); можно сыграть свадьбу с первым попавшимся. Главное, чтоб руки были крепкие, ну, и не круглый дурак, а хозяйство она сама поведет. Не хозяин, работник нужен!

Лауринас Вайнорас надивиться не может: неужто земля перевернулась? Не успел рассеяться дух поминок, а хозяйка уже велит ему перебираться из амбара в комнату покойного. Ест он, правда, за одним столом с прислугой (пастушком Бенедиктелисом и девкой Агне), но в его тарелке появились жирные куски, сама Катре наливает борща — один черпак сверху, другой со дна, погуще, сама приносит полдник в поле. И не миску простокваши со вчерашней картошкой, как бывало, а ломоть окорока, кусок колбасы, а то и глазунью на сале! Катре умильно улыбается, просит отведать, как гостя; принесла даже кувшинчик пива, — мол, чтоб не скучно было ужина ждать. Лауринас Вайнорас жует сам не свой, прячет глаза. Хм… Неужто хозяйка не знает, что он любит Агне? Уже и свадьба намечена — на крещение; откладывать больше нельзя: ребенок будет… «Чует мое сердце, добра от этого не жди, — все чаще смахивает слезу Агне. — Давай уйдем, не дожидаясь рождества…» — «А жалованье? Ведь не заплатит!» Лауринас Вайнорас гладит плечи Агне. Он полон до краев добротой и любовью, как сосуд чистой родниковой водой. О-о, никого на свете он не любит и не полюбит так, как ее, свою единственную. «Не нужны мне ни глазунья, ни пиво. Лучше с тобой на голом полу, под дырявой крышей, чем с другой в золотом дворце. Только потерпи. Нельзя оставить жалованье: куда

денемся без денег-то...» Провел эту ночь у нее в чулане, а на следующий вечер... О, не стоило перебираться в комнату покойного хозяина... Вошла она, это чучело, в одной ночной сорочке. «Лауринас, спишь?» Молчал, ни жив ни мертв. Был бы посмелее, послал бы к черту. Но как тут пошлешь, хозяйка ведь! Даже дух захватило, когда села на край кровати и молча принялась отпихивать его холодными руками к стене. «Нет, нет, нет...» Натянул было одеяло на голову, но тут тихонько открылась дверь Агне! «Не сюда попала!» — крикнула Катре. Душераздирающий крик, топот. В сенях с грохотом покатилось ведро.

Не прошло и недели, как ее хоронили.

— Она должна была понять, как это все получилось, — сказал Адомас отцу тогда, на Французской горке.

— Не знаю... Говорил, объяснял... Вроде бы помирились... Видать, не поверила, — вздыхал старик. — Так и похоронили здесь. Ведь ни родителей, ни братьев... круглая сирота была.

Адомас с Аквиле зашли в чулан. На потрескавшемся подоконнике горшок цветов, в углу кровать, рядом колченогий столик. Сколько наемных девок прошло через эту комнату! Сколько парней стучалось в окошко, сколько здесь плакали и любили! На этой кровати и отец ласкал свою... Здесь она провела последнюю ночь, решив лучше выпить яд, чем остаться девкой с ребенком. Красивая была, сказал отец. И Адомас представил себе ее, как она лежит на этой расшатанной кровати — белая, хрупкая, легкая, совсем как Милда. И он пожалел ее, пожалел отца, а еще больше — себя и Милду.

Он вышел со страшным холодом в душе. Словно из фамильного склепа, куда все равно вернешься.

IV

Дурацкая сентиментальность, сказал бы Саргунас: вечером у начальника почты веселая пирушка (карты, водка, друзья), а он тащится за десяток километров единственно для того, чтобы посидеть со стариками. Но поля, дремлющие под сентябрьским солнцем, уже засосали его, напоили хмельным ароматом сохнущей картофельной ботвы, опутали по рукам и ногам паутиной, летающей над жнивьем, и он, подталкиваемый каменной рукой города, с радостью принимал эту сладкую неволю. Дорога громыхает под крутящимися колесами. Пахнет дегтем, конским потом, коровами, жующими жвачку. Мимо пролетает крытый грузовик, в нем сидят серые истуканы. Бензин, пыль, казарменный дух; предсмертный крик в праздничном спокойствии утра. Сгинули… Ширь полей поглотила его, словно пустыня мираж, а над головой снова спелое осеннее небо, вокруг хутора воздевшие к небу журавли колодцев, рутовые палисадники, тронутые изморозью георгины за изгородями и оголившиеся кусты жасмина у ворот. А еще дальше она, родная деревня; он когда-то с презрением от нее отвернулся, но она никогда не даст себя забыть.

— Почему не на машине? — спросила мать.

В этом холодном зеленом ящике? Железный сейф с простреленными боками. Одна дырочка в ветровом стекле над рулем. За ним, может быть, сидел русский комиссар или молодой паренек, родом из сибирской тайги, когда пуля угодила ему в голову… Ну конечно, это не мужественно, не в духе времени, как сказал бы вахмистр Бугянис, но мне больше нравится гнедая лошадка. Раз уж едешь на встречу с прошлым, то и садись в телегу прошлого.

— Красивая осень, — мечтательно проговорил Адомас. — Картошку уже копали?

— Мог со своей Берженене прикатить. Чего прятаться, и так все знают.

— Приедем, приедем… — нетвердо пообещал он, не понимая, куда клонит мать. — Хочу букет цветов для нее нарвать. Она любит осенние.

— Этой травы хватает. И своим и чужим коровам.

«Так бы и съездил по зубам!» — подумал Адомас, стараясь не смотреть на мать.

— Где отец?

— Как всегда: залез куда-то и носу не кажет.

Юсте побежала в палисадник нарвать цветов. Юргис огляделся, не видит ли мать, и, сунув за пазуху книжку, улепетнул в сад. Двое пленных — рыжий и чернявый — хлопотали у коляски Адомаса: распрягали лошадь, поили ее, кормили. Адомас смотрел в окно горницы на двор, видел лошадиный круп в дверях сеновала, рыжего и чернявого во дворе и думал, что здесь и не было того, за чем он каждый раз приезжает и не находит. Все только приснившийся отголосок былых дней, вроде шелеста цветов, которые срывает в палисаднике Юсте, вроде одинокой мухи, ползущей по загаженному стеклу, которой осталось жить считанные дни. Этот дом давно мертв. Только дерево, штукатурка, гвозди. Окаменевший, набальзамированный труп. А может, у него и не было души?

— Из Юргиса не будет человека: с головой в книги ушел, — сказала мать.

— Я-то книг не любил, — сказал Адомас, лениво пожевывая что-то. «Стол широковат, и тарелок многовато, а водки хуже этой в жизни не пил». — Я-то книг не любил, — повторил он.

— С тобой все было в порядке, пока эта паскуда не попутала. Мастерица мужикам головы крутить.

Прискучил Берженас, раз-два — развязалась, подцепила другого такого же олуха.

— Ну зачем ты, мама, чепуху говоришь! Будто не знаешь, как на самом деле было с Берженасом.

— То-то и оно, что знаю. Всех забрали с семьями, а ее, счастливицу, оставили…

— Она же тогда у родителей гостила!

— Черта с два! Хотели бы, и там нашли. Выдала красным своего бургомистра как миленького, а сама только задом вильнула. Знала, сучка, каким местом откупиться.

«Неужели эта женщина — моя мать? Если костлявая уложит ее в гроб, мне придется крепко натереть глаза луковицей».

— Я еще не слышал, чтоб вы хорошо отозвались о человеке. — Адомас трясущимися пальцами расстегнул ворот кителя — он задыхался.

— А ты мне покажи хорошего человека! Иисус Христос был хорошим, да и его, сына божьего, распяли.

Вошла Юсте с огромным букетом. Поставит в воду, Адомас сможет взять, когда поедет. Ее губы робко улыбались, но глаза были печальны и прохладны, как эти осенние цветы.

Адомас встал:

— Пойду отца поищу.

— Сам притащится. Юсте, обеги хутор, покричи, — может, дрыхнет где.

— Нет, нет, я сам знаю… — Он хотел побыстрей вырваться из этой пустоты, которая вдруг обступила его, словно безвоздушное пространство с миллионами летящих миров, ни один из которых не был его Землей.

Отец сидел за гумном на старом, потрескавшемся катке и чинил недоуздки. Такую работу пристало делать на крыльце амбара или на лавке у изгороди, но старик всегда забивался с работой в укромный угол.

Адомас молча подошел и сел рядом.

— Приехал? — буркнул отец, не поднимая головы.

— Как видишь… — Адомас хотел обнять старика, но как-то не вышло. — Не забываю родной дом, но тут вроде никто и не ждет.

— Так уж бывает. Родители — своей дорогой, дети — своей.

— У нас дорога одна, отец: держаться, да покрепче, пока буря не пройдет.

— Да, да… — Отец долго засовывал бечеву в петельку и все не мог попасть. Седые космы упали на лоб. Немытое ухо и поросшая щетиной скула. — Сами эту бурю поднимаем, сами держимся, только не всем бог помогает.

— Нашей нации бог поможет, отец. — Адомас нагнулся и заглянул снизу, стараясь увидеть его лицо. — Снова будем независимы. Мы ведь не забыли, что мы — литовцы.

Отец еще ниже опустил голову. Теперь он почти уткнулся-носом в колени. Спина изогнулась дугой, как у кошки, руки застыли.

— Яутакис умер… староста… — донеслось глухое бормотание откуда-то из-под земли, из-под катка.

— Знаю. Этой весной, — с удивлением ответил Адомас. — Я слышал, Пятрас Кучкайлис за вдовой приударил.

— Плохой был человек, вечная ему память, никто добрым словом не помянет. Чем такому твоя нация поможет?

Адомас положил руку на изогнувшуюся дугой спину и тут же снял, почувствовав, как она напряглась.

— Отец… — Он сжал ладонями голову, боялся, что лопнут виски — так бешено стучала кровь. — Ты можешь думать всякое, твое дело, люди судачить умеют, но я не Яутакис, не продаю своих людей. И не Пятрас Кучкайлис…

— Своих людей… — заскрипел, застонал деревянный каток. — Людей… А тот не был человеком?

Адомас несколько мгновений помолчал, глядя на вербы, выстроившиеся на задах хутора, и видя лишь серые пятна на грязной холстине неба. «Отпираться? Но зачем, черт подери? И как я мог еще поступить?»

Они тоже нас не жалели, — сказал он, переходя в наступление. — Но я его не убивал. Другой бы убил, а я — нет. Если хочешь, я даже знал, в чей двор его отвезет лошадь. Аквиле на меня зуб точит, Кяршис тоже косится. Как будто не понимают: стоило мне тогда захотеть…

Дуга спины разом распрямилась, словно кто-то ножом обрубил невидимую тетиву. Отец повернулся к Адомасу всем телом и впервые за многие дни посмотрел ему прямо в глаза. Никогда в этом голубином взгляде не было столько тепла и любви и столько тоски и суровости!

— Не надо было тебе отворачиваться от земли, — сказал отец с не свойственной ему резкостью. — Зверь в лесу, человек на земле не пропадают. Прибежище… Лошадь отхлещешь по крупу, подпаска по спине огреешь, если горяч, с соседом поцапаешься — вот и все, что может сделать дурного человек на земле. Городской камень, известное дело, твердый, им сподручнее замахнуться: у твердой-то вещи сердца нет. Городу плюнешь в лицо — он тебя в порошок сотрет, а земля прощает, каждого блудного сына принимает. Возвращайся домой, Адомас, для всех места хватит. Будем жить…

Адомас опустил глаза, не выдержал пристального, выжидающего взгляда отца. «Честный крестьянин. Крестьянин, да и только. До войны таких крестьян в Литве были тысячи, а куда мы ушли?»

— Мы сидим рядышком, отец, но не видим друг друга и не слышим. Твоя земля — гектары, а моя —

восемьдесят тысяч квадратных километров. Хочешь, чтоб я их бросил и пошел в твой хлев навоз чистить?! Постарайся меня понять…

Голова отца медленно склонилась вниз, глаза потухли. Он ссутулился, как раньше, и взялся за свои недоуздки. Сколько ни заговаривал Адомас, в ответ только односложные словечки и бессвязное бормотание. Сезам закрылся.

«В этом доме мне больше нечего делать».

— Будь здоров, — сказал Адомас и ушел, не подав руки.

— С богом, — донеслось от катка.

Рыжий пленный утаптывал навоз в хлеву. («Они нехристи, — сказала мать, — в бога не верят, могут и в воскресенье поработать».)

— Запрягай! — крикнул ему Адомас.

— Что случилось? — удивилась мать.

— Сыт, доволен, наугощался. Поедем туда, где гостей не так хорошо принимают.

— Вот и дурень! Постель приготовлена. Вечером, может, кто зайдет потолковать. Ну что за олух царя небесного!

— Цветы! — выбежала Юсте на крыльцо.

— Отдайте своим коровам, мама.

— Вздурился, боже милосердный!

Адомас шлепнулся на сиденье, дернул вожжи, и застоявшийся гнедой вихрем вынес коляску из ворот.

«К начальнику почты! К своим, к своим…» Хлестнул лошадь кнутом, вкладывая в этот удар всю злобу, и помчался по деревенской улице, утонув в вихрящемся облаке пыли. Дворы летели мимо, — кудахтали куры, пестрели вянущие осенние цветы, дышали дымом трубы. Сушились на изгородях глиняные горшки, белели выцветшие холстинки и пеленки, поблескивали прислоненные к заборам велосипеды, то тут, то там стояли мужики, лениво поднимавшие руки к козырьку

фуражки, посылавшие запоздалую улыбку. Деревня принадлежала ему. Он мог повернуть гнедого в первый попавшийся двор, и его любезно пригласили бы в избу, усадили за стол. Милости просим, не побрезгуйте, господин начальник... Но в каждом дворе был свой отец, который сидел за гумном на вросшем в траву трухлявом катке и, согнувшись в три погибели, чинил недоуздки. И Адомас поднимал кнут («Без славы не опусти», — сказал бы Саргунас), понукал лошадей, чтоб лоскорей вырваться из деревни, которую когда-то исходил из конца в конец с песнями и девками. Короткой и тесной казалась ему тогда деревня...

«К своим, к своим...»

Солнце по-вечернему низкое, летело за ветвями деревьев, словно олимпийский факел в руках бегуна. И он снова вспомнил, может, в сотый раз после того случая, полную луну, застрявшую в деревьях отцовского хутора, и такие же, как сейчас, длинные тени, которые призрачными крыльями хлестали по безмолвной земле. Колеса грохотали тогда, как и сейчас, только другие, и лошадь была другая, и повозка катила не на пирушку к господину начальнику почты, а на похороны.

«...А тот не был человеком?..»

V

Он догнал телегу, которая уже останавливалась, и огрел клячу палкой, впопыхах выломанной в ивняке. Телега, подскакивая, слетела по проселку с горки. И тогда он потерял голову и бросился бежать. Где-то в кустах у озера был его гнедой, но теперь он не думал ни о своей лошади, ни о том, что до этого всю дорогу заботило его: как, обогнув деревню, незамеченным вернуться обратно домой. Его подстегивал страх. Он не

понимал, откуда этот панический страх, — ведь дело-то сделано? — но глаза все время видели синеватое пятно лица с губами, искривленными насмешкой. И два колодца, полные лунного света, — глубоко запавшие глаза, проклинавшие его. Он бежал, убегал от этого безмолвного, но проникающего в душу проклятия. Потом, когда уже выбрался из деревни, ему стало стыдно за свою трусость. «Слава богу, лапочка, все обошлось. Всех избавил от забот», — цинично хохотнул он. Думал смехом перечеркнуть ту ночь, но она осталась. Достаточно было незначительной детали — увидеть сивую клячу, услышать скрип колес, — и в воображении снова возникало синеватое пятно лица, буравили насквозь страшные глаза летчика. Адомас любил все рассказывать Милде — он ведь вообще душа нараспашку, — но этот случай скрыл. Сам удивлялся: ведь не убил, только спас родню от беды. Да этот летчик и не первый: там у Чертова поворота, кажется, троих уложил — и ничего…

А мог ведь не стрелять. До самой последней секунды не знал, что выстрелит. Они с Бугянисом лежали за кустом можжевельника и с завистью смотрели на дорогу, по которой за какие-нибудь полчаса можно было добраться до дома и досыта поесть. Кто знает, когда им суждено постучаться в дверь родной избы. А если и постучишься, то кто тебе откроет? Может, увидишь давно остывшую печь, пыль на столе, услышишь запах плесени. И в этом будет только его вина. За то, что был шаулисом, да не рядовым, что бегал на учениях с винтовкой, что распевал национальный гимн. И, как всегда в сильном раздражении, его охватил приступ ярости. Розовый туман на мгновение залил дорогу, которая здесь круто спускалась вниз и, сделав внизу поворот почти на девяносто градусов, уходила в лес. «Пойти бы туда, броситься с обрыва вниз головой — и баста», — подумал

Адомас. Но кого напугаешь этим? Не придется бродить по лесу, как бездомному псу, и на том спасибо.

— Машина… — шепнул Бугянис.

К спуску приближался военный грузовик. Лучи заходящего солнца тусклым багрянцем окрасили ветровое стекло, и Адомас увидел синюю фуражку с красным околышем. В кузове сидели несколько человек. Все в таких же фуражках. Эти фуражки он видел несколько дней назад на дороге в поместье Гульбинаса, когда, пригнувшись, удирал вдоль ржаного поля из дому, держа в одной руке мешочек с продуктами, а другой сжимая в кармане пистолет. Вот когда он пригодился!

Он вытащил из кармана оружие и прицелился в ветровое стекло. Пелена розовой мглы спала с глаз, все вокруг стало прозрачным и четким.

— Ты с ума!.. Пропадем… — залепетал Бугянис.

Подумал ли он о том, что может не попасть в водителя и тогда эти выстрелы будут последними в его жизни? Куда там! Безнадежная ярость преследуемого зверя замутила рассудок, выключив все рычаги инстинкта самосохранения, — в таком состоянии человек совершает безумный или героический поступок.

Потом он узнал, что неуправляемая машина врезалась в дерево и опрокинулась, подмяв под себя трех человек…

— Литва таких людей не забудет, господин Вайнорас! — сказал начальник уезда, вызвав его, когда еще дымились развалины. — Возьмешь под начало полицию волости.

Адомас вытянулся в струнку («На благо родины!»). И ничего, никаких угрызений совести. Словно эти трое были мухами, — раздавишь, и в комнате станет чище. «Враг. Не я его, так он меня». Но и тот, умирающий, был

врагом. Как и безусый солдатик, которого они поймали во ржи и заперли в овине.

Не стоит ради одного часового держать. Пристрелить! — решил Бугянис, и большинство одобрило его.

Солдатику было не больше восемнадцати. Светлая, стриженная под машинку голова, круглые щечки, чистые глаза обиженного младенца. Ребенок... Он выпустил всю обойму и поднял руки: больше у него не было патронов.

Безоружных мы не убиваем, лапочка, — сказал Адомас, и все повиновались, потому что ни у кого из них на счету не было трех раздавленных мух.

Часа через два появились разведывательные немецкие части.

— Es gibt einen Gefangenen[17],— сказал Адомас двум мотоциклистам, влетевшим во двор.

Он отвел их к овину, а так как немцы не решались заходить туда, сам открыл дверь и приказал пленному выйти.

— Los![18] — махнул один из солдат Адомасу автоматом, чтоб тот отошел.

Глаза солдатика расширились от ужаса, он разинул было рот, но крик так и не успел вырваться из детски узкой груди: прострекотала очередь, и он свалился на пороге.

— Свиньи! — выругался Адомас.

— В плен они берут только взводами, — заметил кто-то из дружков.

— Им некогда цацкаться, — сказал Бугянис.

— Все равно свиньи, — отплевывался Адомас, подавленный и разочарованный первой встречей с освободителями.

VI

Пир у начальника почты Анзельмаса Баерчюса в самом разгаре. Празднуют серебряную свадьбу, — ровно двадцать пять лет назад молодой провинциальный чиновник вскружил голову зрелой дочке мясника и поклялся перед алтарем в вечной верности. По этому случаю каждый старается раскопать собственный юбилей. Комендант Ропп рассказывает, как двадцать пять лет назад примерно в то же время жена родила ему первого сына; бургомистр Диржис впервые несчастливо влюбился, а Шаркус, волостной старшина, отпраздновал свой десятый год. Среди множества гостей нашлось даже несколько родившихся именно двадцать пять лет назад. Их приветствуют аплодисментами и дружными «ура», за них поднимают бокалы, пьют за их здоровье. Адомаса тоже присоединяют к ним (шутка развеселившейся Милды), хотя до его двадцатипятилетия не хватает девяти месяцев. Шутка сказать — девять месяцев! Если вам угодно, без этого подготовительного периода ни один из нас не появился бы на свет и господа Баерчюсы тоже не сидели бы в оплетенных цветами креслах серебряной свадьбы. За инкубационный период, дамы и джентльмены! Остроумный тост грешным ангелом парит над гудящими столами. Дамы-скромницы изо всех сил стараются зардеться, упорно не поднимают глаз. (Господа, такие речи при дамах...) Обе девицы не первой молодости, между которыми хозяева втиснули Адомаса, хихикают в кулачок, глазами и бедрами атакуя господина начальника полиции. Милда бросает через стол взгляды провинившейся шалуньи, но не просит прощения, а, пожалуй, посмеивается. Рядом с ней Гедиминас. Немного навеселе, в приподнятом настроении. Адомас исподлобья, подозрительно поглядывает на них. Она не должна была приходить сюда одна. А господин учитель истории тоже... Просто в голове не укладывается: этот праведник — и вдруг в

таком обществе! Баерчюсы, правда, питают слабость к сословию просветителей — здесь директор гимназии с инспектором и еще несколько учителей; приглашали, ясное дело, но как наш Гедиминас сел не в свои сани?

Хозяин встал, стучит вилкой по тарелке, пока в обеих комнатах (дверь во вторую временно снята) примолкает гомон подвыпивших гостей.

— Господа и дамы! — Баерчюс задирает к потолку круглую, пятнами полысевшую голову. Тяжелая нижняя челюсть, поддерживающая маленькое личико, клацает, словно пытаясь оторваться. — Милые дамы и господа! Хм, хм… Мы с дорогой Ритой, — он кладет руку на плечо сидящей рядом жены (плечо — под стать ее могучему бюсту — напоминает сафьяновое седло), — мы с драгоценной подругой жизни весьма польщены, что нас почтили своим присутствием такие дорогие… хм, хм… и такие высокие гости. Хм… Благодарны, благодарны, благодарны. — И Баерчюс трижды поклонился своей тарелке. — И еще я, дорогие дамы и господа, обращаю всеобщее внимание… хм… хм… среди нас находится высокопоставленный гость из Вильнюса. Господин Мунд соизволил почтить наше семейство своим высоким присутствием и, невзирая на дальний путь… Я крайне взволнован, господа… Приглашаю всех поднять бокалы за начальника вильнюсского почтамта, дорогого господина Мунда! — Баерчюс повернулся к сидящему слева пожилому толстяку в пенсне, с двойным подбородком и, кланяясь, поднес свою рюмку к лоснящемуся, как стручок красного перца, носу высокого гостя. — Я благодарен судьбе, давшей мне возможность чокнуться с вами, господин Мунд.

Вильнюсский почтмейстер улыбнулся, как полагается человеку, привыкшему раздавать почести и милости, короткими жирными пальцами схватил свою рюмку и не вставая поднес к губам.

Однако хозяин не растерялся.

— Многие лета господину Мунду и великому рейху! — крикнул он, поднимая рюмку.

Загремели отодвигаемые стулья. Гости поднялись! Господин Мунд тоже встал. Все как один опорожняли рюмки в честь вильнюсского почтмейстера и третьего рейха. Стулья вернулись на свои места. Остался стоять только господин Мунд — теперь была его очередь предложить тост.

— Господа! Оказанную мне честь я принимаю как честь фюреру и Германии. Sieg heil![19]

— Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil! — дружно повторил хор голосов, которым дирижировали комендант Ропп и начальник гестапо Христоф Дангель.

— Я очень рад встретиться за этим столом со своими славными соотечественниками и верными друзьями немцев литовцами, предки которых, увы, несколько веков назад не могли понять, что судьба Германии — это судьба всего культурного мира. Но история, хоть и с опозданием, исправляет ошибки. Наши праотцы рыцари отдали немало жизней, чтобы принести культуру на вашу живописную землю, и вот мы наконец завершили их благородную миссию и пьем со своими бывшими врагами, пьем, как друзья, из одних бокалов. Sieg heil! — Господин; Мунд выбросил руку вверх. Тотчас за столами взметнулось несколько рук.

— Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!

— Мои любезные литовские друзья! Для вас война уже кончилась. В ваш живописный край мы принесли свободу и мир. Германский солдат проливает свою кровь, громя большевистские орды на Востоке, а ваши землепашцы могут спокойно возделывать свое поле, любить своих женщин, растить детей. Но, мои господа, и работая, и лаская своих жен или любовниц, вам не следует забывать, кому вы обязаны этим счастьем. Мы ждем от вас помощи мужественной германской армии.

Пусть хлеб, взращенный литовским крестьянином, пусть бекон, молоко и прочие продукты земледелия помогут окончательной победе германской армии! — Господин Мунд подождал, пока переводчик перевел, и, постреливая в сидящих своими острыми глазками, продолжал металлическим фальцетом: — Еще никогда в истории Германия не одерживала столь блистательных побед. Наши дивизии прошли тысячи километров по диким просторам России. Мы прочно держим в своих руках Крым, вот-вот рухнет последний центр сопротивления большевиков — Сталинград. Не завтра, так послезавтра падет Москва, мои господа. Sieg heil!

— Sieg heil! Sieg heil! Sieg heil!

— Я поднимаю тост, мои господа, за отважного германского солдата, в котором воплотился бессмертный дух наших предков — рыцарей!

— Heil!

— За великого фюрера, ведущего нацию от победы к победе! За тысячелетнее будущее великой Германии! Deutschland, Deutschland über alles!

— Heil!

Несколько рук снова вскинулось в воздух. Чуть было не выбросил свою руку и господин Баерчюс, но заколебался: вдруг не положено — все-таки он не член национал-социалистской партии.

— Сегодня не посидишь... — шепнул своей соседке Адомас.

Он был прав — тост следовал за тостом, один патриотичней другого. Высокие гости совсем забыли, что кресла украшены цветами. Они опередили историю и праздновали не серебряную свадьбу, а юбилей Германии, двадцать пять лет назад победившей весь мир. Коменданту Роппу чудилось обширное поместье на плодородных равнинах Средней Литвы, а начальник гестапо Дангель уже завел такое же (может, даже два!)

в степях Украины, и оба поднимали бокалы за тысячелетний рейх, который будет стоять на костях рабов. Господин бургомистр с волостным старшиной (после каждой рюмки они кланялись все ниже) чуть не расплакались от счастья, что он не принадлежат к неполноценным особям и их дети имеют право жениться на немках, выходить за немцев и производить приплод для германской империи. И оба — и городской и волостной голова — благодарили судьбу за то, что могли поднять по тосту за мудрость фюрера и традиционное немецкое благородство.

Отдавая дань патриотизму, гости изрядно набрались. Языки заплетались, помутнели глаза. Все чаще хлопала входная дверь, пропуская во двор отяжелевших и впуская облегченных, которые уже не возвращались на свои места, а садились куда придется. Друзья казались настоящими, женщины — прекрасными как никогда. Все перемешалось в комнатах Баерчюса. Гостей оставалась лишь половина, многие разбрелись по домам, другие считали звезды, выйдя во двор.

Адомас, улучив удобную минуту, подсел к Милде.

— Примете? — спросил он, с иронией посмотрев на Гедиминаса.

— Не знаю. — Милда кокетливо улыбнулась. — У нас тут легкий флирт. А где твои розы?

— Послал, по совету госпожи Баерчене, в сад, где можно обойтись без канализации, — домашнее оборудование, насколько мне известно, временно вышло из строя.

— Знаешь, и мне, пожалуй, пора в сад, — рассмеялась! Милда и встала. — Садись на мое место.

— Мне не следовало сегодня возвращаться — испортил тебе вечер, — шепнул Адомас, пропуская ее.

— Оставь свои колкости на завтра, — вполголоса ответила она. — Сама Баерчене дважды приходила меня приглашать. Впрочем, здесь мне совсем не

плохо. — И, повернувшись к Гедиминасу, громче добавила: — С Гедиминасом не бывает скучно.

— Не кривляйся, — буркнул Адомас. Он придвинул стул и пересел на место Милды. — Да, Баерчюсы показали, на что способны. Пир горой!

Гедиминас лениво поднял осоловевшие глаза.

— Есть на что. Дочка в Вильнюсе с немцами, сын евреев убивал. Нахапали чужого добра, — вполголоса ответил он.

— Приятно удивлен, видя тебя здесь.

— Пришел полюбоваться достойным сожаления ничтожеством людей. Сам знаешь — чем объешься, того долго не захочешь. А сегодня я сыт по горло. Heil Sieg! — Гедиминас отвратительно осклабился (рожа стала как у обезьяны!) и приподнял свою рюмку.

— Да, принципы у тебя не очень-то твердые. Как ни верти, сегодня мы действовали дружно: оба стояли навытяжку и пили за здоровье тысячелетней старушки. Сегодня, я думаю, ты лучше меня поймешь, чем, скажем, год назад.

— К свиньям попал — по-свинячьи и хрюкай, но не обязательно думать по-свински. — Гедиминас отпил из рюмки. — Я поднимал бокал не за них, то есть не за вас, а за… Но это тебе знать не обязательно.

Адомас помолчал. Легонько кружилась голова. Прокуренная комната с мельтешащими тенями людей казалась нереальной: банка с мутной водой, полная причудливых плавающих существ.

— Это ты зря, Гедиминас. — Он обиделся было, но вспомнил Саргунаса. — Все мы одним миром мазаны, лапочка. Этот стол, возможно, накрыл подлец, но нам как-никак больше пристало сидеть за ним, чем господам Роппам или там Мундам. Баерчюс — скотина, но своя. Свое дерьмо не так воняет. Придет время — и такие пойдут с нами.

— Они и теперь с вами.

Вернулась со двора Милда. Адомас пересел было на свободный стул рядом, но Милду у двери перехватил начальник гестапо Христоф Дангель.

— Вы арестованы, фрау Милда. В чем ваша вина? Красота — ваше преступление. Мы бессильны перед таким противником, но постараемся окружить его и взять в плен. Ха-ха-ха!

«Болван!» Адомас раздраженно опрокинул в рот рюмочку Милды.

— Обстоятельства могут временно превратить человека в скотину, но когда они изменятся, он снова станет кем был, Гедмис.

Гедиминас глянул на Адомаса.

— За пятнадцать месяцев ты, говоря большевистским стилем, преуспел в самокритике, — удивился он.

— Зрелость, — печально улыбнулся Адомас. — Ты в чем-то был прав: нельзя кидаться очертя голову в кипяток. А вот об остальном можно поспорить. Кто с кем — это мы еще увидим. И вообще нам надо кое-что выяснить, Гедиминас. Я хотел к тебе зайти, да сам знаешь... Незачем искать камень за пазухой у друга. Мы живем в такое время... вдруг придется идти плечом к плечу... — Адомас огляделся. За этим концом стола, кроме них никого уже не осталось. Он пододвинулся вплотную к Гедиминасу и, положив руку на спинку его стула, негромко пересказал свою беседу с Саргунасом. — Если уж в верхах царят такие настроения... — со значением кончил он.

Гедиминас посидел минутку с застывшим лицом. Длинные, откинутые назад волосы прядями падали на уши и лоб (он часто забывал про расческу); от него веяло каким-то неуловимым запахом — канцелярией, березами, давно не надеванной одеждой — этот запах появился после того, как он бросил курить.

— Настроения людей, виноватых перед своей нацией, — наконец сказал он. — Как кошки — нагадили и тут же спешат закопать. Эти господа надеются откупиться будущим. И, конечно, будут делать это не своими руками. Я не хочу отскребать чужую грязь!

Адомас снял руку со спинки стула, словно обжегшись.

— Судьба нации для него чужая! — охнул он вполголоса. В ушах послышался знакомый звон: надо встать и уйти, а то заедет другу в морду.

— Твой тип из Каунаса со своим Кубилюнасом еще не нация.

— Так и говори: боюсь! Возиться с детьми в школе и сочинять стишки легче, чем рисковать головой.

— В моих идеях нет идеологии, из-за них головы не летят. — Гедиминас колюче рассмеялся. — Вы думаете, надо вырезать кое-кого, чтоб высвободить место для себя, а я думаю: пускай каждый живет, как умеет, земли и неба хватит всем. Были таутининки — режь одних, пришли красные — других, немцы — прочь с дороги, кто не немец! Придет еще одна власть, скажем, ваша, — опять полетят головы, опять все будут совать в тюрьмы, трудовые лагеря. Почему я должен содействовать бессмысленной рубке леса? Я сам себе дерево, сам себе лесник.

В соседней комнате Ропп затянул песню немецких летчиков. Адомасу пришлось повысить голос, чтобы Гедиминас расслышал.

— Конечно, удобней стоять в стороне и смотреть, как у других головы летят с плеч! Поэт! Он, видите ли, выше любых идеалов. Гуманист! А я тебе скажу, лапочка, что твой гуманизм гроша ломаного не стоит. Потуги импотента, вот и все. Только и умеешь, что стонать и плакать. Немцы такие, немцы сякие, столько гибнет невинных людей… Так ли уж они невинны, это еще вопрос. Но откровенно скажу тебе, лапочка, я

лучше понимаю русских, которые убегают в леса, присоединяются к бандитам и бьют немцев, чем тебя… Черт подери, помолчал бы, не судил других! Не варишь каши, так и не советуй, сколько класть соли.

Гедиминас слушал его с иронической ухмылкой, крутя пальцами рюмку. Но постепенно улыбка стала тускнеть, глаза помрачнели; было видно, что Гедиминас растерян.

— Не мною создан такой мир, и не мне за него отвечать, — нетвердо сказал он.

— Еще один виновник — господь бог! — Адомас презрительно расхохотался.

— Нельзя обвинять того, кого нет.

— Да, во всем мире ты один…

— Нет, есть еще водочка. — Гедиминас наполнил рюмки, и оба выпили до дна. — Немцы любят равновесие. Ты не чувствуешь, что половина этой мутной жидкости идет в верхнюю, а ровно половина — в нижнюю часть тела? Я, пожалуй, склонен осмотреть запасные апартаменты господ Баерчюсов в саду.

— Хоть в этом наши взгляды совпадают, — насмешливо заметил Адомас.

Они тяжело встали, нетвердо ступая, вышли во двор. Над наружной дверью горела лампочка, вырывая из темноты часть сада, стену нужника и две легковушки; поодаль, привалившись к забору, подремывал на посту эсэсовец, но они не заметили его. Над нужником тоже светилась неяркая лампочка. Город спал в черном океане, и в мире ничего не оставалось, только эта кромешная пустота, а в ней ноевым ковчегом болтался осколок уцелевшего острова, загроможденный заборами, машинами и людьми, которые набились в единственный дом, торопясь все сожрать, вылакать и всласть нагуляться, — ведь завтра все пойдет прахом.

— Что-то лень нести за калитку, — сказал Гедиминас. — Как думаешь, которая тут машина нашего

почтенного почтмейстера? Надо бы обмочить колеса, чтоб спицы сидели крепче.

Адомас тихонько рассмеялся.

— Мы как следует накачались, лапочка.

— От свежего воздуха развезло. — Гедиминас зашел за первую машину, Адомас потопал за ним.

Как я ехал через лес зеленый,
Обломал я веточку рябины…

— дурными голосами вопил один борт ноева ковчега; из всех окон бил свет.

— Литовцы взяли верх, — констатировал Адомас, с трудом одолев последнюю пуговицу.

— Как и полагается в такой исторический момент. — Гедиминас хихикнул. — Все, что мы можем себе позволить в борьбе за независимость. Подмоченный протест во имя единства нации. Но, я вижу, воин из тебя и тут неважный. Ты выше, выше поднимай. Ни одной пули мимо! Цельсь в дверку. Высококачественная русская сталь. Звенит, как скрипка Страдивариуса.

— Кто-то идет… — прошептал Адомас, услышав подозрительный шорох.

— Это шаги истории, — выдавил Гедиминас. — Твой генерал Кубилюнас…

Он не договорил. Громыхнул, задев за что-то, автомат, и тут же раздался приказ:

— Hände hoch! [20]

Они хотели обернуться, подумали — кто-то решил подшутить, — но снова прозвучал грозный окрик.

— Это я, Вайнорас, начальник полиции! — на ломаном немецком языке пролепетал Адомас, воздевая руки.

И тут же почувствовал, как кто-то резким движением вырвал у него из кобуры револьвер.

Оглушенный знакомым звоном в ушах, он обернулся — и наткнулся грудью на дуло автомата. Поодаль стоял второй эсэсовец с полированным лицом манекена и тоже держал оружие наизготовку.

— Отдай револьвер! — в ярости крикнул Адомас. — Не видите, кто я?!

Хлопнул кулаком себя по погону, опустил было вторую руку, но тут же пришлось поднять обе — немцы заорали и загремели затворами.

— Будьте корректны, господа, позвольте оправить брюки, — вдруг протрезвев, попросил Гедиминас.

— Отдайте оружие, черт возьми! Я не какой-нибудь бандит, я свой... Я начальник полиции. Отдайте, черт возьми, оружие! — выкрикивал Адомас, качаясь из стороны в сторону, словно его подвесили за руки на невидимой веревке.

То ли господина коменданта с почтмейстером потянуло на свежий воздух, то ли они расслышали шум, но неожиданно во дворе появились оба немца. Они с самыми серьезными лицами выслушали рапорт часового, а пока суть да дело, Гедиминасу с Адомасом пришлось постоять с поднятыми руками в ослепительном свете карманных фонариков. Потом появился начальник гестапо штурмфюрер Дангель и другой гость, офицер из комендатуры. Уже четыре пары обжигающих издевкой глаз ползали по их телу, ощупывая каждую складку одежды, каждый неприкрытый кусок тела. Двор заполнился гостями («... Meine Damen und Herren, bitte alle in den Hof... Ein seltenes Spektakl... Ihr werdet nicht bereuren... Kommt alle sehneller in den Hof...»)[21], и они, хотя были пьяны, поняли, что необязательно срывать с человека одежду, чтоб раздеть его донага.

VII

Страх подумать, что вчера натворил! Счастливы те, кто после пьянки ничего не помнят. Надо было уйти вместе с Гедиминасом сразу после этих глупостей во дворе. Пускай все видят, что он чихал на господ немцев, он не какая-нибудь заячья душа, чтоб позволить над собой издеваться! Недостало решимости, страх, как часто бывало с ним, вытеснил чувство собственного достоинства. Он лопался от злости, а все-таки чокался с немцами, отвечая улыбкой на улыбки; дружно хохотал вместе со всеми, хоть и скрипел зубами от ярости. «Начальника полиция разоружили! Ха-ха-ха!» Этот проклятый хохот собравшейся во двор публики гремел у него в ушах, и он пил рюмку за рюмкой, чтоб заставить его утихнуть. «У каждого честного патриота сейчас два лица», — сверлили мозг слова Саргунаса. Он то и дело чувствовал, что его второе лицо опять проступает все более четко, приближаясь на опасное расстояние. Тогда, собрав последние силы, он отталкивал своего двойника, и тот на миг исчезал. А потом снова вылезал из темноты, мельтешил перед глазами, и снова он видел себя в свете фонариков, с поднятыми руками. «Чего вы хотите, черт возьми, своих не узнаете? Господин комендант... Herr Kommandant...» Опустил руки, шагнул вперед. «Halt! Halt! Halt!» [22] Два сзади, одно спереди. И он, хоть и ослеп от света ярких фонариков, разглядел (нет, скорей нюхом учуял) нацеленное прямо в грудь дуло пистолета. Да, они были в хорошем расположении духа, господа немцы, их спектакль нуждался в зрителях... Потом, когда они сели за стол, продолжая хохотать над случившимся, господин Ропп сказал: «Русских за подобные шутки мы бы расстреляли...» Великодушно, с доброй улыбкой (правда, в глазах при этом мелькнула угроза) были сказаны эти слова, и он чокнулся со своим благодетелем и выпил за то, что он, Адомас, все-таки

выше русских. «Господин Вайнорас, когда мы поднимали тосты за фюрера и родину, вы смотрели в свою тарелку, искали, чем бы закусить», — заметил начальник гестапо, и Адомас предложил тост за «извечного друга литовского народа великую Германию» и записал на свой счет еще одну рюмочку. «Все они свиньи, большевики. Может ли свинья понять, что такое родина?» — добавил господин почтмейстер, и ему снова пришлось поднять рюмку («За флаг третьего рейха над цитаделью большевиков — Кремлем!»), чтоб доказать, что он отнюдь не свинья и в его крови нет бацилл большевизма. Да, именно с этой рюмки колесо и пошло крутиться в обратную сторону. Обливаясь холодным потом от страха, он понял, что второе лицо снова лезет наружу и у него нет сил нокаутировать его. Попытался встать, чтоб уйти, но голова была пустая, легкая, как одуванчик, а зад налился свинцом. «Что вы смыслите в литовской нации, господин... почтмейстер?.. Понимали ли вы ее и старались ли понять? Вам только подавай гусей, сала да яиц („Liebe Mutter, Eier, Butter...“) [23]. Клайпеду подавай... Господин комендант, лапочка, скажешь, неправильно говорю? Единственный порт отобрали. Окно в мо-о-оре... Но мы все равно с вами, господин Дангель. Слу-ужим... Верой и правдой. Фюреру, Германии, а для своих — что останется. Для своих — крохи, господин комендант... Смейтесь, смейтесь над своим слугой, но однажды и слуга может сбросить ливрею. Очень даже может, господин почтмейстер... Думаешь, мне эти погоны дороги, мне не на что справить себе приличный костюм, лапочка? Наплевать мне на форму начальника полиции, господа!.. Завтра подаю в отставку и прошу желающих на мое место. Хоть вы занимайте, господин почтмейстер...» Выпалил одним духом, чувствуя, как в душе сто чертей пляшут от наслаждения. («На тебе,

господин комендант! На тебе, Дангель! Жри и ты, откормленная свинья почтмейстер! Подавитесь святой правдой...») Неизвестно, чего бы еще наговорил, но почтмейстер вдруг завизжал, как поросенок под ножом, и двинул Адомаса кулаком в челюсть. Нет, он не дал сдачи. Слава богу, что не дал. Только вскочил (свинец вдруг хлынул в ноги) и тут же, наткнувшись на страшный взгляд коменданта, шмякнулся обратно на стул; страшные, неумолимые глаза пронизывали его насквозь, как незадолго до того дуло пистолета во дворе. Какое-то важное колесико вдруг вскочило на свое место от удара почтмейстера, и весь механизм заработал, как раньше. Баерчюс скулил, дергался, как паралитик (казалось, его плешивая голова слетит с петушиной шеи): «Домой, Вайнорас, сейчас же домой! У меня нет места провокаторам!» Мог и не выгонять. Сам ушел, поддерживаемый Милдой, на ходу его заносило. («Какой черт еще толкается...») Тускло освещенные улицы были пустынны и мрачны. В тишине назойливо громко цокали туфельки Милды, а ему казалось, что кто-то крадется за ними, прицелившись в спину из черного пистолета. Вдруг он испугался этой темноты с точками фонарей, призрачных силуэтов домов и заплакал, как ребенок, которого увели в лес и там оставили. Милда успокаивала его, но сама тоже плакала. И впервые после долгих ночей супружеская постель снова стала им узка, и он радовался, что в застывшую было плоть их любви возвращается душа.

Но утром, едва продрав глаза, он увидел перед собой столы, бутылки, тарелки и ухмыляющуюся харю господина коменданта.

— Дурак ты, дурак... — сказала Милда, посмотрев на него чужими глазами.

В ее голосе были досада, разочарование, пожалуй, даже презрение и ни тени той нежности, которой еще

дышала постель. Словно не с этой женщиной он перестал.

— Надо бы извиниться… — пролепетал он.

— Я прощаю. — И она посмотрела на него тем странным, пугающим взглядом, за которым чувствовался страшный, но непонятный ему смысл.

«Правда, надо сходить к господину коменданту. Простите, вчера надрался, как свинья. Весьма сожалею, entschuldigen Sie, Herr Hauptmann!..»[24] — думал Адомас, уже сидя в своем кабинете. Потянулся было к трубке телефона, но нерешительно отвел руку. Нет, незачем кидаться сгоряча. Они тоже были хороши со своими фонариками…

До обеда он мерил кабинет тяжелыми шагами, изредка останавливался перед столом и пустым взглядом смотрел на кипу протоколов. Входил дежурный (такое-то дело, господин начальник), но Адомас не хотел вникать («А что Бугянис делает, черт возьми!»). «В эту комнату редко попадает порядочный человек. Убийцы, воры, спекулянты. А я, как последний батрак, должен копаться в этой навозной куче, удобрять чужое поле… Господин начальник полиции… Ассенизатор с погонами. Ха-ха-ха!» Он расстегивал и снова застегивал воротник, то и дело поправляя портупею — никогда еще так неловко не сидел на нем мундир. Неизвестно почему в голову все лез Гедиминас, и Адомас, не желая в этом признаться, смертельно ему завидовал.

Снова вошел дежурный: просит принять Пятрас Кучкайлис из Лауксодиса.

— К Бугянису!

— Говорит, очень важное дело. Хочет с самим начальником……

— Пусть-подождет, раз так приспичило.

— И еще — приехал из батальона Жакайтис. На побывку. Тоже хотел бы вас повидать. Но, понимаете, какое дело, изрядно пьян...

— Гони к черту!

— Не так-то просто, господин начальник. Вооружен. Угрожает.

Адомас пришел в ярость.

— Сюда его! Видно, хочет провести свой отпуск в каталажке!.. Гуляем, господин Жакайтис? — накинулся ор, когда тот, покачиваясь и икая, ввалился в кабинет. — Отдай оружие!

— А я не разоружаться к вам пришел, господин Вайнорас. — Жакайтис выплюнул потухшую сигарету под письменный стол и шумно плюхнулся на стул. Пьяное, серое лицо, глаза заплыли, змеиная головка качается на длинной, тонкой шее. Но военная форма, несмотря на все, в порядке — пояс туго затянут, сапоги блестят, пуговицы — на своих местах, — Получил недельку отпуска. За образцовую службу. Пользуюсь, господин начальник. Навещаю друзей, родных, знакомых. Женушку подыскиваю. Словом, действуем. Зашел и к тебе. Может, бутылочку разопьем, вспомним хорошее времечко, когда ты меня от пули спас, чтоб я других расстреливал? Трудовой батальон! Ха-ха-ха! Орудие труда — винтовка, а строительный материал — трупы. А как же — такую бумагу подписали, поклялись сражаться за Адольфа Гитлера. Красиво ты меня пристроил, начальник, ох, красиво, не знаю, чем тебе и отплатить...

— Слышал, что говорю? Отдай оружие! — захлебываясь от ярости, завопил Адомас. — Или в комендатуру позвоню.

— Ну, зачем? — Жакайтис, жутковато посмеиваясь, похлопал себя по карману шинели, где был пистолет, — Эта машинка может — буф! — и выстрелить тебе в живот. По нечаянности. Что для нее значит, человеком

больше или меньше? Мы там привыкли не стесняться, господин начальник. Окружим белорусскую партизанскую деревню, стариков и баб вздернем или из автоматов полоснем, красного петуха под крышу — и потопали дальше. «Мы идем, идем, смерть врагу несем». И таких парней ты хочешь испугать комендатурой, облезлая полицейская крыса. Смертника, смертью испугать!

Дрожа от бешенства, Адомас вытащил пистолет.

— Руки на стол!

Жакайтис захохотал.

— Нажми, нажми, господин начальник! Для меня лично никакой это не убыток. Одной сволочью на земле меньше будет. Если напрямки — я частенько подумываю: хорошо бы кто хлопнул меня сзади в темечко. Устал я... Стреляем и стреляем, горит и горит, конца не видно. Нажми, господин начальник, а? — Жакайтис задрожал, по щекам потекли слезы. — Куда ни пойду, все они перед глазами. Дряхлые старички, сопливые ребятишки. «Za co ty nas, pan Zakajtis»[25]. А за то, что жив остался, что душу черту запродал. Пиф-паф, трах-та-ра-рах... Марюса Нямуниса убил... Никакого Нямуниса я не убивал. Вранье! Нямунис сбежал, как человек, а я, трус несчастный...

— Уходи... — прошептал Адомас.

Жакайтис поднял голову и с ненавистью глянул на Адомаса протрезвевшими глазами.

— Когда я сюда шел, был у меня соблазн пустить тебе пулю в рыло, — сказал он и с трудом встал. — Ладно, потерплю, — другой за меня это сделает!

— Убирайся! — процедил сквозь зубы Адомас, положив палец на спуск.

Жакайтис, скособочившись, затопал к двери. На пороге резко повернулся, выхватил револьвер и

радостно захохотал, увидев, что Адомас вскочил с места.

— Другой раз, господин начальник. Бывайте!

Адомас бросился к окну, распахнул обе створки. Он задыхался, весь взмок от пота. Комната бешено вращалась, летели грязные стены с портретами Гитлера и Кубилюнаса. Клетка, несущаяся куда-то в пустоте. Надзиратель приоткроет решетку и впустит в нее следующего зверя… Адомас, шатаясь, подошел к столу и опустился на стул. Запереться! К черту все! Но не было сил, чтоб подняться. Сидел, облокотившись на кипу бумаг, и чувствовал, что в сердце зреет решение. Ширь полей, словно щедрые объятия любящей матери, открылась перед ним, и он, свободный, принадлежащий одному себе и еще этим полям, брел по мягкой пашне, его грело плодородное чрево родной земли, благословляла высота небес. Да, старик был прав, когда чинил эти свои недоуздки, тысячу раз прав! Адомас признал это, и вдруг все стало легко и просто, вещи встали на свои места, комната снова была просто комнатой, из которой можно уйти и никогда не вернуться. Родной дом повернется лицом к своему сыну, и любимая женщина будет любить, как любила. Да, господа немцы, мы обойдемся друг без друга.

За дверью застучали сапоги. Адомас откинулся на стуле и поправил китель. «Сижу здесь на правах гостя. Если этому Кучкайлису плох Бугянис, пусть подождет нового начальника…»

Но вошел не дежурный полицейский, а начальник гестапо Христоф Дангель. Адомас узнал его, едва приоткрылась дверь. Твердая энергичная походка, скупые движения уверенного в себе человека, острый запах одеколона в радиусе нескольких метров вокруг Дан-геля.

Адомас встал. Комната снова начала вращаться, он снова был в клетке.

— Sehr schön, Herr Sturmführer. Bitte, nehmen Sie Platz [26].

— Oh, nein [27]. Я на минутку, господин Вайнорас. Наша профессия чурается лени, а кроме того, в стулья иногда бывают воткнуты булавки. — Дангель усмехнулся продолговатым пластмассовым лицом, на котором настоящими казались только глаза, и, привстав на высоких стройных ногах в блестящих, как зеркало, сапогах, принялся разглядывать комнату.

— Хотел вам позвонить… зайти… — пробормотал Адомас, никак не справляясь с дрожью в коленках.

— Это не обязательно. Хотя обычно принимаю своих клиентов на службе, иногда бывает любопытно нанести им визит.

— Вчера я был очень пьян… сожалею, господин штурмфюрер.

— У вашего народа есть разумная пословица: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.

— Господин Дангель… — Адомас облизал пересохшие губы.

— Успокойтесь, господин Вайнорас. Иногда можно себе позволить пошутить. Я знавал одного веселого субъекта, который смеялся даже, когда ему надевали петлю на шею. — Дангель обошел кабинет, внимательно осматривая стены, потом повернулся к Адомасу, посмотрев на него с той же узкой пластмассовой улыбкой, которая причудливо делила его пустое, невыразительное лицо на две части. — Комиссар Остланда господин Розенберг был бы неприятно удивлен, не обнаружив здесь своего портрета. Да и фюрер… Не думаю, что для него такая уж большая честь быть в одной компании с каким-то генералишкой.

— Перевесим, господин штурмфюрер.

— А эта белая лошадь уж совсем зря. — Дангель махнул рукой на стену, где за спиной Адомаса висел герб Литвы — всадник с занесенным мечом. — Бессмысленно, сентиментально. Государственный герб несуществующего государства... Вы отстаете от истории или собираете музейные редкости, господин Вайнорас?

— Снимем...

— В кабинете начальника полиции должен чувствоваться дух времени. So etwas wirkt an die Interessanten positiv [28].

— Понятно, господин Дангель.

Начальник гестапо подошел к окну, выглянул на улицу, потом по-военному повернулся и медленно зашагал к двери.

— Знайте, господин Вайнорас, я не из тех, кто верит, что у босого человека чистые ноги. Застегнитесь на все пуговицы, а я все равно сразу скажу, на каком плече у вас родинка. Люди нашей профессии ясновидящие. Поэтому советую по-дружески: выбросьте из головы допотопный балласт. Когда-то, в гимназические годы, я тоже умилялся запаху старых пеленок, но со временем понял, что они нужны только в младенчестве. Разумные люди не живут наивными иллюзиями, а трезво оценивают историческую перспективу. Маленькому народу, со всех сторон стиснутому могучими соседями, раньше или позже суждено раствориться. — Дангель говорил вкрадчивым голосом учителя и разгуливал по кабинету, заложив руки за спину. — Надо радоваться, что благоприятное стечение обстоятельств толкнуло Литву не в объятия дикого Востока, а культурного Запада. Сентиментальные тупицы пугают вас германизацией. Но ведь и пруссы в свое время онемечились. Что они потеряли? Когда ваш жемайтиец ковырял землю

деревянной сохой, сидел при лучине, а дети его тайком от царских жандармов учились грамоте, — уже тогда прусский крестьянин жил лучше, чем литовский мужик наших дней. Литва на доброе столетие отстала от Запада. Ваши князья пролили много крови, защищая край от крестоносцев, но защитили не Литву, а Восток, который позднее отблагодарил вас за это рабством. Это была роковая ошибка. Увы, кое-кто даже сейчас не понимает, как бессмысленно сопротивляться исторической необходимости, и пытается сойти с правильного пути на тропинки, проторенные древними глупцами. Видите, я с вами откровенен, господин Вайнорас. Впрочем, признаюсь, я придерживаюсь такого мнения, что умного сперва надо попытаться согнуть; перешибить хребет мы всегда успеем... — Дангель остановился у письменного стола и впервые за весь монолог поднял свои зеленые глаза на Адомаса. Глубокий взгляд был теплым и дружеским.

— Я вас понимаю, господин Дангель, — деревянными губами выговорил Адомас.

Дорожка пластмассовой улыбки расколола лицо надвое, взгляд потух.

— Нет, вы еще меня не поняли, господин Вайнорас, но, надеюсь, вы хоть призадумаетесь. — Дангель посмотрел на ручные часы и уже сухим, официальным тоном добавил: — У меня есть серьезное пожелание, Herr Polizeishef.

Адомас, испытывая отвращение к себе, вытянулся в струнку.

— Я готов выслушать вас, господин штурмфюрер.

— Мне кажется, наши учреждения должны бы теснее сотрудничать. Есть дела, которые безусловно входят в вашу компетенцию, но настолько серьезны, что представили бы интерес и для гестапо. Одностороннее решение подчас приводит к ошибкам.

— Будем консультироваться...

— Да, это точное слово. — Дангель протянул Адомасу узкую, бледную ладонь. — До более приятной беседы, господин Вайнорас. Мой визит, возможно, и задел вас, но я не люблю бить хорошего коня хлыстом, его достаточно пришпорить. — И, по-военному повернувшись на каблуке, он зашагал к двери.

Адомас обмяк на стуле. Он был разбит и физически и морально. В голове пусто, как на поле боя после сражения. Какие-то нагромождения, очертания фантастических хребтов тонут в вязкой мгле. И в этом хаосе подспудным ручьем струится единственная мысль: «Почему нельзя плюнуть в харю, почему нельзя?..» Чужие ноги поднесли его к двери, чужие руки открыли ее, и под гудение погребальных колоколов чужие уста крикнули: «Кучкайлиса!» «Где я уже видел эту безгубую скотину с поросячьими ресницами и запаршивевшей рожей? — подумал он, глядя через расплывающуюся пелену на тяжелую фигуру, возникшую перед ним. — Да он из нашей деревни! Усердный батрак и хороший работник. В хозяева метит. Наследник старосты Яутакиса, на все руки мастер. Ему все равно, колодец или могилу человеку вырыть».

— Вы уверены, что не ошиблись? — спросил он, когда Кучкайлис, покашливая в волосатый кулак и с опаской поглядывая на открытое настежь окно, почти шепотом изложил дело.

— Чтоб мне на месте помереть, господин начальник! Давно уже на него думал. Прибежит, видишь — нет, ребенок издалека и попадет аккурат туда, где таких ждут, Магнит его тянет. Ха-ха-ха... Мне смешно! Жидовский дух, господин начальник, я против ветру чую. Еще разговоры такие довелось слышать — Гирнюсов подпасок обмолвился, — что у него не такой, как у нас, католиков. В озере подглядел, когда тот купался, видишь — нет, господин начальник... Такой

скрытный ребенок, давно я приметил. Все один да один. Хитрый жиденыш. Но будь ты самый расхитрый, не приклеишь, ежели обрезано... Ха-ха-ха... Мне смешно. Вот, думаю, поймаю, штаны спущу и сам проверю. Тут дело такое, господин начальник, промашку дать никак нельзя, в деревне должен быть порядок! Покойник Яутакис, видишь — нет, теперь не ответит, с Пятраса Кучкайлиса весь спрос. Дело чести, господин начальник. Вчера вечером улучил минуту — баньку, видишь — нет, господин начальник, они топили. «Примите, говорю, и меня попариться, в нашей печку надо переложить». С бельем под мышкой да с веником айн момент — и ввалился в баньку... Ха-ха-ха... Мне смешно. А они голышом — старик Нямунис да этот малец. Ты бы видел, что тут началось, господин начальник! Старик за ведро — хлобысь на каменку, пару до потолка, ничего не видать. А этот щенок — в дверь, да в предбанник, хвать за одежонку — и удрал. Чего ему бежать-то, если такой же, как у нас всех, у католиков? Уверен ли я? Ха-ха-ха... Мне смешно... Чтоб мне умереть на этом месте, господин начальник.

— Стараешься? — процедил сквозь зубы Адомас, не глядя на Кучкайлиса.

— Надо, господин начальник. Я за Литву без евреев.

Адомас встал.

— Можешь идти! — Эти слова он бросил, словно камень: «Убирайся к черту, а то пулю в спину пущу».

Кучкайлис удивленно и разочарованно уставился на Адомаса.

— Хорошо, благодарю вас, господин Кучкайлис. Примем меры, — уже мягче добавил Адомас, чувствуя, что невидимые пальцы натягивают на лицо улыбающуюся маску. Те же пальцы разжали правую руку и положили ее на телефон. — Господин Дангель? Вы уже вернулись? Это Вайнорас. Тут такое дело, господин штурмфюрер...

Глава седьмая

I

— Господин Гедиминас, а господин Гедиминас… — Голос ломкий, скрипучий, как заметенный с ночи снегом тротуар, над которым со свистом несется поземка.

«Опять учитель Баукус…» Каждый божий день, по дороге в гимназию, и потом, после уроков, он старается догнать Гедиминаса. Что было — сплыло, Гедиминас ему не напоминает, но Баукус всем своим униженным видом показывает, что он — не забыл.

Гедиминас невольно прибавляет шагу. В серых утренних сумерках дома наплывают на него, словно корабли в туманном море. Узкий провал улицы полон скрипа торопливых шагов, визга открываемых дверей, хлопанья флагов, прикрепленных к балконам и подъездам (красных, с черной свастикой в белом кругу, и трехцветных); перевязанные черным крепом, они полощутся в снежных порывах ветра, словно клочья рваных парусов. Символ солидарности двух властей — господствующей и прислуживающей — в эту тяжкую годину. Года полтора назад обе твердили: «Через месяц Москва падет перед нами на колени». Великая Германия накрывала пиршественные столы для победителей, загодя украшала их головы лавровыми венками, но в один прекрасный день сладкий пирог победы обернулся огромным кладбищем под Сталинградом. Сотни тысяч матерей, жен и невест никогда не дождутся тех, кого проводили на Восток криками восторга, считая, что война — веселая прогулка с цветком в петлице.

— Господин Гедиминас, а господин Гедиминас…

Надсадное пыхтение над ухом. «Догнал-таки».

— Доброе утро, господин Баукус.

— Метель… — Баукус поправляет каракулевый воротник. Черное пальто, черная шляпа, белесое пятно лица. Пробирается бочком, пряча глаза от злого ветра, налегая левым плечом на невидимое препятствие.

— Да-а… Погода неважная…

— Глубокая зима.

— Да-а…

— Немцам туго приходится…

— Они, кажется, уже терпят поражение, — вяло ответил Гедиминас.

Баукус поглубже ушел в воротник. Так они бы и прошли этот отрезок пути до гимназии, как обычно, вяло обмениваясь новостями, но сегодня с Баукусом творится неладное. Голос и частые многоточия выдают волнение.

— В Вентском лесу, говорят, партизаны объявились… Спустили под откос поезд с солдатами… Цистерна со спиртом была прицеплена… Представляете, по канавам спирт течет… Кому повезло, полное ведро набрал… — бубнит в воротник Баукус, но по интонации понятно, что на уме у него совсем другое.

«Вчера уже говорил. У старика голова сдает».

— Ничего не попишешь, приходится платить по счетам.

— Был на вокзале, моя дочь, вы ведь знаете, в кассе работает… Поезда все идут и идут, полны раненых, обмороженных солдат. Говорят, в основном обмороженные… Руки, ноги отморожены… Зашли двое в зал ожидания, лица забинтованы, дочка говорит, даже смотреть противно. — Ветер рвет голос Баукуса на куски, подкидывает в воздух, где вихрятся снежинки.

— Логическое следствие, господин Баукус. Не надо уходить далеко из дома без теплой одежды.

Баукус долго молчит, раздумывает. Сугробы, подмяв низенькие палисадники, развалились, словно огромные

моржи, выставили черные клыки. Черные ботинки до лодыжек проваливаются в белый рыхлый снег. Уныло свистит ветер, а за поднятым воротником, за каракулевой стеной, идет напряженный поединок между учителем Баукусом и Баукусом-человеком.

— Господин Гедиминас... — Он хватает Гедиминаса за руку. Слова теснятся во рту, застревают в горле, душат. Тонущий человек в открытом море, которому все равно, в какую сторону плыть. — Я должен вам сказать, господин Гедиминас, обязан сказать... До гробовой доски останусь благодарен... и вообще, вы такой человек... можно довериться... Помогите мне, господин Гедиминас!..

— Гм... Что же с вами стряслось, господин Баукус?

— Жена, детишки... Дангелю это известно. Ему все известно. Он так и сказал: «При большевиках ты заделался красным, пора бы вернуть себе естественный цвет». Но разве я тогда по своей инициативе стал красным, господин Гедиминас? Меня же покрасили! Я так им и сказал: «Не меня одного тогда помалевали, почему вы прицепились именно ко мне?» Дангель расхохотался мне в лицо. «Не хочешь содействовать нашей победе? Хорошо, мы это запомним!» Я не подлец какой-нибудь, господин Гедиминас, но что мне было делать? Жена, детишки... я ведь не личность, не герой какой-нибудь, я просто человек, мне жить хочется...

Гедиминас резко повернулся. Правая рука Баукуса бессильно повисла, лишившись опоры.

— Чего вы хотите, господин Баукус? Какого дьявола вы тут разоткровенничались? Хотите, чтоб я был посредником между вами и гестапо?

— Нет, нет! Будьте человеком, выслушайте! — Баукус догнал и снова схватил Гедиминаса за рукав. — Я им кричал: «Никогда не был шпиком и не намерен!» Они только смеялись: «Нам не нужен шпик, с нас хватит и осведомителя...» Как я мог не согласиться, господин

Гедиминас? Жена, детишки… Но я не мерзавец какой-нибудь, господин Гедиминас, я честный человек! Я не хочу знать, что происходит в нашей гимназии!

— Между нами не было этого разговора, господин Баукус. Я ничего не слышал. Поняли?

— Да, да, господин Гедиминас. Вы ничего не слышали. Я так и знал, что вы ничего не услышите. Вы хороший человек, господин Гедиминас, и вы не погубите ближнего своего. Вы уж постараетесь так сделать, чтобы все остерегались несчастного старика Баукуса. Вы не позволите, чтоб я замарал свою совесть преступлением.

Гедиминас в ярости смотрит перед собой. Высокий дощатый забор, за ним четырехугольная кирпичная коробка — здание гимназии. Мы сейчас войдем туда, господин Баукус. В учительскую, потом в классы. И вы постараетесь не видеть и не слышать ничего лишнего, но если уж услышите… «Жена, детишки… Я не личность, не герой какой-нибудь…» Очистите дорогу этому духовному рахитику, господин Гедиминас, чтоб он, проходя, не зацепился.

Гедиминас остановился. Баукус — тоже.

— Прошу вас, прошу… — Калитка в дощатом заборе распахнута. Черная рука выставлена, как указатель. — Прошу вас, господин Гедиминас.

— Послушайте! — Гедиминас схватил за плечи черную сгорбленную фигурку и пропихнул ее в калитку. — Давайте договоримся, господин Баукус, что мы общаемся только в учительской. Как вам известно, я сочиняю стихи. А поэзия любит одиночество. Не отбирайте у меня эти полчаса, которые я теряю в вашем обществе по пути в гимназию и обратно.

— Но…

— Давайте не будем ссориться, господин Баукус!

II

Когда-то история казалась мне звонким горным ручьем, напившись из которого человек обретал новые силы, чтобы шагать дальше. Зная прошлое своего народа, правильнее оцениваешь себя. Если не оборачиваться на вчерашний день, останешься вечным младенцем, ковыляющим в загородке, никогда не научишься шагать твердой мужской поступью, подкованной цивилизацией и культурой, Историческая память — как посох, чтобы нащупывать ямы, в которые проваливался еще вчера. Я возомнил себя жрецом, — у меня же был ключ от фамильного склепа государств и народов с погребенными там священными реликвиями человечества. На дрожащих ногах фанатика (о святая простота!) я бродил по миру мертвецов, почтительно притрагиваясь кончиками пальцев к мощам праотцев, и возвещал живым: «Смотрите, это бессмертное прошлое нашего народа! Этот клочок земли у Балтики, на карте напоминающий сердце, сплошь усеян костями предков; здесь нашли свой конец и враг с Запада, вооруженный католическим крестом и благословением папы римского, и православный Восток, расширявший под империалистическими знаменами царей свою державу. Так поклонимся же священной памяти праотцев, да будет она и впредь неиссякаемым источником силы для будущих поколений, идущих по пути свободы…» Но я видел: свобода утрачена, деревце чахнет, так и не прижившись, и плакал вместе с поэтом:

Литва вставала из небытия,
нас к новой жизни звали грезы.
Теперь гнием в темнице дня,
уже забыв про кровь и слезы…—

но все-таки пел гимн вместе с теми, кто поливал саженец кипятком;

О Литва, отчизна наша,
Родина героев!
Дух сынов твоих отважных
Укрепит былое…

Я еще верил в историческую справедливость. Вильнюс мы признали за Польшей, Клайпеду отдали немцам… Государственный муж с холеной бородкой и усами торчком за какой-нибудь час отрекся от принципов, которыми двадцать два года кормил свой народ. Река времени смоет его предательство, очистит от двуличия, предаст забвению его родню, для которой он сделал куда больше, чем для своего народа, и какой-нибудь учите-лишка истории годы спустя скажет ученикам: «Он был первым президентом нашего государства, он занимал одно из самых почетных мест в период национального возрождения».

Из памяти истории изгладятся баукусы, адомасы, бугянисы — черви, которыми кишит теперь часть тела, парализованная фашизмом, а его, занесшего сюда эту заразу, тоже внесут в книгу прошлого. «При Гитлере германская империя достигла вершины своего могущества», — отметит немецкий историк, а далекий коллега в какой-нибудь Баварии с профессиональным удовольствием поставит ученику высший балл за точный ответ о государственных границах Германии 1942–1943 годов. Сито времени просеет скелеты жертв; будут забыты миллионы несчастных судеб; останутся лишь мертвые цифры (столько-то погибло или уничтожено), математически точные даты (произошло это тогда-то), хладнокровно отмеченный факт, воспевающий личность, — ведь историк отдает дань не

сыну, убитому Иваном Грозным, не мужику-строителю, на костях которого вырос Санкт-Петербург, а самому Ивану Грозному и самому Петру Первому, кровушкой народной цементировавшим мощь державы. Историческая истина… (Ха-ха-ха!) Универсальный сапог, который без труда подгоняют под свою ногу. Жалкие пропагандисты мертвого прошлого! Ловим блох в саване, оперируем столетиями, забывая, что самим нам надо прожить ничтожный отрезок времени, что каждый из нас — своя земля, своя нация и своя держава, каждый создает собственную историю, и что в жизни человека важнее всего честно прожить день, чтобы вечером сказать себе: «Сегодня я тобой доволен, друг». Задумался ли над этим хоть один из сорока четырех гимназистов, склонивших сейчас над тетрадями головы, набитые историческим хламом? «Мое счастье — в моей честности». Куда уж там! Они скорей скажут: «Мое счастье — в рассеянности моего учителя, так мне легче его обмануть».

Гедиминас вычеркнул две последних строфы стихотворения и встал. Стертые половицы предательски заскрипели под ногами. Класс замер, опасаясь, что слишком много себе позволил за эти четверть часа, пока учитель, как обычно на письменной работе, блуждал в лабиринтах своих мыслей. Математик Баукус как-то жаловался: нет хуже шестого класса — только тронешься с места, а половицы уже заиграли, как орган, предупреждая списывающих. У старика есть слабость подкрадываться на цыпочках к недобросовестному ученику и хватать его за шиворот. «Какой в этом смысл? — вспомнив, подумал Гедиминас. — Если б я больше ленился, а мои учителя меньше усердствовали, может, не понадобилось бы двадцати восьми лет, чтоб понять несостоятельность всего, чем жил до сих пор. Горы прочитанных книг, гимназия, три курса университета, надежды родителей,

самолюбие… Цепочка несуразиц, которой я постепенно опутывал себя, думая, что освобождаюсь. Интеллигенция — цвет нации… Ха! Рабы политической системы — вот кто мы; сами выстроили тюрьму, заперлись в ней и выбросили ключ в окно. Если в обществе кто-то и свободен, то только землепашец; лишь он, не поступаясь своей совестью, выполняет священную миссию — кормит человечество».

Раздался грохот: кто-то уронил на пол учебник. Гимназисты зафыркали и уставились на последнюю парту, где Антанас Минкус, пыхтя, доставал учебник. В классе он был белой вороной: двадцатилетний верзила, одногодки которого еще в прошлом году получили аттестаты зрелости; класс смотрел на него со снисходительной насмешкой, хоть и отдавали должное его физической силе и прочим талантам — к флирту, картам, рюмке. Но когда однажды ученики увидели его на рыночной площади с винтовкой за спиной, а потом он явился на уроки с распухшими от пьянства глазами и похвастался, что подсобил немцам «сократить» евреев, все как один отвернулись от него. Гедиминас входил в шестой класс сам не свой. Он старался не смотреть на крайнюю парту, куда, посовещавшись с классным наставником, засунул Минкуса, но все время ощущал его присутствие. «Эти безмятежные, даже добрые глаза целились в человека, эти пальцы, которые не так давно держались за мамину юбку, помогали убийцам послать на смерть матерей», — думал Гедиминас, когда Минкус отвечал урок. Тот путался, мямлил, как первоклассник, пойманный на вранье. Взрослый парень с кровью на руках, перед учителем он превращался в бессильного младенца с молоком на губах, готов был руки целовать, чтоб только вывели Троечку, «И перед этим сопляком люди падали на колени?!» Гедиминаса все время подмывало как следует поиздеваться над Минкусом, опозорить его перед классом, но он держал себя в

руках, понимая, что не может этого сделать, не унизив себя. «Да и какое мы имеем право осуждать человека, если он, явившись на белый свет, не выбирает сам ни характера, ни натуры, ни обстоятельств жизни, а это ведь в общем предопределяет все его поступки».

— Оставьте в покое учебник, Минкус, — сказал Гедиминас, стараясь выдержать холодный, официальный тон, который он так не любил в отношениях с учениками. — Если еще раз замечу, что вы «консультируетесь», поставлю двойку.

Минкус лениво встал.

— Почему мне одному, господин учитель? У всего класса учебники.

— Да, но они пользуются ими дома, а не в классе.

— Пользуются и в классе, только вы, господин учитель, других почему-то не замечаете. А вот я все время вам мешаю... — Минкус говорил, виновато опустив голову, вроде бы робко, просительно, но в голосе звучала плохо скрытая угроза.

Гедиминаса прорвало. Конечно, он сразу же пожалел о своих словах, но он слишком долго сдерживался и сегодня просто не мог промолчать.

— Не мерьте людей по себе, Минкус. Кому мешали другие, тот заряжал винтовку, чтоб очистить вокруг себя пространство.

Минкус побледнел и молча сел на место.

Гедиминас подошел к его парте:

— Отдайте-ка учебник.

— Отберите у всех. — Минкус не шелохнулся, даже не поднял головы.

— Ученики, положите на парты учебники истории. Дежурный, соберите книги и отнесите на стол. Каждый ряд отдельной стопкой.

«Не надо было идти на компромисс, — тут же подумал он. — Торгуюсь на уроке. Становлюсь смешным». Раздосадованный, он подошел к окну. Все

еще падал снег. Уже без ветра, большими, тяжелыми, хлопьями. Елки школьного сада напомнили ему рождество; тогда он еще был ребенком. Как будто ничего необыкновенного, но в глубинах сознания навсегда запечатлелось тогдашнее настроение: пухлое, мягкое небо в раме окна, волнистая ткань жирных снежинок, кисловатый аромат хвои. «Из таких деталей вылеплена душа человека. Интересно, видел ли Минкус хоть раз в жизни живую зиму?» Все еще злясь на себя, он прошелся до двери, постоял у доски и снова сел за стол. Стихотворение сегодня он так и не допишет. И завтра ничего не выйдет. Настроение испорчено дня на три, не меньше. Чудовищно длинны зимние вечера. В три часа обед. Часок на отдых. До семи он подготовится к завтрашним урокам. Два-три часа почитает. А куда девать остальное время? Сходить в кино? Посмотреть пропагандистские репортажи о том, как «героическая германская армия успешно громит врага», а «освобожденные народы Европы радостно создают новое будущее»? Или состряпанный по рецепту Геббельса фильм, в котором сверхчеловек во имя национал-социалистского гуманизма попирает простую человечность сапогами, подкованными ненавистью? Нет, лучше уж пойти к географу Туменасу, где учителя-единомышленники каждый вечер оплакивают независимость и составляют политические прогнозы на десять лет вперед. Хоть посмеешься (а смех — это отдых) над дурацкой наивностью этих людишек. Но мы никуда не пойдем. Мы выберем горизонтальное положение, с головой накроемся одеялом и здоровым храпом завершим еще один день, пошедший к черту.

Рассуждая таким образом, Гедиминас машинально перекладывал учебники из одной стопки в другую, иногда листал, вдыхая запах книги, который всегда волновал его. «Все учатся по одинаковым книгам, а результат...» От этой мысли ему почему-то полегчало.

Вытащил из правой стопки учебник, аккуратно обернутый в белую бумагу. Обложка книги, срисованная через копирку; фамилия, написанная от руки, но печатными буквами. Рута Габрюнайте. Аккуратная, усидчивая ученица. Вместо закладки толстая шелковая нитка. Между страницами нет засушенных цветов, как у других девочек. А вот вторая обложка почему-то толще, — наверное, что-то запрятано за оберточной бумагой. Гедиминас не понял, что заставило его изменить всегдашней корректности, — он не любил копаться в чужих секретах и осуждал за это других. Скорей всего полез за обложку машинально, по рассеянности. Поначалу удивился, потом испугался. Такую газетенку (четыре страницы, формат листовки), только с другим названием, он недавно видел у Туменаса. Статья о прошлом литовской нации, взывающая к патриотическим чувствам. Призыв к молодежи не вступать в вермахт, избегать трудовой повинности («Ваши руки и сердца понадобятся после-войны для восстановления независимой Литвы»), С оккупантом до поры до времени мирное сосуществование. («Надо трезво оценивать обстановку»), но каждый литовец пусть помнит про Грюнвальд и будет наготове, как только сложится благоприятная политическая обстановка, преподать немцам урок истории. Гедиминас знал, что существует подпольная печать иного толка. Иногда рано утром на телеграфных столбах и стенах домов появлялись листовки, призывающие к вооруженной борьбе против оккупантов. Как-то Гедиминас даже в кармане своего пальто обнаружил листовку с лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Но и призывы фанатиков, веривших, что история повторяется, и других, не признававших компромиссов и видевших спасение нации лишь в кровавом сопротивлении, не находили отзвука в душе Гедиминаса. «Оба знамени стремятся к

власти, и власть одних означает порабощение других». Правда, когда Гедиминас получил газетку от Туменаса и своими кощунственными рассуждениями вывел того из терпения, он и сам был не на шутку взволнован. Но только потому, что политическая игра может вовлечь в свой водоворот гимназическую молодежь.

«Я был наивен, если не глуп. В этом возрасте и мы совали пальцы в огонь, думая, что там живая вода, от которой прирастают отрубленные головы…»

Гедиминас сложил газетку и сунул на место.

— Останься, нам надо поговорить, — сказал он после звонка Руте Габрюнайте. — Дежурные свободны, я сам проветрю класс.

Девушка стояла перед учительским столиком, держа в руке тетрадь трубочкой. Карие смышленые глаза, тонкий овал лица, пухлый подбородок с ямочкой, яркий румянец на щеках. Темно-рыжие волосы заплетены в тугие косы. Скромное гимназическое платье не может скрыть округлившиеся формы девушки. «Ей семнадцать лет!» — подумал Гедиминас.

— Положи тетрадь на стол. — Он прошелся до двери и обратно, прикидывая, с чего начать разговор. — Ты понимаешь, что бывает за такое?

Она кивнула.

— Надеюсь, это… случайно попало, в твои руки, Рута? Больше таких случайностей не должно быть, Я понимаю, девичье любопытство, но для гестапо это не оправдание.

Она неожиданно улыбнулась. Узкие живые глаза с детской доверчивостью смотрели на Гедиминаса.

— Да, господин учитель. Я была неосторожна.

— Послушай, девочка, я говорю всерьез. Пускай политикой занимаются авантюристы. Это не детские игры.

— Я вас понимаю, господин учитель… — Она заговорщически улыбнулась.

— А именно? — обидевшись, резко спросил он.

— Вы говорите как преподаватель — по обязанности. Но сами-то не верите, что все борются против немцев из желания поиграть.

«И это говорит девочка, которая до сих пор интересовалась только уроками и пинг-понгом», — ошарашенно подумал Гедиминас.

— С каких пор ученики подозревают учителей в неискренности?

— Вы же, господин учитель, не донесете на меня директору… — Она снова попыталась улыбнуться, но в ее голосе уже не было прежней уверенности.

— Нет, мы найдем другой выход. — Гедиминас взял со стола учебник и вытащил из него газету.

— Вот видите, вы сами признали, что честный человек в такое время не может стоять в стороне!

— Я?! — Гедиминас, пряча смущение, отвернулся к окну. — Каким образом признал, разрешите спросить?

— Вы не выдадите меня и этим станете на нашу сторону, а не немцев.

— Я не выдам только потому, что ненавижу доносчиков. Чтобы быть человеком, Рута, не надо вставать на чью-то сторону. Человечность не делится на половинки. Она, как и подлость, живет всюду, где есть люди. — Гедиминас подошел к выступающей из стены кафельной печке и, открыв дверцу, швырнул туда газетку, — Служение политиканам ничего тебе не даст, Рута. Если любишь своих родных, поступай так, чтобы им не пришлось плакать. Старайся остаться человеком, это ведь очень много; если каждый поступал бы так, мир теперь не корчился бы в агонии.

Глаза Руты не смеялись; она смотрела на него с холодком, разочарованно.

— Мои родные — весь народ, господин учитель, бедные, порабощенные люди, которым нет места на родной земле. Вы говорите — человечность… По-

вашему, гуманно стоять в стороне и смотреть, как бандит разоряет наш дом?

— Не будем играть в героев, Габрюнайте. — Гедиминас присел на корточки перед печкой и чиркнул спичкой. — Когда-то, разумеется, были и герои, но нынче никто бы о них не вспомнил, если бы не политиканы, которые вытаскивают из картотеки истории свидетельство о смерти такого субъекта, который им на сей раз нужен, чтоб протащить свою идеологию.

Воцарилась тишина, недолгая, но обоим она показалась бесконечной. Гедиминас захлопнул дверцу и посмотрел на девушку. Лицо Руты было пунцовым, словно его опалило пламя, загудевшее в печке. Девушка гордо выпрямилась, откинула голову (линии стройного тела еще сильней бросились в глаза) и показалась Гедиминасу прекрасной.

— Раз уж так, господин учитель, то позвольте спросить вас: чего стоили ваши слова на уроках истории?

— Неужели учитель обязан отчитываться перед учениками? — бросил он первое, что пришло в голову.

— Конечно, нет, господин учитель, извините меня. Но я никогда не забуду, как чудесно вы объясняли урок. История стала моим любимым предметом. Вы учили нас любить прошлое Литвы, гордиться ее героями, ненавидеть врагов, а сейчас, когда немцы попирают нашу землю… — Она помолчала, справляясь с волнением, и твердым голосом закончила. — Мы так верили в вас, господин учитель!

Щеки Гедиминаса обожгло, словно его ударили.

— Послушайте, Габрюнайте, — проговорил он, не смея обернуться, — я не обязан давать вам объяснения, но придется кое-что растолковать, потому что знаю за собой вину. Не только перед вами, перед всей школой. Но ведь не созовешь всех и не скажешь, а вам я могу

сказать. Да я и не собираюсь давать объяснений. А дело проще простого: живет себе человек в сладком убеждении, что его идеалы самые правильные, самые благородные в мире, пока однажды розовая мгла не рассеется и он не увидит мир, каков он есть. Я вас обманывал, Рута, но без умысла, я и сам был обманут. Можете ли вы меня простить?

— Учитель…

Он не спеша повернулся и сделал эти несколько шагов, которые разделяли их.

— Учитель… — шепотом повторила она.

Он хотел положить ей руку на голову, но уткнулся взглядом в недетскую грудь, и рука растерянно опустилась.

— Вы бы должны сердиться, Рута, но вы меня только жалеете, — сказал Гедиминас, читая ее мысли. — Я вас не убедил. Что ж, может оно и лучше. Хотя бы для меня, потому что снимает с меня ответственность. В жизни бывает, что, пытаясь спасти человека, убиваешь его. В первые дни войны я это испытал на собственной шкуре: пытался сберечь одного горячего паренька, а вышло так, что погубил его. Виноват? Не знаю. Теперешняя наша жизнь — хаос, а в хаосе нет места логике, ее заменяет чистая случайность. Что ж, уповайте на нее, гуляйте с завязанными глазами, по краю-пропасти…

Раздался звонок.

— Благодарю вас, господин учитель. — Ее голос был холоден и вежлив, но кривая усмешка, не к месту скользнувшая по губам, доконала Гедиминаса.

Он сунул под мышку журнал, другой рукой сгреб письменные работы и, сгорбившись от стыда и унижения, направился к двери, прокладывая себе путь в потоке учеников, хлынувших из коридора.

III

Он ушел домой раньше; пятого, последнего урока, в тот день у него не было. Снегопад прекратился. На улицах царило по-зимнему холодное спокойствие; кое-где копошились дворники в тулупах, сметая лопатами снег с тротуаров. Посветлевшее небо отодвинулось от земли, став как-то теплей, шире; дома глядели веселей, хотя солнце ласкало их лишь издалека, сквозь потончавшую пелену туч. Безжизненно висели в безветрии флаги, словно вывешенные для просушки шинели погибших, которых даже не удостаивали взглядом живые; разве что немецкий солдат на минуту придерживал шаг, пронзенный исподтишка мыслью, что когда-нибудь и его героическую смерть отметят черными креповыми лентами.

Надо было зайти в лавку и отоварить карточки, но пришлось бы тащить продукты домой, а Гедиминасу хотелось побродить по городу. Всякий раз, очутившись после уроков за воротами гимназии, он испытывал непонятное облегчение; тоска по простору и одиночеству загоняла его в укромные улочки предместья, где деревянные домишки за палисадниками и тополя с горланящими воронами казались своими, милыми сердцу — совсем как в родной деревне! Здесь не бросались в глаза немецкие мундиры и голодные лица пленных — черепа, обтянутые стертым пергаментом; город отступал за черту реального вместе со своими палачами и мучениками, оргиями и агонией, и Гедиминас оставался с глазу на глаз с самим собой, погружался в мир своего воображения, в котором «живут такие же бессильные, несчастные люди, как и я. Восковые фигурки в раскаленных докрасна руках судьбы, не ведающие, кого вылепит из них завтрашний день: подлеца или праведника, святого мученика или смердящий труп. Бедные рабы, запряженные в колесницу жизни, и редко кто из нашей братии прячет в складках рубища единственно ценную монету —

желание остаться честным; ведь в этом наша душа: утратив честность, человек превращается в мертвеца. Да, мы живем среди гор трупов, но здесь, на краю города, где каркают вороны, слабее чувствуется смрад гниения». Гедиминас брел по только что прокопанной тропе, извивавшейся, словно траншея, по краю улочки. Местами сугробы были выше головы, над их жирными, гладкими спинами виднелись лишь белые косогоры крыш. Кое-где траншея обрывалась, и приходилось пробираться чуть не по пояс в снегу. «Нашел место для прогулок! Исследователь северного полюса...» — издевался он над собой, но все равно шел вперед; его толкало неосуществимое желание убежать, от; самого себя, от своих мыслей, рассеяться. Снег набивался в ботинки, таял на икрах (Гедиминас не признавал, кальсон), холодная влага обжигала мышцы, но он был доволен: вот у него промокли носки, он смахивает пот со лба, вот он выругался, поскользнувшись, и на минуту забыл, самую неприятную из всех неприятностей дня — разговор с Рутой Габрюнайте. И все таки разговор то и дело вспоминался, и тогда, становилось страшно: не вечно же ему шататься по заметенным улочкам предместья, настанет завтрашний день, когда придется открыть дверь учительской, войти в класс и говорить ученикам то, во что не веришь сам. Для начала, разумеется, придется выслушать информацию господина директора: «Вчера то-то и то-то было скверно. Обратите внимание, господа... Политический момент требует... Вредное влияние западной плутократии на учащихся... Наш долг перед фюрером и Германией, господа...» Все одобрительно кивают головами, иной даже отпустит острое словцо по адресу «вредных демократических настроений», но даже сам Зигмантас Заука, этот ясновидец-самоучка, не отгадает, кто из его учителей держит кукиш в кармане. На первой перемене географ Туменас, взяв тебя под

руку, шепнет: «Достойный преемник Умилы, хе-хе...» Встретишь другого, тоже что-нибудь шепнет. А вокруг увивается Ляонас Баукус, душа-человек, в сердце которого, увы, умещаются только жена и детишки... «Господин Гедиминас, войдите в положение», — умоляют его по-собачьи преданные глаза. Но есть и другие глаза, множество глаз, которые встретят его, Гедиминаса, с удивлением и горьким упреком («Господин учитель, мы так верили в вас...»); он думал, что открывает им великую истину, а на самом деле отравил их душу ложью.

«Как я завтра посмотрю им в глаза?»

Он остановился у какого-то двора, почувствовав, что едва держится на ногах от усталости. Повалиться бы в сугроб, как в детстве, когда уставал. Хоть на миг прильнуть спиной к скрипучему снегу, взглянуть глазами ребенка на зимнее небо. Но что подумают о нем эти два человечка, копошащиеся у своих саней? «Пьяный или шальной...» Нам никогда не удается остаться самими собой, мы боимся, что нас высмеют или причислят к безумцам. Двор бедного Нурока... Сам он портняжничал, жена держала крохотную лавчонку — бочка селедки, мешок сахарного песку, две полочки с дешевой мелочью. Простые, хорошие люди. Их уже нет. Только дом — деревянный, с большим неостекленным крыльцом — стоит как ни в чем не бывало. И провалившаяся в снег, изгрызенная лошадьми коновязь, к которой мужики, приехав в город, по привычке привязывают своих гнедых и сивок. Крестьянская инертность или верность идиллии? Тоска по тем, пропитанным дегтем и конской мочой базарным дням, когда, удачно продав свой товар, ты пил шкалик магарыча в комнате Хайки (за стеной жужжала швейная машина Хаима), а за дверью то и дело звякал колокольчик и, словно гуси в корзинах, галдели набившиеся в лавку бабы. Вываливался на двор

распаренный, устав от шума, духоты и тесноты — ну и дыра! — но сейчас, когда все это безвозвратно утрачено, многое бы отдал, чтобы снова потолкаться среди корзинок, в которых кудахтали куры, трещали яйца, среди кислой овчины и соленых сермяг, и, вдыхая сельдяно-керосиновый дух, послушать бдительный дверной колокольчик.

«Эти люди заглянули сюда в поисках вчерашнего дня, — подумал Гедиминас. — Вот бы посидеть на их санях, которые, наверное, выстланы стеблями льна. Солома тоже сойдет, хоть она и не пахнет дымком овина. Все это — деревня. Солнце, поля, жаркое дыхание скотины в хлеву. Хочу хоть на минуту перенестись в деревню».

Он свернул во двор.

Мужик с женой копошились у саней. Повернувшись к нему спиной, они что-то упихивали под облучок, изредка перебрасываясь словом.

— Здравствуйте! — волнуясь, слишком громко заговорил Гедиминас.

Оба обернулись — Аквиле резко, а Пеликсас Кяршис не спеша, словно сомневаясь, стоит ли тратить время на такие пустяки.

— А-а, Гедиминас…

— Господин учитель… кум…

Все трое улыбались, силясь скрыть смущение.

— Приятная неожиданность, — буркнул Гедиминас, пожав обоим руки. — Признаюсь, не ожидал вас тут встретить. Пеликсас, ты ведь раньше вроде останавливался у дома Бергмана?

— Было дело… было… — промычал Кяршис, пряча лицо в поднятый воротник тулупа.

— Отсюда ближе до большака, не надо по булыжнику трястись, — вмешалась Аквиле, торопясь сменить разговор. — Привезли вот то да сё знакомым.

Сам знаешь, город голодает. Даже за деньги не купишь, что надо.

— Службу заупокойную заказали. За Пранаса и Казюне, вечная им память, — добавил Кяршис. — Скоро полгода, как их немцы…

Гедиминас присел на краешек саней. Справа топтались Аквиле с Кяршисом, слева маячил заиндевевший круп саврасой лошади.

— Твой битюг?

Кяршис довольно осклабился: заметил-таки…

— Сбыл свою сивку, — похвастал он. — Слаба в коленках была. Этот саврас, правда, на одну ногу хромой — сухожилие растянуто, — но плуг потащит ровно спичку. И-эх, не калеку в такое время и не показывай: немец сразу заграбастает.

— Дешево удалось купить, — подхватила Аквиле. — Ехал через деревню обоз комендатуры. Пеле увидел, что лошадь хромает, заговорил с немцами. Полсвиньи — и саврас наш. И знаешь, кого на место этого савраса запрягли? — Аквиле радостно рассмеялась. — Вышло как в сказке, думай — не придумаешь. Наш Юргис проезжал мимо, свеклу вез из погребища. Немцы въехали с ним во двор, выписали квитанцию, выпрягли гнедка — и до свидания. Катре Курилка чуть деревню не оглушила своим криком. И к богу взывала, и к Адомасу, и к полиции, грозилась самому Гитлеру пожаловаться. На целый год хватит людям разговоров и смеху.

Кяршис усмехался половиной рта, принимая это за похвалу.

— Без умысла так получилось… — Он словно оправдывался. — Не мне, так другому бы своего савраса сплавили, у другого б забрали здоровую лошадь. В военное время не уследишь, что и как…

— Да, да. — Гедиминас машинально покачал головой. Сани были выстланы льняными стеблями, но

они уже не пахли овином... — Рад, что вам везет. Наживаться, когда страной правят бандиты, не каждый умеет.

— Ты уж скажешь! — Аквиле стало не по себе. — Какая тут нажива, только и всего, что лошадь покрепче. Было бы мирное время, а теперь... Зерно немцам чуть ли не даром отдаем, на продажу мало и остается. Вот привезли килограмм-другой сала, масла, обменяли на ценную вещь. Не рубль, не марка, не пропадет...

Кяршис, где успевает, вставляет словцо, вторит жене. Ага, а как же: всем ясно, воевать вечно не будут. Поутихнет, а тогда пригодится каждая соломинка, которую с божьей помощью затащишь в гнездо. Ох, поскорей бы миновала гроза! Известное дело, и теперь жить можно, но стреноженный конь далеко не ускачет. Старые дыры латаешь, подправляешь то тут, то там, а надо бы новое строить. И глаз тянется дальше, за эти десять гектаров, — не грех раздаться вширь да вглубь, зверек и тот свою нору вглубь роет...

— Человек не лиса, не барсук, — степенно рассуждает Кяршис, он полон веры в себя. — Набить брюхо впрок — не все, надо детей на ноги поставить, позаботиться, чтоб было где пахать да сеять, когда вырастут.

Гедиминас не бывал в деревне с рождественских каникул. Уже тогда ему бросилось в глаза, как резко переменился Пеликсас после свадьбы. Потрескалась корка угрюмости, сквозь которую раньше не пробивались мысль и чувство. Он стал самостоятельней, все чаще бросал смелое суждение, все чаще ухмылялся, как человек, знающий себе цену. Даже громоздкое тело его стало легче на подъем, гибче. Несомненное влияние Аквиле. Но и самой Аквиле не узнать. Девушка, которая когда-то смотрела влюбленными глазами на звездное небо и считала, что лучше сгореть в пламени короткой любви, чем тлеть всю жизнь, исподволь превращается в

заплывшую жиром бабенку, которая, не моргнув глазом, обменяла бы звезды на пшено, на корм своим курам.

«Глаза прежние. И косы, хоть и засунуты под шерстяной, по-бабьи повязанный платок. А вот ноги по колено увязли в гектарах Кяршиса. Теплое пальто новое, — наверно, выменяла на сало у горожанки. Под ним располневшее тело. Теперь-то ясно, почему Пеликсас так беспокоится, где ему пахать да сеять... Как мало нужно человеку для счастья».

Позднее он понял, что судит слишком строго, но теперь, в порыве неожиданной досады и разочарования, не удержался, чтоб не швырнуть камень в тихий омут.

— Как там Юлите Нямунисов, не поправилась? — спросил он, строго оглядев обоих. — Или не живет больше у вас?

— Как не жить, — откликнулась Аквиле. — Правда, есть желающие взять — девочка, хоть бог и обидел, работает как вол, и сноровка есть. Но нам самим нужна. Да и привязалась ко мне, уходить не хочет.

Гедиминас кисло улыбнулся.

— За два-три года вырастите для себя девку что надо.

Кяршис, не понимая насмешки, покивал головой: да уж, ума лишилась, но руки остались... в людях не пропадет.

— Несчастная семья. Родителей эсэсовцы убили, одну дочку испортили, она руки на себя наложила, другая с ума сошла. Марюс опять же... — Гедиминас пронзил взглядом Аквиле и обрадовался, что она вздрогнула, покраснела и стала поправлять узел платка.

— Зря они сразу же не выдали Фрейдкина мальчонку, все равно немцы дознались. — Аквиле отворачивается, смущаясь своих слов, но иначе выразиться не умеет. — Старшую-то, Генуте, они

нарочно на глазах родителей и Юлите, чтоб не выдержали и показали, где мальчишку прячут.

Кяршис, соглашаясь с женой, неуклюже поводит шеей, вросшей в воротник тулупа. И-эх, известное дело, могли подешевле отделаться! Родителей, что и говорить, расстреляли бы — закон такой, но хоть девочки бы спаслись. Надеялись, что не найдут. Ведь тайник и впрямь с умом был устроен: под амбаром, лаз из закрома. А вот дознались…

Гедиминас вдруг почувствовал, что смертельно устал. Посидеть бы еще, но сани уже толкают его прочь; крохотный островок деревни, холодный и унылый, словно зыбкая отколовшаяся льдина.

— А как бы ты поступил, Пеликсас? — зло спрашивает он, с трудом распрямляя ноги. — Отвел бы в амбар и показал: «Выньте вот ту доску, мальчик там»?

— И-эх, будто я так говорю?.. — Голова Кяршиса исчезает за воротником, черточки заиндевевших бровей скачут, скрывая испуганный взгляд. — Задним умом все крепки, а когда нужда притиснет… Вот и приходится из двух зол одно выбирать, сам не знаешь, что лучше — лезть в петлю или в реку кидаться. Это уж дело такое… — Воротник поглотил конец фразы и глубокий вздох — дань несчастным и самому себе: —… благодарение богу, мы-то еще живы…

— Да, это дело такое, разрази его гром, — повторил Гедиминас, чувствуя, что он против воли осклабился, лицо скорчилось по-обезьяньи. — Куда сложней, чем менять сало на вещи, чтоб после войны побыстрей поднять хозяйство.

Аквиле отвернулась, Кяршис тоже повернулся спиной.

Медленно, нехотя, — не спина, а тяжелая дубовая дверь на несмазанных петлях.

— Не знаю, что бы вы делали, если бы не мужицкое сало! — обиженный голос Аквиле.

Гедиминас, изогнувшись, сбивает перчаткой соломинки, приставшие к пальто. На душе и хорошо и пакостно, как в детстве, когда кокнул окно нелюбимого соседа.

— Передайте поклон моему старику. Если время есть, пусть в субботу за мной заедет — соскучился я по Лауксодису, — говорит он почти весело, словно они провели время в милых шутках. — Жаль вот, ничего нет при себе для крестника. Может, не торопитесь? Заехали бы ко мне, нашлись бы конфетки. Правда, домашние. Онуте варила, но вкусные, ничуть не хуже довоенной «Коровки».

Кяршисы отнекиваются, Аквиле подбивает под сенник края попоны, Пеликсас хлопает по голенищу кнутом — достал его из-под облучка.

— Нет, не стоит, кум. Мы уже гостинцев накупили. И для Лаурукаса, и для Юлите. Не обижаем девочку, хоть и чужая. Есть дома и мед, и яблоки припрятаны с осени, да и Аквиле такие же конфеты варит. И-эх, не «Коровка», конечно, но тают во рту, как снег весной, ага, только подавай…

Гедиминас протягивает руку. Сперва ей, потом мужу. Сдержанное рукопожатие. Все трое пытаются улыбнуться, но глаза застыли — свежий ледок не пропускает теплых лучей.

Гедиминас бредет по снежному окопу обратно. Кяршисам — в другую сторону. Он слышит, как удаляются бойкий храп лошади, скрип полозьев («Айда-а!» — подстегивает своего савраса Пеликсас), но не оборачивается. Останавливается, смотрит под ноги, словно потерял что-то («А все-таки они счастливы… счастливы…»). Подавляет неожиданно вспыхнувшую ревность, по лицу скользит горькая улыбка. «Кто-то, глядя на меня со стороны, тоже скажет: счастливый человек господин учитель… Счастье… Самое относительное понятие на свете, как выразилась когда-

то Милда... Странное дело — каждый раз, встретив Аквиле, я вспоминаю этого белокурого котеночка».

Гедиминасу неловко, что он целую неделю не был в городском саду у фонтана, не проверял «почтовый ящик» — дупло в белой иве. Милда, конечно, не обидится — это бы противоречило ее философии «вещизма».

(«Давай будем друг для друга вещами. Понадобится — бери, прискучило — бросай», — сказала она, кажется, на второй или третий день после пирушки у Баерчюсов.)

IV

— Цинично, но современно и удобно, — ответил тогда он, поднося к губам ее руку.

Милда улыбнулась только глазами, лицо у нее было грустное и усталое.

— Ты не представляешь, чего мне стоила ваша шутка во дворе Баерчюсов.

— Честно говоря, у меня тоже такое настроение, будто меня искусала собака и я жду, что она окажется бешеной, — признался Гедиминас. — Директор продраил меня с песочком. Не знаю, чем это все кончится. Остается утешать себя, что нас не ухлопали там же, у машин. Шваб много не разговаривает.

— Пьяные идиоты.

— Не надо было тебе кокетничать с этим апостолом из гестапо. Адомас перебрал из ревности, а я со скуки.

— Ты тоже хорош. Удрал, оставил Адомаса. Мы бы сразу после этого уволокли его домой... — Милда прикусила губу, словно боясь, что сорвется лишнее слово.

— Адомас поступил как настоящий мужчина, — съязвил Гедиминас. — Я просто не поверил. Бывает, и вино помогает совести проснуться.

Милда повернулась и ушла.

Почему она обиделась? Задел его легкомысленный тон? Или она хочет, чтоб он чувствовал себя больше обязанным ей? Так ведь сама только что сказала: «Давай будем друг для друга вещами…»

Он шел тогда, разгребая грязными ботинками желтые палые листья, и старался вникнуть в смысл этих слов. «До сих пор мы обкрадывали Адомаса от случая к случаю, — подумал он. — Ей хочется системы…»

«Но первая ночь нас все-таки скорее отдалила, чем сблизила, — снова подумал он. — Вся эта непристойная история могла на том кончиться».

И действительно, после этого они не встречались целыми неделями. А если и встречались невзначай, то обменивались деланной улыбкой, сдержанным кивком головы.

Как-то людской поток, хлынув из костела, прибил их друг к другу у ворот. Дело было ранней весной, на пасху; гудели колокола. «Гедиминас? Я думала, вы не ходите в костел». — «Люблю органную музыку и театр». Она вздохнула, как-то чудно наклонила голову. На фоне черной шляпки ее лицо казалось ослепительно белым, а глаза больше и ярче, чем обычно. Не сказав больше ни слова, она нашла его руку, крепко пожала кончики пальцев и растаяла в толпе.

Ночью он спал беспокойно. Проснувшись, тут же увидел черные поля шляпки и теплую голубизну ее глаз.

Теперь они уже останавливались при встрече, обменивались несколькими словами, как в старое доброе время, когда она была госпожой Берженене. «Как дела, Милда?» — «Спасибо, Гедиминас, пока держусь». Иногда она бывала грустной, иногда веселой, лиричной, даже чуть циничной, но Гедиминас чувствовал, что глаза ее с каждым разом становятся все

глубже и их сумрачная глубина все сильней притягивала его.

Летом, когда схлынула страда, Аквиле с Кяршисом сыграли свадьбу. Аквиле сидела рядом с Пеликсасом, белая, как яблоня в цвету, и, смущенно потупясь, принимала поздравления. Гедиминас смотрел на обоих, будто на манекены в витрине мануфактурной лавки, с полным равнодушием к чужому счастью или горю. Только после полуночи, когда музыканты заиграли «Спокойной ночи» молодоженам и они встали из-за стола, что-то вскипело, смешалось в груди. Правда, ненадолго.

— Я рад, что ты счастлива, — от души сказал он, взяв ее за руки и глядя прямо в глаза.

Она слабо улыбалась, краснела («Спасибо, Гедиминас. Спокойной ночи...»). Но он все держал ее за руки, мучительно долго глядя в глаза, и видел в них Милду. Потом в него словно бес вселился, до утра плясал с девками, целовался напропалую, и опять каждая, которую он обнимал, напоминала ему Милду. Словно она приворожила его. В голову лезла сумасшедшая мысль: тотчас же ехать в Краштупенай, постучаться в дверь дома на Сиреневой улице и на глазах Адомаса расцеловать Милду: На следующий день, после полудня, хотя веселье было в самом разгаре, он уехал со свадьбы.

— Ты, мальчик, только в пьяном виде нашел дорогу в мой дом, — сказала Милда.

— Не сердись. — Он положил руки ей на плечи, привлек к себе и чмокнул в грудь, — Ненавижу начальников полиции, но обожаю их жен.

Поздно вечером, опасаясь, что Адомас явится раньше, чем собирался, она велела Гедиминасу уходить домой.

Ушел он в прескверном настроении. Успел протрезветь и не мог себе простить того, что сделал.

Милда, конечно, оскорблена, хоть и не подала виду. Ну и ладно. Хуже всего, что себя унизил. Перед глазами маячили сапоги Адомаса в прихожей, его халат в спальне, смятая супружеская постель. «В чужой постели, как какой-нибудь…» — сердился он на Милду.

Однако, встретившись в городе, они, как и раньше, останавливались, обменивались улыбками, пустыми фразами. Старые знакомые, вот и все. Словно и не было этих двух вечеров.

— Адомас уезжает на ночь. Какие-то дела в уезде, — однажды недвусмысленно обмолвилась она. — Июльские ночи прекрасны, но если ты одна, хоть вой на луну.

Гедиминас вспомнил эти проклятые сапоги, халат, запах чужой постели.

— Не приду, — грубовато отрезал он и, увидев ее вопросительный взгляд, добавил: — Не люблю одеяла, согретого другим.

Она тихонько рассмеялась. Если б не улица и окна любопытных горожан, она бы повисла у него на шее и расцеловала!

— И только-то? — прошептала она. — Раз так, я сожгу одеяло! Да и на что нам одеяло, когда сенокос и у нас есть велосипеды?

Поздно ночью, когда они возвращались из леса, она пожаловалась, что иззеленила платье, но была весела, как никогда.

Вскоре он уехал к отцу на летние каникулы. Почти каждую неделю в сельском почтовом пункте он получал письмо — небольшой листок, вырванный из блокнота, на котором, кроме даты, часа и места встречи, не было ничего. Даже подписи. Иногда он приезжал, иногда нет. При встрече не объяснял, почему не приехал в прошлый раз, да она и не спрашивала. Когда начался учебный год, записки он находил в дупле старой ивы у фонтана. Крестьяне давно уже свезли сено, лес стоял угрюмый и

голый, на земле гнили листья, и до того дня, когда она предложила быть вещами друг для друга, они расходились, приласкав друг друга только глазами. Он видел: она тревожится, боится долгого перерыва; туманный намек о вещах был просьбой найти какой-то выход.

Вечером он зашел на квартиру к директору.

— Вы знаете, господин директор, что я пописываю стихи, — без обиняков начал он. — У поэтов, хоть и неудачников, есть свои странности. Скажем, у меня... Бывает, приходит вдохновение, голова полна прекрасных образов, казалось бы, садись и твори. А сядешь, и мысль работает вяло, картина тускнеет... Вообще-то, господин директор, я заметил, что трудней всего даются мне рифмы дома, в моей комнате. Самые удачные стихотворения написаны в деревне у отца или в гимназии.

Зигмантас Заука, тощий верзила с вогнутыми, как отвалы плуга, щеками, оборвал Гедиминаса:

— Не прибедняйтесь, красиво пишете. Читал ваш стишок, кажется, в «Савайте». Про весну. Для нашей гимназии честь иметь такого поэта. Изящно изображаете природу и любовь, — можно сказать, за душу хватает, я ведь сам неравнодушен к таким вещам. Люблю поэзию, всегда готов поддержать искусство. Чем могу служить?

— Я бы хотел по вечерам работать в учительской, господин директор.

— Хоть до утра, господин Джюгас! Кстати, одно скромное пожелание: побольше хороших стихов! И не только в «Савайте». Было бы весьма приятно, если бы под произведением, вместе с датой его, так сказать, рождения, стояло бы: «Краштупенайская гимназия». Остальное — на ваше усмотрение. Бесспорно, нас всех чрезвычайно бы порадовало, если бы вы воспели не только наших женщин, литовские луга и леса. Мы

живем в суровое время, господин Джюгас. Когда гремят военные фанфары, поэту недостаточно срывать в саду цветы и украшать головку любимой. Долг поэта — воспитывать ненависть к врагу, укреплять волю, национальное самосознание. Ведь то, что случилось в вашей родной деревне, в Лауксодисе, — позор для всей нации. Из-за одного еврейского выродка погибла целая литовская семья! Это и хорошо — все ж несколькими большевиками меньше! — но должно послужить предупреждением. Мы еще не изжили вредную для нации сентиментальность!

Гедиминас кивал головой («...Да, да, разумеется, господин директор... будем стараться, насколько талант позволит, только боюсь, нет у меня политического чутья...»), а в голове зудела мысль: вот бы съездить господину Зауке по этим его пышущим нездоровым румянцем отвалам и полюбоваться, как зашипит его закаленная нацистская воля. «Нет, я трус, да и начинаю влюбляться в Милду», — глумился он над собой, выйдя на улицу и направляясь в школу к сторожу, благодушному старичку, тихому, как земля, за ключом от парадной двери. «Вот обрадуется Милда», — думал он, представляя себе, как она будет ему улыбаться, как потеплеют ее синие глаза, когда она узнает, что он подыскал убежище на зиму. Правда, уголок не из идеальных — директор помешался на коллекционировании человеческих костей и превратил учительскую в форменный анатомический кабинет: поставил в углу скелеты и завалил черепами, челюстями и ребрами все свободные места на книжных полках. Но это кладбище можно как-нибудь замаскировать... Обнаружив в дупле тебе одному понятное сообщение, что у нее свободный вечер, сможешь прийти сюда и, готовясь к завтрашним урокам, ждать, пока звякнет по стеклу камешек.

«Ах, это ты, моя вещь? Дай-ка твою ручку, пойдем в наш анатомический музей...»

V

Гедиминас вытащил из книжного шкафа флаг и, развернув его, набросил на белеющий в углу скелет. Потом подошел к окну, поправил штору и сел рядом с Милдой.

— Приятное совпадение, что ты именно сегодня смогла прийти, — оказал он. — Знаешь, женщина иногда бывает нужна мужчине, как преступнику заброшенные земли, куда он бежит, чтоб скрыться от правосудия.

— Адомас в свое время сказал то же самое, только проще: «Ты мне очень нужна, Милда», — ответила она, пожав своими узкими плечами. — Что ж, быть спасательным кругом — мой благородный долг.

— Не сердись, Милдуже, я эту неделю был занят по горло.

— Не лги. — Она ласково столкнула с плеч его руку. — Я просто была не нужна тебе, вот и все. Я не упрекаю, не волнуйся. Я слишком устала.

— Прости, — устыдившись, буркнул он.

Прислонился к спинке дивана и застыл, закрыв глаза, всем телом чувствуя унылую пронзительную тишину. Перед глазами распростерлось пустое, гладкое поле. Без закатов и предрассветных сумерек, без неба и горизонта. Бескрайняя плоскость, исхлестанная ливнями, отполированная ветрами, летящая в бесконечном пространстве. Его ноги беззвучно поднимались и опускались, не оставляя отметин на этой каменной земле мертвецов, и брала оторопь от мысли, что он повторяет путь миллионов несчастных, которые прошли здесь до него в поисках того, чего нет, и не

напали даже на собственный след, чтоб вернуться обратно.

— Сегодня я лишний раз ткнулся носом в то, что знал, но во что не хотел вникать, — наконец промолвил он. — Ты веришь, что в какие-то считанные часы может вместиться квинтэссенция всей жизни?

— Я стараюсь не решать ребусов, которые мне не под силу, — бесстрастно ответила Милда.

— Просто ты умеешь себя обманывать. Жучок, карабкаясь по камню, думает, что проторил дорожку другим жучкам, но если он обернется… Я обернулся, Милда. Никакой дорожки нет. А если и есть, то я шел не по ней.

— Читаешь новые стихи?

— Нет, всего-навсего вспомнил девочку, которой следовало родиться на десяток лет раньше или позже и, конечно, на другом полушарии. Тогда бы она не наступила на мой след.

Милда вздрогнула. Вялая улыбка раздвинула вдруг обмякшие губы.

— Тебе давно пора всерьез влюбиться. Поздравляю. Надо полагать, новенькая не столь чувствительна, как я, не придется прикрывать скелет флагом.

— Не говори чепухи, она моя ученица. — Гедиминас не вставая схватил Милду за плечо и привлек к себе. Она послушно растянулась рядом, поперек дивана. — Она была для меня ребенком. Только сегодня я разглядел, что ее груди тесно в гимназическом платье. И подумал: незавидная судьба выйти за деревенского олуха, кормить кур и на хромом саврасе возить сало в город, но сейчас такой выход был бы для нее спасением. Увы, пока это невозможно, а потом будет ни к чему: у нас хоть отбавляй субъектов в черных шляпах, нежно любящих своих жен и детишек, несентиментальных парней, которые тренировались в стрельбе по живым мишеням. — Он замолчал. Ждал

ответа Милды, но она лежала рядом, как мертвая, уставившись тусклым взглядом в потолок. — Что с тобой? Почему молчишь?

— Адомас отучил меня спрашивать, а ты говоришь загадками, — угрюмо ответила она. — Но если хочешь знать мое мнение, то эта твоя неизвестно почему несчастная девица и впрямь выйдет замуж. Но не за какого-то деревенского олуха, а просто за сволочь в мундире, которой она — для его же блага — будет изменять с другой, еще худшей сволочью в мундире.

Гедиминас сел.

— Что ты хочешь сказать? — крикнул он, стиснув ее руки.

Она покачала головой. Веки поднялись и застыли, словно вылепленные из воска. На него смотрела измученная, взывающая о помощи женщина, которая уже жалела о словах, вырвавшихся в минуту слабости.

— Не сжимай так руки… — простонала она.

И они, в едином порыве, бросились друг к другу в объятия. Долго сидели молча, охмелев от тепла своих тел, оглохнув от неритмичных ударов сердца. Банальные слова «я тебя люблю» так и не были сказаны, и ищущие друг друга губы молчали, но об этом кричала каждая клетка тела.

— Не надо секретов, Милдуже, — шептал Гедиминас. — Секреты разобщают людей. Я тебе все расскажу…

— Нет, нет, — защищалась она. — Не хочу. Я же тебе верю. Поверь и ты мне. Об этих, в мундирах, я в шутку. — Она отодвинулась от него, оправила платье, привела в порядок волосы и снова стала спокойной и твердой Милдой, ничего не требующей от завтрашнего дня и готовой взять то, что дает сегодняшний. — Потуши свет, — шепнула она. — Я хочу, чтоб пропали вещи, чтоб мы остались вдвоем.

«Да, — без энтузиазма подумал он, — до комендантского часа не так уж много времени».

Из гимназии они вышли вместе. У ворот, наплевав на осторожность, он обнял ее и горячо расцеловал. Хотел даже проводить до крыльца — плевать на Адомаса! — но она не согласилась. Раньше такого не бывало, — расставались они трусливо, как зайцы, даже не подав друг другу руки, и он каждый раз вздыхал с облегчением, словно сплавив чреватый опасностью предмет. «Вот я и влюбился!» — решил он, уже лежа в своей постели. В голове вертелась ее фраза о сволочах в мундирах. Он ревновал и чего-то боялся. Мысль ползла за мыслью, как туча за тучей, все тяжелее, сумрачнее; он никак не мог построить логичную цепь и сделать вывод, но чутье упорно подсказывало ему: вот-вот случится нечто неизбежное, не может ведь все идти по-прежнему. «Человек считает, что сам что-то делает, сам принимает решение. На самом деле он действует под нажимом обстоятельств, на которые каждый реагирует по-своему, в зависимости от характера. Я не могу больше оставаться в гимназии. Это преступная сделка с совестью, самоунижение перед учениками. Да, да, — думал он, — пора мне забираться в другую нору. Там тоже слышен топот кованых сапог, в воздухе витает подлость, но я хоть буду знать, что сделал все, что мог...» Он принял решение, и на сердце сразу полегчало. Теплый ласковый туман окутал мозг, чьи-то невидимые руки оторвали его от земли. Он подымался все выше и выше, вот и раскаленный докрасна небосвод. Далеко внизу всходило солнце, пронзительное и жаркое, — накаленный в горниле краешек циркульной пилы. Земля с лесами и городами, полями и деревеньками уподобилась огромному крапчатому полотну — безлюдный, безжизненный дымящийся шар стынущей магмы, на котором все зародится и заживет сначала. И его разобрало веселье.

Он размахнулся и ударил кулаком по небосводу. Раздался звук, но не такой, какого он ожидал. Он снова и снова бил по небосводу. Забарабанил обоими кулаками, но небо отказывалось гудеть колоколом, оно глухо дуднило, как выгнивший ствол. «Эй, что за шутки! — испугавшись, закричал он. — Такой праздник, а колокола всей земли молчат…»

Он сел на постели, еще хмельной от сна. В прихожей разговаривали. Негромко, но он различил женский и мужской голоса. «Адомас!» Панический страх сковал его. Вот он, Гедиминас, изрешеченный пулями, в одном исподнем, лежит на полу! И это молниеносно промелькнувшее видение выбросило его из кровати. Стащил брюки со спинки стула и стал их натягивать. Мозг снова заработал нормально, справляясь с сумбуром чувств. Когда Адомас постучал в дверь, Гедиминас уже был спокоен. Что ж, раньше или позже это должно было выплыть наружу. Может, оно и лучше, что все случилось сегодня. Они выяснят отношения («Да, мы с Милдой любим друг друга»), и прекратится недостойная игра в прятки.

— Прошу! — крикнул он, одной рукой застегивая брюки, а другой включая свет.

Адомас захлопнул дверь и привалился к ней спиной. Лицо землистое, глаза затравленно блестят, в уголках запекшихся губ засохла пена. Одежда в беспорядке — фуражка сдвинута на затылок, сапоги заляпаны грязью, пояс с незастегнутой кобурой съехал набок. Напрашивалась мысль, что господин начальник полиции добрую милю бежал без оглядки и все еще не верит, что шкура цела.

— Не ждал? — Из его рта вырвалось какое-то бульканье.

— Нет. — Гедиминас сделал шаг назад. — Час поздний. Да и вообще… Не заходишь…

— Час поздний для кур и воробьев, а для сов и филинов самая страда. Почему сесть не предлагаешь? Боишься, чтоб стул кровью не замарал? Задница чиста, не бойся. Эта часть тела меньше всего виновата, но ей больше всего достается.

— Садись, — сипло выговорил Гедиминас, чувствуя, что на лицо возвращается краска. — Выпьешь?

— Валяй. Насосался, как губка, а не пробирает. Дайка своего яблочного.

Гедиминас вынул из буфета бутыль, поставил на стол два бокала. Руки все еще тряслись.

— Шинель сними.

Адомас, не говоря ни слова, сбросил с плеч шинель, швырнул ее на диван, ремень с пистолетом — туда же. Фуражка полетела в угол.

— Я погиб, Гедиминас... — буркнул он, грузно опускаясь на стул.

Гедиминас молчал.

— Не поймешь... нет, ты не поймешь... — сипел Адомас, навалясь грудью на стол и вертя в руке бокал с вином. — Не понять зайцу охотника. Выпьем, лапочка.

— Выпьем, Адомас.

Не глядя друг на друга, они подняли бокалы и с одинаковой жадностью осушили до дна.

— Я так тебе завидую, хитрый ты святоша, что иногда находит охота цапнуть тебя за глотку и душить, пока глаза на лоб не полезут. — Адомас скрипнул зубами. Его дряблый подбородок трясся, словно он никак не мог что-то проглотить. — Отпустить, дать дыхнуть и опять душить, отпустить и душить снова. Уразумел бы, что такое страдание.

— Положим, разумею. Но что с того, если не могу помочь? — ответил Гедиминас, окончательно успокоившись.

— Лучше налей еще, чем болтать чушь, господин учитель. — Он опрокинул бокал, не дожидаясь, пока

Гедиминас наполнит свой. Минуту сидел, понуря голову, мутным взглядом воззрившись на свои руки и как бы удивляясь, что это действительно его руки. — Что ты можешь понять, что ты можешь?.. Любил ли ты хоть раз достойную себя женщину? Которую однажды потерял, чудом вернул себе, а теперь она опять ускользает из рук? Что я скажу, придя домой, как к ней притронусь? «Служебные дела, дорогая...» Кто поверит, что идешь из бани, если от тебя на версту разит псиной? Живодер! Поначалу оправдывался, выдумывал всякую чепуху, а теперь вру молчком. Черт подери! Наша профессия не из тех, которые доставляют удовольствие делиться с женой впечатлениями рабочего дня... И она замолчала. Гедмис, замолчала. Но уж взгляда, которым она посмотрела на меня, по гроб не забуду! Тогда у нее не было оснований так обо мне думать, но сам знаешь, толки... Если ты начальник полиции и где-то стреляют, то должен куриться дымок и из дула твоего пистолета. Это уж как пить дать... Тогда еще не курился, Гедиминас, хоть... я уже был... Этот русский летчик, Нямунисы... — Адомас закашлялся, лицо страдальчески исказилось. Казалось, слова в кровь раздирают горло, и он, как после отравления, хочет, чтоб побыстрей вырвало и прекратились страдания. — Да, я уже был сволочью! Но в чем я виноват, если все так по-дурацки сложилось? Сам себя я Адомасом не родил. Неужели не бывает в жизни, что ты сволочь, но в этом не виноват? — Он наконец оторвал взгляд от своих рук и жалобно взглянул на Гедиминаса.

— Нет! — выкрикнул Гедиминас. Это вырвалось у него против воли: слово прогремело в покаянной тишине словно приговор судьи. Он все еще жил вечером, проведенным в учительской, держал ее, хрупкую, беспомощную, в своих объятиях, смотрел в глаза и печально удивлялся, что в этих двух клочках неба отражается скорбь по утраченным грезам всего

мира. — Нет! — повторил он и мысленно продолжил: «Ты потерял женщину, но я ее люблю. Наверно, за то и полюбил, что она страдает. Оставь ее мне. Я не могу спасти весь мирно одного человека могу сделать счастливым».

Адомас опустил голову. Взгляд вяло скользнул по пустому бокалу.

— И ты осудил? — прошептал он. — Что ты знаешь, что ты можешь знать?..

Гедиминас наполнил бокалы.

— Не осуждаю, но и не жалею, — жестко сказал он. — И ничего знать не хочу. Выпьем эту бутылку, и пошли спать. Ума не приложу: зачем ты притащился ко мне посреди ночи? Ведь не из одного желания схватить меня за глотку и душить, пока глаза на лоб не полезут?

Адомас рассмеялся. Смех был такой неуместный и жуткий, что у Гедиминаса по спине побежали мурашки.

— Пришел опорожниться в чужую комнату, — не шелохнувшись сказал он. — Я не из тех людей, которые не переносят, когда воняет только у них дома. — Ломая трясущимися пальцами спички, он закурил, схватил бокал, выпил, налил себе еще, снова опрокинул. И продолжал говорить, выкуривая сигарету за сигаретой, не отрывая глаз от столешницы, словно на столе сидело невидимое существо, которое — единственное в мире — понимало его и могло утешить. По щекам текли пьяные слезы. Его рассказ время от времени прерывал страшноватый, вроде предсмертного хрипа скотины, смех, и Гедиминас с надеждой думал, что Адомасу не достанет сил и мужества продолжить, и кончится наконец эта пытка. Но тот шаг за шагом взбирался на вершину голгофы, и толкало его не желание оправдаться, взвалить на свои плечи сладостное бремя покаяния, а безнадежная попытка убежать от недавно пережитого ужаса.

VI

Телефонный звонок из комендатуры. То ли просьба, то ли приказ: господин Ропп желает немедленно встретиться. С чего это вдруг? Ах, да, военные власти недовольны, что мало собрали теплой одежды в помощь войскам. Может, прикажут ходить по деревням и раздевать крестьян? Адомас сердито натягивает шинель, застегивает ремень с портупеей. Мрачный, хоть и подтянутый, стучит сапогами по обледенелому тротуару, который дворники уже успели очистить после метели. У дверей комендатуры солдат с автоматом на груди. Нахохлился, опустил наушники, под серым козырьком темнеют удивленно-испуганные глаза растерявшегося наглеца. Над дверью повис красный флаг, перевязанный куском черного крепа. В ниспадающих складках — белые куски сломанной свастики. Stalingrad, Stalingrad... Адомас едва сдержал улыбку. «Может быть, через год здесь будет развеваться трехцветный флаг, а рядом с ним, в честь освободителей, водрузим второй — полосатый, с сорока восьмью звездами в верхнем углу».

Комендант Ропп был не один: в кресле за письменным столом развалился оберштурмфюрер Христоф Дангель (недавно повышенный в чине за заслуги по укреплению цивильфервальтунга) в серо-зеленой форме сотрудника гестапо (на рукаве белая свастика). На лицах — драматическое напряжение и скорбная сосредоточенность. «Как будто челюсти у них тоже подвязаны черными лентами», — подумал Адомас, но улыбаться почему-то расхотелось. В воздухе висела угроза. Он не слышал, как захлопнулась мышеловка, чутье предупредило об опасности. Теперь он заметил еще одного, сидевшего поодаль от стола, в углу. Черная форма и белый череп на высокой тулье фуражки

(эсэсовец держал ее на коленях) не шли к жирному невыразительному лицу с массивным подбородком, а оно не вязалось с узким лбом и маленькими тусклыми глазками.

— Мы вас немного задержим, господин начальник полиции. — Комендант повелительно указал на пустое кресло напротив Дангеля и, не ожидая, пока Адомас сядет, продолжил: — С операцией, разумеется, мы справились бы собственными силами, но текущий момент требует подчеркнуть германо-литовское сотрудничество.

— Господин комендант отнюдь не намекает на трагизм событий, — поспешно вставил Христоф Дангель. — Временные неудачи в войне неизбежны, даже необходимы, они помогают обнаружить ошибки, учась на которых армия может правильно подготовиться к решающему удару.

Сидевший в углу эсэсовец заморгал, словно хотел что-то добавить, но промолчал и снова уставился на них, застыв, словно чучело.

— Полностью согласен с господином оберштурмфюрером, — сказал Ропп. — Но это не означает, что мы равнодушны к слезам немецких матерей. Германская щедрость давно всем известна: за каждый труп платить врагу сторицей.

Адомас машинально покивал головой.

— Германская армия позаботится об этом, господин комендант, — заверил Дангель. — Наш долг — сделать все, чтоб она была сыта, тепло одета, а тыл чист от врагов. Я безоговорочно поддерживаю вашу…

— …и господина гауптшарфюрера Лемке, герр Дангель, — скромно заметил комендант, указав глазами на эсэсовца, который снова заморгал, но не двинулся с места, словно примерз к стулу.

— Да, я поддерживаю вашу и господина гауптшарфюрера Лемке инициативу. Операция

высвободит солдат, которые нужны для других дел, будут сэкономлены продукты питания. Господин Вайнорас, — Дангель повернулся к Адомасу, — сегодня нам предстоит выполнить операцию, в которой оказана честь участвовать и вашей полиции. — И Дангель, не меняя позы, скучающим голосом изложил дело: — Господин комендант, — сказал он, — каждую акцию регистрирует под кодовым названием. Вам не обязательно его знать, но здесь все свои и секретов быть не может. Итак, несколько слов об операции «Квадрат 517». Комендатура — СС — гестапо — полиция — вот четыре угла, на которые опирается проведение операции. Цифра указывает число. Основная масса — 500 — военнопленные, физически истощенные, непригодные к производительной работе. Остальные — 17 — различный коммунистический сброд из подвалов гестапо. Время — 20.00. Место — Ольшаник. Транспортом и охраной займутся наши люди, — закончил Дангель. — Полиция включена в группу истребления, которой будет командовать гауптшарфюрер Лемке.

Эсэсовец и теперь не шелохнулся. Только губы чуть-чуть раздвинулись, обнажив белую полоску зубов.

Адомас вытер ладонью холодный пот. Черная тень в углу выросла, заняла полкомнаты. Зазвенело в ушах. Он видел, как комендант разевает рот — не рот, а бездонный провал, — но не понимал ни слова. «Почетный долг… очистка… будет выдано дополнительно… сигарет… шнапса…» — проникали в сознание бессвязные слова.

— Сколько вам нужно людей? — наконец услышал он свой голос.

— Приведите всех свободных от службы, — ответил Ропп.

— Я?!

— Само собой разумеется, господин Адомас, — откликнулся Дангель. — Неужели вы можете передоверить столь почетное задание другому, скажем, своему вахмистру Бугянису, хоть он и славный парень?

— Я… — Адомас было привстал, но три пары глаз, иронических и угрожающих, толкнули его обратно в кресло. Белая полоска зубов между губами эсэсовца стала расти, и нижняя часть лица уподобилась черепу на его фуражке.

Господин Ропп тоже позволил себе улыбнуться в этот траурный день и насмешливо заметил:

— До сих пор вы не отличались усердием, господин начальник полиции. Припоминаю, особенно в первые месяцы войны, когда при комендатуре был создан карательный отряд по ликвидации евреев и коммунистов, некоторые ваши парни потрудились на славу, а у господина Вайнораса, когда он нам бывал нужен, непременно оказывалось неотложное дело и он куда-нибудь отбывал.

— Вам не в чем меня упрекнуть, господин комендант, — пролепетал Адомас. — Когда надо было, я не боялся применить оружие. Но расстреливать безоружных людей…

— Людей? — удивился Дангель. — Еврейский коммунист для вас человек! Проказа на теле человечества, гниль! История призвала нас очистить от них землю. Не повторяйте лжегуманистическую чушь, господин Вайнорас, пусть этим занимаются плутократические выродки Запада!

— Моральные принципы нашей нации…

— …ждать, пока другой зарежет цыпленка, а потом его съесть, — оборвал его Дангель. — Перестаньте, господин Адомас, я вижу вас насквозь, могу даже сказать, о чем вы думаете. Ну-ка, послушайте. — Начальник гестапо наклонился к Адомасу. Жесткая маска лица, свеженапудренная после бритья; от нее

несло сыростью погреба и галантерейной лавкой. — С немцами неизвестно что будет, думаете вы, в один прекрасный день они еще улепетнут из Литвы. Будет новый Версаль, новый Вильсон со своими восемнадцатью пунктами, новое шестнадцатое февраля...[29] Вы боитесь рисковать, дальновидный вы человек, поскольку не знаете, как на это отреагируют ваши будущие заокеанские хозяева...

Адомас хотел вскочить, выразить возмущение — он на самом деле не думал, что в будущем придется отвечать за свои действия, — но гипнотизирующий взгляд Дангеля приковал его к стулу. Собрав всю свою волю, он все-таки наклонился вперед и поднял тусклый взгляд на коменданта.

— Господин Ропп... Herr Hauptmann... Мое поведение не дает вам ни малейших оснований... Я протестую... — Язык еле ворочался, как будто в пересохшем рту выросли лишние зубы.

— Мы не делаем далеко идущих выводов, господин начальник полиции. Мы верим вам. Еще больше — предоставляем вам прекрасную возможность рассеять подозрения, если у кого-нибудь, скажем, у господина Дангеля, таковые возникли. — Рот коменданта искривился в улыбке. — Вы ведь разумный человек, конечно, не поверили большевистской пропаганде, что немцы-де здесь временные гости. Хотя в общем и целом вашей нации свойственна такая свинская черта, как неблагодарность. Германия, спасшая Литву от сибирских лагерей, проливает кровь за новую Европу, а литовские парни забавляются с девками в своих чуланах. Наскребли батальон-другой добровольцев и сочли, что выполнили свой долг перед фюрером и великим рейхом. Вояки! Без немецкой помощи не могут справиться даже с белорусскими партизанами. Не

слишком ли долго вы испытываете наше терпение, господин Вайнорас?

— Да что я могу, господин комендант… — промямлил Адомас. — Не в моих силах…

— Мы уже убедились, что в ваших силах, а что — нет. И полагаем, — очки коменданта грозно блеснули, — что истинное ваше призвание, пожалуй, не здесь, а в батальоне территориальной обороны, лицом к лицу с вооруженным врагом, — этого ведь, кажется, жаждет ваша благородная солдатская душа? Охотно сосватаю вас туда, раз уж проситесь.

Пока комендант говорил, Дангель одобрительно постукивал каблуком сапога по полу, словно вколачивая каждое слово в сознание начальника полиции.

— Мое мнение полностью совпадает с вашим, господин Ропп. — Дангель снова наклонился к Адомасу: — Как видите, господин Адомас, у нас есть серьезные основания не верить вашей искренности.

Адомас впился ногтями в вспотевшие ладони.

— Нельзя вынуть сердце и показать, что там, — выдавил он, понимая, что ложь прет из каждого его слова.

— Почему нельзя? Можно. Но тогда сердце вам уже не понадобится, господин Адомас. — Кресло Дангеля скрипнуло; он сипло рассмеялся.

Громыхнул отодвигаемый стул, запел паркет. Когда Адомас поднял голову, комендант стоял у стола, на его лице было скучающее выражение. Дангель, заложив ногу на ногу, скрестив на груди руки, смотрел в потолок. Черная тень в углу больше не улыбалась, глаза эсэсовца светились, как у кошки.

Адомас встал.

— Больше замечаний не будет, Herr Polizmeister?

— В девятнадцать ноль-ноль со своим отрядом быть у комендатуры.

— В девятнадцать ноль-ноль быть у комендатуры…

Господин Ропп улыбнулся, и губы Адомаса тоже растянулись в улыбке. Он щелкнул каблуками («Можно идти, Herr Hauptmann?») и, пошатываясь, двинулся по бесконечно длинной комнате со скользким паркетом, пальмой рядом с дверью и часовым за дверью, чувствуя, что с лица не сходит улыбка. И лицо-то какое-то чужое, наклеенное. И эта дурацкая улыбка тоже наклеена, — нет, она приросла к лицу, и он шел через весь город, до слез стыдясь этой улыбки, но все не мог ее сорвать.

Очнулся он у своего дома. Из открытой форточки доносился запах жареного. Обед! «Хоть раз вовремя явился, Адомас. Да что это с тобой? На тебе лица нет! Господи, скажи, что с тобой стряслось?» Придется улыбаться и есть бифштекс. Но ведь он может не выдержать и ударить ее! А потом останется броситься на колени и вымаливать прощение, исповедаться во всем, как перед священником.

Он отпрянул от двери и выбежал на улицу. Непременно произойдет чудо: содрогнется земля или низвергнется с небес пламя и сожжет комендатуру. И этих троих, готовящих кровавый обряд.

VII

— Да, Гедмис, я все еще уповал на чудо: что-то случится, и они обойдутся без меня. «Всех, кто сегодня свободен от службы, угощает комендатура, — сказал я своим парням. — В девятнадцать ноль-ноль отправляемся к ним продолжить траурные торжества». Бугянис побежал за водкой — карточки мне перед уходом сунул в карман Дангель, — и мы хлестали без удержу до сумерек, но ни один не мог как следует надраться. Нет, нет, они не знали о задании. Сам не понимаю, почему не сказал. «Видать, русские парашютиста сбросили. Придется деревни прочесать. А

если это где-нибудь около лесов Венте, нам, может, предстоит приятная встреча с бандитами», — решили мои парни. И я поддакивал им, хохотал вместе с ними, пока сам не поверил, что так оно и будет. — Адомас раскурил потухшую сигарету. Он был трезв, хотя успел осушить бутыль. — А надо было сказать, Гедмис, надо было... Будрейка, когда тех согнали к яме, а нас выстроили напротив, снял автомат и швырнул наземь. «Мы не мясники, господин гауптшарфюрер...» Лемке осклабился. Мне почудилось, что не выстрел, а его зубы вонзились в спину Будрейке. «Не умеете поддерживать порядок, Herr Polizeichef». Перестроили цепь. Пятеро немцев — один полицейский, пятеро немцев — один полицейский. «Feuer!» [30] Мы ударили... В живую стену, освещенную прожекторами, переплетенную ветвями, как путаница деревьев за ними. Мы стреляли в живые деревья, Гедмис, а потом, вырубив последнюю просеку, сложили свой инструмент и с песнями вернулись домой. В кузове у наших ног лежал труп Будрейки, но мы все равно вопили, как безумные, подпевая серым и черным немцам, хотели перекричать крики совести. Потом нас тошнило, один Бугянис держался молодцом. Немцы хохотали, не пускали к борту, и мы облевали труп Будрейки. Не смотри на меня как на сумасшедшего, мы все такие... четверо могильщиков... Господин комендант расщедрился, выдал еще несколько бутылок. Полагается на поминках, верно? И мы снова пили, а Будрейка валялся во дворе, с него сорвали погоны. Потом мы, четверо могильщиков, закинули его на плечи, словно колоду, — он окостенел — и потащили пустыми улицами в полицейский участок. Немцы не одиноки со своим Сталинградом, Гедмис, они умеют поставить дело так, что не только их матери плачут по своим детям. И мы плакали. Ты не веришь, но мы плакали! Такой парень был! Оставалась еще водка по

комендантским карточкам. Вылакали все до последней капли. Бугянис вытащил откуда-то бутыль самогону, и ее пустили по кругу. Нет силы, которая свалила бы нас с ног. Мы бессмертны, Гедмис: история ставит памятники и убийцам.

Адомас бубнил, глядя прямо перед собой на стену, оклеенную голубыми обоями, и ни разу не повернулся к Гедиминасу. Изредка он похохатывал, как бы оживляя этим свой рассказ, чтобы слушатель не заснул. Его откинувшееся на спинку стула тело наклонялось, лежавшие на столе руки меняли положение, но с последним раскатом хохота — Адомас снова застывал в прежней позе. В накуренной комнате его тело расплывалось, превращалось в смутную массу, дрожащую в голубом тумане; она то приближалась, то удалялась, почти таяла в пространстве. Гедиминас, не в силах справиться со странным чувством, протянул руку и отпрянул, нащупав теплое плечо.

Адомас вздрогнул, повернул голову. Их взгляды на миг, всего лишь на один миг, встретились.

— Знаю, о чем ты подумал. — Адомас оглянулся через плечо на диван, где лежал пояс с пистолетом. — Несколько часов назад это был выход, а после Ольшаника — бессмыслица. Умнее всех поступил Будрейка. Но для этого нужно мужество.

— Нет, только сердце, — отсутствующим голосом ответил Гедиминас, продолжая думать: «Табачный дым похож на мутную жидкость, а лампочка — на размякшую грушу. Мы заперты в четырехгранном сосуде из голубого стекла и замаринованы». Ему хотелось еще раз протянуть руку и коснуться Адомаса, но тот внезапно захрипел, как убиваемый зверь, и Гедиминас пришел в себя. — Зачем ты мне это рассказал? — прошептал он, чувствуя, как отпускает жесткий комок в горле, но теперь наливаются липкой

горечью глаза. — Не мог найти более благодарного слушателя?

— Не знаю… — Стул Адомаса затрещал, чиркнула спичка, тишину нарушало лишь тяжелое дыхание. — Не знаю, Гедмис… Может, глаза Будрейки?.. Куски льда. Я тогда тонул… Ты подполз по льду на животе, протянул палку. Да, не стоило смотреть Будрейке в глаза. Никто не хотел закрыть ему глаза, мне пришлось подойти и положить на веки по медяку. Закрыл лед и все равно видел тебя. На льду. И эту протянутую палку…

— И пришел мне об этом напомнить, чтоб взвалить ответственность и на мои плечи? — Гедиминас оттолкнулся со всем стулом от стола и, отвернувшись от Адомаса, облокотился на спинку. Глаза предательски жгло, и он уткнулся в рукав, в страхе, что не выдержит, заплачет.

Адомас еще что-то говорил, замолкал, безнадежно ждал ответа. Паузы становились все продолжительней, голос — все тише, пока наконец совсем не угас. Грохнул стул, яростно затопали кованые сапоги у дивана, затрещали швы шинели.

— Спи, невинный младенец, сладко спи… — прошипели над ухом, а может, это ему померещилось.

Гедиминас вскочил, толчком распахнул окно. В комнату хлынула ледяная, искрящаяся, звездная ночь. В закаменелой темноте четко стучали сапоги. Внизу чернел город — разверзшаяся бездна, раскрывшая ненасытную пасть. Оттуда неслись гудки паровозов, шаги патрулей, шальные выстрелы.

«Помпея перед извержением Везувия…»

В ужасе он захлопнул окно и не раздеваясь повалился на кровать. Лежал, оцепенев, не помня ни о чем. Руины города, залитые лавой. Под утро немного вздремнул, а может, ему просто показалось. Наверное, показалось, он же слышал, как запели петухи. Сначала один — в сарае Онуте. Ему сразу же ответил второй —

соседский, тому — третий, и вот уже весь край города хлопал крыльями и звонкими голосами приветствовал наступающий день. Гедиминас, словно завороженный, смотрел на контуры деревни, стремительно приближающейся к нему в голубых предрассветных сумерках. Колодезные журавли и собаки приветствовали его, оконца плакали на радостях утренней росой, трубы кадили дымом, а он шагал по белой улице, с обеих сторон уставленной подсвечниками деревьев, до земли кланяясь оскверненному храму природы и его грешным, но верным слугам.

> Я заблудился. Вернуться не пора ли
> туда, где дни по-детски лепетали?
> Под белою березкой ноги разуваю.
> Прими же сына блудного, изба родная.

Петух, святая птица, сотворил это чудо!

Глава восьмая

I

Несколько дней назад похоронили свекровь. На место кровати переставили шкаф, скудные пожитки покойницы перебрали; одежду похуже связали в узел — для нищих, которая получше — забросили на чердак, про черный день.

— Грех говорить, ага, но была в тягость и себе и другим, — рассуждал Кяршис, видя, с каким пылом Аквиле хозяйничает в комнате. Сам хватал вещи потяжелей, журил жену, зачем таскает, дескать, Юлите может подсобить, а глаза с радостью и надеждой

ласкали пополневший стан жены. Только бы помаленьку, только без спешки, ведь не приведи господи... И, отобрав ведро, своей медвежьей походкой то ковылял к колодцу за водой, то выносил помои, то бросался, сколько позволяло проворство, к плите — снять кипящую кастрюлю. И-эх, на троицу, если бог даст, под балкой подвесим колыбель!

Заботливость мужа радует Аквиле. Когда за него, выходила, бабы в деревне покатывались со смеху («За такого медведя, да еще бедняка...»), а теперь всех завидки берут. Повезло девке, что и говорить. Мало того, что с приплодом взял, — словно куклу на руках носит! А какой хозяин, какой работяга! Кто мог знать, что под этим пнем клад зарыт.

Да уж, хотелось бы поглядеть на Катре Курилку — с какой рожей слушает она такие речи. «Не богатеи, но и не хвалясь, есть чем похвастаться, матушка... Загляни как-нибудь, посмотришь, как живут голодранцы Кяршисы». За руку бы взяла — да в избу. Комнаты обшиты шпунтовыми досками, потолок — тоже. Полы крашеные, в горнице изразцовая печь. В кладовке, правда, не густо, но кто сейчас вешает окорока да сало на глазах? В хлеву коровенка с телкой (быка удалось всучить в поставки) и супоросая свинья. Зато на гумне, за соломенными стенами, чуть ли не вдвое против этого скотины укрыл. Не один Пеле такой плут, вся деревня надувает власти, как может: запишут одну голову скота, а держат две, но не у каждого все так шито-крыто.

— Обманываешь самоуправление, Кяршис, — подозрительно моргает староста Пятрас Кучкайлис, листая за столом свои списки. — Неужто у тебя всего и добра, что на бумажке?

— А откуда я больше возьму, господин староста? Сам ведь ты в хлев ходил, и в амбар, и на чердак лазил. Все мое хозяйство перед тобой на ладони, как перед

самим господом богом, ага. Всяк может плутовать, только не Кяршис. И-эх, поймаешь меня, без соли слопаешь.

— Вот это ты в точку. Все, кто обманывает власть, помогают, видишь — нет, большевикам. Такого мы айн момент — и капут!

— Не всех, господин староста, ага, не всех. Такого Кяршиса — айн момент, а крупные хозяева скользят между пальцами, как намыленные. На белой бумаге записано с их слов, но у них в амбарах да хлевах никто не шарил…

— Не воняй против ветру, мне смешно. — Пятрас Кучкайлис обиделся, но крыть нечем: много опасной правды в намеках Кяршиса. — Вижу, хочешь глаз отвлечь от своих кафелей да шпунтовых стен. Можешь не стараться, нам-то известно, как такие дела обделываются.

Кучкайлис собирается уходить, но не успевает — его усаживает обратно Аквиле, прибежавшая из кухни с бутылкой вина и закусками.

— Сер, что свинья, да зол, что змея, — говорит она, выпроводив старосту.

— И-эх, кто этого не понимает, — соглашается Кяршис. — Дерьмо обойдешь не со страху — из-за запаха.

Вечером, управившись с дневными трудами, они лежат в широкой кровати. Семейное ложе покойных родителей, вечная им память. Старые доски скрипят и визжат в стыках, под спиной хрустит неслежавшаяся ржаная солома. «Подушка под боком хорошо, а вот пружинный матрац было бы еще лучше», — думает она, принимая его тело, пахнущее конским потом и табаком. И вот на животе остается лишь его ладонь — тяжелая, чешуйчатая черепаха, жадно впитывающая чужое тепло. И-эх, и благодать же божья, да и ты святая, отсюда ведь явится человек, чтоб продлить род

Кяршисов! Она сонно улыбается. Ленивая, полная до краев сытостью и отвращением к самой себе. Пять узловатых щупалец покоятся на ее животе. Под ними им зачатый зародыш, его семя, его кровь и плоть. Пятиглавый змей ревниво и надежно охраняет священное право собственности. Ей становится гадко и страшно. Сбросить бы его руку, но тело словно запеленали, тошнит. Она не в силах даже повернуться на бок. Крепко сжимает веки. Все равно перед глазами стоят, как стояли, белесый двор, привязанная к изгороди корова, и переплетение теней в вечерних сумерках.

«…Справный бычок, и-эх, справный…»

— Нынче, сказывают, поставки увеличат. Вряд ли удастся выкормить поросенка на продажу.

Ироническая ухмылка Гедиминаса на пятнистом фоне снега. «Наживаться, когда страной правят бандиты, не каждый умеет».

— Путримасы хотят перебраться в избу Нямунисов. Вроде договорились. За аренду Культя денек-другой отработает. Ведь после того, как Юлите у нас…

— Перестань, — негромко, но резко говорит она, — Я хочу спать.

Но она еще долго не засыпает. Пеликсас, повернувшись спиной, уже давно трубит носом, а она все смотрит то на тускло светящийся потолок, то на окно, за которым плещется расплавленное серебро лунной ночи и ежится на ветру голый куст сирени, робко постукивая замерзшими пальцами по стеклу. Начало апреля. Земля выдохнула мерзлоту, но по ночам еще подмораживает, и солнце поутру пробегает по застывшим полям, ломая хрупкое стекло сухого ледка. «Весна, еще одна весна», — думает Аквиле. Так и тянет выскочить из кровати, распахнуть окно и броситься в эту серую ночь… Босиком по мерзлым комьям, с обнаженной грудью против ледяного ветра.

Когда-то она летала во сне. («Дурочка, на что тебе крылья? Возьму тебя на руки и обнесу вокруг земли», — сказал господин Контроль наутро…) Тоже был апрель, как сейчас. Чибисы кричали и носились над головой, грозно размахивая тяжелыми крыльями, еще выше метались звезды — золотой, жужжащий пчелиный рой, а внизу, в самом низу, лежала деревня — лысая, втоптанная в грязь щетка, и около нее озеро, на днях взломавшее лед — издыхающая рыбина со встопорщенной чешуей.

«…Завтра же надо сходить на могилу летчика. Пока еще цветут подснежники…»

Но в ее воображении встает и другая могила. Обомшелый сосновый пень, кучи хвороста на лесной прогалине, старый лесничий. «Может быть, когда-нибудь им поставят памятник, но пока мало матерей знают, где лежат их дети…»

Она отталкивает от себя эту картину, сердито унимает мысли. Чего бредишь наяву! О жизни думай, о жизни, гимназисточка! Слышишь? Вторая корова скоро отелится… в кроснах начатое полотно… Карточки надо отоваривать… Вот так-то! Чего тебе еще надо? Такой муж под боком, скоро второй ребенок родится. Обута, одета, сыта, любима. Чего с жиру бесишься? Хочешь беду накликать, сумасшедшая?

Дрожащими пальцами ухватилась за край кровати. Заткнула рот мягкой подушкой. Сытый запах нагретого логова. «Держись, боже мой, держись, за что уцепилась…»

О господи…

Река воспоминаний оторвала ее, словно улитку от камня, и швырнула в водоворот.

II

Первое, что она увидела, открыв глаза, была розовая пещера, теплая и вонючая. Пасть исполинского чудовища всосала ее и невидимыми склизкими щупальцами продвигала вглубь, в утробу. Оттуда шел тошнотворный запах варящегося мыла; ее мутило, и если бы не эти сильные руки — одна крепко сжимала кисть правой руки, другая обхватила ее за талию, — Аквиле бы свалилась.

— Вылезайте, кто жив: сноху привел! — крикнул Марюс.

Пар чуть-чуть рассеялся, и она увидела висящую на стене керосиновую лампу, стол, заваленный каким-то хламом, и темные силуэты людей. Медленно, улиточьим шагом, по извилинам мозга проползла мысль: «Никогда я здесь не была, хоть живу в той же деревне». Но она подчинилась руке, обнявшей ее, и села на лавку перед этими безмолвными силуэтами. В воцарившейся тишине бойко клокотали чугуны на печи, постреливали сосновые дрова, едва слышно скрипела лавка под ее дрожащим от холода телом. Наконец тени пришли в движение, разом заговорили, и она увидела рослую костлявую женщину с плоским румяным лицом — большевистскую мамашу-ведьму, как ее обзывала Катре Курилка.

— Ух ты, Вайнорайте! Откуда ты вытащил эту мокрую девчонку, Марюс?!

И о холоде забыла — так перепугалась! Вдруг почувствовала: ей уже не все равно, что скажут про нее люди; она снова живая клетка этого мира, ей важно знать свое место в нем. Она готова была провалиться сквозь землю от стыда и унижения.

— В сетях нашел, — стегнул плетью хрипловатый смешок.

Она медленно повернула голову и посмотрела на него. Уже без паники, наэлектризованная внезапной злостью. («Можешь плевать, топтать меня грязными

сапогами!») Он стоял посреди избы, широко расставив ноги. На небритых щеках поблескивали невысохшие капли. Широкополая шляпа брошена куда-то в угол, кудрявые каштановые волосы обрамляют матовый квадрат лба, открыто глядят на нее, подбадривая, глаза: «Успокойся, девочка моя, мы с тобой кое-что знаем, но только мы с тобой». Она почему-то сразу же поверила тому, что говорили эти глаза. И ей стало легко и хорошо, и даже когда перед ней снова появилось румяное щекастое лицо, мать Марюса не показалась ей такой отталкивающей, хотя Катре Курилка сызмальства стращала ею детей. Правда, она была какая-то нескладная, голос грубый, как холщовая рубаха, а слова частенько резкие, даже обидные, но как ласково шелестела в ее узловатых руках сухая одежда, которую она дала надеть Аквиле!

— Твоя мама очень хорошая, — сказала она Марюсу. Но это было гораздо позже. Теперь она сидела перед огнем в приятном оцепенении, сонная, и вся эта история с господином Контролем казалась рассказом с чужих слов. Но иногда перед ней вставал белесый хребет обрыва, под ногами открывалось бурное озеро, и, трясясь от страха, она смотрела, пристально смотрела на огонь в печке — он лизал рыжие дрова, — страшная картина постепенно исчезала, пропадала, словно дерево, превращающееся в золу, и в душу снова возвращался покой. Она была благодарна этим добрым людям за то, что ее не донимают расспросами, ничему не удивляются, а продолжают спокойно заниматься своими делами, беседуя о чем-то постороннем. Их холодность, которая в другую минуту обидела бы ее до слез, теперь согревала.

Потом настала зима — белее, звонче прошлых зим, — она огляделась в своей душе, словно в комнате после пожара, и услышала шепоток предчувствия: не останешься жить в голых стенах, не бойся. Потом с

зелеными южными ветрами примчалась весна, сады осыпали белыми лепестками тропы перед великим праздником оплодотворения, и она диву давалась, что эта девятнадцатая весна ее жизни (господи, как бежит время!) почему-то зеленее, хмельнее других весен.

В один из таких дней, когда все казалось очень правильным и простым, она сказала ему:

— Я твоя должница, Марюс.

Он удивился и смешно растянул губы. В глазах заплясали светлые точки.

— А! — наконец понял он, — Наверно, за то, что прошлой осенью тебя в озере не утопил?

Она подумала: «И за это тоже, хотя тогда я собиралась уйти навсегда. Иногда бывает, потом радуешься, что не наделала глупостей».

— Нет, — сказала она. — Что ты! — еще раз солгала она. — Но, понимаешь, обо мне… с этим Контролем… ты знаешь больше других. Я тогда тебе все… Сама не знаю, почему, но все… Понимаешь? Даже мама не знает, а ты знаешь, что он меня не только на мотоцикле катал… Думала, после этого толки пойдут, а ты вроде и не знаешь. Я тебе очень благодарна, Марюс…

— Я, барышня, сплетен не разношу! — ударил он, пожалуй, больнее, чем пощечиной, и, не дожидаясь ответа, ушел.

Обиделся! Рассердился! Да, задень только не ту струну, и в нем встанет на дыбы его щекастая мамаша-ведьма.

Хозяева ругались:

— Этот проклятый безбожник агитирует каждого, кого наймешь подешевле в дальней деревне. Проценты ему платят, что ли, за то, что цены набивает?

— В страду половина батраков и девок в деревне забастовала — уговорил, черт, потребовать свободное воскресенье. Хозяева скотину кормят, а эти гниды на

ярмарке да на маевках! Или сверх жалованья целый лит им подавай.

«И такого человека я хотела похвалить! — сердилась на себя Аквиле. — Чувствовала, что обязана это сделать. Вот дуреха! Ему же все равно, что думают о нем другие. Ему бы только заводить раздоры, ненависть больше щекочет его самомнение, чем доброе слово». Но когда заходил разговор о семье Нямунисов и Катре Курилка начинала поносить Марюса, Аквиле не соглашалась с ней.

— Он, — говорила она, — злой, но справедливый. Хозяин ведь хочет больше зерна намолотить да денег скопить? Словом, разбогатеть. Вот и батрак хочет свое получить. Не его вина, что если одна сторона выигрывает, то другая должна терять.

Она сама удивлялась двойственности своих чувств к Марюсу. Словно кто-то навязал ей сомнительную правду, которую надо расщепить пополам, чтоб убедиться, что там таится в середке. Наивная девочка, до знакомства с господином Контролем верившая, что всякий блестящий камешек — жемчужина, стала женщиной, и ее чувствами руководил рассудок, который с опаской, словно однажды обжегшийся пес, все обнюхивал и со страхом встречал каждый отклик в душе. Нет, тогда она еще не любила Марюса. Он только занимал ее тем, что выделялся среди других людей в деревне. Видный парень, хоть и не особенно пригож лицом. Зато ладно сложен, крепкий, здоровый. Нет, это она тоже стала замечать гораздо позднее.

Осенью следующего года у Гульбинасов убирали лен, и Аквиле не то испугалась, не то обрадовалась, увидав среди парней и девушек Марюса. С двумя другими батраками он возил с прясла обмолоченный лен, сваливал в мочило и придавливал камнями. Уже в сумерках, возвращаясь из поместья домой вместе с другими девками, помогавшими на уборке, она

остановилась у мочильных ям, до краев забитых стеблями льна.

На одну из них, застланную ветками и льняными стеблями, полураздетые парни по широкой доске катили камни с берега. Двое были в подштанниках, зато в пиджаках, а Марюс в трусах, в рубашке, простоволосый. Его ноги и лицо в глубоких сумерках казались темно-синими, на месте губ — темный провал. Камни побольше он катил, а поменьше брал в охапку и, тяжело переваливаясь, шел по устланному ветками мочилу, словно по пружинящему болоту. Но вот он не рассчитал — а может, девки были виноваты? — и схватил камень не по силам... Кое-как до живота смог поднять. Согнувшись в три погибели, заковылял по веткам и досочкам, непосильный груз заносил его в стороны. Одолел! Камень ухнул на ветки, но в тот же миг ноги сорвались, и Марюс выше колен провалился в льняную кашу. Девки захохотали, а Аквиле ахнула так громко, что сама застеснялась.

С дожинок они вместе возвращались домой. Впервые вдвоем с прошлого лета, когда встретились на маевке и там сделали несколько кругов танца. Говорили о чем-то. Просто так болтали, о пустяках. Холодная погода, ледяная вода. Еще ревматизм заработаешь. И зачем люди мочат лен, как будто стланец хуже? Господи, какой противный ветер! (Он: «Да, да, середина сентября, а хоть тулуп надевай».) Потом она вспомнила фотографию (Марюс в солдатской форме), которую видела той осенью на стене у Нямунисов. Нет, я бы не хотела быть мужчиной. Одна эта ваша армия чего стоит. На восемнадцать месяцев, как в тюрьму. Бр-р-р... А если, не приведи господи, война... (Он; «Война уж идет. Польша пала, но это еще не конец. Против немцев пошли англичане с французами. Того и гляди загорится весь мир».)

— Хорошо, что мы не спорили из-за Клайпеды...

— Они не будут спорить из-за всей Литвы тоже: если попросят, встанут на колени и отдадут, — с ехидцей заметил он.

— Блоха против слона не поскачет. Главное, чтоб войны не было.

Марюс негромко рассмеялся. Пожалуй, даже добродушно.

— Нет, теперь-то не отдадут, — продолжил он свою мысль. — Опоздали: советские базы не позволят.

Она бы еще поспорила, но очень уж ей не по душе все эти армии и речи дипломатов. Куда лучше просто идти ветреной ночью по деревне вдвоем, под шелест деревьев и собачий лай. То в одном, то в другом окне свет, запоздалый дымок из трубы, а в голове приятный хмель от рюмочки вина. Хорошая ночь. И хороший мир, когда он так мал, что расставишь руки и упрешься в стены. Кубический метр воздуха, квадратный метр земли. Мир, который несешь с собой. В нем нет развалин Варшавы, разрывов бомб, грозной неизвестности. Только этот вечер, тишина, звезды, закрытые на ночь хлева, постланная в горнице постель. А рядом он, не такой, как другие. Человек-загадка с темно-синими ногами («У аиста ноги красные...») и простоволосый. Она хотела бы, чтобы он вошел в ее мирок — там столько пустого места. Но он идет рядом, только рядом. Расстояние в несколько пядей растягивается на тысячи километров. Он из другого мира, да, он из другого мира. Но она не хочет в это верить. И говорит, сама не понимая почему:

— Я бы так не могла... — говорит она, наверное испугавшись затянувшегося молчания.

— Чего? — удивленный вопрос на ветер.

— Гедиминас рассказывал, — тогда она еще не получала от Гедиминаса любовного письма, — что ты сдал экзамены за три класса. Я бы так не могла: работать и учиться. Ты сильный, Марюс.

— Думаешь? — Он рассмеялся. — Надо быть сильным. Старый мир рухнет. Если будешь слабоват в коленках, не выберешься из-под развалин. Нам придется все начинать сначала. Вот и закатали загодя рукава.

— Да, рухнет. Теперь, когда есть русские базы, может рухнуть. «Кто был никем, тот станет всем». А куда денете таких, как Гульбинас или наш Адомас?

— В Стране Советов нет безработных, моя девочка.

Она долго молчит. Она сомневается. Потом неуверенно говорит:

— Что ж, раз так, стоит, имеет смысл учиться. Сможешь получить хорошее местечко.

Он вполголоса ругается. Повернулся к ней, отвернулся. Ерзает, как лошадь в хомуте. Остановился, так как они уже прошли до конца деревни (она прозевала свой хутор...), и в темноте чернеет изба Нямунисов.

— Чертовщина, — опять выругался он, — я уже дома. Проводить тебя обратно, что ли?

— Как знаешь.

— Да уж придется. Ты наступила мне на мозоль. Этот вопрос надо распутать, моя девочка.

И они повернули обратно по деревенской улице.

— Сказала — как будто одолжила, — досадливо льются слова. — Это вам, кулакам, главное — кусок пожирней отхватить. Нас заботят не казенные места, а идея борьбы пролетариата, девочка. А без науки, нахрапом, идею в жизнь не претворишь. Темный человек вроде клячи, которую каждый может захомутать. Если мы будем такими, ничего путного не выйдет, возьми даже мы власть в свои руки... «Сможешь получить хорошее местечко...» Таким, как я, нужно не одно хорошее местечко, а все, что нам принадлежит по праву. Мы возьмем это все и разделим так, чтобы никто не был в обиде. Эксплуататоры, ясное

дело, будут плакать. А как же, подрезали орлу крылья, сравняли с серыми воробьями с навозной кучи. Богатеи считают это величайшей несправедливостью. Да, мы принесем радость, но будет и горе, слезы будут. «Ограбили! Убили!.. Спасите!» Не скрою, побродим по колено в слезах богатеев, а то и в крови. Этого не избежать. Скажешь, они не бродили? С древнейших времен, с тех пор как царит эксплуатация, бедняки столько настрадались, что их мучений угнетателям никогда не искупить. Да, мы должны занести кулак над их головами, девочка моя. Не из мести, а ради святой справедливости. Ради будущего всех людей на свете. Эх, да зачем я тебе это рассказываю? Не твоей головке понять, как будет выглядеть Земля, когда все люди станут братьями. Я сам этого не представляю себе как следует, но уверен, будет расчудесно. Каждый работает не на себя, а на всех, складывает все в общую кучу, а из нее берет, сколько ему надо. Нет больше причин для зависти, презрения, жадности, расцвели самые высокие чувства человека — любовь, уважение к другим, благородство, дружба. Исчезли войны, так как нет границ между нациями и государствами, и осталась одна нация и одно государство — свободное от уз капитала, трудящееся и любящее человечество.

Ее маленький мирок ползет рядом. Осколок чужой планеты, попавший в поле притяжения Земли. Холодно и неприютно. Она не верит, не верит ни единому его слову. Красивая сказка, которую дети ее детей будут рассказывать своим детям. «Все это красиво, — хотела бы ответить она. — Знамена у вас алые, как одежды Христа. Христос тоже провозглашал любовь, одним караваем кормил тысячные толпы. Да-да, это очень красиво». Она хотела бы это сказать, но губы на замке. Она чувствует себя серой, слабой и маленькой перед этим странным человеком, создающим легенду.

Камешек на тропе, который никогда не скатится на зеленый луг, разве что скинет нога прохожего.

— Теперь тебе ясно, почему я ночами сижу за книгами? — слышит она приглушенный, сердитый голос. — А может, и нет. Наверное, нет. Смеешься в кулачок и думаешь: фантазируй, фантазируй…

— Я ничуть не смеюсь, — искренне отвечает она. — Я уважаю людей, у которых есть своя звезда, хоть и выдуманная.

Он тихо присвистнул. Не поверил! Обидно до слез: она так не хотела остаться в его глазах пустышкой или лгуньей! Но двор уже рядом, надо же наконец сказать «спокойной ночи».

— В гимназии я много читала, — торопится она. — Мне нравились книги про людей, которые за что-нибудь боролись. Часто они терпели поражение, но я все равно их не презирала. Я завидую сильным людям, Марюс.

— Вот как! Любопытно… — Протянутая для прощания рука опускается.

«Сейчас он уйдет…» Она в отчаянии смотрит на черную груду изб под звездчатым платком неба. У хлева дремлет в конуре пес. Амбар глядит испуганно и одиноко в мутную тьму. «Сейчас он уйдет…» И вдруг случается нечто неожиданное.

— Сейчас он уйдет… — Она не хотела говорить этих слов, но они сказаны. Теперь он свистнет и рассмеется. Но смеха нет: он понял, что ей надо оправдаться.

Они долго сидят на крыльце клети. Сердца открыты не настежь, но и в эту крохотную щелочку можно увидеть то, чего не замечал раньше.

— Ты не такая, как другие кулачки, — слышит она его шепот.

— Не ругайся.

Его лицо близко-близко. Ночь изменила черты до неузнаваемости. Каменное плечо теснит плечо Аквиле. Надо встать и уйти, но она не может двинуться с места.

— Не ругайся, — слабо повторила она и подняла руки, чтоб оттолкнуть его.

Но его руки тоже взлетают. Тусклый небосвод заслоняет что-то темное. Прохладное, шершавое, чужое лицо, губы, ищущие губ. Нашли! И отпрянули, словно попробовав яда. Потом прорвались слова. Слишком громкие для ночи и неожиданно злые:

— С ума мы, что ли…

Он поднялся со ступенек и ушел. Шумно, торопливо, словно убегал от лая разбуженного пса.

— Тсс, Рыжик, тсс, — вполголоса увещевала она. — Успокойся. Он совсем не чужой человек, хоть и кажется таким. — И, откинув голову, улыбнулась холодному мерцанию звезд, все еще чувствуя на себе тяжелые его руки и жаркие губы на своих губах.

III

Уткнулась мужу в спину, словно это самое лучшее место, чтоб спрятаться от прошлого. Зачем воспоминания, боже мой, зачем воспоминания! Красивая была легенда, но такая зыбкая. Хрусталь сказки пошел трещинами еще до того, как Гульбинасов увезли. Но она еще пыталась подклеивать отлетающие осколки, — он ведь был рядом. Ах, опять! Боже мой, к чему этот вчерашний день! К чему тот, что обещал обнести на руках вокруг света, и другой, под стать ему, возомнивший себя Христом-праведником? Жизнь не мечта, не фантазия, она — камень, который надо катить в гору, да еще осмотрительно, а то выскользнет из рук и придавит.

Утром Аквиле проснулась со свежей головой. Ночные мысли казались бредом больного, — спал жар, и они исчезли. Слабовата, правда, немножко, но организм ликует, справившись с болезнью. Аквиле накрывает

Лаурукаса, который сбросил одеяльце, берет ведра и идет в хлев.

— И-эх, надумала же, — ворчит Кяршис. — Скотину я сам покормлю. Иди лучше завтрак приготовь.

— Не бойся, будет и завтрак.

В теплом хлеву уютно, славно. Она бросает овцам охапку сена («Мои овечки...»), доит коров, приносит им по корзине свеклы («Мои коровушки...»), выливает борову ведро пойла («Моя свинка...»). Она ходит из хлева на сеновал, в амбар и обратно, а за ней тянется невидимая нить, связывающая ее с вещами, которых она касается то рукой, то взглядом. Словно сливается с ними, сама овеществляется, и все, что нельзя тронуть рукой, все нематериальное не вызывает теперь у нее никаких чувств. Грезы отступили перед мерой муки, корзиной свеклы, мятным шорохом сена. Душа полна коровами, которые должны давать побольше молока, свиньями, которых надо получше откормить, хозяйственными постройками, в которых станет тесно, если после войны дела примут хороший оборот.

— Завтра придет Культя крышу сеновала перекрывать, — говорит через неделю Кяршис.

Почему Черная Культя должен отрабатывать за чужую избу? Но Аквиле не говорит ни слова.

— Да, сеновал надо бы перекрыть, пока не начался сенокос, — соглашается она.

Культя приковылял, неся под мышкой доску, чтоб выравнивать солому. Веселый, языкастый. До обеда вдвоем с Кяршисом они сдирали гнилую солому с крыши. Трещат ломающиеся жерди, оба чихают. В густом облаке пыли почти не видно мужиков.

— Обед на столе! — кричит Аквиле, задрав голову.

Они не слышат, хоть работают невысоко, на нижней решетине: заговорились.

— Умеешь жить как черт, умеешь жить, Пеликсас, — разглагольствует Культя. — Даже тот парень, который

свил из половы веревку и дал брату, чтоб тот повесился, а ему все хозяйство досталось, даже тот тебя бы не переплюнул.

— Завидки берут? — недовольно ворчит Кяршис.

— Что ты, Пеликсас! — Культя искренне удивлен. — Как можно завидовать человеку в несчастье, чтоб его сквозняк.

— И-эх, будет тебе глупости пороть! Какое еще несчастье? Чего пристал? — злится Кяршис — ему с самого утра не дает покоя острый язычок Путримаса.

Культя отвечает не сразу. Запрокинул голову, смотрит вверх. А там все нарастает гул моторов. Самолеты! Не низко, но под облаками, хорошо виден их ладный строй.

— С востока, — говорит он. — Скоро услышим барабанный бой. Ишь расхрабрились после Сталинграда! Уже и днем германца навещают…

Кяршис тоже поднимает голову. Серые облака ползут по небу. То тут, то там — голубой клочок. К дождю.

— Не написано, что русские, — наконец говорит он, все еще глядя вверх. — Черные, быстроходные. Никак английские!

— Англичане все еще из воды не вылезут, чтоб им челюсти свело! — Культя подтягивает спадающие штаны, хитро улыбается. — Не придут твои англичане, далеко им. Дорогого соседушки дождемся. Заберут твои гектары в колхоз, уведут савраса в общую конюшню, поломают избу — там все в куче живут, — и лопнет твое сердечко от боли. Какая тебе еще беда нужна, чтоб тебя сквозняк?

— И-эх! Чтоб у тебя язык отсох! — Кяршис ухватился руками за пук соломы, потянул, вот-вот всю кровлю сдерет. Схватил другой, третий. Стук, треск, летит наземь гнилая солома, пыль стоит столбом.

А Черная Культя гнет свое. Теперь с другой стороны подъезжает. Эх, люди вы, людишки... Сами не знаете, чего вам надо... Когда темный человек ошибается, еще туда-сюда, а вот когда ученый среди бела дня своих ворот не находит... Умные, одно слово — интеллигенты. Когда немцы пришли, многие из них кричали «ура», думали — свободу несут, а эти освободители, глянь, их самих в трудовые лагеря загнали. Не понравилось немцам, что подбивают молодежь не поддаваться Кубилюнасу и не идти добровольцами на фронт. Со злости и литовские университеты закрыли. Мол, как вы нам, так и мы вам. Не сладко, видать, Гитлеру на востоке, раз литовские легионы понадобились, чтоб его сквозняк! Но и у наших парней губа не дура — не трогаются со своих хуторов, и что ты им сделаешь? А зачем трудящемуся идти против своих, если даже из чиновников многие бунтуют против самоуправления!

Кяршис злобно сопит, но не говорит ни слова. Тоже мудрец выискался. Политик! Большое дело эти университеты, будто книгами человек сыт. И-эх, и благодать была бы, если б немцы занимались одними книжками и деревню не трогали, но где уж там, бедный ты человек: нынче опять поставки увеличили...

— Мужики-и-и, обе-е-ед!

За обедом тоже толкуют о том о сем. Культя пробует даже подольститься к хозяевам, но Кяршис мрачен, как осеннее небо, Аквиле тоже задумалась, смотрит в тарелку...

Вечером, когда Культя ушел домой, Кяршис говорит жене:

— Ну и злыдень же этот Путримас! Сам не умеет жить и другим завидует.

Аквиле молчит. Час, всего лишь час назад она встретила Матаса Пуплесиса, а от его насмешки все еще горят уши. Не надо было говорить про поместье, но она, чтоб сказать ласковое слово, возьми и ляпни: «Так

вы остались у господ Дизе на второй год?» — «Да, тут-то хоть знаешь, что в фатерланд не увезут». Слово за слово — дошли до Черной Культи, коснулись избы Нямунисов. Неприятная тема, но Пуплесис на то и создан, чтоб плевать людям в душу. «С Нямунисами-то некрасиво получилось: стерли с земли, словно и не жили такие люди в Лауксодисе. Правда, вам с мужем это только на пользу, госпожа Кяршене...»

«Только на пользу! Вам только на пользу, госпожа Кяршене». Аквиле даже расплакалась от досады по пути домой.

— Злится, что мы аренду за избу берем. А разве не причитается?

Аквиле моет на кухне посуду. На стене мерцает керосиновая лампа с закоптелым стеклом. За печью трещит сверчок. К окну приникло мрачное лицо сгущающихся сумерек. Снова нахлынула тоска, снова гложет обида.

— Причитается? А почему причитается? — Ее разбирает злость. Она хочет поколебать этот уверенный в своей правоте голос, идущий от двери. — Скажешь, мы строили избу Нямунисов?

Он удивлен.

— Юлите мы приютили, — говорит он, чуточку подумав. — Откуда знать, может, придется весь век с ней возиться. Опекуны мы, должны глядеть за ее имуществом, пока возраст не подойдет. Если не поправится, то изба и постройки и земля насовсем... ага... четыре гектара...

— Насовсем, говоришь?

— И-эх, а как же иначе, — ведь родни-то другой нет. Если хочешь знать, это ведь наша земля, ага, — после худого года Нямунисы у нас купили. Кяршисов это земля, вот что... — гнет он свое, не поняв ее насмешки. — Пока война, с этого клочка не ахти что. Поставки, обозная повинность. Одной лошадью не

управишься, придется вторую у соседей занимать. Зато когда все успокоится, мы уж свое возьмем.

— Правда?

— И-эх, разговору нет! Четырнадцать гектаров... Тогда — вторую лошадь, еще пару коров! Гектар-другой в аренду или там исполу. Хозяин!

— Нет!

Он медленно, с трудом, поднимается со стульчика, сидя на котором разувался. Застрял в дверях кухни, мрачный, испуганный.

— Гав-гав-гав! — лает за его спиной дурочка, гоняясь по комнате за Лаурукасом.

— Нет! — повторила она, не поднимая головы от миски, в которой мыла посуду. Тарелки гневно бренчат, — Сих хутора нам ничего не надо. Ничего!

В дверях запыхтело, заохало.

Босые задубелые ноги топчутся на пороге.

— Ты... вот... так говоришь, — вырываются изо рта обломки слов. — Почему не надо? Ведь никому никакой обиды. Скажешь, мы виноваты, что с Нямунисами так вышло?

— Неважно. Пускай Путримасы там хозяйничают.

Кяршис стал точно меньше ростом. Взгляд ползет по полу — ящерица с переломанным хребтом. Корявые руки то на животе, то за спиной, — нигде не находят места.

— Гав-гав-гав, — лает дурочка у него за спиной.

— Путримасы... — наконец вырывается вздох, тяжелый, как борозда в глиноземе. — Пускай Путримасы... Думаешь, мне чужое надо? Я не такой. Кесарю — кесарево, а Кяршису — Кяршисово. Ага. Я вот какой.

— Знаю. Ты хочешь свое взять, — приданого-то за мной не получил... Но я с мертвыми не торгуюсь...

— И-эх, и скажешь! Какая тут торговля? Я же по правде хочу. Ведь Лаурукас не найденыш какой-нибудь.

Марюс... — Кяршис вздрогнул — проговорился-таки, давно не звучало здесь это имя. — Лаурукасу причитается доля, не чужой он дому Нямунисов.

Аквиле обернулась. Глаза больше, лицо бледней, чем всегда. Сложенные на большом животе мокрые руки дымятся, словно головешки, залитые водой. Губы вздрогнули, но слово застряло во рту. Взгляд, тусклый, как свет закоптелой керосиновой лампы, скользит по телу Кяршиса с головы до босых ног.

— Хоть раз ноги бы помыл...

Не голос — клубок ниток, утыканный иголками, но Кяршис иголок не чувствует: одна грубая шерсть. Ринулся, как камень с кручи. «И-эх, и правда ведь! Можно... это... помыть. Надо!» Наливает в таз воды, садится на стульчик у двери. Оживился даже: все-таки в делах последнее слово за ним, хозяином.

— Вот, положим, откажемся мы от хутора Нямунисов, — говорит он, решив утвердить зацепку. — Думаешь, не найдется желающих урвать этот кусок? Хорошо еще, что участок не примыкает к земле Вайнорасов. И-эх, Катре Курилка такого случая бы не упустила! — Замолк. Чешет икры, рассуждая, стоит ли говорить бабе все до конца. Решился. — Да что тут обговаривать. Решено. Документ уже есть. Временный, правда. Осенью волостному старшине отведу телку, беконную свинью и поставки сдам, и выправит мне бумагу навечно. Кучкайлис хотел ножку подставить. Не вышло. Есть начальство повыше его.

Из кухни ответа нет. Аквиле сидит за столом перед горкой посуды и смотрит в окно. Сумерки затопили поля. Последние островки света погружаются в темные волны океана. Полны отчаяния крики чибисов.

Глава девятая

I

Свое задание он мог выполнить проще и без лишнего риска: вызвать через связного Черную Культю и потолковать с ним где-нибудь в лесу возле Гилуже. Но когда его перебросили с Большой земли к партизанам в Вентский лес, когда он узнал о судьбе своей семьи и неверности Аквиле, ни днем ни ночью не находил себе покоя. Не мстить он спешил — время для этого было неподходящее, — хотел хоть ногами коснуться земли, которая когда-то обещала все, а теперь почти всего лишила. В нем жила слабая надежда, что где-то закралась ошибка — слишком уж неправдоподобно, чтобы жизнь опрокинула столько бед на голову одного человека. Он обязательно должен был прикоснуться пальцами к действительности, как евангельский Фома к ранам Христовым, чтобы твердо, решительно сказать: «Верую».

Лес поредел, за стволами засветилась озаренная звездами опушка. Свежий воздух весенней ночи хлынул в одуряюще пахнущий скипидаром сосняк. Повеяло сыроватой прохладой озера, нескошенными лугами. Там, за озером Гилуже, залитым молочным туманом, была родная деревня, родной дом, могила его близких. Лауксодис лежала на порыжевшем фоне неба, словно опустившаяся на землю продолговатая туча. Тяжелая, со смазанными очертаниями. Неосязаемая, нереальная и до боли настоящая, подавляющая одним своим присутствием.

Сколько тысяч километров прошел он, чтоб вернуться сюда, на развалины своей жизни! Сколько друзей потерял на снежных полях под Орлом, братьев по оружию, которые, быть может, застали бы дома неразрушенный семейный очаг и верную жену! Нет, не

тому, совсем не тому, кому следовало, сослужила службу сестрица пуля.

И вот ты, приговоренный ее милосердием к худшей доле, ползешь смертельно раненным волком по остывшему следу минувших дней. Мог выйти напрямик, но невидимая рука потащила мимо обрыва, и тут, скрючившись от боли, лижешь открывшуюся рану, пока не потемнеет в глазах. Вот тут — она, малышка, съежившаяся от холода, и ты — там, внизу, в лодке, вот и озеро, но не белое от тумана, как глаз слепого, а вздыбленное бурей, угрожающе кипящее. И странно, что все это было: и ее мучительный рассказ под свист ветра, и неожиданное чувство, впервые заставившее тебя забыть, что она кулацкая дочь.

Так и ползешь по остывшему следу прошлых дней.

Первая надежда, что она сможет тебя понять, первый поцелуй…

Банька у озера, апрельский дождь.

— Хорошо бы ты летом не уезжал из Лауксодиса на заработки…

А потом — июнь, красные флаги. Ты стоял без пиджака на балконе перед рыночной площадью, запруженной людьми. «Мы пришли на все времена, чтобы на развалинах гнета и мрака построить страну правды». Внизу шумели, кричали, махали шапками. И в бурлящем котле ты увидел ее платок, правда, с зелеными листьями, да, но по алому полю, по ярко-алому полю, — она знала, что ты почитаешь красный цвет.

— Я видел, как ты кричала и махала мне платком, — сказал ты, когда после митинга вы вдвоем возвращались в деревню. Впервые на глазах у всех. — Вот не думал, что моя девочка так политически подкована.

Она рассмеялась, заморгала черными ресницами. Ей-богу, она давно тебе казалась красивой, но такой

прекрасной ты ее еще не видел!

— Теперь ты не уйдешь копать казенные канавы. И еще: ты был такой красивый там, на балконе. Совсем как пророк! «Мы возьмем все, что нам принадлежит, и разделим так, чтоб никто не остался в обиде». Люди встречали тебя, как первые христиане Иисуса Христа… Я люблю тебя, Марюс.

Ты был счастлив, очень счастлив. По дороге тарахтели телеги, но ты сгреб ее в охапку и понес на руках — она хохотала, отбивалась — на луг, исполосованный прокосами. Ржаной лес шелестел у межи, и вы, притомившись, глядели в ясное небо, пахнущее сотами диких пчел; она гладила твое лицо и повторяла:

— Люблю тебя. Ужасно-ужасно люблю тебя, Марюс.

Тогда ты, сам не понимая почему, сел и посмотрел ей в глаза.

— Сегодня наш праздник, — сказал ты. — В такие дни люди обычно бывают добрыми и беззаботными. Но все время праздновать невозможно, в жизни наступают и суровые дни. Могут наступить. Ты меня не предашь?

Ее глаза расширились. От удивления, а может, от обиды. Но только на секунду. А потом… Ах, ты не слышал более беззаботного смеха, не видел более ясных глаз! Тебе стало стыдно, но и неспокойно. Ты подумал о хрустальной вазе, звон которой чист, пока она не упала. Но тогда тебе не верилось, что чаша разобьется, а теперь вот идешь, собирая осколки, из которых никогда ничего не склеить.

— Ничего!

Он выбрался на тропу. С одной стороны все та же молочная белизна озера, с другой — черная, шумящая деревьями туча. Да, он уже слышит душистый шелест садов; избы дохнули в лицо теплом. Весной, когда уходил лед, он бегал этой тропой к лодке, мать волокла по ней корзины с мокрым бельем, отец… сестры… И

крохотная былинка, мельчайший камешек на этой тропе целовали им ноги.

Марюс упал на колени: он внезапно обессилел. Уперся ладонями в холодную росистую траву, прижался лицом к твердой земле. Заплакать бы, — может, отпустило бы грудь, — но слез нет. Слишком много чужого горя видели глаза.

«Встань! Матерей — миллионы, только я, твоя родная земля, единая мать для всех. Пока не стыдишься припасть к лону моему, никогда не останешься сиротой».

И он встает и идет, унося с собой холодный, с травяным запахом, поцелуй земли. Пора бы свернуть с тропы, к домику Черной Культи, но родная изба рядом, рукой подать, машет ему из-за палисадника, чтоб подошел. Обнял угол дома, долго гладит руками шершавые, потрескавшиеся бревна, пьет сухой запах преющего мха. И вдруг чувствует, как по щекам побежали теплые нити. Заплакал! Впервые после стольких дней, настоящими, душеспасительными слезами. И он благодарен этому обомшелому дереву, еще плотней прижимается к нему лицом, гладит ладонями. А когда в душе остается только муторная боль и жажда мести, он отрывается от стены и кидается обратно на тропу. «Скоро полночь, в двенадцать закричат петухи». Спотыкаясь, он спешит задами, как привидение.

II

Избушка Черной Культи присела на берегу озера. Провалившаяся крыша, крохотные пыльные оконца, вместо трубы чугунок без дна. Шесть шагов вдоль, пять поперек. Банька крестьянина-бедняка, не жилой дом.

Скрипнула дверь. Марюс стоит, согнувшись, перед открывшейся черной дырой. Пальцы крепко сжимают пистолет в кармане.

— Ждешь?

— Как договорились, — дрожащий голос из сеней.

— Занавесь окна.

— Уже.

Порожек низенький — доска-двухдюймовка, — но нога Марюса цепляется за нее. Заплесневелая тьма дохнула в лицо. Но еще раньше он почувствовал на плечах руки Культи и тяжелое дыхание, отдающее самосадом. Колючее лицо ткнулось Марюсу в щеку.

Мужчины стоят, крепко обнявшись, точно без слов говоря друг с другом. Наконец, словно застеснявшись, отталкивают друг друга и входят в лачугу. Культя зажигает коптилку — в выдолбленную свеклу накрошен жир, — и видно, что глаза у обоих покраснели, лица обмякли от только что пережитой радости встречи. Марюс садится на колоду перед полуразрушенной печью. В лачуге нет мебели: Путримасы все увезли, перебираясь в избу Нямунисов. Неровный глинобитный пол замусорен, стены покрылись плесенью, в углах валяются какие-то тряпки и мусор.

Культя наклонился, с радостным удивлением всматривается в Марюса. Потом кладет ему руку на плечо, гладит, словно хочет убедиться, что перед ним действительно бывший председатель Краштупенайского волостного исполкома.

— Когда тот товарищ сказал, что ты хочешь со мной свидеться, сердце в пятки ушло. Жив! А мы-то уже тебя оплакали. Жакайтис тебе крест поставил, чтоб его сквозняк, а мы и поверили! Кулаки Лауксодиса на радостях даже заупокойный молебен заказали. Вот не повезло кое-кому, сбеситься можно!

Культя тихонько хихикает. Теперь он присел на корточки напротив. Марюс тоже смеется. Глаза у обоих

подозрительно влажны.

— Ты, Пятрас, как был грубошерстный, так и остался. Не причесало тебя самоуправление.

— У нас, бедолаг, шкура особенная: чем больше лупят, тем она толще.

— Не у всех. Сколько наших ребят продалось! В первый советский год львами рычали, а теперь шелудивыми щенками тявкают. Пуплесису не говорил, какое дело?

— Зачем ему загодя знать? Пускай думает, что зову помочь самогон гнать. А дальше видно будет. Должен бы уже прийти.

— Не доверяешь?

— Нет, почему? Матавушас не пустозвон. Только баба у него такая же дуреха, как моя... «Убьют, поймают, увезут, не суйся, куда не следует...» И с детьми у него неладно: тот, что после Миграты, Кестумерас, записался на трудовую службу рейха, на Гитлера батрачит, а Мигрmaта в поместье присохла. Верная раба. Ей неважно, кто поместьем управляет — американец, Гульбинас или немец Петер фон Дизе, барин — и точка. А наш Матавушас, может, слыхал, тоже в поместье увяз. — Марюс кивнул. — С лета сорок первого года. Как выпустили, так он прямым ходом туда. Осуждать нечего — надо ж где-то работать. Его семь гектаров баба с младшими детьми обиходит. А у господина Петера как у Христа за пазухой: не заберут, в Германию не увезут. Рабочая сила! И не простая. Он там вроде старшего, за пленных отвечает. Несладко мужику. Жаловался. Если из пленных, что в поместье работают, кто-нибудь сбежит, прощай головушка, чтоб его сквозняк.

Марюс сосредоточенно глядит на свекольную коптилку, потрескивающую на печи. Воняет горящим бараньим жиром. Тусклый розоватый свет пытается

рассеять тьму и, умаявшись, черными тенями ложится у стен.

— Кестумерас собирался в комсомол, — говорит он, не меняя позы.

Культя, словно пес на задних лапах, все еще сидит на корточках.

— Собирался в комсомол, а оказался у фашистов, немецким офицерам честь отдает. Искатель приключений. Так он и сказал отцу: «Чихал я на власти, все они на одно лицо, хочу свет повидать». Когда немцы напали, тоже искал приключений, чуть с нашей Красной Армией не отступил, да болезнь скрутила. Пути господни неисповедимы, как говорила моя покойная матушка…

— Да, проглядели человека. — Марюсу неприятно, что Культя присел на корточки напротив. Он встает с колоды и долго молчит, словно решив почтить память погибшего. — А почему Пуплесис так легко отделался?

— Легко?! Чтоб его сквозняк, такую легкость! Четыре зуба в полиции оставил, а спина… Не надо так говорить! Мужик стекла жрал, а теперь горбушку с трудом осилит. По нему полная телега народу проезжала, помнишь? Больше такого цирка не увидишь. С трудом мешок пшеницы в клеть заносит. Отстрадал свое, завидовать тут нечему. Кто знает, может, опять бы забрали, если б не поместье да Кестумерас со своей службой рейху… А насчет того, что выпустили, в нашей волости не один он выкарабкался. Адомас Вайнорас… Спутался с убийцами, но резал не каждого, кто на мясо годился. Кое-кому помог, это точно. Старался, сколько служба позволяла.

— Адвокатствуешь? — Марюс зло хмыкнул, посмотрел с укором на Культю, привалившегося к печи. Изуродованная левая рука (остались только два пальца — большой и указательный) гладит лацкан пиджака. — Адомас пока крепко держится и без адвокатов. Не

перевелись еще наивные людишки, верящие, что их оставили в живых из христианского милосердия. Уважение к литовской крови? Да, без уважения к арийской крови фашист не был бы фашистом. Но есть и другая сторона — какая польза Адомасу от мертвого раба? Кто после войны будет гнуть спину на кулака да фабриканта? Знай они, что проиграют, камня бы на камне не оставили, мой мальчик.

— Знаю, знаю — Культе стало стыдно. — Не защищаю я их, только говорю, как с Пуплесисом вышло. Чтоб у них глаза вытекли, если я их защищаю!

— Не обижайся. Я зол на них, как черт. Никогда добрым не был, а после всего, что пережил, начинаю беситься, как только слово в их защиту услышу. Ты бросаешь в них снежки, а надо камнями, камнями, камнями! Да еще раскаленными добела! — Марюс взволнованно кружит в тесной кухоньке, словно зверь в клетке. Культя, вытащив из кармана кисет с самосадом, проворно скручивает цигарку.

— Известное дело, тебе есть чего беситься, — многозначительно говорит он. — Но и меня они по головке не гладили. Получил клочок земли, только-только зажил — отобрали. Пуплесису тоже не за что их благодарить. Каждый из нас обиду в сердце затаил, не бойся.

— Мы встретились не обиды считать. — Марюс взял из рук Культи кисет, оторвал край газеты для самокрутки. — Если станем тут свои раны бередить, только ослабеем. Лучше подумаем о других. Нам надо, чтоб в сердце вместились обиды всех людей. Ненависть — лучшая взрывчатка. Такой бомбой мы самого дьявола взорвем.

Культя, утонув в облаке дыма, крутит головой. Засыпал бы Марюса вопросами — очень уж не терпится узнать, как он пролез сквозь игольное ушко и оказался тут, — но после того, как гость его упрекнул, не

осмеливается лезть с расспросами. Оба попыхивают цигарками, глотают злой дым и озираются: куда этот Пуплесис делся, чтоб его сквозняк?

— Как Джюгасы живут? Гедиминас?

— Живут. Хорошие люди. Когда мать выгнала Аквиле из дома, старик приютил бедняжку. — Культя осекся, увидев, что Марюс подавился дымом и уткнулся взглядом в дверь. — Гедиминас иногда к нам заходит, с моей бабой вместе кумовьями были... хм... Не побрезговал и на пасху прийти, хотя стол у нас был небогатый. Из гимназии уходит, чтоб его сквозняк. «Хочу, говорит, честным трудом хлеб зарабатывать». Старик Джюгас, известное дело, не скачет от радости. Куда уж тут: столько мучиться, учиться — и опять в деревню грязь месить.

— Вот те и на! — Марюс не на шутку удивлен. — Не думал... Видел, стоящий человек, но все же соответствовал всем требованиям, чтоб играть в оркестре Кубилюнаса. Да, после Сталинграда многие роют для себя новый окопчик.

Культя неодобрительно пожимает плечами. Роют окопчик... Может, и роют, но Гедиминас не такой человек, чтоб про него думать худо. Не свой, но и не враг же. Марюсу, ясное дело, этого не скажешь: еще в кумовстве обвинит. Да и некогда говорить: кухонное окошко отозвалось условным стуком. Пуплесис, Матавушас!

III

Пуплесис стоит, выпучив глаза, словно прирос к порогу. Рот разинут, губы дрожат, руки не находят места.

— Что ж, Матавушас, своих не узнаешь? — треснула тишина.

— Нямунис… — пролепетал Пуплесис. — Как это ты тут? Откуда? Марюс… Во сне и то не снилось…

Марюс шагнул к Пуплесису. Тогда и тот, уже поверив глазам и ушам, двинулся с места.

Мужчины обнялись.

— Выходит, уцелел?..

— Пришлось уцелеть. Много дел не сделано.

— Да-а… Жить надо…

— Жить? — Марюс выпустил руку Пуплесиса, ласково подтолкнул его к колоде. — Садись на мое место. Матавушас, ты среди нас старший… — Сам уселся на плиту рядом с Культей и продолжил мысль: — Жить, говоришь? Жить нынче нельзя. Одно из двух: или гнить, или бороться.

Пуплесис сжал пальцами нос, высморкался и, вытерев руку о штаны, как отрезал:

— Много навоюешься, если калека…

— Почему калека? Неужто фашист из тебя душу вытряхнул?

— Зачем душу? Душа у нас есть, и черту ее не продали. Только вроде бы смысла нету… Да что я тут… Лучше ты свои бублики вытащи из лукошка. Как, что, откуда? Скоро ли проклятая война кончится? Мы-то сидим в этой дыре, слепые, как черви, ничего не знаем.

— Мои бублики не зачерствеют, успеется. Сперва тот разговор договорим. Почему это нет смысла? Помещичьи пироги понравились?

Пуплесис неспокойно заерзал на колоде, подавшись вперед всем тяжелым, квадратным туловищем. Коптилка горит неровно, в пляшущем свете лицо Пуплесиса кажется распухшим, зыбким.

— Теперь-то уж верю, что ты воскрес из мертвых, — насмешливо говорит он. — Всегда умел пребольно языком хлестнуть.

— Правда глаза колет, дядя… — в тон ему отвечает Марюс.

— Помещичьи пироги у меня поперек горла стоят, если хочешь знать. Думаешь, от хорошей жизни дал себя привязать заместо собаки у конуры? Были бы у тебя дети, жена, хоть и дура, сам бы увидел…

— Зачем валить на детей? Они все равно тебя не спросились, идут своей дорогой.

Пуплесис облокотился о колени и смотрит в пол. Широченные плечи (на них серый домотканый пиджак) застыли.

— Детьми попрекаешь? — Голоса почти не слышно. Слова булькают в горле — это сердце кровоточит.

Марюс запнулся. Даже неудобно стало. Подошел бы положил руку на склоненную голову («Не обижайся, старик…»), да нельзя, — черт знает, куда повернешь дело.

— Не о детях, о тебе разговор, — говорит он помягче. — Другие твоего покроя, дружище, поворачивают оглобли в лес, а ты: «Вроде и смысла нету…» В сороковом был смысл, в сорок третьем — нету. Как же это получается? Что изменилось? Ведь советская власть та самая?

— Там, где она есть, может и та самая, а тут — немцы, самоуправление, мы с тобой их не свалим. Армия все решает. Как в сорок первом. Придет без спросу, если надо будет прийти, и наведет порядок. А откуда, какая — нам еще не известно…

— Чушь порешь! — не выдержал Культя. — С востока, советская, какая же еще?

— Ну пускай с востока. Обрадуемся, что оттуда, наши, товарищи, но… видишь ли, мы ученые… Помним восемнадцатый. Тоже ведь создавали советскую власть. «Валё! Ура!» Весь мир завоюем. Отпихнули нас белые в-сторону. А в сороковом мы их опять подмяли. «Валё! Ура!» Никто нас не победит, шапками закидаем мировой капитализм. Поднялся с запада хилый немчик — так ведь говорили — и прошел по Литве за три дня, как

горячий нож сквозь кусок масла. Да уж, можешь решать, как хочешь, звать того или там другого, а придет тот, кому положено прийти.

— Продался, Пуплесис…

— Случай был, да не сделал я этого. Я не Жакайтис. И не продамся, не бойся. Хоть гнию или воняю — хорошо не расслышал твоего слова, — но себя-то я уважаю. Советская власть для меня что мать родная, хоть два раза уже бросала своего сына…

— Мог бы догнать, если бы захотел. Видно, тебе и среди чужих нянек неплохо.

— Не оскорбляй.

Марюс какое-то время молчит, справляясь с гневом, потом, поостыв, продолжает:

— Он, видите ли, себя уважает. Самоуважение! Со смеху лопнешь. Уважающий себя человек не выставит задницу тому, с кем вчера целовался. И не будет рассуждать, как мелкий купчик, что выгодно, а что не выгодно. Если у тебя, человече, есть идея, которая люба сердцу, да и ум к ней склоняется, какая тут может быть торговля? С кем и против кого? Уверен, что правда на твоей стороне, — вот и стой до конца. Голову сложи, если надобно! Ты не дождешься победы, другие дойдут. Восемнадцатый… сороковой… Слушать противно, дядя Пуплесис. Если б все рассуждали по-твоему, Красная Армия давно бы сложила оружие и ты бы даже подумать не смел о том, что наши вернутся и ты сможешь опять отъесться, как изголодавшийся за зиму медведь.

Пуплесиса как будто и нет. Какой-то четырехугольный чурбан торчит в углу. Голову втянул в воротник, лицо спрятал в ладонях. Даже уши прикрыл — может, для того, чтоб ничего не слышать?

— «Армия решит…» Армия и решает, должен бы это знать, если наслышан о положении на фронтах и, разумеется, не считаешь этих сообщений пропагандой.

После Сталинграда немцы начали оглядываться туда, откуда пришли. Красная Армия выгнала их с Северного Кавказа, очистила Курскую, Ростовскую, Воронежскую области, подошла к Смоленску, прорвала кольцо блокады Ленинграда. Японцы с турками стянули войска к нашим границам, собирались навалиться, как только падет Сталинград. Не дождались… Ясное дело, теперь уже не полезут. Армия героически выполняет свой долг перед Родиной. Солдаты тысячами гибнут, думая только об одном — любой ценой добиться победы. Победы! Все для победы! — вот что теперь важнее всего. Чем быстрей она будет завоевана, тем меньше придется сложить голов.

Пуплесис молчит. Марюс тоже замолк, спохватившись, что слишком уж раскричался. Культя шуршит босыми пятками по оштукатуренной плите. Сквозь закрытые ставни доносится пение первых петухов.

— По всему видно, прищемили Гитлеру хвост, — говорит Черная Культя. — Газеты об этом писать не желают — сокращаем, дескать, фронт из тактических или каких там соображений… но хари у всех почернели, смотреть любо, чтоб их сквозняк. Намедни остановились в деревне, за яйцами охотились. Зашел австрияк с подкороченной ногой, провел ладонью по шее и говорит: «Гитлер капут, камарад». Знаешь, сам не почувствовал, как отрезал кусок сала, даже этих его соломенных сигарет не взял…

Культя фыркает, как всласть навалявшаяся лошадь: нищему за хорошую молитву всегда дают милостыню. Его ноги мелькают, барабанят задубелыми пятками по стенке плиты. Он уже выиграл войну, поднимает знамя победы над развалинами Берлина. Но Марюс тут же остужает его пыл. Ну-ну, разогнался… Немец еще не выдохся. Тотальная мобилизация вольет свежей крови. Пока ее не выпустим, немало своей кровушки придется

отдать. Конечно, наше дело правое и победа будет за нами, но победим мы, только сражаясь, а не хлопая в ладоши, как зрители в театре. Понятное дело, даже пока мы сидим тут, растет дерево свободы. Его поливает своей кровью вся Советская страна — тысячи партизан. В России даже женщины и дети бьют немца. Выходит, не одной только армии заслуга, если твой австриец сотворил молитву: «Гитлер капут». Когда придет время жатвы и мы не сможем похвастаться тем, что подсобили на севе, не очень-то приятно будет печь хлеб из чужой муки. Культя прикусил губу. На впалых щеках проступили красные пятна. Увечная левая рука нервно потирает лоб.

— Ты не крути, — буркнул он, — ты прямо говори, чего хочешь. — Шлепнули об пол босые ноги. Культя, пыхтя, присел перед топкой плиты и, загнав туда руку по плечо, вытащил испачканный золой сверточек. В холстинке бутылка самогону, хлеб, несколько луковиц, кусок окорока. — У меня шестеро ребят, но я не из пугливых, — продолжал он, расставляя угощение на плите рядом с Марюсом. — Старшему пятнадцать, и баба крепкая, жить умеет, выкрутится и без меня. Думаешь, сам так и сяк не прикидывал? Не раз руки чесались, чтоб их сквозняк! Да что тут с голыми руками?.. Где-то в лесах, слыхать, партизаны зимой объявились, а вокруг нас тишь да гладь. Не побежишь же по уезду с криками: «Эй, от-зовись, Черная Культя на помощь идет!»

Сдержанная улыбка чуть тронула лицо Марюса. Отрезал кусок сала, набил рот, стараясь унять волнение.

— Ты еще человек, Пятрас. — Голос спокойный, но сердце скачет, как теленок, выпущенный весной на выгон. — Я не ошибся, когда верил, что в Лауксодисе хоть один останется.

— Бабе нельзя говорить, куда ухожу: всю деревню на ноги поднимет, чтоб у нее язык пупырями пошел. — Культя опрокинул чарочку, наполнив, сунул Марюсу, энергично мелет зубами луковицу. — Оставлю записочку и — фьють! — в лес. Дай только недельку на сборы — надо кое-что дома перед уходом переделать.

IV

Пуплесис присох к своей колоде. Выпил стопку, поданную Марюсом. Когда подошла очередь — вторую и третью. «Ты еще человек, Пятрас...» Помутневший взгляд скользит по неровному полу. Остановился на двух парах ног — босых, раздувшихся, словно две жабы, и в сапогах; и на тех и на других та же пыль земли. Они так близко друг к другу и так далеко от колоды... Подняли стаканчик («За твое доброе сердце, Пятрас!»), рассмеялись («Кучкайлис, чтоб у него челюсть отвисла, тоже Пятрас...»), разговаривают, словно третий чучело, не человек. «Ты закусывай, закусывай, Матавушас», — вспоминает изредка Культя и, подцепив ножом, сует кусок ему прямо в рот, словно он гусак-откормок...

— Нет уж! — слышит он преувеличенно бодрый голос Марюса. — Дешево хочешь отделаться, братец ты мой.

В одиночку уйти в лес любой может, а ты вот приведи десять, двадцать, чтоб сразу новый отряд создать, тогда будешь молодцом.

— Чего? Лошадей или коров, чтоб их сквозняк? Откуда? Я вижу, ты пить разучился, товарищ Нямунис.

— Откуда? А пленные? В поместье их, кажется, дюжины полторы...

Марюс замолчал. Неоконченная фраза повисла в воздухе, задрожала, и Пуплесису показалось, что две ноги — босая и обутая — подозрительно подпихнули

друг дружку. В ушах зашумело, колода вдруг превратилась в пружину, начала выпрямляться, поднимать тяжелый квадрат тела. За густой завесой дыма он увидел два удивленных лица и свой кулак — темную, узловатую массу, поднятую к груди Марюса.

Марюс откинулся, стараясь высвободить ноги, прижатые к плите, но в ту же минуту рука Пуплесиса бессильно повисла.

— Значит, меня списали? Эх, ты!.. Мы с твоим отцом в восемнадцатом за красное знамя кровью харкали. Сопляк! — Отхаркнувшись, плюнул под ноги и повернул к двери.

— Матавушас!

— Пуплесис!

Остановился, но уже у дверей в сени.

— Струхнули? — бросил не оборачиваясь; эти двое выбежали за ним из кухни. — Что ж, стреляйте в спину. Думаю, у Марюса найдется штучка для этого дела. А-а, шуму боитесь? Тогда топором! Сходите за топором, я подожду. Не хочу, чтоб из-за меня у вас поджилки тряслись.

— Матавушас, ну что ты, чтоб тебя сквозняк... Бутылку-то не допили...

— Оставь его в покое. Видишь, у человека нервы пошаливают. — Марюс подошел поближе, потянулся было к плечу Пуплесиса, но рука отскочила, как от невидимого препятствия. — Никто не может списать человека, Пуплесис, если он сам того не хочет. Иди домой, перевари, что услышал, и все хорошенько обдумай. Все! Начиная с восемнадцатого, когда ты кровью харкал, и кончая сорок третьим, когда можно не харкать и остаться в крови. Если захочешь сказать что-то новое, наш Культя тебя охотно выслушает. Спокойной ночи!

.....
.....

— Только осторожно, Пятрас. Зря головой не рискуй. Когда все будет готово, дай нам знать.

— Не твоя забота, сумею.

Марюс обнял Культю. И теперь, когда главное уже было сделано, напряжение спало, и хрупкая скорлупа, под которую он великим усилием воли загнал свои чувства, вдруг превратилась в черепки. Нет, он не может, не может просто так уйти.

— Послушай, Пятрас… — Отвернулся, оттолкнув локтем Культю. Опущенные плечи тяжело вздымались. — Ты был тогда в деревне, видел, как их всех?.. Отца, мать….

— Нет-нет… Мы с бабой у Гринюса свеклу убирали. Эх, Марюс, стоит ли надрывать сердце, все равно из могилы их не поднимешь…

— Значит, свеклу убирали? И никто не знает, как там все было?

— Да никто из наших не видел. При этом только староста, Кучкайлис, был. Сказывали, будто Пранас, твой отец, когда Юлите проговорилась, эсэсовца ногой в живот ударил. Тот сразу за револьвер и на месте… в голову… Генуте… после всего в чулан бросили, так она там… под балкой… Не вынесла позора, бедненькая…

— Ты говори, говори.

— Когда они, заперев Генуте, эту святую мученицу, в чулане, бросились к амбару, Юлите побежала по деревне, кричала. Ее-то не тронули. Видать, сами устыдились своего зверства, — что ни говори, все ж в людском обличье. А Казюне, вечная ей память, твою мать, и мальчонку Фрейдке увезли в Краштупенай. Со стариком Джюгасом мы ходили к Дангелю, просили тело отдать: вывесили же объявление, что расстреляна за укрывательство евреев… Куда там! Предложил место для своей могилы присмотреть… Так и похоронили только отца с дочкой. Да и то не на кладбище — староста запретил, чтобы у него глаза вытекли. Но

земля Французской горки святее их кладбища, ведь не водой, а кровью невинной освящена.

Оба долго молчат.

— Как по-твоему, кому я должен за все это?..

— Да уж не знаю… Такими делами хвастаться не будут. Но наш староста, Кучкайлис, слишком уже усердствует… Может, еще посошок на дорожку?

— Налей.

Культя резко повернулся и зашлепал в кухоньку. Когда он вернулся со стаканчиком, Марюс, прислонившись к стене, раскуривал угасшую самокрутку. Лицо было спокойно, твердо, покрасневшие глаза сухо блестели.

— Надо бы встретиться с Гедиминасом. Поможешь, — сказал он, словно они только об этом и говорили. Но едва очутился на дворе, тиски деланного спокойствия ослабели; вот-вот бросится назад в лачугу Культи. «Как поживает Аквиле?» Сколько раз этот вопрос вертелся на кончике языка, но он так и унес его с собой, не смог произнести. Гордость не позволила допытываться, а Культя умышленно избегал этой темы, боялся бередить рану. Так и остался с тем, что уже слышал от товарищей в отряде — замужем, растит их малыша, скоро родит второго от Кяршиса. Правда, Культя ненароком обмолвился, что Кяршисы берут с него плату за хозяйство Нямунисов; Пеликсас, дескать, нашел подходящую пару, оба умеют из воды масло спахтать. Невзначай оброненная фраза подтвердила подозрение Марюса, что он не знал Аквиле. Совсем иного ждал он израненным сердцем, теперь же хотел только заглянуть в предавшие его глаза и увидеть в них отчаяние, но был почти уверен, что этого не произойдет — она, конечно, не несчастлива, и ему будет нестерпимо увидеть ее равнодушие. И все-таки не мог совладать с собой. «Я должен увидеть сына. Может, в

первый и последний раз в моей жизни», — внутренне оправдывал он себя.

«Ты войдешь в этот безмятежный замок и потрясешь его до основания. Королева спит и видит сладкие тупые сны, но ты вытащишь ее из постели и, захлебываясь, будешь любоваться тем, как горит картонный дворец лжи и обмана. Нитка за ниткой, ты сорвешь с нее одежды, которыми она укрылась от испытания верностью, и если в ее душе осталась хоть капля от Аквиле тех дней, она увидит свое бесстыдное убожество. Ты взбаламутишь ее душу и уйдешь, навеки захлопнув дверь, за которой теперь будет пахнуть жирным борщом и вкусным хлебом, но не будет счастья. В жизни каждого человека, скажешь ты, настает час, когда приходится бороться с соблазном продать себя. Ты проиграла, Аквиле, и я пришел тебе это сказать, чтоб ты знала, что потеряла. Насмешка? Может быть. Бесчеловечность? Жестокость? Неуважение к себе? Возможно. Не оправдываюсь. Война — горнило, в котором закаляется сердце; часто от него остается лишь кусок запекшегося шлака. Так что потише, госпожа Кяршене. Ты нежилась на белой простыне, а моей постелью было кровавое поле боя».

V

Я лежал на бескрайнем снежном кладбище — тяжело раненный, но выигравший битву солдат, — и думал об единственной пуле, оставшейся в барабане нагана. Слава судьбе, левой рукой я еще владел. Приставлю холодное дуло к виску, спущу курок, и все кончено. Санитары, всегда идущие по горячим следам боя, найдут одним трупом больше и закопают его в степи среди мертвецов, вместе с другими, обретшими под небом России новую родину. Кончатся холода,

голод, бессонница, не придется скрипеть зубами от боли, пока тебя отремонтируют в госпитале, а потом, отдохнувшего, еще более стосковавшегося по жизни, снова бросят в пасть смерти, и ты с криком «ура» опять побежишь вперед, сквозь этот бесконечный ад, мимо плюющихся огнем орудий, корчащихся в агонии тел, где перемешались свои и враги, мертвые и умирающие, а затем, отброшенный назад или прорвавшийся вперед, снова по-звериному обрадуешься, что уцелел, оплачешь сердцем погибших товарищей и как бы в награду за это съешь их паек.

Нет!

Теперь сам удивляюсь, как я мог так распуститься. Краснею от одной мысли об этом, но не стану оправдываться: кто не был там, меня не поймет, он ведь не делился с товарищами последней затяжкой, не ломал последнюю галету на части, оставляя себе самую маленькую, хоть и не знал, когда (может, завтра, а может, и через несколько дней) подвезут скупые солдатские харчи; ему трудно даже представить себе, что человек может спать на ходу, а упав — не проснуться и замерзнуть на снегу, если его не заметят и не разбудят товарищи. Страшно, госпожа Кяршене? Да, но все это еще куда ни шло, если хватает патронов, а за спиной слышен бодрящий гул своей артиллерии; если знаешь, что где-то между тылами и тобой протянута непрерывная цепочка снабжения. А ведь мы угодили в эти жернова тогда, когда артиллеристы еще только смазывали колеса, собираясь менять позиции, а обозы с продуктами и боеприпасами ползли в десятках километров от нас по глубокому снегу. Верным братом, на которого можно было положиться в решающий час, оставался штык, а когда он выходил из строя — приклад, ну и кулаки. Но пока до них еще не доходило, мы ухитрялись отбивать атаки врага, а кое-где и сами прорвались вперед, пока не кончились боеприпасы и

бутылки с зажигательной смесью, которые действуют наверняка, если бьешь их о гусеницы танка.

Итак, в нагане оставалась одна пуля, и я воспользовался бы ею, если... если бы не этот раздирающий душу стон где-то рядом. Я перевернулся на бок, заскулив от боли, и в двух метрах от себя увидел дергающийся ворох тряпья. Неподалеку лежал ботинок, из которого торчало что-то розовое. Вторая нога, видно, была отброшена взрывом дальше, или на нее упал свалившийся рядом труп. Осколок мины, как хирургическим ножом, вспорол живот немца до самой груди, и дымящиеся внутренности выползли на снег, словно перекисшее тесто из кадки. Но верхняя половина тела была незатронута, сердце по-прежнему качало убывающую кровь, а мозг понимал бессмысленность этих страданий. В мыслях он уже попрощался со своим фатерландом (русский мороз вскоре докончит то, что не доделало оружие). Я видел его умоляющие глаза, направленные на мой наган. Каким бы богатым он ни был, этот завоеватель с кишками наружу, в этот миг он знал, что самое большое богатство — пуля в лоб.

У меня была эта пуля! Если бы о ней просил смертельно раненный товарищ, я бы послал ее, не думая ни минуты, как отдают последний кусок хлеба или глоток воды, хотя потом самому бы пришлось умереть в ужасных муках. Но ее, мою последнюю пулю, просил враг! Пришелец из мира сверхчеловеков, принесших всем мучения и несчастья, он сам, наверное, до этой минуты не ведал, что такое человеческое страдание. Нет, я бы помог больной скотине, но не этому представителю чистой расы. Я сам испугался своей ненависти. Нет! — мысленно вскричал я. — Не знаю, кто ты — горожанин или крестьянин, — но тебе не надо было сюда приходить. Следовало знать, что нет на свете человека, который не дорожил бы своим домом,

не хотел бы любить свою женщину, растить детей — ведь куда приятней поваляться по воскресеньям на лужайке с любимой, чем лежать здесь, в морозной степи мертвецов, обняв винтовку или свои вывороченные внутренности. Это по твоей вине земля пьет людскую кровь и слезы, как воду, а я скоро приставлю к своему виску наган и спущу курок. Да, но не раньше, чем ты околеешь, потому что моя смерть может обрадовать тебя. Нет, ты не дождешься от меня таинства соборования. Лучше уж прицелюсь из нагана в твою пожелтевшую харю и, едва ты растаешь от блаженства, думая, что грянет минута освобождения, опущу оружие и рассмеюсь. Разве не смешно, — сверхчеловек, взывающий о милости у неполноценного раба?! Железный фриц теперь раздавлен — жук, чудом сохранивший голову, шевелит передними конечностями….

От него шел смрад.

Я поднял наган и усмехнулся, вкладывая в эту усмешку все презрение, которое может испытывать человек только к самой ничтожной твари на земле. Его губы искривились, наверное от боли, но я подумал, что он хочет плюнуть мне в лицо. И вдруг в его неестественно расширенных глазах я увидел нечто ударившее меня словно током.

Я откинулся на спину и закрыл глаза. Тело стало легким, как трухлявый пень. Не то мое, не то чужое тело. Я словно отделился от себя и, вынырнув, как уж, из прошлогодней шкуры, двинулся по старому извилистому следу туда, откуда приполз. Пространство вокруг наполнилось солнцем и хрустальным воздухом полей. Охваченный щемящей радостью, я слушал доносящийся отовсюду щебет птиц и видел, как в голубом куполе неба отражаются кудрявые чащи темных лесов, как от них катятся зеленоватые волны, омывающие хутора и людей на полях. Я смотрел на

тебя, моя девочка! Да, на тебя, потому что, еще не сбросив старой шкуры, я уже слышал мягкий шорох твоих шагов, за которыми двигалось это солнечное утро. Неважно, что ты тогда убежала, оставив в захламленном дворе свой узелок, и последним воспоминанием, которое я увез вместе с образом своей отчизны, был не твой взгляд, полный боли разлуки, а твоя согбенная спина; это неважно — все равно я за сотни километров расслышал нежный шелест твоих шагов. И видел твои глаза, а не боязливо ссутулившуюся спину, любящие, истосковавшиеся глаза и нетерпеливые губы, ласково улыбающиеся и зовущие. «Ты вернулся? — говорила ты. — Я верила, ты вернешься. Человек не может не вернуться, когда его ждут». Ты была в красном платке, том самом, которым махала мне на митинге тогда, в июне, а на руках ты держала крохотного человечка — нашего ребенка… Да, моя девочка, у тебя на руках я видел нашего ребенка! Его большие голубые глаза глядели чуть удивленно, но ротик улыбался, и хрупкие бледные пальчики, словно ростки в погребе, тянулись к щетине на моем лице. «Вернулся… вернулся… вернулся…»

Я открыл глаза, почувствовав на щеках замерзшие слезы и посмотрел на серую пустоту впереди. Лета не стало. Ни кудрявых лесов, ни зеленоватой волнистой земли. Но я все еще видел твои улыбающиеся глаза, слышал шепот истосковавшихся губ, зовущий вернуться, чувствовал на своем лице хрупкие пальчики ребенка, — они ломали каменную оболочку гнева, сковавшую сердце солдата, сквозь тлен пробивалась весенняя травка.

Я перевернулся на бок и, прицелившись, спустил курок. Но вряд ли он уже нуждался в последнем моем патроне: глаза больше не умоляли, обезумев от боли, глаза были холодные, спокойные, они с благодарностью глядели на русскую зиму, которая подчас бывает

милосерднее к человеку, чем другой человек. Да, чем человек к человеку, госпожа Кяршене... Вы только не подумайте, что я пришел сюда жаловаться или вымаливать подаяние, как умирающий немец пулю. О нет! Я хотел только, чтоб ты узнала, как я тебя любил. И еще пожелать: будь счастлива и дальше, будь счастлива, если можешь, после того, что сейчас услышала.

VI

Марюс в нерешительности остановился у покосившихся ворот хутора. Приоткрыты — толкнешь плечом, и окажешься во дворе. С одной стороны амбар, хлев с телегой перед ним, журавль колодца, нацеленный в побледневшее небо, словно черное дуло орудия, шорох росистого отцветшего сада... С другой — жилая изба, новое крыльцо, лавка у стены. Сесть бы и потягивать самокрутку, пока дверь не откроется сама... Гнев прошел, нет той обиды, которая пригнала его сюда. Только удивление, щемящая тоска: «Чего это я здесь?» Понурив голову, он смотрит себе под ноги, на утоптанную землю двора. Под лавкой куча гравия, темнеют какие-то предметы. Колени сами подкосились; присев на корточки, он лихорадочно рассматривает этот клочок земли. Игрушки! Его игрушки!.. Пустые спичечные коробки, банки из-под сапожной мази, обломанная ложка, черенок ножа. По кучке гравия идет борозда — недоконченный канал. Тут же торчит черенок деревянной лопатки — сегодня мужчина будет копать дальше...

Марюс протянул руку, гладит гравий. «Каждый камешек трогали его пальцы...» Руки ощупывают землю вокруг канала (осторожно, только осторожно, не разрушь его!), и камешек за камешком — в ладонь, в

ладонь, в ладонь… Вдруг — тр-рах! Наступил на что-то. Ракушки! Белые, пестрые, рыжие скорлупки — его коровы, овцы, свиньи… Богатый хлев маленького крестьянина, которому он вчера радовался, расплющила нога взрослого человека. Марюс огорченно отыскивает взглядом уцелевшие ракушки. Собранные камешки скользят между пальцами. Зло лает собака. Учуяла чужого! «Чужой, чужой, чужой… Чего тебе здесь надо? И так ребенок из-за тебя будет плакать…»

Вскочил, согнувшись, пробежал вдоль палисадника, как бродяга, в которого швыряют камнями. Ворота открыты, словно пасть зверя. «Гав-гав-гав!» В душе — хруст гибнущих зверюшек-ракушек («Ох, мои коровки, мои овечки!», в руке — единственный уцелевший камешек. «Сволочи, сволочи…» — шепчет он пересохшими губами, сам не понимая, про кого это. «Сволочи, сволочи…» Обходит избу с другой стороны. На штакетины надеты горшки, глиняный кувшин; сохнут какие-то тряпки. Крапива и лопухи лезут в палисадник, а оттуда высовывают головки цветы. Одуряюще пахнущие цветы. Особенно в сырую майскую ночь, в самое цветение сирени. Большой, раскидистый куст сирени, пол-избы заслонил. Марюс налег на забор и погрузил лицо в благоухающую листву. Тяжелые гроздья цветов до боли сжимают щеки холодными ладонями, из цветов сочится роса, она катится ледяными капельками за шиворот, щекочет грудь. Где-то над головой, в ветвях, шуршит, просыпаясь, птичка. «Цак-цак-цак…» — как ножницами щелкает по белесому прохладному предрассветному одеянию. Все сильней, поспешней, все шире замахивается. Прорезала-таки! Марюс затаив дыхание смотрит на темную щель, открывшуюся в листве. Окно! За ним — теплая постель, она и он. «Вставай, Пеле, вставай. Уже светает», — наверно, говорит она. Зевок, ворчание. «И-эх, чуть не проспал… Ну и распелись же петухи! Ты на них не зла?»

Ясно, зла. Оба злы. И еще не так поздно, чтоб не было времени потолковать... «Сволочи, сволочи...» Вытащить бы пистолет и — ба-бах! — в эту черную щель! Воздух ведь пахнет не только хлебом и непроветренной периной; кто-то не спит и умирает, когда в это время они... Надо бы им об этом напомнить, черт!..

Рука скользнула в карман. Но в другой. Там только крохотный шершавый камешек — на память, с берегов ребячьего канала... «Спи, сладко спи, мой малыш...» Оторвавшись от забора, долго вытирает рукавом лицо. Тревожный взгляд на побледневшее небо, где одна за другой тают звезды, на светающие поля, на хутор, полный гомона просыпающихся птиц. Хлопнула створка окна. Не этого, что за цветущей сиренью, а другого — в конце избы. Тяжелые шаги, кряхтенье. Плевок.

— И-эх, в самый раз, в самый раз, — зевая, говорит он. — Пойду задам саврасу овса.

Что-то нашаривает в утреннем полумраке. Задел что-то, опрокинул. Голос Аквиле, но слов не разобрать, — видно, из другой комнаты.

«Пойду задам овса...» Прижав ладонь к груди, он слушает, как удаляется стук деревянных башмаков. Слышит шаги своего отца. Такое же раннее весеннее утро. Сонное гоготанье проснувшихся гусей, крик петуха. Прохладный, влажный от росы утренний воздух ворвался в открытое окно, а в детской кроватке так хорошо и уютно.

— Потише ты, телепень, ребенка разбудишь. — Это мать. Может, и Аквиле только что сказала эти слова?

И вдруг ему становится гадко и странно, что он притащился сюда и, как подросток, заглядывает в чужие окна. Вспоминает свое задание, товарищей в лесу. Сознание долга всей тяжестью наваливается на него, и он чувствует себя чуть ли не предателем. «Ты забыл, что твоя жизнь принадлежит не тебе одному! Она нужна всему народу». — «Я пришел, чтоб воззвать к

совести человека, нарушить сытый покой его души. С какой целью? Ради чего? Ради себя, только ради себя! Нарушить чужой покой только потому, что сам не знаю покоя. Потому, что не могу обнять ту, которая мне была обещана, но досталась другому. Потому, что у меня отняли право жить в родном доме, без опаски ходить по родным полям, потому, что я только украдкой могу услышать первые слова утренней молитвы крестьянина: „Пойду задам лошади овса“».

Он печально улыбнулся самому себе и, больше не взглянув на хутор Кяршисов, зашагал по полю прямо на зарю, которая полыхала над сосняками у Гилуже, все шире и шире заливая небосвод, усеянный бледнеющими снежинками звезд.

Глава десятая

I

Он ввалился во двор все с той же нищенской сумой. Она поздно заметила — заперла бы дверь, а сама в хлев или на сеновал. А теперь корми кур да жди, пока не приблизится эта несуразная развалина! Не отрывая взгляда от земли, она в мельчайших подробностях представила себе долговязого нищего, тощие ноги в кожанцах, до колен обмотанные грязными холщовыми онучами, облезлый заячий треух, который он не снимал даже летом, в самый зной. Густая борода скрывала лицо и сползала на грудь, никогда не видевшие ножниц космы волос болтались по плечам. Что это человек, а не ходячее пугало, говорили только глаза — жутковато поблескивающие щелки, и черный провал рта, открывавшийся лишь для того, чтобы изрыгнуть пророчества и послать проклятие грешному роду

человеческому; когда-то у этого существа был нос, но он давно отгнил. Аквиле казалось, что Судный День стар, как божий мир, — иным она его не помнила. Разве что тогда… Нет, и тогда он был такой же седой до желтизны, ноги тоже были обмотаны холщовыми онучами, как у боженьки из сказки, только тогда он казался еще более высоким, ведь Аквиле была совсем маленькая. Она лежала на лавке, положив голову на колени матери, и глядела на нищего — кучу лохмотьев, рассевшуюся посреди комнаты. Хрясть-хрясть — трещали вши под ножом матери. «Господь сказал: не убий, ибо не ты сотворила его, женщина. И возлюби ближнего своего, как самое себя, и накорми голодного, и напои жаждущего, и перевяжи раны Лазаря, и собери постель бездомному. Дабы он ни в чем не нуждался, побудь ему за женщину, ибо грешен не любящий, а ненавидящий, не утешивший душу брата своего, обуянный гордыней». Мать что-то отвечала. И тогда из волосатого провала рта выкатилось невинное слово («Пощупай»), которое на всю жизнь запачкало то, что увидела Аквиле. Мать гадко выругалась и ударила нищего ногой в пах. Через несколько дней околела свинья. Никто не удивился: если хутор посетит Судный День, жди беды.

— Слава Иисусу Христу.

— Во веки веков. Аминь, — ответила Аквиле на приветствие нищего. — Все бродишь, божий человек? — Ей было стыдно за эту угодливую фразу, но все в Лауксодисе встречали неумолимого пророка именно этими словами.

Судный День, не соизволив ответить, подошел к лавочке у стены, сел, снял свои сумы и принялся за молитву. Нельзя было понять, что именно он бормочет себе в бороду, вперив зловещий взгляд в точку на небе, словно увидел там того, кого не удостоился счастья лицезреть ни один из смертных. Мало-помалу его голос

крепчал, отдельные слоги, прорвавшись сквозь густое сито щетины, слипались в слова, которые гремели все зычнее, пока наконец не слились в единый громогласный поток:

— Настанет день, Судный день. И занесет господь меч правосудия, и скажет последнее слово. Не остерегал ли я тебя, род людской, скажет господь неба и земли, не ниспосылал ли с небес пророческие знамения, не писали ль мои ученики для тебя священных книг, в которых было сказано, что поднимется с запада царь и займет все царства земные, и пойдет брат против брата, а сын против отца, и кровь польется рекой, и захоронят еще не почивших, а от их стенаний вспучится земля и стряхнет с себя благолепные города, словно яблоки с веток? Мое терпение велико, злосчастный род человеческий, но грех твой больше. И вот я ниспослал тебе страшное испытание, дабы ты очнулся. Но ты, ослепнув в необузданной гордыне своей, отверг милости небес и катишься мощеной дорогой прямо в преисподнюю. Мой бич вызывает у тебя сладкую чесотку, ты смеешься, но вот я вознесу над твоей головой меч гнева, дабы разделить неделимое и очистить огнем неочистимое. Так скажет господь, и сольются воедино твердь и хлябь, огонь и вода, праведники и грешники, и сплавятся, как железо в горниле, в единый сумбур, дабы потом все расчленилось надвое и началось сызнова, с Адама и Евы: истина и ложь, премудрость и глупость, вечное спасение и нескончаемые адские муки.

Аквиле с суеверным страхом слушала вопли нищего. Самое время было сходить в кладовку и отрезать кусок сала — пускай убирается восвояси. Но она не смела двинуться с места, боясь оскорбить святого бродягу. Когда он закончил свою дикую молитву, Аквиле, взмокшая от пота, почтительно спросила:

— Чего положить вам в дорогу, добрый старец?

Нищий глянул на нее мутными глазами полоумного.

Бородища пошла волнами, словно куст на ветру. Наверно, осклабился или улыбнулся, если вообще умел улыбаться.

— Все, что господь сотворил, годится в котомку странника, — ответил он, яростно скребя под мышками. Потом птичьи лапы (какие-то чешуйчатые, с острыми кривыми ногтями) поползли вниз по брюху, и Аквиле с ужасом вспомнила невинное слово, замаранное в детстве.

Прохладный полумрак чулана пахнул крысами и соленым. Усиженное мухами окошко в стене было холодное и мутное, как глаз нищего. «Трухлявый совсем, гад...» Но тут же спохватилась, испугалась своей мысли и сама не заметила, как вместо лежалого сала отхватила кусок окорока.

— Помолись, добрый старец, пусть бог будет милосердней к людям, — попросила она, подавая нищему милостыню.

Тот сурово сдвинул брови. Глаза стали крохотными и острыми, как кончик ножа.

— Ты не сыта, женщина? — загремело из спутанной косматой копны.

— Не голодаем, слава господу.

— Не принесешь ли во славу господа еще одного человека?

Аквиле, побелев, заслонила руками живот.

— Не зачата ли ты в грехе и не живешь ли во грехе, женщина? — все суровее гремел голос нищего.

— Все мы грешники, добрый старец... — прошептала Аквиле.

— Так какого же ты милосердия божьего хочешь, женщина? — Нищий встал и перебросил через плечо суму. — Какой милости ждешь от небес? Или ты святая, не из того непотребного рода людского, который каждый день распинает сына господня? Милосердия?

Нет! Нет! Господь был милостив, пока не иссякло терпение, а ныне грядет час возмездия. — Нищий повернулся к Аквиле спиной и, сердито стуча по земле суковатой яблоневой палкой, заковылял по двору. У ворот обернулся, словно забыл что-то, и жутко расхохотался. — Нет, нет, женщина! — закаркал он, тыча палкой в Аквиле. — Не о милосердии, а о справедливости буду молить господа моего, ибо первая чаша испита, а вторая лишь пригублена. И скажет мне царь царей: «Гряду, гряду! Суровый и справедливый ко всем. Никто не будет забыт. Где же твоя женщина, что вместо справедливости взывала о милосердии, Бенедиктас? Спроси ее, стенала ли она вместе с евреями: „Горе тебе, Иерусалим!“ И скажи ей, что день этот столь близок, как рубашка к ее телу. Горе тебе, Иерусалим, горе тебе, Иерусалим! Скажи этой спесивой женщине, униженный слуга мой Бенедиктас».

Пес, все время тявкавший на нищего, совсем обезумел. То он рвался с цепи, словно ему подпалили хвост, то скулил, то визжал, то взвывал — как человек! Но глас божий в могучей глотке святого бродяги перекрывал собачий лай. Зато цепь оказалась слабее. Она лопнула, и Судный День, не договорив своих пророчеств, бросился наутек.

Юлите хохотала, приседая от восторга, науськивала Тигра, а Лаурукас ревел в три ручья, уткнувшись матери в подол. Аквиле взяла мальчика на руки, вытерла передником замурзанное, мокрое от слез личико, слабо улыбаясь, принялась утешать:

— Ты не бойся, злой дядя не вернется. Тигр его не пустит. Видишь, какой он трусишка, как улепетывает. Плюх, плюх, плюх, — только пыль столбом. Тигра боится. А мы Тигра не боимся. Тигр наш друг, он не даст нас в обиду.

Лаурукас успокоился. А потом улыбнулся. И эта улыбка и нежная голубизна глазенок пронзили сердце

Аквиле. Как зачарованная глядела она на мальчика, а видела того и, хотя не желала возвращаться, побежала за ним по июньскому следу. Одуряюще пахнул клевер — целое поле, по краям обметанное ромашками, и до слез трогал звон отбиваемых кос — похоронные колокола по девичьему лету.

Ничего не было, говорила она себе ночью. Не было ничего и быть не могло, с той поры уже три раза косили клевер, а ромашки осыпали лепестки, нагадавшие любовь. Земля стала голой и бесплодной, а если и брюхата, то только трупами. Ничего не было и не могло быть. Так она твердила себе ночью, но все шла и шла по румяному июньскому клеверу и плакала от похоронного звона кос.

«Послушай, Марюс, ты сбрей бороду, а? — говорила она. — Я тебя боюсь».

Он рассмеялся (было похоже на унылое уханье совы), и тогда она увидела, что перед ней — нищий. Облезлый треух шевелился на голове, как живой; белая с бурыми прядями борода пошла волнами. Но глаза были Марюсовы. Только холодные и мертвые.

«Перестань притворяться, — сказала она, стараясь справиться со страхом. — Хочешь, чтоб твоя девочка испугалась и убежала?»

«А разве ты не сбежала, женщина?» — сурово спросил он.

«Кто ты?» — прошептала она, чувствуя, что волосы встают дыбом.

«Тот, кого ты обманула, женщина».

«Я…»

«Тот, от кого ты отреклась, как Петр от Христа. Где твои тридцать сребреников, женщина?»

«Я…»

«Ты их получила, но хороша ли цена? Не дороже ли ты купила, чем продала, женщина!»

«Прости. Я не знала, что ты вернешься. Прости, если можешь».

«Мертвые живым не прощают».

«Я Две заупокойные службы заказала и еще закажу. И каждый вечер буду за тебя молиться. Сжалься, будь милосерд, божий человек».

«Милосерд! — загремел в ответ хохот. Глаза Марюса впились Аквиле в живот, и там что-то свело судорогой и заболело. — Какого милосердия ты хочешь от того, кто никогда его не знал, женщина? Нет, я не знаю, что есть милосердие, ибо иду, опираясь на посох справедливости! Справедливости. Да, только справедливости, ничего больше мне не надо. Я полон ею, как чрево твое чужим плодом, как море водою. Пей! Я пришел тебя напоить, женщина».

Аквиле села в кровати. В запотевшее окно сочился серый сумеречный свет, доносился робкий щебет птиц. Во рту было сухо, подташнивало, хотелось пить. Кяршис тоже проснулся, принялся кашлять и почесываться, выставив костлявые колени; он зевал и сопел забитыми ноздрями.

— И-эх, опять утро, — бормотал он вполголоса, бодрый и отдохнувший. — Вот спал — так спал. Как убитый. А ты чего-то кричала во сне, ворочалась, ага. На ночь небось капусты наелась?

Аквиле молча повернулась к нему спиной и подвинулась к краю. Его сопение и почесывание раздражали ее.

— А ты поспи, поспи. — Он взгромоздил руку ей на грудь. Запахло конской сбруей и самосадом. — Тебе теперь надо дрыхнуть за двоих, жена моя. Знаешь, какое я имя придумал? Если будет мужик, окрестим Пеликсасом, а если дочка, по тебе назовем, ага.

— Лучше бы воды принес, — буркнула она, задыхаясь под тяжестью его руки.

Кяршис зашлепал босиком на кухню, и ей вправду полегчало. Широко раскрыв глаза, она смотрела на окно и не могла отделаться от чувства, что там стоит кто-то, приплюснув лицо к стеклу, исчерченному каплями росы. Она знала, там только куст сирени, пригнувшийся под душистой ношей цветов, ничего больше там быть не может, но ее все равно не покидало тревожное чувство. Опять зашлепали босые нога, придвинулась эмалированная кружка с холодной водой, но она все не отрывала взгляда от завораживающей тени. Тогда и он, расплескивая воду, повернулся к окну. Озабоченный, даже перепуганный. И вдруг широко улыбнулся, по-своему поняв ее взгляд.

— Ага, верно! Стоит, солнце загораживает, только стена от него гниет. Осенью срублю. Хороший хворост будет.

— Хворост? — не думая повторила Аквиле.

— Да, да. Осенью уж я его обуздаю, этот куст. На, возьми, свежая, холодная, прямо из колодца. Попои нашего ребеночка.

«Пей! Я пришел тебя напоить, женщина».

Она протянула руку и, не глядя на мужа, взяла кружку.

— Тебе нельзя квашеной капусты.

— Чего ты понимаешь…

Не глядя, она поставила кружку на пол и отвернулась. Но все равно видела его, как он стоит у кровати в одном исподнем, со спутанным чубом. Корявый, нескладный, рыжая шерсть на груди. Лицо в недельной щетине словно распухло — ржище, взошедшее после дождя. Она видела его, хотя лежала, крепко зажмурив глаза. Натянула одеяло на голову и все равно видела. Щетина росла, набухала, как мыльная пена в кадке со стиркой, захлестывала грудь, бурными колечками завивалась вокруг носа и загадочно поблескивающих щелочек глаз. «Пей! Я пришел напоить

тебя, женщина...» Она не видела только суковатой яблоневой палки, но слышала, как она угрожающе стучит по твердой земле.

Он ушел. «Сегодня ячмень посею», — услышала она вместо прощания, и эта забота крестьянина, напомнившая ей о веселой зелени посевов, как будто рассеяла призрачные ночные тени. Но когда он вернулся, приведя из имения пленного, на нее снова навалился кошмар. Мужчины топтались на кухне, звякала посуда, скрипела дверка буфета, но Аквиле не испытывала того сладостного чувства, которое охватывало ее ранним утром, когда она лениво ворочалась в теплой постели. Ей было противно; как будто она сидела теперь напротив него (на месте Ивана) и видела, как тяжелые, угловатые челюсти безучастно перемалывают пищу, а вытянутые под столом босые ноги с порыжевшими от навоза пальцами трутся друг о дружку, словно два шелудивых поросенка.

«Не дороже ли купила, чем продала, женщина?»

Она заткнула пальцами уши, но этот проклятый голос сидел где-то внутри. «Вставать! Вставать!» Спустила ноги с кровати. У амбара фыркала запряженная лошадь. «Иван, сюда!» — кричал Кяршис. «Иду, иду, хозяин». Телега, громыхая, выкатила со двора, провожаемая рычанием пса, который все еще не желал признать Ивана за домочадца.

II

Управившись по хозяйству, понесла мужчинам полдник. Участок Нямунисов был далеко, за дорогой, как у многих малоземельных мужиков Лауксодиса, которых крепкие хозяева спихнули подальше от деревни. Идти не хотелось, просто ужас. Да еще на

землю Нямунисов! Послала бы Юлите, но та, такая смелая, порой даже нагловатая дома, за ворота боялась одна шагу ступить.

Больше она не спорила с мужем, но поняла, что никогда не простит ему сделки с волостным старшиной. Она сгорала от стыда. Как будто раздела мертвеца и, перелицевав, носила одежду с него. «Добрый день, Аквиле. Подкрепление мужу несешь?», «Уже с полдником, Кяршене? Смотри не перекорми своего Пеле». Встречные говорили вроде любезно, вроде без колкостей, но ее не покидало ощущение, что, отвернувшись, они насмешливо хихикают, злословят. И от этого у нее горели уши, а когда она вступила на участок Нямунисов, земля обжигала ноги. Она брела по узкой тропке, пугливо озиралась и ни кудрявый ржаной росток, ни сочные кустики клевера не веселили взгляда. Обрадовалась, добравшись наконец до телеги, занявшей всю дорожку, забралась на нее, села на охапку клевера (полдник для савраса) и принялась ждать мужчин. А они, заметив ее, уже шли с того конца загона: Иван быстро шагал рядом с пружинной бороной за саврасом, Кяршис, с лукошком на груди, обеими руками черпал из него зерно и бросал широкими взмахами рук, словно осенял землю крестным знамением. Рядом, отступя на полосу от сеятеля, семенил Путримасов Юозапелис с пучком соломы под мышкой, которой он помечал место, где падают последние зерна. Пока Иван выпряг лошадь и привязал к задку телеги, Кяршис довел полосу до дороги. Аквиле налила всем из горшка по глиняной миске свекольника, нарезала хлеба, а когда мужчины управились с супом, вынула из корзины завернутый в старенькое полотенце горшок с салом и масленку с накрошенным в сметану луком.

Мальчик Черной Культи, схватив кусок сала, убежал: его занимало чибисово гнездо, на которое

Кяршис наткнулся, когда первый раз боронил вспаханное поле, и пометил лозой, чтоб не растоптать, пока не вылупятся птенцы.

Аквиле сидела на телеге, спиной к саврасу, хрупающему клевер. На другом конце телеги — Кяршис. Иван ел, пристроившись на оглобле. Когда недели две назад Кяршис привез пленного из Краштупенай, тот едва на ногах держался: скелет, обтянутый почернелой кожей. Однако поправлялся он на диво быстро. Кяршис жестами и скудным запасом русских слов понукал: «Иван, кушать. Иван, хлеб, сало. Сапоги снимай, Иван, трудно сапоги…» Иван добросовестно съедал, что ему подавали, но сменить сапоги на кожанцы — обувь более легкую и удобную — отказался.

— Эти кирзовые у него полсилы отнимают, а держится за них, как шляхтич за жупан, — говорил Кяршис, закусывая сало свекольной гущей вперемешку с луком. — А так хороший русачок. Легкий на подъем, понятливый, не жулик. Неделька-другая — отрастит мясо на костях, какую телегу ни нагрузишь, потянет. — И добавил, обращаясь к пленному: — Кушать, Иван. Хлеб, сало. Надо работать, надо кушать.

Пленный взял протянутую Кяршисом краюху хлеба, на которой лежал кусок сала. Благодарил, принужденно улыбался, кивал круглой, стриженной под машинку головой. Лицо тоже было круглое, хотя и костлявое, в серой щетине, подчеркивающей широкие скулы; под узким лбом карие глаза навыкате, над пухлыми губами нос сапожком. Аквиле при виде его каждый раз вспоминала летчика. Она подбадривающе улыбнулась Ивану.

— И-эх, охочи же они до девок, — заметив это, пошутил Кяршис. — Джюгасов Василь все увивается вокруг вдовы Гаудримаса. Так и цветет баба, ага… Таким нравятся сквернословы да матерщинники. А у них

каждое второе слово про это место. Родную мать, как шлюху какую-нибудь, в кровать тащат.

— Не бойся, меня не потащит, — отбрила Аквиле.

— Ну уж, я не потому…

Кяршис, смутившись, отвел глаза, молча жует. Растерян, задумчив. Но вот его взгляд коснулся загона, где только что сеял ячмень, и лицо расплылось в мечтательной улыбке.

— Хорошее поле-то. Унавоженное. Когда боронишь, местами прошлогодний навоз выворачивается. Ячмень будет что твое лыко.

— Прошлогодний навоз… — Аквиле едва сдерживает досаду. — Есть чему радоваться.

Кяршис неприятно удивлен.

— Есть чему радоваться! — настойчиво повторяет Аквиле. — Скажешь, сам это поле унавозил?

— И-эх… Никто не говорит… — Кяршис с трудом, не сразу, глотает кусок. — Вечная память, что уж тут сделаешь. Так испокон веков повелось: человек умирает, отходит, а землица-то остается.

— Да, — желчно говорит она. Он прав, конечно, но с некоторой долей этой правды она не может согласиться. — Да, да, — все злее повторяет она. — Человек-то отходит, но почему тот, а не другой? Ведь могло же случиться так, что немцы нас, а не семью Нямунисов…

Он испуган, растерян. Она что, с ума спятила?

— Как же тут… — рука с куском хлеба повисла в воздухе. — Неужто господу укажешь, кого ему прибрать?

— Если бы ты взял Фрейдкина мальчика…

— Я? — Он смотрит на Аквиле, выпучив горестные глаза. — Ты думаешь, я нарочно… со страху?..

— Ничего я не думаю. Говорю, как могло быть.

Он швырнул недоеденный кусок сала в миску, положил наверх оставшийся ломоть хлеба. Отвернулся.

Сидит, подперев ладонями голову. Спина колышется, как ржаное поле на ветру. Тяжелый вздох.

— Ты какая-то не такая… Давно уже какая-то не такая… — Согнулся в три погибели, сжимает руками живот, словно хочет, чтоб скорей вытошнило. Не слова — куски непереваренной пищи, которые не первый день носит в душе. — Тебе жалко того… Зачем тогда шла замуж?..

Словно пнули измазанной в навозе ногой под самое сердце.

— Ясно, не надо было. — От злости потемнело в глазах, но она берет себя в руки и старается отделаться насмешкой. — Никакого расчета не было. Могла остаться девкой с приплодом. Да и это не обязательно: Гедиминас бы меня взял, если б захотела.

— Гедиминас?

— Да-да, кум. Но я побоялась: совсем не пара он мне… Курице общипанный петух нужен, не сокол. Вот и получила, кого хотела.

Кяршис долго молчит. Он раздавлен, неожиданно взорвавшаяся бомба сровняла его с землей. Но глупая надежда, вечный спутник, обманывающий нас до гробовой доски, снова разгорается, словно раздутый ветром уголек. Кяршис выпрямляется и, повернувшись к Аквиле, говорит с жалкой улыбкой:

— Это потому, что мальца ждешь. Все женщины не знают, чего хотят, когда ждут мальца. Пройдет…

— Ясное дело, пройдет. Только не надо есть квашеную капусту. — Она желчно смеется. Слезла с телеги, побросала посуду в корзину. Быстрей с этого залитого солнцем поля, где уродится хороший ячмень, но булка из этого урожая поперек горла встанет.

Кяршис стоит, расставив ноги, у телеги и смотрит ей вслед, шевелит сальными губами. Очухался. Медленно проводит ладонью по щекам, осматривает руки, пялится на босые ноги. «И-эх, да это ж я, ну конечно я,

пень неотесанный... — Поднял голову, гонится туманным взглядом за ней, но она уходит вдаль по извилистому проселку. — Некрасивый, обхождения не знаю... Не нравлюсь. Авось даст бог после ребеночка, авось даст...» — шепчет, наклоняясь за лукошком и благоговейно поднимая его с земли, как ксендз дароносицу у алтаря. Глаза ожили, повеселели, коснувшись пашни. И, почувствовав, как в жилах закипела кровь земли, весело окликнул пленного:

— Эй, Иван, запрягай! Работать надо!

Аквиле вздрогнула; этот окрик подхлестнул и ее, она побежала. Край юбки сечет по голым икрам. Словно кто-то хлещет сбоку по ногам кнутом. Работать надо... Вечером сядет на крыльцо, выкурит цигарку. «И-эх, ячмень посеян, слава господу... Дай, боже, хорошее лето и на осень не поскупись. Рожь ладная, пшеница стеной встала. Хоть плачь, нужна вторая лошадь». Выхлебает, что поставишь под нос, а разговор опять про закрома, полные хлеба, про скотину, про новые постройки, про лишние гектары. И так день изо дня, из года в год... Чего стоят прошедшие мгновения с маевками, с проводами до ворот, со вздохами у открытого окна под луной? Да и было ли все это? И обещания обнести вокруг света на руках, и создать рай на земле, и гимназические грезы, когда выбирала и любила того, кто нравился? Никогда не было и не будет ничего такого. В жизни есть только саврасы (или сивки, гнедки) и мужья, с которыми надо спать, кормить их скотину, рожать им детей («Если будет мужик, окрестим Пеликсасом, а если девочка, по тебе назовем»). Им нужны сыновья и дочери. А где цветы, которые они нам дарили? Детская забава эти цветы. («Осенью уж я его обуздаю, этот куст».) Другое дело — крапива: если пошинковать, ошпарить кипятком да перемешать с мукой, свиньям только подавай.

Она вздрогнула: ей почудилось, что кто-то идет за ней следом и негромко зовет. Эти неуловимые, рассеянные звуки лились откуда-то сверху, но, остановившись, она увидела, что вокруг никого нет, одни поля, на которых кипела весенняя страда, да проселок, узкий, с колею телеги, да небо, усыпанное белыми подушками облаков, — голубой колокол, который заливался гомоном птичьей мелкоты. И тогда, не оборачиваясь больше, она заглянула в себя. Эти шаги и этот зов были здесь, внутри ее! Она была наполнена ими, как черная туча грозой. Она ждала беды. «Гряду, гряду! Суровый и справедливый ко всем. Горе тебе, Иерусалим! Горе тебе, Иерусалим!» «Да-да, — дрожал наэлектризованный воздух в каждой клетке ее тела; так чует птица приближение грозы. — Можно выплыть на берег, когда пойдет ко дну лодка, можно выскочить из окна горящего дома, но никуда не уйдешь от судьбы; ее, как и смерть, человек носит в себе». И она снова двинулась вперед, зная, как смертник, что с каждым шагом приближается к черте, которую придется перешагнуть. «Добрый день, Аквиле. Уже домой?», «Здорово, Кяршене! Не осталось ли нам чего пожевать после твоего Пеле?» Встречные здоровались с ней, улыбались, и она улыбалась в ответ, но все было как во сне. Как во сне поднимала она негнущиеся ноги, уставшие нести погрузневшее тело, сжимала в руке дужку корзины, как во сне сворачивала с проселка тропой на другой проселок, пока наконец не обессилела и не свалилась на межу. Перед ней лежало знакомое поле. Исхоженное вдоль и поперек, ухоженное руками, выглаженное глазами и граблями. А через поле шел человек, который ничего не значил для других, но без которого эта земля, искромсанная черными лоснящимися ломтями пашни, была бы мертвой и безжизненной, как поверхность Луны. Он, спотыкаясь, брел по борозде, налегая на рукояти плуга,

изредка понукая пару лошадей. За ним, словно жирный крысиный хвост, волочился облипший землей кнут.

— Бог в помощь, отец…

Лошади ослабили постромки и уставились на Аквиле. Вытянутые шеи кивают, бархатные уши прядут воздух. Они здоровались с ней, осклабив мягкие губы, и улыба-лись умными, чуть удивленными глазами.

Зарябило в глазах. Как через запотевшее стекло она видела отца, который шел к ней, увязая в пашне, и смятые силуэты лошадей.

— А, это ты, Аквиле.

— Здравствуй, отец. Пашешь?

— А что делать-то? Юргис еще мал, а пленные такой работы не знают. Как ваш-то, Иван?

— Толковый.

— Все равно. Наша земля для них что мачеха: чужая, не любят они ее. А весенняя пахота, новина — святое дело… — Сел на межу рядом с Аквиле, постукивая по табакерке ороговевшими ногтями, неуклюже скручивал цигарку, поглядывал исподлобья на свою любимицу. И без слов понимал все. Ее глаза уже высохли, губы растягивались в улыбке, но он все равно все видел. — Хм-хм, — покрякивал он, пуская в сторону дым. — Не дается человеку то, чего глаза хотят. На то уж воля божья. А если и ухватит кто, то, бывает, и не обрадуется. Соседская лошадь с виду-то лучше, а сядешь…

— Да, — прошептала она. Хотела прижаться к его плечу и выплакаться, как в детстве, когда ее обижала мать, но собственное горе показалось таким ничтожным перед его обездоленностью, что ей стало стыдно. — Я не жалуюсь, отец. Мне хорошо. Надо только привыкнуть. Мне совсем хорошо, отец.

Он недоверчиво покачал головой. И тогда она не выдержала и расплакалась.

— Я боюсь, отец. Приснился такой противный сон. Что-то должно случиться. Никогда со мной такого не бывало. Разве что перед самой войной. Я боюсь, отец, — повторяла она, уткнувшись ему в грудь.

— Чего, доченька? Чего? — Грудь тяжело вздымается, и от нее пахнет родной избой, заскорузлые ладони, просоленные потом земли, робко гладят плечи. — Находит иногда на человека. Бывает. Это потому, что много о себе думаешь. Доверь себя божьей воле, помолись, и полегчает.

— Не могу больше молиться, отец. Слова пустые, без сердца, не верю я в них.

— Ничего. Господь поймет, доченька.

Голос у него низкий, глуховатый, но теперь он звенит в ее ушах пасхальными колоколами. Пропахшая ладаном прохлада храма объяла ее, и она под мощный гул органа шла на коленях, причастившись, приняв в себя священную господню плоть. Все люди снова стали братьями и сестрами, а земля была добрая и чистая, как очищенная от греха душа, которую возносят невидимые крылья, чтобы она в обманчивом экстазе совершенства хоть на минуту почувствовала себя счастливой.

Она нашла руку отца и прижала к губам.

…После ужина, когда Кяршис отвел Ивана в имение и уселся на крыльце со своей цигаркой, Аквиле сказала:

— Завтра воскресенье.

— Ну да. Передохнет саврас.

— Нет. Я хочу в костел.

Он вздохнул, словно самому предстояло впрячься в телегу.

— В понедельник спозаранку ему опять в борозду. Лошади надо бы…

— Давно не исповедовалась, — отрезала она, не желая слышать отговорок.

— Исповедоваться так исповедоваться. Что поделаешь. Придется, ага.

— Не беспокойся, сама съезжу.

Он удивленно обернулся. Подождал, авось что добавит, но Аквиле уже гремела посудой на кухне. Встал. Тяжело, словно поднимал плечом телегу. И, поправляя сползающие штаны, потащился в избу.

— Запрягу, — буркнул себе под нос.

III

И тут же пожалел, что отпустил одну в костел.

Вышел за ворота, смотрел на тележку, катившуюся по проселку в сторону деревни; на сердце стало так нехорошо, что не знал, куда и деваться.

Обошел хутор, осмотрел скотину, потом свой участок, чуть ли не каждый загон в отдельности обошел, но ни дружно взошедшие яровые, ни занявшиеся сочной зеленью озимые не сняли с души непонятной заботы. «И-эх, не сбежит ведь, — твердил он себе. — Саврас смирный, немцы таких не забирают».

Принялся думать об осени, мерить еще не убранный урожай, как часто делал теперь. Дошел мыслью до того долгожданного дня, когда войне придет конец. И вот уже выпрямился, как помятая трава, даже солнце ярче засветило. Ну, тогда уж будет, тогда уж заживем... Только не жди сложа руки. Если будешь, мил человек, в потолок поплевывать, ни бог, ни черт тебе готовенькое не поднесут.

Вспомнил клячу Нямунисов. Ледащая кобыла, еще хуже его сивки, но при саврасе очень бы сгодилась. Пятрас Кучкайлис взял. И коровенку увел, и кур переловил. Участок Нямунисов тоже он бы заграбастал, кабы не поросенок старшине... Кобылу Кучкайлис заездил, свиньям скормил, а шкуру — немцам. У людей глаза завидущие, руки загребущие, а этот вдобавок еще и убийца.

Эта мысль навела на другую: и-эх, пора новину пахать, но скоро ли одноконным плужком перековыряешь? У Нямунисов на земле с полгектара позапрошлогоднего клевера. Корни переплелись, что ивняк, без большого плуга не подступишься. Хоть плачь, надо вторую лошадь искать. Ага, и канава у межи Миколаса Джюгаса нужна. Землица жирна, да что с того — вода местами до самой троицы стоит. Был бы Иван как Иван, сунул бы ему в руку лопату — копай! Замаяли их немцы в лагере, просто страх. Ладно, что ни говори, работник. Сегодня же отмерит канаву, отметит колышками — пускай копает. Хоть по чайной ложке, все вперед, а не назад.

И радостно стало, что воскресенье, божий день, тоже не пройдет впустую: разметит канаву, столкуется насчет лошади, да и на хуторе какую-нибудь мелочь поделает, если времени хватит.

Велел Юлите смотреть за Лаурукасом, а сам зашагал на хутор Джюгаса. Ребенок бежал за ним, протягивал ручонки: «И я, и я!..» Юлите догнала, схватила в охапку, утащила, хоть тот и ревел ревмя. Вроде бы неловко стало Кяршису, подумал даже:

«Взял бы на руки, ведь не тяжел. Но очень уже смахивает на того... ну да, на него...

И-эх, и благодать была бы, если б Аквиле — бац! — мне мальчонку... — продолжал он размышлять, любуясь пшеничным полем, усыпанным желтой яичницей сурепки. — Всюду бы мы с ним вместе да вместе. Два Кяршиса, два крепких мужика. И-эх, вот было бы...

...Да и Аквиле присмирела б: тот бы душу не мотал. Ребенок ведь, как собаку цепь к конуре, бабу к мужику привязывает...

...И-эх, дай боже, чтоб побыстрей кончилось время, когда мертвые не дают живым покоя...

...А что если он живой?»

Оторвал эту мысль, сбросил, как пиявку с шеи. Поджилки тряслись, и сердце билось о ребра, как овца, которую ловят на убой, о стены закута. Не скоро взял себя в руки, — так нехорошо испугался и совсем даже зря. И-эх, эта война до того сбила человека с толку, что мертвецы из могил лезут…

Вошел во двор Миколаса Джюгаса, словно в горницу. Во дворе будто выметено, в саду упавшей веточки не увидишь. Трава блестит, как шелковая, у стен аккуратно сложены дрова, вязанки хвороста, старые доски, бревна, оставшиеся от постройки. Хозяйственные строения отгорожены от жилой избы штакетником. Огород, втиснутый между концом избы и банькой, тоже обнесен отдельным заборчиком. У баньки пруд — распарился, и полезай освежиться. Вокруг пруда березы в белых сорочках хоровод ведут. Чему-чему, а аккуратности можно поучиться у Миколаса Джюгаса.

В огороде высыпали ряды темно-зеленых бутонов: взошла картошка. Клочок земли у баньки засажен табаком. До войны никто с ним не возился, разве что Культя, и то бабы гнали его во двор, едва учуяв дым самокрутки. Что ж, нынче времена другие. За покупной табак надо немецким солдатам отдавать масло, сало, яйца. Да хоть и вкусно пахнет, но годится разве на то, чтоб подмешать к самосаду. Вишневые листья, побрызганные одеколоном, известное дело…

Кяршис налегает грудью на изгородь, откашливается.

— Табачок поливаешь, сосед?

Джюгас обернулся. В руках старая жестяная лейка. Усы сбриты наголо, просто не узнать мужика. Губа какая-то пухлая, нос торчит.

— А, Пеликсас! Да вот, брат ты мой, поливаю. Прижился хорошо, но водичка не помешает.

— Ну-ну. Все погожие дни, все солнце. Хорошо бы тучи нашли да покропили малость.

— Дождемся. Куры ходят вялые. К дождю. Чего так смотришь? А… Да вот, усы скосил. Не из гонору — просто наскучила старая шкура.

— Бывает, бывает, сосед.

— Чего мы тут кричим через забор, будто поругались, — Джюгас ставит наземь лейку, вытирает ладони о штаны. — Есть еще кисленькое, с пасхи припас. Пошли в дом.

Кяршис не очень-то в настроении угощаться пивом. Канаву надо бы еще сегодня разметить, да и вообще… У Миколаса пиво известное — после третьей кружки с самим чертом полезешь целоваться, если аккуратно будешь пить, до дна. Но дело, ради которого он пришел, сподручней обговорить за пивом.

У колодца моет ноги Маруся. Курносая, русая, грудь так и выпирает из платья. С прошлой осени у Джюгасов в хозяйстве. Привез арбайтсамт целый вагон женщин в Краштупенай из разоренных войной районов. Кучкайлис почему-то расположен к Джюгасу, выхлопотал ему одну.

— Подспорье в хозяйстве, — говорит Кяршис.

— Да еще какое, — соглашается Джюгас. — Без женщины дом что без печки.

— И-эх, известное дело!

Садятся в избе за тот же стол, за которым полтора года назад Аквиле, и не думая, что Пеликсас будет ее мужем, кормила грудью младенца. Пиво кислит, исходит пеной, но не так в голову шибает, как обычно у Миколаса.

Оба малость захмелели.

— Вот видишь, сосед, я по такому делу… Этот мой саврас хоть и крепок, да один. Может, одолжишь на денек-другой вторую лошадь? Мы отработаем. Хоть и

две у тебя, а иногда и в третьей лошади нужда бывает. Тогда своего савраса пришлю.

Миколас Джюгас без долгих уговоров соглашается. Кажется, даже доволен, что может выручить соседа.

— У нас с тобой такие хозяйства, что одной лошади мало, а двух многовато, — говорит он, подталкивая рукой Кяршиса, чтоб тот выпил. — А по правде, так хоть плюнь на все, укройся с головой и полеживай. Все бегом; все бегом, — бился, как вот ты сейчас, а толку-то? Жены нет, из детей один Гедиминас остался. Да и тот… Учил, старался, чтоб жизнь у него светлей была, а он опять в грязь полез. Вернуться в деревню надумал, лягушонок. А люди его за умного считают. Немцам-де служить не хочет. А тут, в деревне, скажешь, не служение? Скажешь, брат ты мой, не германского змея своим хлебом кормим?

Кяршис одобрительно кивает. Известное дело, но ведь не мужик назначает, не мужик скидывает власти. Против ветру не подуешь, ага. Сыплешь зерно курам, а слетятся и воробьи и вороны. Такая уж крестьянская доля — всех кормить.

— Недавно и я так думал, Пеликсас. Стреляют где-то невинных людей — мы-то тут при чем, ведь патронами не торгуем? Гонят через город пленных — кожа да кости, — опять же есть чем оправдаться: не мы винтовку держим, а своего пленного вместе с собой за стол сажаем. Но когда Нямунисов поубивали, и эту их девочку, как звери… когда увидал кровь поближе… Нет, Пеликсас! Зачем притворяться-то? Ведь если б все уговорились, не дали бы ни зернышка, ни жиринки, в несколько дней лопнула бы ихняя сила. Правильно говоришь, не мужик власти назначает. Зато мужик их кормит. Мужик — большая сила, ты не говори, Пеликсас. Силен крестьянин, потому что вся земля у него, а не у властей. Другой разговор, что он трус, жадюга, сначала свою выгоду ищет. Видя, как человека

режут, он одной рукой слезы вытирает, а другой, брат ты мой, головорезу краюху хлеба сует. Вот в чем наша беда, Пеликсас.

Кяршис молчит, держит в руке стакан. И согласен, и нет. Ясное дело, хорошо бы вот так всем уговориться. Но с другой стороны... куда уж тебе, крот, землю опрокинуть? Уж до чего смышленый человек Джюгас, а такой простой вещи не понимает. Жадность, выгода... Вроде бы в мой огород камень, но скажите, какой хозяин пустит все на ветер и пойдет побираться, как Анзельмас Лукошюс?

— А, не стоит об этом, сосед. Ни я, ни ты такого не сделаем. Каждый жить хочет.

Пощипывая пальцами верхнюю губу, Миколас Джюгас печально смотрит куда-то над плечом Кяршиса. Все не может привыкнуть без усов. Чужая губа — и все.

— Потому люди и гибнут, что каждый жить хочет, Пеликсас. Сами надевают себе петлю на шею. Вот мы с тобой — зубами да когтями за свое хозяйство держимся. Все бы нам побольше да пошире! А дальше что? Если немцы здесь останутся, в Лауксодис приедет не один Петер фон Дизе. Сгонят нас, брат ты мой, с нашей земли, сделают батраками. Немецкое крепостное право введут, и сами мы будем в этом виноваты.

Кяршис встал, не допив стакана. К лицу ли такие разговоры крепкому хозяину? Джюгас, видать, сегодня не с той ноги встал.

— Я в долгу не останусь, сосед, не бойся. — Благодарит за пиво, надевает фуражку — и скорей за порог. Просто зло берет. Вот поганая привычка у людей выливать свои помои так, чтобы и под чужое окно потекло. У тебя болит, ты и страдай, на меня свою хворобу не взваливай. «С земли сгонят, крепостное право введут...» Подумаешь, провидец. Что будет, этого никто не знает. Судный день тоже когда-нибудь

наступит, но если все станут ждать его да каркать воронами, на земле бог знает что твориться будет.

…И-эх, немец и правда сбесился, что тут говорить. Чистый антихрист, что царица Савская мудрецу Соломону поминала. Но с другой стороны… ведь они не всех без разбору суют в пасть. Во все времена так бывало: одни попадаются под косу, как прямой стебель, а других минует. Особенно тех, кто успел пригнуться. Такая уж машина эта жизнь: не подымай головы, если не хочешь, чтоб оттяпали…

…Тогда, на крестинах, сгоряча он Пятраса Кучкайлиса рассердил. Верно, перед Аквиле хотел покрасоваться, не иначе, ведь ежели теперь на трезвую голову пораскинуть, дело-то пустое. Только хлопот себе нажил, а могло ведь и хуже обернуться…

…Добром да по-хорошему всегда дальше уедешь…

…Всему миру не поможешь, нет. Над всеми нами одна рука. Ей не скажешь: я хочу здесь встать, господи, а там моего соседа поставь. Или меня убей, только его оставь в живых…

…Как ни крутись, все равно под немцем… И-эх, что и говорить, воздуху не хватает, руки связаны, но все ж хвостом вертеть можно. Взять хотя бы сало. До войны свинью, и-эх, как трудно бывало властям всучить. Накопилось сала за несколько лет; все стены чулана завесил, в амбаре под балкой тоже полно. Страшно смотреть, — когда ж его съешь, ведь всего два едока-то. Заржавело сало, попортилось. Сердце разрывалось от, жалости: такое добро — и на мыло! Не пришлось. Приехали гитлеровские антихристы — все до последнего кусочка сошло. Город, этот дырявый мешок, сожрал и облизнулся, хоть и прежние годы потешался над деревенским жителем. Даже всякие песенки выдумывали:

Что за жизнь в деревне стала;
Вечно сало, сало, сало.
Деревенщина уныло
Жрет да жрет лишь это мыло.

Ничего, сожрали. И спасибо сказали. Да еще заплатили и не поморщились. Будьте любезны, господин Кяршис, привезите побольше. Вот так-то. Жизнь — она такая: кто вчера плевался, сегодня слюнки глотает, кто в прошлом году ржаную солому жрал, у того сегодня в кормушке сено что рута-цветок. Вот и разберись, как тут что…

Так, шаг за шагом, мысль за мыслью, сползла с души тяжесть. Отыскал на сеновале вожжи, взял нож, — по солнцу обедня кончилась, и работать уже не грех. Настругал в ивняке колышков, пошел размечать канаву. До большой канавы Джюгаса будет с сотню саженей. С обеих сторон еще придется отводные канавки прорыть. И потечет водица по водоотводу Джюгаса в соседский, а оттуда в Сраую. Лужи как не бывало. Каждый год, считай, по двадцати центнеров зерна прибавится. До войны за такую работу землекопам пришлось бы литов триста отвалить. Полгектара земли столько стоили! А тут Иван выроет за так, за кормежку.

Было далеко за полдень, когда он управился с работой. Сел под кустом ивняка покурить — перебить аппетит. Нарочно не спешил домой: Аквиле наверняка вернулась из костела и, не дождавшись его, пойдет искать. Он покажет ей эти два ряда колышков (где почва повлажнее, они обрываются: пометит, когда просохнет), и скажет: «Вот видишь, что я придумал, барышня!» Она, конечно, не бросится на шею, не такой у нее нрав, но удивится — это уж точно. А может, и обрадуется. Ну да, как пить дать обрадуется, хоть и не

покажет этого, она ведь из тех, что в середке горячие, да снаружи не видать.

Самокрутка потухла, лень было разжигать. Мышцы отяжелели, охватила дрема; голова склонилась набок, потянув за собой все тело, и оно, обмякнув, привалилось к густому кусту ивняка. Когда он проснулся, солнце уже клонилось к земле. Вскочил, сам не понимая, где он. В ушах все еще звенели чудные звуки трубы. Картина, с которой он проснулся — Михаил Архангел идет по пшеничному полю и дует в огромную трубу, — не успела потускнеть. По спине прошла дрожь. И от унылых звуков трубы, и от солнца, слишком уж продвинувшегося на запад. Все было как обычно в такую пору дня — и притомившийся щебет птиц, и поля, дышащие сонным теплом, и небо, неяркое уже, оленившееся к вечеру; все было, как всегда, а все-таки что-то было не так. Кяршис все оглядывался, неспокойный, удивленный, как моряк, покинутый на чужом берегу. Чего-то недостает, сейчас он чего-то хватится. Может, нет больше деревни или его хутора?! Что-то на самом деле исчезло, пока он спал, только он еще не может понять что.

И тогда, словно откликаясь на его тревожное удивление, снова раздался звук трубы.

По проселку медленно, словно боясь наехать на мины, пробирался зеленый военный автомобиль.

У Кяршиса сердце оборвалось. А уж совсем захватило дух, когда машина остановилась и из нее вышел человек в форме. Он слышал, что тот чего-то кричит и нетерпеливо машет рукой, но не мог прибавить шагу. «Адомас... Господи боже, Адомас... Чего ему здесь надо? Почему он тут? Господи боже мой, Адомас...»

— Черт возьми! — еще издали крикнул тот. — Все поле объездил. Куда ты запропастился? Скорей едем!

Кяршис кое-как оторвал от земли одну, потом другую ногу. Будь земля жестяной, как крыша, он бы услышал, как стучат об нее капли пота.

— И-эх… шурин… — выдавил он чужими губами. — Адомас. Здор***о***во.

— Он самый. Узнал-таки, — осклабился Адомас. Он был бледен, и от его мрачного, что-то скрывающего взгляда брала оторопь. — Поехали в Краштупенай.

— Я? Мне? Боже святый, что я там потерял?

— С Аквиле плохо. — Адомас открыл дверцу и подтолкнул Кяршиса.

«И-эх, покатаюсь, как барин! Еще не доводилось эдак…» — в другой раз напыжился бы Кяршис. Но теперь он сидел, как пойманный зверь в клетке, и черными ногтями щипал свою ногу. Может, он все еще лежит под ивняком и ему все приснилось? Рябило в глазах. Летящие мимо поля и дорога, бешено подбрасывающая машину, слились в сплошное мелькание, от которого кружилась голова и подташнивало. «С Аквиле… Что с Аквиле? И-эх, скажи, ради бога, что с Аквиле?» Но он боялся открыть рот, как будто еще нет ничего страшного, но непременно случится, если спросишь. Прозрачно-белые уши Адомаса и вялый трупный цвет лица вызвали у него ужас. Уже целую вечность они летят куда-то в этом железном, бешено подскакивающем гробу.

Вдруг губы Адомаса взорвались. Плевок. Прямо в ветровое стекло машины.

— Скоты! — Ударило вдогонку плевку крепкое слово. Уши теперь стали багровыми, а лицо дико исказилось от ярости. — Мало им людей по домам ловить, уже в костел лезут!

— В костел?.. — прошептал Кяршис.

— Да, да, да! — прорвало Адомаса. — Наши добрые немцы, наши освободители, наши защитники. — Выпустил очередь ругательств, снова плюнул в стекло,

побелевшими пальцами так стиснул руль, что казалось, сломает его, словно бублик. — После Сталинграда совсем взбесились. Будто мы виноваты, что русские расколошматили армию Паулюса. Нашу молодежь им подавай, чтобы вместе со своей уложить за великую Германию. А за что, скажи на милость, нам головой рисковать? За то, что наших людей, интеллигентов, цвет нации, отправляют в лагеря? Не удивлюсь, если в один прекрасный день сам генерал Кубилюнас окажется там, — два его советника уже сидят за колючей проволокой. Надули, сволочи, хуже не надо. Чего молчишь, черт побери?.. Может, на другой планете живешь?

— Аквиле… — наконец осмелился Кяршис. — Отпустил утром… И-эх, была и крепкая и здоровая…

Адомас с убийственным презрением глянул на зятя.

— Была! Глупее слова выдумать нельзя! Когда-то и мы были людьми. Была нация, была независимость. Да что я тебе… Таких, как ты, это меньше всего заботит. — И, помолчав, спокойнее добавил: — Когда люди увидели, что шайка Гиммлера оцепила костел, бросились назад. Аквиле помяла толпа. Только, ради бога, не пугайся — не насмерть.

Кяршис захрипел, как смертельно раненный зверь. Все чувства — отчаяние, страх, ужас утраты, — копившиеся с той минуты, как Адомас втолкнул его в машину, теперь прорвались. Он не мог плакать, он вообще не помнит, когда плакал, разве что после смерти матери выдавил несколько слезинок. Невидимая рука вцепилась в глотку изнутри, выворачивала ее наружу вместе с легкими, тело судорожно дергалось, как в припадке эпилепсии.

— Не будь теленком, — безжалостно сказал Адомас. — Может, еще обойдется… А если и нет… Молоды еще, другого заведете, и не одного. Да и надо

ли, черт побери! Лучше уж скот разводить — человеку в наше время цена пфенниг.

Влетели в город. Дома и люди ползли мимо нескончаемым похоронным шествием. Видны были и улыбающиеся лица, но они Кяршису казались не настоящими, — только сумасшедший мог смеяться в такой час. Потом перекресток, узкий поворот улицы, словно локоть руки, упершейся в бок. Телеги, велосипеды, военный грузовик, набитый солдатами, разинувшими рты в песне; холодные, металлические глаза, точь-в-точь пуговицы на шинелях, взрывы жуткой песни. Пролетели. Адомас крутанул руль, и машина через брешь в живой изгороди между двумя белыми столбами вкатилась во двор. Вокруг сад, напротив — желтый одноэтажный деревянный дом с просторной остекленной террасой. Виденный, и не раз, но теперь незнакомый, словно перенесенный сюда из других миров.

— Приехали, — сказал Адомас.

На террасе стояла крохотная белоголовая женщина. Светлая, прозрачная и легкая, как все вокруг.

— Моя жена Милда, — буркнул Адомас. — Будьте знакомы. Наш дорогой зять, Милдяле.

— Очень приятно, — улыбнулась белобрысая малютка, протягивая детскую ладошку.

— Здравствуйте… — Кяршис машинально пожал ее руку — теплый, вялый листок. Она была почти неосязаемой, эта бледная ладошка, ненастоящей, как и все, что свалилось на него за последний час.

— Робертас еще здесь? — спросил Адомас.

— Конечно. — Она легко, словно дуновение теплого ветра, коснулась локтя Кяршиса. — Не унывайте, господин Кяршис. Бывают несчастья пострашней. Господин Гинкус уже ничем не мог помочь.

— Ничем? — простонал Кяршис.

— Абсолютно ничем. — Она с упреком, снисходительно, но в то же время и с ласковым сочувствием посмотрела на Кяршиса. — Ребенок погиб в давке. Если вы верующий, благодарите бога, что мать осталась в живых.

— Ребеночек погиб… Погиб ребеночек… Погиб…

— Успокойтесь, господин Кяршис. Кто не родился, того не следует оплакивать. Достаточно слез проливают люди из-за взрослых, которым бы жить да жить. — Женщина-малютка повернулась к Адомасу и настойчиво, на этот раз уже ему, повторила: — Да, которым бы жить да жить. Вы же любите Аквиле? А это главное. Доктор Гинкус поставит ее на ноги, вы не бойтесь. Думаю, позволите ей погостить у нас, пока она не окрепнет?

Адомас нетерпеливо не то крякнул, не то рассмеялся.

— Где она? — услышал свой голос Кяршис.

Дверь бесшумно открылась. За ней — вторая и третья. Таинственно белые, сверкающие двери. Пол тоже сверкал, от него пахло скипидаром. В комнате у окна стоял худощавый пожилой человек в белом халате. Над крохотными, глубоко запавшими глазками кустики лохматых бровей, на бледном лице две розовые черточки — крепко сжатые губы.

— Вот и мы, Робертас, — вполголоса сказал Адомас.

Человек кивнул и послал бодрую улыбку Кяршису.

— Она только что заснула, — сказал он мягко, в нос. — Но заходите.

Еще одна белая дверь отодвинулась в сторону, как привидение. Дохнуло острым запахом лекарств. От стены отделилась постель, стала приближаться, качаясь, словно поле цветущего тмина на ветру, и в этой волнистой белизне Кяршис увидел черные плетенки кос. Они лежали на подушке, словно отрубленные ветки на снегу. Ошалело глядел он на

осунувшееся лицо — чужое, с торчащим носом, запавшими глазами, которые, словно позеленевшие медяки, прикрывали вялые, прозрачные веки. Никогда он еще не видел ее такой кристально чистой и устрашающе неприступной. Никогда. И вдруг он увидел свои ноги. Нет, даже не взглянул на них — он их почувствовал. Он почувствовал свои босые, выпачканные землей и навозом ноги, кощунственно попирающие скользкий благоухающий паркет. Почувствовал на себе одежду, пропитанную вонью хлева и потом. Ощутил ласковое прикосновение женщины. Такое чистое, звонкое, как прозрачные зимние вечера, как чистые, смущенно зардевшиеся утренние зори.

Его колени задрожали, подкосились, и, под тяжестью своей невыносимой ничтожности, он упал на колени и уткнулся лицом в постель у ног Аквиле.

— И-эх… И-эх… И-эх…

КНИГА ВТОРАЯ

И повеял ветерок,
И подул студеный —
Закачались ветки клена,
И проснулся паренек.

Литовская народная песня

Глава первая

1

Пою Тебя — твой сын, вернувшийся под отчий кров,—
И слышу — по Тебе идет освобожденье.
Не предала ни одного Ты из своих сынов,
Тебя же предавали без зазренья

совести с того часа, как объявился человек, презирающий все и вся, ненавидящий каждого, кто не встал под знамена нетерпимости, не носит башмаков его размера, такого же головного убора, не исповедует его веры.

Каждый рождается с головой и двумя ногами: все ходим на задних конечностях, но моя голова — башковитей, а иду я ходче, — начертал на своем знамени этот человек.

И вонзил древко знамени, словно копье, в твою кроткую, мягкую грудь, земля. В грудь матери-кормилицы, щедрую и открытую для всех, как воздух.

Это моя земля! — изрек он и очертил вокруг себя круг. Большой круг. Все расширял и расширял его. И не было этому конца, как и его алчности.

Ты могла содрогнуться от гнева и едва заметным движением раздавить его, презренного раба своей жадности. Ведь не ты пришла к нему молить о крове, а он клещом впился в твое тело.

Это мой человек! — могла сказать ты, как говорит ребенок: «Это мой щенок!», но молчала и терпела. Ведь ты — мать, мудрая и благородная, а он — неразумный младенец.

Ему нужна игрушка, — сказала ты. — Пусть поиграет мною. Пусть делит меня на круги и квадраты. Пусть играет в «классики», как девочка.

И он играет в «классики», много веков играет в «классики», толкая ногой не — белый черепок, а человеческий череп. Череп брата своего, брата, который не носил башмаков его размера, такого же головного убора, не исповедовал его веры. Он поит тебя кровью побежденных и клянет тебя, споткнувшись о кочку.

Много ли на свете матерей, которые простили бы детям такое? Которые целовали бы своих детей, когда те хлещут их по щекам, плюют в глаза, вонзают нож в спину?

Много ли таких матерей?

Я знаю лишь одну.

Впитавшую моря крови, но невинную; оскверненную, но не утратившую чистоты.

Лишь одна такая мать на свете.

Я говорю ей, упав на колени, как перед божеством:

Я слышу: по Тебе идет освобожденье!
Одежд волшебных складки Ты раскрыла,
Чтоб спрятался я в них от бури,
Как птица в дупле дуба-исполина,
Ты сына ласково к груди прижала,
А он ведь очертил себя когда-то кругом,
Тебя срамил, в Тебя плевал, Тебя делил,
Хоть Ты неразделимая отчизна всех людей.

Гедиминас улыбается, опершись на косу. Желтое пшеничное поле простерлось в лучах солнца. Ленивое, тяжелое от созревшего зерна. Золотая арфа с миллионами струн, которые перебирает невидимыми пальцами ветер. Желтое пшеничное поле исполняет симфонию. Симфонию земли на исходе лета, земли, взрастившей хлеб.

Гедиминас вытащил из-за ремня брусок. Медлит прикоснуться к косе: боится спугнуть сказку.

Пусть желтое пшеничное поле продолжает свою симфонию. Он запишет ее в душе, как на пластинку. Там так много пустого места! Вечером (а может, в обеденный отдых) он сядет в укромном уголке и попытается повторить ее на бумаге. Повторит неумело, грубо (природа не поддается повторению), но еще раз испытает блаженную минуту забытья.

…Одежд волшебных складки Ты раскрыла,
Чтоб спрятался я в них от бури…

Маруся сидит на снопе, вытянув ноги в холщовых чулках («Мамины чулки или Анеле. Им уже не услышать симфонии поля…»). Взгляд Маруси блуждает по волнам колосьев. Загорелое дочерна лицо угрюмо и задумчиво.

— Чудеса, — говорит он.

Она поднимает голову, вопросительно смотрит. Сверкнули ослепительно белые зубы. Улыбка короткая и резкая, как вспышка магния; когда магний гаснет, становится еще темней.

— Ты слышишь, Маруся, как поет земля? — снова говорит он. — Пожалуй, я не видел ничего прекрасней этих полей.

Обняв руками колени, она внимательно разглядывает свой подол. Вокруг твердо сжатого рта проступили морщинки, лицо кажется суровым и далеким.

— Ты не видел нашей степи. — В голосе тоска и горькая обида; снисходительное презрение и гордость. Все чувства человека, потерявшего родину, сплелись в едином клубке. — Степь — как небо, без конца и края. Необозримая. А тут все можно в охапку взять.

— Земля всюду прекрасна, Маруся. Только она, как порядочная женщина, не любит, чтоб люди делили ее тело.

— Ну уж, и сказал…

Гедиминас засмеялся, принялся точить косу. Звон металла плывет по полям, вливаясь в разноголосье косовицы.

Когда отец приезжает с конной косилкой (ее купили в тридцать восьмом году вчетвером — Джюгас, Кяршис и еще два таких же хозяина), пшеничное поле уже обкошено со всех сторон.

— Устал? — тревожится отец. — Может, сядешь на машину? Я пойду снопы вязать.

— Кажется, я на тридцать лет моложе тебя, отец, — улыбается Гедиминас.

— До школы почти месяц. Наработаешься.

— Почему до школы? Я же сказал, что в гимназию не вернусь.

Миколас Джюгас снисходительно качает головой и направляется к косилке. Он по-прежнему верит: неразумное упрямство сына пройдет.

Гедиминас с Марусей занимают полосу вдоль поля. С другой стороны, напротив — Кяршис со своим Иваном. В конце поля, поскольку там прокос чуть ли не вдвое короче, по одному человеку — Василь, а напротив него — Пуплесене. Охотней бы пригласили Путримене, жену Культи, — в страду обычно звали ее, — но в майское воскресенье, когда эсэсовцы устроили охоту на людей, ее поймали (из Лауксодиса взяли еще Анзельмаса Лукошюса) и увезли в Германию, на трудовую службу рейха.

Не пойди они обедать домой, к середине дня бы управились, осталось бы только снопы в суслоны составить. Но жара несусветная. Лошади, обложенные слепнями да мухами, прядают ушами, танцуют в упряжке, старый Джюгас едва с ними управляется.

Люди обливаются потом; он разъедает глаза, жжет под мышками, у пояса; крупные соленые капли падают со лба на стерню. Душно, воздух пропитан удушливым запахом соломы и пыли. Лица, как географические карты, разрисованы грязными струйками пота, все одинаковые, даже глаза похожи — ошалелые от зноя, подернутые пленкой, через которую просвечивают смутные пятна зрачков. Пшеница хороша, лишь в ложбинках попадается бодяк. Солома нещадно царапает тело, не защищенное одеждой. Руки, грудь, щеки горят, словно ошпаренные. Хорошо бы искупаться в озере, но все так утомились, что каждый шаг в тягость. Помылись здесь же, у колодца, до пояса и, перекусив, валятся вздремнуть, пока лошади едят.

Гедиминас вынес подушку и растянулся под яблоней. Желтеют за стволами деревьев ульи, а ему мерещатся суслоны; в ушах все еще шуршат снопы и без устали стрекочет косилка. Он устал, смертельно устал. В каникулы тоже ведь работал по хозяйству, но не столько, не день-деньской, от зари до ночи, как батрак. Тело словно разбитое, спина ноет, — не счесть, сколько отвешено поклонов! Каторжный труд — вязка снопов. Но и навоз выгребать не многим легче. Ладони покрылись волдырями, кровоточили, пока не появились твердые мозоли.

Тяжек хлеб крестьянина, зато можно есть его без угрызений совести, не боясь подавиться остью. А как хорошо вечером, когда ложишься после дневных работ! Нет им конца, этим работам. Все откладываешь что-нибудь на завтра, на осень, на будущий год. Так и не переделаешь всего, пока ноги таскаешь. Продолжат дети. И тоже оставят своим детям, так и не одолев всего. Но каждый день землепашца — словно ступенька лестницы, — взобравшись на нее, можешь обозреть кусок пути между зарей и закатом. Не только обозреть, но и ощупать руками содеянное. Провел борозду — вот

она, как на ладони; взошло семя, проклюнулись хиленькие всходы, а в них — тепло твоих рук. Ближе к осени уже гуляешь по дошедшему полю и вдыхаешь сытный дух хлеба, без которого мир превратился бы в кладбище. И никогда не свершишь непоправимой ошибки, а если, бывает, ошибешься, то пострадаешь только сам, не кто-нибудь другой. Прозеваешь подходящую для сева пору или сгноишь урожай под дождем — твоя беда. Дурной человек может посмеяться над тобой, но никто, кроме тебя самого, не будет обижен. Ты в ответе перед самим собой — и только. И в этом твое ничтожество. Но без твоих черных, задубевших рук земля стала бы мертвым шаром. И в этом твое величие. На тебе, как на сером фундаменте, держится весь дом, но не ты будешь виноват, если этот дом почему-то рухнет. Ты не будешь виноват!

Подошел отец. В холщовых штанах и такой же рубашке, под мышкой подушка. Белый с макушки до пят, пахнущий пчелиными сотами и полями.

— Дай-ка растянусь рядом, сынок.

— Ложись, ложись, отец. Тут попрохладней, немного ветерок погуливает.

Оба блаженствуют, глядя на ветви, облепленные румяными яблоками. Яблоню посадил отец. Все здесь сделал отец; трудолюбивый муравей, он по былинке возводил семейный муравейник.

— Эта яблоня каждый год родит. Яблоки железными называют. До весны лежат. Умаялся? Завтра, наверно, не пойдешь к Кяршисам снопы вязать? — Старик улыбается с хитрецой.

— Почему? Раз вцепился в землю, надо работать.

— Я вот думаю: может, стоит отпустить Василя? Что делать на таком хозяйстве четырем работникам?

— Насчет Василя будь спокоен! — не сегодня так завтра его фон Дизе заберет. Вчера Кучкайлис говорил,

вышло предписание, чтоб в хозяйстве было не больше двух человек на десять гектаров земли.

— Ну, смотри сам. Чего доброго, брат ты мой, прискучит тебе наш хлебушко, и останусь я вообще без работников, — подтрунивает старик.

— Я твердо решил, отец. Да и ответ получил. Забыл сказать. Вчера прислали. Удовлетворили прошение — я уволен.

Миколас Джюгас растерян. После долгого молчания он говорит:

— Хм... Может, и хорошо сделал. В такое время в деревне спокойнее, слов нет. Что ж, посиди, пока не кончилась война.

— Нет, отец, я не временно. С преподаванием покончено. Навсегда. Буду работать на земле, а на досуге — писать стихи.

Миколас Джюгас лежит навзничь. Закрыл глаза, руки скрестил на груди. Как человек, окончивший свой путь в сей юдоли слез, которую покинул с легким сердцем, поскольку не уклонялся ни от чего, что выпадало на его долю.

— Что ж, видно, судьба. Мы к земле приписаны. — Его голос, спокойный и грустный, наплывает будто издалека, из глубины веков; годы отсеяли все преходящее, оставив в решете времени лишь золотые крупицы неумирающей мудрости. — Дед был крепостным. Работал на барина, но все равно на земле. Потом поместья роздали, моему отцу досталось десять десятин. Присосался к этим десятинам, как пиявка к ноге. Отца не помню — царские жандармы застрелили, когда переносил через границу литовские книги из Пруссии, — я родился уже после его смерти, но мать говорила — хорошим хозяином был. А хороший хозяин не может не любить землю. Нас было три брата и две сестры. Старшие поделили эти десять десятин пополам, остальным выплатили долю. Я подумал: есть у меня

четыре десятины (их твоя мать получила в приданое), докуплю еще четыре — будет хозяйство. Копил деньги, как скряга, — рубль за рублем добавлял к тем, что выплатили братья. Работали оба с женой как проклятые. Недосыпали, недоедали, пообносились — все в хозяева лезли. Стыдно признаться — завидовать стал своему лучшему приятелю Вайнорасу. Вот, думаю, как оно получается. Парнями мы оба в поместье мозоли набивали, а теперь, брат ты мой, он хозяином стал, да еще каким — землю Яутакисов отхватил. И попадется же такой счастливый билет! Только после того, как он признался, — а сам чуть не плачет, — что угодил под каблук Катре Курилки, посочувствовал я ему. А денежки продолжал выжимать, как черт воду из камня. И тут, брат ты мой, война — та, первая... Пришли немцы, рублями хоть подотрись, а я, как дурак, и остался на своих убогих четырех гектарах. И пошла смута за смутой — то армия Бермондта, то большевики, а потом и литовское войско объявилось. Начались призывы защищать родной край, создавать независимую Литву.

По правде говоря, я тоже точил зуб — отца-то в свое время застрелили. Да и самого меня литовской грамоте мать тайком учила, словно это преступление какое. Все мы царской властью были сыты по горло. Хотели своего, литовского государства, это ж и ребенку ясно. Но вряд ли пошел бы я в добровольцы, не посули они землю. Воевал за Литву, а думал о гектарах, которые получу. Под Гедрайчяй взял в плен офицера из штаба Желиговского. Прицепили мне крест, а я твержу свое — домой, и подавай мне землю! Не обманули. Отстригли десять гектаров от поместья. Распахал межу, брат ты мой, — теперь у меня четырнадцать! Хозяин. Вот уж заживу, кончились черные деньки... А на поверку вся маета была еще впереди. Начал избу ставить. Влез в долги. Потом — худой год. Еще задолжал. Ночи стали с гулькин нос — спать некогда, да и по ночам частенько

не мог смежить глаз: заботы да беды одолевали. Эх, Гедиминас, земля хороша, если со стороны смотреть. А вот прижмешься к ней да обовьет она тебя руками — берегись! Из-за нее, как из-за девушки, человека порешишь.

Гедиминас, приподнявшись на локте, смотрит на усталое лицо отца. Прижаться бы щекой к его щеке, погладить бы поредевшие седые волосы…

— Ты — святой мученик, отец, — взволнованно говорит он.

— Каждый крестьянин, если он любит землю, мученик. Мученик, и к тому еще проклят навеки.

— Это потому, что мы никогда не довольствуемся тем, что есть. Земля наказывает человека за жадность.

Миколас Джюгас качает головой.

— Нет, земля почему-то благоволит к тем, кто ее не любит. К крепким хозяевам, помещикам. Щедра она к ним, хоть и ласкают они ее чужими руками. Жадность, говоришь… Какая тут жадность, если на маленьком клочке повернуться невозможно? Ведь не только о себе думаешь: будущее детей и днем и ночью покоя не дает. Хочется всех на ноги поставить, чтоб не мыкали горе, как мы. Вот и маешься весь свой век, хватаешь горстями, а ловишь щепотью, да и щепоть-то бывает пустая. Нет уж, Гедиминас, не видать тебе счастья на хуторе.

— Не знаю. Я вообще не знаю, отец, что такое счастье, мне не приходилось встречаться с ним. Человек не может быть постоянно счастливым или несчастным. Счастье — это отдельные мгновения, крупицы сахара, не растаявшие в стакане чая. Такие крупицы попадаются каждому, где бы он ни жил. Работа у крестьянина честная, И это главное. Крестьянин может нечаянно запахать птичье гнездо, порезать косой зайчонка, но ему не приходится резать людей.

Миколас Джюгас приподнимается на подушке. Глаза затуманились, словно он только что смахнул слезу.

— Не приходится резать людей… — глухо повторяет он. — Так говоришь потому, что не знаешь земли, Гедиминас, не знаешь ее, сын мой. Я же тебе говорил, если придется, человек за землю может родного брата убить. Я-то знаю, сам нечто похожее сотворил!

Гедиминас отшатнулся от отца, смотрит на него во все глаза.

— Очнись, отец. Что ты говоришь?.. — испуганно шепчет он.

— Знаю, сын мой, что говорю. Наизусть, как молитву, затвердил. Ксендзу исповедался, покаяние совершил, а грех по сей день сердце печет. — Миколас Джюгас торопится. Боится, что в последний миг не хватит отваги, — давно уже собирался он с духом, но недоставало сил открыть сыну правду. — Вглядись в эту яблоньку, сын мой. Помнишь? Я посадил ее весной после худого года. На память о Ка… Казюкасе…

— Помню, отец. И худой год помню. Как сейчас. Мне тогда шел пятнадцатый.

— Надо помнить, тот год надо помнить до скончания века, сын мой.

Гедиминас смотрит, затаив дыхание, на отцовскую руку — она тянется к его плечу, повисает в воздухе и тут же бессильно опускается.

— Страшное время было, сын мой, страшное… Я не оправдываюсь, но, если ты помнишь, как было… не хочу оправдываться — господь мне судья. Хочу, чтоб ты меня понял…

II

— Понимаю, отец, я хорошо тебя понимаю. Я ведь не ребенок, мне четырнадцать, — сказал я тебе тогда. —

Спасибо за все, что вы для меня сделали.

— Хотел тебе образование дать, да и дал бы, если б не этот год, не ливни. Вышел бы ты, Гедмис, в люди, господь бог не даст соврать, вышел бы…

— Я верю, отец, знаю, что стараетесь из последнего. Не изводись зря, мне хватит и столько образования. С тремя классами гимназии можно какую-никакую службу найти. А вечерами буду учиться.

— Второй худой год кряду… — жаловался ты. — Будь Казюкас здоров или Анеле в его годах… Господь карает, и не ведаешь, за что.

Я стоял посреди поля и смотрел, как ты уходишь по бережку канавы, ведешь под уздцы лошадь с выгона. Копыта по бабки уходили в раскисшую землю. Земля словно стреляла под копытами, и след мгновенно заволакивала мутная вода. Закаменелый глинозем, клеверище; в другой год в такую пору здесь с трудом кол вгоняли! Самое высокое место нашего участка, которое мы, дети, называли «горой»! Эта «гора» теперь раскисла, как сухарь в чае, во впадинах блестели лужи, — казалось, кто-то разбросал на клеверище большие куски стекла. Ночью (а то и после полудня) снова хлынет дождь — края неба обложили тяжелые, набухшие водой тучи, — но покамест в прояснившейся голубизне шпарило августовское солнце, и от этой лицемерной ласки брала оторопь. Люди, коровы и лошади на полях были какими-то ненастоящими, как и это непродолжительное вёдро. Не слышно ни птичьего гомона, ни песен, ни веселых криков, ни хлопанья кнутов. Не сверкают отвалы плугов на солнце: нечего пахать. Серые призраки слоняются с косами по буграм, убирая неплохо уродившуюся здесь рожь, но звон отбиваемых кос не звучит веселой музыкой, как в иные годы. Он вроде шуршания ног на половике в сенях, вроде робкого стука случайного гостя за дверью. Косы звенят виновато, им стыдно перед мокнущими в воде

ложбинами, где умирают чахлые, не успевшие завязать колосьев хлеба. На пригорках призрачно белеют суслоны озимых. Лохматые, глубоко ушедшие во вздыбленную стерню. Вороны и воробьи копошатся в проросших снопах; едва зародившаяся жизнь уже пахнет смертным тленом.

Нет, не забыть мне худого года, отец. Но он не был бы так страшен, если б не прошлогодняя беда. Если б не кроваво-черная туча, которая пронеслась над полями деревни, оставляя за собой вывороченные с корнями деревья, сорванные кровли, выбитые окна и какой-то странный, острый запах лука. Но вскоре мы услышали и другой запах — запахло кровью земли. В ужасе глядели мы на ползущее по полям голубое марево; казалось, из внутренностей земли сочится дым; вот-вот вспыхнет пламя и испепелит все уцелевшее. Ветви яблонь торчали полуголые, обломанные; яблоки и какое-то зеленое крошево застлали землю; сеновал осел под столетним стариком — тополем, дьявольской силой ветра вывороченным с корнями; мы смотрели на все это; мы смотрели... А потом пустились бежать. Не по проселку, а кто как, дорога оказалась всюду, иди или езжай, куда хочешь — ураган проложил широченный тракт. Мы бежали, спотыкались, скользили на градинах, падали и поднимались; мы бежали на похороны, но еще теплилась надежда — вдруг застанем ее, землю, живой. Вся деревня бежала на похороны земли. На полях стоял крик, плач, стон. Взлетали к небу руки и проклятия, слышались молитвы и стенания. Местами ураган с разбегу перескочил целые загоны, они стояли, на радость везучим хозяевам, оазисами в грязно-зеленой пустыне, и люди падали на колени, благодаря своего жестокого бога за милость.

Тебе не за что было благодарить бога, отец, но ты и не сквернословил, не ломал рук, не лил слез, не ронял человеческого достоинства. Ты был честен, а в тот день

я понял, что ты и велик. «Спасибо за то, что осталось, — сказал ты. — Хорошие корма будут».

Корма были, зато не было хлеба. Весной не будет семян. «Главное, были бы все здоровы, — утешал ты мать. — Выправимся, опять выправимся. Ветки, правда, обломало, но корни целы».

Ты это говорил, отец, хоть уже понимал, что и корни подрублены. Не у одного тебя, правда. Много саней проскрипело в ту зиму через нашу деревню со взятыми в долг семенами. Много крестьян прошагало рядом с груженными зерном розвальнями; они то и дело щупали кладь рукой — не прохудился ли мешок, не сыплется ли, а заметив одно-другое зернышко на дороге, почтительно кланялись ему и, подняв с земли, прятали в карман, как крупицу золота. Из него вырастет колос, из этого крохотного зернышка, кусок хлеба. Заскорузлые пальцы крестьянина клали в карман одно-единственное зерно, а глаз видел целую щепоть. В кармане старого тулупа ты обнаружил горсть прошлогоднего гороха. Целый день улыбался, как будто кобыла разрешилась породистым жеребенком. Сахарный горох! Посеешь просторно, рядами, натыкаешь прутьев, и горох даст сам-сто. Сто пригоршней сладкого сахарного гороха! Посеял. Засеял и поле взятым в долг зерном. «Выкрутимся, опять выкрутимся…» И вот… Старики не помнят такого дождливого лета. «Ничего, на пригорках уродится, — утешал ты нас и себя святой ложью. — Главное, чтоб градом не побило, как в прошлый год». На пригорках, правда, зерно уродилось, но уже видно было, что дождь не даст убрать. Озимые-то скосили, но они зазеленели в суслонах. Сгниют и яровые — крохотные заплаты на супесях, которые меньше боялись воды. Сгниют на корню, прорастут в колосьях, едва вернув хозяину семена.

— Вот так-то, брат ты мой, — говорил ты вечером. — Человек полагает, а бог располагает, Гедмис. Что поделаешь. Старались мы с матерью, сколько могли, да сам видишь… Ты уж не сердись, сын мой…

Мать вздыхала, смахивала краешком платка слезу. Моя добрая мать. И ты вздохнул, отец. Как я мог на вас сердиться? Ведь уже прошлой зимой вы ели хлеб, замешенный на картошке, а я каждое утро шел в гимназию после сытного завтрака. Я мог только целовать вам руки, черные руки каторжников от земли; святые, смелые, не знающие устали руки, которые ни разу не опустились, пасуя перед тяготами жизни, но сегодня признались в своем поражении… И я целовал их — жилистые, жесткие, заскорузлые, как стволы берез, посаженных вокруг пруда; как обожженную солнцем окаменелую глину, целовал их, как придорожный крест, иссеченный ветрами столетий, и чувствовал на губах соль ран Христовых. Тогда я еще верил в воскресение господне и все-таки подумал, что сына небес распяли тремя гвоздями, а вам в каждую длань загнали их без числа. Это были самые святые руки на свете, я мог только преклоненно целовать их.

— Ничего, — повторял ты, — все образуется… Вот увидишь, все образуется, сынок.

Наверное, ты уже думал о длинной диковинной телеге, какой еще никто не видел в Лауксодисе. И о камнях на помещичьем выгоне. Тогда ты и предположить не мог, что через десять лет помещик станет твоим зятем и его крепкие плечи удержат наше хозяйство, скатывавшееся в пропасть. А тогда Анеле было всего двенадцать годков. Нас могла спасти только машина для делания денег, как ты в шутку назвал странную телегу, когда забрал ее от кузнеца, который оковал колеса. Во дворе покойного старика Кяршиса тоже стояла такая телега, хотя его хозяйство было на несколько гектаров крупнее нашего. Каждое утро

затемно вы уезжали на помещичьи выгоны и, нагрузив эти «машины для делания денег» камнями, тащились в Краштупенай. Оттуда — снова на выгон и обратно. После второго заезда вы возвращались уже глубокой ночью. Вы возили камни городским богатеям, которые строили новые дома. «Золотые россыпи, — радовался ты. — За два дня полтора центнера зерна». А ночью ты стонал во сне, меня часто будил твой жалобный стон. Но страшнее всего бывало, когда ты хрипел, словно тебя душили.

Помнишь то утро, когда утопился Гирнюс, которого в Лауксодисе звали Коротышкой? Вышел поутру вроде по нужде и не вернулся. Нашли на берегу одно белье.

— От нищеты сбежал, брат ты мой, — преспокойно сказал ты, словно так оно и должно быть. — Теперь у него никаких забот. Благодать...

В твоих глазах я подглядел зависть. И мне стало неспокойно, очень даже неспокойно, отец. Я то и дело выбегал за хутор, смотрел во все глаза: не возвращаешься ли ты из города на своей длинной телеге? А тебя все не было. Никого я еще так не ждал, как тебя в тот вечер. Ужин давно остыл, мы уже выплакали все глаза, когда услышали грохот колес. Зато ты был весел, чертовски весел. Ты выпивал иногда, любил посидеть с соседями за кувшином пива по праздникам, но таким пьяным я тебя еще не видел. Таким грязным, шатающимся, болтающим невесть что. Вода стекала с твоего тулупа, заляпанного грязью лица, с усов. Перед лавкой, на которую ты шмякнулся, тут же натекла черная лужа. Ты стучал по ней вымазанными в земле сапогами и вопил:

— Плывем, плывем теперича по морю-океану в Америку счастья искать!

Потом встал, нацепил на грудь свой крест. Прямо на промокший тулуп. Тот самый крест, которым наградил тебя генерал Сильвестрас Жукаускас и который дал

тебе десять гектаров. Ты вышагивал по избе, шатался, задевал за мебель и пьяно выкрикивал:

— Посмотрите на этого молодца! Шагает доброволец Литвы! Да здравствует независимость! Ура! Ура! Ура! Да здравствует хозяин свободной Литвы без хозяйства, краштупенайские господа и камни! Ура помещичьим выгонам!

Мы перепугались: думали, ты сходишь с ума. В тусклом рвете керосиновой лампы твои глаза дико блестели, лицо казалось зеленоватым, череп — много лет пролежавшим в земле. Ты метался по избе, как полуночное привидение, таскал за собой причудливую, ползающую по стенам тень, от которой нам всем стало еще страшней.

Да, это была ужасная ночь. Как сейчас вижу Казюкаса, скачущего у стола. Не по годам долговязый, почти с тебя ростом. Он хлопал в ладоши, хихикал, что-то бессвязно выкрикивал; слезы идиота стекали по губам и подбородку. Никому не было дела до дурачка, — посадить бы его, утереть сопли. И тогда ты… Нет, сперва все затихло, такая стала тишина, что было слышно, как потрескивает в лампе огонь. Ты стоял перед Казюкасом, растерянно опустив руки, а он испугался — он всегда тебя чуточку побаивался. Дурацкая ухмылка медленно сползала со старообразного, жирного лица.

— В довершение всех бед еще тебя нам не хватало, несчастный ребенок, — с досадой сказал ты.

Ты занес руку. Может, хотел утереть обслюнявленный подбородок, а может — погладить, но я почему-то подумал — сейчас ты ударишь его. Я смотрел на твою руку и трясся от страха. На повисшую в воздухе руку — благословляющую, а может, проклинающую? А она не двигалась, бессильно повисла в воздухе, как подвешенная на веревках корова, умаявшаяся за зиму от бескормицы.

— Анеле — замуж, Гедиминаса — в люди, Миколюкасу — хозяйство, — бормотал ты, уставившись в потолок, словно советуясь с господом богом. — А куда девать Казюкаса? Наградил господь горбом, и таскай весь век. Фунт хлеба в день — два с половиной центнера в год. Это если один хлеб посчитать. И так из года в год, до конца жизни.

— Помилуй, господи, что ты говоришь! — воскликнула мать. Первые ее слова с той минуты, как ты ввалился в избу. — Побойся бога, Миколас, ведь твое дитя!

— Все дети мои, мать, все, — бормотал ты. — Оттого я и говорю, что все дети мои... Оттого так и говорю, мать...

— Накажет господь, вот увидишь.

— А он не может круче наказать, мать. Наказал, как самого что ни на есть преступника. И детей наших, хоть они ни в чем не повинны, тоже наказал, мать.

Да, отец, я помню, хорошо помню худой год. Пустую, ненастную осень и голодную зиму, хотя случались дни, когда мы ели по-царски — поросят, начиненных картошкой. Так уж случилось, что сразу после рождества опоросилась свинья. Поросят было много, для себя оставили двух, а остальных никто не брал: кормить было нечем. И мы съели их — мягкие, с хрустящей корочкой, они таяли во рту, как конфеты. Всех до единого съели. Даже тех, которых поутру находили мертвыми, задавленными свиньей. Схрупали с косточками — косточки-то были мягкие, одни хрящи были в этих младенческих трупиках. А потом, кажется около крещения, захворал Казюкас. Он лежал в маминой кровати с замотанным горлом — багровый, глаза навыкате — и тяжело сопел. Стыдно признаться, я не любил его. Мне было неприятно, что у меня полоумный брат; я любил Анеле, Миколюкаса, очень по ним тосковал, когда учился в гимназии, а Казюкас был

для меня пустым местом; вспоминая о нем, я даже думал, что лучше уж вообще бы его не было на свете. Но сейчас, когда он метался на маминой кровати и в его глазах я видел человеческую боль, я не мог сдержать слез. Да и ты, отец, ходил сам не свой, и мама плакала; весь дом казался поникшим, траурным и чего-то ждал. Керосиновая лампочка до утра горела над постелью Казюкаса; должно бы пахнуть керосиновым чадом, но мне чудился запах восковой свечи.

— Доктора... Надо доктора привезти... — стонала мать, ломая руки...

— Повременим, подождем еще денек, — говорил ты, — Может, пойдет на поправку.

Прошел день.

— Повременим, подождем еще денек, — снова сказал ты. — Если не станет лучше, завтра уж точно.

Ты собрался на следующий вечер. Вернулся порожняком: доктор куда-то уехал, ответила тебе прислуга.

Как сейчас вижу открытую дверь из жилой избы в соседнюю комнатушку, где лежал Казюкас. Мы втроем (два брата и сестренка) стояли, крепко обнявшись, у двери и глядели на стынущий овал лица на фоне белой подушки. Никогда мы не были так близки и дороги друг другу, как тогда, в минуту смерти брата.

— Дети вы мои, дети... — шептал ты, выйдя из комнатки. И вдруг схватил всех нас в охапку, как крестьянин суслон, когда он разваливается от ветра, стиснул в объятиях и стал осыпать поцелуями.

А мама все еще всхлипывала, стоя на коленях у кровати. На столе горела свеча, она освещала пепельно-серый лоб брата, холодные, застывшие глаза, в которых не было теперь ни страдания, ни пугающего выражения — одна пустота, вечный покой. Дом наполнился запахом воска и еще чем-то: это был запах смерти — сделала костлявая свое дело. Я долго еще

слышал этот запах — уже после того, как вынесли некрашеный сосновый гроб, а ты запряг лошадей в парные розвальни и снова уехал за камнями. Как будто ничего и не случилось. Только поросят не хватало, очень нам не хватало поросят к картофельному, мякинному хлебу, хотя теперь-то хлеба прибавилось. И мать больше не плакала. Она вздыхала и говорила:

— Такова воля божья. Там ему лучше.

Ты молча кивал: да, да, бог знает, кого прибрать…

Только мы, дети, не кивали. Мы жалели Казюкаса, куда больше жалели, чем в те дни, когда его душила ангина; нам еще долго слышался запах смерти.

III

— Нет, отец, тот год забыть нельзя, — после долгого молчания говорит Гедиминас. — Я помню все, словно это было вчера. И весну после смерти Казюкаса помню. Трава в саду была серая под прошлогодней листвой, ветки деревьев усыпаны громадными почками. «Принеси заступ из сеней, — сказал ты, — самое время сажать яблони». И мы посадили здесь деревце. Ты уминал землю вокруг яблоньки, повернувшись ко мне спиной, и бормотал: «Пусть будет память о Казюкасе, упокой, господи, его душу, пусть будет память…» Ты повторял эти слова, как заклинание. А потом сказал, что осенью я снова пойду в гимназию.

Миколас Джюгас с грустным удивлением смотрит на свою руку. Пожмет ли ее сын после того, что сейчас услышит?

— Спасибо на добром слове, сын мой, — наконец говорит он. — Все правда. Так оно и было. Только одно не так: доктор-то никуда не уезжал… Чего молчишь? Страшен я тебе? Такой я и есть, ведь дал болезни

удавить родного сына. Я сам, вот этими руками, его удавил.

Гедиминас растерян. Не из-за услышанного: его заботит, что признание отца не испугало его. Напротив — он даже испытал облегчение.

— Ты разлюбишь… разлюбишь теперь меня, Гедмис… — шепчет старик, протянув руку, как за милостыней. — Я пожертвовал им, как Авраам Исааком. И не богу была жертва — земля требовала. Земля страшна, сын мой, беги от нее.

— Успокойся, отец. Кто знает, может, и врач бы ему не помог. А если б и выжил… Никакого счастья от этого ни ему, ни другим. Никакого счастья, отец, ты только подумай!

— Никакого. Может, оно и так… И твоя мать мне это говорила, только ведь — жизнь… Не свинья, не корова — человек, Гедмис. На жизнь человека покусился…

Гедиминас берет отцовы руки, складывает их-, как для молитвы, и ласково гладит, смотрит ему в глаза. Кроткие глаза, серые, как подсохшая на солнце пашня. Маленькие и необъятные. Тени еще мелькают, но все светлей и светлей. Тени рассеиваются, их растопил струящийся изнутри свет. Свет пока невидим, только угадывается — скоро наступит день.

— Ты сделал все, что было в твоих силах, чтобы остаться честным. Можно ли требовать от человека большего? Я понимаю тебя, отец.

— Ты хороший… Вырос хорошим ребенком, Гедмис…

Гедиминас хотел бы сказать что-то убедительное, чтоб заполнить пустоту в сердце старика. Утешить: «Вот увидишь, вернется Миколас, отец, не все же гибнут на войне». Но боится бередить рану.

Лежат оба, молчат, каждый думает о своем. Кажется, что отец задремал, но вот раздается его голос:

— Земля, говоришь… Кормит она, одевает человека, это правда, но и свое у человека берет. Ох, как берет, сын мой. Девять шкур с тебя сдерет, душу вымотает. А никуда от нее не убежишь. Никуда!

«Быть может. Наверно, так», — думает Гедиминас, но ничего не говорит. Ему грустно, словно жаль чего-то. Слова отца (а может, его голос) воскресили в его памяти недавно воздвигнутый монумент Пахарю. Поначалу ему не верилось, что это — просто холодный камень. Как будто разверзлось чрево земли и в муках вытолкнуло этот монумент на свет божий. Такой близкий, родной, словно миллионы лет простоял рядом. Он был мертв и холоден, этот каменный пахарь, а все равно хотелось прильнуть к его коленям — он чем-то напоминал отца. Сильные ноги в кожанцах прочно вросли в пьедестал, но он не стоял на камне — он шагал по земле; он шел по своему полю безмятежным воскресным днем, лаская кротким взором плодородную зеленую землю, по которой, словно украшенные зеленью корабли, плыли деревни и хутора. «Я создал все это», — говорил он, протянув тяжелую мужицкую руку. И в этом степенном движении не было ни спеси, ни хвастовства. Словно сказал: ну вот, нарезал хлеба, пожалуйста, садитесь все и угощайтесь, а потом пойдем работать. В глубину веков протянулась его рука. Почтительный поклон праотцам, которые тысячи лет назад пришли на эту землю и навсегда прижались к ее радушной груди. Пахарь благословлял кости праотцев, превратившиеся в прах, давно развеянный ветрами столетий, — так говорится, но он-то знал, что это не так: этот прах — в его крови. С трепетом благословлял он своих праотцев, хотя мог проклясть их за то, что они обосновали мирное племя пахарей именно здесь, на берегах Балтики, между наковальней Востока и молотом Запада, в точке пересечения мощных сил, где за каждый день жизни приходилось

платить кровью. А может, он и впрямь проклинал ее, свою руку? Вырубившую священные дубравы, разрушившую жертвенники, разогнавшую жрецов. Руку, которая помогла пришельцам погасить вечный огонь и вместо веселого громовержца Перкунаса поставила распятого бога христиан. Но ведь эта рука крепко держала меч, метко посылала стрелы, сплеча била палицей. Она не только защитила свои усадьбы и поля от закованных в броню рыцарей, но и преградила им путь на земли соседей. Нет, он не мог проклинать ее, свою руку. Врагов было больше, чем деревьев в его лесах; рука ослабела, выпустила меч, спина согнулась под чужой силой. У него осталась соха — единственное оружие, которым он защищался от неминуемой гибели, когда растил хлеб и детей и старался сохранить свои корни в родной земле. Несчастный раб! Сеял хлеб для своих детей, а урожай делили свои и чужие господа. Бароны, шляхтичи и князья делили колос, ему оставалась солома. Ему, хозяину земли! Так за что же, скажите, стыдиться ему своей руки, за что проклинать ее?

Не грабил он, а у него все отбирали,
И цепи кованы не им, а для него.
На каторгу его, не он их гнал, своих тиранов.
Когда-то были пруссы, его братья,
Теперь от них — название одно……
На юг от Немана до Буга нынче речь звучит чужая,
А здесь, в родной избе, родное слово нам запрещено,
И дальний Север многим — дом второй.

Нет, пахарю не стоит стыдиться своей руки. И он держал ее на отлете, чтоб все видели. Как землепашец, знающий себе цену и понимающий свою силу, он говорил, глядя вперед, словно на зарю, предвещающую погожий день:

«ЗДЕСЬ НАША ЗЕМЛЯ».

Гедиминас почтительно снял тогда студенческую шапочку. На глаза навернулись слезы. Душа плакала и пела от радости, рифмуя следующую строфу стихов.

Перед тем как уехать из того жемайтийского городка, он вернулся, чтобы еще раз взглянуть на памятник. Каменный пахарь приветствовал его, как и в тот раз, широким взмахом руки. На его крепких плечах, сутулых от векового ига, дрались воробьи. У пьедестала, подставив спину ветру, мочился пьяный крестьянин.

Несколько лет спустя в другом жемайтийском городке, уже перед другим памятником, он снова вспомнил эту кощунственную сцену. Теперь она не вызывала возмущения; он бы не удивился, если бы увидел и здесь, за спиной Первого Историка нации, крестьянина, справляющего нужду, — старые идолы, которым он молился до той поры, рухнули. Итак, он стоял перед памятником, сам не понимая, что его держит здесь, и думал о двоюродном брате Саулюсе, которого расстреляли белоповязочники, о тетином горе, о далекой родной избе, о войне. Площадь была большой, просторной. По ней маршировали немецкие солдаты, они выкрикивали песню, рефрен которой сопровождался дружным, режущим слух свистом. Одноэтажные домики обступили площадь, — ни одного разрушенного, как будто через городок пронесся свадебный поезд, а не война, но Гедиминасу казалось, что кругом закоптелые развалины и каменный историк в своем сумрачном одиночестве тоскливо созерцает мертвую пустыню, которая еще недавно шумела

вековыми лесами, полными зверья, птиц и звонкого пения охотничьего рога. Показывает на все это протянутой рукой и шепчет: «И это — земля, которую я прошел пешком, направляясь в Вильнюс, чтобы вкусить наук и просвещать ее? Что вы натворили, литовцы, аукштайтийцы и невозмутимые жемайтийцы?» Он был перепуган, насмерть перепуган, этот певец прошлого нашей нации. Полы потрепанного сюртука развевались, тощие ноги ерзали, им не терпелось побыстрей оторваться от пьедестала, на который люди поднимали историка во славу нации, а водрузили на всеобщее посмешище.

«Было у нас несколько святых, и мы даже их осквернили, — подумал тогда Гедиминас. — Прощай, Симанас Даукантас». Он шел через площадь, где рыскали орущие немецкие солдаты, и удивлялся, что земля не поглотит их. А когда вышел в поля, еще больше удивился, что на них зреют хлеба, пасутся коровы, а птицы в поднебесье распевают свою нескончаемую песню. Не веря своим глазам, он перепрыгнул канаву и, забравшись по пояс в седое, пахнущее корочкой свежего хлеба поле, принялся гладить и щупать колосья — тяжелые и звонкие, как гири старинных часов. Земля не изменила! Она одна сохранила верность своим детям. Она продолжала жить и рождать, чтобы жило все, чему природа даровала жизнь.

Он упал на колени и обнял седые волосы земли.

IV

Пересохшие стебли хрустели в охапке: злак шепотом прощался с землей. Гедиминас опустил связанный сноп — осторожно, на комли, чтоб не вытрясти зерна. Неважно, что пшеница Кяршисова.

Хлеб, кто бы его ни растил, для него был святыней; сызмальства отец приучил любить и почитать его. В этом доме не отбрасывали ногой оброненную корку, а с уважением поднимали с полу и, поцеловав, клали на стол.

— Ладная у вас пшеница, — похвалил он.

— Ничего, урожай неплохой, — согласилась Аквиле.

Кяршис как раз перед этим сказал:

— И-эх, пора и передохнуть. До вечера так и так управимся.

И теперь, связав свои снопы, они шли к суслону, под которым стоял глиняный кувшин с водой, настоянной на хлебных корках.

— Пей.

— Пей уж ты, пей. — Он ласково оттолкнул кувшин, который протянула Аквиле, и, пока она пила, украдкой посматривал на нее.

И она косилась на него. Черные ресницы трепетали, как крылья стрекозы. В глазах — грусть по утраченным дням и надежда вернуть их. Болезнь как бы выжала ее, она снова стала тоненькой и стройной. И в лице появились новые черты — отблеск пережитого, задумчивая грусть. Она словно сбросила невидимый груз, давивший ее, и теперь сама удивлялась: как могла столько времени таскать его? В ней мало осталось от Аквиле, которой Гедиминас когда-то читал свои стихи, но еще меньше она была похожа на Аквиле, выменивавшую прошлой зимой в городе довоенное ржавое сало. И такая, до неузнаваемости изменившаяся, она была более близка Гедиминасу, чем прежде.

Он взял кувшин с теплым от ее рук ушком и поднес к губам. Теперь она искоса смотрела на него, и он на нее тоже, и глаза обоих улыбались. Он больше не презирал, он жалел ее. Она это знала, хоть не было сказано ни слова. И с благодарностью принимала

сочувствие — правда, унижающее ее, но честное, — она понимала: это лучшее, что он может без лицемерия дать ей.

— А-та-та, вкуснота какая, — по-детски радовался он, облизав губы. Подбородок тоже был мокрый, и он вытирал его потной, измазанной в земле рукой.

— Мне тоже нравится вода на хлебных корках, — согласилась Аквиле.

(«Приближается косовица, — сказала прошлый раз Милда. — Вы будете сидеть под суслоном и пить подсахаренную воду на хлебных корках». Я рассмеялся. «Да, да, — сказал я, — мы будем пировать, а другие за нас будут потеть. Ты вообще-то вязала снопы?» — «Ой, еще сколько! На каникулах мать ни дня не оставляла без дела. С пятнадцати лет стала брать с собой к хозяевам снопы вязать. Жарища, пылища, пот разъедает глаза. Казалось, в аду и то легче. А теперь вспомнишь — хорошо было. Просто чудесно. Вот бы посидеть в тени суслона, попивая из глиняного кувшина сладкую водичку на ржаных корках. Но у нее будет уже не тот вкус, Гедиминас…» Да, Милда, дважды ничто не получается одинаково. Вот и твои записочки. Поначалу они были вроде алгебраических уравнений, а последняя — откровенная и нетерпеливая, как крик раненой птицы…

Ах, пусти меня к костру погреться,
Не гони на сквозняки дорог.
Ледяное камня сердце
Сиротку-малютку не поймет…)

— На суслонах помогать не буду, — сказал Гедиминас. — Хочу уйти пораньше — у меня дела в Краштупенай.

— Ага.

— У меня дела, — подчеркнуто повторил он. Наклонившись, поднял со жнивья соломинку, принялся накручивать на палец. — Детьми мы делали кольца из пшеничной соломы и воображали, что они золотые.

Она сосредоточенно смотрит на палец. Он черный, желтая блестящая соломинка впрямь кажется золотой.

— Я очень рада, Гедиминас, что ты вернулся в деревню. Очень рада.

— Правда? Я ведь плохо вяжу снопы.

— Ты хороший человек, Гедмис. В деревне хороших людей мало.

— Хороших людей нет, Аквиле. Есть люди, самые обыкновенные люди.

— Вот и хорошо, что ты обыкновенный. Сколько я тебя помню, ты всегда был не такой, как все. Умнее, выше, чище других. Не смейся, мне так казалось. Я всегда тебя стеснялась, может, даже побаивалась. А когда ты вернулся в деревню, работаешь вместе с нами… Такой же оборванный, вымазанный, как мы…

— …и работник неважный, — со смехом подхватил Гедиминас.

— Нет, почему? Работник как работник. А вот снопы я уж точно лучше вяжу. Хоть в этом-то…

Он смотрит на Аквиле печально и спокойно, как на заходящее солнце.

— Слишком поздно я вернулся на землю. Надо было это сделать до того, как написал тебе любовное письмо. Верно?

— Почему? — Ее голос глуховат, испуган. Пыльное лицо с потеками пота потемнело. — Никогда не поздно вернуться на землю, Гедиминас.

Он не успевает ответить: по жнивью с шуршанием приближается Кяршис, за ним — Маруся и Василь с Иваном. Напились, скручивают цигарки из самосада. Аквиле, взяв опустевший кувшин, уходит: пока мужчины курят, она сбегает на хутор за водой.

— И-эх… — глубоко вздыхает Кяршис, провожая ее взглядом.

Гедиминас давно бросил курить, но его все еще раздражает табачный дым. Отошел в сторонку, составил суслон, сел в тенек и перечитывает записку Милды. Вот ненормальная! Как можно доверять такие письма почте! Забыла, где и в какое время живет… Он не удивился бы, если б копия этого письма очутилась на столе Адомаса. А может, она уже там?

Шуршит жнивье. Шорох все ближе и ближе; это Василь кружит. Зашел за суслон, потягивается, зевает, словно у него одна забота — отправиться на боковую и всласть выспаться. А на самом деле Василя терзает тревога. Уже давно ходит он сам не свой, чернее тучи. Не скалит зубы, не отпускает шуточек, не подмигивает девушкам. На Василе лица нет.

— Что это ты загрустил, Василь? — спросил вчера Гедиминас. — Девушка бросила? Чепуха, найдешь другую. Наши девушки не привередливы.

— Не то, хозяин… — Василь разинул было рот, но не решился, потряс головой и отвернулся. А сегодня утром, пока шли к Кяршисам пшеницу вязать, всю дорогу говорил неясными намеками, за которыми сквозили неуверенность и страх.

Нашлись и такие, кто сразу послушался немцев и записался в армию Власова, сказал он. Генерал обещает восстановить независимую Украину. Но ему, Василю, хорошо было на родине и так. К чертовой матери войну и все обещания немцев, — он еще молод, жить хочет. Гедиминас согласился с Василем, хоть не был уверен, правильно ли его понял. Да, сказал Гедиминас, политика, как шлюха, изменяет, когда ей выгодно. Человек, причастный к ней, лишается принципов и живет одними иллюзиями. Есть ведь такие типы: встречали немцев с цветами, потом спешили с винтовкой гитлеровцам на подмогу, а сейчас без

возмущения читают наклеенную ночью на телеграфный столб шифрованную листовку:

С оотечественники!
А рийские
МО шенники
УП отребляют
РА здоры
Во вред,
Л итва
Е сть
Н ация
И
Е динство!

— Хорошо у вас, — слышен голос Василя за суслоном.

— Ну и жарища, — говорит Гедиминас. Василь нравится ему больше других пленных. Наверное, за веселый нрав. А может, просто ближе его знает, чем других. К тому ж Василь научился говорить по-литовски — способный парень, к таким людям Гедиминас неравнодушен. — Ты полежи, — говорит он, — пускай спина отдохнет.

Василь стоит перед ним, чуть наклонясь вперед, словно собираясь опуститься на колени. Кряжистый парень с пригожим смуглым лицом, на котором выделяются крупные яркие губы и густые черные брови.

— У нас пшеницу не вяжут, — тоскливо говорит он. — У нас — прямо комбайном... а уж потом на грузовиках — государству.

— Истосковался по родным местам, Василь?

— У меня мать, три сестры. Отца в тридцать третьем забрали — учителем работал, поддержал мужиков, которые в колхоз не хотели вступать. И девушка у меня

была. Красивая. Истосковался, как не истосковаться. По ночам снится, что я дома, гуляю по двору, да вот… — Василь замолк, печально качает головой.

— Вернешься, Василь. Немцы уже проиграли войну. Все вернутся в родные места. Думаешь, германский солдат не хочет домой?

— Простои солдат — ясное дело. Что ему? Такой же человек, как и я. Но пока война кончится… — Василь замолкает; наконец, собравшись с духом, шепотом выдыхает — Вот бы пересидеть тут, пока Гитлер не лопнет…

— Пересидишь, Василь. Не заберут немцы в лагерь, не бойся. У них теперь другие заботы.

— Может, и не заберут…

— Какая им от вас польза? Тут-то хоть помогаете крестьянам хлеб выращивать. Немцам хлеб нужен, Василь.

Василь опасливо озирается и еще сильней подается всем телом вперед.

— Хозяин… вы послушайте, хозяин, — шепчет он, собравшись с духом. — Плохо у нас в батрацкой. Парни бежать собрались. В лес, к партизанам.

Гедиминас заинтересовался. Заинтересовался, но не больше. Он взглянул на Василя, не понимая, чего тот хочет. («Пусть бегут, разрази их гром, если хотят, а твое-то какое дело?») Но тут же все понял, покраснел и поморщился.

— Чего ты от меня хочешь, разрази тебя гром? — Теперь и он заговорил шепотом, едва сдерживая гнев. — Чтоб я немцам сообщил? Я был лучшего мнения о тебе, Василь.

— Хозяин… — Василь сел на жнивье, обхватил руками колени. Уставился куда-то, на Гедиминаса и не смотрит. Совсем растерялся. — Ну что вы, хозяин… Я же не предатель. Хочу только дождаться конца войны и вернуться домой. Вот и все…

— Так какого ты лешего мелешь чепуху? — сердится Гедиминас. — Пускай бегут, кому нравится, а ты оставайся.

— А немцы?

— Что — немцы?

— Ничего не сделают тем, кто остался? Мстить не будут?

Гедиминас молчит. Вопрос, поначалу ясный, оказался весьма запутанным.

— Ты не мог найти другого советчика, любезный? — цедит он сквозь зубы.

Василь молчит. Лицо такое, словно заглянул в собственную могилу.

И тут Гедиминас находит решение. Сам до конца не верит своим словам, но хочет, чтоб так было.

— Сбежать не трудно, но будет ли вашим ребятам лучше в лесу? — говорит он, успокаивая больше себя, чем Василя. — Стоит ли трогаться с места, пока немцы еще не забирают вас от хозяев? Я не думаю, что у вас много таких, кто, выбравшись из одного мешка, торопился бы залезать в другой. Разговоры разговорами, но если как следует все прикинуть… Нет, Василь, не думаю, что из этого что-то получится. Все так и кончится разговорами, вот увидишь. Здравый рассудок не допустит до глупостей. Ведь таких, как ты, там не один.

Василь усмехнулся. Или это только показалось Гедиминасу? Да-да, короткая, как взмах клинка, улыбка скривила губы. Ухмылка трупа на виселице.

Гедиминас протянул руку, хотел похлопать по плечу, но Василь испуганно отшатнулся.

— Иван… — едва выдохнул он, испуганно озираясь. — Иван…

Тяжело встал и, даже не взглянув на Гедиминаса, зашагал прочь. К другому суслону, где курят мужчины, к своему Ивану идет Василь.

V

Их семнадцать. Национальности, род занятий в прошлом, биографии — все разное. Шестую часть земного шара в миниатюре засунули в каменный сундук батрацких, глядящих в помещичий сад старинными окнами, наспех забранными решеткой.

Зачем решетка, удивлялись они, если ночью у двери трубит носом сторож с палкой, которого при желании совсем нетрудно перехитрить? Или странный утренний и вечерний обряд — проводы на работу и обратно. Ведь в поле их не охраняют, да и во всей деревне, кроме старосты и господина Дизе, ни у кого нет оружия.

Эти меры предосторожности были непонятны и крестьянам. («Еще одна дурацкая выдумка немецкого орднунга»), А потом все узнали, что в других деревнях пленные живут у хозяев свободными батраками. «Лагерек в батрацких — это выдумка старосты Кучкайлиса и господина Петера фон Дизе, — решила деревня. — Один хочет выслужиться перед немцами („Видишь — нет, они строгость уважают“), а у другого под рукой такая куча мужиков — при нужде можно использовать для полевых работ в поместье». Хозяева роптали, однако добились лишь разрешения Кучкайлиса пленным ходить на работу и возвращаться без сопровождающего. Но по утрам (да еще как можно раньше) крестьяне все равно являлись каждый за своим, а то как бы не пришлось потом искать его на помещичьем поле и бессмысленно препираться с господином Дизе.

(«Ja, ja, das ist твой. Aber я имею больше права на него. Das ist немецкий пленный. Его взяли unsere Soldaten. Ja, ja, ich verstehe dich, он за тобой числится. Ordnung ist Ordnung. Aber он уже ушел на работу. Arbeitet! Arbeitet schon, verstehst du? Германия все

arbeiten. Война победить! Ты не хочешь война победить, к дьяволу!»)

За полтора года жители Лауксодиса сжились с пленными, привыкли их считать за своих. Пленные тоже больше не смотрели на крестьян как на чудища, собирающиеся их пожрать.

В лагере для военнопленных все как один лелеяли мысль о побеге, но, когда попали в деревню, где такая возможность была, эта мысль мало-помалу стала тускнеть.

— Совесть нашу усыпила сытая кулацкая деревня, — сказал однажды Федор, молодой слесарь из Перми. — Жрем да вкалываем, пока наших братьев на фронте бьют.

Все беспокойно уставились на Федора. Не из-за сказанного им — об этом многие подумывали, — все опешили от неожиданной откровенности новичка. За целый месяц с того дня, как Федор появился в батрацкой — его привезли из другой деревни, — от него только изредка слышали словцо. И слова всегда были загадочные, с подковыркой; они вроде и не требовали ответа, но заставляли призадуматься. Он не вступал в беседы, не спорил: швырнет в тихую заводь один-единственный камешек и с любопытством следит, как расходятся круги по воде.

— Как подумаю, что вернусь когда-нибудь домой, никакой от этого радости нету, — продолжал Федор под угрюмое молчание мужчин, сидевших на своих койках. — Да и как тут радоваться — родина не ждет таких сыновей. Что я скажу ей, вернувшись? Мол, в то время, как мои товарищи умирали за нее, я хлебал жирный литовский борщ?

— Аминь, — буркнул Василь, развалившийся на кровати. — Батюшка Федор отслужил вечерню, теперь можно и на боковую.

— Ты часом не генерал будешь, что так каешься? — раздался еще чей-то голос. — А может, встретил первого немца и поднял руки?

Федор расхаживает между двумя рядами коек, выстроенных изголовьями к стене, в проходе могут разминуться двое. Вечер погожий, но комната утопает в густых сумерках — закат заслоняет густой сад. Большая продолговатая комната загромождена смутными тенями предметов, среди которых мелькают пятна побелее — пленные в исподнем.

— Вот живу я среди вас — и как-то не верится, что вы ходили в советскую школу, читали газеты, работали, — ответил Федор, продолжая расхаживать по проходу между койками. Руки в карманах штанов, голова опущена, словно ему стыдно смотреть товарищам в глаза. — А ведь тут наверняка есть и комсомольцы и бывшие общественники, может, даже стахановцы есть. Выросли под красным знаменем, аплодировали, кричали: «Коммунизм строим», а вот представился случай подкрепить слова делом — и нету вас… Постыдились бы хоть отцов своих, которые кровь проливали за революцию, черт подери. И призадумались бы, кем бы вы были, если б не Октябрь…

— О-а-у! — зевнул плотной грудью Охро. — Я бы разводил виноград. У моего отца был чудный виноградник под Тбилиси.

— А я… — откликнулся Василь и тоже зевнул. — Нет, не знаю, кем бы я стал. Тут такое дело, что и не скажешь. Зато, мой отец еще был бы жив. У нас в роду все ядреные. Дедушка до девяноста дотянул…

— Да вот… — начал было еще кто-то, но тут раздался злой голос Геннадия:

— Заткнись, Василь! И ты, Охро. Нечего похваляться своими кулацкими замашками. Мой отец тоже мог жить, а погиб. За революцию. За то, чтоб я стал тем, кем захочу. А меня сызмальства тянула медицина. Если б не

фашисты да не война, я бы окончил школу рабочей молодежи, поступил в институт. Ушел в армию, оглянуться не успел, как... Мало разбираюсь в оружии, но застрелиться-то мог. Время было. Только... Побоялся? Нет. На-верное, нет. Мог бежать, схлопотал бы пулю в спину. Тоже не получилось... Молодым трудно умирать, хоть о годах вроде и не думаешь. Трудно умирать, Федор. Вот она, наша вина, Федор!

Федор остановился у кровати Геннадия. Хотел было присесть рядом, но передумал и только положил руки на изножье.

— Вина! — тяжело выдохнул он. — Не знаю, вправе ли кто обвинять нас. Вина наша не в том, что остались в живых, а в том, что примирились со своей судьбой. Признайтесь: есть ли среди вас хоть один, кто готов бросить этот сытый блошиный питомник и уйти в лес? Сразу же, не трясясь за свою шкуру?

— В лес? С пустыми руками? — разинул рот Геннадий. — Вот если...

— Я сказал — не трясясь за шкуру, — резко обрубил Федор. — Нет, вы не желаете сами открыть дверь, вы думаете не о том, как бороться, а о том, как уцелеть. Уцелеть живыми трупами.

— Да ведь нету смысла по-глупому в петлю...

— Видать, тебе жить надоело, Федор, — отозвался Василь. — Что ж, тикай в лес, никто не держит. Ежели хочешь, сала дадим на дорогу.

— Если уж бежать, то хоть знать куда, — отозвался другой. — А так, вслепую, без ничего... Немцы переловят, как цыплят.

Федор молча направился к своей койке и лег. Пленные еще долго спорили, обсуждали вызов, брошенный новичком; одни отвергали его как неразумный, другие принимали с оговорками, но все сходились на одном: бежать без оружия, без связи с местным населением — самоубийство.

Федор не сказал больше ни слова. Молчал он и на другой день, и на третий: он уже расшвырял весь запас пробных камешков. Но жизнь в батрацкой не вернулась в старое русло. Воспоминания о прошлом, которыми пленные пробавлялись, утоляя тоску по родине, уступили место другим разговорам. По вечерам, вернувшись с работы, они обсуждали положение на фронтах, и хотя известия, полученные от местных жителей, в основном были почерпнуты из оккупационной печати, все-таки можно было составить приблизительную картину о продвижении Красной Армии. Все призадумались. «Пусть приблизится фронт, — шептались они. — Только нас тут и видели...» Но от линии фронта их отделяли сотни километров, и всем казалось, что окончательное решение — в далеком будущем. Никто, кроме Федора, не знал, что она, их новая судьба, уже рядом, вот-вот постучится в дверь и крикнет: впустите!

VI

Федор. Наконец-то могу сообщить вам радостную весть: партизанский связной уже здесь! Вначале думали было бежать вечером, после работы, прямо с поля, но в последнее время план изменился. Поясню вкратце, в чем дело. Прежде всего, пока по одному доберемся до озера, где нас будет ждать связной, пройдет немало времени. В поместье могут заметить и поднять шум... Если немцы дознаются о побеге раньше, чем мы доберемся до лесов Венте, всем нам каюк. Другая причина, из-за которой мы изменили план, — неуверенность в некоторых наших товарищах. Я не говорю, что среди нас могут оказаться предатели. Но ведь могут найтись такие, которые в последнюю минуту дрогнут и отправятся не к обрыву, а обратно в этот

хлев? Эти слабовольные людишки, потерявшие рассудок на кулацких харчах, думают, что хозяева защитят их от немецкой расправы. Мы не вправе оставлять их на произвол судьбы. Поэтому решено бежать прямо отсюда, скопом. Завтра в сумерках аккуратно свяжем сторожа и…

Геннадий. Почему завтра, если связной уже здесь?

Федор. Нету двоих — Михаила и Глеба. Уехали с обозом. Вернутся только завтра.

Геннадий. Завтра может не оказаться других.

Федор. Связной будет ждать три ночи кряду. А за это время…

Иван. За это время кто-нибудь проболтается, если уже не проболтался, и все мы окажемся в петле, мать честная.

Петр. Если бежать, то бежать сразу же.

Федор. Надо подождать Михаила с Глебом.

Петр. Дожидаясь двоих, погубим пятнадцать.

Иван. По всему видно, так и будет. Старик из поместья — Пуплесис, или как там его, которого Федор приводил, очень уж смахивает на фальшивую деньгу.

Федор. Он — партизанский связной. Ну и характер у тебя, подозревать каждого. Так вот, ребята, решение такое: завтра, после захода солнца, все до одного к обрыву. Опоздавших ждать не будем. Кто останется, пускай пеняет на себя, когда немцы поставят к стенке.

Василь. Может, поставят, а может, и нет.

Петр. Видать, мало их знаешь.

Василь. Немцам нужна рабочая сила. Трупы работать не будут.

Иван. Смотрите-ка, как запел! Не господин ли учитель его просветил? Видел я, как сегодня за суслоном шушукались.

Василь. Пошел ты к черту! Не хочу по-глупому головой рисковать.

Федор. Ну и оставайся, черт с тобой! Дай адресок родителей, сообщим, где твои косточки искать.

Иван. Он думает, это не понадобится. Верно, Василь? Думаешь, продам-ка я их, и немцы оставят меня в покое.

Федор. Так что, Василь, остаться хочешь?

Василь. Говорил уже — не хочу совать голову в петлю. Но как все, так и я.

Геннадий. А о чем вы с господином учителем за суслоном шептались?

Василь. Твое какое дело? Этот учитель толковый парень. Мы с ним часто разговариваем.

Иван. Он постарался даже выучить ихний язык. Не понимаю, как он, угодил промеж нас. Черт бы тебя побрал, Василь, ума не приложу: почему ты не подался добровольцем в армию нового Петлюры, предателя Власова? Призывали же немцы защищать белое отечество.

Василь. Ты тоже мог податься. Приняли бы, не бойся.

Федор. Хватит! Кончайте эти разговорчики, к чертовой матери! Почему ты уверен, Василь, что немцы не тронут, если останешься?

Василь. А я говорил, что уверен?

Федор. Ладно, оставайся. Мужики, есть еще желающие остаться?

Иван. Ты яснее говори, Федор. Есть ли еще предатели?

Охро. Зачем городить чепуху. Вы убежите, если только вам удастся, а остальных прихлопнут. Это уж точно.

Тахави. Есть только один путь. Или всем бежать, или всем оставаться.

Федор. Пока не придут наши и не освободят?

Петр. Или фронт подойдет поближе…

Василь. Наконец-то толковое слово сказал. Правда, ребята, чего мы добьемся, уйдя в лес? Еще вопрос: не переловят ли нас немцы, пока дойдем? Да и там ведь тоже нас не мать родная ждет. Головы полетят, и оглянуться не успеем. Война кончится, другие будут живы, а нас не станет. Давайте пожалеем своих близких. Матерей, сестер, братьев, детей. Мало они пролили слез, нас дожидаючись? Неужто здесь так уж плохо? Работаем на чужих, унижаемся, это понятно. Но в лагерях военнопленных нашим товарищам еще хуже. А мы туда не попадем. Немцев теперь не это заботит. Им нужна рабочая сила. Так и учитель говорил. Немцы слишком много народу перебили, им не хватает хлеба, оружия. Они нас не тронут, сказал учитель. Какой же смысл наплевать на хлеб, которого тут вдоволь, и уходить на верную погибель?

Иван. Вот про что он с этим фашистом за суслоном толковал!

Геннадий. Значит, проболтался?!

Федор. Надо бежать немедленно, пока этот учитель не сообщил немцам.

Петр. А Михаил с Глебом?

Федор. Теперь уже нет другого выхода. Каждую минуту могут нагрянуть немцы.

Иван. Ух, гадина! Мишку с Глебом погубил!

Василь. Учитель не выдаст…

Федор. Заткнись, Василь, теперь мы не верим ни единому твоему слову.

Иван. Надо ему рот заткнуть, да покрепче. Я лично не желаю носить в кармане бомбу замедленного действия.

Геннадий. Связать его! Пускай остается тут, как хотел.

Иван. Нет уж, его придется ликвидировать. А то немцы и впрямь такого подлеца пожалеют.

Василь. Ребята… товарищи… братцы…

Петр. Тихо!..

Федор. Рот заткните. Руки и ноги — ремнями. Быстрей.

Иван. К черту ремни! Они нам самим нужны. А ну-ка, подушки сюда, ребята! Хотел мягкой жизни — пускай мягко и кончает, сукин сын.

Федор. Иван, Иван…

Иван. Хочешь, чтоб он всех по нашему следу пустил?

Охро. Скоты…

Геннадий. Надо сообщить тому, из поместья, Пуплесису, или как там его.

Петр. Чтоб его баба шум подняла?

Все. Верно говорит.

Федор. Жалко старикана.

Иван. Они тут все свои. Лучше помещичий погреб обшарим. Пригодится в лесу.

VII

Они катили свои велосипеды прямо по лугам.

Женщины доили коров, а парни вели выпряженных потных лошадей, чтобы привязать их на клеверище. По проселку громыхала телега — кто-то, накосив вики для свиней, спешил в деревню. Собаки тявкали, дымили трубы, гомонили дети и скрипели колодезные журавли. Вечернее небо распускалось над землей росистым цветком тюльпана. Румяное от гаснущего заката, оно кропило залитые молоком тумана поля прохладной медью лунной ночи.

А они все вели свои велосипеды. Мимо подоенных уже коров, мимо всласть повалявшихся лошадей, смачно хрупающих клевер, мимо суслонов, рассевшихся на жнивье, словно бабы на паперти. Тропа влилась в

проселок, потом отделилась от него, побежала вдоль канавки, заросшей ивняком, а женщина все шла вперед.

— Куда ты меня тащишь? — вспылил он. — Пора подумать о ночлеге.

— Ни о чем не хочу думать, — ответила она своим милым картавым говорком. — Так и будем идти, пока не станет ни дорог, ни тропинок. Только поля, деревья и птицы. Потом захотим домой и не найдем дороги. Заведи меня куда-нибудь, Гедмис, чтоб я не нашла дороги домой.

— И для этого ты позвала меня? — сдержанно спросил он, подозревая, что она лукавит: за эти два часа не было недостатка в поцелуях и ласковых словах, но он чувствовал — главное еще не сказано.

— Я соскучилась по тебе. — Она посмотрела через плечо и улыбнулась, но так, что у него екнуло сердце.

— По твоей записке можно было подумать, что повод более серьезный.

— Я — человек настроения, Гедмис. Настроения, — подчеркнуто повторила она, но это прозвучало фальшиво.

— Адомас верно говорил: ты не умеешь врать.

— Будь добр, когда мы с тобой, не упоминай о нем.

— Хорошо, буду добр. Но и ты не криви душой.

— Ты хочешь, чтоб я себя насиловала.

— Если так, не надо. Хотя сомневаюсь, любовь ли это, когда один из любящих держит кукиш в кармане.

— Гедиминас…

— Когда я целую губы и ощущаю за ними затаенное слово, я вспоминаю легенду про Христа и тридцать сребреников. Такой уж я, Милда. Хочу, чтоб женщина, которая мне принадлежит, была открытой до конца. Для других — тайна, а для меня — прозрачная, как родник, до дна.

— Я от тебя этого не требую.

— Значит, не любишь.

— Гедмис… — Она вдруг остановилась и повернулась к нему. — Посмотри на меня. Вспомни последние встречи. Все-все, о чем мы говорили, все, что было, — и ты не сможешь сказать, что я не люблю тебя. Давай без провокаций, ладно?

— Прости… — Он остановился, оперся о велосипед и взял ее за руку. — Я эгоист, вдобавок не уверен в себе. Может, потому, что ты мне все дороже, Милда.

— И ты мне, Гедмис. — Она прижалась к нему. Велосипеды упали на траву.

Он расстелил плащ тут же, между лежащими на траве велосипедами. Потом, когда она вялой рукой ерошила его волосы, ему стало грустно и досадно. Вчера, уезжая в командировку, ее, быть может, ласкал Адомас. Он оттолкнул ее руку. Хотел сказать: «Я не могу тебя делить с другим». Но только оттолкнул ее руку — и все.

Оба долго молчали, глядя в зеленоватое небо.

Сверкнула падающая звезда.

— Моя… — шепнула она.

Он не ответил. Думал: так дальше продолжаться не может, надо раз и навсегда положить конец этой двойственности.

— Может, ты и прав, — сказала она, по-своему истолковав его молчание. — Если люди по-настоящему любят друг друга, между ними не может быть ничего скрыто. Когда ехала сюда, хотела все тебе рассказать, а потом испугалась. Я боюсь тебя потерять, Гедмис! Но больше так не могу. Надо было раньше сказать, пока мы не успели так сблизиться. Да что поделаешь… Поцелуй меня.

Гедиминас тревожно взглянул на нее.

— Ну, поцелуй, поцелуй. Может, потом не захочешь и смотреть в мою сторону.

Он рассмеялся.

— У тебя, пожалуй, есть актерское дарование. Ну что ты? — Однако наклонился и поцеловал ее в губы.

Прохладные руки обвились вокруг его шеи, а он приник к ее губам и снова почувствовал нестерпимую жажду. Нет, она не умеет играть. Может, старается, как каждый из нас, но у нее ничего не получается.

— Прости, — растроганно шептал он. — Я ревнивый дурак, только и умею обижать тебя. Прости, Милдуже.

Тогда она зажала его лицо в ладони и посмотрела в глаза.

— Ты любишь меня, — убежденно сказала она. — Пока еще любишь. — И вдруг заплакала. — Гедмис... Гедмис... Гедмис...

— Чего ты?.. Ну не надо... — У него тоже сжалось сердце: он был так же несчастен и бессилен, как и она. Но теперь не мог не сказать того, о чем несмело думал по дороге на свидание. — Оставь его. Я заберу тебя в деревню. В прошлый раз ты говорила: хорошо бы убежать на необитаемый остров и жить как Робинзон с Пятницей. У меня есть такой остров. Перебирайся в Лауксодис.

Она вся напряглась.

— Ты не бойся, он не посмеет нам сделать ничего плохого. Я хорошо его знаю — трус и тряпка. Поселимся у моего отца. Места много, и старик у меня хороший. Хочешь? Бери велосипед — и поехали, хоть сейчас! Правда, Милдуже, ну зачем тебе возвращаться в Краштупенай?

Она отшатнулась. Так резко откинулась в сторону, что он не успел даже увидеть ее лица. Повернувшись спиной, долго вытирала платком мокрые щеки.

— Я серьезно говорю. Конечно, прибавится хлопот по хозяйству. И удобства не те, что в городе, сама понимаешь. Почему ты молчишь?

— А что я могу ответить? — Она заговорила неожиданно спокойно, даже с ноткой цинизма: — Я

понимаю, они от доброты сердечной, эти благие пожелания. Ты благороден, очень благороден, Гедмис. А я вот не могу отплатить тебе тем же. Сам говорил: целовал мои губы и чувствовал за ними утаенные слова. Я не родник, прозрачный до дна, мой милый.

— Знаю, — ответил Гедиминас и помрачнел.

— Я тебе изменяла. Не с ним, конечно, — с другим. У тебя есть такие стихи, где ты оправдываешь физическую измену, если в душе женщина сохраняет верность. Я изменила тебе только физически.

Гедиминас сел. Хотел взять ее за плечи и повернуть лицом к себе.

— Не надо. Ляг и помолчи. Сам ведь хотел, чтоб между нами не было тайн.

Он упал на спину, словно от удара. Мягкий, картавый говорок струился откуда-то из-под земли. Замученный, вялый голосок. Гедиминас смотрел на медный купол неба, но видел изогнутую спину Милды. Голую, нежную спину. А на ней — белую руку Дангеля в перстнях. А может, он снял перстни и положил на стул, рядом с часами? «Верность в душе… Ха! Она принимала в себя чужое тело и в это время думала обо мне…»

— Что ж, Дангель импозантный мужчина. Но не могу представить, чтоб он говорил: «Я тебя люблю». Наверное, сказал: «Ты — вкусная женщина».

— Нет. Он сказал: «Вы умная женщина, фрау Милда, сразу поняли, что к чему. Адомас сегодня извинился за вчерашнюю выходку у Баерчюсов, но я бы еще подумал, хорошенько подумал, стоит ли предать это забвению».

— Адомаса спасала?

— Могла бы добавить: и тебя. Но это уж будет неправда. Если бы Дангель сразу потребовал такую плату, я бы ударила его. Но он был корректен и вежлив. А я — растерянная, выбита из колеи. И оскорблена, Гедмис. Слабостью Адомаса, его унижением перед Дангелем…

— Словом, типичная женская месть.

— Может быть. Называй это, как тебе угодно. Я так и думала, что ты ничего не поймешь.

— Почему? Понимаю. Есть мужчины, которые ищут утешение в чарочке. Женщины, оказывается, заменяют алкоголь кое-чем другим.

— Хорошо, больше не буду рассказывать.

— Говори. Хоть и без того ясно: ты изменяла мне с ним, пока тебе не взбрело в голову признаться. Но я не вправе обижаться: я ведь тоже участвую в твоих изменах Адомасу. И странное дело: не чувствую ни малейших угрызений совести.

— Могу быть точной: после этого я встречалась с ним всего три раза. И уже с расчетом — вытащить из полиции Адомаса. Он ничего твердо не обещал, — мол, не только от него это зависит, — ничего не делал. Несколько дней назад догнал меня на автомобиле в пригороде, хотел втащить в машину. Вырвалась. Вечером выдумал для Адомаса какое-то срочное дело и заявился ко мне. Хотела выгнать его. «А ты не старайся, — говорит он, — за своего супруга. У нас нет оснований уволить его — он добросовестный служака». И тогда, Гедиминас, он мне рассказал, он мне все рассказал... Ах, многие говорили, что у Адомаса руки в крови, но я не верила. Я не хотела этому верить, Гедиминас, не из любви к нему, — просто инстинкт самосохранения. Ведь я его жена, все-таки его жена... Я столько унижалась перед этой сволочью Дангелем! Я ему продавалась! А он-то ведь все знал про Адомаса, но молчал. И я вытолкнула его за дверь. Думала, сойду с ума — так я была себе противна. А он: «Потише, потише, фрау Милда. Мы многое прощаем женщинам, но когда они переступают грань, за которой начинается политика, мы караем их по закону наравне с мужчинами...»

Гедиминас краешком глаза посмотрел на нее. Съежившуюся, словно в ожидании удара. Теперь он не видел ни голой нежной спины, ни ласкающей ее руки Дангеля в тяжелых перстнях. А может, этого не было вообще? Может, это ему только примыслилось, как бывает душной летней ночью?

— Вставай. — Он взял ее за плечо, повернул лицом к себе. Хотелось ударить это мертвенно-бледное лицо, но руку остановил умоляющий детский взгляд. — Свежо стало. Простудишься еще. Пойдем.

Она послушно встала. Оба молча подняли велосипеды, с шелестом покатили их по росистой траве. Он — впереди, она — за ним. Скорей, скорей… Отчаянная поспешность беглецов. А вокруг — лужицы поднимающегося тумана. Коровы и лошади понуро стоят в этих лужицах — по брюхо в тумане. Тонут во мгле кусты и хутора.

Долго, неимоверно долго катят они свои велосипеды и молчат. Год, десять, а то и все сто лет. Все моря земли успели выйти из берегов и затопили деревья по самые верхушки. Он ползет по дну океана, как краб. Тонны воды на квадратный сантиметр. Раздавят! Одиночество наваливается на него тяжестью всех гор земли. Расстояний не стало. Пустота, кругом одна пустота… Печаль утраты сдавливает сердце. Душе холодно и неприютно в этой Арктике молочного тумана.

— Какой туман! — кричит он: так хочется услышать в ответ живой голос. — Совсем как осенью.

Но ответа нет. Обернувшись, он смотрит на ватную стену. Пусто за ней и уныло. Ждет, пока не приблизятся ее шаги. Их не слышно.

— Милда!

Тишина.

Он стоит, ждет, а сердце бьется все сильней. Потом вскакивает на велосипед и мчится обратно. Пролетает проселок, по которому только что выбрался на большак.

Дальше заброшенный сеновал — место их встреч, вывороченный бурей тополь у дороги.

— Милда! Милда!

Наконец-то! Подъезжает к ней, стаскивает с велосипеда.

— Уйди… Не трогай!

— Малютка, сумасшедшая моя малышка…

— Поэт! Благородные мысли, возвышенные образы… Все вы, мужчины, становитесь заурядными самцами, тронь только вашу собственность.

Он поднимает ее на руки, легкую, как ребенка, всхлипывающую, но послушную. Он снова не один в Арктике белого тумана.

— Ну, перестань! Успокойся! Прости меня, Милду-же… Пойми: ведь не люби я тебя…

— Вот-вот, не люби я тебя, ты бы в жизни не услышал того, что рассказала, и через несколько дней мы бы жили у твоего отца.

— Я понимаю, моя крошка. Никогда так хорошо не понимал, как сейчас.

— Я всегда довольно строго судила женщин, торгующих своим телом…

— Ну, хватит! Забудем! — Сжимает ее в объятьях. — Ты жертвовала собой… ради другого. Бессмысленно, конечно, но важен не результат, а намерение.

— Нет, нет! Я сделала это ради себя, только ради себя, Гедмис. Я думала, он еще не замарал рук. Мне не хотелось быть женой палача.

— Смотри-ка, ты состоишь из одних только слабостей. Никогда не знаешь заранее, что тебе стрельнет в голову. Тебя надо держать в узде, змееныш ты мой. Или отпустить. Да, лучше бы отпустить насовсем. Но что поделать, если не получается? — Он невесело рассмеялся и, поставив ее наземь, согрел остывшие губы долгим поцелуем.

VIII

Гедиминас стоит, опустив простоволосую голову. Мухи облепили губы мертвого. Иссиня-желтое лицо отвратительно раздуто. А был ведь красивый парень. Веселый, приветливый, он чертовски хотел жить. «Хоть бы челюсть платком подвязали». Но такое ли нынче время? Вот уже подкатила телега; двое полицейских зашвыривают Василя на повозку, как бревно. Трое мужиков с заступами топают за телегой: зароют на Французской горке.

Люди расходятся, обсуждая происшествие. Удавили. Не иначе как свои. Видно, не хотел в лес податься. И попутал же их бес сыграть такую шутку! Ночного сторожа связали, помещичий погреб очистили — сало и окорока от целой свиньи унесли. Ну его к лешему, этого помещика. Хуже то, что в косовицу деревня осталась без рабочих рук. Те, кто пленных не держал, потешаются: дареная лошадь до поры до времени тянет. Но все мрачнеют, вспоминая, как всполошился староста Кучкайлис.

Рано утром, едва стало известно, что батрацкие опустели, Кучкайлис бросился в Краштупенай. Прикатил грузовик с власовцами, тремя полицейскими и немецким офицером. Окружили деревню, обыскали избы. А начальники в это время сидели в поместье, у господина фон Дизе. Завтракали, совещались. Потом отобедали и снова совещались. Вызвали Кучкайлиса. А Василь все валялся на траве у батрацких.

Кучкайлис вышел от господина фон Дизе весь потный от страха, белый, как стена, — хоть на кресте распинай. Он носился по деревне, как угорелый, и в каждой избе твердил одно и то же. («Да, да, еще не знаем, чем это все обернется. Пуплесиса уже забрали, увезли в Краштупенай: головой, видишь — нет, отвечал

за пленных, да и вообще темная личность, старостой был при русской власти. Немец, видишь — нет, дотошный в таких делах, айн момент — и капут».) И пошли визжать свиньи во всех дворах. У гумен загорелись костры из соломы, деревня поголубела, запахла паленым. Бабы выдирали еще теплые внутренности, мужики разрубали топорами туши пополам и, посыпав солью, волокли к большаку. А власовцы да полицейские под бдительным оком немца в фуражке с высокой тульей кидали эти половинки на грузовик, складывали в аккуратные штабеля. Проехались по деревне и набили машину доверху, словно сарай дровами. Не было в этой поленнице только помещичьей свиньи, ну, и господин Кучкайлис, само собой, свою не заколол.

Пропади они пропадом! Мало им убоины, еще соль, которой в военное время и не достать, на них расходуй… Деревню лихорадило, но все утешали себя: может, откупились свиньями, не потребуют людских голов. И диву давались, что так быстро управились. Всего два часа назад хрюкал в хлеву поросенок — и вот уже торчит подпаленный, скрученный в бублик хвостик из-за борта грузовика. Укатили, матерясь, подмигивая девушкам, а немец в высокой, фуражке сидел в кабине, рядом с шофером, и, мечтательно улыбаясь, уже укладывал мысленно в посылку для своей фрау розовый литовский окорок. Остались только выгоревшие пятна на траве у гумен, трое полицейских да мертвый Василь. Но вот и его швырнули на телегу.

Гедиминас идет следом. Единственный провожающий. Вдова Гаудримаса, зазноба Василя, пришла, покрутилась и исчезла. Маруся пришла бы, проводила. Но Маруси нет — полиция увезла ее вместе с Пуплесисом. На полпути телегу догнали Культя и двое подростков. Полицейский ухмыляется: может, псалом затянем, мужики? Гедиминас иронически смотрит на

него. («Ты не думаешь, приятель, что и тебя могут так повезти?») «Опять остались мы с отцом вдвоем, — раздумывает он и горько улыбается. — Самое время привести хозяйку». Смотрит на Василя, а видит на телеге Милду. Стряхивает это наваждение, выдирает, как клеща, но все равно остается холодок подавленного страха. И дурное предчувствие голодным волком бродит вокруг. Нет, нельзя было с ней соглашаться. Но она не пожелала поступиться своим достоинством. «Мы не воры, не преступники, Гедмис, мы защищаем свое право на счастье. Надо начистоту объясниться с Адомасом». Поймет ли тот?

...Опустили Василя в яму... Никакого гроба, закопать, как собаку! — так приказало начальство. Но когда мужики, вынув из телеги доску, накрыли ею покойника, насыпали могильный холмик и черенком лопаты выдавили на нем крест, полицейские не сказали ни слова. Молча уселись на телегу и с грохотом съехали с пригорка. «На необитаемый остров...» Ха! Похоже, недалек тот час, когда можно будет сказать «деревня мертвецов». Первого уже закопали. Он слышит, как шагает рядом Черная Культя. Что-то бормочет, но Гедиминас не сразу улавливает смысл. Словно в поисках этого смысла, он смотрит на его потрескавшиеся, неизвестно когда чищенные башмаки, на обтрепанные штанины, которые подметают землю. Потом взгляд останавливается на рубахе Культи. Грязная, мятая. Наверное, не видала мыла и утюга с того дня, как забрали его жену. Хотел было отругать — как можно так опуститься! — но Культя не намерен слушать упреки.

— Жалко Матавушаса, — наконец-то отчетливо слышит он голос Культи. — Погиб мужик зазря.

— Не надо было соваться.

— Как сказать... Пуплесису было все равно, соваться или нет: барин так и так обещал шкуру содрать, если

хоть один пленный сбежит. Не лучше ли, что ушли все?

— Ты еще можешь шутить, Путримас? Находятся безответные люди, авантюристы, подстрекают дураков, — и вот результат: одного сами укокошили, другого повесят или расстреляют, а тех двоих, что были в отъезде и не сбежали, тоже ждет могила.

— Кто их подстрекал, чтоб их сквозняк, Гедмис?

— Василь был искреннее тебя, хоть я его за язык не тянул!

— Василь… Ишь оно как! — Культя смотрит на Гедиминаса, разинув рот. Несколько мгновений борется с соблазном, пытается смолчать, но это ему не по силам. — И ты ему поддакнул?

— Я-то согласился, он ведь разумно рассуждал: не хотел бежать.

— Вот и ясно, почему его нашли мертвым под кроватью…

— Поблагодари своих партизан.

Но Культе уже наплевать на осторожность.

— Почему их, а не кого-то другого? — покашливает он в грязный воротник рубашки. — Договаривались сегодня ночью бежать, да Василь, видать, воспротивился, вот они и испугались, что выдаст. Поторопились. Из-за того и Матавушас остался — он бы с ними бежал. И эти двое пленных.

Гедиминас ловит ртом воздух, пока наконец не выговаривает слова, которые жгут его:

— Значит… значит, я виноват?

— Иногда очень мало надо, чтобы толкнуть человека в ту или иную сторону, господин учитель.

Кровь ударяет Гедиминасу в голову. Где его прирожденная сдержанность, трезвый ум? Где его знаменитая ирония, которая спасала его в критические минуты?

— Вы-то привыкли сваливать вину за свои коллективные мерзости на одного человека, —

разражается он криком, с каким-то сладостным упоением поддаваясь гневу. — Я виноват, что не подстрекал Василя бежать. Василь — что не хотел бежать, а мы с Василем оба кругом виноваты в том, что погублены четыре жизни. А ты не подумал о тех четырнадцати, которые сбежали? Что их ждет? А деревня? Кто знает, какую чертовщину немцы еще выкинут... Может, завтра-послезавтра возьмут заложников — и к стенке. Хотел бы я посмотреть, как ты стоишь на краю ямы и благодаришь партизан. Борцы, порази вас гром! За счет мирного населения — женщин и детей. Если так приспичило с оружием поиграть, переходите линию фронта, становитесь плечом к плечу с солдатами. Но тут, разумеется, безопасней. Им, партизанам. Только не безоружным, ни в чем не повинным людям...

Культя молчит. Не подтягивает больше спадающие штаны, не стреляет глазами в стороны. Идет, спотыкается, согнулся, как хомут. Еще больше почернел, оброс грязью, вот-вот уйдет в землю. Остановился. Повернулся, как флюгер от резкого порыва ветра, шевелит искусанными губами.

— У меня ребятишки, господин Гедиминас... Ребятишки у меня, — повторяет он, потупив глаза. — Лучше, чтоб никто не узнал, чего я тут наговорил...

Гедиминас уставился на Культю, как на умалишенного. «Лучше, чтобы никто не узнал, чего я тут наговорил...» Почему не скажет прямо: «Не продавай меня, господин Гедиминас...»

В глазах зарябило. Замахнулся. Вот вмажет ему по этой просительно улыбающейся роже. Но в последний миг сдержался и с презрением плюет ему под ноги.

— И не проси, не пожалею! — шипит он, трясясь от ярости. — Сейчас же бегу к Кучкайлису — все скажу. Ведь человеку, который погубил четверых, раз плюнуть

угробить и пятого... Свинья ты, Путримас. Хуже тебя свиньи не видал!

— Господин Гедиминас... господин учитель...

— Нет уж, хуже тебя свиньи не видал... — В несколько прыжков оторвался от Культи. А вот и водосбор Вайнорасов: вдоль канавы он выйдет прямиком на свой хутор. — Хуже свиньи не видал... Хуже свиньи... хуже свиньи... — Гудит весь от макушки до горящих подошв. Продирается через кусты ивняка, словно клокочущий котел. Не чувствует, как ветки хлещут по лицу, спотыкается о камни и кочки, укрытые травой.

Глава вторая

I

Тяпнем по рюмочке, господин начальник полиции. По одной-то можно ведь! Старая дружба не ржавеет. Что, не помните? Ладно уж, не скромничайте, скромность оставьте нам, неполноценным. На-ам, господин начальник полиции. Дай-ка чокнусь. Трах-тара-рах та-та-та... Волшебная музыка автоматических флейт. Maschinenpistole[31]. Завершающие аккорды напутственного марша. Вы ведь провожали нас в мир иной, господин начальник полиции, стоит ли каждую ночь знакомиться снова? Объясняться, просить, извиняться? Давай без церемоний, сверхчеловек. Feuer! Трах-та-ра-рах та-та-та-та-та... Неполноценный становится совершенным лишь после смерти. Мы совершенны, господин начальник полиции.

Смазать бы по этой осклабившейся харе! Осклизлый шар: трухлявые хрящи ушей, заплесневелый череп, две черные дырки в костяной амбразуре лба. Верх

совершенства. Минуточку, — сколько он пролежал в земле, пока не достиг совершенства? Год? Нет, тринадцать месяцев. День-другой туда-сюда. За родину! Да здравствует… А потом и другие распустили глотки. Психопаты! Зато легче спустить курок, когда перед тобой психопат. Да, с ним уже можно чокнуться. Что, на брудершафт? Облобызаться? Нет уж, спасибочки! Совершенный с несовершенным…

А нам на эту разницу начхать, господин начальник полиции. Землица всех усовершенствует.

Желтыми зубами впился в губы. Липкий смрад гниющего мяса. Костлявые пальцы, похрустывая, лезут по горлу вверх.

Воздуха! Воздуха!

Мертвым воздух не надобен, господин начальник полиции. Ха-ха-ха!

Дикий хохот. Слева. Справа. Спереди. Сзади. Грохочут небо и земля. Квадрат 517: комендатура — гестапо — СС — полиция. Пять сотен хохочущих психопатов. Да здравствует… Я иду по мосту из трупов. То наступаю на дышащую еще грудь, на стынущее тело, то проваливаюсь в месиво дергающихся рук и ног. От запаха крови трудно дышать. Я — навозный жук в корыте, куда свалены гниющие отбросы для свиней. А там, высоко-высоко, на краях корыта, они — неупивавшиеся призраки. Плетень, переплетенье скелетов, а сверху — позеленевшие кувшины черепов. Ха-ха-ха! Молись своему богу, сволочь, мы готовы! Черные дула автоматов нацелены. В сердце. В лоб. В грудь. Приготовиться. Огонь! Но команды нет. Мучительно долго нет команды. Идут часы, дни, годы, а я все еще стою на теплом помосте из трупов. Ха-ха-ха! Молись своему богу, сволочь, мы — готовы! Это безумие будет длиться вечность. Неужто они его живьем закопают, как Дангель того партизана, который не пожелал говорить? («Эта скотина любит тишину.

Прикончим ее в соответствии с характером, — без выстрелов»), Нет, нет! Не хочу без выстрелов. Огонь! Огонь!

Проснувшись от собственного крика, Адомас долго лежит, не осмеливаясь открыть глаза. Стерлась грань между сном и явью. За окном завывает осенний ветер, изредка стукнут по стеклу случайные капли дождя, скрипнут закоченевшие сучья яблонь. Страшная ночь. Но он еще не уверен, что это явь, а не продолжение кошмара. Онемевшими от страха пальцами ощупывает грудь, живот, проводит по исхудалым бокам. Его тело! Упругие, жаркие мышцы; выступающие дуги ребер, за которыми все смелее стучит сердце. Живой! Существую! Они больше не придут! Хоть этой ночью уже не полезут целоваться, не придется снова стоять в яме под дулами. Главное — заснуть и ни о чем не думать. Не думать, не думать! Вцепись в это слово и повторяй до утра. Упрямо, методично, как только немцы умеют. Немцы… Убийцы! К черту их! Или выбери какую-нибудь точку и смотри на нее. Скажем, на… Ну, хоть на это белое легкое облачко. Небо голубое и пустое, как океан после шторма. Корабли утонули. Остался этот вот потрепанный бурями парусник. Искореженный, совсем не похожий на корабль. Но и небо не смахивает на океан. Квадратная грязная дыра, а вокруг — дула автоматов… «Они! Опять явились!»

Адомас, не открывая глаз, валится на живот. Натягивает на голову одеяло. В нос ударяет холодный запах мертвой земли. Могила! Не думать, не думать, не думать… «Господи, сотвори чудо из чудес, обрати меня в камень»……Один такой камень лежал на склоне Французской горки. Точь-в-точь человек, только без рук. В детстве они бегали туда с приятелями, окружали камень, водили хоровод и пели:

Была баба в Вильнюсе,
Была баба в Вильнюсе…

Этот камень и правда был вроде толстой, разжиревшей бабы. Кругом заросли лопуха и лебеды. Они обрывали лопухи и, наломав ивовых прутьев, строили шалаш для своей каменной бабы. Ему нравилась одна девчушка, на два, а то и на все три года моложе его. Он уже знал от подростков, откуда берутся дети. В густом бурьяне он задрал девочке платьице на голову: он хотел иметь детей и жить с ней в шалаше, как взрослые живут в своих избах. Но девчушка испугалась, заревела и убежала от него. Мать его выпорола: («И в кого уродился, и в кого уродился, чертово семя!»), а отец тем же летом скосил бурьян, взорвал камень и распахал землю. Он не помнит уже, что посеял отец там на следующий год. Не то овес, не то лен. Нет, лен цвел здесь много позже. Он был уже гимназистом, а девчушка, которую он тогда перепугал, пасла стадо на фольварке Гульбинасов. Он не хотел вспоминать ни о ней, ни об этой гадости, у него уже была другая девочка — настоящая, с которой они поженятся и поселятся не в шалаше, а в доме, как положено людям. Они шли мимо могилы каменной бабы, залитой цветущей лазурью, и ломали стебли льна, пока не набрали большой букет — она хотела сплести себе венок. Потом уселись на бережку под рябиной, и она сказала: «Какие красивые у льна цветочки! Мне они напоминают фиалки. Когда ранней весной расцветали фиалки, я, бывало, нарву побольше и плету венок. И все говорят, что мне идет». Еще бы, — подумал он тогда. Ее светлые косы просто диво, а глаза синие-пресиние, как в сказке… Но вслух сказать не посмел. Только кивал головой, глядел на цветы льна, на зеленовато-голубую речную волну, омывающую колени подружки, и думал:

красивей ее нет на свете. А когда она надела венок на свои блестящие льняные волосы, ему показалось, что это сон, — она засияла просто-таки неземной красотой! Ох, как хотелось обнять ее, поцеловать прямо в губы («Тогда уж никто ее у меня не отберет!»), но побоялся — вдруг рассердится и убежит, как та девчушка из бурьяна. Так и сидел в священном забытьи, сам не понимая, что с ним творится. С чего это мир вдруг стал синим-пресиним, как льняное поле? Как ее глаза, как венок на белой пушистой головке? Синяя жаркая волна захлестнула глаза, и он заплакал. «Почему ты плачешь?» Эти слова могли осчастливить самого несчастного человека — столько в них было нежности и тревоги! Как они нужны были ему вчера, когда она сказала, что между ними все кончено, а он заплакал! Первый раз за многие дни настоящими слезами. Слезами давнишнего мальчика. И сквозь слезы видел синее льняное поле. И весь мир опять стал иссиня-голубым. Но она не спросила, как тогда: «Почему ты плачешь?» «Ах, успокойся, Адомас. Не надо сцен», — вот что она сказала. Таким голосом, словно швырнула медяк побирушке. Глаза были холодные — вода осеннего озера; синее, напоенное солнцем льняное поле уже отцвело. Нет, конечно, еще цветет. Пожалуй, красивей прежнего. Но для другого. Другой целует ее рот и ерошит волосы. Волосы его детства, с запахами луговой росы. — Цыганка не соврала. (Лето. Через деревню тянется табор. Повозки, полные голопузых детей.) Знай смеялся, знай лапал ее за грудь, молодая была, ведьма, но сказала все как есть. («Предстоит тебе казенный дом и ждут тебя красивые девки. Не то черную, не то белую сулят тебе карты, но берегись ее, красавчик. С ней тебе счастья не видать».) «Пятнистую козу получишь. Яловую». Чьи это слова? Кажется, ляпнул кто-то из деревенских пареньков, что набежали с хуторов к цыганскому табору. Нет, нет, он вспомнил

голос Пуплесиса. Матавушас! «Привидение, снова привидение с того света!»

Уткнулся в подушку, прижался к постели, как солдат к земле, спасаясь от пули. Веки зажмурены крепко, до боли. Обжигающий дождь красных искр. Но дождь не смывает лицо Пуплесиса. Не то беззаботно ухмыляющееся в толпе толкающихся пареньков, залитое солнцем. Другое, потерявшее человеческий облик — кровавое месиво: с носа содрана вся кожа, глаза вылезают из орбит — два кровавых шарика, вывалянные в битом стекле.

II

Недавно Миграта пришла с той же просьбой, что и года два назад, — чтоб выпустил отца. Так же ерзала на стуле, играла глазами и многообещающе улыбалась.

Вдруг захотелось повалить ее на диван: с Милдой давно не спал, а городские шлюхи не привлекали. Неумело пряча желание, объяснил, что ничем не может помочь: старик в подвалах гестапо, оттуда его не вытащат никакие силы ада. Миграта всплакнула приличия ради, но зов в ее глазах не угас. И он на время запер дверь, а после, отпуская ее, потрепал по щеке. Не чувствовал ни перед кем вины. («Хороша девка, вот не думал…»), но теперь, когда увидел перед собой Пуплесиса — изувеченного, не похожего на человека, — его охватили ужас и стыд. Несколько мгновений смотрел на окровавленный мешок мяса и костей, поникший на стуле, — с двух сторон его поддерживали гестаповцы, — и задохнулся от тошноты, подступающей к горлу.

— Ну, Пуплесис? Последний раз спрашиваю: кто, кроме тебя, помог бежать пленным? Не скрою — все равно расстреляем, но перед тем еще жилы

повытягиваем, — допытывался Дангель, притворяясь, что не видит стоящего у двери Адомаса.

Пуплесис не шелохнулся.

«Видит ли он меня? Нет, он ослеп и оглох. Этому человеку все равно, что с ним будут делать». От этой мысли Адомасу полегчало, и он зло, с нескрываемым удовольствием посмотрел на Дангеля.

— Вы меня вызывали, господин оберштурмфюрер?

Дангель нетерпеливо показал рукой на стул у стены.

— Вижу, на тебя и это не действует, verdammter Dummkopf[32]. Или мои парни перестарались, или вместо нервов еще в чреве матери тебе дьявол ржавую проволоку вставил. Что ж, попытаемся иначе воззвать к твоему сердцу. — Дангель наклонился над письменным столом; взгляд его странно раздвоился: один глаз усмехался Адомасу, другой сверлил Пуплесиса. — Знаю, что у вас, большевиков, вместо сердца камень, но твое все ж дрогнет, когда из-за глупого упрямства ты погибнешь не один. Если, разумеется, у тебя осталась хоть крупица совести. Господин начальник полиции! Возьмите своих парней — и в Лауксодис. Доставьте сюда семью Пуплесиса. Всех до единого!

Тело Пуплесиса дернулось, по окровавленному месиву лица пробежала едва заметная дрожь.

— Вы слышали, господин начальник полиции?

— Да, я слышал, господин начальник гестапо… — машинально ответил Адомас, не вставая со стула.

— Завтра они будут расстреляны у тебя на глазах, Пуплесис, если ты не образумишься. Даю два часа на размышление. — Дангель посмотрел на часы. — В пятнадцать минут пятого мы снова встретимся. И это, запомни, в последний раз. От одного твоего слова будет зависеть, один ляжешь в могилу или потащишь туда всю семью. Abführen! [33]

Эсэсовцы подхватили Пуплесиса под мышки (руки болтались, как тряпичные) и выволокли из комнаты.

Адомас встал. Он не видел ничего, лишь какой-то белесый пузырь, парящий в пустоте. Потом всплыл фон — окно, забранное решеткой, зеленая ветошь листвы за ним; пустырь потускнел, приобрел черты лица человека; за столом возникла серая фигура Дангеля.

— В нашей работе надо быть психологом, господин Адомас. Эта скотина тверда, пока она одна. Сегодня я не надеюсь услышать от него что-то новое. А вот завтра, когда он увидит свою семью перед дулами автоматов, сразу станет шелковым. Не-ет, мы их не расстреляем, да это и не понадобится; это будет небольшой поучительный спектакль — и только. Надеюсь, полиция не останется пассивным наблюдателем.

Адомас неуклюже встал.

— Сейчас я прикажу доставить семью Пуплесиса, господин оберштурмфюрер.

— Минуточку. Боюсь, вы меня неправильно поняли. Видите ли, нам бы хотелось видеть вас с парнями на сцене до конца, господин Вайнорас.

Адомас растерянно пожал плечами.

Дангель вышел из-за стола и встал перед Адомасом.

— Видите ли, Пуплесис не может не испытывать к вам симпатии, господин Адомас, — продолжав он, улыбаясь уголками тонких губ. — Причины, я полагаю, нам обоим более чем ясны, так что не стоит вдаваться в подробности. Хоть вы и неважный психолог, но объективности ради согласитесь, что человеку не все равно, пронзит его пуля незнакомого врага, или ее пустит в лоб рука, которая однажды уже спасла его.

— Вы хотите… Чего вы от меня хотите?!

— Именно того, о чем вы только что подумали. Нет, нет, господин Адомас, не сразу. Сперва вы со своими парнями подержите перед дулами автоматов семейку

Пуплесиса, а потом уж прикончите его самого. Лично. Ради психологического эффекта, так сказать.

Адомас с ненавистью посмотрел на Дангеля. Тот засунул палец ему за ремень и, пригвоздив к месту холодным взглядом, от которого всех прошибал пот, — взглядом палача, оценивающего свою жертву, — присовокупил:

— Когда мы казним врага, то стараемся уничтожить не только его тело, но и дух.

Адомас, к величайшему своему удивлению, выдержал взгляд Дангеля.

— Вы верите в загробную жизнь? — услышал он свой голос.

— «Gott mit uns»[34], господин Адомас, но мы не религиозные фанатики. Когда я вижу, что мой враг духовно сломлен, я набираюсь новых сил для борьбы. Не выношу побежденных, которые умирают с улыбкой.

Адомас шагнул назад. Палец Дангеля выскользнул из-за ремня, и Адомас испытал странное облегчение, словно кто-то перерубил цепь, сковывавшую их.

— К сожалению, господин начальник гестапо, я вряд ли смогу вам помочь. Из меня не выйдет мастер психологических эффектов. Да вам, в сущности, не это и нужно.

Теперь Дангель сделал шаг назад.

— А именно? — Он продолжал улыбаться.

— Вы хотите, господин Дангель, чтоб как можно больше людей вокруг вас искупались в крови. Я уже в крови, вы этого добились, но вам все мало. Вам нужно, чтобы этот несчастный унес на тот свет кровавое воспоминание обо мне, а его дети, вернувшись домой, рассказали всем, что видели.

Улыбка сползла с губ Дангеля; он удивился, даже приоткрыл рот, обнажив мелкие красивые зубы.

Несколько мгновений он в растерянности смотрел на Адомаса, затем разразился долгим надсадным смехом.

— Och, Gott! Ich lache mich tot![35] Давно так вкусно не смеялся! — хохотал он, вытирая надушенным платком сухие глаза. — Оказывается, я не оценил вас по достоинству, господин Адомас. Вы не только психолог, вы не лишены и философских талантов. Поздравляю, поздравляю! Однако боюсь, ваши рассуждения слишком опасны, из них можно сделать далеко идущие выводы.

Адомас мрачно махнул рукой.

— Знаете, господин Дангель, в жизни человека наступает час, когда уже не боишься смерти.

— Любопытно, любопытно… Время удивительно меняет людей. Я вас не узнаю, Herr Polizeichef.

— Может быть. Видите ли, раньше я считал себя в какой-то мере неполноценным, а сегодня мы равны, господин Дангель. С той ночи, когда я помог вашим людям расстрелять пятьсот безоружных. Разрешите идти, господин оберштурмфюрер?

— Зачем так спешить, моя чувствительная душа? — Дангель, даже не удостоив взглядом Адомаса, повернулся к нему спиной и уселся за письменный стол. — Садитесь! И попрошу без глупостей, черт возьми. Нам надо до конца уточнить завтрашнюю операцию.

— Кто ее начал, тот и кончит…

Дангель бросил через стол презрительный взгляд: только таким образом ему удалось сдержать вспышку гнева.

— Если мне не изменяет память, повод к этой операции дали вы сами, господин Адомас. Надо было в свое время поставить Пуплесиса к стенке, вместо того чтобы его отпускать, и, я уверен, теперь мы бы не гонялись за беглыми пленными. Так что бросьте разводить философию. Я вправе требовать, чтоб вы

вернули хоть часть долга. Что значит прихлопнуть эту издыхающую падаль по сравнению с четырнадцатью беглецами, которые, пристав к партизанам, обратят оружие против нас. Четырнадцать дул! Просто в голове не умещается, что вы не чувствуете никакой ответственности за это!

— Не доказано, что Пуплесис содействовал побегу пленных, господин Дангель.

— Положим, так. Но вы не станете спорить, что это сделали люди, к которым вы были слишком милосердны, а Пуплесис — один из них. Так что прекратим пустые пререкания. Ваша роль в завтрашней операции ясна, уважаемый начальник полиции. Точка! Будете капризничать — расстреляем… Нет, не вас, вы нам нужны, кроме того, вы утверждаете, что не боитесь смерти. Парни, которые не боятся смерти, нам особенно нужны. — Дангель оскорбительно рассмеялся. — Расстреляем эту бабу со всеми пуплесятами. Даю вам честное слово. Полагаю, для вас, сентиментальной личности, такой вариант не приемлем.

— Вы… вы, господин Дангель… — прошипел сквозь зубы Адомас.

— Негодяй, хотели вы сказать? Не обижаюсь. Каждое понятие относительно. А если продолжить наш разговор, то, признаюсь, я к вам благоволю, господин Адомас. Поэтому постараюсь быть откровенным, насколько позволяет мой пост и национал-социалистское достоинство. Я хочу сделать из вас человека, мой друг. Свободного от предрассудков либерального общества, лишенного мещанских сантиментов, лирической анемии — всего этого мусора, который лежит в основе рабской психологии. Очистившись от этого хлама, вы станете личностью, борцом, а не совестливой, бесхребетной тварью, которая страдает оттого, что когда-то раздавила муху. Знайте — вы шагу не можете ступить без того, чтоб

кого-нибудь не раздавить. Втягивая в легкие глоток воздуха, вы уже губите живые организмы — природа кишмя кишит жизнью. Из-за этого вас тоже мучает совесть? Так почему вы страдаете из-за того, что мы уничтожили несколько неполноценных выродков? Они, по-вашему, люди? Неполноценный человек — такой же паразит, как, скажем, саранча или микробы, с которыми мы боремся. Нет, хуже. Борьба с паразитами, со стихией природы в какой-то степени содействует прогрессу, а неполноценный человек тормозит прогресс, он для остального человечества обуза, которую оно должно терпеть, прикрываясь фарисейскими тогами гуманизма. Но пришел фюрер и сказал — нет! Земля станет отчизной разумных, совершенных существ. Личности управляют, а рабы служат. Как первобытному человеку служила собака, потом лошадь и другие домашние животные. Ведь согласитесь, что первую искру огня высекла не корова и не собака, а человек? История призвала немецкий народ высечь первую искру огня двадцатого века, господин Адомас. Мы зажгли очистительный огонь, мы пропустим через него человечество, как пропускают сорочку больного через дезинфекционную камеру, и на земле настанет новая эра — эра человека-личности, господин Адомас. Благодарите судьбу, что в ваших жилах течет арийская кровь балтов. Немцы не намерены спустить ее для орошения полей, если, разумеется, вы сами того не пожелаете. Мы, не гнушаясь, примем ее в свое тело, предоставив вашим потомкам право стать детьми гениальнейшей из наций. Итак, господин Адомас, у вас есть возможность пойти с теми, кому принадлежит весь мир. Перед вами два пути — властелина и раба. Если вы выбрали первый, то шагайте, не глядя по сторонам. История не любит нерешительных — их растаптывают и выбрасывают на свалку. Я не хочу, чтоб с вами это случилось, потому что, подчеркиваю, я вам друг. Я

испытываю слабость к смелым мужчинам всех наций. А то, что вы смелы, вы доказали еще при большевиках, когда спустили под откос их грузовик. — Дангель подошел к Адомасу и положил ему на плечо узкую, бледную ладонь. — Друг не может быть равнодушен к судьбе друга, господин Адомас. Поэтому простите меня, но я буду откровенен до конца и осмелюсь даже вмешаться в ваши семейные дела. Фрау Милда прелестная женщина, я понимаю мужчин, которые не могут устоять перед ее чарами. В том числе и вас, господин Адомас. Но красивые женщины, если они не подруги, а сексуальные самки, часто бывают началом всех бед для мужчин. Фрау Милда — именно из таких женщин. Если бы нашелся мужчина, который бы вытряс из нее самаритянскую рабскую мораль, она бы рожала бойцов. Но вы, господин Адомас, не в силах это сделать, и она нарожает рабов, а то и никого не родит. Вам нужна не такая женщина, господин Адомас…

Адомас встал.

— Я не нуждаюсь в услугах свата, господин оберштурмфюрер.

— Постарайтесь понять мои слова так, как они сказаны. Вы влюблены в свою жену, как наивнейший из подростков. Увязли, словно муха в бочке с медом; видите, что ничего путного не будет, а все равно жужжите: сладко. Я не говорю: бросьте эту очаровательную самочку. Мне нет дела до того, с кем наши парни проводят ночи. Важно, чтоб они остались мужчинами, а не ковриками у кроватей своих жен. Не позволяйте жене вытирать о вас ноги, господин Адомас. Тем паче что вы не можете быть уверены, не целуют ли их чужие губы.

— Я не позволю… — Адомас, дрожа от ярости, повернулся к Дангелю. — Клевета на женщин не входит в ваши обязанности, господин оберштурмфюрер.

— Когда человек уверовал в фальшивого кумира, моя обязанность — открыть ему глаза. Если хотите точнее — фрау Милда изменяет вам с бывшим вашим другом. Все. Можете идти. Желаю успешно подготовиться к завтрашней операции, Herr Polizeimeister.

III

Будем готовы, господин начальник гестапо. Будем, будем, будем... Дай только сперва прикончу эту бутылочку. Вторая, говорите? Многовато? Изволите шутить, герр Дангель. Это же водичка, даром что мутная. Коричневая, как нацистский мундир, и противная, как... Говорят, немцы гонят ее из дерьма. Мастера! Сперва все превратить в дерьмо, а потом делать из него, что понадобится. Они могут пригласить тебя к столу и тут же, за едой, можно сказать, у тебя под носом, испортить воздух: мол, вредно для здоровья задерживать скопившиеся газы. «Мы — цивилизованная нация, не ваши примитивные литовцы, делящие органы тела на приличные и непристойные. Мы говорим: хорошо и благопристойно все, что идет нам на пользу». Окультуренные жуки-навозники... Дернем за здоровье культурнавозников, Гедиминас. Сволочь ты, а был ведь лучшим другом. Братом! Ну зачем тебе Милда? Мало свободных женщин, что ли? Какого черта трахнул мою Милдяле? Врешь, господин начальник гестапо, шкура твоя серая! Милда не такая! Не такая, не такая, не такая! На голове венок из льняных цветочков, глаза синие-пресиние. Скажи-ка, кровосос, ты видел синее небо, заляпанное навозом? Ха-ха-ха! Было бы там дерьмо, вы и до неба бы добрались. Наскребли бы дерьма и гнали это тридцатиградусное зелье для неполноценных. Слышишь, Пуплесис? Мы с тобой

неполноценные, с рабской психологией, но у нас есть возможность стать полноценными. Господа немцы предоставили нам эту привилегию. Здоровье господ немцев! Не хочешь? Это ты зря. Не стоит капризничать. Отбили, как котлету, а завтра я самолично всажу тебе пулю в лоб — и прощай, дядя Матавушас. Мог ведь и ты стать навозным жуком. Может, малюсеньким жучком, у других на побегушках, а все ж бы жил... А теперь останется от тебя кучка дерьма. Почему не захотел, старый дурак? Не сидел бы я сейчас в ресторане, запершись в кабинете, и не хлестал бы, как лошадь. В ряшку, в ряшку, по этим висячим рыбьим буркалам тебя, старый идиот! С чего это тебе жить надоело? Водка плоха? А ты выпей! Только не по чайной ложке, а глотни как следует. Проняло, а? Из всех изобретений человека это самое стоящее, потому что врачует душу. Ого, и летчик тут как тут! Человек, упавший с неба. Подставь свою стопку! Сейчас накачаемся, как шары, и воспарим к небесам. Чего-чего? Крылья подрезали, говоришь? Пустяки, у нас есть горючее, которое поднимет и без крыльев. Ну, гоп! Накачаем горючего в свои баки! Говоришь, набрался? Ну и пускай! На руках принесут и уложат, где нам положено лежать, — дело верное. Никуда не денешься из этого загаженного хлева, который жулики называют жизнью. Эй, Моркайтис, гони еще
бутылку!.....О-о, господин Бугянис! Нет, нет, о делах потом. Присаживайся, я тут новую бутылочку почал. Будь добр, подсоби начальству. Служба? К черту службу! Давай накачаемся, как шары, и воспарим к небесам. Ах, ты Пуплесене доставил! Эту наседку с ее выводком. Молодцом! Оперативен, оперативен, господин Бугянис! Выношу благодарность. Люблю служак. Я тоже служака. Вот опрокину этот стаканчик, и потопали в полицию. Прощай, господин Моркайтис, миленький ты

мой, господин начальник полиции удаляется для исполнения служебных обязанностей. А коридор у вас хреновый. Темнота да теснота, как в заднице, едва пропихнешься между ящиками с пивом. И вонь-то, вонь какая! Скажи-ка, вахмистр, с какой стати господин начальник полиции должен ползти на карачках по каким-то катакомбам, через какой-то черный ход, как христианин времен Нерона? Паскудный городишко. Дома съеживаются и раздуваются, как резиновые; ноги вязнут в плитах тротуара, а людей-то, людей!.. Идешь как по лесу, а деревья вздумали прогуляться и все норовят встать тебе поперек дороги.

Такой городишко только выкрасить и выбросить, господин Бугянис. Ты не слушаешь меня: господин фон Дизе не позволил забрать Миглу-Дарату Пуплесите.

Хорошо сделал, ого, как хорошо сделал! Мигрaта — девка что надо. Таких девок любить надо, а не стращать. Не девка — огонь эта Мигрaта. Жаль, я не зять Пуплесиса. Мигла — Милда. Милда — Мигла. Две буквы посередке, нет, только полторы буковки не сходятся. Какая-то белиберда. Куда ты сунул мою тещу с детками, Бугянис? Хочу ее увидеть. Без разговоров! Тотчас приведи в кабинет, а сам катись к чертям собачьим! Пьян? Не бойся, мой пистолет не промахнется, если будешь хитрить. Живо!.....
..... Ну вот и тетушка Пуплесене со своими цыплятами. Не плачь, мать, слезами горю не поможешь. Твой старик под крылышком у начальника гестапо, вскорости мы и тебя туда доставим, только не пугайся больше, чем надобно. Знаю, болтаю лишнее, но не с пьяных глаз, Пуплесене: понимаешь, я еще на самую малость остался человеком. Не хнычьте, дети, — когда я вижу слезы, на меня нападает охота двинуть в челюсть. Да и к чему они, слезы-то? Отца все равно не выплачете. Могила выкопана, винтовки заряжены. Сам за дирижера буду.

Но с вами ничего худого не случится — Дангель вас только попугать привез. Хочет, понимаешь, ублажить человека перед смертью... Так что не принимайте близко к сердцу, если увидите перед собой дула автоматов. Не выстрелят. На этот раз еще не выстрелят. И не глядите так на меня, тетушка Пуплесене, я не бандит, я только выполняю приказ. Твой старик провинился перед законом и должен умереть. Его убью не я — закон. Вы меня поняли, тетушка Пуплесене? Идите! Убирайтесь поскорей, черт бы вас драл! Только без слез, а то как двину сейчас! Вон!

Снова вернулся в ресторан братьев Моркайтисов и пил до полуночи с кем попало. Потом потащился к девкам. Утром снова надрался — и день пошел кусками, как запотевшее стекло. Появился Бугянис. Сели в какие-то машины, куда-то ехали. Черные и серые тени с белыми свастиками на рукавах и синие мундиры вперемешку с зеленой рванью листвы. Ругань. Крик. Скрежет затворов. В хаосе звуков и красок четким было только одно: привязанный к сосне окровавленный тюк — Пуплесис. Дети подходили к нему по одному (не поверили Адомасу, что их не расстреляют) и, прощаясь, целовали розово-голубые куски мяса — отцовы руки.

— Да простит тебя господь, Матавушас. Погубил себя и других, но да простит тебя господь. — Пуплесене низко поклонилась мужу, не глядя на него. Глаза ее были сухими и спокойными.

— К яме ее! — приказал Дангель. — Господин Вайнорас, вы не забыли свои обязанности?

— На плечо! Изготовсь! — скомандовал Адомас.

— Ну, Пуплесис, ты все еще думаешь, что мы шутим? — взревел Дангель. — Опять молчишь, фанатик несчастный?

Дангель в ярости подскочил к Пуплесису, схватил за изувеченное плечо, но тот даже не шевельнулся. Голова

свесилась на грудь, как у Иисуса на распятии, челюсть отвалилась: он был мертв.

IV

Слава богу (хотя вряд ли он есть), что не пришлось пустить в тебя пулю, дядя Матавушас. И твоя семья вернулась домой целехонька. Выпороли, правда, как следует, но при чем тут я: таков был приказ Дангеля. Чего же тебе еще от меня надо? Чего лезешь из могилы, стоишь в глазах? Мы с тобой квиты. Скажешь, я не сделал для тебя все, что мог, дядя Матавушас?

Не уходит страшная тень. На окровавленном лице сатанинская улыбка, глаза вытаращены — два биточка, выкатанные в стекляшках, — и смотрят прямо в сердце. «Будь ты проклят! Будь проклят!»

Адомас приподнимается на руках. Ладони, что ли, липкие. Кровь! Продрал глаза, озирается. Привидений нет. Кругом пусто и темно. Вымерший дом. Город мертвых. Планета мертвецов. Кладбище, сплошное кладбище. Осень глухо плещет дождем по надгробиям. «Будь проклят! Будь проклят!»

Вскочил с кровати. Выставив трясущиеся руки, бродит по комнате. Глаза привыкают к темноте, уже видны очертания предметов. Шкаф. Стол. Стул, на нем валяется одежда. У стены — диван. (На нем любила отдыхать днем Милда. А иногда, когда бывала не в духе, уходила сюда спать. В последние месяцы она каждый божий день была не в духе.) Почему она не перетащила к себе этот диван, черт бы ее драл! Адомас смотрит на диван как на опустошенный сундук с фамильными драгоценностями. Тяжестью, невыносимой тяжестью наливаются ноги. Невидимая рука давит на плечи, жмет к земле. Упал на колени. Уткнулся лицом в диван, гладит потными ладонями шершавый гобелен.

Луг с фиалками. Хмельной, с жужжанием пчел, как в солнечный летний день. Запах ее тела! («Милда… Милдяле…») Теплый, уютный запах живого человека. Запах любимой женщины. Может, остались ее волосы на обивке? Хоть несколько шелковистых волосков, которые так ласково щекотали лицо… «Сволочь этот Дангель. Садист. Не может спать спокойно, если другой не исходит кровью». Но Дангель прав; зря он не хотел ему верить, закрывал глаза на очевидное. А что с ней сделаешь? Приставишь пистолет к груди и скажешь: мне все известно, а ну-ка, признавайся, что вы там выделываете за моей спиной с господином учителем? И узнал бы, многим раньше узнал бы все, как есть. Но не захотел. Лучше уж мучиться сомнениями, чем услышать убийственное признание из ее уст.

— Я тебя люблю, Милда, — сказал в тот день. — Крысы бегут с тонущего корабля. Ты — последняя мышка, которая еще оставалась. Если ты меня оставишь, я пойду на дно.

— Ты давно на дне.

Так ужасающе спокойно мог говорить только совершенно равнодушный человек.

«Все кончено, — подумалось ему. — Дангель был прав».

— Я хотел сказать, мне останется только пуля, — уточнил он, и в груди потеплело от злорадства и надежды, когда в ее глазах мелькнула тень испуга.

«Почему я это сказал? Хотел напугать, воззвать к ее совести? А может, сам верил, что могу застрелиться? Наверное, так, ведь не вернешь того, что давно обратилось в пепел… „Ты давно на дне“. Да, но я еще существую. По ночам ко мне являются привидения, а днем я сам брожу, как неприкаянная душа. Я живой. А такая малость нужна, чтоб все исчезло. Нажму на спуск — и вечный мрак. Погружусь в блаженный покой, как будто меня и не было. Запачкаю своей кровью их ложе и

натяну нос пришельцам из могил. Еще лучше — сам стану таким же страшилищем. Каждую ночь буду аккуратно являться им и говорить: „Вы меня убили, но я прощаю вас, ибо пуля, которая застряла у меня в мозгу, — единственная использованная мною по назначению“. Вот вытянется рожа у дяди Пуплесиса, когда завтра, явившись сюда, найдет мой труп! Вот обидно будет летчику и всем этим вшивым пленным, которые из ночи в ночь заставляют меня молиться! Ха-ха-ха! Вот это да! Так всех надуть! Всех. И живых и мертвых. Вот что можно сделать одним — ба-бах! — если бабахнуть вовремя!»

Адомас оттолкнулся руками от дивана. Под одеждой — портупея с пистолетом. Пальцы отпрянули, наткнувшись на холодный металл. Смелей, лапочка! Говоришь, в нем сидит смерть? Ну и что? Это добрая смерть... Она принесет покой. Из этого дула на тебя дружески смотрит избавление. Вот и не медли, пока смерть в хорошем настроении. Пистолет к виску! Или нет, лучше сунь дуло в рот — оно вернее. Да ничего страшного, говорю тебе. Делал ведь в детстве из ивовой ветки свистульку? Представь себе: ты снова мальчишка, взял губами свирель и вот-вот заиграешь. Главное — не думать, что играешь в последний раз.

V

Из таких прутиков мы когда-то делали свистульки. А теперь идем по тронутой изморозью траве мимо канавы, на краю которой когда-то сидели и свистели, толкаясь плечами, и думаем: все было бы проще, не будь одного из нас на земле. «Оставь Милду в покое, — только что сказал он. — Я ее люблю. Сделай хоть одного человека счастливым...» Ветер, знобящий ветер набирающей силу осени шуршит в ивняке, швыряет под

ноги желтые язычки листьев. Опустевшие поля накрыты грязной миской неба. Родные поля, где так недавно дружно дудели две свистульки. «Оставь Милду в покое… сделай хоть одного человека счастливым…» Скажешь, у меня самого счастье бьет через край… Вытащить бы пистолет да пульнуть в спину! Нет, проще будет сходить к Дангелю, а тот уж… Но разве этим вернешь Милду?

— Наконец-то осмелился признаться, что ты подлец, а ведь корчил из себя святошу.

— Вини себя в том, что случилось. Милда могла тебя любить, но ее любовь, как и нашу дружбу, ты утопил в крови. Если б ты оставался человеком, я бы не посмел встать между вами. А сейчас моя совесть спокойна.

— Ты делаешь успехи, Джюгас. Не удивлюсь, если при следующей встрече пырнешь меня ножом в спину.

— Нет, будь спокоен за свою спину, не суди по себе, Адомас. Хотя в какой-то мере ты прав: я больше не мечтатель поэт, с которым ты года два назад пил в ресторане «Три богатыря». Когда вокруг бушует огонь, нельзя не опалить крыльев.

— Вот как? А ты хоть раз летал близко от огня? Насколько помнится, сидел с соколами на верхушке дерева и плевал в нас, червей земных. Ты же сам себе бог, сам себе нация, а все прочие — подлые преступники, бессмысленно убивающие друг друга.

— Я был наивен, Адомас. Вообразил, что сбежал на необитаемый остров, а продолжал жить среди преступников. Жил и глядел, как они раскалывают черепа своим жертвам, но ничего не сделал, чтоб остановить их руку. Наверно, по той самой причине, по которой ты поднимаешь оружие против других, не смея направить его на себя: я трус. Думал — порядочный человек, старался быть таким, а на самом деле был последним трусом и этого не понимал.

— Куда ты гнешь? — остолбенел от неожиданной догадки Адомас. — Она подучила? А как же, вам было бы кстати развязаться со мной, но не надейтесь, я не лягу в гроб, чтоб вам было вольготней обниматься.

— Знаю, что смелости не хватит, хоть ты из тех, которые оказали бы услугу человечеству, вычеркнув себя из числа живых И не думай, что лезу к тебе с советами. Констатирую факт, да и только. За советы я дорого заплатил, Адомас. Племянник Саулюс, эти четверо... Хотел им добра, а на самом деле помог отправить на тот свет. Конечно, живи я в нормальном мире, этого бы не случилось. Но кругом зверье... Можно ли среди зверей оставаться человеком?

— Не хочу знать, кто были эти четверо, но рад, что ты наконец спустился со своих высот к смертным.

— К преступникам, — поправил Гедиминас. — Некто, звавший меня раньше Гедмисом, а не господином учителем, уже поставил меня в один ряд с тобой. Не торопись радоваться: нам никогда не стоять рядом — нас разделяет невинно пролитая кровь. Да-да, тогда ты был прав, хоть имел в виду иное: человек не может уберечь свою истину, стоя в стороне. На самом деле, какая ей цена — хрупкой, беспомощной, как младенец, убитый в чреве Аквиле, — этой моей истине в обезумевшем зверинце? Жалкая пародия, насмешка над собой. Если хочешь сохранить человеческое достоинство, недостаточно смотреть, как убийца душит жертву: надо помочь этой жертве.

— Ха! — Адомас вдруг остановился и насмешливо посмотрел на Гедиминаса. — А ты подумал, с кем говоришь? По-твоему, мы все еще сидим на краю канавы, как в детстве, и дудим в ивовые свистульки?

— Успокойся, я не связан с лесом — там ведь тоже стреляют в людей пулями, а не бубликами. Да если б даже был, все равно ничем не рискую: чтоб пустить

меня в расход, достаточно того, что я люблю Милду. Но думаю, пока ты еще так низко не пал…

— Благодарю… — Розовая пелена заволокла глаза Адомаса. Внутри что-то перевернулось, комок подступил к горлу. — Униженно благодарю, господин Джюгас.

— …и понимаешь, что таким способом любовь не вернуть.

«Да, да, да. Понимаю… Если бы не понимал… Счастлив услышать совет из уст праведника. Любовник утешает обманутого мужа. Защитник обиженных — убийцу…» Адомас захлебнулся от ярости. (Такие внезапные вспышки, когда он почти лишался сознания, в последнее время находили на него все чаще.) Земля закачалась под ногами, стала уходить куда-то, а деревня, точь-в-точь девятиглавый змей, встала дыбом, заслонив своей причудливой тушей весь горизонт. («Отрубить головы! Все девять штук!») В приступе бешенства он еще услышал, что кричит («С Милдой все кончено! Кончено! Кончено!»), а потом сознание помрачилось.

— Забирай ее, эту шлюху, суку, потаскуху! — хлестал из разверстого рта поток слов. — Забирай! Не надо! Ненавижу! К черту! Да, к черту! С глаз долой, а то я сейчас, сейчас…

Рука вырвала из кобуры пистолет. Выстрел в воздух. Лицо Гедиминаса, перекошенное страхом. Потом спина. Испуганная, дрожащая спина карлика, сутулые плечи. Мужчина! Куда подевался мужчина, который тут стоял?

В кустах! Перескочил канаву, смешно перебирает ножками. И все дальше, дальше по полю, не оборачиваясь… Любовник Милды… Ха-ха-ха! Двуногий таракан, ошпаренный кипятком! Заяц! Неполноценная тварь!..

Адомас покатывается со смеху. Пока доходит до машины, оставленной в поместье, клубок нервов

распутывается. Двое полицейских, приехавших с ним, тревожно допытываются: кто там стрелял: «Ja, ja, das ist nicht gut [36], не надо один гулять», — журит его господин Петер фон Дизе. Адомас смеется: да так, одного типа пугнул. Ему на самом деле весело, очень весело, — он ведь унизил Гедиминаса. Степенно садится за обильную трапезу, не то чтоб пир, но раз уж господин начальник полиции заехал в поместье, то нельзя отпустить без обеда. Свой человек. Да и Петер фон Дизе радушный хозяин, сам не прочь заглянуть в рюмку. И как никто понимает Адомаса. Не будь этого, разве Миграта вертелась бы у стола, разряженная, словно барышня? Меняет тарелки, одно блюдо принесет, другое унесет, а когда гость разомлел и насытился, предлагает часок отдохнуть. Отдельная комната. Миграта входит приготовить постель... У нее есть свободная минутка... Лежит с ней — думает о Милде. И Гедиминас не выходит из головы. Прошла охота смеяться. Когда сидел за столом, нахлынуло дурацкое желание рассказать Мигрsuperate, как господин учитель праздновал труса, а теперь уже не смешно. Трагикомический триумф Александра Македонского, проигравшего сражение. Выстрел в воздух... Да, пистолет пока его слушается. Зато Милды больше нет. Нет девочки с синими глазами. Сызнова не расцветет отцветшее льняное поле. Потерял, потерял навсегда...

Он натягивает брюки и спешит к двери. Сумерки, сгущаются осенние сумерки. На подушке лицо, обезображенное глупой ухмылкой. По-своему привлекательное, но теперь смотреть на него тошно. Удовлетворенная самка. Двуногий зверек, с которым иногда приятно забыться. Говорят, есть мужчины, которые со скотиной... Господи, неужели и он?.. Домой, скорее домой!

Милда что-то вышивает в гостиной. «Добрый вечер». — «Добрый вечер. Ужинать будешь?» Он качает головой. Сгорбившись, набычившись, стоит перед ней. Так и подмывает схватить ее в охапку и стиснуть. Да так стиснуть, чтоб завыла от боли. Сука! Но она уже встала, идет к двери. Неуловимая, трепетная, как пламя свечи. Вздохнешь поглубже, и погаснет, погрузив все в вечный мрак. Испугался: стоит, не двигаясь, пока ее шаги не впитывает тишина обезлюдевшего дома. Пинает ногой стул, еще теплый от ее тела, и бредет в спальню. Двуспальная кровать, а он-то один. Она не придет, этой ночью снова не придет… Вытащил из шкафа бутылку водки — лекарство от привидений. За стеной — нежное шуршание. Она! Стелет себе на диване, скоро ляжет. Тут же, за стеной. Он видит ее одежду, брошенную в беспорядке на стул. Платье, прозрачную розовость рубашки… Белые шелковистые волны заливают обнаженные плечи, грудь… Глоток, еще глоток, черт подери! Он понимает: нехорошо, нельзя так делать, — но не подвластная ему сила подняла кулак, стучит в стену. Никакого ответа. («Глоток, еще глоток, черт подери!») Скатился с кровати, шатаясь, идет к двери. Эх, заперлась, гадина. Эй ты, не дури, открой! Хватит и мне и Гедиминасу… Долго и злобно ругается, мечется по комнате, как взбесившийся пес, пока бутылка не сваливает его в постель. Утром и стыдно и страшно. Так он думает удержать женщину? (Ах, все эта шальная надежда…) Зарекается быть умнее, но дня через два опять то же самое.

А вчера пришел почти трезвым. Конечно, будь он пьянее да найди в шкафу полную бутылку, вряд ли она начала бы разговор.

— Я беру две задние комнаты, пока ты не съедешь, — сказала она, словно это давно решенное дело.

— Почему? — бросил он первое, что подвернулось на язык.

Она непринужденно села, указав ему взглядом на стул.

— Гедиминас тебе ничего не говорил? Какой смысл продолжать это гадкое представление?

Он зажмурился. Воротник мундира вдруг стал тесным и скользким, как намыленная петля.

— Надоел, значит…

— Ах, перестань. Не ври! Сам знаешь, почему.

— Много пью, конечно, слишком много пью…

— Не осуждаю: надо же чем-то смыть кровь.

Он обеими руками ухватился за спинку. Электрический стул! Вот-вот включат ток. Попытался собрать мысли, но они текли, как вода меж пальцев.

— Ты все знаешь? — прошептал он. Жесткий взгляд синих глаз сковал волю, и он понял, что нет смысла опровергать. — Гедиминас? Да, я же сказал ему, что мы этих пленных…

— Нет, Дангель, твой добрый Дангель.

— Надо было сразу тебе сказать. Надо было. Виноват! — машинально буркнул он.

— Это бы ничего не изменило. Раскаянием не поднимешь из могил убитых.

— Понятно… Если б я тебя послушался, ушел из полиции…

— Когда у человека талант преступника, не обязательно надевать мундир, чтоб проливать кровь.

— Ты ничего, ничегошеньки не понимаешь, Милда. Я был порядочным человеком, а все-таки… Мне так мало нужно было… Если б кто-нибудь помог… Но ты меня никогда не любила, Милда…

— Тебе нужна была другая женщина. Которая принимала бы тебя таким, каков ты есть, оправдывала… Оба были бы счастливы.

«Слова Дангеля… — подумалось ему. — Умеют ли такие женщины любить?» Он посмотрел на нее. Блеклое, чужое лицо, красивые руки, лежащие на столе. Крохотные точеные руки, прозрачные, словно из белого янтаря, с розовыми ноготками. Узкие плечи, маленькая грудь, красиво оттененная вырезом черного платья, хрупкая головка, склоненная набок, — каждого выслушает и поймет. Охватил ее одним взглядом целиком, вобрал в себя и понял: оцепенение проходит. Он словно проснулся.

— Мне не нужна другая женщина. У меня есть ты, Милда!

Она вяло покачала головой.

— Нет!

Это тихо сказанное слово прогремело в ушах как взрыв; все предметы стали до боли яркими, реальными — он окончательно пришел в себя. Мысли хлынули, словно охваченная паникой толпа на улицы горящего города. Хотел упасть на колени и поклясться: «Брошу эту проклятую полицию, фальшивых друзей, водку — все-все сделаю ради тебя, только не отворачивайся…» И тут же понял бессмысленность и призрачность всего этого. «Раскаянием не поднимешь из могил убитых…»

Да, мосты сожжены. И тогда он в отчаянии, совсем потеряв голову, сказал те идиотские слова о крысах, бегущих с корабля, и о пуле — единственном выходе, который, мол, ему остается.

VI

Приставил пистолет к виску. Оружие согрелось от рук, стало живым и домашним — больше не пугало.

«Через секунду меня не станет. На выстрел прибежит Милда. Размозженный череп, лужа крови. Все… „Неполноценный дурак“, — скажет Дангель».

Адомас опустил руку. Мелькнуло видение: по улице катит телега, на ней — гроб, прикрытый лапником. На тротуарах — толпа.

— Вечная память… Кто мог подумать, что он так кончит?

— А как еще кончить такому?

— Последнее время пил беспробудно…

— Кабы только водку…

— Да уж, кровь людская не водица, рано или поздно…

— Неполноценный дурак!

«Милда будет в черном платке. Аквиле — тоже, если вообще явится. А Гедиминас… Нет, этот ломаться не станет: кому, как не ему, поддерживать под локоток молодую вдовушку? „Не волнуйся, милая, никто не виноват. Это было неизбежно“. А вечером, вернувшись с кладбища, займет вакантное место на этой кровати… И как ни в чем не бывало, без зазрения совести, словно я и не жил на свете…»

Адомас швырнул пистолет на кровать. Уйти, не оправдавшись, чтобы каждый толковал его поступок, как ему удобнее? Нет уж! Он напишет письмо. Милде, Гедиминасу, родным, Христофу Дангелю. Виноват? Да, не отрицает. Но разве только он один? Он ведь не просил родителей пускать его в этот паскудный мир? Не просил! Чтоб пришли русские, а потом немцы и изгадили жизнь. Не просил… Была бы старая власть, работал бы преспокойно волостным писарем. И Берженас сидел бы на своем месте, и Милда… Нет, это не он всколыхнул землю, да так, что все полетело кувырком, — хоть это они должны понять. Кажется, Гедиминас сказал: «Человек не может быть виноват целиком, он — лишь игрушка в руках судьбы». То-то, господин поэт, хотя сегодня ты вряд ли подпишешься под этими словами. Куда уж там, ведь избранникам Фортуны, вроде вас, неведомо ощущение обреченности.

Вы не считаете, что тот, кому суждено висеть, повиснет независимо от того, будет Адомас намыливать петлю или лежать в кровати. Нет уж, я не преступник, я — жертва. Жертва вашего фанатического упрямства, вашей тупости. Скажешь, это я подговорил тебя, дядя Пуплесис, совать спичку в пороховой погреб, — сам поджигал. Я не приказывал летчику падать с неба на чужую землю, а Аквиле с отцом прятать его в сене, не по моей вине в лагере военнопленных оказались те пятьсот, которых мы… Сволочи! Раз уж не даете спать по ночам, то хоть скажите: что оторвало вас от плуга, от станка, кто вложил в руки винтовку? Защищали свою правду? А у меня своя! Из-за вас, только из-за вас я замарал свою правду кровью. Скоты! Сами забежали в загон, чтоб бойня не простаивала… Дангель, главный мясник, по-моему, верно выразился: «Сами лезут на нож. Человек, даже самый неполноценный, достаточно сообразителен, чтобы умереть по своей воле».

Перо без передышки скользило по бумаге, едва поспевая за мыслями. Рука поднималась лишь для того, чтоб обмакнуть перо. До рассвета письмо было дописано. Адомас прочитал его, обдумывая, сколько сделать копий, и на душе вроде полегчало. Что ж, решил он, в общих чертах сказано все. Или почти все. Аквиле, без сомнения, пожалеет, что так легкомысленно оттолкнула брата, а Милда с Гедиминасом, прочитав письмо, тоже не станут счастливее. Капнул все же дегтя в их бочку меда. Дангель… Этого, конечно, ничем не проймешь, ладно, пусть знает, что Адомас убил себя не просто так, в ощущении своей неполноценности, а по зрелом размышлении… Все, господин оберштурмфюрер. Адомас Вайнорас устал. Прощайте и живите на здоровье, если в этом зверинце вскоре не слопают и вас.

Прижался разгоряченным лбом к оконному стеклу. Ветер улегся. Дождь перестал. По прояснившемуся небу плыли осенние тучи. Оголенные сучья яблонь в саду казались гипсовыми. Вещи в комнате выглядели тяжелыми, громоздкими. Переплетение ломаных линий, как на свалке рухляди; воздух был густой и вязкий, как цементный раствор. Клейкая масса стекала по горлу, скопляясь в легких, и Адомасу стало худо. «Сумасшедший дом! Стоит ли жалеть, что выписываешься из психбольницы?» Он вытянул руку. Белая, чистая рука. Его конечность. Та самая рука, которой... С веселым удивлением Адомас смотрел на себя со стороны, как на постороннего, — все осудили, зато сам себя оправдал. Он жалел этого человека, он даже захлебнулся, но не слезами жалости — ненавистью к тем, кто подписал столь несправедливый приговор. Услышал за стеной шаги Милды — в туалет, наверно, пошла. Не через его комнату, — в другую дверь. «Вот и чудесно, — подумал он. — Если есть физиономия, которую не хотел бы увидеть перед уходом из этого сумасшедшего дома, — так это твоя...»

Сел за стол, перечитал письмо. Теперь оно уже не казалось столь веским. Он не понял, чего не хватает, о чем невольно умолчал или не смог убедительно изложить, но почувствовал: люди, перед которыми он хотел оправдаться, все равно не поймут его. Милда вернулась и включила радио. Танцевальная музыка, нахально-беззаботная, издевалась над Адомасом. «Только обрадуется, что развязалась со мной. Конечно, будут и хлопоты — кому приятно хоронить — да еще собственного мужа? Зато потом вместе с Гедиминасом порадуются: правильно сделал, мол, что отправился на тот свет. Нет, не получилось письмо. Надо как-то шире, обстоятельней... Обосновать, доказать все так, чтоб комар носу не подточил. До вечера все обдумаю и напишу другое».

VII

После обеда, прихватив двух полицейских, он отправился в Лауксодис описывать имущество Миколаса Джюгаса. О письме уже не думал. Его занимало другое. «Нашелся еще один, кто, как говорит Дангель, сам лезет на нож. Вспорет себе живот, а виноват буду я, — с мрачным удовольствием размышлял он. — Без сомнения, это работа господина учителя». Адомас не знал, чем именно кончится вся эта история, но понимал: Гедиминаса ждут крупные неприятности. «Милда искала опоры, но каменная стена, за которой она хотела спрятаться, уже качается и трещит. А вдруг рухнет? Кого она тогда будет винить? Гедиминаса, бросившего нелепый вызов силе, или силу, прихлопнувшую мечтателя-идиота? Наверное, силу. А на чьи плечи она свалит вину, если не будет меня?»

Спохватился, что думает о своей смерти как о свершившемся факте. Но это, пожалуй, не было так уж неприятно. Напротив — иллюзия собственной смерти освободила его от действительности, сделала неуязвимым, и он до самой деревни упивался своим превосходством, представляя, как будет выглядеть эта злосчастная земля без него. Вид родного села, от которого, бывало, сильней колотилось сердце, теперь не волновала его. Улица и дворы с мелькающими людьми казались картонной декорацией, и он смотрел на них, как на заваленную бутафорией сцену театра, где вместо живых актеров мечутся марионетки. Услышав, что во двор въезжает машина, из избы вышел Миколас Джюгас. Простоволосый, седой, как лунь, с корявыми руками землепашца, которые не раз гладили в детстве головку Адомаса. Адомас машинально сунул руку, чтоб поздороваться, и тут же, смутившись,

опустил. Старик, вышедший из избы, тоже был ненастоящий, бутафорский, как и все прочее.

— Господин начальник полиции, видишь — нет, приехал описать имущество, — первым заговорил староста Кучкайлис, которого Адомас прихватил по дороге, как представителя местной власти. — Если за неделю не сдашь поставок, попрут с хозяйства.

Миколас Джюгас отчужденно посмотрел на них. Руки заложены за спину, на губах блуждает непонятная улыбка.

— Ваша сила — ваша и воля.

— В нашей волости лишь единицы задолжали по поставкам, — заговорил Адомас. — Вы, господин Джюгас, стоите первым номером в этом списке, поскольку не сдали ни килограмма зерна. Мяса у вас тоже сдана лишь треть. Поэтому не гневайтесь, если мы прогуляемся по вашему хозяйству…

— Зачем эти объяснения? Мы же свои люди, не обидимся, господин начальник, — насмешливо ответил Миколас Джюгас.

Адомас, в сопровождении обоих полицейских и старосты, направился в хлев. Описал скот. Обошел гумно, сеновал, баню, обшарил амбар. Под балкой висели два окорока, немного сала, ведро смальца. В кадке — засоленный баран. Зерна в закромах тютелька в тютельку на корм скоту и на семена.

— Вот обеднел старик, смешно! — удивился Кучкайлис.

— Глупые шутки, господин Джюгас, — сказал Адомас, когда все ввалились в избу. — Запомни: приедут люди, которые лучше нас знают свое дело, и найдут, чего недостает. Хочешь, чтоб к стенке поставили?

— Не хочу, но, если поставят, что ж поделаешь…

— Какой черт заставляет тебя соваться под колеса? Думаешь, телегу остановишь? Почему все люди как

люди: отдали властям, что положено, и живут себе поживают? Сами не мучаются и других не мучают.

— Всякий народ есть, господин начальник полиции. В прошлом году, когда было с чего, я тоже сдал до последнего зернышка.

— А в этом бог обидел, да? — отозвался Кучкайлис. — Послушай, папаша, а может, поставил не по назначению? Не являлись ли часом к тебе ночью бандиты?

— Такое дело ты бы уж пронюхал, Кучкайлис! — отрезал Джюгас.

— Ладно. — Адомас пододвинул акт Джюгасу. — Скрепите-ка своей подписью. Наверно, знаете поговорку: плетью обуха не перешибешь. А кто пробовал, головой поплатился. И чего добились?

— Если хотели жить по совести, как положено человеку, то добились своего, господин начальник.

— Это все теории Гедиминаса, господин Джюгас. Не будем обсуждать, какая им цена, но когда отец начинает плясать под сыновью дудку... Ну, как знаете. Мое дело — предупредить вас, во что может обойтись бессмысленное упрямство. Не хочу, чтоб потом вы обвиняли других.

— Невиноватого не обвинишь, Адомас.

Адомас удивленно повернулся к старику. Да, эти слова действительно произнесли его уста. Мягким, добродушным говорком тех далеких дней, когда между ними не стояла стена, а два хутора соединяла незарастающая тропа, которую до черноты протоптали они с Гедиминасом, бегая друг к другу. Голос ребячьих дней, живой человеческий голос на сцене, загроможденной картонными декорациями. И Адомас почувствовал, что от звука этого голоса все вокруг обретает цвет, наполняется жизнью и движением, а иллюзия небытия рассеивается, как туман.

— Вам, дядя Джюгас, награжденному в былые времена крестом, надо бы знать, где лево, а где право, — буркнул он: все внутри так и дрожало. — Не помогаешь немцам — звучит, помогаешь большевикам. Думаете, когда они вернутся, будет меньше крови?

И, не дожидаясь ответа, вышел за дверь: боялся, как бы снова не раздался зов ребячьих лет и не разбился вдребезги бутафорский мир, без которого не доиграть последнего акта. Но они уже были расшатаны, эти картонные декорации. Сидел у старосты Кучкайлиса, пил, а перед глазами стоял белый, как лунь, старик, неприступный в своей гордой правде: чудились корзины, подвешенные к стропилам на чердаке, где Гедиминас держал голубей, бревна, сваленные за гумном (на них они забирались посидеть, помечтать), чувствовал всей кожей дымную прохладу овина с запахом преющего льна и печеной картошки, которую ели перед остывающей печью, слушая сказки дяди Джюгаса. Недавняя действительность стала безжалостно яркой, осязаемой до боли, и Адомас опрокидывал рюмку за рюмкой, безнадежно пытаясь заглушить это чувство. «Меня больше нет… нет… — выкрикивал он в пьяном угаре. — Адомас Вайнорас спустил курок. Честь честью! Старый хрен не желает понять, а по-вашему, плохим я был человеком или как? Нет, правда, неужто Адомас Вайнорас был такой уж сволочью, что надо прийти и обделать его могилу?» Кучкайлис улыбался, хлопал по плечу. («К чему такие разговоры, смешно? Мы за тобой, как за каменной стеной, начальник, ты — наш защитник. Пропали бы…») Другие тоже дружно кивали, кто-то даже пустил слезу. Адомас растрогался. Нет, эти люди его не покинут, не клюнут ему в лицо! У него есть, да-да, у него еще есть друзья! «Знаю, лапочка, вы-то не станете вешать на меня собак, когда умру. Вы меня понимаете, сочувствуете; это вам не хуторской Михаил Архангел со

своими святошами». Полез обниматься, целовал всех подряд. Но вдруг вспомнил Миграту. Может, и не вспомнил бы, если бы кто-то не принес весть, что у господина Петера фон Дизе гости и он приглашает начальника полиции со старостой весело провести у него часок-другой. Вот это в самый разочек! В поместье! А там — Мигла-Дарата… Миг-рата… рата… ата… та… Кто-то, кажется жена Кучкайлиса, обмолвилась, что темень на дворе да и пьяным за руль… Только расхохотался: может ли разбиться человек, сегодня утром проглотивший пулю? Посадил Кучкайлиса рядом (оба полицейских — на заднем сиденье) и — с ветерком по деревне! А потом все произошло с быстротой молнии. У поворота к поместью фары выхватили из темноты переплетение теней поперек дороги. Засада! Адомас налег на тормоза и тут же полез за пистолетом. Но было поздно — луч света хлестнул по глазам, и он увидел направленное на него дуло автомата.

— Ни с места! Руки вверх! — прогремел приказ.

Один из полицейских бросился из машины, но в тот же миг хлопнул выстрел, и тело шмякнулось на дорогу.

— По одному из машины — шагом марш! — снова скомандовал тот же голос. — Эй, ты там, водитель этого гроба! Пошевеливайся. Только без шуток, если не хочешь растянуться рядом с дружком.

Адомас кое-как выбросил ноги из машины. Кто-то схватил его за воротник, швырнул в темноту и принялся рыться в карманах. Брюки вдруг стали ему велики; из них выдернули ремень.

— Следующий! Ты, ты, господин полицейский.

Кучкайлиса вытащили последним.

Выстроили всех троих и погнали в поместье. Впереди ехала машина Адомаса, которой правил один из партизан.

— Кто думает бежать, помолитесь заранее! — предупредил голос, руководивший операцией.

Если поначалу кое-кто и подумывал об этом, то красноречивое ощущение дула меж лопаток быстро заставило отказаться от всякой попытки бежать.

«Как глупо… — подумал Адомас. — Утром не уложила своя пуля, вечером кокнет чужая».

— Куда гоните? — машинально спросил он.

— Что, дорогу к своему дружку забыл?

«Знакомый голос…»

Холодные, липкие клещи впились в ладонь Адомаса: это вцепился Кучкайлис. Он спотыкался, чуть ли не падал, силился что-то сказать, но изо рта вырывалось бессвязное бормотание. «Фрейдке… Бергман…» — наконец догадался Адомас.

— Он самый, Кучкайлис, — отозвались за спиной. — Пришел спросить, куда ты девал моего сына.

— Разговорчики! Нашли место для объяснений!

И этот голос Адомас где-то слышал. Приподнял руку, чтоб смахнуть пот с лица, но тотчас получил удар в спину. Аллея была не длинной, но теперь казалось, ей не будет конца. Гравий зловеще шуршал под ногами («Так скребут заступы могильщиков»), сливаясь со свистом ветра в сучьях деревьев; все кругом было так нереально и неожиданно, что Адомасу подумалось: вдруг это сон! Он опять лежит в своей кровати, а выходцы из могил снова потешаются над ним.

— Зря стараетесь, — сказал он в плену этого чувства. — Такие шутки мне не в диковинку.

За спиной кто-то рассмеялся, кто-то по-русски матюкнулся, а знакомый голос ответил:

— Как вижу, господин начальник полиции, вы еще не протрезвели после старостиного угощения.

— Тем лучше, — отозвался Фрейдке. — Легче будет отправиться к Аврааму.

Кучкайлис застонал и упал на колени.

— Идите, идите. С этой падалью сам управлюсь.

Ударили в спину, и этот удар, словно выстрел, ракетой осветил память Кучкайлиса.

(Солнечное летнее утро. Во дворе — два человека с белыми повязками на рукавах среди болбочущих индюков. Два глиняных горшка, словно набрякшие бабьи груди, топырятся рядышком на кольях плетня. «Людей не хватает, — говорит один, повыше ростом, с плоским лицом. — А ты староста. Должен пример показать...» — «Не-ет, я-то нет, мужики, — отнекивается Яутакис и прячет водянистые глаза, ероша ладонью желтые обвислые усы. — Раз уже сразу повязки не надел, то теперь... Вот Пятраса берите, таким одно удовольствие с винтовкой побегать, а я староват, ребята...» Кабы день не такой жаркий да не шальной взгляд Йовасе Яутакене, может, и не пошел бы с ними. Но солнце палило страх как. Через четверть часа лошади отдохнут — и опять пахать клеверище. До вечера мокнуть в поту на солнцепеке, маяться с битюгами, которых заедают слепни... Да и хозяйка призывно смотрит из-под дрожащих лохматых ресниц.

Надежды не было никакой — тогда он еще не знал, что Яутакис не жилец, просто считал делом чести прижать где-нибудь на сеновале старостиху, благо и сама она вроде была не прочь. Вот и сел на велосипед, напутствуемый этой призывной дрожью ресниц, вот и уехал с этими, которые с повязками, в город, а Яутакис, почесывая худые бока, поплелся в хлев; ему теперь вести лошадей на клеверище, ему пахать, сражаться со слепнями и зноем... Эх, кабы все знать наперед... Но кто скажет? Думал, винтовка, чтоб арестантов муштровать, бабахать в воздух, стращать девок, а на деле-то еще в тот самый день... Может, и не стрелял бы, кабы не водка, да еще жара и такое настроение лихое — ну просто река без берегов, плюхнулся и не выплывешь. А осенью — опять... Второй раз уже не было так страшно. Даже поднатужился и вскипел праведным гневом.

Евреи! Скажешь, не они Христа распяли?! Сына божьего!

Как бешены псы, Иисуса терзали
Иль волки, что люто на агнца напали.

Песнопение, без которого не обходятся ни одни похороны в деревне, знакомой мелодией звенело в ушах, вперемежку с залпами, и он знай нажимал на курок, как взбесившийся садовод, застигший в своем питомнике стаю зайцев. Другие, что и говорить, прибарахлились, а он привез только красивый шелковый платок, этакий оранжевый, с мягкой бахромой, колечко и золотые часы. Спрятал эти вещи в свой фанерный сундучок в чулане, под кроватью. А перед рождеством, когда разговоры о расстрелах евреев поутихли, опустил часы в брючный кармашек, вшитый как раз для этого, и, вывесив на живот тяжелую золотую цепочку, отпраздновал за хозяйским столом проводы батраков. Он не собирался уходить от Яутакисов, но праздновать этот день на рождество повелось издавна. Староста уже начал жаловаться на здоровье, рано ушел спать, а Йовасе, отправив батрачонка с девкой на танцы, снова призывно трепетала ресницами; сам не почувствовал, как оказался в чулане у своего «чемодана», и, глядя осоловевшими от пива глазами на хозяйку, набросил на ее плечи шелковый платок с оранжевой бахромой. Она похохатывала, выгибала спину под его рукой, будто кошка, и говорила: это хозяевам положено одаривать батрака, а не наоборот, но раз уж так вышло, то она в долгу не останется, пусть потерпит до следующего рождества. Но так долго ждать не пришлось, Яутакис слабел на глазах, и однажды ночью, когда он заснул, Йовасе в одной сорочке явилась к батраку в чулан.

Потом даже по утрам стала заходить. И тут он понял, что не зря привез этот платок и окутал им плечи чужой жены, и решил, что пора вытащить на свет божий и золотое колечко, засунутое на самое дно сундучка. «Видишь, как получается, смешно. Айн момент — и из батрака хозяин, староста, глава богатой семьи»... Но теперь, когда отовсюду на него смотрела смерть и не было ни тени надежды отвертеться, смех обернулся ужасом. В какую-то долю секунды он понял: если бы не распроклятая жара, не эти двое с винтовками... если б они хоть на полчаса позже прикатили, когда он уже пахал бы клеверище... если б Яутакис тогда уже лежал в постели, а Йовасе не смотрела так призывно... кто мог знать!.. Какой-то самой малости не хватило — и он не взял бы в руки винтовки, не начал бы; ведь главное — начать. Когда от твоей руки пали многие, когда наслушался мольбы и криков, когда сорвал дорогой платок с плеч иноверки, а ее самое столкнул в яму, заполненную стонами умирающих, — неужто после всего этого так уж важен какой-то Фрейдкин мальчонка?.. Или обезумевший беглый еврей? Один из потомков Иуды Искариотского, которые сына божьего распяли на кресте...)

Их втолкнули через парадный вход. В гостиной было светло, как на банкете: горели все три люстры. У одной стены на стульях сидел господин фон Дизе с женой, у другой — батраки: четверо мужчин, два паренька и три девки. У двери, с автоматом наготове, стоял часовой в форме немецкого солдата.

Часовой вышел.

Тот, который все время командовал, сел за поставленный сбоку у двери стол, и Адомас оторопел, узнав Марюса Нямуниса. Он был в коротком полушубке со знаками различия немецкого офицера; серые форменные галифе заправлены в мягкие хромовые сапоги, на голове — фуражка с высокой тульей, с орлом

и свастикой, на широком кожаном ремне с портупеей — пистолет. Остальные двое — Фрейдке и незнакомый, щуплый, белобрысый парень — были в пилотках, в длинных немецких шинелях, опоясанных ремнями, за которыми торчало по нескольку гранат.

Фрейдке с белобрысым вытолкнули захваченных на середину зала, выстроив в таком порядке: Адомас — Кучкайлис — полицейский.

— Значит, встретились-таки? — сказал Марюс, переводя обжигающий взгляд с одного на другого. — А может, мы ошиблись? Может, вы не те, по ком мы давно скучаем! Адомас Вайнорас!

Адомас ничего не ответил.

— Со страху язык проглотил? Кучкайлис!

Староста издал непонятный звук, словно поднимал тяжесть. Он едва держался на ногах.

— А ты кто такой? — спросил Марюс у полицейского.

Тот промямлил свою фамилию.

— Давно им прислуживаешь, Руткус?

— С прошлой осени.

— Много невинных людей убил?

— Не довелось, господин… товарищ… Вот обыски так делал. Спекулянтов забирали… Служба такая…

— Значит, паинька. А не помогал вылавливать летом мужчин для вермахта?

Полицейский молчал, опустив голову.

— Видишь, все знаем не хуже тебя самого. Нехорошо обманывать.

— Если так, то должны бы знать, что Руткус с вечера предупредил деревню про облаву, — отозвался один из батраков.

— Зря языком мелешь, парень, — поплатишься, когда уйдем.

— А кто говорит, что я останусь? — бойко ответил батрак.

Партизаны переглянулись и обменялись улыбками.

— Садись. — Марюс махнул рукой полицейскому, указав на стул рядом с Петером фон Дизе и его женой. — Мы и без советчиков все знаем, что у вас тут делается. Например, об этом вот немце-колонисте из Восточной Пруссии. Надо бы вздернуть его — воздух бы очистился, но надеюсь, после нашего визита господин Дизе затоскует по родине и вернется восвояси. А тебе, Руткус, полезно бы бросить службу, иначе не могу обещать, что в другой раз мы тебя снова помилуем.

— Они нас уничтожают, а мы их милуем… — буркнул Фрейдке.

— Предатели! Расстрелять всех! — по-русски крикнул белобрысый.

— Мы защитники законного строя, не бандиты. — Марюс вытащил из планшетки сложенный вдвое листок бумаги и встал. — Могли просто уничтожить вас на дороге, но для убийц такая смерть слишком хороша. Кроме того, она не соответствовала бы приговору партизанского суда, так как оба вы приговорены к смерти через повешение.

Из горла Кучкайлиса вырвался хрип, он заикал. Голова тряслась, как у припадочного, по подбородку текли слюни.

Адомас с омерзением отодвинулся. В ушах звенело, но рассудок был трезв, чувства обострились, словно целую неделю не брал в рот спиртного. Он видел белый прямоугольник бумаги в руках Марюса, двоих с автоматами наготове, разглядел даже шрам на шее у белобрысого и почему-то подумал, что грудь у него наверняка синеватая, как у мертвеца, а на каждой руке вытатуировано по черепу со скрещенными костями. «За пособничество немцам… убийство советских граждан… приговорить…»

— Я не расстреливал… видишь — нет, не убивал людей! — взвизгнул Кучкайлис. — Нет свидетелей… Неправда!

— Он забыл, выродок, что евреи тоже люди, — прошипел Фрейдке.

— Сколько немцы тебе заплатили, Кучкайлис, за моих родителей и мальчика Бергмана? — сурово спросил Марюс.

Кучкайлис рухнул на колени.

— Я не думал… не хотел… Такой приказ властей, видишь — нет, вышел, — скулил он, как собачонка. — Будь человеком, Фрейдке, и вы, госпо… товарищ Нямунис… Помилуйте…

— Какой хороший, видишь — нет, стал, — ухмыльнулся Фрейдке, подражая Кучкайлису. — Видишь — нет, приказали ему выведать, кто евреев прячет, он пронюхал — и айн момент в гестапо. Работа такая, что ж тут плохого, смешно.

— Нет-нет, не в гестапо, — ожил Кучкайлис. — Не немцам. В полицию сооб… сооб… Вот ему, Вайнорасу. — Повернул перекошенное лицо к Адомасу, потянулся к нему рукой, которая прыгала, словно посох слепца, нащупывающий дорогу: — Это он… он… Его вешайте!

Адомас отвернулся — его подташнивало. Взгляд на миг задержался у стены, где сидел полицейский с господами Дизе. Все трое оцепенели, склонив головы набок, словно каждый висел на невидимой веревке.

— В петлю этого гада! — приказал Марюс.

Пока Фрейдке с белобрысым добежали до Кучкайлиса, тот успел брякнуться на пол и уже полз к столу.

— Помилуйте… Помилуйте… Товарищ Нямунис… Бергман… Магарыч вместе пили… Помилуйте… — лепетал он, обняв ноги Фрейдке.

Белобрысый ударил его прикладом автомата по рукам, но это не помогло, пнул ногой в бок, и только тогда Фрейдке высвободился из объятий старосты.

Партизаны, схватив Кучкайлиса под мышки, потащили волоком, как мешок, в конец зала, к первой

люстре, с которой уже свисала веревка.

— Стул! — по-русски крикнул белобрысый.

Громыхнул по полу стул, который кто-то толкнул от стены. Топот ног, ругань, какой-то звериный рык.

— Вот падаль! Облевался…

— По морде сукина сына! — Это белобрысый.

Прозвенела пощечина. Вторая. Третья.

— Будьте любезны заглянуть в свое будущее, господин начальник полиции, — сказал Марюс.

Адомас не шевельнулся.

Подошел Фрейдке и, взяв за плечи, повернул его лицом к люстре.

Кучкайлис стоял на стуле со связанными руками и петлей на шее. Лицо заплыло, отупело, крохотные глазки куда-то спрятались. Лацканы пиджака и паркет вокруг стула загажены; мутило от омерзительного запаха.

Марюс издали махнул рукой.

Белобрысый потянул на себя стул, и Кучкайлис с каким-то странным хрустом повис в воздухе. Повернулся одним, потом другим боком (люстра подозрительно раскачивалась над поникшей головой), наконец показал Адомасу спину, словно стесняясь своей позорной смерти, и так и остался висеть.

Адомас отвернулся. «Околел, как последняя скотина, — мелькнула мысль. — Не сумел умереть человеком». Поднял голову, с вызовом оглядел зал. Господа Дизе и полицейский сидели в прежних позах — напрягая шеи, как на виселице, отвернувшись к двери. Батраки кто перешептывался, кто, сгорбившись, уставился в паркет, но никто не смотрел на повешенного. Адомас только теперь заметил, что среди них нет Миграты, и ему стало легче на душе. «Все, что мне осталось, — это умереть мужчиной».

— Вторая люстра предназначается лично вам, господин Вайнорас, — с иронией сказал Марюс. — По

правде говоря, вы не входили в программу сегодняшней ночи. Так уж совпало: приехали за одним, а в объятия попалась парочка. Какой дурак не воспользуется таким случаем? Так что готовьтесь, господин начальник полиции.

«Когда подойдут связывать руки, вмажу этому курносому — и за автомат… Если погибать, то лучше от пули».

— Жаль, Нямунис, что не ухлопал тебя в начале войны. Был случай, — тоже с иронией ответил Адомас.

— Хочешь разжалобить? Не старайся, ничего не выйдет.

— Знаю. Для того и явились, чтоб сводить старые счеты. Удивляюсь, как это Кяршис еще жив. А может, сегодня, проходя мимо, и его вздернули?

— Твоя сестра этого не стоит. Из-за нее я курице бы шеи не свернул. — Марюс хрипло рассмеялся. — По правде, мне и тебя жаль: все ж млекопитающее из класса двуногих. Но ничем не могу помочь: убийц и предателей мы уничтожаем.

— Сами при этом будучи предателями… Кому ты служишь? Этому чужаку?

Марюс презрительно усмехнулся.

— Героя из себя строишь? Каждая сволочь, припертая к стенке, со страху обделывается до ушей или корчит из себя смельчака. А результат в обоих случаях один. Вот сидят люди; может, не видели, как ты бродил по колено в крови, но знают, что давно заслужил петлю. Никто не посочувствует, не наденет мученический венец, не старайся.

— Но и тебя не оправдают, — огрызнулся Адомас, не глядя в сторону, но четко представляя себе вытянувшееся лицо господина Дизе. («Вот как умирает настоящий литовец, господин немец!») — От чьего имени ты судишь? Я не признаю советской власти. Для меня только одна власть законна — власть независимой

Литвы. Она пока в Америке, но моя нация здесь, дома. Я служу своей нации…

— Помогая немцам уничтожать ее?

— Нам друг друга не переубедить: мы служим разным хозяевам. Могли выбрать золотую середину, как Гедиминас. Ладно, что поделаешь, не вышло… Но я не жалею, что выбрал Гитлера. Все-таки служить культурному барину приятнее, чем нищему мужику…

Скрипнула дверь. На пороге появился партизан.

«Если не удастся погибнуть от пули, через минуту буду висеть рядом с Кучкайлисом, — подумал Адомас. У него мелькнула мысль, что на счету Марюса они не первые, что он, Марюс, тоже замарал руки кровью, и на душе даже теплей стало. — Нет, все, что я сделал, было неизбежно, так и должно было случиться. Я убивал, защищая себя, здоровую часть нации. И мало убивал: не пощади я тогда Марюса, сейчас не стоял бы под дулом его автомата».

Марюс повернулся к вошедшему, который моргал, ослепнув от света, словно желая получше разглядеть труп, болтающийся под люстрой.

— Чего тебе, Медведь?

— Что-то неладно, товарищ командир. Надо закругляться!

— Заводите машину!

— На ходу, товарищ командир.

Фрейдке с белобрысым, не дожидаясь приказа Марюса, шагнули к Адомасу. В тот же миг звякнуло окно, за вышибленным стеклом мелькнул приклад автомата и раздался испуганный крик:

— На дороге машины! Немцы! Быстрей!

Глава третья

I

Лишь после того как хлопала дверь прихожей («Ушел! Наконец-то...»), для Милды начинался день. Хоть до обеда, когда он забежит перекусить (правда, это теперь случалось все реже), она побудет наедине со своими мыслями, не видя этого ставшего совсем чужим человека, которого она в равной степени ненавидела и боялась. Но ведь и жалела тоже. Это чувство было совсем некстати — оно мешало принять решение, — но она ничего не могла с собой поделать. Слыша, как он буянит за стеной или что-то бормочет, как ночью открывает шкаф, звенит рюмками, она представляла себе его несчастное, пьяное лицо, и ей становилось больно до слез. «Он этого не стоит, он недостоин сочувствия», — твердила она себе, но бывали минуты, когда она едва сдерживалась — хотела ворваться в его комнату и выхватить из рук бутылку. «Неужели я люблю его?» Но тут же испуганно отгоняла такую мысль. Она видела себя в тупике, откуда могла выбраться только чудом. И верила: случится, должно же случиться что-то, ледяные заторы нерешительности в душе растают, и ее вынесет наконец в широкие воды. Не знала, что именно произойдет, ничего не планировала, но женским чутьем угадывала скорое освобождение. И вот несколько дней назад она почувствовала в себе что-то необычное. Не поверила поначалу, даже не подумала, что вот оно — чудо, которого она так долго ждала, отдавшись воле провидения. Хотела пойти к доктору Минкусу, но, сама не понимая почему, отложила визит на завтра. Потом перенесла его на следующий день. Стыд? Может быть, немножко и это, хотя Милда относилась к таким вещам достаточно трезво и не одобряла женщин, которые слишком уж ревностно придерживались запретов христианской морали. Какое-то другое, более сложное чувство — она не могла разобраться в нем — заставило ее отбросить такой, казалось бы, простой, наиболее приемлемый выход. Она удивилась, что у нее будет

ребенок. В радостной тревоге она смотрелась в зеркало («Мать… Неужели эта женщина похожа на мать?..»), не испытывая больше ненависти к Адомасу. И жалость к нему пропала, и страх. Все чувства прошли, осталась лишь брезгливость, с которой мы вытаскиваем во двор отслужившую мебель. И у нее стало легко на душе, когда вчера осмелилась наконец сказать: между нами все кончено.

Ночью она спала плохо. То и дело просыпалась, и каждый раз первой мыслью, еще в полусне, было: «Я свободна!» Она не думала перебираться в деревню к Гедиминасу. Может быть, и сделает это когда-нибудь, но не сейчас. Слишком уж привязалась к городу, а еще больше — к своему дому, саду, словом, ко всему, что ее окружало, и сниматься с места не было ни охоты, ни сил. Деревня страшила ее, она ведь сбежала оттуда. Еще она стеснялась отца Гедиминаса и боялась, что крестьяне не поймут и осудят ее. Милда не представляла себе, как сложится ее жизнь, но, привыкнув жить сегодняшним днем, не думала о будущем, надеясь, что все решится, само собой, как только родится ребенок. Гедиминас ее любит, и это главное. Ничего она так остро не ощущала, как жизнь, завязавшуюся в ней. Не скоро, еще не скоро… Будет весна… Май, а то и начало июня… И явится он, странный крохотный человечек. Слабое, беззащитное существо, выросшее из твоей плоти и крови, как побег из корней большого дерева. Ты можешь погасить ее, занимающуюся в тебе жизнь, но не сделаешь этого, потому что она нужна тебе, нужна позарез. До сих пор ты была придатком к другому, а теперь от тебя будет зависеть кто-то. Надо же иметь кого-то рядом, чтобы, потеряв все, не остаться ни с чем.

Так сказал тогда Гедиминас. Не совсем так, но нечто в этом духе: «Мы можем лишиться родителей, близких, друзей и все-таки не будем одиноки, если не утратим

себя. Человек должен удержать в себе самого себя, чтобы, потеряв все, не остаться ни с чем».

II

«Это обо мне», — подумала она тогда. Стало тоскливо, — она испугалась этих загадочных слов и, решив, что неправильно поняла, попросила еще раз прочитать стихи.

Опушка пламенела березами, тронутыми первыми заморозками. Бабье лето шагало по оголенным полям, затянув серебристой пеленой паутины потускневшее ржище. Небо тоже было какое-то поблекшее, словно поношенное, хотя и без облачка, хотя жарко, по-летнему, светило солнце.

«Да, это обо мне», — мысленно повторила она, когда Гедиминас еще раз прочитал стихи. Запрокинув голову, она долго смотрела в небо, слыша гогот улетающей гусиной стаи, но не видя ее.

— Деревья заслоняют, — разочарованно сказал Гедиминас. — Осень… Осень…

— Почему ты думаешь, что у меня никого не осталось? — спросила она с притворным равнодушием, хотя сердце билось с такой силой, что она сама слышала его удары. — Мать, правда, умерла, отец женился на другой, нет настоящих друзей, но еще есть ты… Еще есть…

Он удивленно воззрился на нее:

— О чем ты?

— Эти стихи — обо мне, Гедмис.

— Ну и ну! — Он рассмеялся. — Ты не обижайся, но у меня и в мыслях этого не было, когда писал.

— «Мы нагишом на божий свет явились, в руке — медяк, дарованный судьбой. Меня, как всех, им тоже одарили, но потерял медяк я свой. Я нищим был под

царским одеяньем, и дом родной стал для меня чужим, и сердце отвернулось, что любило...» Да, Гедмис, я не сумела воспользоваться своим медяком.

— Ничего удивительного, если б я написал и о тебе, — поэту положено воспевать любимую, — но эти стихи ты не присваивай: в них судьба многих, в том числе и моя, — серьезно ответил ей Гедиминас. — Стоит ли удивляться, что и ты нашла в них себя? Вряд ли есть на свете человек, который доволен тем, как прожил свой век.

— Не утешай меня, Гедмис... Не стоит. Год назад я бы посмеялась над твоими стихами или в лучшем случае зевнула бы. «Но потерял медяк я свой...» Подумаешь, нашел о чем плакать! Жизнь для того и дана человеку, чтоб ею пользоваться. Но теперь я уже не та, Гедмис... Может, оно и плохо, может, потому и «сердце отвернулось, что любило...».

— Ну что ты выдумываешь! Это уже болезненная подозрительность!

— Знаю, теперь уже знаю: надо было жить совсем не так. Не с того я начала... А с чего надо было начинать? Адомас в раздражении всякий раз попрекал меня бургомистром. Мол, детскую любовь предала... А он-то? Катре Курилка рявкнула, и Адомас — в кусты. Да, что греха таить, другая девушка его бы ждала. Любовь умеет ждать. Но любила ли я тогда Адомаса? Мне только казалось, что люблю, а на деле — просто блажь. А как же. Сын богатых хозяев, верховод в гимназии...

Думала об Адомасе, а воображала, что сижу рядышком с ним в бричке Вайнорасов и лечу на рысаке по нашей деревне. Все глядят из окон: Милда Дайлидайте с супругом к нам в гости катит. Господа Вайнорасы! Барыней хотела быть, Гедмис. Как твоя сестра. Жить в красивой избе, хорошо одеваться, вкусно есть. Все дочки бобылей об этом мечтали, а что уж говорить обо мне, я же в гимназию ходила... Я

просто задыхалась в нашей тесной халупе. Вечная нужда, свары. Тут же, за перегородкой, корова, свинья, воняет навозом. Никогда не забуду, как отец ударил маму по лицу только за то, что она купила мне платье. А сколько было таких оплеух! От нужды человек звереет. Чем так жить, думала я, лучше вообще не появляться на свет. Но я появилась, Гедмис, и я хотела жить… Окончи я гимназию или выйди сразу за Адомаса, все могло повернуться иначе… И его жизнь пошла бы другой колеей. Ведь большинству крестьян достаточно жалких крох неискренней любви, которые жены приносят в дом в придачу к земле, лошадям и коровам. Но мама умерла, мне пришлось бросить гимназию, а с Адомасом дело не выгорело. Получила службенку в Краштупенай, потом подвернулся Берженас… А ведь не стоило выходить за него, теперь-то вижу, что сглупила. Ни за одного, ни за другого. Надо было ждать, терпеливо ждать, как сказал как-то в ярости Адомас. И не Адомаса ждать, конечно, а любви. Тебя, Гедмис! Я поспешила на целых пять лет, мой милый, но помни, тогда я еще не знала, что такое любовь, не понимала, почему люди кончают с собой, ненавидят, жертвуют всем из-за нее, терпеливо ждут и чувствуют себя с лихвой вознагражденными, если она посещает их хоть на один день.

Пока Милда говорила, Гедиминас стоял перед ней, опустив голову. На его угловатом лице, которое сейчас казалось ей даже привлекательным, застыло странное выражение — суровость, смешанная с отчаянием.

— Зачем ты об этом? — ласково прервал он. — Я ведь знаю твою биографию.

— Хочу, чтоб ты меня понял, Гедмис.

— Можно ли полюбить человека, пока его не понимаешь? С первого взгляда? Так бывает, особенно — в книжках. Может, иногда и в жизни. Только, конечно, не в мои годы. Я люблю тебя, Милда. Такой, какая ты есть. Если б твоя жизнь сложилась иначе, скажем, в

последние годы, любовное приключение той ночью после расстрела евреев, возможно, так и осталось бы приключением. Будь что будет, я не могу пройти мимо тонущего человека, не протянув ему руки.

— Ты влюблен в мое горе, не в меня.

— Не упрощай! Просто горе сделало тебя другой женщиной. Такой, к которой я не мог быть равнодушен. Ты красива, но знай, раны души, даже самые гнойные, волнуют меня больше внешней красоты. Может, потому, что и у меня их полно.

— Аквиле… — ревниво прошептала Милда.

— Не только любовь оставляет рубцы, Милдуже. — Гедиминас сел на поваленное дерево рядом с ней.

Обнявшись, они молчали, прислушиваясь к шепоту осеннего леса. Неподалеку, на опушке, пахал крестьянин. Черные жирные борозды лоснились на солнце, и она слышала сытный запах земли, как в детстве, когда босиком бежала по свежей пашне, распугивая птиц, собиравших червей. Давно она не чувствовала себя такой слабой, покорной другому — этим рукам, обнявшим ее, этой гулкой груди, на которой покоилась ее голова. Совсем беспомощной — запеленатый ребенок на руках у матери — почувствовала она себя, но счастливой. И тут услышала смех. Приглушенный ядовитый смех, от которого она поежилась.

— Что с тобой?

— Вспомнил дурацкое происшествие. Позавчера в Лауксодис приезжал Адомас. Я ему сказал, что люблю тебя.

— Да?! О милый! А что тут смешного?

— Он вытащил пистолет, бабахнул вверх. Ты бы видела, как я улепетывал! — Гедиминас снова рассмеялся. Зло, издеваясь над собой.

— Есть над чем смеяться. Он же мог тебя застрелить! — ужаснулась Милда.

— Не знаю. Во всяком случае, не надо было удирать. Не могу себе этого простить.

— Какая чепуха!

— Конечно, но это заставило меня призадуматься. Теперь я начинаю понимать тех, кто, оказавшись перед дулом винтовки, предают своих близких.

— Лучше почитай мне еще.

— Обязательно, когда напишу. И не стихи, а целую поэму. О наивном парнишке, который думал, что можно остаться сухим под дождем. Промочило беднягу до нитки! Не знаю, что делать, но мне стыдно так жить, Милда. Недавно зашел немец: «Сала дай!» Харя сытая, улыбается, пачку табаку сует. На черта мне твоя душистая труха, если я не курю? Убирайся-ка подальше, разрази тебя гром! Конечно, ничего не сказал. Пошел в кладовку, отрезал кусок. На, подавись! И до того стало тошно! Почувствовал себя таким деревенским лаптем — хоть плачь. Они нас бьют, а мы их кормим. Выгребаем закрома, разоряем хлева. Чтоб лучше крутилась машина уничтожения. Нет, сами-то мы не убиваем, упаси господь! Мы не виноваты. Мы только кормим тех, кто убивает. А честному человеку у нас под носом жрать нечего. Ну, скажи, как жить такой Пуплесене? Старшие дети зарабатывают себе на пропитание, а что прикажешь делать с малышами? Немцы не только мужа убили, но и обобрали до нитки: скотину, зерно — все отняли. Даже хлеба, которые стояли в поле, описали, оценили и велели после обмолота все до зернышка сдать властям. Или вот Культя. Трое ребят служат у хозяев — один батрачит, двое стадо пасут, — а еще трое, мал мала меньше, дома. Захожу к ним недавно. «Как поживаешь, Путримас?» Посмотрел на меня, как на чокнутого, ухмыльнулся. «Не жизнь, а малина, говорит, господин Гедиминас, как и полагается во времена расцвета новой Европы». А на столе — миска картошки в мундире и соленые огурцы. Дети бледные,

животы торчат. Дерутся за эту картошку, пихают в рот целиком, неочищенную. Всю ночь не мог заснуть. Наутро потащил им каравай хлеба, шматок сала. «Это вы, говорит, напрасно, господин учитель: немцам ничего не останется...» Ушел как оплеванный. Да уж будь она проклята, такая милостыня. Капля воды, чтоб смочить губы умирающего от жажды. Причуда филантропа, чтоб утешить свою совесть, да и только. Я был противен себе, Милда. Лицемер и трус! Чем я отличаюсь от такого Кяршиса, который не видит дальше своих гектаров? Ну, шире рассуждаю, ну, терзаюсь. А если по сути: что я, что он — оба кормим отбросы человечества, оба на одну колодку. И раньше задумывался над этим, а после побега пленных, когда убили Пуплесиса и двух русских из поместья расстреляли... Всегда найдешь, чем оправдаться, было бы желание, но приходит время, и видишь: все это — самообман.

— Ты слишком чувствителен, мой милый. Что может делать человек, живя в деревне, если не выращивать хлеб?

— Да! Выращивать для тебя, для Пуплесене, для Культи, только не для господ Роппа с Дангелем! Больше они не получат ни зернышка, господа немцы! Достаточно голодающих и в нашей деревне.

— Ты шутишь, Гедмис? — Еще не веря, она встревоженно посмотрела на него. — Ты прекрасно понимаешь, чем это может обернуться.

— Когда я предложил это отцу, моему доброму старику, знаешь, что он ответил? «Нынче столько всяких бед, что наша будет не больше других». Таков был его ответ. И мне осталось только добавить: «Правда, отец, кажется, быть счастливым в такое время — преступление».

«Не сходи с ума! — хотела закричать она. — А что будет со мной?»

В отчаянии она смотрит меж стволов деревьев на поля. Как велик мир и как мало в нем места!

— Ты сердишься на меня? — слышит она его голос. — Прости, может, и не стоило нам с тобой сходиться: я не могу дать того, что тебе нужно.

— Не надо так, Гедмис. С тобой я узнала настоящую любовь. Думаешь, этого мало? Никто не виноват, что судьба забирает даже те жалкие крохи счастья, которые сама же дает нам.

III

Адомас давно ушел в полицию, а она все перебирает в уме тот разговор. После этого с Гедиминасом они не раз еще встречались, лежали под елью, гуляли по лесу, полному палых, пахнущих ветром листьев, но те встречи как-то поблекли, а день бабьего лета с небом, осыпанным пеплом сгоревшей осени, ярок по-прежнему. И она смотрит на небо той встречи, на кривые колонны берез, несущие дырявую крышу листвы восковой желтизны, и удивляется тому, что ей ничуть не жаль ни умирающих деревьев, ни птичьих песен, угасающих на сиротливых ветвях. Она ведь тоже мертва. А может, и не жила вовсе? Не было обманутой первой любви, Берженаса с Адомасом, унизительных часов с Дангелем. Вообще не было прошлого — оно угасло, как птичьи песни, вместе с умирающими березами. Удивительное свойство природы — смерть и обязательное воскресение! Не знаешь, что сулит завтрашний день, но ясно одно — и это самое важное! — не будет так, как было. Ни постыдного самообмана, ни гадкого лицемерия, коль скоро губительная пустота, в которой ты металась, заполнилась волшебным, животворным содержимым — Любовью.

Весело поскрипывает под ногами паркет. Раньше приглашала натирать приходящую прислугу, а сейчас хочет это сделать сама. Трудновато с непривычки. Спину ломит, семь потов сошло, но Милда в яростном самозабвении трудится, не давая себе отдыха. Передвинула мебель. На место одних картин повесила другие, которые когда-то сняла. Дверь на половину Адомаса заставила платяным шкафом: теперь она будет ходить через террасу. Оттуда можно попасть и на кухню. Вещи Адомаса — чемодан, сапоги, старую одежду, висевшую на террасе, — перенесла в прихожую. В сущности, могла и в шкаф запихать в его комнате, но побоялась: нельзя входить туда, а то исчезнет иллюзия свободы.

Итак, вещи на новых местах. Одна комната блестит, паркет натерт. Хватит на сегодня! Есть хочется ужасно. Надо бы обед приготовить. Но дома хоть шаром покати, одни продуктовые карточки. В лавку! Вытряхивает содержимое сумочки на стол, пересчитывает деньги. Странное чувство — никогда их не считала, разве что в лавке или на базаре, покупая что-нибудь. Сто марок с пфеннигами. Да и те Адомасовы. Смешно! Когда же у нее были свои деньги? Пожалуй, те несколько месяцев, что работала кассиршей. Надо бы подыскать службенку...

В прихожей трезвонит телефон. «Мадам Баерчене соскучилась? Или другая дамочка жаждет, чтоб я помогла ей убить время». Милда торопливо надевает пальто и выбегает из дома. Влажный ветер плюется в лицо, швыряет за шиворот мертвый яблоневый лист. Показалось, будто по шее бритвой полоснули. Бр-р! Даже оторопь взяла. Смерть... Меньше всего она хотела бы умереть сейчас. Откуда эти дурацкие мысли! «Эх, у беременных вечно всякие странности!» Начинает считать, сколько чего дадут на карточки, — видно, придется сходить в деревню сменять кое-какое старье

на масло, — и настроение понемногу выравнивается. Из лавки выходит с полной сумкой. Правда, одна видимость, — была бы и вовсе пустая, если б не хлеб. Кусочек жилистой говядины, банка консервов, фунт сахара и фунт маргарина. На карточки Адомаса она получила бы масло, свиной жир или хорошее, свежее мясо. Да уж, эти господа не голодают.

— Минутку… минутку, мадам Милда.

Милда поворачивается к человеку, который ее догнал. Обрюзгшее лицо, знакомые усики.

— Господин Саргунас!

— Тише, тише, мадам Милда!

— Что вам нужно? Я спешу… — Она враждебно, с растущим беспокойством смотрит в расплывшееся лицо.

— Не взыщите, что без должного обращения… Такая ситуация, понимаете… Хотел поймать господина Адомаса, но он отбыл в деревню, никто не может сказать, когда вернется. А у меня через два часа поезд. Мне надо кое-что передать господину Адомасу. И вообще нам надо бы побеседовать, мадам Милда.

— О чем? — резко бросает она на ходу.

— Я знаю ваш образ мыслей, мадам Милда. Может, поэтому нам и стоит побеседовать, что знаю. Жизнь меняет человека. Многие, раньше упорно державшиеся одной позиции, сейчас переходят на другую. В историческую годину люди производят переоценку ценностей, а что касается вас…

Милда больше не слышит Саргунаса. С радостным удивлением смотрит она на женщину, которая идет по другой стороне улицы. Клетчатый, по-девичьи повязанный платок; серая сермяжная куртка, ботинки на шнурках не слишком красят стройные ноги, обтянутые шерстяными чулками.

— Простите, господин Саргунас, но я с вами прощаюсь. Аквиле!

Женщина остановилась, бросает беглый взгляд через улицу. На лице робкая улыбка.

— Как жаль, как жаль, мадам Милда… В таком случае не откажитесь передать Адомасу вот это. — Саргунас нагнулся, и Милда не успела опомниться, как он сунул к ней в сумку пухлый конверт большого формата. — Надеюсь, до скорой встречи, мадам Милда. Поклон господину Адомасу!

— Подождите, господин Саргунас… «Мы с Адомасом разошлись!» — хочет крикнуть она, но тут Аквиле двинулась дальше, и Милда, забыв все, бросилась вдогонку.

Женщины улыбаются, смотрят друг на друга. Наконец Милда берет Аквиле под руку и, не обращая внимания на ее неуверенные протесты, ведет к себе. Боже мой, они ведь так редко встречаются! Едва ли не с весны, с того несчастья, не видались. Почему Аквиле не заглянет, ведь она бывает в Краштупенай? Только не называй меня госпожой Милдой. Мне так не хватает друзей, Аквиле. Диву даюсь, как мы не подружились в гимназии.

— Мне было чудесно у вас те два дня… весной, — говорит Аквиле. — Вы так ухаживали за мной, госпожа Милда…

— Аквиле!

— Не сердитесь. Мы ведь так мало знакомы…

— Ты одна?

— Мда… У Кяршиса, как всегда, тысячи дел. — Аквиле заливается румянцем. В глазах гаснет невысказанная мысль, но Милда этого не замечает.

— Чем мне тебя угостить, гостья дорогая?

Аквиле отнекивается: мол, стемнеет, пока она доберется до дому, — но Милда ничего не хочет слышать. Заставила гостью снять куртку, ведет на кухню: вдвоем они быстрей приготовят легкую закуску. А когда ужин готов (консервы, бутерброды с

маргарином и колбасой, кофейник горячего желудевого кофе), Милда вынимает из буфета бутылку яблочного вина, высокие бокалы на тонких ножках, и они несут угощение в комнату. В натертую до блеска, пахнущую скипидаром, звонкую, как корабельный лес, комнату.

— Красота-то какая… Господи! — Аквиле неуверенно смотрит на свои грязные ботинки, но Милда этого не замечает.

— Красота, говоришь? Это я все сама. Аквиле, милая, ты даже не понимаешь, как я сегодня устала и как счастлива! Нет, не то слово. Мне просто легко на душе.

Словно сняли горб, который я таскала всю жизнь. Ты не сердишься, что я бросаю Адомаса?

— Я понимаю вас… тебя, Милда.

— Спасибо, Аквиле. — Милда пожимает руку своей гостьи. Белая нежная лапка касается заскорузлой почерневшей руки. — За нашу дружбу, милая! До дна. А потом я тебе поиграю. Господи, целую вечность не играла!

Они выпивают по бокалу, наполняют по второму, и Милда идет к пианино. Музыка заглушает трезвон телефона в передней.

Аквиле, съежившись, смотрит на хрупкую фигурку перед блестящей глыбой черного дерева, и ей чудится открытое настежь окно, желтые подсолнухи, а за ними — белый мотылек. Последний мотылек лета.

Горит далекая звезда…
Мы будем там, я верю.
В серебряной ночи туда
Пойдем искать потерю,—

поет Милда; она мечется за пианино, словно птица на цепи у мраморной плиты.

— Красота… — шепчет Аквиле.

— Слова Гедиминаса! — бросает Милда через плечо; голубые глаза лихорадочно блестят.

Аквиле отхлебнула вина. Она вдруг затосковала. От рвущей сердце музыки, от сверкающего паркета, от холодного черного пианино. Украдкой смахнула слезы, в отчаянии смотрит на свой кулак. Не кулак — кулачище на ослепительно белой скатерти.

А музыка льется. И птица бьется крыльями о черную мраморную плиту.

Горит далекая звезда…
Мы будем там, я верю.

Наконец Милда оттолкнула стул, идет к Аквиле, не закрыв пианино, которое теперь ощерилось белыми зубами.

— Расчувствовалась, Аквиле? Когда-то я неплохо играла. Сейчас часто сбиваюсь. Надо каждый день заниматься. Ты любишь музыку?

— Хорошо… У тебя красивый голос, Милда.

— Это потому, что слова такие, Аквиле.

— Гедиминас умеет сочинять стихи.

— Аквиле… — Милда наклоняется к ее уху. — Скажу тебе по секрету — даже Гедиминас не знает, — у меня будет ребенок…

— Что ты говоришь?!

— Странно, правда? Мне самой странно. Никогда я не хотела детей. Наверно, только любовь так меняет человека.

— Хорошо, Милда, что ты счастлива… Я рада…

— Когда с тобой случилось несчастье, я еще не понимала, что значит — потерять ребенка.

— Нехорошо вышло, но, может, оно и к лучшему.

Милда молчит, потрясенная словами Аквиле. Поднесла бокал к губам, задумавшись, пьет маленькими глотками до дна.

— К лучшему, — упрямо повторяет Аквиле. — Ребенок никому не был нужен..

— Прости, милая… Хочешь, я еще поиграю?

— Нет, спасибо, Милдяле, у тебя чудесно, но мне уже пора. — Аквиле торопливо встала. — Я соврала, что пойду пешком, — Кяршис меня ждет. Привез кому-то взятку — полсвиньи: хочет достать дизельный мотор. Передвижную лесопилку собирается завести. Пока от движка никакой пользы — бензина не достать. А вот когда все успокоится, Кяршис будет деньги лопатой загребать.

— Кяршису пальца в рот не клади, — скупо улыбается Милда, не зная, как отнестись к иронической реплике Аквиле.

— О, на такие гешефты он мастер! В один прекрасный день и меня всучит спекулянту вместо чушки.

— Побойся бога, Аквиле! Что ты говоришь! Он же тебя любит!

— Он любит и своего савраса. А еще больше — буланку, что купил этим летом… — Аквиле встала. — У тебя, правда, хорошо, Милда, но мне пора. Загляни к нам в Лауксодис, рады будем.

— Обязательно, Аквиле. Но и ты не обходи стороной нашу улицу. Нам с тобой надо дружить.

Смотрят друг на друга и жалобно улыбаются. Протянули руки для прощания, но так и не пожали — обнялись.

— Я рада, что ты счастлива, Милда.

— Потерпи, Аквиле. Жизнь справедлива, она и тебя не обойдет.

— Я ведь не жалуюсь, — получила, что хотела: хорошего хозяина, сытную еду, теплый кров. Убеги я

тогда с Марюсом, сейчас бы собакой выла и еще бог весть где.

— Найдешь своего Марюса, милая.

— Нету его, Милда, давно уже нету.

— Каждой из нас сужден свой Марюс, только не все мы сразу его находим.

Милда вытирает слезы Аквиле, плачет сама. Она уже сердится на себя за то, что открыла пианино, пела, заговорила о ребенке. Вообще разрезвилась. Угнетенная неясной тревогой, стоит во дворе, глазами провожает подругу до угла. Счастье она ощущает сейчас как предательство. Механически открывает дверь, мельком бросает взгляд на сваленные в углу вещи Адомаса, брошенный на подзеркальник пакет Саргунаса и, забыв задвинуть засов, уходит к себе. Надо бы убрать со стола, но она не может заставить себя что-нибудь делать.

Вытянулась на диване. За серой плоскостью потолка чудятся улетающие гусиные стаи, их жалобный крик. Заунывно трезвонят вечерние колокола. Угасающий день приплюснулся к стеклу посиневшим лицом. Дышит, заливая комнату безотрадным полумраком, насыщая воздух вкрадчивыми звуками — таинственным шепотом, от которого и холодно и страшно.

Гудят не переставая вечерние колокола. Отпевают город, отпевают угасающий день. Звенит в прихожей телефон: кто-то глух к вечерней молитве колоколов, слеп к агонии дня, кому-то все равно, что где-то громыхает на рытвинах телега, везущая Аквиле, женщину, которую судьба обделила счастьем.

Милда закрывает глаза. Диван качает, как лодку на волнах. («Наверное, от вина клонит ко сну...») Берега озера, шуршание камышей... широкие поля... у дороги теснятся избы... Шпилек часовни, воткнутый в белую вату облаков, гогот гусей во дворах... Деревня! Необитаемый остров Гедиминаса с парнями и девками,

гармоникой, песнями, субботними танцами до седьмого пота — веселятся там так же капитально и охотно, как и работают.

Пойду, пойду, здесь не останусь,
Здесь сторона чужая...

И Милда идет, ступает по выбеленной солнцем тропе, раскатывая нескончаемую холстину. Такую же холстину тянет рядом Аквиле. Две белоснежные тропинки протянулись через чистый, умытый росой луг, и нежно-зеленая трава, весенний бархат, ласково щекочет босые ноги, до того ласково, что вот-вот повалишься на траву и расхохочешься до слез. Но они все идут и идут, тянут бесконечную солнечную тропу; знают: как только исчезнет тропа, кончится радостный сон. Идут и чувствуют, что сами с каждым шагом уменьшаются, и луг впитывает их, как влагу, пока наконец не засасывает последнюю каплю, и они исчезают.

IV

Проснувшись, не сразу сообразила, что к чему. В комнате было темно, холодно, дуло из открытого окна, сквозняк скрипел дверью на террасу, пахло садом, продрогшим на осеннем ветру, и мастикой. В ушах все еще трезвонил телефон... Нет, пожалуй, это был не телефонный, а дверной звонок: Милда услышала, как стукнула дверь и в прихожей загремели шаги. Адомас! Еще сонная, ежась от холода, Милда подошла к окну, захлопнула его, закрыла дверь на террасу, включила свет и, накинув халатик, прислонилась к кафельной печке. Печка была еще теплая. Спрятала озябшие руки

за спину и, прижав ладони к изразцам, постояла, закрыв глаза, чувствуя спиной холод своих рук. Шаги в прихожей затихли. Тишина слишком уж продолжительная. Может, чужой? (Смешно. Адомас-то свой?) Снова заскрипел паркет, стукнула дверь. «Пошел в свою комнату. Наверно, еще недостаточно пьян. Сейчас откроет шкаф, возьмет бутылку — наверстает упущенное...» Руки согрелись, не холодили спину. От тепла разморило, охватила приятная истома. Хорошо бы снова заснуть! Но в глаза бросился неубранный стол. Еще капельку погреется и приведет все в порядок. Усмехнулась: через комнату — за шкафом — подергали ручку двери. Стало быть, уже готов. Снова будет громыхать до полуночи. Хорошо, что перетащила сюда диван. Зимой не будет жарко — тянет от дверей террасы, — зато спокойней, чем в другой комнате. Чтобы избавиться от гнетущего чувства, которое нагоняло на нее присутствие Адомаса, Милда принялась думать о Гедиминасе. «Когда встретимся, снова небось предложит перебраться в Лауксодис». В воображении всплыло заплаканное лицо Аквиле, она вспомнила странный сон, холсты, — и вдруг, к своему удивлению, осознала, что ничто не связывает ее ни с этими комнатами, по которым гуляет сквозняк, ни с окоченевшими деревьями за окном. Разве что печка, пока не остыла, держит ее здесь, уютно дышит в спину. Но если завтра не растопить — все... Можно собрать узелок и уйти. Пианино? В деревне пианино будет звучать громче, чем в гулких каменных стенах, которые впитывают человеческое тепло и не отдают его. Деревня! Закрытые на ночь хлева, сонное тявканье собаки. Под потолком керосиновая лампа, украшенная разноцветной бумагой... Веселая пальба березовых поленьев в очаге... Шипят кастрюли... Голова Гедиминаса, склоненная над книгой. И вихрастый мальчуган. Непременно мальчуган. Ползает у ног

Гедиминаса. А может, у него на коленях или в кроватке. Но вихрастый, что-то рассказывающий на птичьем языке… А за окном завывает ветер. Даже мороз подирает по спине, когда слышишь этот вой в жарко натопленной избе, где все надежно, славно и взаправду… А вот и шаги в сенях. Стук в дверь. Путник! Промокший под дождем, озябший на ветру…

— Добрый вечер, фрау Милда.

Милда вздрогнула — в дверях террасы стоял Дангель.

Без пальто и фуражки, в штатском. Серый, с иголочки костюм, белая сорочка с крахмальным воротничком, переливчатый галстук. Волосы цвета воска гладко зачесаны кверху. Одна рука спрятана за спиной, словно он тоже только что грелся у печки, другая — в кармане. На бледном лице блуждает не свойственная Дангелю улыбка: он словно извиняется за неожиданное вторжение.

— Скучаем, фрау Милда? — Голос зато был всегдашний: самоуверенный, чуть насмешливый, даже вызывающий, — голос хозяина.

— Как вы сюда проникли? — придя в себя, сердито спросила Милда. — Вы не в ту дверь попали: надеюсь, вам нужен господин Вайнорас?

— Как раз нет. Если вам угодно, я пришел, так как знаю, что его нет дома, фрау Милда. Вас это не радует? Это не удивительно: красивые женщины забывчивы.

— Вы всегда так себя ведете: снимаете пальто, обшариваете комнаты и только потом представляетесь хозяевам?

— Oh nein, madam![37] — Дангель доверительно улыбнулся. — Лишь в тех случаях, когда хозяева не встречают в передней. Тебе неприятно это слышать, дорогая?

— Нет, господин штурмфюрер. — Милда говорила, не глядя на Дангеля, но чувствовала, как он раздевает ее взглядом. — Мне неприятно вас видеть, господин начальник гестапо. Было бы лучше, если б вы ушли.

— Грустное начало. — Дангель изобразил вздох. Спрятанная за спиной левая рука повисла, и Милда, покосившись, увидела в ней пакет Саргунаса. — Ein recht trauriger Anfang[38]. А я-то думал, этот стол накрыт в мою честь!

— Прошу вас без шуток. У меня нет желания шутить.

— Простите, фрау Милда. Я не думал, что невинная шутка может обидеть женщину, с которой я в общем достаточно близко знаком. — Дангель подошел к столу, похлопывая по ноге конвертом Саргунаса, и, подняв недопитую бутылку вина, посмотрел ее на свет. — Мне очень жаль, Милда, что наши отношения оборвались. Вы для меня не очередное приключение, дорогая. Мое чувство много глубже, чем вам кажется. Ваш поэтический друг назвал бы это любовью, но я не могу выговорить это слово не поморщившись: не терплю банальностей…

— Вот уж одолжили, господин Дангель. — Милда неожиданно для себя рассмеялась и впервые за весь разговор посмотрела на Дангеля прямо, с подчеркнутой враждебностью.

— Зачем усложнять, Милда, мы же на «ты». — Дангель поставил бутылку на место и с деланной беззаботностью осмотрел стол.

— Это тоже банально, господин Дангель.

«Все банально, даже убивать людей — так поступают со времен Каина и Авеля, хотя и не с таким размахом и не так изысканно, как вы», — едва не добавила она.

Дангель швырнул пакет Саргунаса на диван. Он был вскрыт, этот пакет.

— Два бокала, две тарелки, две вилки и два ножа, — перечислил он, оглядев стол и садясь на стул лицом к Милде, которая все еще стояла, прислонясь к печке. — С господином экс-учителем пировали? Удобный случай, супруга-то нет дома…

— Разумеется. А вы, господин Дангель, тоже решили этим воспользоваться?

— Вы на диво проницательны, фрау Милда. — Дангель откинулся на стуле, помолчал, поглядывая в потолок. Лакированные штиблеты поскрипывали под столом. — Кроме того, обладаете завидной интуицией: сегодня я вам звонил, но вы не снимали трубку. Правда, мне тоже грех жаловаться на отсутствие этих качеств. Чутья или там проницательности. Но вы понимаете, конечно, что я сижу здесь не только благодаря этим качествам, — бывает, в человеке зарождается сила, сильнее чувства долга; тем более — если замешана женщина. Я вступил в ваше сонное королевство не должностным лицом, — сами видите, я не в форме, — а просто-напросто Христофом Дангелем. Мое имя Христоф, Милда. В свое время вы выговаривали его без запинки.

— Перестаньте. — Милда спрятала покрасневшее лицо в воротник халата. — Если в вас осталась хоть крупица человечности, не напоминайте мне об этом.

Дангель усмехнулся. Только на миг сверкнули сахарные зубы, но эта промелькнувшая улыбка обожгла Милду. Она слышала голос: сочный, живой, который мог меняться до неузнаваемости, в зависимости от обстоятельств, — сейчас Дангель ворковал, как голубь на крыше, — но не уловила смысла первых фраз.

— Случайность, фрау Милда… Профессиональные навыки, поймите… Признаюсь, я не верил, что вы занимаетесь политикой. — Дангель не вставая достал с дивана пакет и извлек из него кипу каких-то бумаг. — Я мог бы спросить вас, когда и каким путем попали к вам

эти подпольные газетенки, но сейчас перед вами не начальник гестапо, не господин Дангель, а просто Христоф. Послушный крошка Христоф у ног прекрасной дамы.

— Если вам нужны эти бумажки, забирайте. Они меня ничуть не интересуют. Я хочу спать, господин штурмфюрер.

— Я не в мундире, мой мотылек. К тому же вынужден заметить, что вы понизили меня в звании. И еще — не злоупотребляйте моей добротой. В теперешней нашей ситуации я могу оказаться злее.

— Это я испытала на своей шкуре: вы талантливо пользуетесь ситуацией. Но сегодня вам придется разочароваться в своих талантах. — У нее мелькнула мысль, что Дангель потребует сказать, откуда пакет, и раздумывала, как быть. Проще всего сказать, как оно есть на самом деле. Пускай разбирается с Адомасом. Но такой выход показался ей недостойным..

— Единственное, что вы можете сделать, — это вынуть пистолет и отвести меня в гестапо: сила на вашей стороне. Увы, только сила, ничего больше. Так что лучше оставьте ваши угрозы, вы ничего ими не добьетесь, господин Дангель.

Дангель налил себе вина. Пил медленно, насмешливо глядя на Милду, но не отнял бокала от губ, пока не осушил до дна.

— Не надо шутить, фрау Милда. Эти газетенки — детская игра. Слон не чувствует укуса блохи, красавица моя. Стройте замки из песка, раз нечем больше заниматься. Это с одной стороны. С другой — я слишком ценю дружбу господина Адомаса, чтобы поднимать бурю в стакане воды.

— Дружбу?.. — Милда язвительно рассмеялась. — Меня с Адомасом ничто не связывает, абсолютно ничто, господин Дангель. Так что смело надевайте наручники его бывшей жене.

Дангель присвистнул: признание Милды было для него неожиданным.

— Oh nein, madam! Ваши ручки созданы для перстней, а не для оков. — Он снова налил себе вина и выпил одним духом. Вытер белоснежным платком губы и оглядел комнату, останавливаясь на каждом предмете обстановки, словно после слов Милды все вокруг изменилось. — Да, я понимаю теперь, что в вашем маленьком королевстве произошел переворот. Женщины, когда живут без мужчины, создают в квартире особенную атмосферу, которую не сразу заметишь. Пожалуй, я рад, фрау Милда, что вы решились на этот шаг. Адомас неплохой муж, но не для женщины вашего типа. Вы созданы не для хлопот по хозяйству, а для любви.

— А мне кажется, господин Дангель, — нетерпеливо прервала Милда, — я создана для того, чтобы стоять и ждать, когда же господин оберштурмфюрер, без приглашения попивая вино, соизволит кончить свои нудные речи.

Дангель неуклюже встал. Бескровные щеки манекена стали пунцовыми. Пожалуй, от вина — Дангель обычно владел собой.

— Простите, фрау Милда. — Он изобразил улыбку — тонкие губы треснули, обнажив фарфоровые черепки зубов. — Понимаю ваши чувства — у вас есть основания, чтобы не любить меня. Вел себя по-хамски и так далее… Молю о снисхождении, не лишайте бедного Христофа шанса исправиться.

— Не паясничайте, господин начальник гестапо. Вы ведь знаете: если и было между нами… Для меня самое неприятное место, которое я стараюсь обходить стороной, — лавка мясника. Я не переваривaю мясников. Но иногда самой приходится заходить в мясную, улыбаться окровавленному, засаленному

молодчику и слушать его плоские остроты, пока он не отрубит кусок говядины.

Дангель, заложив руки за спину, прошелся до двери террасы и обратно. В штатском костюмчике, сгорбленный, сосредоточенно исследующий паркет, он напоминал затравленного сельского учителя, который только и ждет, когда какой-нибудь шалун из класса запустит в сутулую спину скомканной бумажкой.

— Вы злая, фрау Милда, — сказал он, повернулся и снова зашагал к двери на террасу. — От женщины христианки, тем более католички, я ждал большего снисхождения.

Милда молчала. Каждый раз, когда Дангель делал поворот, она слышала аромат духов. Он смотрел себе под ноги, но Милде казалось, что он все равно ее видит, и в страхе она поплотней закуталась в халат.

— Вам трудно понять, фрау Милда, как мне нужна ваша любовь, — продолжал Дангель. — Со стороны кажется — мне можно позавидовать, а на деле я самый разнесчастный человек. С детства никто меня не любил. Отец был литовец, Дангялис, мать — немка, и они вечно ссорились из-за того, на каком языке следует говорить в семье. Отец хотел сделать из меня литовца, мать — немца, и оба колотили. Первый — когда я говорил по-немецки, вторая — за литовский. Потом родители разошлись, мать вышла за настоящего немца, но мне снова доставалось, потому что отчим не мог забыть, что во мне течет литовская кровь. Я влюбился в девушку, местную, клайпедскую. Девушка скрыла, что она еврейка, и я снова нахватал тумаков. Oh nein, не плеткой или там кулаками — красивыми словами отлупили меня идейные товарищи, чуть вся карьера не пошла прахом. Когда мужчина обжегся в любви, непременно появляется другая женщина. Женился — на сей раз выбирал с головой — на чистокровной пруссачке, симпатичной, красивой, из приличной

бюргерской семьи; вскоре она меня бросила: не понравилось, что я вступил в СС. Как видите, фрау Милда, у меня есть основания ненавидеть как евреев, так и своих сородичей, которые, раболепствуя перед памятью дедушки Гинденбурга, оплевывают свою нацию. У битого человека не может быть сантиментов к отбросам общества, если даже они ходят на двух ногах и говорят на том же языке. Но такой человек больше, чем кто-либо, нуждается в женской ласке, фрау Милда!

Дангель говорил как педагог — спокойно, но проникновенно, с паузами, чтоб слушатель лучше усвоил материал. В эту минуту он не кривил душой — в этом Милда не сомневалась.

— Каждого из нас жизнь так или иначе награждала тумаками, господин Дангель, — ответила она, стараясь подавить в себе жалость, вызванную невероятной исповедью начальника гестапо, — откровенность всегда обезоруживала ее. — Но неужели поэтому мы должны… колотить других? — У нее чуть не вырвалось «убивать». — При чем тут «отбросы общества»? Вы вообще ненавидите людей, испытываете наслаждение…

Она запнулась, увидев его перед собой. Близко, так близко, что услышала прерывистое дыхание.

— Милда… Mein kleines Mad…[39] Пойми…

Белый овал лица заслонил комнату. До этого она успела увидеть руки, протянутые как для милостыни; поняла — надо что-то делать (звать на помощь, бежать, ударить ногой в живот), но оцепенение парализовало мышцы. У нее даже не хватило сил закрыть рот: она замолчала на полуслове. От острого запаха одеколона, а еще больше от его губ, жадных, словно вливающих в ее тело расплавленный металл, Милда потеряла голову.

Но лишь на мгновение. Волна, только что швырнувшая ее на дно, теперь выбросила на

поверхность, и где-то под вращающимся потолком понесла через всю комнату. Заскрипел диван. Потолок больше не вращался, вещи стали на свои места. Рядом стоял Дангель с лицом, искаженным страстью. Уже без пиджака, без галстука. В сузившихся, налитых кровью глазах горели костры победы, и Милда от этого знакомого пламени вдруг пришла в себя. Вскочила и, запахивая полы халата, бросилась к двери на террасу. Но Дангель тут же поймал ее и повалил на диван.

— Милда... Mein Liebe[40], будь умницей... Мы же взрослые люди... И вообще — я же люблю тебя... Не дури... — бормотал он, одной рукой обхватив ее за талию, а другой неуклюже расстегивая халат.

Она, наверное, укусила его. В ухо, когда он повалил ее на спину, или в руку. А может, в подбородок? Похоже, досталось ему и тут и там — кусалась она, как волчонок. Он гадко выругался и отпустил ее. Она увидела его лицо, багровое, как у новорожденного, но уже бледнеющее, — наплывая со лба, возвращалась привычная маска. Почувствовала, что лежит почти голая, но так обессилела, что не могла даже шевельнуться. Дангель окинул ее презрительным взглядом. В его глазах было столько гадливости, что он не мог бы больнее оскорбить ее, даже плюнув в лицо.

— Приведите себя в порядок, мадам, — сказал он, высокомерно отворачиваясь. — Мы не азиаты, не насилуем женщин, зря вы так отважно защищались. Да, вы умеете набивать себе цену. Если начистоту, я тоже не сторонник легких побед, но не люблю сражаться с женщинами до крови. Да и произошла ли бы такая схватка, не будь у вас господина экс-учителя? Нет, фрау Милда, вряд ли вы считаете воздержание добродетелью. Чем вы хуже девиц, которые в специальных заведениях увеселяют германских солдат? Теперь, когда вас ничто не связывает с господином

Адомасом, стоит подумать о вашей кандидатуре.... Не сомневаюсь, вы окажетесь по вкусу даже более разборчивой публике, — например, господам офицерам. Я охотно сосватаю вас туда.

Милда встала на колени на диване, подоткнув полы халата. Хотела что-то ответить Дангелю, но ее била дрожь и слова застревали в горле. Прижавшись к стене, как загнанный зверек, она с ужасом смотрела на квадратную спину, которая раскачивалась то вперед, то назад, словно не решаясь, в какую сторону упасть, кого размозжить своим весом.

— Oh ja, мадам, вам будет жалко покинуть господина Гедиминаса, но не казните себя, мы и для него найдем местечко, — продолжал Дангель. — Господин экс-учитель, переквалифицировавшийся в мужика, позволил себе препакостно подшутить над немцами, а мы, хоть и оптимистически настроенная раса, не всегда ценим юмор.

— Эти газеты... — Язык наконец повиновался Милде. — Гедиминас Джюгас тут ни при чем. Могу объяснить...

— Объясните, а как же, объясните, когда спросят. — Дангель теперь надевал через голову галстук. — Господин Джюгас думает, что мы проиграем войну, если он начнет саботировать поставки. Чудак! Германия еще не проиграла ни одной войны. Ее ставили на колени, но каждый раз она возрождалась, становилась еще сильнее. Такие державы, как Германия, не погибают, гибнут отдельные люди, и в первую очередь — ее враги. Nehmen Sie das in Acht, Frau Milda[41].

Дангель надел пиджак, собрал с паркета листки и, торопливо засунув их в карман, направился к двери. Он ни разу не посмотрел на Милду; она видела только его спину — изломанный четырехугольник, который на мгновение застрял в дверях, но преодолел невидимую

преграду и прорвался на террасу. Шаги на кухне, в прихожей, глухой хлопок двери. Все эти звуки пронзали Милду, как гвозди, загоняемые одним ударом, и она прижималась к стене, словно хотела вдавиться в нее... Наступила тишина. Даже ветер, казалось, окаменел за окном. Лампочка под абажуром качалась над столом, отбрасывая на стены и паркет причудливые тени. В пепельнице тлел окурок сигареты; голубая кисея дыма висела над столом, и казалось, что стол — нагромождение посуды — плывет в тумане, удаляется, как островок, на который уже не вернуться... «Вот и все...» — машинально подумала Милда. Ее как будто оттолкнули от стены. Не отрываясь смотрела она на стол, видя лишь дымок из пепельницы, ощущая тошнотворный смрад табака. Потушить эту противную головешку! Подскочила к столу. Хотела схватить, раздавить в пепельнице, но увидела влажный кончик сигареты и отдернула руку. Нет, Дангель еще не ушел! Остались вмятины его зубов на сигарете, провонявший дымом и одеколоном воздух... Она и теперь дышала этим воздухом... Распахнуть окно, тотчас же распахнуть окно! Но и там был он... В гулкой темноте, среди деревьев и домов, кралась его тень, заполняя пространство тлетворным дыханием. Он был вездесущ. Милда чувствовала на себе его руки. Беспокойные, юркие, как нагревшиеся на раскаленном песке ящерицы. На губах горел его поцелуй. Никогда она не казалась себе такой грязной, как в этот час. Ощущала даже на своем теле пятна, могла их нащупать. Пятна ширились, просачивались сквозь кожу, поганя и того, еще не родившегося. Не понимая, зачем это делает, сбросила халат, сорочку, вытерла обнаженное тело полотенцем и начала одеваться. Она надела лучшее платье, как на бал. Причесалась, подкрасила губы. И все это, не зная, для чего. Она вообще не думала ни о чем; собиралась, как заведенный автомат, не слыша

больше ни запаха дыма, смешанного с одеколоном, не чувствуя его рук, ползающих по телу. И, только очутившись на кухне, наконец поняла, куда собирается. Кстати, почему она шла через кухню, если во двор можно было попасть прямо с террасы? Наверное, по привычке, потому что не отдавала себе отчета в своих поступках. И вот здесь, на кухне, у нее мелькнула первая отчетливая мысль: «Бежать!» Все равно куда, только быстрей из этого загаженного дома, из этого города, а если можно, то и с этого света. Повернула выключатель. Свет залил кухню, захватив часть прихожей. Там стоял Берженас, старый добрый Берженас. В черном котелке, с полированной тросточкой в руке, с седыми бачками, обрамляющими мягко улыбающееся лицо. Господин бургомистр, вернувшийся с заседания на ужин.

— Не стоит, девочка моя, — сказал он. — В мире есть вещи, от которых никуда не убежишь. Будь верна себе до конца. Я тебе ничего не говорил, когда ты изменяла мне по легкомыслию, тем паче не осужу, если изменишь, чтоб помочь человеку.

Милда ахнула и зажмурилась. Когда она снова посмела поднять глаза, прихожая зияла черной дырой. По улице с ревом неслись военные грузовики.

На ощупь, как слепая, нашарила она рукой спинку стула и, придвинув его, опустилась у кухонного столика.

Поняла — надо тотчас же идти туда. Не медля ни минуты, пока Дангель не нажал на кнопку и исполинское колесо не подмяло под себя Гедиминаса. Есть только один путь — страшный, но испытанный, — лучше не придумать. Она понимала это, но сидела, сжавшись в комок; знала: чему быть, того не миновать, — но секунда за секундой отодвигала страшную повинность.

V

Едва переступив порог, он заметил эту дверь. И все время, пока продолжалось судилище, пока приводили в исполнение приговор Кучкайлису, он боковым зрением видел блеск медной ручки. Нет, о побеге он не думал; был уверен, что его судьба решена и остается только умереть с честью. Такая мысль — броситься в боковую дверь — появилась у него в последнее мгновение. Он был хорошо знаком с расположением комнат; если и можно вырваться из ловушки, то лишь этим путем, сбив плечом непрочный запор. Девяносто девять процентов, что не удастся, но, как ни крути, лучше получить пулю в спину, чем висеть с высунутым языком рядом с Кучкайлисом.

Панический сигнал тревоги — удар автоматом в стекло — спас Адомаса. Воспользовавшись замешательством партизан, он метнулся к двери и одним прыжком оказался за порогом. Едва не ударился о противоположную стену — так легко поддался замок. Грохнули выстрелы, послышались вопли. Кто-то бросился вдогонку, бешено строча из автомата. Но Адомас уже выскочил в коридор. Отсюда — на кухню. Нашарил люк погреба, приподнял его и по обшарпанной цементной лестнице скатился куда-то в темноту. Разумнее всего было отсидеться тут, пока поместье не займут немцы, но чем дальше он уходил от смерти, тем пуще ее боялся. Ему казалось, что партизаны так и кишат вокруг, а немцы на дороге — дело неверное; вдруг это проезжающая часть, которая может преспокойно укатить дальше, не обратив внимания на перестрелку, Марюс перевернет вверх дном весь дом, будет держаться до последнего выстрела, но отыщет его, Адомаса.

Осторожно открыл оконце погреба и, трясясь от нервной дрожи, прислушался. Выстрелов не было слышно; неподалеку ревел мотор приближающейся машины. Громыхнул взрыв, словно откликнувшись на него, застрекотали автоматы, заговорил пулемет. Небо — черная дыра — побелело, словно в деготь кто-то вылил крынку молока.

Адомас не помнит, как выбрался во двор, продрался через густой куст сирени, скрывавший окно полуподвала, и, наконец перебежав сад, оказался за высоким частоколом в чистом поле. Он просто обезумел от страха. Уже понимал, что спасен, но не мог охватить этого ни чувствами, ни рассудком; все случившееся казалось чудом — тебя опустили в могилу, а ты сбросил крышку гроба. Скорее из ямы, пока могильщики не схватили тебя и не запихали обратно!

Поначалу он, по-видимому, бежал по клеверищу или неперепаханному жнивью. Земля пружинила, хрустела под ногами, как битое стекло, и временами то задиралась кверху, то куда-то пропадала, и он, потеряв равновесие, шлепался на живот в мерцающую темноту. Где-то провалился по шею в ледяную жижу. Канава, полная до краев, топкая, с отвесными краями, но, к счастью, заросшая ивняком; уцепившись за ветки, он кое-как выкарабкался из этой адовой глотки. Наконец глаза привыкли к темноте и стали различать очертания крупных предметов, но все равно какая-нибудь мерзость выскакивала откуда-то и сбивала его с ног.

Выбрался на осеннюю пашню. Уже не бежал, едва волочил ноги. Тонкая корка смерзшегося грунта, не выдерживая тяжести тела, трескалась под сапогами. Изредка, насмерть испугавшись звука собственных шагов, он застывал и вслушивался в темноту, раздираемую выстрелами и ракетами, — не гонится ли кто, не окружают ли, не подстерегают ли впереди? Подозрительный звук, замаячивший впереди куст

бросали Адомаса наземь, и он, сам понимая бессмысленность всего этого, какое-то время полз на животе, как вспугнутый болотный уж. Прошло минут десять, до полуночи было еще порядочно, но ему казалось, что вот-вот наступит рассвет. День, доселе приносивший успокоение, свободу от ночного бреда, теперь принесет еще и спасение. Он чувствовал приближение спасительного дня. Где-то за его спиной, в стороне деревни, занимался рассвет. Медленно разгорался, как раздуваемое горнило, заливая блеклой синевой черное небо. Удивился, вспомнив, что восток не там, а обернувшись, так и оторопел: горело поместье. Выстрелы хлопали уже дальше, в стороне от деревни; казалось, стреляют отовсюду, кольцо окружения сужается, сходится к центру, где копошится он, Адомас. Ему всюду мерещились партизаны. Даже на этом глухом хуторе, от которого ветер нес мирные запахи дыма и хлева, где в своей конуре безмятежно дремал пес, а в избу сквозь плотно занавешенные окна не проникал ни один подозрительный звук. Постучался ли бы он в чужую дверь — опозоренный, утративший спесь, — если б не сбился с ног и не был так унижен, что уже ничего не стоило лишний раз испытать унижение — теперь от самого себя? Ни разу в жизни он не говорил еще с таким похабным смирением, как сейчас, стоя на крыльце и слушая, как топчутся деревянные башмаки в сенях… Мужик впустил его не сразу. Тряслись оба — один по одну, другой по другую сторону двери, — хоть и были знакомы. А когда открыл и увидел — безоружного, заляпанного грязью с головы до ног, — не захотел признать за начальника полиции. Пришлось как следует потрясти за грудки этого безголового мужика в наброшенном на плечи тулупе, пока не вытряс-таки лошадь. А седла, сволочь, так и не дал. Может, оно и к лучшему: тепло животного согрело его, он приободрился. В сознании почему-то мелькнула картина

— в детстве под проливным дождем он едет верхом с выгона. Наверное, напомнил ему об этом запах сохнущей одежды, а может — веселое фырканье и чавканье копыт по подмерзшей грязи. Но это длилось лишь мгновение. И он снова увидел зал поместья, сгорбленные фигуры у стен, болтающееся на люстре чучело — Кучкайлиса. Увидел и себя — с такой четкостью, словно стены были сплошь в зеркалах. Без ремня и шинели, в мятом, расстегнутом мундире, в спадающих галифе. Негг Polizeichef… Карикатура на господина начальника полиции… Им и этого было мало. Хотели, чтоб он бросился на колени, лизал им сапоги, как староста. Накось, выкуси. Держался до последнего, старался не походить на Кучкайлиса, который околел, как скотина. Пыжился-пыжился, а до конца не дотянул. В нем сидел заяц, стреноженный приближающейся смертью, который при первой же возможности дал стрекача в дверь, думая только о спасении своей шкуры. А ведь рядом Фрейдке стоял! Когда долбанули по окну, они все уставились туда («Ох!» — крикнул белобрысый); хрястнуть бы в челюсть, за автомат — и тогда уже в дверь. Нет, не в дверь, а сперва еще пустить очередь… Скосить бы всех до одного. А он улепетнул, как мальчишка, кокнувший окошко. С пустыми руками и, можно сказать, с полными штанами. Как он выглядел в глазах этого провонявшего салом мужика? Выпоротый крепостной, удравший от палача. «Помоги, лапочка, спаси… Бандиты!» Да уж, в такой час человеку без оружия грош цена. Нуль без палочки! Будь у него автомат, разве несся бы он теперь вскачь по полям, не смея даже на дорогу свернуть? Нет, он повернул бы эту клячу назад, как пить дать повернул! А может, и садиться на нее не пришлось бы. Не бежал бы, высунув язык, по полям, не полз бы на брюхе, как последний идиот… Вернуться! Без сомнения, там уже немцы. Попались, голубчики! Ах, с каким наслаждением

взял бы он пистолет и всадил этому белобрысому в потроха всю обойму! А потом прицелился бы в Марюса и подержал палец на спуске, пока у того со страху глаза бы на лоб не полезли! Суки! Не ждите пощады! Еще поквитаемся!..

Адомас в ярости останавливался, чтобы повернуть назад, но каждый раз невидимая сила толкала его вперед, и он, барабаня пятками по взмыленным бокам лошади, снова несся прямиком через поля к огням Краштупенай.

…В кухонном окне свет, дверь не заперта.

Меньше всего ему хотелось, чтобы Милда увидела его в таком виде. Но она стоит лицом к двери, открытой в прихожую. Принарядилась — вот-вот уйдет. Или только что пришла! Из гостей или со свидания; на ее губах еще горит чужой поцелуй…

Мог прошмыгнуть в свои комнаты. Оттуда, взяв сухую одежду, — в ванную. Но из кухни хлынули теплые домашние запахи, преградили путь. Он сразу опьянел, — нервное напряжение спало, дало о себе знать угощение у старосты. Встал в дверях, с вызовом смотрит на нее.

Лицо белизны необыкновенной! Глаза мертвые, как у манекена. Ледяная статуя. Так, наверное, выглядит человек, брошенный в испытательную камеру (о ней как-то обмолвился Дангель), где температура близка к абсолютному нулю… «Тронь ее рукояткой пистолета — зазвенит, как сосулька».

— Добрый вечер, сударыня, — слышит он свой голос. — Вас не удивляет, что я в таком виде?

Она молчит. Но глаза ожили — в них такое презрение, что он на несколько секунд замолкает.

— Я угодил к ним в лапы. Из петли вырвался. Хотя тебя это не обрадует. Другое дело, если б сейчас вошел Гедиминас и, потирая ручки, закричал: «Радость моя, Адомас Вайнорас откинул копыта!»

Милда повернулась. Медленно, будто поворачивали статуэтку на несмазанной оси. Замедленные движения. Адомас видит медленно уплывающий профиль лица, сложенные на животе руки, бледную раковину уха. Спина! Ничего не скажет женщина-малютка… Еще миг — и она исчезнет за дверью, ведущей на террасу.

— Милда!

Его голос, наверное, прозвучал как-то необычно — она остановилась и медленно, на невидимой оси, повернулась обратно. Стоит боком к нему — он видит правую половину ее лица.

— Милда, ты с теми, кто отрекся от меня, но мне не безразлично, что ты обо мне думаешь. Можешь ненавидеть, осуждать… Только не презирай — я не заслужил этого. Сегодня утром я хотел застрелиться. Преступник, отверженный всеми… Но когда угодил к ним в лапы… Ты бы видела, как над нами измывались! Они повесили на люстре Кучкайлиса, а на другой оказался бы я, если бы не счастливый случай. Сам виноват, тогда пожалел Марюса, а он бы сегодня меня вздернул! Нет, Дангель прав: их надо уничтожать! Без жалости! Давить, как клопов, не ждать, пока укусят. Всех до единого. Я не жалею, что делал то, что вы называете преступлением. Я не убивал, я защищался, — среди них много Марюсов, и каждый, улучив удобную минуту, свернул бы мне шею. Способна ли ты это понять наконец, Милда?!

— Мне пора, господин Вайнорас. — Плечо поворачивается, словно кто-то нажал на пружину, которая ее — черно-белую базальтовую статуэтку — медленно поворачивает спиной к Адомасу и заталкивает в невидимую нишу.

Одним прыжком он подскочил к ней, схватил за плечи. «Чепуха какая… Зачем это? Не стоит!» Но ничего не мог с собой поделать. Уши заложило, слышит знакомый звон, на глаза наплывает розовая пелена.

— Куда это вы собрались, мадам? — резко поворачивает ее лицом к себе.

Комнату заполняет запах ее тела. Ослепительная белизна шеи, необъятные голубые глаза. Фарфоровая кукла, сама чистота и непорочность! Сжать в грязных объятиях, да так, чтоб до мозга костей дошла грязь!

— К Дангелю. Заходил. Пригласил на утро.

Свежеподкрашенные губы искривились, но не из страха — они нагло улыбаются. Все лицо — от подбородка до корней волос — дергается в дикой, незнакомой улыбке. Адомас даже отшатывается — столько ненависти на этом перекошенном лице.

— Шлюха! — бросает, задыхаясь, он. Розовая мгла сгустилась, но он отчетливо видит черные тени у нее под глазами, подозрительное красное пятно на подбородке. — Сука! Маленькая искусанная сучка. Кто укусил тебя в мордашку, дрянь ты этакая? Господин поэт?

— Нет, твой Дангель. — Слова сливаются в змеиное шипение. Каждый звук — ядовитый плевок в лицо, — Компаньон вашего акционерного общества по убийствам. Хотел со мной переспать.

— Набивала себе цену?

— Нет. Подумала, что у него будет удобней. Пусти, мне пора.

Адомас привлекает ее к себе. Она так близко, что он чувствует ее дыхание.

— А что скажет Гедиминас?

— Гедиминас поймет. Для его же блага.

— А может, этот вечер посвятишь мне? На прощание. Как ни говори, был твоим мужем. — Он уже не слышит своего голоса. Ее лицо распалось на куски, расплылось. Видна податливая белизна шеи, губы и глаза, затерявшиеся в розовом тумане. — Что тебе стоит, сучка, одним больше или меньше.

— Не могу разочаровать Дангеля.

— Врешь! — В глазах потемнело, розовая пелена заволокла все. В ушах звон. — Врешь! Врешь! Врешь!

Когда пелена рассеялась и Адомас пришел в себя, он почувствовал, что держит в ладонях что-то податливое и нежное. Потом увидел свои руки. Черные, в корке грязи. Между распухшими пальцами белые полоски. Ее шея! С удивлением смотрит он на крохотную головку, склоненную на плечо. Губы полуоткрыты, как для улыбки. А может — для проклятия? Глаза угасли, в них голубой лунный свет.

«Господи… Неужели?..»

Окаменевшие тиски разжались; он ощущает пустоту; в каждой жилке, в каждой мышце, во всем теле, от пяток до макушки; пустота до самого пола. Кровавыми слезами бы плакать после того, что содеял. Броситься на улицу, кричать! Но он не может сдвинуться с места. Мелькает мысль, что в платяном шкафу стоит недопитая бутылка. Видит голубую этикетку и веер белых волос на полу. Круглую розовость колен. Нежную, блекнущую уже розовость колен, подчеркнутую черным крепом задравшейся юбки. Все видит, хотя смотрит в кухонное окно, — черный квадрат; полированная мраморная плита на заросшей могиле…

— Арестовать вас, господин, Адомас? — удивился Дангель. — О нет, мой друг! Рациональней всего было бы отправить вас в батальон территориальной обороны к братьям литовцам. Но думаю, это неверный путь. Вы ведь не убили, вы только устранили препятствие, мешавшее вам полностью отдаться службе. Мне искреннейшим образом жаль фрау Милду, но не могу не выразить своего удовлетворения, когда вижу, что мои сентиментальные друзья превращаются в настоящих мужчин. Перестаньте! Успокойтесь! Вы здесь ни при чем — она сама покончила с собой. Для этого у нее было

достаточно причин. Вы меня поняли, Herr Polizeichef? До-ста-точ-но причин.

Глава четвертая

I

Деревня вздрогнула, съежилась, услышав первые выстрелы. Женщины бросились поплотней занавешивать окна, мужчины перестали вить веревки, а те, кому выпало в этот час находиться на дворе, попрятались в избы. Но были и любопытные, привыкшие всякое дело выяснять до конца. Не слушая причитаний перепуганных жен, они натягивали на вязаные кофты пиджаки, поверх них — тулупы и вываливались в дверь.

Где-то в стороне поместья определенно кипел бон. Все чаще прошивали воздух автоматные очереди, переплетаясь с треском пулеметов, вспыхивали ракеты, изредка раздавались глухие взрывы. Наконец густая темень посветлела — над поместьем, все шире занимаясь, раскрывался трепетный веер огня.

Лесные! Поместье подпалили!

Все, кто был на улице, опрометью бросились во дворы, заперлись в избах, потушили лампы, хотя через плотно занавешенные окна и так не пробивался свет. Забились всей семьей в угол, молились, ругательски ругали лес. Полоумные! Нашли кого трогать — самого господина Петера фон Дизе! Не приведи господи, если убили…

До утра мало кто смежил глаза, хотя шум боя давно затих. То и дело подбегали к окнам, выглядывали, приподняв тряпицу, а убедившись, что все на местах, все равно не могли победить страх, слыша где-то за околицей рев военных грузовиков и громкие команды.

От собачьего лая, который жителям Лауксодиса заменял колыбельную, теперь по спине бегали мурашки.

Успокоились только с последними петухами. Во дворах замелькали фонари, заскрипели колодезные журавли, запахло дымом. В хлевах, почуяв человека, зашевелились животные и, каждое на свой лад, приветствовали наступающий день. Деревня, осовелая после бессонной ночи, но полная надежд, проснувшихся вместе с утром, встала, чтобы встретить еще одну зарю, уверовав, что она не будет последней. Кому нужно было на мельницу, тот клал в кошелек разрешение на помол, запрягал лошадей и грузил мешки на телегу, кто имел срочное дело в городе, тоже старался тронуться из дому затемно. Но ранним ездокам пришлось вернуться: сразу за деревней напоролись на немецких солдат. Те переворошили поклажу, заглянув даже под телегу, словно к днищу прилип партизан, и, самым тщательным образом проверив документы, приказали поворачивать оглобли да впредь не совать носа из дому. По дворам прокатилась жуткая весть: деревня оцеплена! И еще тревожней всем стало, когда вслед за этим разнесся слух: ночью партизаны повесили старосту Кучкайлиса, подстрелили господина Петера фон Дизе, а помещичьи хлева и сеновалы сгорели дотла.

В печах потух огонь, и хотя было самое время садиться завтракать, лишь в редкой избе хлебали свекольник. Да и некогда было: едва забрезжило утро, в деревню хлынула солдатня. Выставив автоматы, с овчарками на поводках, немцы носились из избы в избу, обшаривая каждый угол. После их ухода в избах оставались распахнутые шкафы, брошенная на пол одежда, черепки разбитой посуды. И, разумеется, из чуланов исчезало сало. Бешеный лай собак и одиночные выстрелы, которыми нетерпеливый солдат заставлял навеки умолкнуть бедного стража дома, слились с

кудахтаньем кур, детским плачем и воплями разъяренных эсэсовцев; деревенские старухи не на шутку испугались, решив, что настал Судный день.

Когда перевернули вверх дном каждую избу, протыкали вилами и прошили очередями из автоматов каждое подозрительное место в хлевах, на сеновалах, в сараях, обыскали погреба и овины, часть немцев села на грузовик и укатила, а остальные разделились на две группы, которые разместились в поместье и в школе.

По тому, как они устраивались и что говорили, всем стало ясно, что немцы обосновались здесь не на один день.

Кяршис бродил туча тучей — очень уж накладным было для него нашествие немцев. Еще до рассвета заколол свинью и опалил в овине. Запряг лошадь в волокушку и перетащил тушу на сеновал: отсюда ближе до кипятка и свету больше. Точил во дворе топор — сейчас поможет жене разделывать тушу, и вот тебе — четверо. Железные дула на животах, овчарка. «Где партизаны?» Кяршис чуть не расхохотался. Так и хотелось брякнуть: «Идите глядите, найдете одного неживого, лежит обжаренный на волокуше…» Но немцы не ждали, пока он разинет рот, двое ввалились в избу, двое — в амбар. Оттуда — на сеновал, на гумно, в баньку. Облазили хутор (собака с ними, вывесив язык), покрикивая, лязгая автоматами. И опять всех будто магнитом на сеновал потянуло. Думал, заметили что-нибудь подозрительное; обстреляют клади, как делали в других местах, а то и заставят сено переворошить. Где уж там! Забыли даже, зачем пришли, — свинья их с панталыку сбила. Гаркали, столпившись вокруг, приказывали побыстрей потрошить, а один, схожий чем-то со своей овчаркой, которую держал на поводке, ухмылялся до ушей и пялил голодные глаза на ноги Аквиле, пока та, наклонясь над тушей, отдирала от брюха сальник. Один из них вышел, подъехал к дверям

сеновала на мотоцикле. Кяршис между делом отрубил окорок, взвалил на плечо — понесет в избу, но тот, с собачьей мордой, уже бежал навстречу, показывая на коляску мотоцикла. Покукуй — так я тебя и понял... Прошел было мимо, но немец так ткнул дулом автомата, что коленки подкосились. Споткнулся, окорок, можно сказать, сам влетел в коляску, хотя по горлу словно ножом полоснули — как будто срослось оно с этим куском мяса и теперь его разорвали. Зато второй и третий окорока пошли легче, а когда принялся складывать поверх них шматы сала, действовал как автомат, движимый единственной мыслью: «Господи, сделай так, чтоб я побыстрей проснулся, и-эх, разбуди меня, царь небесный...»

Даже хребтинки не оставили, нехристи. Легкие, печенку — и те обгрызла овчарка. Только кишки, ноги да голова со сморщенными от огня ушами. Студень, черт их подери! Кровяная колбаса! А где движок-то? Отдал вчера, дурья башка, полсвиньи. А эту обещал завтра привезти. Не позже, чем завтра, потому что этот человек не может дольше держать движок. Где теперь свинью-то возьмешь? Не надо было сало на тряпки менять. Разбросали, расшвыряли... В чулане только на еду, да и то не густо. Теперь уж не скажут соседи: у Кяршисов борщ жирный. Если чулан подчистую подмести, может и собрал бы... Но ведь уговор был — свеженина. Да и слыханное ли дело — раздеваться догола? Неужто, когда беда прижмет, идти побираться к соседям... Да и немец под конец совсем озверел. Как знать, вдруг засидятся в деревне... И-эх, не приведи господи, с косточками сожрут ведь, чертово семя.

— Ободрали как липку. — Уныло смотрит на окровавленную волокушу. Жаркая радуга вспыхивает перед глазами, выдавливая слезинки, и они одна за другой катятся по щекам, застревают в зарослях щетины. Такие же тяжелые, обжигающие сердце, как в

тот день в Краштупенай, когда он брякнулся на колени перед лежащей Аквиле, оплакивая наследника своего хозяйства. — Такую свинью... И спасибо не сказали.... Сам, своими руками, ворюгам отдал... — Скрипнув зубами, схватил топор, замахнулся. — Отрубить такие руки!

— С ума спятил!.. — Аквиле поднимает голову от миски, в которую собирала остатки. Удивленная, но почти веселая. — Только и было бы горя, что эта свинья...

— Что?! Что?! — подавился он, ошалев от предательского спокойствия жены. Глянул на миску, увидел цепкие, отлакированные кровью пальцы, и сам не почувствовал, как рука вскинулась на невидимой пружине; топор со свистом полетел к двери и вонзился в притолоку. — И-эх, это ей еще не горе! Еще ей мало! Никак, хочешь, чтоб последнюю забрали? Известное дело, корми, хлопочи, — куда веселей в потолок плевать. А жрать-то чего будешь?

— Замолчи! С голоду еще не помираем.

Хоть того и не было, ему показалось, что она усмехнулась. Хотел схватить лежащие рядом вожжи, на которых вытаскивал свинью из закута, да и стегануть по согнутой спине. В первый раз почувствовал такую злость, прямо ненависть к Аквиле, что испугался сам. Схватив какой-то ошметок, вывалился с сеновала, швырнул Тигру и, вытирая рукавом мокрые щеки, стоял, пока пес не умял все. На хуторе работы невпроворот — яблоньки не обвязаны на зиму, двор не убран, пора бы мять лен, — но не было охоты за что-либо браться. Так и промаялся весь день, нигде не находя себе места. А когда наступил вечер и в школе дружно запели немцы, он долго стоял на крыльце, стонал и ругался. И-эх, и веселятся же ворюги, нажравшись чужой свинины... Чтоб она вам боком вышла, ага, чтоб вам кишки скрутило! Не тужи, господь справедлив, не минует вас

кара, не надейтесь. Русский уже дает жару. Поднажмут и англичанин с американцем. Как сдавят с обеих сторон, все выблюете, паразиты, что сожрали.

II

На другой день после обеда хоронили Кучкайлиса. Народу набралось много; немцы строго-настрого приказали всем, кто на ногах, почтить старосту, который своей смертью доказал, что честно служил рейху и новой Литве. Во всяком случае, так выразился представитель гражданских властей из Краштупенай в своей речи над могилой. Ксендз был сдержанней — не восхвалял покойного, сказал, что его добрые и дурные поступки взвесит сам господь, — но не мог не выразить возмущения: в его-то приходе творятся подобные дела! «Будьте бдительны, дорогие прихожане! Дьявольское семя не сожжено до последнего зернышка, плевелы не отсеяны. Ведь если поле наше было бы чисто, братья во Христе, блудные сыновья, вместо того чтобы бродить по лесам и проливать кровь ближнего своего, смиренно сидели бы дома и восхваляли господа, отдавая богу — богово, кесарю — кесарево».

Пока происходила церемония, полицейские слонялись вокруг толпы, а подальше, за оградой, с автоматами наизготовку выстроились немецкие солдаты. Люди тревожно переглядывались, шушукались. Какого черта их сюда согнали? Чтоб поклониться живодеру Кучкайлису? Очень уж немцам важно, что какого-то их холуя порешили. Постращать? Да разве что постращать. Но гляди в оба, чтоб не угостили еще выстрелами в спину, когда начнем расходиться с кладбища... А эти лесные вконец сдурели. Такую беду на деревню накликать! Не могли тюкнуть где-нибудь на дороге, подальше от жилья.

Куда там! Им, видишь ли, надо так ударить, чтоб во всем уезде земля задрожала…

— Из-за него, Вайнораса, вся каша… — слышит Аквиле шепот за спиной.

— И выдумать же — суд устроили! Комедианты…

— Кто эту комедию видел, говорит, не очень-то весело было.

— Совсем озверел народ.

— Так ведь есть за что. Марюсу, Фрейдке. Другие двое незнакомые. Один, сказывают, на Ивана смахивает, знаешь, на пленного, что у Кяршиса был. А вот Нямунис с Бергманом — это точно.

— Жертва большевиков… несчастный мученик… — над колышущимися булыжниками человеческих голов, плутая в крестах и стволах сосен, катится голос ксендза.

— Да-а-а… А все-то думали — Марюса давно и косточки истлели. Воскрес…

— Ну и ну!

Аквиле втягивает голову в плечи, надвигает на глаза платок. Хорошо, что Кяршиса нет возле нее. Каменный крест рядом кстати — есть к чему прислониться. Сердце грохочет, как мост, по которому катит поток машин. Перед глазами пляшут кресты и деревья, возвышающиеся над толпой.

— Вечное упокоение дай усопшим, господи, да святится им вечный покой, — словно из потустороннего мира, из вечности доносится голос ксендза.

В самое время сказал, потому что ноги больше не держат Аквиле. Бросилась на колени вместе с толпой. Губы шевелятся, повторяя слова молитвы, но смысл не доходит до нее.

— Ишь ты, почет какой… — буркнул кто-то рядом. — Евреев настрелял без счета, в петле конец нашел, да еще без святого причастия. Таких только на Французской горке…

— Да и там самый дрянной покойник получше будет…

— Не очень-то приятно покойному Яутакису под ним лежать…

— Два сапога пара…

Аквиле, ссутулясь, стоит на коленях — пучок травы, прибитый дождем к земле. Песок холодный, заныли колени. Холод ползет вверх, охватил бедра, талию, вот дошел до плеч. Словно это ее зарывают. Крик Йовасе Кучкайлене под скрежет заступов, под затихающий псалом: «И меня и меня вместе с Петрялисом! Не жить мне больше, у-у-у-гу-гу-гу. Проклятые убийцы, изверги… У-у-у-гу-гу-гу…» Убийцы… Марюс — убийца… Руки, такие сведущие в ласке… Живой! Культя, когда пленные сбежали, что-то сболтнул, но она боялась даже подумать об этом. «Что бы ты сделала, Аквиле, если б вдруг — хлоп! — в избу Марюс? Добрый вечер! Как наш мальчонка растет?» Рассердилась: вот хам! Не может простить, что пришлось отработать за избу Нямунисов. «Пошел-ка ты знаешь куда. Ни живым, ни мертвым от тебя покоя нет». Рассмеялся своим противным хохотком. «А ты у него на поминках была? Ну вот. Языком-то человека легко закопать, чтоб тебя сквозняк». Ушел, Кяршис потом целый вечер рычал. Больше тот ни словечком о Марюсе не обмолвился, но намек клещом впился в душу: известное дело, такие слова на пустом месте не вырастают. Культя знает больше, чем с языка сорвалось. Терзала тревога, Аквиле не могла отвязаться от мысли, что Марюс может быть живым. А выходит, так оно и есть. Не только сам жив, но и другим веревку на шею… Если б Адомас не удрал… Заслужил, что тут и говорить, но брат же! Подумать страшно, что Марюс мог его… из одной деревни, можно сказать, вместе росли. Господи, время-то какое… А ведь может так случиться, что еще придется с ним встретиться…

От этой мысли сердце кувыркнулось в груди. Молит бога, чтоб никогда этого не случилось, чтоб он не вернулся; потом, испугавшись дурных помыслов, просит небеса простить ее и не смеет до конца высказать новое, вдруг возникшее желание. Сама не понимает, чего хочет. Чувства переплелись в запутанный клубок. Страх и радость, надежда и отчаяние, смятение и ненависть, любовь… Да, вот пожила с Кяршисом и теперь может твердо сказать, что Марюса она любила.

Рядом откашлялись.

— И-эх, заснула ты, что ли? Пойдем материну могилу посмотрим.

Кяршис. Серый лицом, сутулый.

Аквиле медленно встает, держась за крест. Конец. Удавленник закопан. «За упокой» спето. Белый стихарь ксендза в окружении стайки женщин продвигается к воротам кладбища. Толпа рассыпалась на группы — кто сразу домой, а кто еще проведает могилы родных. Полицейские тоже куда-то подевались.

— Пошли, — говорит она.

Среди деревьев, у каменной ограды, затерялся покосившийся деревянный крест. Ему сто лет, не меньше, — совсем обветшал.

— Вот разживемся, закатим памятник что надо, всему кладбищу на загляденье, — говаривал Кяршис, когда они приходили сюда. Теперь только глубоко вздыхает, крестится и, встав на колени, шепчет молитву.

Аквиле пристроилась рядом. Тоже шевелит губами, но мысли далеко от божьего мира. «Радуйся, Мария, благодати полная…» Марюс… Вот могила Нямунисов. Отец. Генуте. Придет ли когда-нибудь Марюс поклониться им? «Лежать мне тут, среди Кяршисов, а могла быть там моя могила…»

— …Жизнь вечную. Аминь. — Кяршис широко перекрестился, встал, и Аквиле вместе с ним, хотя ее

молитва еще не сотворена. — А твоих не проведаем?

— Мои-то живы. Да там и нет никого с отцовской стороны, одна родня Катре Курилки.

— Мертвые все человеку родня.

— Как знаешь. Можем пройти мимо.

У могилы Нямунисов останавливается, смотрит на почерневший чугунный крестик. В день поминовения усопших поставила здесь свечу. Весной надо будет снова посеять руту и гвоздику. Да, могло так случиться, что под этой кривой сосенкой, было бы место и ее вечного упокоения. Вдруг ее словно током ударило. Загорелась злобой — неизвестно на кого и за что. Повернулась к Кяршису и, глядя на него сузившимися глазами, процедила сквозь зубы:

— Слыхал, что люди говорят? Марюс…

Да, явно слышал. Знает. Прячет глаза. Сутулые плечи перекосились, словно сорванная с петель дверь.

— Да вот, сказывают. Всех батраков согнали. Этого Кучкайлиса… Его работа… — отдирает слово за словом, словно запекшуюся повязку от раны.

— Кучкайлиса никто не жалеет.

— И-эх, все равно человека, не свинью убить.

— Правильно сделали. Собаке собачья смерть, — повышает голос Аквиле, сама не понимая, какой бес тянет ее за язык, но испытывая сладкое удовлетворение, которое теперь все чаще охватывает ее, когда она мучит мужа. — Вряд ли отработает тебе Культя весной за избу Нямунисов, раз настоящий хозяин объявился.

Кяршис даже рта не раскрыл. Повернулся, уходит, сгорбившись, по тропе. Длинные, тяжелые руки висят, как у огородного пугала, — кажется, кто-то невидимый поднимает за него косолапые ноги, заклиненные в высокие сапоги.

Аквиле — за ним. Каменные надгробия и кресты. Шлифованный и необработанный мрамор. Черный,

розовый. Кое-где овалы фотографий под стеклами. Железные ограды, скамьи, горшки с остатками цветов, обожженных первыми заморозками. Железный крестик — работа деревенского кузнеца, — воткнутый в четырехугольный гранитный постамент. За ним — деревянный высокий, до нижних веток сосны; под жестяным козырьком прячется от дождя ветхое распятие. И снова мрамор, ограда, захватившая столько места, что на четырех хватило бы: крепкий хозяин. Тут же, за углом часовни, у самой стены дома божьего, будет могила Яутакисов. Черная гранитная плита поддерживает массивный крест. И надпись с ошибками: «ЗДЕСЬ ПАГРЕБЕНА... СПИТЕ СПАКОИНО, ДАРАГИЕ РАДИТЕЛИ. АПЕЧАЛИНАЯ ЕДИНСТВИНАЯ ДОЧЬ КАТРИНА ЯУТАКИТЕ». Кажись, родня тому Яутакису, прежнему старосте, на которого сегодня взвалили Кучкайлиса.

Кяршис остановился, хотел было обернуться, но сапоги все-таки прошагали мимо. Правда, спина выпрямилась и обе руки спрятались в карманы.

— Слава Иисусу Христу, — его голос.

— ...во веки веков. Аминь, — отвечает ему кто-то.

Аквиле словно холодной водой окатили. Повернуться бы да назад! Но Кяршис уже стал на колено перед памятником, крестится, и ей остается последовать его примеру.

Пока они молятся, родители, уже выполнившие свой долг, сидят на скамье и молчат. Аквиле никак не может выбраться из «Отче наш». «И принесла же нас сюда нелегкая. Все этот Пеле. Пень неотесанный!»

Кяршис встает, а она не торопится: пускай подождет Катре Курилка, раз ей приятна эта встреча.

— Присаживайся, зятек, к нам.

«Зятек»... Не верит своим ушам. Не слова, мягкие катыши теста, обвалянные в сахаре.

— Похвально, что покойных родственников не забываете.

— И-эх, надо… теща. Все там будем. — Сапоги Кяршиса потоптались на месте и наконец успокоились. Сел.

— Что правда, то правда. Вот и я — сижу да думаю: недалек тот божий час, когда улягусь рядом со своими родителями.

— Вы-то крепкая, всю Лауксодис переживете. — Кяршис нагибается, наверное, целует руку, — слышно чмоканье и поощряющий протест:

— Не стоит, зятек. Не стоит. Нынче не принято старым людям руки целовать.

Ей-богу, все деревенские собаки сдохнут! Не иначе — святой дух на Катре снизошел!

Аквиле через силу встает. Эти трое тоже встали со скамьи. Кяршис с отцом по краям, мать посредине. Вся в черном, осунулась. Лицо пожелтело, глаза еще глубже запали, нос удлинился, заострился. Люди говорили — хворает. Болит голова, не спит…

— Здравствуй, папенька… — Аквиле обнимает отца, целует, наклоняется к руке.

Мать тоже сунула руку. Увядшую, костлявую и холодную. Она сдержанно прикоснулась губами. Сердце не екнуло, и Аквиле почувствовала, что теперь равнодушия в нем больше, чем злобы.

До большака шли вместе. Мать жаловалась, что не находит управы на Юргиса с Юсте — у одного книги, у другой танцульки в голове. Зато об Адомасе — ни слова. Звала захаживать. Родня все-таки («Хочешь не хочешь, а богом связаны…»). Мол, незачем обиды таить в такие времена, когда ложишься вечером и не знаешь, встанешь поутру или нет. Потом она дернула Аквиле за рукав, они приотстали, и тогда она шепнула ей на ухо о Марюсе. Видишь, с каким бандитом чуть было не связалась! Теперь-то она понимает, что была несправедлива к Кяршису. Сам господь бог послал ей такого мужа. Серьезный человек. Старательный,

совестливый, хозяйственный мужик. За таким — как за каменной стеной. Дай только поспокойней станет. А тогда и насчет приданого посмотрим. Ведь не голодранка же, из крепкого хозяйства. Да и мы будто не родители, будто совести у нас нет, чтоб родное дитя с пустыми руками выпроводить, как подкидыша какого. Только будь умницей, держись подальше от этого душегуба проклятого. Что было, сплыло, а насчет сыночка-то… Все дети — дети… кто взрастит, тот ему и отец. Ладно, что я тут зря… Может, еще смилуется господь, откинет этот душегуб копыта. Ведь еще не конец, идет война-то. Господь не позволит, чтоб столько добрых людей померло, а такой остался. Не-ет, смилуется всевышний, услышит. А может, и услышал уж: говорят, одного из этой шайки немцы взяли.

— Взяли? — бледнея, переспросила Аквиле.

Мать кивнула и больше не заговаривала о Марюсе. Словно его судьба решена, а если и нет еще, то рано или поздно один конец, и нечего тут попусту языком трепать.

— …Такую свинью! — рокотал впереди Кяршис. — Четырнадцати пудов заколол…

— Да будет тебе, зятек, из-за свиньи… У людей головы летят. Другую откормишь, — утешал отец.

— А немцы-то тоже вор на воре, — откликнулась Катре Курилка, — в прошлом году нам за лошадь дохлятину всучили, а вчера, пока этих бандитов искали, гуся уволокли.

— Не только у нас, редко у кого вчера не подчистили. Слыхать, опять комиссия будет, лошадей станет смотреть. Тогда уж не один заплачет.

— Такие, как ты, и заплачут! — влепила мужу Катре Курилка. — Башковитый хозяин гвоздь в копыто, окорок комиссии — и вместе с лошадью домой.

— И-эх, голь на выдумку хитра, матушка, — заступился за тестя Кяршис. — Выдумывают люди, что

только в голову взбредет. Но и немец поумнел, пожестче стал. Будто раньше такую свинью, как моя… Задарма, и спасибо не сказали, нехристи…

Разговаривая так, дошли до развилки. Вайнорасам налево, через деревню, а Кяршисам прямо, по бережку озера, на свой хутор. Когда прощались, Катре Курилка еще раз напомнила, чтоб не брезговали, захаживали.

— Давно так надо было, — сказал Кяршис, когда они остались вдвоем. Он весь сиял, продолжал удивляться, что так неожиданно помирился с родителями жены.

— Старуха сказала, кого-то из партизан немцы забрали, — вырвалось у Аквиле.

— Ага. Гудвалису полицейский сказал. А второго — на месте. Сами шкуру подставили, пока умничали. — Кяршис не скрывал удовлетворения, а Аквиле в его голосе уловила еще и неясную надежду.

— Что ты говоришь! Двоих… — Аквиле подождала, пока не унялось сердцебиение, а потом, успокоившись, равнодушно добавила: — А может, всех немцы сцапали…

— Не сцапали, так сцапают. Такая прорва войска, собаки. Человек не иголка, — с глубоким убеждением ответил Кяршис.

И снова, как недавно, на кладбище, Аквиле охватила внезапная злость.

— Зачем тогда съездил в харю Кучкайлису, если сам крови радуешься?

Кяршис закашлялся, даже мочки ушей посинели.

— Радуюсь не радуюсь, а будет, как должно быть, никто меня не спросит, кого пустить в лес, кого застрелить, а кого живьем взять, ага.

«Что правда, то правда, — подумала Аквиле. — И все-таки ты бы спал спокойнее, если бы из этих двух, угодивших к немцам, один оказался Марюсом». Надо было первой уйти с кладбища, не ждать, пока Кяршис увяжется, подстеречь Культю и осторожно, обиняками…

Они же с Марюсом такие друзья были! Да и вообще у него нюх.

День уже клонился к вечеру. Солнце, весь день изредка выглядывавшее из-за туч, последний раз улыбнулось и осталось за непроглядной пеленой, как медяк, завалившийся за ватную подкладку. Подул свежий ветер. Воздух стал сумрачней, как бы гуще. От озера доносился тяжелый гул прибоя; дождя не было, но в лицо все чаще брызгали откуда-то прилетевшие капли. Все было как в тот вечер несколько лет назад, когда Аквиле шла здесь, по берегу озера, а ветер жалобно стонал в деревьях, тронутых изморозью, и под ногами вяло шепталась трава — чахлая, бескровная, как и она, Аквиле. Она видела посаженные на цепь лодки, скачущие на волнах, и себя в одной из них. В гулкой темноте огромной птицей метался он, Марюс. Она уже не думала о господине Контроле и о том, ради чего пришла на кручу. Ей было все равно: только бы скорей опрокинулась лодка! Она вспомнила сказку. Там ведь тоже бушевала буря, была ночь, а герой сказки носил такую же островерхую шляпу с широкими полями. Потом она видела Марюса без этой шляпы, но когда думала о нем, в ее воображении обычно всплывал герой из сказки. Человек, который тоже пришел из сказки в осеннюю слякоть и вернулся в нее, когда жаркий июнь звенел косами на лугах. И никогда уже не придет. Может быть, придет для другой, но не для нее, Аквиле. Сама захлопнула дверь.

Лаурукас, увидев родителей, выбежал навстречу. Аквиле схватила его в охапку, прижала к груди, пылко расцеловала. Потом, подняв на вытянутых руках, долго вглядывалась в личико ребенка — на нее смотрел Марюс. И хорошо было снова прижать к себе маленькое, тяжелое, теплое тельце, от которого вдруг повеяло жаркими днями и ночами без сна. В сенях, поднимая облака пыли, орудовала метлой Юлите. Из сестер она

меньше всего походила на Марюса. Разве что глаза. Аквиле взяла дурочку за руку и смотрела ей в лицо. Ненасытно, как жаждущий на стакан воды. Дурочка кривлялась, она была уродлива, в мать, но Аквиле казалось, что губы у нее Марюсовы.

Вечером все валилось из рук. За что ни возьмется, все не так. Подоив корову, забыла процедить молоко, кости для собаки ссыпала свиньям. Замочила мясо назавтра, но не в ту миску, смахнула с полки горшок с крупой. Пропади оно пропадом! Она вспомнила, что не собрала засветло яйца. Можно оставить на утро, но в избе такая духота! Да и Кяршис, рассевшись у двери, мастерит капкан для хорьков и тянет старую песню о пропавшей свинье да невыкупленном движке… Лучше уж она зажжет фонарь, обшарит сеновал, заберется в хлев. Хоть отдохнет от этого бесконечного зудения.

Но когда вернулась в избу — быстрее, чем собиралась, — в подоле не было яиц. Губы стали белые, словно стручки перезрелого гороха, фонарь так и плясал в руке.

— Справный капкан будет! — сказал Кяршис. — После войны хорьковые шкурки на вес золота.

Едва держась на ногах, она прошла на кухню и, опустившись на стул рядом с печкой, долго сидела, обхватив голову руками. Кяршис что-то бубнил там, над своим капканом, но она была слепа и глуха ко всему, что творилось вокруг. И, лишь почувствовав, что кровь снова побежала по жилам, что она уже может рассуждать и действовать, не выдавая себя, она сунула в карман пиджака электрический фонарик и, сказав, что ей надо что-то взять из сундука в амбаре, вышла в дверь. Но когда вернулась — на сей раз задержавшись дольше, чем следовало, — у нее в руках опять, кроме фонарика, не было ничего.

— Задам, и-эх, задам я хорькам баню! — весело грозился Кяршис, все еще возясь с капканом.

III

Не надо было сворачивать на этот проселок. Мост держался на волоске, машины по нему сроду не ездили. Но что оставалось делать? Броситься в аллею, ведущую на большак, где немцы? Только самоубийца мог принять такое решение… Через полкилометра, если проехать по клеверищу, был брод. Эх, если бы вспомнил, что мостик ненадежен… Может, и увязли бы, зато сейчас все были бы вместе. Без бедного Медведя, разумеется. Да, Вайдотас иногда бывает слишком уж неосторожен. Почему — он? Каждый из нас должен был предвидеть такую возможность. Хорошо еще, что машина никого не потянула за собой в Сраую. Так или иначе, они были готовы к такому обороту дела. Ему одному не повезло, дьявольски не повезло. Они кричали, хотели помочь, но выстрелы хлопали так близко… Вдобавок он решил, что с ногой ничего серьезного. Вперед, ребята, вперед, каждая секунда дорога! Они наверняка уже чешут в сторону леса. На хуторе Кнюкшты их ждут лошади. Если немцы не перекроют дорогу, можно сказать — спасены.

Снова попытался встать. Течение здесь было слабее, дно твердое, песчаное. И тут же, застонав от боли, упал. Перелом кости. Где-то у колена. А может, только вывих? И надо же так — прямо на камень! Какая бессмыслица! У порога родного дома немцам в лапы… Скоро они будут здесь, увидят свалившуюся в речку машину и, без сомнения, аккуратно прочешут все вокруг.

Прикрываясь кустами, стал продвигаться вперед. Точнее говоря, держался на воде, само течение несло его вперед. Оставалось только остерегаться низко опущенных ветвей и не вылезать на середину ручья, — воду изредка освещали ракеты. Затихшая на минуту перестрелка возобновилась. Видать, немцы уже

обнаружили машину. Взрыв гранаты. Швырнули на всякий случай. Трусы! Да, они там, у мостика. Бегут вдоль речки, обстреливают кусты. Крики уже на той стороне: переправились через Сраую. Тихо, тихо! — они могут быть и здесь. Скоро — мост на большаке. Хорошо, что ракеты погасли, но все равно держись ближе к берегу, не вылезай из-под кустов. На мосту они наверняка выставили часовых.

Чертовски болела нога. Как на грех, ударился коленкой о какую-то корягу на дне, а может, о камень. Сжалось сердце, потемнело в глазах. Вставать на дно больше не пробовал — и так ясно: если немцы не выудят его, путь завершится там, где кончается Срауя — в озере. Если б найти лодку без замка! Перебрался бы через Гилуже. А там уже и лес. Когда еще немцы его прочешут… Странное создание человек: любой ценой хоть на часок отодвинуть смерть. Был бы у него автомат… Надо было пошарить возле камней, хотя, как он помнит, там омут, но нога все перепутала. Да, дело швах.

Ракеты вспыхивали все реже, выстрелов тоже не было слышно. Одежда и обувь намокли, тянули вниз. Заныли мышцы. Никогда не думал, что в Срауе такая холодная вода. Двигал руками и здоровой ногой, раскорячившись крабом, старался держаться на плаву; где было помельче, отталкивался от дна, и так, благодаря течению, довольно быстро продвигался вперед. Ему, правда, казалось, что болтается на месте. Только бы не начались судороги! Тогда он погиб. В деревне разлаялись собаки. Где-то совсем рядом, у него под боком, были избы, дворы, изгороди с горшками на них, в хлевах дремали на теплом навозе коровы. Вот не думал, что человек может позавидовать корове. Тепловатый навоз или сухая солома. Да, оказывается, иногда отдал бы любые богатства за теплый кров. Прочь глупые мысли, от них можно окончательно

расклеиться! В этой речушке шесть-семь по Цельсию. Само собой, выше нуля. Каких-нибудь тридцати градусов не хватает до температуры человеческого тела. А холодно лишь потому, что человек вообразил себе, будто замерзает. Был случай, когда человеку «отрубили» голову гусиным крылом. Может, и не стоило Медведю соваться. Но такой уж он был — лез прямо в огонь, готов был за друзей жизнь отдать. Заметь они сразу, что его нет в машине, ведь не оставили бы! А потом, после взрыва гранат, когда все стало ясно, было поздно. Можно себе представить, какую суматоху поднял! Они выиграли немного, какие-нибудь две-три минуты, но в подобных обстоятельствах, когда минуты равняются часам... Если б не этот гнилой мостик... Спасибо, Медведь, спасибо, друг, ты нас выручил... Но черт возьми, почему он непременно должен погибнуть? Чудес не бывает, но Медведь умеет творить чудеса.

Русло ручья расширилось, течение замедлилось. Он проскользнул под мостом. Нога уже не доставала до дна. Да, скоро озеро, здесь всюду глубоко. Надо держаться поближе к берегу. Цепляться за него руками и продвигаться вперед. Он почти не чувствовал рук. Правда, чуть не охнул от боли, задев за что-то острое — отшлифованный водой камень или железку. Или за битую бутылку, кончик сломанной косы брошенный детьми. Пальцы, наверное, сплошная рана, но он старался об этом не думать, как не думал и о лице, исцарапанном ветками, иссеченном камышом; сейчас, с приближением к озеру, камыш встал стеной. Все это чепуха! Главное — не выколоть глаза. Подумал, что надо было перебраться к другому берегу, пока русло не расширилось и у него было больше сил. Чувство самосохранения — держаться подальше от людей... Но там же деревня, недалеко от озера, — и Культя! Кров, теплая постель... От этой мысли он чуть не лишился чувств. Безумец! Идти в свой дом, когда в каждом

дворе стоит по немцу! Погубить Культю, как будто тот, если ты живым не доберешься до Вентских лесов, не будет нужен товарищам?! Как немного надо человеку, чтоб вконец расклеиться.

Выстрелы стихли. Изредка загоралась ракета, но уже далеко. Где-то рычали моторы, кто-то вроде кричал. Все ленивее тявкали собаки. Ребятам, видно, удалось унести ноги. Если по глупости не отсиживаются в ближайшем лесу... До утра могут пройти немало, а оттуда рукой подать до болота, есть свои люди. Спасены! Но что он будет делать, этакая развалина, если даже переправится через озеро? Все ж надо было держаться за тот берег. Там почти все лодки привязаны. По бережку, по бережку и добрался бы до леса. Не больше полукилометра, а если озером — почти два. Все эта осторожность, страх, черт возьми! Снова и снова забивает голову всякой чепухой. Хватит! Что сделано, того не вернешь. Как ни верти, один конец: ждать в сосняках за Гилуже, пока тебя не зацепит немецкой сетью, или израсходовать последние патроны здесь, на этом берегу.

Выполз на берег и минуту валялся, словно бревно. Ныло все тело, даже голова. Уже забыл, которая из ног здоровая. Начал икать — в желудке скопился холод. Ему показалось, что он выдыхает ледяной воздух, и представил себе свои легкие, покрытые плесенью изморози. Ну и ладно! Прежде всего пустим в дело руки. Принялся дуть, приставив ладони к губам. В темноте не различишь, но они были липкие, горели, словно осыпанные жаром из печи, пальцев он не чувствовал. Еще чуть-чуть. Катался, колотил руками по бокам. Ветер холодный, зато заглушает звуки. Нет худа без добра. Попытался расстегнуть кобуру пистолета. Не сразу, но удалось. Он уже почти хотел, чтобы показались немцы. Хороший бережок, удобная позиция для обороны. У него тридцать патронов. Если попадет

одна пуля из пяти... Нет, его голыми руками не возьмешь. Финал ясен — последняя пуля в висок, — но раньше или позже все равно его ждал такой конец. Пессимист? Быть может. Когда человек промок и продрог, а смерть на носу, не грех захотеть, чтоб все побыстрей кончилось.

Оцепеневшие суставы отпустило, мышцы уже не ныли, хотя виски по-прежнему прошивала боль и легко кружилась голова. Он снова чувствовал свое тело. Но оттого, что вылез из воды, сменив плюс шесть-семь по Цельсию на два ниже нуля, легче не стало. Ветер проникал сквозь одежду, и его бросало в дрожь. Знакомое чувство, а все-таки лучше трескучий орловский мороз, когда ты в сухой, теплой одежде, чем сушить ее на себе на ноябрьском ветру.

Он сел, ощупал ногу. Распухла, горит, словно на ней горячий компресс. Надо все-таки попробовать встать. Охнул и упал. Да уж, левая взяла бессрочный отпуск. И вряд ли из него вернется... Но нельзя же так сидеть и стучать зубами; ночь не будет длиться вечно. Уперся руками в землю и, волоча увечную ногу, потащился на четвереньках по берегу. Сухой ледок трещал под ним. Местами руки выше запястий проваливались в стылую грязь, и ему приходилось делать полукруг, огибая лужу, замаскированную травой. Потом начался поросший деревьями берег. Теперь он полз медленно, то и дело останавливаясь и внимательно осматривая каждую прогалину между деревьями, — не видать ли лодки? В таком месте она, разумеется, на цепи, чтоб не унесли волны, но не так уж трудно сбить замок. Ладони перестали болеть, они мучительно зудели. Его тело было как бы из отдельных частей — конечности, налитые расплавленным свинцом, голова в железных тисках, дрожащее туловище, зашитое в ледяной мешок. Деревья кончились. Полоска голого берега у подножья пологого обрыва и снова деревья. Показалось, что

прополз два километра, хоть не продвинулся и на триста метров. Странное дело — он не узнавал этих мест. Все чужое, словно здесь и не бывал. Какая-то деревяшка на берегу. Весло! Обломок весла… Он лежал на боку, чувствуя, что все повернется не так, как он думал, но еще не понимал, как именно.

Если есть весло, должна быть и лодка. Стуча зубами, смотрел на черную, бушующую воду. Ветер дул с того берега. С одним, да еще сломанным, веслом против ветра! С таким же успехом можно попытаться вычерпать ложкой озеро. Обойти по берегу? За три-четыре часа… Но что ждет его там? Если немцы не будут прочесывать лес, подохнешь сам от простуды. Какой смысл мучить себя, если в итоге все равно ноль? Тридцать патронов можно израсходовать и не надрываясь.

Снова принялся кататься, хлопать руками по бокам, не обращая внимания на адскую боль в ноге. Но дрожь не отпускала: его трясло всего, от макушки, до пяток: казалось, тело разваливается в суставах. Мороз! Вот перед чем человек безоружен. Наполеон забыл об этом, а немцы думали, что это их не коснется. Если б не промокли сигареты да спички… Хоть одну спичечку, черт подери! Люди боятся огня. Огонь — это блаженство. Он бы теперь засунул руки по локоть в печку.

Запахло дымом. Он удивленно поднял голову и задышал полной грудью. Нелепость: ветер-то от озера, откуда быть дыму? Бред! Но пахло дымом, это уж точно! Берестой, оладьями, домом, хлевом. Теплым гнездом человека. Домом! Заскрипел зубами. Знал: это то же самое, что переправляться через озеро при лобовом ветре с обломком весла, — но все равно повернул и пополз назад. Да, на широкий конец, стертую лопасть, можно опереться. В самый раз будет. Ему нужен костыль. Встал, опираясь на весло, сделал

шаг. Сам удивился, что это так просто и удобно. Нет, весло чуть длинновато, а обломанный конец острый, втыкается в землю. Зубами, так как пальцы не слушались, раскрыл нож, но когда попробовал стругать, ничего не вышло: руки задубенели. Ладно. Потом, когда малость отойдут. Ведь и так можно ковылять.

Берег изогнулся, словно край миски. Нашел пологое место, полез вверх. Нет, не так уж просто ходить, как показалось поначалу. Все-таки, черт, длинновато. Где-то справа, в стороне дороги, закричали, потом заурчал мотор. Совсем рядом. Немцы! Наверняка уже оцепили деревню, и он оказался в кольце. Проклятие! Остановился и безнадежно посмотрел на свой костыль. Небо чуть-чуть прояснилось, между тучами россыпь звезд. Видно, перед рассветом подморозит. Пальцы так закостенели, что эти тридцать патронов для врага не опаснее гороха.

Наконец-то выбрался из этой миски. Еще не заполз на край обрыва, а уже видел какие-то горные хребты, упирающиеся в небо, а над ними — деревья. Сейчас, стоя во весь рост на обрыве, он уже знал, что это — крыши построек. Незнакомый хутор. Как тут не поверить рассказам стариков о бесах, которые умеют так запутать, что кружишь вокруг своей избы, видишь вместо нее роскошное поместье и бродишь так до петухов, пока пелена не спадет с глаз. Ладно уж. Как бы там ни было, здесь живут люди. Коровы жуют жвачку в теплом хлеву, над хлевом — сено; тепло, не задувает ветер... Ну и ветер! На берегу заслоняли деревья, а тут, в чистом поле, ведьмин шабаш. Земля здесь замерзла, точно камень. Нет надобности затуплять конец весла.

Ему бы пройти мимо, — во всяком случае, он твердил себе, что должен пройти мимо хутора, — но ветер толкал его прямо в это бесовское поместье. Словно с обеих сторон поставили невидимый забор и он

брел, время от времени натыкаясь на него плечом, но не находя бреши, через которую мог бы выбраться. Он был почти доволен, что есть такой забор, а ветер подталкивает в спину, хотя и не думал об этом. А если бы даже и думал, тело, будто сшитое на живую нитку из отдельных кусков, все равно проявило бы свою волю: при некоторых обстоятельствах логика промерзших легких или пустого желудка оказывается сильнее логики ума...

IV

Дверь сеновала сантиметров на тридцать не доставала до земли. Наверное, чтоб проветривалось помещение. Как бы там ни было, он уже внутри, лежит на здоровом боку и впитывает в себя мягкий воздух, пахнущий сеном и дегтем. Ветер остался за стенами. Нет, еще тянет из-под двери, но по сравнению с тем, что было минуту назад, это, так сказать, божественное дыхание.

Ласково погладил свое весло: судьба милостива, даже человеку, идущему прямым ходом к смерти, что-нибудь дарит. Полежал в изнеможении. Прикосновение мокрой одежды раздражало уже меньше, трясло не так яростно, хотя все тело по-прежнему кололо ледяными иголками. Если перестал икать от холода, это не значит, что можешь валяться, пока не окостенеешь. Он встал. Хоть костыль есть. Когда стоишь — теплее, ветер достает только до колен. Вот бы пробраться в хлев, там можно прижаться к коровьему боку. Нет-нет! Лучше в закут к овцам. Теплая, кудрявая овечья шерстка — вот это да... Бред! Откуда ему знать, где у них хлев? Вдобавок возле хлева будет собачья конура. Это как пить дать! Да, в самое время вспомнил про пса. Скорее всего за дверью на дворе дневная загородка для скота,

а справа или слева — хлев. И собака на цепи. Нет, теперь следует думать не о тепле, а о безопасном месте. Безопасность... Он не мог сдержаться и горько улыбнулся. Человек должен сделать все, что в его силах. С минуту напряженно раздумывал, глядя на исчерканную голубыми полосами темноту. Ясно: загородка за этой дверью. Хлев, пес. Ветер дует с той стороны. Недурно, совсем даже недурно. Верил бы в бога, сотворил бы благодарственную молитву. Осторожно опираясь на весло, стал передвигаться в темноте. Сразу наткнулся на клади клевера. Привалившись к ним, стоя на одной ноге, потыкал веслом над головой. Клеверу набили выше балки, а то и до самого гребня. С такой ногой, да без лестницы… Вот гады эти мужики, жаднюги. Залез бы, скинул сверху целую охапку. Как будто, если щипать по клочку сбоку, больше сэкономишь кормов…

Слева тоже был клевер. Колючий, с чертополохом, слежавшийся, как камень. Но только до пояса: повыше было сено. Лестница! Долго ощупывал ее, не доверяя задубевшим, израненным пальцам. Ничего удивительного, что она здесь — на сеновале у каждого крестьянина есть лестница, — но не все они приставлены к кладям, да в таком месте, где удобнее забраться. Держась руками за перекладины, плечом упираясь в стену, он уж как-нибудь затащит на сено свою ногу.

Обрадовался, что сена здесь чуть выше балки. Взобравшись наверх, полежал немного, прислушиваясь к бешеным ударам сердца. Зверски болела нога, ныли руки.

Он уже знал, что будет делать дальше. Сверху зарываться в сено опасно — останется след, — а если очень уж глубоко залезть, и задохнуться недолго. Сено, слежавшись, обычно отходит от стены, там получается как бы лаз. Он втиснется в этот лаз, где-нибудь

подальше, и начнет копать оттуда. Выщипанное сено будет совать к стене, в этот лаз.

Втиснется… Легко сказать. Он не надеялся, что это легко, но и не думал, что так трудно. Костыль здесь уже не мог помочь. Нога все время за что-нибудь задевала, и от боли сжималось сердце, на глазах выступали слезы. Холода больше не чувствовал, и это уже было кое-что. Его даже прошиб пот, — казалось, всего обложили горячими компрессами. Мелькнула идиотская мысль: если б в этой сенной пещере (два метра сена над головой и столько же до земли) было светло, то он, посмотрев на себя со стороны, увидел бы, что от него идет пар, как зимой от заиндевевшей лошади. Наверное, он уже добрался до середины кладей. Когда крестьянин, испугавшись помрачневшего неба, свозит неподсохшее сено, оно начинает преть. Во всяком случае, холодно ему не будет.

С великим трудом снял полушубок, стянул сапог со здоровой ноги. Расстегнул штаны, принялся ощупывать раненую ногу. Вроде бы еще сильней распухла. Испачканные в сене ладони прилипали к воспаленной коже, словно измазанные дегтем. Кровь… Испугавшись, расстегнул зубами рукава гимнастерки и принялся яростно тереть запястьями распухшее место. Нет, это была кровь из пальцев. Ни с того ни с сего вспомнил лето (был еще пареньком), когда лошадь понесла и он вылетел из телеги. Тогда досталось правой ноге — треснула кость у колена. Недели две провалялся в постели, врача так и не позвали.

Снова прощупал опухоль, давил ногу, не жалея себя. Потом уперся ногой в сено и держал так, пока от боли не завертелись в глазах красные круги. Ладно, ничего страшного, — кажется, только трещина. Он уже знает, что такое перелом — это удовольствие пришлось испытать на фронте.

Ослабев от внезапно нахлынувшего облегчения, он долго лежал на спине, вытянувшись во весь рост. Что ж, начало лучше, чем можно было надеяться. Конечно, неизвестно, каков будет конец, но зачем ломать голову, если это не от тебя зависит? Постель уже есть, а дальше видно будет. Главное — собраться с силами, чтобы, когда настанет время, с толком использовать эти три десятка патронов.

От стены сильно дуло. Зарылся поглубже в сено, набросил на плечи полушубок и, вдыхая влажный, смешанный с сеном запах овчины, снова увидел заросший кустами ручей, изредка озаряемый светом ракет, почувствовал ледяные объятия воды, которые становились все ласковее и нежнее, пока наконец не превратились в теплый туман и он не погрузился в него.

Разбудили его странные звуки. Вначале не понял, что это, — почувствовал только, что под кожей гуляют холодные иголки, а когда попробовал перевернуться на бок, в спине отдалась тупая боль. Все тело словно разбито. Колено горело, как натертое солью, голова кружилась, пересохло во рту. Мучила жажда. Наверное, у него жар. Вот тебе и на! Нашел место, чтоб расхвораться.

Прислушался. Звуки, которые не успел распознать во сне, повторились: визжала свинья. В такое время закалывать свинью… Странно. Слов нет, уже утро, но все-таки… Неужели немцы убрались восвояси? Нет, это не в их характере. Правильней было бы предположить, что они дождались рассвета, ворвались в деревню и теперь обирают крестьян. Да, сегодня многие недосчитаются свиней. И это, конечно, еще только начало. А дальше? При мысли о возможных последствиях у него заныло сердце. Он понимал — война не может не быть жестокой, особенно такая, как эта. Сражаются не за отдельных людей, не за то, какого короля посадить на трон, — на полях битв решается

судьба целых народов. Он не думал о том, что час-другой спустя, а то и раньше и его самого могут смести с лица земли. Он уже слышал о горящих деревнях Белоруссии. Что ж, немцы своей тактикой («За одного нашего солдата сотня этих азиатов!») сами роют себе яму. Пускай. От него, быть может, останется горсть пепла, но он жил не напрасно. Историки расскажут грядущим поколениям о тех, кто своей смертью спас человечество от гибели. Его роль, конечно, слишком мала, чтоб он навеки сохранил свое имя в памяти истории, но даже безымянным он останется жить — в живых. А эти хлебопашцы и свиноводы... Плохие и хорошие люди, заячьи души и олухи, не признающие других богов, кроме своей земли... В этой деревне жило много людей, которых ему не за что было любить, но сейчас, прикинув самую худшую возможность, он от души пожалел их.

Нить мысли запуталась, прервалась и соединилась совсем не там, где надо. «А я?» — подумалось ему. Человек, свято поклявшийся партии: бороться до последнего вздоха. Неужто все, что он может сейчас, это затаиться, как зверь, в норе и ждать смерти? Почему он должен умереть, когда родина нуждается в его жизни? Тридцать патронов... Да, это геройство, некоторые скажут: он умел умереть. Но какого черта они должны быть последними в его жизни? Если призадуматься... Что это за геройство выпустить несколько обойм, разве нет другого выхода?.. Умереть каждый дурак может. А ты сумей увернуться от смерти в критическую минуту, сохрани себя для борьбы! Вот это будет истинное геройство!

Он жалобно застонал. Не от боли — его душила злоба. Безнадежная и тем более страшная, что случившегося не изменить. Надо было этих двух мерзавцев повесить на липах у дороги! Нечего было с ними церемониться. А самим — ходу. Хотел доказать,

что советская власть справедлива, без суда не карает даже убийц, что не следует наш суровый, но справедливый приговор сравнивать с преступлениями оккупантов. Решил придать операции, так сказать, широкое политическое звучание... Ну, и, ясное дело, показать людям, что немецкая махина стоит на курьих ножках. Веские аргументы? Да, ничего не скажешь. Но будь на месте Адомаса другой... С Кучкайлисом они бы обошлись проще, да, куда проще... Но увидеть его перед собой на коленях, превратившегося в кучку дерьма... Ведь это — признание, что он получает по заслугам, хотя и не может с этим согласиться, а ты абсолютно прав перед людьми. Ты не мог, не имел права иначе поступить! Люди... Думая о них, ты, может, в первую очередь имел ввиду ее?.. Будто имеет значение, как отнесется к этому женщина, которую ты давно вычеркнул из памяти. Что ж, ясно одно: бестолково получилось. Однако не так легко повесить на люстре человека, с которым вырос в одной деревне, сестру которого когда-то любил.

Он зажмурился, хотя вокруг и так было темно. Не стоит растравлять сердце. Хватит и ран на теле. Ага, штаны уже сухие. Полушубок тоже малость подсох. Значит, наша печурка неплохо греет.

Полежал ничком, не обращая внимания на обострившуюся боль в ноге. В ушах что-то пощелкивало — мягко, как сквозь вату. Воздух тоже был набит волокнами, туго проходил в слипшиеся ноздри, и он не сразу понял, в чем дело. Чертовщина! Так и задохнуться недолго! Он забеспокоился и пополз по своей норе к стене сеновала. То-то и оно: сверху сполз пласт сена и завалил выход.

Кажется, легче было ночью вырыть себе нору, чем сейчас разобрать эти несколько охапок, — тело резало от каждого движения. Наконец-то стена! Выбившись из сил, полежал, прижавшись пылающей щекой к

холодному, шершавому бревну, жадно вдыхая прохладный воздух. Неподалеку зло тявкал пес, слышны были крики, перемежавшиеся глухими ударами. Хлопнул выстрел. Еще один. Не подряд, с перерывом, который показался ему страшно долгим. А может, и не стреляли, может, ему приснилось? Нет, выстрелы настоящие. Все-таки надо вычистить пистолет. Расстелить бы полушубок — и на ощупь. Черт подери, хоть бы щелочка была меж бревен... Голова кружится. Сквозняка здесь не должно быть, откуда ж тянет холодом? Если говорить правду, то и там, в своем логове, он чувствовал, как под кожей гуляют ледяные иголки; теперь они превратились в провода, опутавшие все тело и дающие то холодный, то горячий ток.

Задом, уже не оберегая изувеченную ногу, заполз обратно в нору. Перевернулся на бок, потом навзничь, снова на бок. И так и сяк неудобно. Лучше всего — стоя. На качелях. Пасха. Набухшие соком верхушки берез. Вниз-вверх, вниз-вверх. Тошнит. От этих качелей. Но ведь не скажешь этого девчонке, которая стоит напротив, на другом конце доски? Ей-то ничего. Щеки пунцовые, в глазах смешинки, а косички разлетаются в стороны, и платьице вздувается, словно хочет улететь. Вот какие озорные девчонки бывают! Выпил бы березового сока, и прошла бы тошнота. Дедушка, будь добр, просверли березу. Зачем стамеской, черт подери? Стамеской берез не надрезают, березы положено сверлить. Дурак старый. «Старец, старец, дай понюшку, — старец не слыхал, старец, старец, на девчушку — старец заплясал». Твоя трубка пыхтит, как мотоцикл. Господин Контроль пролетел. Господин Контроль, я молока хочу. Вкусного парного молочка. Вот это человек — целую флягу! Пьешь-пьешь, уже дно видать, а никак не напьешься. Воздуха налили, что ли? Одна пена! К черту пену, не хочу, сам брейся. Наши предки бороды носили... Много бород в лесу, а Гитлер с

усами, с короткими усиками, и живет в железном городе. На улицах фонари, кареты, горят костры, на каждом фонаре висит по человеку. Средневековье, инквизиция, ничего не попишешь, братец.

Проснулся потный. Язык шершавый, чужой, пересохший рот горит огнем. Пить! Старался об этом не думать, но вокруг журчали ручьи, звенели ведра, булькала вода. Черт побери, за милую душу повторил бы ночное купание в Срауе, чтоб вволю напиться! Одежда высохла, а то выдавил бы хоть каплю... Что ж, так устроен мир, у палки два конца. Спасаешься от холода — получаешь жажду, и наоборот. Заруби на носу эту дедовскую истину, осел ты этакий, и не жалуйся. Он взял себя в руки, попытался направить мысли по другому руслу («Пораскинь-ка мозгами, братец, как ты выберешься из этой мышеловки, если только она не захлопнулась»), но в голове все путалось, трескалось, как кожа на пересохших губах, и ничего он не мог склеить. Потом снова задремал. По-прежнему булькала проклятая вода, ревели на выгоне коровы, а он стоял лицом к радуге и, запрокинув голову, ловил ртом щедрые струи дождя. Но проснулся, и во рту было еще суше, в него набились травинки, и он отплевывался, чуть не плача. Потом снова увидел себя, как лежит на вытоптанном снежном поле, среди трупов. Женщина с длинными черными косами летела над мертвыми телами, словно ангел, но он знал, что это обман зрения — обыкновенный стервятник, ждущий его кончины; хотел пристрелить, но наган не сработал. Измена! К операции подготовились. Телефонные провода обрезаны. Культя вовремя подал сигнал. Смерть предателям!..... И увидел родителей у колченогого стола, хлебал с ними кислый холодный борщ, а мухи ползали по стенам, оклеенным газетами, садились на лицо, руки и противно кусались. К дождю, говорили старики, надо сено с поля

убрать..... Кто знает, сколько времени я валяюсь в этой дыре? Долго, наверно, если третий раз мочусь, хотя черт знает, когда пил последний раз.

Проблески сознания переплетались с бредом и снова гасли; но изредка он ощущал действительность с такой ясностью, словно трогал каменное изваяние. Как-то, вынырнув из очередного кошмара, он вздрогнул от нечаянной мысли. Хотел задавить ее, как уголек, упавший на одежду, но она выскочила из рук и еще раз обожгла его. Запахло пожаром. Да-да, не удивительно, если он здесь и умрет. Крестьянин однажды потянет клок сена, а нащупает его ноги. Околел, паразит! С этой своей пушкой и тридцатью патронами…

Его охватил ужас. Нет, смерти он не боялся — бесил столь ничтожный конец. Лучше уж там, в Срауе, дождался бы под мостиком немцев и до последнего… После стольких мучений издохнуть, зарывшись в сено, как одряхлевший зверь. Нет уж! Он еще силен, он еще покажет, как умирают люди, знающие, за что!

Хорошо не понимая, что будет делать дальше, он принялся выбираться из своего тайника. Боль была где-то рядом, — не в самом теле, — она катилась по пятам, словно снаряд, который мог в каждое мгновение взорваться, и торопила его. Минуту лежал, застряв в щели между сеном и стеной, отдыхал и прикидывал, куда же податься. Наверх? Нет смысла, не заберется. Вдоль стены, только вдоль стены, туда, где приставлена лестница.

Застегнул куртку, опоясался ремнем с пистолетом. Патроны были, но он чувствовал, чего-то не хватает. Вспомнил об этом, уже продвинувшись вдоль стены на сажень. Шапка! А, черт с ней, с шапкой.

Хохотнул. Его больше не тряс озноб, не кидало в жар, он был здоров, даже удивился, почему до сих пор торчит в этой дыре. И снова хохотнул. На сей раз просто

от избытка сил... Немного приуныл, заметив, что на одной ноге нет сапога. Сапог! Велика важность! Не на танцы же! Разноцветный вихрь — хоровод танцоров — затянул его, словно омут, и он, бешено вращаясь, провалился в темноту.

Когда пришел в сознание, прежде всего услышал не то скрип, не то визг. Там, откуда доносились звуки, разговаривали мужчина и женщина. «Тебе ничего не нужно на сеновале? — спрашивал он. — Я припру дверь». — «Ладно, припри, — отвечала она, — только клеть не запирай, еще пойду за мукой для свиней.». Голоса замолкли. Остались только хлопанье дверей, плач ребенка, звяканье цепи, которую таскала вокруг конуры собака, — цепь, по-видимому, задевала опрокинутое ведро.

Ему что-то напоминали эти голоса — мужской и женский, — но он не мог толком разобраться. Растерянно смотрел в негустую темноту, на щели в дверях сеновала, сквозь которые сочился серый свет — утро или вечер, но не день. Внизу, в человеческий рост от земли, темнела бесформенная масса — он уловил ее скорее чутьем, чем взглядом. Только вглядевшись получше, понял, что это осыпавшееся сено, а сам он по грудь высунулся из кладей, свесив вниз руки. Какой черт вытолкнул его сюда? Как он сюда попал? Кроме каких-то обрывков, ничего не мог вспомнить. Краем памяти задел какое-то весло, на которое упало сено, вспомнил сапог, оставленный в норе. Ну и ладно. Ни весло, ни сапог ему уже не нужны. Подумал, что надо зарыться поглубже — очень уж его трясет, — попытался подвинуться назад, но не вышло: как будто его держал кто-то за руки. Пускай, мелькнула безразличная мысль. Сейчас он заснет, и станет теплей. И впрямь серая пелена снова окутала его, но временами она рвалась в клочья… Иначе как он мог видеть фонарь, двигающийся по сеновалу, как мог услышать перед этим скрип

отворяемой двери, а еще раньше — женский голос, ласково обращающийся к собаке? Тот самый голос, который говорил: «Пойду в клеть за мукой». Только у одной женщины на свете такой голос, только она умеет так ходить с фонарем, но он этому не удивился. Она — это она, и что ж тут такого? Он смотрел на нее, как она стоит перед ним, и ему было неприятно, что лицо у нее желтоватое, как чуть поджаренное мясо, а вместо губ неровная щель, и глаза выпуклые, слишком уж выпуклые, какие-то чешуйчатые. Фонарь — желтая репа — раскачивался в руке: вот-вот она раскачает его и изо всей мочи швырнет ему в голову. Он протянул руку, прикрываясь от удара, и вместе с этим отчаянным движением из груди вырвался хрип:

— Аквиле…

V

Картофельная похлебка подгорела, но Кяршис не унывал: капкан готов — и-эх, задаст он хорькам баню…

Позднее Аквиле сама удивлялась, откуда у нее брались силы: вместе со всеми хлебала она суп, хотя каждая ложка во рту все равно как касторка, и, что еще удивительнее, кивала мужу, поддакивая его рассуждениям. В тот вечер она все делала бессознательно, на одном чутье; события, громом с ясного неба свалившиеся на нее, были такими непонятными, невероятными и запутанными, что попросту не умещались в уме. Встала из-за стола, не подчистив своей миски, и Кяршис наконец разглядел перемену на ее лице, забеспокоился, стал приставать с расспросами. Она как могла спокойней объяснила, что простудилась на кладбище и что пойдет спать. Не осознавая того, что делает, руководствуясь чутьем, которое вело ее вперед, словно посох слепца, она

торопливо постелила кровать в горнице, предназначенной для гостей, и легла. Вскоре вошел Кяршис. Уже покурил, поковырял в зубах, но еще не сотворил вечерней молитвы: молился он всегда в одном исподнем. Кяршис был в замешательстве — за неполных два года совместной жизни еще не было ночи, чтоб они спали врозь.

Аквиле пояснила, что в спальне душно, мутит от табачного дыма, а тут чистый воздух, до утра она отлежится. Кяршис засуетился: может, травок заварить — сбивающих жар или от тошноты; покойная матушка знала в них толк: на чердаке целый мешок трав от всяких хворей, он, Кяршис, тоже в этих делах не дурак!

— Ничего, Пеле, не беспокойся. Пройдет. Иди-ка лучше спать. Если станет хуже, кликну, — пообещала Аквиле.

И он, взволнованный ласковым обращением жены, от которого давно отвык, счастливый, ушел спать в жилую избу.

Она знала — через четверть часа Кяршис будет храпеть, как заведенный. На всякий случай помедлила, а может, ей только показалось, потому что время тащилось, как издыхающая кляча. Она все еще не знала, что ей делать, но понимала: надо что-то предпринять — в любую минуту может нагрянуть беда. Все рассказать Кяршису? После того, что он сказал о партизанах, когда шли с кладбища?! Нет, только не ему! Спасибо, она уже ученая, знает, что в таких делах нельзя довериться даже родному брату. Отец? Да, он не колеблясь протянул бы руку. Но что она скажет матери, когда ввалится туда в полночь? Будь даже ясный день, все равно нужен повод, зачем ей понадобился отец, а если не договориться с Кяршисом, ложь всплывет.

Она обрадовалась, что снова способна рассуждать. Главное теперь — не терять голову. Это она поняла в тот самый миг, когда услышала свое имя и увидела

человека, застрявшего между стеной и сеном. И сейчас она еще видела себя, как она мечется по сеновалу, кидается в избу и обратно, бежит из амбара с периной, но мозг, оправившийся от шока, уже работал, выстраивая мысли в цепочку. Нет, отец не годится, нужен человек, который не только бы не выдал, но и мог выходить из дому, не вызывая ни у кого подозрений! Черная Культя! Эта мысль не могла быть неожиданной — сегодня на кладбище она ведь о нем подумала. И Аквиле от волнения даже села в кровати. Да, ни минуты не медля надо бежать к Культе.

Она тихонько оделась в темноте и по-кошачьи прокралась в сени. Здесь остановилась на минуту — проверить, все ли заснули, — и, осмелев от храпа Кяршиса, который слышался даже через затворенную дверь избы, осторожно отодвинула засов. Шел снежок. Не сильный, но пронизывающий ветер дул со стороны деревни, и все доносящиеся оттуда звуки (собачий лай, крики — скорей всего немецкие) были слышны так отчетливо, словно все это происходило рядом, на задах. Она в нерешительности остановилась. Ворота были приоткрыты, словно звали ее шагнуть дальше, в серую темноту, но Аквиле не могла оторвать ног от земли. В такой час — в деревню, когда немцы строго-настрого приказали не ходить после восьми… Вдруг наскочит на патруль? От такой возможности ее бросило в дрожь. Все это время она жила мыслью, как получше спрятать Марюса, а сейчас осознала, какую страшную ответственность берет на свои плечи, решившись на это. За себя она меньше всего боялась: знала, за что платит такую цену. Но знала также, что не вправе расплачиваться чужими жизнями. Даже в том случае, если там, в сене, утром обнаружат остывший труп. Будь что будет, надо смириться с голосом рассудка: при свете, только при свете дня в эти ворота может войти спасение.

Она решительно повернулась и зашагала по двору. Следовало вернуться в избу, она это понимала, но не могла совладать с собой.

Марюс все еще лежал, закутанный в перину, на том же месте, где она его оставила. Она подумала, что надо его затащить поглубже в сено, но сделать это было не так просто: пришлось расширить лаз у стены, чтоб можно было свободно передвигаться, не задевая больного.

В горницу вернулась, отдохнув сердцем: не подтвердилось то, чего она пуще всего боялась — Марюс не был ранен. В этом она удостоверилась, при свете карманного фонарика прощупав все его тело. Но при мысли, что он пролежал здесь не меньше двух суток, да еще мокрый — полушубок-то до сих пор сыроват, — Аквиле испугалась.

За свою молодую жизнь она немало ночей провела без сна, но ни одна не тянулась так долго, как эта. Кряканье и покашливание Кяршиса — приметы того, что пора вставать, — не рассердили ее, как обычно, а прозвучали волшебной музыкой. Не дожидаясь, пока он зайдет, Аквиле набросила на ночную сорочку старый плащ и, сунув ноги в деревянные башмаки, отправилась растапливать плиту. Сегодня все должно быть точь-в-точь как всегда.

Кяршис, свесив ноги с кровати, в потемках курил утреннюю цигарку. Покурит, тогда и лампу зажжет. Курить или обуваться — это вам не книгу читать.

— И-эх, уже жива? — удивился он, увидев Аквиле. — Отошла за ночь, ага.

— Да некогда разлеживаться, Пеле, работе конца-краю нет, — ответила она, нащупывая на лежанке спичечный коробок.

— Ну-ну, известное дело. Но раз человек не может… Как там с твоей хворью-то? Все еще сосет под ложечкой?

— Да вроде полегчало. Будто уследишь, где там у бабы сосет.

— Дело говоришь… Я, знаешь, тут подумал… эта твоя тошнота… — Кяршис закашлялся и понурил голову, словно пряча глаза от света, который залил комнату, когда Аквиле чиркнула спичкой. — Такая мысль, ага, что у меня в голове все перемешалось, ты уж не смейся. Этот наш бедный ребеночек, которого бы мы Пеликсюкасом назвали… Так вот, перед ним у тебя тоже под ложечкой сосало!

Аквиле хотелось плюнуть, но не время было плеваться. Только улыбнулась, давая понять, что всякое может статься. А Кяршис, взбудораженный надеждой, ласкал взглядом стан жены, благословлял и бормотал, сжимая голову заскорузлыми руками:

— И-эх, вот было б везение! Если б мне Пеликсюкаса, хозяина… Ага, вот тогда уж…

— У тебя только это и на уме! — изобразила гнев Аквиле. — Будет, не будет… Лучше б баньку починил. Досок полно, а половицы в баньке гнилые, еще поскользнешься и шею свернешь. Ежели ты хороший хозяин, то ко всему руки приложи. Думаешь, банька нужна раз в две недели, так пускай в ней черти отплясывают? Там, хоть плачь, надо все половицы сменить. Не хочу ногу сломать, а то прошлый раз только бог миловал.

— Прошлый раз? — удивился Кяршис.

— А как же! Сунула ногу в дыру и растянулась…

— И-эх, правда… Эти половицы-то. Тебе ж нельзя падать! — заволновался Кяршис.

— Можно там или нельзя, а вот завтрак сготовлю и схожу к Культе — пускай починит. Вижу, пока не насяду, толку не будет.

— Пол я и сам могу — после завтрака возьмусь. Культя пригодится весной, когда в поле выйдем.

— Хочешь в барыше остаться, да, как погляжу, голова-то у тебя дырявая. Он, видите ли, полом займется, а солод будет стоять! Может, забыл про мешок, что собрала в солодовне? Мог бы наварить пива, отвезти бабам в город. Лишняя марка карман не тянет. Ведь сам недавно похвалялся, что руки чешутся подзаработать.

Кяршис, все больше удивляясь, следил взглядом за Аквиле, которая хлопотала у плиты. Подумать только, как ожила баба! Если есть такая книга чудес, то надо в нее это дело вписать. Да есть ли чему дивиться? Каждый со временем уму-разуму набирается. Сосет под ложечкой, от этого все… Пеликсюкас. Наседка на яйцах тоже топорщится, чтоб больше места охватить. И-эх, вот это дело, ага, слава богу, ну и ну!..

— Дело говоришь, женушка. Бочки три пива вышло бы. Половину, а то и больше вернули бы за свинью, что немец сожрал. Я уже все обмозговал: прикупить бы несколько центнеров ячменя да прорастить. Марок навалом! А за марки, опять же…

— Ты думай не о тех центнерах, что в чужих закромах, а о тех, что дома, — оборвала его Аквиле. — Откуда знать, может, уже завтра заявится на хутор Джюгасов новый хозяин, и выгонит старика? Где возьмешь жернова-то? Может, повезешь мешок к моим старикам, в деревню, чтобы у немцев под носом молоть? Или, думаешь, с мельником столкуешься, чтобы принял на помол как кормовое? Это уж никак. Сальминис с перепугу скорей утопится в своей запруде, чем тебе солод смелет. К Джюгасу вези. И долго не жди, пока он еще жерновам хозяин.

— Думаешь?.. — Кяршис колебался. — Да пока немцы под боком, вроде и охоты особой нету. Из деревни не выпускают, и вообще… Волен человек всякое думать. Но ежели посмотреть, то худого покамест вроде не случилось, если не считать свиньи.

Слава тебе, господи, повел тучу стороной. А может, она еще вернется, туча-то, тебе одному знать, царь небесный. Все в твоей воле, ага. Вот, значит, ты, человек, прикидываешь, что и как, и тут же можешь гробануться, как покойный Кучкайлис. Никто не знает, сколько тебе отмерено — миг или десяток годков. Выходит, ляг, накройся и жди, когда костлявая заберет. Не-ет уж. Кто ждал, тот весь век с дырявой мотней проходил. Дело говоришь насчет солода. Не будут же немцы вечно толочься в деревне, не давать носу высунуть? Нажрутся нашего сала, набалуются с девками и оставят в покое. И-эх, что и говорить, жернова на земле не валяются, придется после завтрака к Джюгасу съездить.

Аквиле растопила плиту и побежала доить коров. Урывками, оставляя на огне кипящие кастрюли, покормила свиней, сыпанула зерна курам. Только-только забрезжил день, а она уже управилась, да и завтрак был готов. Сбегала бы даже поглядеть на Марюса — сердце было не на месте. Но на сеновале торчал Кяршис: пока, дрожа за каждый клочок, нащипал сена для скотины, наскреб соломы на подстилку да потом собрал травинки со двора, по которому проходил с корзиной, ушло куда больше времени, чем нужно было для дела. Когда Аквиле, вся красная, прибежала от Культи, Кяршис только покормил скотину и, впрягшись в оглобли, тащил пустую телегу к амбару. Пока они позавтракают, и лошадь поест. Тогда солод — на телегу и к Джюгасу.

— Одна гоняешь всюду, а Юлите до завтрака дрыхнет, — не вытерпев, пожурил жену за то, что не подняла с постели дурочку.

— Ей хватит дела, когда Лаурукас встанет.

Они еще завтракали, когда пришел Черная Культя. Кяршис отвел его к сеновалу, показал, какие доски можно взять для баньки, и уехал молоть солод.

Аквиле заперла дверь избы, приказав Юлите глаз не спускать с Лаурукаса, и они с Культей принялись за дело. Перво-наперво вытащили Марюса, подобрав для него временное пристанище у кладей клевера: с двух сторон — клевер, с третьей — дверка опустевшего свиного закута, с четвертой — хозяйственный шкаф с инструментом и прочей мелочью (подковами, гвоздями, проволокой, дегтем…). Марюс метался, бредил. Культя, став рядом на колени, пытался с ним потолковать («Это я тут, Путримас, Пятрас, мой мальчик, не узнаёшь меня?»), но по мутному взгляду было видно, что Марюс никого не узнаёт.

Аквиле объяснила, как, на ее взгляд, следовало бы спрятать Марюса. Культя согласился, но посоветовал перенести его с прежнего места.

— Над хлевом будет лучше — через жердяной потолок тепло идет. А насчет душка не бойся — наши отцы навоз на раны клали.

Хлев соединялся одним концом с сеновалом таким образом, что оба строения, находясь под одной крышей, составляли букву «Г»; его чердак до самого гребня был набит яровой соломой. Кяршис не притронется к ней, пока не скормит скирду за сеновалом; только после Нового года начнет снимать солому с хлева на корм скоту, подмешивая сена и клевера. Но осторожности ради они устроят тайник подальше, примерно в середине хлева.

Аквиле помогла притащить старую дверь гумна, которая была прислонена к хлеву, а сама кинулась в избу готовить лекарства для больного. Пока Культя разобрал дверь и по одной доске стаскал на хлев, она раздела Марюса, натерла горящее тело камфарой, открыв рот, влила несколько ложек травяного настоя. Наконец, сделав все, что казалось ей делом первой важности, она обмотала распухшую ногу старым полотенцем, перед этим разрезав его, сшив в виде

узкой длинной ленты и смочив в борной кислоте. А Культя между тем устроил для Марюса жилье точь-в-точь по совету Аквиле: с одной стороны крыша хлева, с другой стенка из досок, опирающихся верхними концами на решетину. Чтобы попасть в этот треугольный домик, втиснутый в солому, надо было сажени две ползти у самой стрехи, а выбравшись наружу, снова завалить соломой лаз. Они выбились из сил, пока затащили Марюса на хлев и уложили.

— Ну, знаешь, тебе надо руки целовать, моя ласточка, — сказал Культя, когда они, потные, замурзанные, слезли с хлева. — Котелок варит. Я бы порядком башку поломал, как тут все устроить, чтоб тебя сквозняк.

— Всю ночь думала, Пятрас. Потом — с таким делом не первый раз сталкиваюсь.

Культя, не понимая, посмотрел на Аквиле.

— Мы с отцом русского солдата прятали. Летчика. И теперь думала бежать к отцу.

— Русского солдата? — Культя даже ахнул от неожиданности. — Вот это номер, чтоб вас сквозняк! Русский солдат у Вайнорасов…

— Нашла в лесу. Привезли. Но, видно, ему было суждено погибнуть… — Аквиле задрожала, схватила Культю за руки. — Пятрас, Пятрюкас, вы же видели… Скажите, как Марюс? Я боюсь, как бы не воспаление легких…

— Главное, не ранен. Выходим. А нога… Вроде не страшно. Скорей всего кость ушиб, — успокоил Культя. — Говоришь, значит, русского летчика?.. Советского… А я-то думал, ты… Как можно иногда промашку дать, чтоб их сквозняк! Вот оно как. Не пара тебе Пеликсас Кяршис, совсем не пара…

Культя жалостливо улыбнулся, погладил Аквиле по плечу, и она, неожиданно разревевшись, бросилась к нему на грудь.

— Ну, не плачь, все обойдется, — бормотал он, одной рукой неуклюже похлопывая ее по трясущимся плечам, а другой, двупалой, вытирая слезы. — И меня проняло, моя ласточка, но не стыдно: когда человека считаешь за пустышку, а потом видишь, что он — настоящий, сам тоже как бы заново рождаешься. Такой праздник не каждый день бывает, чтоб его сквозняк.

— Я Никогда о вас плохо не думала, Пятрас. Поверьте мне, никогда! — всхлипывала Аквиле. — Мать… Кяршис… так уж все сложилось…

— И я больше про тебя худого думать не буду, Аквиле. Ну, не плачь, а? Оставим-ка слезы до тех времен, когда других забот не будет. А сейчас нам нужны твердость и ум, чтоб их сквозняк! Помни: если дознаются, то не одна голова Марюса полетит с плеч. Пойми, какую гору взвалила на свою спину. Не хочу думать о Кяршисе хуже, чем есть, — он человека не утопил, — но по нынешним временам никому нельзя сердце открыть. Гляди в оба. Когда один знает тайну, она еще тайна, когда двое — пол-тайны, а когда больше — тайны и в помине нет. Я тоже забегу проведаю, предлог найдется. И ты дай знать, если что. Но слишком часто встречаться опасно: фашистские холуи давно на меня косо смотрят.

Успокоив и подбодрив Аквиле, Культя для вида малость обстругал доски, которые показал Кяршис, и, бросив их в сарае у верстака, ушел домой.

Аквиле поймала во дворе курицу пожирней и мигом отрубила голову. Пока дурочка ощипывала, она поставила воду, еще раз сбегала с настоем трав к Марюсу, затем обе с дурочкой взялись кормить скот, потому что настанет вечер, пока Кяршис перетрет мешок солода. Покончили с кормежкой, закусили на скорую руку, а когда курица сварилась, Аквиле дала Юлите и Лаурукасу по кусочку, остальное спрятала в чулане. Там же поставила и кувшин с бульоном. И снова

побежала на сеновал, к больному, которому становилось все хуже. Марюс лежал поперек постели, сбросив с себя перину. Он что-то лепетал, изредка кричал, да так громко, что сердце заходилось от страха. Слезла, постояла на сеновале — прислушалась, потом сходила в хлев, послушала еще у стены снаружи — криков вроде не было слышно. Все-таки расплакавшись и расцеловав его, завязала ему рот платком, а чтоб не смог сбросить перину, закутала его и обмотала вожжами, которые Кяршис ссучил прошлой зимой для весенней пахоты.

Возвращаясь в избу, прихватила из кучи хворосту (Юлите уже успела намять картошки), залила кипятком мякину и смешала в сенях корм для свиней, а то дни в конце ноября куцые — скоро и вечерняя кормежка.

Пока она хлопотала, приехал Кяршис. Голодный, усталый, злой. Увидев перед собой миску с четвертушкой курицы, сглотнул слюну, но тут же поморщился:

— Яйца теперь на вес золота…

— Зарезала вот. Не несется, — виновато пробормотала Аквиле. — Да что-то с души воротит.

— И-эх, и правда… — Кяршис сразу просиял. — Тебе же есть надо! Режь ты этих кур, не слушай, я просто так… Новых разведем. И-эх, чтоб из-за курицы… А мне не надо, могу и сала. Не мужская это еда.

— Хватит и мне, не бойся. Оставила. Только не знаю, съем ли, — что-то кишки скрутило.

— И-эх, вот беда-то, — забеспокоился Кяршис. — Вчера сосет, сегодня крутит. Ты бы травок каких наварила!

— Пила. Пройдет, ничего. Бывает.

— Должно пройти. Правда, а как Культя? Сделал работу?

— Начал, да не кончил. Мальчик прибежал и позвал. Дома нужен был.

— А как же, — снова помрачнел Кяршис. — Известный мастер начинать и не кончать. А как же. Поковырялся час, а посчитает полдня. Может, и обед ему дала?

— Не дала, не дала. Могу курицу принести и показать. Вся. Без этого кусочка. Еще Юлите с Лаурукасом по крылышку досталось, — ответила Аквиле, едва сдерживая злость.

Кяршис смутился.

— И-эх, будто я что говорю... Но раз взялся за дело, то кончай. Почал борозду и жми до конца. А не можешь, так не начинай. Такое уж у меня понятие... Ага, — помолчав, продолжал он, обсасывая куриные косточки и время от времени вытирая руки о штаны. — У Джюгаса-то дела неважнецкие. Хотел немца перехитрить с поставками, а вишь, как оно получилось. Попрут с хутора — и иди побирайся. А то и хуже будет. Думал, коли есть у него крест, то может маршировать, все бросятся на колени, как перед ксендзом с дароносицей. А немцу наплевать на литовские кресты, у него свои есть — железные. И-эх, нечего про чужую беду болтать, и тебя она, может, подкарауливает, но если кто сам под топор лезет, то не грех и потолковать, чтоб этим и себя и других предостеречь. Ходит человек туча тучей. Гедиминаса третий день дома нет. Говорит, сам его услал, чтобы немцы за поставки не забрали. Да кто там знает, как оно на самом деле. Может, уже в тюрьме сидит. Один остался, как отшельник в пустыне. А ведь хозяйству глаз да глаз нужен! Скотину покормить, самому поесть. Хоть кричи, как в той песне: «Сам сварю да сам нажарю, сам натру картошки». Да, худая жизнь у него, господь не миловал. Была семья, в избе человек на человеке сидел. И вот те на — ни детей, ни жены, и матушка померла. Сидит за столом один, как в лесу. И-эх, смотреть тошно.

— Хороший человек, — говорит Аквиле. — Мне он был как родной отец. Будет минутка, забегу проведать: может, помогу чем.

— Да, да, надо, — согласился Кяршис. И, помолчав, добавил: — Хороший, говоришь? И-эх, частенько бывает, что хорошему шкуру дубят.

Когда управились с вечерней кормежкой скота и Кяршис, как всегда последним, притащился в избу, Аквиле снова сбегала на сеновал. В ящике буфета, к своей величайшей радости, она нашла несколько завалявшихся таблеток, которые могли помочь больному. Теперь растворила две штуки в отваре чабреца и, раздвинув ложкой зубы, влила снадобье. Марюс горел, как в огне, был потный, хоть выжимай. Сквозь слезы, едва видя, что делает (фонарик висел на стенке), обтерла ему лицо, прошлась полотенцем по всему телу и, снова завязав ему рот, убежала в избу, пока ее не хватились.

Постелила себе снова в горнице. Кяршис сумрачно посмотрел на нее, но не сказал ни слова. Только утром, когда она, как всегда, готовила завтрак, а он, обуваясь, курил первую цигарку, обмолвился, что слышал, как ночью она ходила: и-эх, чего тут стесняться — кишки так кишки. Часы с железным нутром — и то, бывает, портятся.

Аквиле постаралась улыбнуться, казаться бодрой и свежей, но не получилось — вторую ночь подряд без сна. Перед самыми третьими петухами вроде бы вздремнула, вернувшись от Марюса, но лучше бы она не засыпала — сон был сплошным кошмаром. То она бежала к Культе, а его не было дома, то находила его, но он хохотал, напялив форму немецкого солдата, то видела Марюса с завязанным ртом, обмотанного вожжами, вроде огромной гусеницы, в расширенных глазах которой застыла смерть. Колесо бреда вращалось, повторяя одни и те же видения, и,

проснувшись после одной из таких картин, она подумала, что миновала целая вечность, хотя прошло всего несколько минут.

После завтрака пришел Культя доделывать работу. Кяршис копошился далеко, где-то у гумна, так что Пятрас сумел проникнуть к Марюсу. Марюс все еще бредил, температура была такая же, как и ночью, но хоть больше не поднималась. Если и вечером не подскочит, решил Культя, то скажем, что главная беда позади.

За ужином Аквиле, смертельно усталой, пришлось как следует держать себя в руках, чтобы не выдать своей радости: ртуть в термометре стояла на месте. Кяршис, ничего не заметив, сказал, что по лицу видно, как она мучается, — мол, если не пройдет, придется ехать за доктором: в военное время это не шутки, всякие паскудные болезни ходят, вдруг кровавый понос подцепила?

Когда после полуночи она забралась к Марюсу, тот спал. Впервые за эти дни она увидела, что он спокойно дышит, склонив набок голову и приоткрыв потрескавшиеся губы, с которых сползла повязка. Она редко молилась, но сейчас сама не почувствовала, как перекрестилась и, упав на колени рядом с его постелью, зашептала молитву.

Остаток ночи проспала беспробудным сном. Кяршис с помощью Юлите уже задал скотине корм, подоил коров, на плите булькал завтрак, пахло тушеной капустой и солониной. Господи, и надо же так разоспаться!

Кяршис был зол, как осенняя муха: пропала старая дверь гумна. Еще два дня назад видел, стояла у стены хлева, а сегодня утром поглядел — пусто. Черт уволок, что ли? Такую махину в одиночку даже самому крепкому мужику не утащить. Ну и чудеса! Видно, нечистая сила пакостит. И-эх, убыток на убытке! Еще с

солодом связался. Ведь мог, скажем, сегодня съездить к Джюгасу. И пол бы починил без этого косорукого Культи. Тоже мастер! Два дня топтался, а наработал... Что плохо пригнано или вообще что-нибудь не так, не скажу, зато щепы не пожалел. Надо было сначала не рубанком, а аккуратненько топором — остались бы досочки, чтоб дыру в заборе заткнуть, а он как размахался топором, как налег на рубанок, — бревно и то заплакало бы от жалости, что так добро переводят.

Аквиле вторила Пеле, вместе с ним удивлялась, куда могла запропаститься дверь, но на сердце скребли кошки. Она знала дотошность Кяршиса — будет обнюхивать все углы, пока не найдет пропажу. И еще — давно ей пора к Марюсу. Но теперь это посложней, потому что фонарик погас — села батарейка: придется зажигать «летучую мышь» и держать наготове ответ, если спросит, почему днем с огнем ходит.

Только перед полуднем, когда Кяршис, по десять раз облазив все постройки, обшарив двор и окончательно убедившись, что дверь на самом деле пропала, отправился в клеть навеять ржи, Аквиле смогла юркнуть на сеновал.

Она повесила фонарь на гвоздь, встала на колени рядом с постелью и, прижавшись спиной к решетинам крыши, несколько мгновений смотрела на Марюса. Он лежал с закрытыми глазами и тихо дышал, но она была уверена — он не спит. Положила руку на лоб. Лоб был горячий, влажный. Но пульс в висках стучал медленнее.

— Тебе лучше? — прошептала она, гладя шершавую щеку, поросшую рыжей щетиной.

— Пить... — Тяжелые, набрякшие веки приподнялись и снова опустились, но она успела поймать его взгляд, от которого сердцу стало тесно в груди и к горлу подступил комок.

Не вытирая слез, Аквиле вынула из корзинки бутылку с настоем трав и, одной рукой придерживая

голову больного, приставила горлышко к губам. Пил он жадно и долго. Изредка захлебывался, мотал головой, как теленок. Она отнимала бутылку, изучала морщины на лбу, волосы, глаза, прикрытые дрожащими веками. И было хорошо, что ее слезы падают здесь же, рядом с его лицом, впитываются в белую постель, в вожжи, которые берегут тепло его тела.

— Хватит. — Она отняла бутылку. Тогда он открыл глаза, и она увидела в них мольбу. — Дам из другой бутылки. Куриного бульона. Еще теплый. Тебе надо поправляться. Ведь пять дней, как ничего во рту не было.

Покормив, спрятала бутылки в корзину, — боялась, как бы он потом не выпил холодного и не простудился снова. Потом развязала его и, аккуратно смотав вожжи, тоже положила в корзину.

— Ты метался, — объяснила она, хотя его взгляд ни о чем не спрашивал. — Я даже рот тебе завязала. Что делать-то? Сам понимаешь.

Он шевельнул головой. Может — в знак согласия, а может — только устраиваясь поудобнее.

— Скоро опять приду, — пообещала она. — Принесу поесть. Что-нибудь легкое. Я часто буду к тебе приходить. Только не бойся, ничего не бойся.

Она так разволновалась, что забыла даже фонарь задуть, пятилась, держа фонарь перед собой, словно эта капля угасающего света могла остаться там, вместе с ее сердцем, пока она не вернется.

У кладей клевера, спиной к шкафу с инструментом, стоял Кяршис. Видно, пришел за чем-то — за плоскогубцами или молотком, — но не успел взять, как услышал шорох соломы.

Несколько мгновений они смотрели друг на друга; он — разинув рот, с перекошенным от удивления лицом, она — напружинившись в страшном ожидании, словно

фонарь и сумка с бутылками превратились в бомбы, которые вот-вот взорвутся.

— За яйцами лазила, — первой нашлась она. — Обойду-ка, думаю, чердаки, может, новые гнезда есть. Погляжу-ка еще с той стороны.

Трясясь от страха — как бы не звякнули бутылки в корзине, — она перебралась к другой стрехе. Надо было переждать, пока уляжется сердцебиение, и спрятать бутылки. Засунула их поглубже в солому. Хотела забраться дальше, понимала, что надо, непременно надо положить в корзину хоть одно яйцо, но знала — не найдет.

Когда, помедлив с минуту, она подошла к лестнице, Кяршис все еще стоял у шкафа. Теперь он держал в руках какую-то железку и внимательно рассматривал ее. Услышав, что Аквиле спускается, шагнул навстречу.

— Много нашла-то? — приглушенно спросил он и, не дожидаясь ответа, разразился: — И-эх, бабья твоя голова, днем с фонарем! Думаешь, керосин из лужи черпают? Немцы без карточек ни капли не дают, а откуда карточки берутся, скажи на милость? Сколько шерсти, овчинки, льна уже сунули этим нехристям в глотку! Лошади хвост отрезал — и его им подавай. А много накупили за ихние бумажонки? — Кяршис медленным, но широким жестом вырвал фонарь из рук Аквиле и задул. — На хлев ей вздумалось. Будто куры там когда клали. Может, яичко за год и снесут, так стоит ли керосин жечь? Из-за этих кишок в голове у бабы помутилось!

Глава пятая

I

Марюс быстро поправлялся. По два раза в день — после завтрака и перед ужином — Аквиле приносила ему еду, травяной настой, меняла компресс на ноге, с которой все еще не сходила опухоль, хотя прошла уже неделя с того дня, как миновал кризис. Чтоб не брать фонарь, Аквиле взяла свеклу, срезав хвостик, выдолбила сердцевину, воткнула отлетевший зубец берда, накрошила жира и сделала коптилку. Рядом с гвоздем, на который раньше вешала фонарик, вбила другой и втиснула над постелью доску, один ее конец положив на гвозди, а другой — на решетину крыши. Сюда она ставила свою плошку. Было неудобно — тень доски падала на Марюса, забывшись, Аквиле могла столкнуть доску. В первый вечер так и случилось. Она долго не могла заснуть, боялась — вдруг искорка с фитиля упала на постель или в солому. Опасность пожара пугала ее не меньше, чем немцы. Но она ни словом не обмолвилась об этом Марюсу. Сказала только, что под ним стойло, потолок хлева не дощатый, а жердяной, и хотя соломы в этом месте пяди на две, все-таки сквозь щели проникает немного тепла.

Корзинку она больше не брала, суп наливала в плоскую бутылку и прятала за пазухой, а прочую еду рассовывала по карманам полушубка. От Марюса ползла у самой стрехи тихонько, как кошка, охотящаяся за мышами. И, лишь удостоверившись в том, что на сеновале пусто, не слышно ни голоса, ни шагов, она кидалась к лестнице и кубарем слетала вниз. Трудно было прорваться к Марюсу, а еще трудней было сделать так, чтоб он хоть раз в день мог поесть горячего. Кяршис теперь с утра до вечера возился на хуторе — обвязывал яблони, чинил изгородь, затыкал в баньке щели паклей, — а задав корм скотине, садился на крыльце и плел корзины. И чем бы он ни был занят — садом ли, корзинами ли, — нельзя было знать, когда ему взбредет в голову заглянуть на сеновал: он

поставил здесь капкан на хорьков и проверял его по нескольку раз в день.

Она боялась дальше притворяться больной. Живот вроде бы в порядке, что ж, человек, развязавшись с такой пакостной хворью, не может сразу кидаться на копченое сало. Да и под ложечкой это... сосет... Не мудрено, что она порешит еще одну курицу. И порешила. Кяршис повздыхал, но не сказал ни слова. Аппетит Марюса рос не по дням, а по часам.

...Она разложила завтрак на доске рядом с плошкой и, пока он ел, ссутулясь, сидела у него в ногах. В эти несколько последних дней они с Марюсом разговаривали, но все больше о погоде и здоровье. Он ни о чем не спрашивал, а она не рассказывала, думая, что после болезни и всего, что он пережил, лучше не ворошить прошлое. Но теперь, упорно разглядывая свои колени, она ни с того ни с сего подумала: ее присутствие ему в тягость! Он торопится есть потому, что брезгует ею, хочет, чтоб она поскорей ушла, хочет остаться наедине со своими мыслями.

— Сегодня ночью снег выпал...

— Да?

— Очень уж ранняя зима. Увидишь, до Нового года снег еще сойдет!..

— Наверное.

— Когда лежишь спокойно, нога не болит?

— Что это за боль? Если б я мог на нее ступить...

— Пройдет. Ступишь.

— Разумеется, пройдет. Спасибо, поел. Очень вкусно.

— Чего уж там! Холодная еда только от нужды. Не мерзнешь?

— Под такой периной!

Это было все, что они сказали друг другу, пока он ел курицу и пил из горлышка крупяную похлебку. Попросив его подержать коптилку, Аквиле сняла доску

и принялась перевязывать ногу. На добрую пядь выше и ниже колена кожа была еще воспалена, но не краснее, чем вчера. Аквиле смочила повязку в растворе и снова забинтовала колено. Потом сунула бумажку с куриными косточками в карман, а бутылку за пазуху и молча взяла у Марюса коптилку. Сейчас она задует эту смердящую бараньим жиром плошку, подождет, пока не померкнет обуглившийся кончик фитиля, и, сощипнув пальцами нагар, поставит ее под нижней решетиной, где только что положила доску. Но перед этим она еще раз взглянет на Марюса. Должен же он сказать еще что-то, кроме этих своих «да», «разумеется», «пожалуй»; если она поторопится уйти, снова передвинется на завтра то, что у обоих тяжелым камнем лежит на душе. Она посмотрела на него и улыбнулась. Не такой улыбкой, как в те дни, когда он был еще слаб. Не мать ребенку — виноватая женщина улыбнулась мужчине.

Он зажмурился. Веки дернулись и застыли. Она не успела поймать его взгляд, но была уверена, что в нем тоже отразилось едва заметное чувство (грусть, суровая и нежная), которое пробило его всегдашнюю маску.

Подавив вздох, она поднесла к губам плошку и задула. Все погрузилось во мрак. Лишь уголек фитиля еще мерцал, словно удаляющийся светлячок в ночи, и Аквиле смотрела на него, страстно желая, чтоб он побыстрей угас, но пожалела, когда он исчез. И тогда раздался его голос:

— У меня было оружие.

Это были не те слова, которых она ждала. Но она радостно задрожала: он не только отвечал на вопросы, он спрашивал!

— Да рядом оно. Все тут. Сапоги, одежда. Твой пистолет заржавел. Путримас почистил, смазал. Не пропал.

— Путримас? — Он удивился, может, даже испугался. — Почему Путримас?

— А кому же еще? Я не умею…

— Так вы с Путримасом меня сюда…

— Ага. Когда нашла тебя в тот вечер на сеновале, не знала, куда и кидаться. Вспомнила, что вы были друзьями-приятелями, и побежала к Культе. Что, плохо?

— Почему?.. Нет. Выходит… Кяршис не знает?

— Никто ничего не знает, Марюс. Только мы с Путримасом.

Аквиле показалось, что Марюс перевел дух.

— Тебе нужен этот… пистолет? — прошептала она.

— Хорошо бы…

Она откинула солому в ногах постели и, порывшись немного, вытащила завернутый в промасленную тряпицу пистолет с патронами.

— Вот он. Со всем, как полагается, — прошептала она, положив узелок рядом с постелью Марюса. — Может, плошку зажечь?

— Нет, не стоит. Я — ночная птица.

В его шепоте она уловила улыбку. Она слышала участившееся дыхание, шорох, и хотя между ними стояла непроглядная стена темноты, Аквиле видела, как он улыбается, ощупывая свое оружие.

— Вечером я тебе ладонь перевяжу и эти два пальца, — прошептала она; у нее приятно кружилась голова.

— Хорошо бы…

— Обязательно перевяжу.

— Хорошо бы, я хотел сказать, повидаться с Путримасом…

— Раза два он сюда залазил, но ты еще бредил. Наверное, не помнишь…

— Помнить-то помню. Думал, приснилось. Он разве не знает, что со мной уже можно говорить? Как с человеком?

— Как не знать! Позавчера приходил, хотел с тобой повидаться, но Кяршис рассердился за пол в баньке, обругал и выгнал. Если бы Кяршис в то время не вертелся во дворе, может, как-нибудь… Правда, Марюс, Культя никак не мог зайти. Но я придумаю что-нибудь, выманю Кяршиса из дому.

— Можно и ночью?

— Нет, ночью нельзя, Марюс. Немцы пригрозили: каждого, кто будет разгуливать ночью, на месте расстреляют.

— Ах, немцы…

— Они, Марюс, они. Со вчерашнего дня разрешили въезд и выезд из деревни, но ночью нельзя из своего двора ни на шаг. Так я пойду. И так засиделась. До вечера, Марюс.

— Пока, Аквиле.

Впервые он сознательно произнес ее имя в этом убежище. Несколько мгновений Аквиле стояла на коленях в темноте, чувствуя, что сердце распускается, как цветок розы в июне, а хлев заливает яркий весенний свет, и, охваченная этим радостным чувством, она поползла по норе, которая казалась ей волшебной тропой, ведущей в юность, — давно потерянной, но, оказывается, не навсегда.

В то утро Кяршис смотрел именинником: с ночи нашел в капкане хорька. Весть, что немцы разрешили выезжать из деревни, тоже подняла дух. И-эх, наконец-то он пустит в дело солод! Завтра-послезавтра сварит пиво — и в город. Аквиле посоветовала, что сперва стоит съездить договориться. О цене и вообще. Может, немцы так прижали эти подпольные кабачки, что бабы побоятся даже издали смотреть на пивную бочку. Кяршис согласился — дельный совет. Завтра — на телегу и в Краштупенай, разведает, как и что, но посудину под пиво не помешает подготовить заранее. Вот, освежует хорька и примется за кадки. В овине

стоят, не должны бы рассохнуться. Все равно надо воды налить, чтоб запах плесени вытянуло.

— Видала хорька? — тащил он Аквиле за рукав к клети, где под стрехой висел зверек. — Хорош, чертяка! Волнистый, крупный. Хоть на выставку. Думаешь, один такой на хуторе? Ого! Нащелкаю за зиму, как орехов, а после войны хорьковую шубу только подавай — на вес золота потянет.

— Пошел-ка ты с этой падалью, — отмахивалась Аквиле. — Раз тебе так по вкусу эта дохлятина, поставь капкан в хлеву — утром, когда корову доила, как шмыгнет!

— Хорек-то? Очумели они, что ли! Вот и говорю, расплодились тут, как черти. Враз перенесу туда капкан. Прищемлю красавчику хвост, и-эх, прищемлю, будет знать, как яйцами лакомиться!

До самого вечера Кяршис сиял, как надраенный медяк. Работа спорилась, как всегда, когда человек в настроении, и от избытка веселости он даже насвистывал, а то и песенку напевал. И-эх, видать, все к лучшему клонится. Дорога из деревни свободна, в капкане — хорек. Знай покупай ячмень да вари пиво. Даст бог, вернет за сгубленную свинью.

Вечером следующего дня он возвратился из Краштупенай, не чуя под собой ног. Правда, морщился, рассказывая о виселице на площади перед памятником: пять человек, ага, висят. Но кто виноват? Известное дело, ни от тюрьмы, ни от сумы не убережешься. При немцах не мудрено голову в петлю сунуть. Вот и ходи, мил-человек, подальше от места, где лед тонок, — не провалишься. Заправляй своим хозяйством, как умеешь, а немец пускай политикой заправляет (воюет или там замиряется), и оба столкуетесь. Похвастал, что встретил волостного старшину. Не то чтобы встретил, домой к нему зашел. Потому что гусь, которого Аквиле вчера ощипала (теперь уже можно сказать все, как

есть), был для его жены. И-эх, жалко, спору нет, но даешь ведь не потому, что хочется, а потому, что надо дать. Ведь если б не волостной старшина, Кучкайлис как пить дать заграбастал бы землю Нямунисов... А кто имел силу ее дать, тот имеет силу и отобрать. Так что гусак подвинул дело с участком Нямунисов; если он еще оставит во дворе старшины бочонок пива, тот шлепнет печать на вечные времена. И-эх, с таким начальником, хоть он и родом из большого хозяйства, столковаться можно. Простой человек, даже по плечу его похлопал, ага, сказал: на таких трудолюбивых землепашцах, как Кяршис, Литва стоит, — и предложил заделаться старостой Лауксодиса. Если б так в сметоновское время — ого! Честь, деньги, самый крепкий хозяин тебе не указ. А теперь... Что вы, что вы, господин старшина! Пускай в старосты идет, кто поближе к политике. Да поможет ему бог командовать людьми по закону властей, а я уж буду командовать своим хутором, и да будет так, как наши деды напутствовали: богу — богово, кесарю — кесарево. Униженно поблагодарил господина старшину за честь, но оставил ее для других.

— И-эх, чтоб я совал руки в дерьмо! — закончил он. — Но ездил в город не зря: пиво идет! Столковался и о цене — стоит потрудиться.

Аквиле улыбалась, слушая рассказ Кяршиса, который в другое время непременно кончился бы ссорой. Она была счастлива не меньше его: покуда муж обделывал пивные дела в Краштупенай, к Марюсу приходил Культя, и они проговорили целое утро.

Когда принесла еду после ужина, Марюс обрадовался Аквиле. Она это почувствовала, еще не успев зажечь свекольную коптилку. Он стал разговорчивей, раза два даже улыбнулся ей, его враждебная замкнутость сменилась теперь задумчивостью. Их глаза то и дело встречались, и ее бросало в жар — он смотрел на нее тепло, с

любопытством и удивлением. Когда Аквиле собралась уходить, он робко попросил у нее несколько спичек — Культя принес ему кое-что почитать, а о спичках они с ним не подумали.

— Ты не бойся, буду осторожен, — заверил он. — Я сам боюсь пожара.

Она оставила ему весь коробок. Когда она вышла с сеновала, Кяршис, нервно попыхивая цигаркой, топтался на крыльце. Куда она девала корыто, черт возьми! Утром надо браться за пиво, посуда должна быть под рукой.

Корыто хранилось в чулане. Но недавно Аквиле пекла булку, засунула корыто за печку и забыла про него.

— Немытое, изгвазданное... — накинулся Кяршис. — Ума не приложу, что тут творится! Дверь пропала, новый круг сала почат, когда того могло хватить до рождества, а прясть, как погляжу, и не садилась. Носишься, как бешеная овца, туда-сюда. Посмотрю, что в кросна заправишь. Или думаешь, немцы нас покупными материями завалят?

— Где это я ношусь, чего разворчался?! — вспылила Аквиле. — Вчера к Джюгасу бегала, хлеб замесила, а сегодня ходила печь. Старик мне как родной отец, должна я человеку помочь в беде. Сам говорил, какие у него пироги, когда один остался.

— И-эх, будто я из-за Джюгаса. Пеки, меси, помогай, слова не скажу. Да ведь и тут, дома, за тобой не уследишь. Бултых, как камень в воду, — и нету. Чего ты на сеновале потеряла? Что ни час — туда шасть!

— Когда это я — шасть? — испугалась Аквиле, готовясь разыграть обиду.

— И-эх, да не маши ты руками. Пропадаешь, днем с огнем не сыщешь. Скажешь, позавчера там не была? Хотел попросить на пиджаке латку поставить, а ты когда объявилась? И откуда? Пошел поискать — может,

спишь где, а она с сеновала — шасть! Не слепой я, не думай.

— Куда уж там, глядишь в оба! — разразилась Аквиле. — Пристал как банный лист, — тебя не спросившись, и по нужде не выйдешь. А главного так и не разнюхал — чего на сеновал шастаю.

Кяршис вылупил глаза.

— Я парня завела! Поужинаю и бегу с ним миловаться. Сказать, кого?

Кяршис в сердцах плюнул.

— Можешь говорить, можешь — нет, нечего зря языком молоть. Когда молодухе охота отдельно спать, муж волен всякое подумать.

— Дурень!

Аквиле притворилась, что страшно оскорблена (страху муж на нее все-таки нагнал), но в тот же вечер перешла спать к Кяршису. Ночью грубо оттолкнула руку, как только тот попытался ее обнять, и тут же подумала, что этого, пожалуй, делать не следовало. В избе было душно, Кяршис не разрешал открывать на ночь форточку («Да уж, дрова переводить, а тепло на двор выпускать. Думаешь, деньги на улице валяются...»); привыкнув к чистому, прохладному воздуху горницы, Аквиле задыхалась в этой комнате, провонявшей дымом самосада и кухонным смрадом. От прикосновения Кяршиса ее тошнило точно так же, как и от спертого воздуха избы. Даже лежать рядом, делиться с Кяршисом теплом под одной периной, казалось ей предательством.

...Что сейчас делает Марюс? Наверное, почитывает бумажки, которые принес Культя. А может, лежит и думает о ней, Аквиле, как она спит с Кяршисом. Какие они разные! Вот завтра — Кяршис станет варить пиво, а Марюс, положив под подушку пистолет, будет вздрагивать от каждого звука, волноваться, не случилось ли чего, а когда она наконец принесет

завтрак, пристанет с расспросами — что она думает о ноге, какие вообще новости. Потом будет ждать случая снова повидаться с Культей. А поправившись, уйдет в свои леса. Снова жизнь затравленного волка, выстрелы, кровь. Ради чего? Зачем все это? Чтоб победить немцев? Многие ведь ждут не дождутся, когда им придет конец, а спокойно сидят по домам. Настанет час, и случится, чему положено случиться, как сказал бы Кяршис. Но когда настанет и как, если все будут бить хорьков, а не немцев?..

...Марюс всегда шел за правду. Не за себя, за других. Слушая его речи, как он устроит рай на земле, она часто удивлялась. А вместо рая нагрянул ад. И Марюс лежит, поверженный силами ада, над Кяршисовым хлевом. Ни о хозяйстве не думает, ни о послевоенных ценах на хорьковые шкурки. Жизни своей и то ему не жалко. Поправится, уйдет и, если так суждено, сложит голову за других. Немцев не будет, но не будет и Марюса. А Кяршис будет. Со своими пивными бочками, капканом, житом, дружно зеленеющим на земле Нямунисов... Потом, очень даже вероятно, появится на свет Пеликсюкас, а после него — Аквилюте: так уж получается, когда спишь в одной кровати с мужем...

...Гедиминаса тоже не будет. И старика Джюгаса. Во всяком случае — в Лауксодисе. «Спасибо, доченька, господь еще не забыл свою землю, есть еще люди, не успел немец всех перебить...» — «Надо ведь помогать друг другу, дядя...»

...И-эх, будто я из-за Джюгаса? Пеки, меси, помогай...

...Да разве это помощь? Замесить хлеб, постирать белье? А чем еще поможешь человеку, который вскоре пойдет по миру? Оставит лошадей, отдаст в чужие руки коров, не услышит больше их ласкового мычания, не возьмет больше за рога, не заглянет в жалобные

коровьи глаза. Другой придет на его хутор, другой будет ходить тропками, по которым бегали наперегонки его дети. По гумну, сеновалу, по хлеву, баньке и клети. По всей усадьбе, как по храму, где обитает его душа; в стенах этих построек не найдешь бревна или доски, камня или куска штукатурки, не согретой руками старика, не смоченной его потом. Скоро старик уйдет оттуда, да, уйдет из своего дома.

…Не уйду: меня вырвут, как сердце из груди, я сросся со своей землей, будто дерн.

…Зачем ты обвязываешь яблони? Все равно придет другой.

— И яблоньки обвяжу, и пчелкам корм на зиму оставил. Ведь не виноваты святой жучок или деревце, что не я буду выбирать мед, срывать яблоки? Живые они — и пчела, и яблоня. А жизнь, брат ты мой, положено беречь, пока ты в силах…

…Аквиле стоит в дверях хлева и смотрит, как старик то корову ладонью по спине погладит, то лошадь потреплет по загривку. Облокотился на перегородку, запустил пальцы в густую шерсть барашка. Шерсти-то сколько! Новый-то наверняка острижет бедняжек наголо, свезет шерсть немцам; мерзнуть овцам до весны. По соседству в стойлах заржали лошади. Сытые, только что кормлены: это из ревности, что он зашел в закут к овцам, а их, коней, и не приласкает. Эх, брат ты мой, животному, как человеку, ласка нужна. Подошел к одной лошади, обнял, поцеловал в морду и другую оделил теми же милостями. Эх, конь мой вороной, лодырь ты этакий, недолго еще нам друг другу надоедать… И голос ломается, плечи вздрагивают, плачет старик.

— …Скажи, Марюс, чем можно помочь этому святому человеку?

— У меня было оружие…

— Есть, Марюс, есть. Все лежит на своих местах.

…Джюгас улыбается, приложив ухо к улью: пчелы гудят.

…Гедиминас на сжатом ржаном поле. Суслоны. Солнце. Белые клочья облаков в яркой синеве. Откуда ты, Гедиминас? Люди уж похоронили, толковали, что тебя гестапо забрало.

«Гестаповцы добрые, пустили отцеловаться с лошадьми».

«Марюс, Гедиминас объявился!»

Марюс улыбается. Чисто выбрит, в белой рубашке, при галстуке. Сегодня воскресенье, говорит, давай полежим, когда еще понежиться, как не в праздник. Ну да, соглашается она. Кяршис повез пиво в Краштупенай, время есть… Застеснявшись этих слов, прячет лицо у него на груди. Чувствует на себе теплые руки, слышит приглушенное дыхание. Боже мой, что будет, если настигнет Кяршис, — слышен шорох соломы!

«Марюс, Кяршис идет!»

Вырывается из его объятий. Доска с коптилкой летит в сторону. Куда скатилась плошка?! Боже мой, надо найти коптилку, — пожар будет!

«Марюс, спасайся, горим!»

Она проснулась. Сидит в кровати, Кяршис железной хваткой держит ее за плечи.

— Что такое? Что случилось? — задыхаясь спрашивала она.

— Это ты скажи. — Кяршис отпустил ее, выбирается из кровати. Нашел на лежанке спички, вразвалку идет к столу. — Ты кричала во сне, ага, кричала.

— Правда? Наверно, приснилось что. — Аквиле вытирает рукавом сорочки вспотевшее лицо.

— Ты звала его. — Кяршис хочет зажечь спичку, но спички ломаются. Наконец-то! Наклонясь над кроватью, мучительно долго всматривается в Аквиле. Пламя дошло до трясущихся пальцев, а он все не может

оторвать испуганного взгляда от ее лица. — Почему ты его звала?

— Кого, Пеле?

— Сама знаешь… Марюса…

— А, его! — Аквиле обрадовалась, что спичка догорела. — Что-то не верится, но раз, говоришь, слышал, спорить не стану, — я же во сне.

— Обняла меня, а кричала его.

— Чудно…

— И-эх, ей чудно! Ей чудно, да и только…

Кяршис поторчал у кровати, повременил, но, так и не вытянув из Аквиле ответа, потопал искать кисет.

— Не дыми посреди ночи, и так продохнуть нельзя. Ребенок…

— Твой ребенок в другой комнате.

Аквиле выскочила из кровати, распахнула дверь в сени. Кяршис, попыхивая цигаркой, медленно встал с лавки и закрыл.

Утром оба встают не выспавшись. Завтракают молча. Лаурукас с дурочкой разрезвились было за столом, но оба схлопотали от Кяршиса ложкой по лбу.

Кяршис вперевалку бредет к сараю с летней кухней, которая дымит с раннего утра. Солод перебродил. Остается только приготовить кадку и слить в нее сусло. Аквиле, заискивая, предлагает натаскать воды, но котлы еще не кипят. Может, дров? Кяршис мрачно кивает головой на кучу поленьев рядом с печью, в которой обычно пекут хлеб.

— А вот и перекладины от старой двери гумна, — говорит он как бы между прочим, пиная ногой деревяшку, — нашел в дровяном сарайчике. Распилены и засунуты под поленья.

— Ну и ну! — удивляется Аквиле, покраснев до корней волос.

— Там и петли. Только поглубже запрятаны. Видно, ослепла да оглохла, если не видела, как дверь

разламывали. — Подозрительно смотрит на Аквиле и выходит из кухоньки. — Бочки мыть поможешь?

Она бредет за ним к колодцу. Взяв вдвоем бочку, раскачивают, вертят так и сяк. Вода звонко булькает внутри. Аквиле все дивится, как это так странно получилось с дверью гумна, и строит свои догадки, потом рассказывает выдуманный сон: падала откуда-то в глубокое ущелье, полное огня, а там, внизу, стоял не то Марюс, не то он, Пеле.

Кяршис слушает, зыркает исподлобья, но от себя ни словечка. Не поймешь — то ли не верит, то ли не слышит.

Целый день работает молча, что-то обдумывает. Солод удался, пива выйдет больше, чем думал, но Кяршису от того никакой радости. Заквасил немножко в кувшине. Мигом поднялось. Раньше позвал бы Аквиле, дал попробовать, а тут сам отхлебнул глотка два и поставил кувшин в буфет.

Вечером старший сын старостихи принес повестку — надо вести лошадей на комиссию. Брать будут в пятницу, — значит, через три дня. Если не сможешь явиться в срок, можно привести и раньше.

Кяршис совсем сычом смотрит. За савраса-то он спокоен, — буркнул словно между прочим, — а вот буланка может немцам приглянуться. Но наутро и о комиссии замолчал, не охал больше, не прикидывал, как бы тут немцев облапошить. Казалось, примирился с судьбой: вести так вести, что тут поделаешь. А заберут так заберут, тоже что поделаешь, такова воля божья.

А в действительности его угнетала другая забота, пострашней комиссовки лошадей. Слова Аквиле, вырвавшиеся во сне, как бы лучи в темной комнате — уже можно было сказать, где что стоит. Правда, пока он видел все лишь в общих чертах и невольно старался смотреть не туда, куда падал свет, а поглубже, в тень. Боялся свести концы с концами: тогда придется сделать

вывод, а потом и меры принять… А он ведь еще не знал, что делать, когда все станет ясно до конца. На следующее утро, процедив пиво, сказал, что идет в овин набрать для свиней картошки, а сам притаился за шкафом на сеновале и прождал здесь битый час, пока не показалась Аквиле. Размахивая пустой корзинкой, она обошла все закоулки, забралась по лестнице на клевер, потом — на клади с сеном, облазила все подстрешья и спустилась. Вынула из корзины яйцо, поболтала у уха — не подкладень ли. Положила обратно, проверила второе, третье и не торопясь пошла к выходу. Кяршис не сомневался, что она его заметила, и решил, что в следующий раз его уж не перехитрить. После ужина стал охать, жаловаться на слабость, скинул пиджак, деревянные башмаки и улегся в постель. Когда баба, малость повертевшись в избе, набросила на плечи полушубок и убежала, он второпях оделся и кинулся на сеновал. И четверти часа не прошло, но ему ужас до чего надоело торчать за шкафом. Затаив дыхание он услышал в темноте, как над хлевом, зашуршала солома. Потом — скрип перекладин лесенки, шаги по сеновалу, во дворе… «Ша, Тигр, это тебе…»

Ушла. Кяршис, едва волоча ноги, побрел по двору к собачьей конуре. Тигр весело лупил себя хвостом по бокам и с хрустом уминал кости.

— Думала, ты спишь, — подивилась Аквиле, когда он вернулся.

— И-эх, какой тут сон… — Кяршис отвернулся. — На дворе был. Видать, и у меня с кишками, ага…

— Ах, с кишками… — бледнея, пробормотала Аквиле. — Пиво-то еще не перебродило… может, от него…

Ночью оба не сомкнули глаз, хотя и притворялись друг перед другом, что спят. Кяршис раза два садился в кровати, хотел что-то сказать, но, так и не собравшись с

духом, снова забирался под перину. Встал спозаранку, курил, бродил по избе, пока не пришло время кормить скотину. Пока лошади поели, позавтракал сам, потом подвел к амбару пустую телегу, погрузил бочонки с пивом: два — днищем к лошади, а третий — под облучок, поперек телеги. Запряг буланку в телегу, савраса привязал рядом к оглобле и уехал чернее тучи, как на похороны.

Аквиле, малость повременив, собрала завтрак и отправилась к Марюсу. На душе у нее кошки скребли. Она понимала, что Кяршис что-то чует и все вот-вот выплывет наружу. Последние три дня ей всю душу вымотали подстерегающие взгляды, угрюмость, непонятные вздохи Кяршиса. Она понимала: надо что-то делать, но не могла ничего придумать. Посоветоваться с Культей? Да, она сегодня же это сделает, пока Кяршис не вернулся из Краштупенай. Но что они придумают даже вдвоем? Если б неделей позже, когда Марюсова нога... А теперь вся мудрость — уповать на волю божью, как говорит Кяршис, и, ясно, ни слова не говорить Марюсу; ему и так не очень-то приятно валяться в этой одиночке, словно хорьку в капкане.

Отвалив солому от входа, Аквиле кашлянула, как они договаривались, и только тогда нырнула в нору.

Марюс лежал, скинув до пояса перину, разрумянясь, тяжело дышал. На лбу блестела испарина. Аквиле в испуге смотрела на него, держа в руке плошку: неужели вернулась болезнь?!

— Чего взгрустнула, сестричка? — зашептал он, широко улыбнувшись, и по старой привычке потерся подбородком о плечо. — Накрывай на стол и подавай завтрак, черт возьми!

— Ты такой красный... вспотел, — удивилась она; его бодрый вид успокоил ее.

— Мышцы упражнял. Гимнастика, так сказать. Знаешь, я доволен своей ногой, — хоть и болит, но уже

сгибается малость.

— Смотри не перестарайся, а то хуже станет.

Аквиле разложила на доске завтрак, а Марюс сел в постели и, набросив на плечи полушубок, принялся закусывать.

Марюс. Какой праздник сегодня?

Аквиле. Почему праздник?

Марюс. Вареники теплые, суп в миске тоже дымится. Балуешь ты меня, Аквиле.

Аквиле. Зато вчера и позавчера только по разику к тебе забегала. Тебе нужна горячая еда три раз в день. А получается раз в три дня. Что так смотришь? Ешь, ешь, пока не остыло.

Марюс. Ты какая-то… не такая, Аквиле…

Аквиле. Ночью плохо спала. Говорила же вчера, немцы велели деревне вести лошадей на комиссовку. Кяршис третий день ходит туча тучей.

Марюс. А-а, понятно — оплакивали своих лошадок.

Аквиле. Зачем надо мной издеваться? Лошади лошадьми, но и без них хлопот достаточно.

Марюс. Вот, скажем, я в этой подпольной гостинице…

Аквиле. Перестань! Гедиминас все еще не показывается, вот что! Можно подумать, что боится немцев, ждет, пока они не уберутся из Лауксодиса. Но ходит упорный слух, что Гедиминаса забрало гестапо.

Марюс. Хм… Очень даже вероятно. Но я немного знаю его, так что думаю, до этого дело не дошло… Наверное, старый Джюгас нарочно пустил слушок, Гедиминас прячется дома, скажем в сене, вот как я у тебя.

Аквиле. Нет, дома Гедиминаса нету. Недавно я бегала помогать Джюгасу, он мне все как есть рассказал. Сам дня три назад ездил в Краштупенай Гедиминаса искать. Нет, старик врать не станет. Если бы даже захотел, не сумел бы такое выдумать.

II

Гедиминас вышел из дому вечером того же дня, когда Адомас, составив опись имущества, уехал вместе с полицейскими пировать к Кучкайлису. Миколас Джюгас обрадовался, что удалось убедить сына на время убраться подальше от Лауксодиса; теперь, когда они навлекли на себя гнев властей самоуправления, можно было ожидать чего угодно.

Пока немцы держали деревню в осаде, Миколас Джюгас не волновался за сына. Но когда отменили запрет въезда и выезда и до него все настойчивее стали доходить слухи, что Гедиминаса арестовало гестапо, старик не на шутку забеспокоился.

Переждав денек-другой, он прицепил к лацкану пиджака крест и уехал в Краштупенай. В полицейском участке, распахнув полушубок так, чтоб был виден орден, попросил дежурного отвезти его к Адомасу Вайнорасу. Ему строго, хоть и не без уважения, ответили: господин Вайнорас находится на излечении, временно его заменяет вахмистр Бугянис, который приказал по личным делам никого к нему не пускать. Уступив настойчивым требованиям, Миколаса Джюгаса все же впустили в кабинет начальника полиции. Однако Бугянис довольно-таки злобно отрезал, что не знает и знать не хочет о господине Гедиминасе Джюгасе. Да вообще мало чести для него разговаривать с саботажником. Между прочим, добавил он, спрячьте-ка вы эту железку, а то если на нас она и производит впечатление, то на немцев никакого.

Миколас Джюгас послушался совета Бугяниса — к зданию гестапо подошел в полушубке, застегнутом до подбородка. Но часовой, размахивая автоматом, отогнал его прочь. Не оставалось ничего другого, как поспрашивать у знакомых, — с этого, пожалуй, и

следовало начинать. Он подумал, что Милда может знать о Гедиминасе больше, чем любой другой, и решил начать с нее.

От гестапо он направился через базарную площадь, на которой до войны проводились митинги и демонстрации, а еще раньше здесь отмечали национальные праздники. Тогда по площади маршировали шаулисы, младо-литовцы, члены школьных и еврейских организаций. Перед костелом, на краю площади, высился за железной оградой памятник добровольцам — создателям буржуазной республики, погибшим в 1918–1920 годах. Миколас Джюгас, срезая угол, пошел к памятнику. Но, еще не доходя, он почувствовал: здесь что-то не так. То ли чего-то не хватает, то ли что-то лишнее. А когда наконец понял, что перед его глазами, его прошиб холодный пот и волосы под шапкой встали дыбом. Первой мыслью было броситься назад, но тут же мелькнула другая, от которой сжалось сердце.

Он брел прямо к деревянной раме, поставленной против памятника, похожей скорее на футбольные ворота, чем на виселицу. На перекладине, в полуметре друг от друга, висело пять трупов. Над их головами, словно приветствие гостям, растянулось белое полотнище с надписью: «ТАКАЯ СУДЬБА ЖДЕТ ВСЕХ КРАСНЫХ БАНДИТОВ И ИХ ПОСОБНИКОВ». Вчера полдня валил мягкий снег, ночью подморозило, и теперь на головах повешенных высились белые шапки. Меж пальцев ног, в уши и разинутые рты набился снег; на фоне почерневших тел он казался слишком уж белым и ненастоящим. Скрипели замерзшие веревки — трупы раскачивались под порывами ветра, поворачиваясь то спиной, то боком друг к другу, сталкиваясь широко расставленными ногами; этот стук словно аккомпанировал скрипу веревок, трущихся о перекладину.

Миколас Джюгас снял шапку. Площадь опустела и раздалась вширь. Где-то слева и справа по тротуару шли люди, но они были далеко и не больше муравьев; и дома, и костел тоже стали удаляться, уменьшаться; город, как огромная льдина, раскололся надвое, и половинки раздвинулись, оставив его, Миколаса Джюгаса, одного.

В ужасе он бросился бегом мимо памятника к тротуару. От железной ограды отделился человек и шагнул навстречу, но Миколас Джюгас, забыв надеть шапку, бежал прямо на него валкой походкой, торопящегося пахаря.

— Знай, перед кем шапку снимать, падаль!

В лицо дохнуло запахом лука, в глазах потемнело от удара, и Миколас Джюгас скатился на мостовую. Когда он поднялся, человек стоял, прислонясь к ограде, скрестив ноги в хромовых сапогах (руки в карманах); треугольное лицо, высовывающееся из поднятого воротника, усмехалось.

— За что, барин? — спросил Джюгас, дрожа от ярости и обиды.

— Вы полюбуйтесь, ему еще мало! А знаешь, что двое вроде тебя уже сидят там, где им мигом отобьют охоту кланяться красным висельникам? В гестапо не желаешь? Благодари бога, что я сегодня добрый.

— Чего вам?

— Я хотел повидать госпожу Берже… госпожу Вайнорене. Я Миколас Джюгас из Лауксодиса.

Дверь открылась пошире. Молодое, чем-то знакомое женское лицо, поначалу испуганное, просияло радостной улыбкой.

— Заходите, дядя Джюгас. Не узнаёте?

— Мигрáта!

— Она самая. Пожалуйте в дом, дядя Джюгас.

— Скажи на милость! Ты что, из поместья сбежала?

— Вроде бы так получается, дядя Джюгас. Ну, заходите, заходите. Чаю поставлю. Небось как приехали, так и не ели?

Миколас Джюгас был так удивлен, что и не заметил, как Миграта сняла с него полушубок. Он покорно следовал за ней из комнаты в комнату, пока они не обошли весь дом. Пианино, ковры, зеркала, радиоприемник. Она обращала внимание гостя на каждую вещь. А когда настал черед туалета и ванной, она даже показала, как спускать воду, и предложила помыться по-городскому.

— Видели, какие красивые гардины? — говорила она, усаживая Миколаса Джюгаса на кухне за столом, заставленным грязной посудой. — А пол-то какой! Да и всюду светло, просторно, аж блестит! Ох, дядя Джюгас, чего еще хотеть? Вы бы видели, сколько всякого добра в шкафах! Платья, кофты, туфли… Эх, если бы она еще была моего роста!.. Ладно, и так сойдет, будет что на сало менять.

— Хм… Так как же это так? — пробормотал Миколас Джюгас, совсем сбитый с толку. — Ты, Миграта, так себя ведешь, будто ты тут хозяйка.

— Она и есть, дядя Джюгас! — Миграта рассмеялась. — Как примчалась той ночью из поместья в Краштупенай, не думала, что так получится. Ну, господа немцы очень приятные господа. Они меня до утра не отпускали. А рано утром пришел Адомас и привел меня домой. Госпожу Милду уже к тому времени увезли. Говорят, на такой ледник, где покойников держат. Ну, этого я тогда еще не знала. Адомас сказал, что с ней развелся и хочет, чтоб я у него побыла. Вот я и осталась. Да уж, господь бог кого полюбит, на того крест накладывает. Первый, второй день еще туда-сюда, а потом — все хуже и хуже. Может, оттого, что барыня отравилась или бандиты так его перепугали. С лица спал, глаза малюсенькие стали, и из них будто

нечистая сила глядит. То рассмеется ни с чего, то закричит так страшно, то скажет что — ни два, ни полтора… Или ночью как вскочит, как забегает по комнате, как раскричится: «Задушил, задушил, задушил!» Какой сервиз был, вы бы видели! Ударила дурная кровь в голову, схватил бедные тарелочки — и одну за другой об пол! Выпивши, оно известно, спьяну — одно, а уж трезвый — другое дело. Врачи, они понимают, знают, что к чему. Говорят, через месяц-другой вернется здоровый. Съездила бы к нему в этот желтый дом проведать, да не с кем квартиру оставить. Столько добра, а воров теперь…

— Давно? — буркнул Миколас Джюгас, немного придя в себя.

— Неделю будет, как увезли.

— Я про барыню… Милду. Как это… она…

— Кто может знать. Адомасу не охота было про нее говорить, а я и не приставала. Отравилась, ну и отравилась. Ох, жалко человека, что и говорить, ну, раз так господь порешил, значит, ему виднее, и на том спасибо. Сюда такой черный офицер заходит. Очень ласковый. Ну, лучше, чтоб не заходил… — Миграта запнулась и покраснела. — Так он мне как бы по секрету, дядя Джюгас, хотя какой тут секрет, если весь город болтает… Сказал, она читала запрещенные газеты, с бандитами снюхалась, а когда увидела, что гестапо все известно, отвечать придется, себя и порешила. Адомас, что греха таить, мог бы ее вытащить, ну, они давно друг друга не любили. Я-то это знаю, дядя Джюгас.

— А как же, Миграта, ты знаешь, — кивнул Миколас Джюгас, совсем потеряв голову.

— Мы-то с Адомасом уже с прошлого года, дядя Джюгас. Я давно по нему сохла. Нравился. И я ему тоже. Как приехал тогда с Лауксодис из-за вашего хозяйства, надеялась, не объедет поместье стороной. Сварила

господам ужин, прибрала у себя в комнатке, а сердце... Ох, откуда вам знать, что делается с девкой, когда ей парень нравится! Думаю себе: у него жена, вроде бы грех, но если иначе поглядеть, кто виноват, что она баба хлипкая? Такому мужику, как Адомас, — и жить с этакой перчаткой? Мелкая, сухонькая, а бледнющая! Из сушеной кленовой доски больше соку выдавишь, чем крови у госпожи Милды было. Что с такой, скользит промеж пальцев, как кудель. Мужику надо, чтоб было за что взять. Так вот, прибралась я у себя в комнате, дядя Джюгас, а сердце бим-бом, бим-бом — ну прямо колокол! Уже и ночь на дворе. Ветер, холодно, а машины его все не слыхать. Неужто господин Адомас укатил в Краштупенай, минуя мою постельку? Сказалась барыне, что к матери надо сбегать, полушубок накинула — и в деревню. А наша изба, как помните, третья, если считать от старостиной. Шумят они там, еще не выбрались! Повернулась — и ходу в поместье. Раз так, запорхнет голубок, никуда не денется. Весело стало, дядя Джюгас, чуть не запела я. И тут господь меня вовремя упредил, промолчала. Это было первое явление его святой воли, и сразу же, я еще по аллее шла, второе явление: приспичило мне. Поместье поместьем, но там только у господ такие удобства, как вот тут, — сидишь в тепле и можешь воду спустить, а наш, батрацкий нужник сразу за хлевом, если приходилось видеть. Ох, дядя Джюгас, как хорошо-то вышло, что он там! Я уж кончаю, как вдруг — мужские голоса. Чужие! Волосы на голове дыбом... Не помню уже, что там говорили, ну, а я подозревать стала. Тут как услышала по-русски, дядя Джюгас, сердце сразу — ж-жых! — в пятки! Сижу, не знаю, что делать. А двери-то хлопают, люди кричат и по-нашему, и по-ихнему болбочут, по-антихристовому: «Всех в большой зал! Живо!» Ну, тут последнему дураку ясно, что за гости пожаловали. Когда нужда приспичит, сразу

ума-разума наберешься. Ох, сама не пойму, как это у меня так складно получилось! Ну, это уж как пить дать, дядя Джюгас, господь вел. Если б не такой лютый ветер, они услышали бы. Но я тоже не дура: вывела лошадь через дверь коровника, а потом гоп на нее — и прямо по полям! Господь хранил, а черт нес — очень быстро, дядя Джюгас, я добралась до Краштупенай. Не хотели впускать в комендатуру. Ну, я как разорусь на всю улицу: «Бандитен, бандитен!» Прибежал человек, что по-литовски умеет. Выложила ему все с подробностями, не стесняясь того дела за хлевами. Ох, дядя Джюгас, что там началось! Как затрясутся, как забегают! Телефоны звенят, двери хлопают. А меня — под стражу и в другой дом. Гестапо прозывается, я потом узнала. Отвели к такому серо-зеленому офицеру — не к тому, который повадился сюда лазить, к другому, над всеми ими начальнику. Оказалось, знакомый, не раз бывал у господина Дизе в гостях. Очень ласковый барин, дядя Джюгас, такой, знаете, душистый, улыбчивый. Дал мне комнатку побыть до утра, ну, поставил солдат у двери, чтоб бандиты, как он сказал, меня не похитили. А утром, как я уже говорила, пришел Адомас в тот дом, к начальнику черных. Бледный весь, дрожит. Смотрит на меня просто страх какими глазами, губы трясутся, слова сказать не может. Как будто немой, дядя Джюгас, или костью подавился. А начальник черных весело улыбается, хлопает его по плечу. Говорит, нечего унывать, все уладим, комар носу не подточит. Мало ли добрых женщин на свете, говорит, и знай Адомаса по плечу хлопает. Посмотри, говорит, на эту героиню. Арлянская дева как вылитая. Если б не она, висеть бы тебе на люстре рядом с Кучкайлисом. Забирай покамест ее, говорит, только такая женщина может теперь тебе помочь. Покамест! Вот тут он, дядя Джюгас, дал маху. Это я сразу поняла, как только мы вместе зажили. Даже смешно, что влюбленный мужик

делается как дитя малое. Придет, бывало, домой — и с порога ко мне. Ни минутки один в комнате… Я на кухню — и он туда, я в комнату — и ему там надобно. Ох, дядя Джюгас, как будто я кусок сала, а он изголодавшийся кот. Даже ночью, когда вставал по нужде, будил меня, а если мне надо, поднимался с кровати и бродил под дверью, пока не управлюсь. Просто чудеса — горячая любовь. Ох, как одарит господь, так одарит, дядя Джюгас. Не задарма ведь и я его, господа нашего, чту, но такого счастья, чтобы барыней заделаться… Ого! Жирный кусок отхватила, нечего сказать.

Пока Миграта своим неторопливым, воркующим говором изливала душу да собирала чай, Миколас Джюгас ни разу не поднял на нее глаза. Мысли стали на свои места, вошли в колею, но в сердце была такая пустота, что у него не было сил встать, хотя он знал: надо уходить, да побыстрее.

— На базарной площади пять человек висят. — Он сурово посмотрел на Миграту. — Пятеро за одного…

— Ох, дядя Джюгас, какой ужас! Средний — наш Фрейдке. Говорят, не дался живьем. Ну, все равно повесили. Чтоб другим не повадно было.

— Могли висеть шестеро, если б одного не убили этим летом.

— Шестеро? Для шестерых перекладина коротковата, дядя Джюгас.

— Вот это правда. Твой отец широковат в плечах был, не уместился бы, но им ведь нетрудно подыскать перекладину и подлинней. — Миколас Джюгас оттолкнул в сторону поставленный перед ним стакан чаю и встал.

— Боже мой, с чего это вы? — Миграта удивилась, еще больше огорчилась и схватила старика за рукав. — Ну, садитесь, дядя Джюгас, покалякаем. Знали бы вы, как я по деревне соскучилась! Все тут городские,

гордые, нос от меня воротят. Все одна да одна. Так и говорить разучишься.

— А офицер черных? — Миколас Джюгас резко дернул рукав и направился к двери.

— Какой там у него разговор. Чужой все равно, боюсь его. Лучше б не лазил, пока нет Адомаса, этот офицер. Ну посидите, дядя Джюгас…

Миколас Джюгас, не глядя на Миграту, напялил полушубок и, не попрощавшись, вышел на улицу. Но еще не скоро он почувствовал боль в разбитой скуле. В голове звенело, сердце то и дело охватывал холод из-за всего того, что услышал он от придурковатой девки, а в глазах маячила она сама — в куцем халате с чужого плеча, с голыми коленками, голыми по локоть руками, в какой-то странной вязаной шапочке.

III

Аквиле. Нет, Марюс, Гедиминаса, правда, нету дома. Старик обошел всех знакомых, но никто ничего толком не знает. Только дворник гимназии сказал, что видел Гедиминаса у виселицы, куда немцы согнали всех, кого схватили на улице, чтобы смотрели, как исполняют приговор. Рядом с Гедиминасом стояли двое штатских, а потом его куда-то увели.

Марюс. Жалко его, но сам виноват. После того как он отдал Путримасу и Пуплесене продукты, предназначавшиеся для немцев, мы встречались. Я сказал ему, что для него нет другого выхода, как пойти с нами. Не захотел марать интеллигентские ручки. Чего так уставилась? Удивляешься, что все вареники умял?

Аквиле. Вы встречались?

Марюс. Что тут странного? Охотно бы встретился еще раз — вдруг Гедиминас набрался ума-разума. Боюсь только, что ум-разум ему уже не понадобится.

Аквиле. Если Джюгасы помогли Пуплесене и Культе, то они молодцы. Не знала.

Марюс. Вот и не знай. Такими делами сейчас лучше не хвастаться. Да, есть хорошие люди, хоть они и слабы — ведь одной добротой не победишь. Зато еще больше сволочей, которые сами, правда, крови не проливают, но… Бедный Пуплесис! Если б воскрес, тут же бы умер от позора и горя — родные дети предают!

Аквиле. Кястумерас уже вернулся с трудовой службы рейха. Всю осень ходил помогать на молотьбу.

Марюс. Выродок. Мигрите я бы сам шею свернул. Два моих парня, такие молодцы, из-за нее погибли… А убийца удрал. Конечно, тебе больно, что я так про твоего брата, но слова из песни не выкинешь.

Аквиле. Адомас мне не брат, Марюс. С самого начала войны мы с ним чужие. А Милду жалко. Когда Джюгас сказал, я долго плакала.

Марюс. Странно… Госпожа начальница и подпольные газеты… Как-то не вяжется. И кончать с собой, когда муж, начальник полиции, мог дело замять. Неважно, что не дружно жили. Не верю, и все. Тут что-то не так.

Аквиле. И у меня не умещается в голове, Марюс. Я была у нее в тот день. Угощала она меня, играла на пианино. Веселая была. Хоть бы словечком обмолвилась о политике или там газетах. Насколько ее знаю, она любила наряжаться, весело проводить время, но заниматься политикой… Очень странно. Вот будет удар для Гедиминаса, когда он узнает. Кажется, они всерьез любили друг друга.

— Да, если узнает… — Марюс невесело улыбается.

Аквиле печально качает головой. Побросала в корзину миску с ложкой, вилку, вынимает из нее зеркальце, посудину с водой и бритву Кяршиса. Марюс тихо смеется: честное слово, он чувствует себя как в страстную субботу. Может, она ему и баньку затопит? О,

чистое белье! Приятно, что и говорить. Наконец-то свое вернулось. В исподнем Кяршиса, признаться, не очень-то ловко он себя чувствовал... У Пеликсаса и грудь пошире, и плечи... Молодец Аквиле, хорошо, что подумала о бритве, — праздник так праздник. А бритва неплохая... Лезвие стерто, черенок треснул. Видно, от покойного отца. А что, если эта бритва оживет? Скажем, вдруг возьмет и обратится Кяршисом. Сразу полоснет Марюса Нямуниса по горлу. Изба, четыре гектара земли...

Кровь приливает к лицу Аквиле: о многом они успели переговорить, но свои раны не трогали. Имени Кяршиса не упоминали — обходили как-то или призывали на помощь местоимения. А если невзначай кто и обмолвился, то Кяршис звучало как наименование какого-нибудь цвета или вещи. Он был рядом, как солома над хлевом, как стойло савраса, но не между ними. Почему Марюсу захотелось позвать сюда третьего человека, когда вдвоем так хорошо? Это неизбежно, конечно, — рано или поздно... Но почему сегодня? Когда этот третий так далеко? Зачем звать третьего в день, который может принадлежать им обоим?

Подавленная, она смотрит на Марюса, ссутулившегося перед зеркальцем. Шуршит помазок. Струйка пара из приоткрытого рта. Святочная маска кривляется в тусклом свете потрескивающей коптилки.

Пока он побреется, она сходит в избу — и так уже засиделась. Может, пригласить Культю, вряд ли скоро представится такой случай? Марюс качает головой: нет, она его не застанет дома — Путримас сегодня занят делами поважнее, чем посещения больных. Откуда ему известно? Да он был здесь ночью...

— Пятрас? Здесь?! По ночам?!

Почему по ночам? Только раза два приходил. И поверь, не ради собственного удовольствия.

— Нельзя Культе сюда по ночам! — чуть не кричит Аквиле. — Кяршис… Можно себя и других погубить!

— Знаю, Аквиле. Не думай, что я только о себе пекусь. Будь это так, Путримас не заходил бы этой ночью.

…Когда она собралась снова на сеновал, в избу влетела Юсте. Веселая, быстрая, как всегда. А трещит — слова не дает сказать. Пока сообщит, зачем пожаловала, Аквиле должна выслушать все, что сейчас заботит сестру.

О господи, из-за этих немцев от тоски хоть удавись. Бывало, по воскресеньям танцевали до поздней ночи, а теперь вечером скот покормили — и по домам. Где уж тут растанцуешься днем! Эти бандиты такую всем свинью подложили — прямо беда! Не могли найти другую деревню и другого Кучкайлиса, черт их в Лауксодис принес! Ладно, хоть были бы немцы поинтересней. Один, правда, ничего — не плешивый, не седой. Можно сказать, молодой даже. Фельдфебель. А танцует — просто прелесть. Да, этот и в самом деле «зер гут».

Только полчаса спустя Аквиле узнала, что это мать прислала сестренку, просит заглянуть к ней сегодня. Худо дело со старухой — не на шутку скрутила болезнь, с постели встать не дает. Но пока Аквиле выпроваживает Юсте домой, проходит еще полчаса. Не так уж много времени до обеда. А потом жди и Кяршиса…

— Думал, не придешь.

В тайнике не рассеялся еще запах погашенной сальной плошки. Может, отодвинуть солому у стрехи? Просочилось бы немного света. Она так хочет увидеть его лицо без маски мыльной пены!

— Знаешь, о чем я думал, когда ты ушла?

— ?

— Так захотелось выбраться из этой проклятой душегубки, сесть по-человечески за стол, что чуть не расплакался. Ты понимаешь меня, Аквиле?

— Понимаю, Марюс, как не понять.

— Прошлой ночью мне приснился он, наш мальчик. Я качал его на коленях, а он теребил мои волосы. Когда ты ушла, я вспомнил сон и представил себе, как ты ходишь по избе, а он бегает за тобой, уцепившись за юбку.

— Он очень привязан к Юлите…

— Юлите… — Марюс молчит, тяжело дышит. — Она про меня вспоминает?

— Часто заговаривает, но знаешь, ее разговор… Тоска берет.

— Да-а. Такому человеку лучше не жить… А наш мальчик уже говорит?

— А как же, Марюс. Все понимает. Будь он меньше, я бы что-нибудь придумала, чтоб ты мог его увидеть. Но сейчас никак нельзя, Марюс.

— Знаю, что нельзя. — Темнота впитывает прерывистый шепот, снова наступает тишина. Шуршит, оседая, солома. — Мне ничего нельзя, Аквиле. Рядом сынишка, сестра, но у меня нет права их обнять. Вряд ли переступлю порог родной избы, стану на колени у могилы отца и Генуте. Вряд ли…

Она прислонилась коленями к его постели. Уже не чувствует плечами жестких решетин. Невидимые руки протянуты к ней, и она наклоняется, наклоняется навстречу им… Черная пустота…

— Война скоро кончится, Марюс… — Аквиле хотела бы сказать, чтоб он, когда поправится, не уходил в лес — столько людей укрываются от немцев и не воюют, но сама пугается этой мысли. — Ты вернешься в Лауксодис и, если захочешь… Если захочешь, все будет, как было.

Он молчит, мучительно долго молчит. Лица обоих так близко, что они чувствуют дыхание друг друга.

— Вернусь. Понятно. Должен вернуться… — Запнулся. Медлит затаив дыхание, словно боится, как бы вместе с воздухом не вырвались слова — еще не обдуманные, рожденные только чувством, — которые отняли бы у обоих последнюю надежду. — Я столько хлопот тебе причинил, Аквиле. С тем советским летчиком тебе было проще…

— С летчиком?..

— Да. Путримас рассказывал. Ты предала нашу любовь, но осталась человеком. Спасибо, Аквиле.

— Предала… Если бы ты знал…

— Знаю: думала, что погиб. Не укоряю. Не много таких женщин, которые не хоронят любовь вместе с любимым. После войны, Аквиле, не только я не найду той, что ждет.

«Я тебя буду ждать, Марюс! Буду! Я все еще люблю тебя…» Но она сдерживается: слова показались бы насмешкой. Оказывается, иногда правда может прозвучать как издевка!

— Ты не знаешь всего, Марюс…

— Когда мне было тяжело, я вспоминал дом. Мать, отца, сестер. Я не представлял их без тебя. Ты сидела перед печью, распустив косы, как в тот вечер, когда мы, промокнув до нитки, вернулись с озера. А у тебя на коленях наш сынишка. И я вдруг открывал дверь и входил в избу… Сколько надо для первой встречи? Несколько минут. А я промечтал об этом много-много часов. Иногда мне казалось, что истинный смысл борьбы именно в этой минуте встречи: когда думал о ней, забывал о солдатской доле.

Аквиле, как во сне, поднимает руку и медленно погружает ее в шуршащую темноту. Его лицо наверняка влажное — почему-то она твердо в этом убеждена. Она хочет погладить его мокрые щеки. Но приглушенный вздох останавливает руку. И снова шепотом льются тоскливые слова. Грохочут поезда, в которых стонут

раненые. Кровавое поле боя. Открытыми ранами зияют ямы, вырубленные в мерзлой земле для погибших. «Вдруг открывал дверь и входил в избу…» Прямо с поезда, с мертвого поля, от ям, чернеющих в снегу. Входил в свою избу, чтобы пожить мечтой, которой не суждено было сбыться.

— Прости, если можешь, Марюс.

— Я сказал: не осуждаю. Было время, когда не мог оправдать, но тогда многого не знал о тебе.

— А сейчас? Сейчас ты все знаешь?

Он молчит.

Тогда она наклоняется еще ниже. Так низко наклоняется, что чувствует тепло его лица, которое ласкает ее щеки, как птица крылом. А может, это ее собственное тепло от жаркого шепота? Ей нечем, совершенно нечем оправдаться. Да она и не хочет. Ей только до боли жалко, что нельзя вернуть того, что было, — вечеров на обрыве Гилуже, запаха сосен, хмельного гула пчел на разноцветном июньском лугу. Но покажи мне хоть одно мгновение, Марюс, которое повторилось бы точно таким, каким было…

Прерывистое дыхание.

Она касается кончиками пальцев его щеки. Влажной, дрожащей. И тогда темнота протягивает к ней руки. Горячие, нетерпеливо ждавшие. Множество рук. Обнимающих шею, плечи, все тело, — и она, радостно повинуясь им, приникает губами к губам.

— …Ты обрезала косы… ……

— Между жердями широкая щель. Вот тут, у изголовья. Вчера ночью я разгреб солому и до обеда прождал. Видел, как вы с Кяршисом скотину кормили.

— Бог с тобой!

— Я думал, в хлев забежит наш мальчик… Ты могла бы его привести. Возле стойла хорошо видно. Он

называет Кяршиса папой?

— Марюс, ах, Марюс…

— Почему ты дрожишь? Ничего страшного. Я эту солому ночью… А из хлева щели не заметишь. Да и чего Кяршису вверх смотреть?

Она колеблется, но страх берет свое. Чего ему вверх смотреть? А что ты знаешь? Может, он уже не первый день что-то чует.

И она осторожно, стараясь успокоить и себя и Марюса, делится своими опасениями.

Долгая тишина. Кажется, он всерьез озабочен.

— Почему раньше ничего не говорила? Не удивлюсь, если он сегодня явится не один. А может, придумает что-нибудь более разумное. Скажем, договорится с каким-нибудь немцем из деревни и выкурит меня из этого уютного уголка. — Марюс глухо рассмеялся. — Да чего там выкуривать, сам выйду. Лучшее, что я смогу сделать, — это вложить в рот пистолет и спустить курок. Но нет — им нужен живой Марюс. Знаю я фашистскую натуру. Иначе выстроят вас всех перед хлевом. Будет пять трупов.

— Не говори так!

— Говорю, как может быть.

— Боже мой, боже…

— Не хотелось бы так глупо голову сложить. Не себя жалко: много дел недоделанных. Нужен я друзьям. Если бы хоть на несколько дней позже. Паскудно все сложилось!

— О-о, это из-за меня, все из-за меня. Я виновата, Марюс!

— Успокойся. Может, еще обойдется. — Снова этот неприятный приглушенный смешок. — Иногда имеет смысл помечтать о ближайшем будущем…

Она вдруг вскочила на постели. Спасение! Конечно, если этой ночью ничего не случится.

— Слушай, Марюс! Слушай! — Вцепилась ему в плечи, трясет. — А если к Джюгасу? А? Старик бы ночью за тобой приехал… Хутор, как и у нас. Человек хороший. Один. А, Марюс? Я могу хоть сейчас…

— И не думай!

— Не доверяешь! Такому человеку…

— А что, если на его хутор завтра-послезавтра другой приедет? И если начистоту — с какой стати я должен ему доверять? Хороший человек, говоришь? Много хороших, а помашет пальцем смерть перед носом… Крестьянин может засеять поле соседа, когда тот захворает, но умирать за него…

— Мы с отцом ведь русского солдата…

— А мне твой отец ничем не может помочь.

Да, это правда… Она на ощупь накидывает платок, надевает полушубок — пора кормить скотину. Потом оба застывают в долгом поцелуе, словно прощаясь перед далеким, опасным путешествием, из которого мало надежды вернуться.

IV

Посреди двора — дубовый сруб колодца. Тропинка к хлеву, тропинка к избе. В летнем загоне для скота валяются пустые корзины. Конура Рыжика. Все как два года назад, когда, провожаемая материнскими проклятиями, она покинула родной хутор.

Угловое окно горницы. Белые ставни с сердечками. На ночь мать их закрывала, но Аквиле смазала жиром петли, чтоб не скрипели.

Пруд за гумном. Здесь ее ждал Марюс… Господи, какими короткими, полными тревожной радости бывали летние ночи!

Рыжик мечется на цепи, кажется, живьем съест.

«А были такие друзья…»

— Ша-ша, Рыжик! Не узнаешь?

Между амбаром и избой — вишенник. Заспанное декабрьское солнце глядит сквозь голые сучья. Огненный снаряд, рассыпавшийся на осколки перед тем, как вонзиться в землю. Подтаявший снег пахнет ветром. Капает с крыш. Полысевшая местами кровля хлева чернеет от голубей. Как все похоже на раннюю весну!

Навстречу выбегает Юсте.

— Чего во дворе торчишь, — упрекает она. — Вот еще барыня, просить ее. Будто забыла, где дверь?

— Отец дома?

— Обедает. Только что из Краштупенай вернулся.

Аквиле хотела бы посидеть на кухне с отцом, но успевает только поздороваться. Юсте вталкивает ее в жилую избу. Без разговоров, без разговоров, госпожа Кяршене. Для такой гостьи вообще-то место в горнице, но там холодно — не топили.

Юргис сидит в углу у радиоприемника. В деревянных башмаках, в пиджаке, к которому прилипла труха, — как пришел из хлева, покормив скотину, так и уткнулся в газету.

— Этот свиненок каждый раз весь хлев притаскивает на ногах в избу. Не успеваю убирать! — ругается Юсте.

— А-а, барышня Аквиле. — Юргис, не вставая, сует руку сестре. На лице скупая отцовская улыбка. Как он вытянулся за последний год. — Жалко, раньше не пришла: увидела бы Юстиного ухажера.

— Поговори еще! Воняет тут! Уноси-ка вон свои из-навоженные башмаки!

— С учителем заходили, — подзуживает Юргис. — Думал, вместо свата прихватил. О, учитель охотно бы этим занялся. Немцы школу заняли, времени у него хоть отбавляй.

— Хватит болтать! — Юсте, подскочив к Юргису, стаскивает с его ног башмаки и швыряет в сени. — Не можешь переобуться как человек. Ей-богу, в следующий раз брошу в печку.

Юргис добродушно улыбается, шевелит широкими ступнями в серых шерстяных носках.

— Видишь, Аквиле, какая она чистюля. Этот фельдфебель совсем ей мозги закрутил. Ты бы видела, как она тут трещала, когда они с учителем заходили. Хабт, хате, гезагт, ух вей бум... Пять слов, да и те на литовский лад. Правда, господин учитель по-немецки так и шпарит, но и без переводчика у Юсте с этим пруссаком все как по маслу идет. Морг, дёрг, хи-хи да ха-ха. Беда только, что кавалер сегодня не с той ноги встал.

Юсте, подскочив к Юргису, тузит его кулаками по спине, даже в волосы вцепилась, но брат гнет свое. «Я, я, дас ист нихт гут». Плохо дело с сородичами господина фельдфебеля. Дотопали до Черного моря, а вот уже и Гомель отдали. За год уложили четыре миллиона солдат и потеряли две трети русских земель. Если немцы и дальше будут так пятиться, успешно «сокращая фронт», то в косовицу от жениха Юсте и духу не останется в Лауксодисе.

— Наш дурачок Юргялис собирается заделаться генералом, — потешается Юсте. — Нарисовал карту «сто километров туда-сюда». Смех, да и только, как он «занимает» города, начитавшись немецких сводок, а потом послушает по радио литовцев из Москвы и «отдает» эти города русским. Ей-богу, я буду не я, если наш дурачок не влипнет, слушая Москву.

Юргис хихикает в кулак: чего бояться таких идиотов, как немцы…

— Я сказал этому длиннорылому фельдфебелю — нос у него как аистов клюв, — что они давно могли взять Москву, если б поприличнее вели себя в

оккупированных краях. Но учитель перевел иначе. Тогда я спросил, что они собираются делать, когда большевики подойдут к самым границам Литвы. Учитель опять соврал. Трус! Ясное дело, откуда этот дряхлый фельдфебель может знать, как Гитлер повернет политику, но он был бы последним ослом, если бы не дал Литве независимости. А если б дал, мы бы все — за оружие, встали на государственной границе — ни одного на нашу землю. А немцы пускай на своей границе стоят.

Юсте фыркает, подталкивает Аквиле. Ей-богу, обхохочешься! Наш Юргялис станет на границе, и все русские, как воробьи, увидев пугало, бросятся врассыпную.

— Лучше сопли утри, чем чепуху городить, — вставляет отец, выйдя из кухни. — Тоже вояка.

— Вояка не вояка, а знаю чуть побольше, чем пишут газеты вашего фельдфебеля. — Юргис снимает с этажерки какую-то книгу и, не теряя достоинства, топает на кухню.

— Читай, читай всякие вонючие листки, пока не попадешься! — кричит ему вслед отец. — Вот сопляки! Они русского за грудки схватят, когда немец, такая силища, его одолеть не может. Что нового у вас, Аквиле?

«Что нового?.. Много, очень много нового, отец...» Правда, почему бы с ним не поговорить? Почему не рассказать все, как есть? Неужели и он, как Марюс, думает, что Миколас Джюгас не ляжет в кровать умирать за другого?

— Зашла маму проведать, — нетвердо говорит она. — И по вас соскучилась, хорошо бы поговорить...

— Ну, ну? — подбадривает старик.

Аквиле косится на дверь комнаты, за которой лежит мать. Открыта. Слышно, как скрипит кровать. Проснулась. А может, и не спала?

— Могу уйти, раз такие секреты! — обидевшись, вскакивает Юсте.

— Какие тут секреты, Юстяле! Сиди, — успокаивает сестру Аквиле. — Кяршиса не встречал, отец? Как там с комиссией? Пеле очень боялся за буланку.

Отец крякает, мнет пожелтевшими от табака пальцами рыжие усы. Эх, немец уже не тот, что прежде. Многие пытались подмазать комиссию, но мало кому удалось. Рубили без жалости. Если только лошадь помоложе да получше, квитанцию в зубы — столько-то будет со временем выплачено — и на станцию. Но те, которые сегодня на комиссовку явились, могут еще благодарить бога — только лошадей забрали. А вчерашних раздели догола — с телегами взяли, со сбруей. И по человеку на каждую лошадь. Самим придется доставить на место своих кормильцев. А где это место, никому не ведомо. Говорят, один из комиссии обмолвился, что эти лошади с телегами нужны под Ленинградом. Патроны, продовольствие подвозить к окопам, а оттуда — раненых. Навидаются люди, чего не видели, сохрани их господи!

— Гитлер, видать, додумался-таки, чем Ленинград взять, — насмешливо обобщает отец. — Куда уж тебе, мил человек, прошибить фронт лошадиными копытами, если третий год все твои военные машины ничего поделать не могут.

— Будет тебе врать! — кричит из своей комнаты Катре Курилка. — Научит он ученого, баранья голова, как воевать. Лучше стань на колени да помолись богу, что лошадь не забрали.

Отец сразу сникает.

— Да уж, пронесло. Может, старшина заступился или вообще счастье выпало… — Запнулся, прячет глаза, но Аквиле ясно, что он думает: «Адомас все равно начальник полиции, хоть и с ума спятил…» — А у Пеле буланку… Ладно, чего тут горевать, не у него одного

такая беда. Надо бы радоваться, что под вчерашний удар не угодил.

— Чего ты Кяршиса жалеешь! — снова Катре Курилка со своей кровати. — Из-за него немцы у нас такого арденнского битюга увели! Пускай покусает локти, будет знать, как другому сладко было. Нет уж. Кяршиса ты не переплюнешь, не жалей. Сегодня потерял, а завтра он вдесятеро сорвет. Умеет жить, не то что ты, губошлеп несчастный.

Аквиле встала. Ах, за милую душу ушла бы, не заглянув к матери.

— Как ваше здоровье, мама?

— А-а, это ты? Нашла-таки дорогу к дому?

Старуха сидит на кровати, прислонясь к горе подушек. Седые космы растрепаны, лицо землистое, задубелое, как сушеный гриб. И без того тонкие губы еще больше усохли — голубоватые ниточки, прилипшие к гнилым зубам. Но глаза живые и молодые. Не по себе становится, когда посмотришь. Сколько желчи и лютой злобы во взгляде!

— Садись, гостьей будешь. Ну вот, и твою мать одолела-таки хворь. Великаншу несокрушимую. С головы началось, а потом как попрет — все вниз да вниз... Душит. Под сердцем ноет, будто ногами месили. Доктора ко мне привозили, да что эти доктора против воли божьей? Неужто настало время ножки протянуть?

— Ничего, — говорит Аквиле, не глядя на мать, — поправитесь.

— Одно на языке, другое на уме. Не ври, вижу: красное платье наденешь, если помру.

— Вы мне солнце не застите.

— Знаю, все ждете, когда окочурюсь. Надоела. И все потому, что добра вам желала. Людей из вас сделать хотела, на ноги поставить. В гору толкала телегу, а вам не нравилось. Известное дело, с горы веселей катить, но далеко ли? Отпустила бы вожжи, так этот бараний

лоб давно бы сделал нас голопузыми, каким сам был тридцать лет назад.

Аквиле сидит на стуле у изножия кровати. Спертый воздух, вонь. За окном — голый куст шиповника, деревья над гумном. Дальше поля в ветхом тулупе первого снега, испещренном черными заплатами. На буграх расселись хутора, вдоль канав ершатся кусты, туманная стена леса подпирает рухнувший небосвод. Уйти бы в поле и не вернуться!

— Отошли от матери, как корка от каравая, — продолжает сокрушаться старуха. — Адомас и тот, такой уж хороший сын, приезжает в Лауксодис и не находит дверей родной избы. Что я ему сделала? Скажешь, худого желала, когда запретила жениться на Милде, этой шлюхе последней? Послушался бы меня, как тогда, когда эта сука еще в девках ходила, не присох бы к соломенной вдове, все бы иначе обернулось. Баранья голова! Выпила баба яду, и помешался. Отцовская кровь. В нашем, Яутакисов, роду таких слюнтяев не водилось.

— Но никто и в людей не стрелял, — не выдерживает Аквиле.

Лицо старухи страдальчески перекошено. Она прижимается к горке подушек, посиневшими губами хватает воздух. Может, боль прижала, а может, эти слова всей тяжестью навалились на нее. Она защищается от них, машет у себя перед носом увядшими руками.

— Говоришь чужими словами. Кто стрелял? В кого? Брехня деревенских побирушек. Большевиков! Ненавидят власть, вот и мелют языком, врут. И ты с ними. На кровного брата! Образумься! Кто-то где-то услышал, подхватил из десятых рук, а кто видал? Покажи хоть одного. А если и было дело… Служба, работа такая. Во все времена всякая власть своих врагов карала. Христиане шли против христиан, и то

господь благословлял — не грех солдата убить. А тут война с безбожниками. Святую веру защищает. Как у тебя язык поворачивается! Такое на кровного брата? Чем глупые толки разносить, лучше бы съездила проведать.

Аквиле молчит, упорно глядит в окно. В груди так и клокочет. Навалилась бы горой, самыми страшными словами обозвала бы мать, но хочет побыстрей закончить мучительный разговор. «Если б она знала, что мои губы, которые только что касались ее лба, недавно целовал Марюс...» В страхе съежилась, словно цепкий материнский взгляд прочитает ее мысли.

— Может, Кяршис вернулся. Пойду, — говорит она, пытаясь встать, но голос матери усаживает ее.

— Не поедешь к Адомасу, по роже вижу. Беспутная. Какой-то большевик ей дороже родного брата. Что, неправду говорю? Ага, аж уши посинели. Сумасшедшие! С этим русским солдатом могли всех погубить.

— Русским солдатом? — Она перевела дух после этих слов, но все еще чувствует, как шевелятся волосы на голове.

— Не выкручивайся, этот баран худосочный все мне рассказал. Приволокли из лесу, засунули в сено. Если б не Адомас, неизвестно, чем бы ваши затеи кончились.

— Адомас... — Аквиле с ненавистью взглянула на мать. — Да, он сделал то, что и вы бы сделали: выбросил умирающего на улицу.

— Господь предначертал ему смерть в лесу, а вы не послушались воли всевышнего, вот он и помер в другом месте.

— Думаю, еще не поздно донести на меня в гестапо.

Старуха швыряет трехэтажное ругательство, а потом разражается смехом. Хихикает, фыркает, как кошка на собаку. Ох, недоумки захудалые, нашли от кого скрывать — от своего человека! Этот бараний лоб — понятное дело. Или Аквиле. У нее все время чердак

был не в порядке. Но Адомас! И этот ведь даже не пикнул. Как будто не она, Катре Вайнорене, а сам дьявол его рожал. Если б не Юргис, так бы и не узнала, что тогда дома творилось.

Ох, этот поганец паршивый! Норовит мать без ножа зарезать. Книжки, газетки, радио. Работать палкой не загонишь. Кричи не кричи, а он знай свое — крутит свою трещотку да зубы скалит. И каждую минуту долдонит: русские идут. Придут или нет, одному господу известно, но как подумаю, что такое может стрястись, сердце таки заходится. Боже ты мой! Тогда уж прощайся с этим светом. Все до единой головы, как кочаны, снесут за евреев. Ведь не оправдаешься: я, мол, не стрелял, — уложат в ямы, как немцы ихних дружков уложили, и дело с концом. Это они умеют, знаем: в газетах пишут про зверства большевиков. Так вот, позавчера Юргис как распустит глотку... Русские такие-то города заняли, столько-то немцев перебили... Назад больше не идут, все вперед да вперед прут, все ближе и ближе к Литве... Как начнет, как начнет, — а болтать этот дурачина несмышленый умеет, — ей, Катре, даже худо стало. Такой страх прижал, будто фронт уже здесь, двор полон солдат, а в окна избы нацелены их длинные ружья. Завопила не своим голосом, стала на помощь звать. В комнату отец вбежал, дети слетелись, стали успокаивать, а ей все равно всюду русские мерещились, так до утра и не заснула. Тогда этот баран безголовый и сказал: они с Аквиле прятали русского летчика, и тот выдал расписку, чтоб большевики, когда придут, Вайнорасов не трогали.

— Не приведи господи, чтоб пришлось за эту бумажку хвататься... Но если придется... А вдруг плюнут, не посмотрят — да за глотку?.. Но утопающий и за бритву хватается. Отведи, господи, эту беду несчастную.

Умаялась, замолкла. Черты лица стали мягче, глаза погасли. Синие черточки губ шевелятся: кончают невысказанную мысль или шепчут молитву своему богу?

Аквиле встает, собирается с духом, старается побороть отвращение. Вее напрасно. Ушедшее в подушки лицо отталкивает ее, и она, так и не поцеловав мать, боком выбирается из комнаты. Ее провожает мрачный взгляд, в котором больше горькой обиды, чем злобы.

Отец стоит во дворе, прислонясь к изгороди, жует горох. Только что бросил горсть голубям, и они клюют, тучей опустившись к его ногам.

— Погляди, какая у меня семейка, — улыбается он, увидев Аквиле; счастлив, как и птицы; некому его пилить. — Развелось их тьма-тьмущая, придется больше корзин подвесить под стреху. Нравится им тут. Пускай плодятся. Пускай хоть птицы плодятся, когда людей убивают. Ах да, как мать? — наконец вспоминает он.

— Больная как больная. Зайду еще как-нибудь, проведаю.

— Заходи, заходи, Аквилюте. Оба с Пеликсасом заходите.

Аквиле издали огибает голубиную стаю, чтоб не вспугнуть. У конуры Рыжика — Юргис. Она машет им обоим. Юсте нигде не видать. Наверное, умчалась в деревню.

— Ведь ты хотела мне что-то сказать? — догоняет отцовский голос. Ах, о Марюсе! Нет, теперь уж нет…

— Тороплюсь. В другой раз, отец.

И уходит не оборачиваясь. Чуть ли не бегом, хотя спешить ей некуда.

Угрюмые старые деревья за гумном. Хутора. Облысевшие клочья кустов вдоль канав.

«…Тогда этот баран безголовый и сказал, что есть у него такая расписка…»

…А поля-то пустые! Аж сердце ноет…

V

Ворога распахнуты настежь. Словно полк гостей ввалился на хутор. Свежая колея. Сбруя брошена на крыльцо клети. Что-то не похоже на Кяршиса… Буланку, правда, забрали, но неужели из-за этого?..

С онемевшим сердцем спешит в избу. Его нет. За сеновалом — телега, между оглоблями валяется кнут. Даже в сарай телегу не затолкал. Вбегает на сеновал, но и здесь пусто. Глаза невольно поднимаются вверх, скользят по балке. Тьфу! Глупее мысли быть не может… Топчется на месте, смотрит в ту сторону, где хлев. Там ничего не изменилось, но что-то и не так, как она оставила. «Лестница!» — наконец-то вспоминает она. Когда слезла, забыла прислонить к кладям, как всегда делала. И вот ее нет на старом месте. Ни у чердака хлева, ни возле сена. На всем сеновале нет лестницы… Она выходит с сеновала, заглядывает в сарай. Вот где она! Засунута у самой стены за доски, только конец торчит.

…Кяршис в хлеву. Стоит возле коров, поглядывает на потолок. В руках вилы. Аквиле не сразу замечает, что это не навозные, а двузубые, на длинной рукояти, которыми женщины подают наверх солому, когда метают стог.

— И-эх, и-эх… И эта объявилась! — стонет он, увидев Аквиле.

Она что-то лепечет, ошарашенная выражением его лица. В первый раз видит его таким. Нет, видела уже — когда на крестинах Лаурукаса он бил Кучкайлиса.

— Як своим ходила… — наконец удается ей справиться с трясущимися губами. — Говорили, нашу буланку забрали…

Его взгляд летит к ней, словно пущенные изо всей мочи вилы. Подавился словом, двигает челюстями, жует

что-то.

— Буланка, и-эх, ей только буланка… — вытолкнул наконец изо рта. — Только буланка, ага, и все… Ей только…

— А что же еще, Пеле? Лошадь нынче… — Она замолкает; его лицо просто страшно. Куда-то делись глаза, щеки, подбородок. Один дергающийся рот.

— И-эх, дожил, ну и дожил! — гремит он. — Чтоб жена меня обманывала! За кого ты меня принимаешь? Может, я слепой и глухой, не вижу, что дома творится?

Может, я дитя неразумное, ничего не понимаю? Мало того, что свинью отобрали да сегодня лучшую лошадь отняли, — хочешь худшую беду накликать? Кого ты там прячешь в соломе?

— Пеле… Поверь… — Сама не знает, что лепечет.

— Врунья ты, врунья! Будто я враг своему дому. И-эх, и мальчонку вроде бы не обижаю, и тебя люблю, как умею. Почему ж ты меня на посмешище?.. — Голос упал, не хлещет больше водопадом, но все еще клокочет, как вода по перекатам. — Или я тебе не муж? Или не поклялись перед господом быть единой плотью и душой? Почему ж ты так, Аквиле? Что я тебе сделал плохого?

Она что-то отвечает. Нет, только шевелит губами, силясь ответить. Странный сон. Вот Кяршис наклоняется вперед, словно готовясь к прыжку. Шаг вперед. Свет, падающий из двери, теперь лучше освещает его лицо. Губы искривились, как будто он смеется. Сделает еще шаг и воткнет вилы в грудь Аквиле… Рукоять, правда, приходит в движение, разворачивается в воздухе, и зубья вонзаются… в потолок. В щель между жердями. Он ничего теперь не говорит (а может, она не слышит?), только, ссутулясь, крадется по хлеву и с тяжелым пыхтением колет в потолок, где только пролезают вилы. Чах-бам, чах-бам! Над стойлом буланки, в том месте, где постель Марюса,

вилы не упрутся в жерди: щель пошире, солома вывалилась из нее на ширину ладони. Но от двери кажется, что этот шов разошелся, вроде бы потемнел. Качается пучок соломы. Оторвался, летит вниз… За ним гонится другой…

Аквиле начинает двигаться. Нет, не вся. Движутся только ее ноги. Страшно трудно оторвать от навоза ногу, чтоб сделать крохотный шажок. Идет. Топчется, как будто ноги спутаны, увязает в невидимой трясине. Но Кяршис уже рядом. Повисла у него на руке, упала на колени у ног.

— Хватит! Хватит! — кричит, словно обезумев. — Хочешь крови человеческой! Она тут… Вот! Пей! Подавись! Убивай! — Широким движением вырывает у Кяршиса из рук вилы, бросается к стойлу, подскакивая, ударяет вилами по жердям. — Марюс, Марюс, слышишь? Собирайся… Выходи, если можешь… Кяршису твоя кровь нужна… — швыряет в стойло вилы и кидается к двери. — Беги в деревню, зови своих немцев. Свинью, лошадь забрали, а человека сам им отдай.

Сквозь слезы ничего не видит. Двор. Черная пасть открытой двери. Хруст подмерзшего навоза под ногами. Запах дегтя, перебивающий хмельной аромат сена и клевера. — Шорох соломы. Марюс вылезает, сгорбившись, цепляясь одной рукой за стропилину кровли, другую протянув вперед, точь-в-точь слепой, нашаривающий палкой дорогу. Простоволосый, без сапог, но успел надеть штаны, на плечах — второпях застегнутый полушубок. Смотрит сверху, уцепившись за решетину, потом делает шаг, уже не придерживаясь, но теряет равновесие и прислоняется спиной к соломенной стене.

Кяршис стоит у кладей с сеном, запрокинув голову, разинув рот. В руках, вонзенные зубьями в землю, вилы, которые Аквиле только что зашвырнула в стойло

буланки. Рукоять дергается, руки на ней побелели, но лицо на удивление спокойно.

— Марюс… Марюс… — тихонько шепчет Аквиле, улыбаясь сквозь слезы. — Ты не волнуйся… теперь-то ты увидишь своего мальчика. Теперь-то уж точно…

Но он не смотрит на нее. Его глаза прикованы к Кяршису. А взгляд Кяршиса впился в него. Глаза обоих скованы, как два узника одной цепью. Но один из них знает, что приговорен за вину второго; он-то не виноват, и-эх, бог видит, не виновен; и эта непоколебимая вера в свою правоту придает ему спокойствие и твердость.

— Красный Марюс… Нямунис… — после долгой тишины цедит он сквозь зубы. — Что, мою бабу забрать пришел?

— Разве она когда-нибудь тебе принадлежала? — словно эхо доносится ответ.

— Говоришь… ага… — Вилы качаются, словно хотят вырваться, но голос спокоен. — Может, и не принадлежала когда, а сейчас моя… Живем… Не отдам!

Марюс улыбается. Наверху уже вечер, его лицо кажется серым пятном — все черты смазаны, — но Аквиле уверена, что он улыбается.

— Это все, что ты хотел сказать?

— Что тут еще скажешь? Явился, как в свой дом, лезешь к чужой жене. А когда со своими большевиками драпал, она-то не нужна была. Бросил с дитем, пускай сама как знает… Дал стрекача — что ж, твое дело, но зачем пришел? Может, война там уже кончилась, стрелять не в кого? Приспичило тут, в моем доме, воду мутить. У самого жизни нету, хочешь и других утопить.

— Не утонешь. — Марюс желчно рассмеялся. — Ты из такого материала, который ни воды, ни огня не боится. Со всех сторон застрахован. А у меня руки связаны. Сынишка, сестра, Аквиле…

— Замолчи!

— Аквиле! — жестко повторяет Марюс. — Мое оружие заряжено, но на этом хуторе не выстрелит. Ты это знаешь.

— И-эх, он еще о стрельбе! Насобачился за два года, ага, лучше, чем канавы копать, а знаешь ли, с какой стороны сегодня ветер дует? — Аквиле не смотрит на Кяршиса, но чувствует в его словах жуткую улыбку («И-эх, задам хорькам баню, будут знать, как яйцами лакомиться»), — Сегодня ветер на деревню, со стороны избы, а гумно далеко — не перекинется. Вот подожгу сеновал, и стреляй, сколько твоей душе угодно, показывай свою науку.

— Зачем говоришь, чего не сделаешь? Такой убыток не по тебе, Кяршис. Есть выход попроще: усадить Красного Марюса на телегу и доставить в деревню немцам.

— На телегу? Немцам?..

— Не утруждал бы тебя, сам бы пошел, но видишь, нога… Неважный из меня пока ходок.

— На телегу — немцам? — Кяршис искренне удивлен.

— Скажешь — нашел… Ну, тебе уж лучше знать, что им сказать. Но будь человеком, Кяршис. Я не хочу от тебя большего, чем ты можешь. Вхожу в твое положе-не и все прочее… — Марюс запнулся, шарит руками вокруг, словно ищет в шуршащей соломе застревающие слова. — Разреши мне здесь остаться до сумерек. Потом уйду. А что будет дальше — мое дело. Даю слово, — если для тебя мое слово что-нибудь значит, — до того времени, пока сядешь за ужин, меня не будет не только здесь, на сеновале, но и на твоем поле. Ползком уползу с твоего участка, если идти не смогу. А вот палку тебе придется мне вырезать, Кяршис. И моего сынишку показать. У меня есть право на это. Приговоренным к смерти тоже разрешают попрощаться с близкими.

Аквиле жалобно скулит, скорчившись у кладей. Слышит кашель Кяршиса, шорох соломы наверху. И снова голос Марюса. Опускается, как человек в воду. Все глубже, глубже. Протянутые вперед руки поднимаются, словно ищут, за что ухватиться. Но над головой лишь воздух и вода, лишь воздух и вода, лишь воздух и вода…

— …Останутся тебе мои гектары, изба, и твоей бабы, как говоришь, не заберу. Марюс Нямунис не ради того ушел воевать. И не потому оказался у тебя в хлеву. И не потому, наконец, в сумерках уйдет отсюда, чтобы уже завтра, быть может, немцы привезли его труп в Лауксодис. Но тебе этого не понять, Кяршис. Ты знаешь, что нужно земле, чтобы выжать из нее десятое — пятнадцатое зерно, но никогда не уместится в твоей голове, как тяжело человеку, когда он должен умереть не вовремя и не так, как следует умереть.

— И-эх, он уже о смерти.. — Кяршис зол и испуган. — Не Кяршис дал тебе жизнь, не Кяршису ее отнять. Чтоб человека по моей вине… И-эх, это уж нет! Откуда мне знать, что тебе господь начертал — пулю, петлю или христианскую смерть в кровати, со свечой в руке? Может, именно это. Мало ли людей с годами образумилось? В моих ли силах вставать поперек божьей воли? Плоть человека убить и душу погубить? Нет, всевышний никому не дал такого права. Ни мне, ни тебе, ни кому другому, неважно, что все вы стреляете, вешаете друг друга, отнимая у господа то, что он один вправе решать. И-эх, я этого не сделаю! Может, немцы нас всех… Но господь и люди будут знать, что руки Кяршиса были в навозе, в земле, только не в крови. Не возьму чужой крови на свою советь, пускай она на твою ложится, Нямунис.

— Я не понимаю твоей исповеди. — Марюс стоит, выставив больную ногу, утонув спиной в соломе. На лице удивление и надежда. — Но, кажется, могу

надеяться, что ты позволишь мне остаться здесь на часок-другой?

— Пришел без спросу, без спросу и уйдешь. Через три часа или через три дня. И-эх, тебе лучше знать. Я тебя не выгоняю. Сиди, где сидел, пока нужда. Ничего не хочу слышать и видеть. Под стрехой, ага, откуда приполз, жерди редкие. Развороши солому, отыщи щель пошире. Через нее еду буду подавать. Я сам. Нечего по лестнице лазить. Нету у нас лестницы. На всем хуторе Кяршиса нет и не было никакой лестницы! Понял? Внизу, под тем местом, где стоишь сейчас, вывалю воз соломы. Захочешь уйти — сможешь спрыгнуть. И помоги тебе господь. Катись, откуда притащился. Немцам прямо в лапы или к своим. Я-то ничего не знаю, не видел, не слышал. И дай боже, чтоб мои глаза больше тебя не видели, Красный Марюс!

Глава шестая

I

Гедиминас не мог избавиться от мысли, что, посоветовав Василю не уходить к партизанам, стал косвенным виновником смерти Пуплесиса и еще трех человек. В этом он убедился, поговорив с Черной Культей, который знал о планах побега. Поэтому, решив саботировать поставки, он не столько стремился нанести ущерб оккупационным властям, сколько помочь вдове Пуплесиса и Культе и хоть частично искупить свою вину.

В начале октября в Лауксодисе приступили к молотьбе. В середине месяца молотилка приехала на хутор Джюгасов. Несколько дней спустя Гедиминас запряг лошадей в телегу-сноповозку, погрузил на нее

мешки с зерном и, завалив доверху соломой, глубокой ночью отвез Пуплесене. В хлев вдовы, который немцы вымели дочиста, как и амбар, перекочевала и свинья Джюгаса, предназначенная для этих самых поставок, а Культя, якобы за работу, увел телку, получив в придачу несколько мешков зерна. Пуплесене не знала, как и благодарить Гедиминаса, а Культя только пожимал плечами, на свой лад толкуя поступок Джюгасов.

— Эти милости еще выйдут тебе боком, Гедиминас, — сказал он. — Но я беру их на свою душу: если что, Культя в долгу не останется, чтоб тебя сквозняк, не бойся.

Только в начале ноября Гедиминасу стало ясно, что имел в виду Культя. Не знал он, и что за человек пожелал с ним встретиться, но понял: это кто-то из партизан. На условленное место он явился не столько из любопытства, сколько желая сразу же рассеять любые надежды, которые возлагают на него, Гедиминаса, те, с кем Черная Культя.

Таинственный товарищ ждал их на опушке Вентских лесов, в укромном домике рабочего с торфяника. Потом пришли еще двое, одетые по-крестьянски, но вооруженные. Один был незнакомый, другого он вроде где-то видел. Третьего узнал с первого взгляда, войдя в избу. Марюс Нямунис! Такой встречи Гедиминас не ждал! Они долго жали друг другу руки, удивляясь и радуясь, что после таких страшных лет судьба снова свела земляков, которые хоть и не были друзьями, но уважали друг друга.

— Не сердись, Гедиминас, что пришлось отмахать столько километров для встречи со своим бывшим учеником, — извинился Марюс. — По правде, это мне надо бы проведать тебя в Лауксодисе, но поверь, для нас такая роскошь связана с риском лишиться головы.

— Ты был в Лауксодисе? — удивился Гедиминас, покосившись на Культю.

Тот усмехнулся в воротник.

Наконец-то Гедиминас узнал и второго — это был Иван, пленный, работавший у Кяршиса.

— Побег из батрацкой… — начал было он, но тут вошла хозяйка с чаем и все уселись к столу.

— Я знаю, как ты относишься, точнее — как относился к побегу пленных, — продолжил мысль Гедиминаса Марюс. — Твое мнение о нас, партизанах, не таково, чтоб нам сидеть рядышком и баловаться чайком. Но после того, как вы с отцом решили дать немцам щелчок с этими поставками, у нас есть основания полагать… Разумеется, если ваше решение не прихоть и не испарится, когда вы увидите во дворе полицию.

Гедиминас невесело рассмеялся.

— В таком случае пришлось бы забрать у людей то, что мы им роздали, — ответил он, поставив рядом с тарелкой отпитую до половины рюмку самогона. — А этого мы с отцом никогда не сделаем. В нашем хозяйстве зерна осталось ровно на хлеб и на семена весной. А крестьянин — если ты знаешь литовского крестьянина — будет питаться собранной с крыш соломой, но сбережет семена. Конечно, самоуправление может до зернышка очистить наши закрома, но, полагаю, этого не позволит сделать элементарный немецкий расчет.

— А как же! — иронически бросил Марюс. — Ваше самоуправление пока еще признает сметоновские ордена, кроме того, сочувствует людям, связанным кровными узами с жертвами большевиков.

— Пожалуй, да, хотя мы с отцом, решив помочь людям в беде, не руководствовались столь солнечными перспективами, — холодно ответил Гедиминас, допив рюмку. — Вы бьете немцев, но знаете их, к сожалению, только как мишень. Пуплесене — что правда, то правда — они обобрали до нитки. Примерное наказание за

мужа, так сказать. Будь ее хозяйство побольше, а едоков поменьше, уверен, они оставили бы семена, чтобы у нового хозяина было чем весной засеять поле. В первую мировую войну русский пленный рассказывал моему отцу, что как-то, вытеснив немцев с позиций, они нашли за окопами грядки, приготовленные под цветы. Это черта их национального характера — останавливаться на день, а поступать так, словно собрались век вековать.

— По тому, как они набивают людьми ямы, не скажешь, что они собрались здесь поселиться на века, — насмешливо заметил Марюс. — Им важно побыстрей разорить край и убраться к черту, оставив пустую землю для таких мыслителей, как ты.

— Нет, насколько мне известны основы национал-социалистской идеологии, они думают иначе: лишь очистив пространство от таких мыслителей, как Нямунис, Джюгас и иже с ними, они создадут на земле тысячелетний рейх, — шутливо ответил Гедиминас. — Но для них важно, Марюс, чтоб земля Джюгасов в будущем году не осталась под паром. Немцам нужен хлеб. А без семян и рабов хлеба не будет. Мы с отцом оказались непослушными рабами. Они пришлют управляющего, чтобы командовал нами, а то и прогонят с хутора. Но все равно, что бы ни случилось, нацисты не получат того куска, что достался Пуплесене и Путримасу.

Гедиминас замолк, поймав насмешливый взгляд Марюса. Какое-то время было слышно лишь позвякивание посуды и чавканье.

Культя предложил выпить еще по рюмочке.

— Беды тебе не желаю, Гедиминас, — сказал Марюс, когда рюмки были опустошены и мужчины налегли на закуску, — но думаю — слишком хорошего ты мнения о фашистах. Уступаешь им свое хозяйство, а не принял в расчет, что они могут и голову потребовать. Мне-то

известны случаи, когда они убивали крестьян, не сдавших поставки. У них, конечно, не было заслуг и мученического ореола твоего отца — это были простые советские люди.

— Я беды не ищу, Марюс. Очень даже возможно, что случится именно то, что ты предсказываешь. Но это не меняет сути дела. Я поступил так, как должен был поступить порядочный человек, а последствия — они от меня не зависят. Я не мог не сделать того, что сделал, Марюс. Не умеющий плавать человек знает, что погибнет, а все-таки бросается на помощь утопающему. Чувство человечности, ответственность перед своей совестью иногда преодолевают страх смерти.

— Вот тут начинается истинное геройство, Гедиминас, — взволнованно заговорил Марюс. — Так умирают наши люди, так погиб Пуплесис. Но, видишь ли, одно дело умирать за чистоту своей совести, а другое — бороться, чтоб в будущем никому не пришлось марать рук кровью. Самому утонуть, так и не вытащив другого, красиво, благородно, но, прямо скажу, дешевка. А с нашей точки зрения и преступление. Не умеешь плавать — не суйся в воду. Поживи еще, научись. Зачем ненужные жертвы? Мало ли народу гибнет? Послушай, Гедиминас, я же тебе не предлагаю сразу же, допив чай, брать автомат и выходить из этого домика вместе со мной, хотя такой выход был бы разумней всего — потом может быть поздно. Я хочу, чтоб ты понял: твой путь ведет только к нам, Гедиминас.

Гедиминас растерянно молчал. Идя сюда, он приготовился к подобной атаке, но самогон разогрел кровь, и теперь ему казалось, что он сидит где-то у хорошего приятеля между деревенскими парнями, которые опрокинут еще по рюмочке, а потом выйдут на улицу и дружно затянут песню.

— К вам… да… может быть, — наконец вымолвил он. — Я могу пойти к вам, но буду ли я с вами душой, Марюс? Ты знаешь мое прошлое. Во времена Сметоны и потом. Я ведь тогда пошел к ним, но был ли я с ними? В сороковом пригласили вы — тоже пытался шагать в ногу. Ничего путного из этого не получилось. Не того я покроя человек, Марюс, никак не научусь плавать. Конечно, не составило бы никакой трагедии, если бы я умел спокойно проходить мимо тонущего, как большинство нормальных людей. Увы, тянет в воду — и все… Хорошо людям, которые преспокойно убивают другого и знают, чем оправдаться, если спросишь, почему это сделали. «Убил врага родины. Подлеца, убийцу…» А этот враг родины, воскресни он и пусти всю обойму в палача, пожалуй, ответит то же самое…

— Неужели война не научила тебя отличать жертву от убийцы? — вспылил Марюс.

— Нет. Она только доказала мне, на этот раз окончательно, что все мы — жертвы и все мы — убийцы.

— Ну и ну, — протянул Марюс. — Зачем так далеко заходить? Кого-кого, а себя, я думаю, ты хочешь выделить из этой компании.

— Стараюсь, Марюс, как могу. Но в адовом котле, в котором мы с тобой сейчас варимся, все так устроено, что и не желая убивать станешь убийцей. Невольным убийцей. И, разумеется, жертвой тоже. Но многие люди не осознают своей вины или умеют выдумать для себя оправдание. Это их счастье, к нашему всеобщему несчастью, потому что они умирают с улыбкой блаженных праведников на устах, а мы остаемся жить на земле, загаженной такими уродами.

— Да уж, разоткровенничался. Дерни еще рюмочку, — насмешливо сказал Марюс. — Тебе ведь, Гедиминас, наплевать на то, что творится на этой «земле, загаженной уродами». Иначе сам бы не гадил вместе с ними, а помог нам чистить. Для тебя важно,

чтоб твой собственный фрак остался без пятнышка. А мы свои фраки не бережем! Думаешь, приятная работа убивать человека, будь он распоследней сволочью? Если помнишь наши довоенные разговоры, скажи: жаждал ли я тогда крови? Мы же не отправляем в расход, как фашисты, без разбора каждого, кто носом не вышел, а стараемся отсеять врагов от своих. Мы, коммунисты, хотели, чтоб под нашим знаменем вырос добрый урожай, чтоб всем хватило работы и хлеба, а детям — места в школе. Может, не все получилось так, как должно было, но основа нашей программы прежняя — борьба за человека. Не убить, а защитить человека от убийц. Может, ты, ученый философ, знаешь, как это сделать без кровопролития? Нет, дорогой, навоз не вычистишь, не замарав рук. И фрак изна-возишь, и тело пропитается определенным душком. Неприятно. Но надо. Надо, Гедиминас! Даже ради таких, как ты, которые не стесняются ставить Марюса Нямуниса и Адомаса Вайнораса на одну доску.

— Я вас не ставлю на одну доску, разрази тебя гром…

— А как же! Чем я не убийца?

— Я не сортировщик, Марюс, — совладав с собой, ответил Гедиминас. — Не мое дело осуждать одного и оправдывать другого. Ведь не имеет значения, обвиню я вас обоих или скажу, что вы оба не виноваты. Во все времена люди убивали друг друга во имя выдуманных богов, и пока останутся верующие, резня не прекратится. Я не верующий, Марюс. Когда-то моим богом был желто-зелено-красный флаг. Я потерял своего бога. И не думаю, что мог бы обрести его в каком-то другом знамени. Религии приходят вместе со своими богами и уходят. То же случается с отдельными народами и цивилизациями. Единственное прочное здание на земле — человек, хотя и он меняется. Но духовные свойства, которые отличают человека от

животного или зверя, будут существовать, пока живо человечество Я поклоняюсь только этому знамени, Марюс. Как показывает история и опыт наших дней, многие растоптали его ради фальшивых богов. Почему и мне идти по их стопам?

— Ну и не ходи, мы тебя силком не тащим, дорогой, — Марюс с оскорбительным снисхождением потрепал Гедиминаса по плечу. — Держись обеими руками за свой флаг, то есть за себя, пока фрицы не уложат тебя в могилку вместе с твоими духовными свойствами.

Партизаны дружно расхохотались. Гедиминас растерянно смотрел на широко раскрытые рты, непоколебимо чувствуя свою правоту, жалея этих, как ему казалось, примитивных людей, и одновременно раздражаясь от мысли, что в их глазах он кажется допотопной тварью из археологического музея, на которую они потехи ради решили сегодня поглазеть. Гедиминасу стало стыдно, как будто его позорно унизили, но он не знал, на кого обижаться. Пытался продолжить разговор — вдруг вернется домашнее тепло, которое царило здесь в первые минуты встречи, — но никто его не поддержал. Культя обмолвился о ком-то из Лауксодиса, и разговор потек по другому руслу. Вспомнили обоих знакомых (кроме Аквиле), какие-то случаи из довоенных времен, Марюс рассказал даже о своем отступлении из Литвы, но главная для всех тема осталась за рамками разговора. Можно подумать, что они с Культей протопали тридцать километров только для того, чтобы покалякать с приятелями за чарочкой самогона. Потом Гедиминас оказался в одиночестве. Он ждал, когда мужчины вернутся со двора, но в комнату вошел только Культя. Марюс со своими людьми исчез, даже не попрощавшись. «Почему? — раздумывал Гедиминас, лежа на продавленном диване. — Чтоб не пожимать

руку, не улыбаться, не произносить банальных слов, как пристало людям, которые сомневаются, увидятся ли еще?» Глядя в темное окно, за которым гудел лес, Гедиминас мысленно видел трех вооруженных мужчин, не знающих, где ждет их могила, и жалел, что разочаровал их. Не надо было ему приходить сюда. Напрасно только себе и другим растравил сердце.

Недовольный, почему-то чувствуя себя виноватым, покинул он утром одинокий домик на опушке леса. Культя сказал: возвращаться лучше поодиночке, тем паче что ему надо заглянуть к дальнему родственнику. Может, он говорил чистую правду, но Гедиминасу казалось: это только предлог, чтоб отвязаться от неприятного спутника.

Дома он нашел повторную повестку о сдаче зерна. Несколько дней спустя забежал Кучкайлис. Бил кулаком по столу, угрожая... («Шутки, видишь — нет, шутить вздумали. Думаете, немцы ребятишки сопливые? Нету у них, ишь! Джюгасам, видишь — нет, нечего сдавать, смешно. Такие хлеба уродились! Запрягайте лошадей, айн момент, и грузите на телегу!») Но когда Гедиминас с отцом недвусмысленно ответили, что не повезут ни зернышка, пускай приезжает сам волостной старшина и забирает семена, и, в подтверждение своих слов, разорвали повестку, у Кучкайлиса глаза полезли на лоб, хотя, с другой стороны, он вроде и успокоился: теперь-то он знал, что полагается делать.

— Мне жалко, отец, что я втянул тебя в эту историю, — сказал Гедиминас, вспомнив беседу с Марюсом. — Все может кончиться хуже, чем мы с тобой думали.

— Жить мне осталось не много, — коротко отрубил старик. — Всю жизнь растил хлеб, чтоб ели люди, — с чего это теперь стану жалеть, что не отдал его сожрать зверью? Но если ты передумал, сын мой, давай запряжем лошадей и отвезем семена.

— Я не передумал, отец. Я не хочу быть виноватым…

— У нас друг перед другом вины быть не может, сын мой. Сам знаешь, чего зря говорить. Оба мы вдоволь нахватались пинков; неважно, что у тех, кто тебя лягал, сапоги почище. Если хочешь меня порадовать, сын мой, поговорим о другом: уходи из Лауксодиса, пока все это дело не утрясется. Есть же у тебя добрые друзья, у которых можешь пересидеть? Пойми, ты у меня один. Отцу спокойней умереть, когда сознаешь, что оставляешь по себе частицу плоти своей. Ты можешь это понять, сын мой?

Он не мог не понять этого. В глазах отца была мольба. Он не мог не послушаться.

Появление Адомаса на хуторе было последним знаком, что пора покидать родной кров. Когда полиция укатила со двора, отец отпер комнату, в которую втолкнул сына, и, едва начало смеркаться, Гедиминас покинул деревню. Ушел, тревожась и надеясь скоро вернуться. Опасения Марюса казались ему преувеличенными; ясно, что он не бескорыстен в этом и хочет заманить его, Гедиминаса, в лес. Если он так уж нужен немцам, полиция сегодня забрала бы его с отцом и увезла в Краштупенай. Нет, дело можно считать уже завершенным — на их хутор прибудет новый хозяин, и все. А может, отдадут кому-нибудь из жителей Лауксодиса. Нет, пожалуй. Скорее всего найдут какого-нибудь немца-калеку, дадут ему двух-трех баб, привезенных из Белоруссии, — извольте служить фюреру и новой Европе! А обоих Джюгасов — к черту! Ступайте в поместье к господину Дизе. Что ж, перспектива не из худших. Если только не сунут в вагон и не отправят в Померанию вкалывать на полях бауэров. Разумеется, не сегодня и не завтра, а когда истекут недели, указанные в повестке. Немец любит точность. Гедиминас не решил еще, где пересидит первые дни. В глухой деревушке жил знакомый

учитель, хороший друг студенческих лет. Удобно и безопасно, он мог обосноваться у него надолго. Но подумал, что сперва стоит заглянуть в Краштупенай: хотел повидаться с Милдой. Последний раз они виделись перед его походом в домик на опушке. Он уже успел получить от нее несколько писем, полных тоски и любовных клятв, но это ведь не заменит радости даже минутной встречи. Кроме того, поскольку полиция описала хозяйство, следовало обсудить с Милдой некоторые вопросы.

Итак — в Краштупенай! Переночует у географа Альгиса Туменаса (последний год они сблизились), а там будет видно.

II

У Туменаса та же компания, может, не в полном составе, которая собирается здесь вечерами два-три раза в неделю. В просторной холостяцкой комнате накурено, хоть топор вешай. На людей, сидящих за круглым столом, сурово смотрят со стен князья древней Литвы — с ниспадающими на плечи волосами, искусно обряженные художником в медвежьи шкуры, вооруженные топорами, палицами и мечами. Грюнвальдская битва, Витаутас у крестоносцев, Альгирдас принимает послов поверженной Москвы, героическая смерть Маргириса... Осажденные замки, сражения, жемайтийские полки на борзых конях, первый и последний король Литвы Миндаугас. Славное прошлое нации... Вот именно — прошлое... Три стены комнаты посвящены этому прошлому. На четвертой — государственный герб: белый всадник на красном поле. Больше ничего.

Диван. Никелированная кровать. Перекошенный платяной шкаф. У стены несколько стульев. Все старое,

убогое, отжившее, под стать истории, величественно глядящей со стен на своих потомков, собравшихся отслужить ей очередной вечерний молебен.

Ревнителей веры четверо, Гедиминас не в счет — он только снисходительный и случайный участник ритуала.

— Однако, господа, давайте беспристрастно разберемся, почему это случилось? — горячится учитель физического воспитания Юозас Гердайтис, губастый увалень с массивным лицом, которому за столом всегда тесно, потому что каждое второе свое слово подчеркивает взмахами рук. — Была держава от моря до моря. Двести лет христианский мир посылал рыцарей, чтоб завоевать ее. Закованных в латы, вооруженных самым современным тогдашним оружием. Ничего не могли сделать. Жемайтийский мужичок топором или там палицей хрясть по черепу — и рыцарь валится со своего скакуна. Разгромили в пух и прах Орден под Грюнвальдом. Чудесно! Чего еще желать государству, если самый могущественный враг стерт в порошок? Расти да процветай! А у нас получилось наоборот: налетели дорогие соседи со всех сторон, растащили по кусочку, и остались мы, как обнищавшие помещики, на двух гектарах, а потом и того не стало.

— Ягелло нас продал. Не надо было с польской шляхтой якшаться. И Польшу разорил, и Литву погубил, — обобщил Антанас Липкус, учитель истории и рисования. Тощий, долговязый человек с желтым цветом лица, за что ученики прозвали его Лимоном. Ему нет еще тридцати, но на макушке пергаментная плешь, которую он тщетно пытается замаскировать зачесанными наверх жидкими волосами. Зубы белые, крупные, и кажется, что, разговаривая, он все время улыбается, хотя редко услышишь его смех. — Не нужна была уния с Польшей — это раз. Наши князья допустили роковую ошибку, устремившись на восток: мы победили

пространство, а пространство — нас; мы растворились не столько в физическом, сколько в духовном смысле, — говоря точнее, угодили в культурное рабство. Это два. А третье: у нас были смелые воины, хорошие полководцы, но не было письменности. Литовские полки добрались до Черного моря, присоединяя славянские земли, а при дворе великого князя звучал язык этих самых славян. У наших князей была рука, чтоб махать мечом, но не было головы, чтоб править государством.

Между историком Липкусом и хозяином комнаты сидит учительница литовского языка Юрате Дирвонайте. Миловидная старая дева с правильными чертами лица, но косоглазая и весьма категоричных суждений. Последних два свойства, по-видимому, и являются причиной, по которой барышня Дирвонайте дожила до двадцати восьми лет, но так и не обрела друга жизни.

— Была рука, не было головы… — возмущенно прерывает она Липкуса. — Как вам не стыдно, Антанас! Если вы говорите это ученикам на уроках истории, то, знаете ли…

— Я говорю фактами, Юрате. Историк не вправе искажать факты, будь они самыми неприятными, — сверкает зубами Липкус. — Верно, Гедиминас?

— Без всякого сомнения! Искажать — ни в коей мере! Но объяснять так, как требует дух времени, — обязательно, — ответил Гедиминас.

— Вы совсем обомшели в своей деревне, — поморщился Липкус, хотя его зубы улыбались.

— Ты повежливей с ним, Антанас, — прервал его хозяин. — Знай, чье сало жрешь, вот какие пироги!..

На самом деле сегодня стол особенный. А то сидят, попивают остывший чай и закусывают тощим бутербродом, принесенным из дому. (Хозяина это не смущает: у всех одинаковые карточки, ничего не поделаешь.) Если кто и наменяет у крестьянина

продуктов, то редко решается пожертвовать ими для общего ужина. А сегодня бутерброды не вынули из карманов пальто. На столе половина каравая деревенского хлеба, тарелка нарезанного сала, миска крутых яиц. Боже ты мой, даже яйца! Правильней будет сказать — скорлупа, потому что компания уже поела. Но между разговором имеет смысл снова налечь на хлеб с салом, отхлебнуть чаю и с новыми силами возвратиться к беседе.

— Только лимона и французского коньячка не хватает, вот какие пироги! — шутит Альгис Туменас.

— И папирос «Регата», — в тон хозяину говорит Гердайтис. — Эта немецкая трава, как ее ни мешай с самосадом, просто легкие дерет.

— Ужасно много курите, мужчины, — недовольно откашливается Дирвонайте. — В одной руке сало, в другой цигарка. Так и преставиться недолго.

— История не знает случая, чтобы женщина погибла от табачного дыма, — хмыкает Липкус, продолжая отчаянно дымить.

— Не смешно. — Дирвонайте защищается от дыма, машет у себя перед носом обеими руками. — Вам, Липкус, надо было идти в пожарники, а не историю преподавать… Ума не приложу, как вы могли учиться живописи. Душевной тонкости ни на грош. Утверждать, что государство — да еще такое уникальное явление в истории, как литовское государство, — погибло из-за некомпетентности великих князей, что они сплошь были тупицы, такие да сякие… Так упрощать, ну, знаете, у меня просто в голове не умещается, господа…

— Я мыслю, Юрате. У меня нормальное соотношение рассудка и эмоций, как и полагается мужчине. Я не подвластен женской чувствительности, а мыслю, именно мыслю, Юрате.

— Если б у вас было нормальное соотношение рассудка и эмоций, вы бы согласились, что гибель

литовского государства была заложена в самом характере нации, Липкус, — воинственно набрасывается Дирвонайте, одним глазом вызывающе сверля историка-художника, а другим поглядывая на сидящего справа Туменаса. — Литовцы сохранили каплю той древней арийской крови, которую наши предки тысячелетия назад принесли с берегов Ганга. Литовец радушен, благороден, общителен — это свойства, за которые нас хвалили чужеземные летописцы и которыми мы гордимся сами; но эти свойства, если вам угодно, и погубили нас. Каждого проходимца, который подходил к воротам, мы приглашали в избу, сажали за стол. У литовца нет национальной гордости, господин Антанас, вот в чем наше горе. Жили мы в окружении волков, а были овцами, кроткими овечками, господа. Вот и оплакиваем теперь свою шкуру.

— Виноват, Юрате, — вставляет Гердайтис. — Но ваши доказательства не опровергают выводов Антанаса: таким литовским характером обладали и наши князья...

— Липкус...

— Поймали вас, Юрате, поймали! — торжествует Липкус, не давая опомниться Дирвонайте. — Оправдывая руководителей государства, вы огульно обвинили всю нацию. А я не настроен столь пессимистически. Нормальное соотношение рассудка и эмоций...

— Господа, хватит рыться в могилах, — вмешался Туменас, увидев, что спор может вспыхнуть с новой силой — Липкус с Дирвонайте непримиримые спорщики, хотя и поговаривают, что иногда можно видеть, как историк-художник покидает поутру домик Дирвонайте. — Поближе к нашим дням, милые коллеги. То, что бородатый наш предок растерял по доброте сердечной, языками не вернем. Давайте, так сказать,

схватим за хвост, что еще можно поймать, вот какие пироги.

— Хватанем Гедиминасова сала, — осклабился Липкус и, демонстративно засучив рукав, залез пальцами в тарелку.

Дирвонайте. Циник!

Гедиминас. Нет, только реалист.

Губастый Гердайтис мотает головой, раскачивается, как дерево в бурю. Он-де на сто процентов поддерживает мнение, что мы больше мечтатели-романтики, чем реалисты. Если б Сметона государственную политику строил на трезвом расчете, у нас бы не было третьего августа сорокового года. Литве следовало ориентироваться на Скандинавские страны, копировать их модель государственного устройства. Если б в Литве существовал истинно демократический строй, где все партии равноправны, иначе бы прозвучало присоединение республики к Советам.

— Вы бы на месте Сметоны позволили свободно действовать компартии? — иронизирует Липкус.

— Разумеется! И без всякой опасности для государства. В Литве на полторы тысячи человек был лишь одни коммунист-подпольщик. Я допускаю, что после легализации партии мы бы имели одного коммуниста на полтораста жителей. Стоит ли этого бояться, Антанас?

— А если одного на пятнадцать, Юозас?

— Ну и пускай, — машет руками Гердайтис. — Пожалуйста, я уступлю еще больше: пускай коммунисты набирают большинство в сейме, даже берут власть, хотя это и невозможно, конечно, поскольку литовцу чужды коммунистические идеи. Но я допускаю и это, господа. Не знаю, как вам, а мне в сороковом году казалось, что неважно, какая партия правит, лишь бы она была литовская.

— Вы — красный, господин Гердайтис!

— Никогда им не был, как ты сам прекрасно знаешь, Антанас. Просто я рассуждаю, какой вариант был наиболее приемлемым для нас в тогдашней политической ситуации, чтобы мы сохранили государственность. А в отношении международного права это весьма важно. Мы же не знаем, как сложатся обстоятельства после войны…

— Какая дальновидность! — от души смеется Туменас. — Пока русские дойдут до границ Литвы, у них пройдет желание притязать на Прибалтику. Немцы выжмут их, как лимон. И сами выдохнутся. Дядя Сэм на это и рассчитывает. Когда эти петухи насмерть друг друга заклюют, он и поставит их на место. Так полагает господин начальник уезда. Рузвельт не уступит русским Прибалтики. Это было бы плевком в лицо покойному Вильсону и престижу Америки, защитницы малых наций. Мы с господином начальником уезда…

— Вздор! Что вы там со своим уездным начальником? — грубо обрывает Липкус, которого раздражает слабость Туменаса — тот любит похвастаться своими связями. — Рано еще немцам яму копать.

— Ты что, думаешь, они войну выиграют? — обижается Туменас. — Против всего мира?

— На этот вопрос пусть ответит история, Альгис.

— Правда, коллеги. Неужели у трезво мыслящего человека могут возникнуть сомнения, кто победит в этой войне? — Туменас растерян и возмущен. — Я уже говорил вам о сегодняшнем визите человека из Каунаса. Ответственное лицо, поддерживает связь с верхами самоуправления. Известно, что немцы предложили генералу Плехавичюсу создать литовскую армию. Это немаловажный факт, господа. Генерал Плехавичюс надеется, что немцы предоставят Литве независимость. Тогда новое правительство республики

объявит всеобщую мобилизацию и наши парни плечом к плечу с немцами против большевиков…

— Не очень-то соблазнительная перспектива, к чертовой матери! — ежится Гердайтис.

Дирвонайте. Юозас…

Липкус. Если не дали независимости сразу, как только выперли русских, то пускай теперь Гитлер сунет ее в свою австрийскую задницу.

Дирвонайте. Господа, не забывайте, что среди вас — женщина.

Липкус. Пускай сунет и подотрется.

Дирвонайте. Хам!

Туменас. Но это — гипотеза, коллеги. Человек из Каунаса полагает, что независимость у немцев сейчас не выпросишь — они слепо верят в благополучный исход войны. И тогда, ясное дело, видеть им литовскую армию на фронте, как свои уши, вот какие пироги.

— Странно, — смеется Гедиминас. — Не один килограмм табаку выкурили вы в этой комнате, сражаясь за независимость, а как погляжу, не очень-то обрадовались бы, вдруг получив ее.

Все недовольно уставились на Гедиминаса.

— Ваш тон неуместен, Гедиминас! — Дирвонайте оскорблена.

— Чего желать от деревни? — подхватывает Липкус. — Для мужика всегда на первом месте были свиньи да лен.

— Любопытно бы знать, Гедиминас, много ли сам своротил для блага родины? — наклоняется к нему Гердайтис. — Какие горы, если будет позволено спросить?

— Я не сражаюсь с ветряными мельницами, Юозас.

— Побольше демократии, коллеги, — пытается примирить стороны хозяин. — Гедиминас не согласен с нашей позицией, но это еще не значит, что он, если родина позовет, не исполнит своего долга.

— Кто в этом сомневается? — ухмыльнулся Липкус. — Господин Джюгас, много ли откормил в этом году свиней для немцев? Как рожь уродилась? Виноват, дал маху: забыл, что ты отказал рейху в поставках! Патриотический жест. Поздравляю с поднятием флага против оккупантов.

— Благодарю, Антанас, — мягко отвечает Гедиминас, ядовито улыбаясь сквозь облако дыма Липкусу. — Я сделал лишь то, что считал своим долгом.

— Много, отчаянно много ты сделал, — не отстает Липкус. — Ведь твои свиньи и пшеница предназначались на стол самого Гитлера. Адольф ждет их не дождется и который день голодает. Надо надеяться, вскоре главный штаб фюрера опубликует сводку, что старик с голодухи загнулся.

— Он не загнется ни из-за моих поставок, ни из-за ваших разговоров, господин Липкус. Мы с вами бьем по заднице, а есть люди, которые метят в голову.

— Знаком с такими? — Лицо Липкуса действительно приобретает цвет лимона.

— Для вас новость, что в Вентском лесу стреляют?

— О-ох! — вскакивает Дирвонайте. — Он о бандитах…

Гердайтис чмокает губами, раскачиваясь между Липкусом и Гедиминасом, словно маятник. Черт возьми! Этого еще не хватало, чтоб им предложили уходить в лес к красным!

— Я не предлагаю, Юозас, — защищается Гедиминас. — Я только говорю, что эта словесная война мне кажется смешной.

Липкус извлекает из внутреннего кармана пиджака подпольную газету — каждый получил по экземпляру от Туменаса, и, размахивая ею перед носом Гедиминаса, говорит:

— Написанное здесь в течение недели узнает вся школа. Мы в постоянном контакте со школьной

молодежью, Гедиминас. Если вы видите нас сегодня у Туменаса, это еще не означает, что завтра вечером каждый из нас не будет сидеть у себя дома в окружении учеников, которые понимают нас лучше, чем вы. Наше живое патриотическое слово через учеников гимназии доходит до их родителей, братьев, сестер, распространяется в деревне и городе, готовя нацию к тяжким испытаниям. Вы корчите героя со своими поставками. Плевать мне на них!

Дирвонайте. Антанас…

Липкус. Плюю я на ваши поставки, плюнуть и растереть, господин Джюгас. Стоило нам только захотеть, стоило нажать кнопку через своих учеников, и большая часть села не дала бы ни килограмма зерна и мяса. Но мы этого не сделали, — не в наших интересах раздражать немцев, чтоб они пролили еще больше литовской крови. Пусть этим занимаются те, что метят, как вы говорите, Гитлеру в голову, а на деле косят своих.

— Вот не думал, что вы такой авторитет для литовской нации, — иронизирует Гедиминас.

— Почему — он? — ловит его Дирвонайте. — Учитель! Учитель и ксендз были и остались главными авторитетами на нашем селе.

Гедиминас молчит. Да, с этим спорить не станешь.

— Когда печать Кубилюнаса стала призывать молодежь вступать добровольцами в вермахт, многие ученики старших классов подняли было крылья, но мы их с ходу подрезали, — вставляет Гердайтис.

— Да, потеряли бы несколько десятков парней, а сложили головы только двое, — сверкает рот Липкуса. — Они все, вот как сегодня мы, сидели за столом. У Туменаса, Гердайтиса, у Юрате, у меня. «Ну как, господин учитель?» Стоило только рявкнуть: «О чем разговор! Иди, раз самоуправление призывает. Всыпь большевикам!» И пошли бы. Но мы — нет! И те и

другие — чужие для нас. Побереги голову, — сложишь ее, когда понадобится, за родную Литву.

— Значит, отложили исполнение смертного приговора своим парням, — пытается сопротивляться Гедиминас, чувствуя, что сдается.

Дирвонайте. Жуткий цинизм!

Гердайтис. Нет — кокетничанье своей оригинальностью.

Туменас. Иногда ты невыносим, Гедиминас.

Гедиминас. Почему, Альгис? Ведь вы так этих детей зарядили, что достаточно нажать кнопку, применяя выражение господина Липкуса, и все они полетят в цель.

Дирвонайте. Для вас нет ничего святого, Гедиминас.

Гедиминас. Кроме человека, Юрате.

Гердайтис. Начинаю верить, что все поэты чокнутые.

Липкус разевает рот, словно рыба на берегу. Зеленые глаза буравят Гедиминаса с такой злобой, что по спине бегут мурашки. Наконец — смех. Первый раз за этот вечер он слышит смех Липкуса. Сиплый, с тарахтением. Как будто телега едет по мосту.

— Господа, полюбуйтесь на этого человека. — Липкус протягивает руку через стол, тычет пальцем в Гедиминаса, едва не касаясь груди. — Полюбуйтесь на это ископаемое. Это самое совершенное порождение человечества. Гений! Для него нет ничего святого, кроме человека, а когда мы спасли для нации пятьдесят молодых жизней, он, этот светоч гуманизма, только смеется над нами. Да, да, здесь, за этим столом, мы выкурили немало табаку, как вы изволили выразиться. А что ваша милость сделала для блага вашего человека? Сбежала к папаше свиней кормить, потому что в деревне спокойнее, безопаснее. Пускай такие дураки, как Туменас со своей братией, борются за нашу

молодежь с немцами и их прихвостнями, а если попадутся, пускай едут в рейх, пахать поля бауэров, или в трудовые лагеря. Не знаю, чем кончится дело с этими смехотворными поставками, господин Гедиминас, но я лично плакать не стану, если вам прищемят хвост. В одиночку хотели смеяться — в одиночку и заплачете. Нация склоняет свои знамена лишь перед теми, кто гибнет за нее и вместе с ней. Сторонние наблюдатели, да еще такие, которые издеваются над нацией в час испытаний, ей не нужны... .....

Колокола Марюса... С другой колокольни, конечно, но в нем, в этом звоне, то же безжалостное осуждение, которое гремело в избушке у леса. «В одиночку хотели смеяться, в одиночку и заплачете...» Марюс сказал это чуть иначе: «Держись обеими руками за свой флаг, то есть за себя, пока фрицы не уложат тебя в могилку...» И тут и там за столом сидело пятеро, и были две точки зрения. И его точка зрения показалась смешной. Одни презрительно повернулись спиной, ушли, даже не попрощавшись, другие же совали руки, благодарили за гостинцы, но во всем их поведении чувствовалось такое превосходство, что Гедиминас, подавленный собственным ничтожеством, не скоро пришел в себя.

«Надо было кивать, глотать чужой табачный дым и молчать. Был ли смысл еще выше поднимать стену, которая и так уже отделяет меня от вчерашних друзей? Липкус справедливо бросил мне в лицо: и впрямь, что же я сделал „для блага моего человека“? Помог Пуплесене и Культе. А все другое — слова, слова. Но даже этот убогий аргумент я не вправе был использовать».

Гедиминас растянулся на диване и смотрит в потолок. Если б за окном гудел лес и где-то тикал будильник, можно было бы подумать, что все еще

длится ночь на опушке Вентских лесов. Но за открытым окном сонно дышит город. По тротуару стучит подковами сапог патруль, где-то ревет мотор машины, из ресторана вместе с ветром приплывает, то усиливаясь, то почти смолкая, музыка джаза. Гедиминас закрывает веки. Глаза саднит от табачного дыма, хотя комната, наверное, уже проветрилась, можно закрывать окно. Его чуть подташнивает. Сознание выталкивает и снова поглощает образы, ничего общего не имеющие с этим вечером. Вороны на дороге зимой копаются в дымящемся конском навозе. Мать кормит кур во дворе. Отец. Погожее летнее утро… Снова отец. По-детски сидит верхом на стульчике, отбивая косу… Тук-тук-тук… Белая береза за гумном, у пруда… Не помнит уже, кто тогда обидел его, малыша, но он плакал, обняв дерево. Было ласковое синее небо, просвечивающее сквозь взлохмаченную ветром крону березы, ласковые птицы, ласковые стрелы аира по берегу пруда, но не люди. Он не хотел видеть никого из людей. Представил, что, кроме него и этого дерева, единственного его друга, никого больше и нет на свете. Разве что пролетевшая мимо птица, стебель зеленого аира — вот и все. Голубая даль. Без конца и края. Пустота. И тогда, наверное, впервые в своей маленькой жизни, он почувствовал суровое веяние одиночества, от которого, как от удара ветра по лицу, на глаза навернулись слезы.

…Хорошо бы сидеть, прислонившись спиной к березе детских лет, и давать волю сердцу.

— Наверное, дым вытянуло, — голос Туменаса со скрипучей кровати.

Гедиминас торопливо осушает краем одеяла слезы на глазах: вдруг Альгис включит свет. Но тот в потемках закрывает окно и, затянув штору, на цыпочках возвращается к своей кровати.

— Я не сплю, — невольно вырывается у Гедиминаса. — Послушай, Альгис, мне правда жаль, что я по-хамски вел себя с твоими гостями. Не сердишься?

— Липкус иногда слишком распускает язык. — Туменас широко зевает. — Но вообще-то они люди мыслящие. Мог бы терпимее к ним отнестись.

— Конечно, Альгис. Тем более что я конченый человек, никто мне не поможет.

— Вот какие пироги… — удивленно тянет Туменас. — Что случилось? А, ты насчет поставок…

— Поставки — дело десятое, Альгис. Пока что десятое. Я просто чертовски одинок. Какой-то кошмар. Такое чувство, будто я прыгаю, как кузнечик, под огромным прессом, который неумолимо опускается.

— Все мы под прессом, Гедиминас. Сегодня разговариваем здесь, а завтра можем оказаться в гестапо.

— Нет, Альгис, это не страх перед смертью или неизвестностью. Ты в детстве хоть раз заблудился в лесу? Бежишь в одну, в другую сторону и не веришь, что выбрал правильный путь. Так вот, и со мной теперь нечто в этом духе.

— Может, не стоило тебе сматываться в деревню?

Гедиминас пропускает мимо ушей замечание Туменаса и продолжает мысль, которая все больше завладевает им:

— Липкус за дело щелкнул меня по носу. Препротивный субъект, не люблю таких, откровенно признаюсь, но ваши усилия удержать учеников от фронта… Это вы, правда… нельзя признать… Вас уважать надо. Я со своими поставками и впрямь…

— Вернулся бы в гимназию, Гедиминас. Мог бы больше сделать для блага нации, — оживляется Туменас.

— На этом я поставил точку, не надо, — резко обрывает Гедиминас и, помолчав, добавляет: — Вы и в

самой гимназии ведете такие разговоры? Хоть Баукуса остерегайтесь.

— Баукуса? Этой развалины? Сказал бы — директора!

— В тихом омуте черти водятся.

— Баукуса! Смешно!

— А ты не смейся, разрази тебя гром!

— Мы даже собирались привлечь его в свой кружок. Намекнули, но старик перепугался, только руками замахал: «Жена, детишки…» Вот какие пироги… Трус!

— Тебе этого мало?

Туменас только глубоко вздыхает.

Гедиминас поворачивается к стене. Пружины впиваются в бок. Давно пора спать, — наверное, уже за полночь, — но в голове неотступно теснятся мысли. Какая-то гнетущая сумятица, от которой не сбежишь. Его подмывает продолжить разговор с Туменасом, впустить его в свой смятенный мир, поводить по сокровенным лабиринтам сердца — пусть скажет, что не так, что надо изменить. Нет, не поймет; хоть и будет стараться, ничего у него не выйдет. Нанесет грязи, наплюет на пол. Кроме отца, пожалуй, нет человека, которого он мог бы впустить в свою душу на равных. Милда? Да, с ней просто. Рядом с ней кажешься себе больше, значительнее. Все проблемы теряют вес от одного жеста ее руки, картавого говорка, улыбки, волнующей и беспомощной. Она такая же изувеченная жизнью, как и ты, только еще более нищая духом, — ты мечешься, скорбя за весь мир, а она живет своим горем. И зажимаешь губами губы, ерошишь волосы, впитываешь тепло тела, и таешь от благодарности, что на этой страшной земле есть существо, которому ты нужен, как хлеб голодному, как вода жаждущему, как любовь человечеству.

III

Проводив утром Туменаса в гимназию, Гедиминас помедлил с час (пускай Адомас уберется в свой участок) и ушел на почту, чтоб позвонить Милде.

Ответил незнакомый женский голос.

— Будьте любезны, позовите к телефону госпожу Вайнорене, — попросил он, задыхаясь от волнения.

— Госпожу Вайнорене?.. Да ее… Да она-то…

Треск. Пауза. Потом мужской голос:

— Кто спрашивает?

Гедиминас, словно обжегшись, отнял от уха трубку.

— Кого вам? Алло, алло!

Что случилось, разрази их гром? Откуда у Милды девка-заика и мерин с насморочным голосом?

Вышел на улицу, постоял на крыльце, прикидывая, что предпринять, потом вернулся на почту и попросил еще раз соединить с тем же номером.

Теперь сразу ответил мужской голос.

— Мадам Милда дома?

— И что же, если дома?

— Можно ее?

— А с кем бы она имела честь говорить?

— Простите, а какое вам дело? — взорвался Гедиминас. — Кто вы такой? Служите у нее камердинером?

— Нет, я составляю список ее бывших поклонников. — В трубке цинично рассмеялись, раздались гудки-телефон отключился.

Гедиминас вышел с почты, не зная, что и думать о таком странном сюрпризе. Наверно, Милды нет дома, а у Адомаса гости, которые, в угоду хозяину, откалывают шуточки. Ну и пускай. Побродит по городу, потом позвонит еще раз.

Он дошел до дома, в котором жил Туменас. Оттуда, торопливо проскочив Гимназическую улицу, мимо конфетной фабрики свернул к вокзалу. Немного постоял на Большом Бугре, с которого был виден весь город, и вернулся в центр, где за тесно стоящими домами меньше чувствовался лютый зимний ветер, но крыши все равно белели от изморози, и на лужицах морщился ночной ледок.

Гедиминас зашел на почту и снова позвонил Милде. Ответил тот же мужчина, спросил, с кем имеет честь говорить, и, не дождавшись ответа, повесил трубку.

Гедиминас приуныл. Неужели не удастся встретиться с Милдой до того, как Туменас вернется с уроков? Немного побродил неподалеку от дома Вайнорасов, уповая на счастливую случайность, но Милда не появлялась. Эх, плюнуть бы на все да зайти... Пускай они потешаются — Адомас со своими собутыльниками. Правда, его могут выставить за дверь, но ему ведь нужна не госпожа Вайнорене или там Берженене, а просто-напросто Милда Дайлидайте. Очень даже возможно, что она сидит в своей комнате, но не успевает подойти к телефону. Этот простуженный мерин первым хватает трубку.

Собравшись с духом, Гедиминас вошел во двор. За садом стоял тот же желтый дом Вайнорасов, но в первый миг Гедиминасу почудилось, что он попал не туда.

...Нежилой дом. Окна заколочены, на двери — ржавый замок. В стылых комнатах пусто, замусорено... Он невесело улыбнулся этому странному видению и нажал на звонок.

Открыли не скоро. Поначалу вроде зашаркали шаги, даже шевельнулась ручка, но кто-то крикнул («Weg!»[42] — послышалось Гедиминасу), и шорох затих.

Он еще раз нажал на кнопку.

— Кто там?

— Откройте! — закричал Гедиминас, сжимая потные ладони.

Дверь приоткрылась. В лицо дохнуло хлороформом и запахом немецкой сигареты. Прежде всего Гедиминас увидел направленный в грудь пистолет, который держала лапа, поросшая черной щетиной. Лицо человека тоже было почти черное, с раздвоенным подбородком. Холодно блестели глаза, в которых не было мыслей — одно профессиональное любопытство.

— Что вы здесь делаете? — пролепетал Гедиминас, пятясь от двери.

Человек опустил пистолет.

— А-а, это вы звонили? — не то обрадовался, не то удивился он, медленно прикрывая дверь. — Это вы зря, сударь, вам тут больше делать нечего.

Гедиминас повернулся и вышел на улицу. От волнения не заметил, как какой-то человек отделился от угла дома и последовал за ним. «Что тут творится, разрази их гром! Какая-то девка-заика, человек с пистолетом в квартире Милды... Неужели ее арестовали? Но за что? Чепуха! Адомас не мог докатиться до этого. Логичней было бы сперва меня прихлопнуть». Гедиминас постарался вспомнить, был ли этот человек в мундире, как будто это имело значение, но в памяти остались мохнатая лапа с пистолетом да тупой взгляд. Он уныло брел по тротуару, не зная, что делать дальше; он начинал осознавать, что случилось какое-то несчастье.

Впереди шли две женщины. Одна была молода, худощава и легкостью походки напоминала Милду. Гедиминас догнал их; еще немного, и он бы схватил ее за руку, но вовремя заметил ошибку; Милда так безвкусно не одевалась. Хотел обогнать, потому что женщины слишком громко тараторили, а Гедиминас не любил подслушивать чужие разговоры, но тротуар был

узкий, и он шел за ними, все больше удивляясь тому, что слышит.

У перекрестка появилась легковая машина. На повороте шофер сбавил скорость, и Гедиминас на переднем сиденье увидел начальника гестапо Дангеля. Он сидел, словно проглотив аршин, глядя вперед ничего не видящим взором, но Гедиминасу показалось, что их глаза встретились. На заднем сиденье сидели трое — один в форме; они поглядывали по сторонам с таким выражением, словно везли бомбу замедленного действия.

Тротуар стал шире, но Гедиминас, вместо того чтобы обогнать женщин, поравнялся с ними и нерешительно заговорил:

— Прошу прощения, я нечаянно услышал вашу беседу. Видите ли, я сам из Лауксодиса, поэтому поймите мое любопытство. Откуда вам известно, что партизаны этой ночью сожгли сеновалы фон Дизе и повесили старосту?

Женщины испуганно уставились на него.

— О-о, вы из Лауксодиса! — Малышка ласково улыбнулась Гедиминасу и разочарованно добавила: — Значит, неправда? И чего только люди не наговорят!..

— Я не говорю, что неправда, уважаемая. Не могу этого сказать, — подчеркнул Гедиминас. — Сегодня я ночевал в Краштупенай.

— Значит, и вы и мы ничего не знаем, — торопливо вставила женщина постарше, внимательно оглядев Гедиминаса с головы до ног. — Правильно говорят: за ветром в поле не угонишься. Но так уж повелось: принесет ветром слух неведомо откуда и через кого, а люди подхватят и долдонят, как попугаи.

— Да вы не бойтесь меня…

— Что вы! Сразу видно, приличный человек. Но нам сюда. — Старшая взяла подругу под руку, и они нырнули во двор.

Мимо на небольшой скорости снова прокатила черная машина Дангеля и остановилась у тротуара в десятке метров от Гедиминаса.

Гедиминас повернул было назад — не было ни малейшего желания приподнимать шляпу перед начальником гестапо, — но в этот момент кто-то сзади взял его за руки. С удивлением и досадой он посмотрел на двух мужчин, панибратски взявших его под руки, увидел на головах фетровые шляпы, на розовых лицах улыбки, напоминающие ухмылочку типа в дверях домика Милды, и все понял.

— Чего вам от меня надо? — резко спросил он, с тоской глядя на поленницы дров, за которыми исчезли женщины.

— Скоро узнаете, господин Джюгас, — сказал один из них. — Пожалуйте в машину.

— Только спокойно, — предупредил второй. — Наши «зауэры» с десяти шагов попадают в яблочко.

Мужчины отпустили руки, и все трое, словно закадычные приятели, вышедшие прошвырнуться в субботний вечер, дружно двинулись к автомобилю.

— Herein![43] — гаркнул первый, открывая заднюю дверцу.

В сущности, это не имело значения, но Гедиминасу почему-то полегчало, когда он увидел, что в машине, кроме шофера, никого больше нет.

— Руки! — резко сказал второй гестаповец, когда автомобиль дернулся с места.

Гедиминас молча протянул руки.

— Это наилучшим образом предохраняет от соблазна, который обычно бывает последним в жизни, — оправдывался первый гестаповец, надевая на Гедиминаса наручники.

«Начинают сбываться пророчества Марюса…»

Вдруг его охватил такой ужас, что он едва сдержал крик. Он не мог объяснить это неожиданное смятение, но знал — это не страх смерти. Такое чувство, пожалуй, знакомо жителю гор, который, сделав неосторожный шаг, падает в ущелье, видит приближающиеся скалы на дне и мучительно осознает, что все бы обошлось, пойди он другой дорогой. Нет, достаточно было не делать последнего шага. Но он же не мог не встретиться с Милдой! Ах, надо было оттолкнуть этих типов, когда они взяли его под руки, и броситься во двор. Бессмыслица, конечно. Валялся бы теперь в луже крови, а кругом толпились бы зеваки. Но не лучше ли это, чем неведомое будущее? Хрясть одному, хлоп другому, рывок в сторону, и не сидел бы теперь в наручниках. Как-то не решился. Что греха таить, не успел и подумать об этом: слишком уж был ошарашен загадочными событиями в квартире Милды. Вспомнил вчерашнюю фразу о кузнечике под прессом. Свершилось! Опустился пресс. Исполнилась жестокая шутка Липкуса: в одиночку хотели смеяться, в одиночку и заплачете. В одиночку. О, если б это было так! Но человек не может умереть только для себя, не умирая для других. Сколько будет горя у отца, Милды. Жестокая логика жизни: пользуешься правом быть убитым, чтоб не убивать других, и все-таки не можешь умереть, не придавленный горем близких людей.

В полном оцепенении Гедиминас смотрел на скованные руки, лежащие на коленях, и старался успокоить себя — ведь не случилось ничего непредвиденного. Он сознательно шел навстречу такой судьбе, которой мог избежать, только изменив своим принципам. Однако в глубине души чувствовал: что-то случилось не так, как должно было случиться.

IV

Гестаповцы обыскали Гедиминаса и ушли, забрав все, что было в карманах. Он много слышал о жестокости представителей этой профессии, все время ждал, что они пустят в дело кулаки, но никто даже не замахнулся на него. Перед тем как уйти, они сняли с него наручники и пожелали (конечно, не без иронии) поскорей акклиматизироваться.

Помещение, в котором оказался Гедиминас, было средней величины комнатой, наспех приспособленной к новому назначению. Через большое окно, снаружи замазанное белой краской и забранное железной решеткой, сочились сумерки, скупо освещая выцветшие стены, деревянные нары с тюфяком и стул — единственную мебель в комнате. Воздух здесь был промозглый, с запахом плесени; перекошенный пол скрипел под ногами. Гедиминас попробовал сесть, но рассохшийся стул тоже завизжал на все голоса. Тогда он, не снимая пальто, растянулся на нарах. Та же музыка, бьющая по нервам. Как будто все сделано так, чтобы надзиратель за дверью слышал каждое движение заключенного. У Гедиминаса мелькнула мысль: в тюфяке притаились клопы, которые еще не успели переварить кровь лежавшего здесь до него человека, — но эта мысль почему-то не вызвала отвращения. Он тупо глядел на закрашенное окно и за металлической решеткой видел родной хутор, отца, глаза Милды. Картины были непоследовательные, обрывочные — случайные снимки из семейного альбома, — и он печально рассматривал эти фрагменты прошлого, стараясь ни о чем не думать. Все вокруг — шаги надзирателя за дверью, скрипение нар, четырехугольник окна, иссеченный решеткой, — все это вместе с бессвязными картинами, всплывающими в памяти, не имело никакого отношения к действительности. Время от времени он вскакивал с нар, принимался ходить по комнате, бессмысленно

рассматривал стены или глядел в щель между рассохшимися половицами, потом снова растягивался на тюфяке. Время и пространство как бы застыли, и было странно, что в комнате становится все темней, а потом все светлей и из черной пустоты появляются стены одиночки. Утро! Впервые за много лет рассвело. Он не знал, когда заснул, да и не был уверен в том, что спал: оцепенение прошло, и перед глазами снова возникла суровая действительность. Ему показалось, что все еще длится вчерашний день. Чувство голода напомнило ему, что прошло немало времени с той минуты, когда он ел в последний раз. Он даже обрадовался, услышав громыханье засова, хотя ему тут же пришлось разочароваться.

— Выходи! — гаркнул эсэсовец, открывший дверь.

В узком темном коридоре его ждали двое.

— Rechts![44] — крикнул один из них.

Гедиминас пошел за ним. За его спиной стучали шаги второго надзирателя.

Так, гуськом, они вышли в тесный, мрачный двор. Слева виднелись высокие деревянные ворота, справа — неоштукатуренный дом из обожженного кирпича с окнами в готическом стиле. Войдя в широко открытую дверь, они поднялись по винтовой бетонной лестнице на второй этаж.

Кабинет Дангеля находился в конце коридора. Первый эсэсовец, энергично постучав костяшками пальцев, распахнул дверь и вытянулся для рапорта, но Дангель, по-видимому, жестом приказал ему отойти, потому что черная спина эсэсовца скользнула в сторону, открывая фигуру человека в мундире, вставшего за письменным столом. Тут же второй эсэсовец втолкнул Гедиминаса в комнату. Дверь за спиной бесшумно закрылась.

— Господин Джюгас! — Дангель, улыбаясь во весь рот, двигался навстречу Гедиминасу. — Какая приятная встреча! Садитесь, господин учитель. Нет-нет, не сюда, с добрыми друзьями я не люблю беседовать за письменным столом, это для официальной клиентуры. — Он взял Гедиминаса за локоть и — тот не успел даже опомниться от столь радушной встречи — подвел к круглому столику в углу комнаты, между окном и дверью. — Как выспались? Надеюсь, мои люди вежливы с вами?

— Не могу жаловаться, — буркнул Гедиминас, погружаясь в мягкое кожаное кресло.

Дангель уселся напротив.

— Я должен извиниться, господин Джюгас, за неприятный сюрприз, но поймите, иногда приходится принимать довольно жесткие меры, дабы предохранить наших друзей — в данном случае вас — от более крупных неприятностей.

— Благодарю за заботу, господин начальник гестапо. — Гедиминас невольно улыбнулся. — Интересно, с каких это пор вы причисляете меня к своим друзьям?

— Мы уважаем людей ума и таланта, господин Джюгас. А вы как раз таковы. Среди прочих вещей, которые забрали у вас мои мальчики, я нашел листки со стихами. Вы владеете пером! Признаюсь, я уже читал большую часть ваших произведений, опубликованных в печати. Но эти мне показались самыми сильными. Поверьте, это не мнение неуча. В гимназии я сам писал стихи, много читал. Поэтом не стал, но поклонником поэзии останусь до смерти.

Взгляни: бежит корабль волнами,
Увы, неверен его путь —
Швырнет его волна на скалы,

Коль не успеет повернуть.

— Вы сожгли на костре книги этого великого немецкого поэта, — мрачно заметил Гедиминас.

— Да, это был гениальный еврей.

Дангель встал. Гедиминас тоже заерзал в кресле, но начальник гестапо остановил его движением руки. За его спиной щелкнул отпираемый сейф. Потом на столик медленно опустилась рука с початой бутылкой французского коньяка, две рюмки, фарфоровая тарелочка с узорными краями, на которой были кусочки шоколада.

— Мои слова прозвучат парадоксом, господин Джюгас, но я уверен: ничто так не парализует дух нации, не сковывает ее веригами рутины, как бред гениальных художников, не умерших вместе со своей эпохой. Это медленно действующий яд — отравимся в детстве, а лечимся всю жизнь. Возможно, когда-то немцам нужны были Гёте, Гейне, Шиллер, хоть я в этом и сомневаюсь, но сейчас они устарели. Они пели гимн человеку вообще, растили в сознании немца вредную щепетильность, забивали мозги красивой, но опасной чепухой, которая воспитывала рабов, а не борцов. Нация давно выше их на голову, господин Джюгас, немцам нужны не музейные гении — пусть они тлеют в мавзолее своей эпохи, — а исполнительные художники, произведения которых, может быть, их и не переживут, но в них будет то, что больше всего нам сейчас нужно, — отсутствие жалости к нациям, рожденным для рабства, и фанатическая вера в величие своей нации, которую история призвала управлять миром.

— Господин начальник гестапо, вы забываете, что перед вами сидит не немец, — сказал Гедиминас, глядя на прозрачно-белую руку, подвигающую к нему рюмку.

— Ни в коей мере, господин Джюгас! Вы не немец, но и не один из тех скотов, простите за выражение, которым история приказала таскать камни на строительстве пирамид. Для человека вашего типа всегда найдется место и уважение в великом рейхе. Давайте выпьем, господин Джюгас. За будущее человечество, управляемое великим гением немецкой нации!

Дангель поднял рюмку, отхлебнул и, увидев, что Гедиминас не шелохнулся, поставил ее на столик. В глазах что-то сверкнуло, словно лезвие ножа, и погасло.

— Вы не уважаете хозяина, господин Джюгас.

Гедиминас пожал плечами.

— Видите ли, мы, литовцы, привыкли сперва как следует подзакусить, а потом уже выпить, — сказал он, борясь со страхом и враждебно глядя прямо в глаза Дангелю. — Я еще не завтракал, господин оберштурмфюрер.

— Ach so. — Дангель снисходительно улыбнулся. — Что ж, тогда понятно. Снизойду к вашему национальному характеру. Скажите-ка, господин Джюгас, что бы вы подумали о таком человеке, который в сметоновской Литве ругал немцев, а когда немцы освободили Литву от большевиков, бросил работу учителя и перебрался в деревню? Из деревни, где он поселился, однажды ночью сбежали пленные. Потом этот человек отказывается сдавать зерно государству, и, что самое любопытное, в тот же день, когда полиция приезжает произвести секвестр его хозяйства, в деревню врываются партизаны и вешают старосту. Я пропустил одно звено из этой цепи — о нем поговорим позже, — но и сказанного достаточно, чтобы проницательный человек, каким, к примеру, я считаю себя, сделал соответствующие выводы. Хотелось бы знать, каково ваше мнение по этому вопросу, господин Джюгас?

Гедиминас вздрогнул: наконец-то речь пойдет о том, ради чего его сюда привезли.

— Если вы считаете себя проницательным человеком, господин Дангель, вы должны были понять, что ни с одним из упомянутых вами фактов, кроме поставок, я не имею ничего общего. А поставок мы сдать не можем, поскольку, как уже убедилась в этом полиция, у нас просто-напросто ничего нет.

Дангель пронзил Гедиминаса испытующим взглядом.

— Не считайте меня простаком, господин Джюгас. Когда выясняется, что у крестьянина нет зерна, хотя был хороший урожай, а неподалеку шляются партизаны, сразу напрашивается другой вывод. Но пока оставим этот вопрос. Поставки, если взять их в отдельности, меня интересуют меньше всего, я отношусь к ним, как к одному из фактов, за которыми скрываются более важные вещи.

Гедиминас перевел дух.

— Неужели вы думаете, что я помог бандитам повесить Кучкайлиса? — с улыбкой спросил он.

— Нет, такие подвиги не для вашей поэтической души. — Дангель тоже соизволил улыбнуться. — Хотя, говоря откровенно, я не сомневаюсь, что этих людей вы знаете не хуже меня.

Гедиминас пожал плечами. Старался казаться равнодушным, даже призвал на помощь кривую улыбку, но чувствовал, что щека подергивается, а глаза не выдерживают пронизывающего взгляда Дангеля.

— Господин оберштурмфюрер, я ведь не скрываю, что не испытывал особой любви к немцам. Но достаточное ли это основание, чтобы подозревать меня в сотрудничестве с большевиками? Если вам известна история нашей семьи, вы даже отдаленно не можете допускать такой мысли, — ответил Гедиминас,

удивляясь тому, как искренне и убедительно прозвучали его слова.

— В вашей деревне, без сомнения, тоже есть люди, с которыми у вас имеются свои счеты, но обстоятельства складываются так, что вы с ними иногда общаетесь.

— Элементарная вежливость требует снять шапку, встретив соседа, как бы к нему ни относился, — спокойно ответил Гедиминас.

— Да, вы воспитанный человек. — Дангель закурил. — Англичане таких называют джентльменами, большевики — гнилыми либералами, а я считаю, что такие люди — удобный пень, у которого мочатся все деревенские собаки. Вы меня поняли, господин Джюгас?

— Нет, господин Дангель.

— Бросьте прикидываться, господин Джюгас. Вы плохой актер, никакой грим вам не поможет. — Дангель облокотился на столик. В нос ударил дым сигареты, смешанный с запахом одеколона. — Вынужден сообщить вам, что бандитам в Лауксодисе посчастливилось меньше, чем они надеялись. При желании я мог бы свести вас с некоторыми людьми из их шайки, которые вас знают.

Гедиминас вздрогнул. Рука непроизвольно дернулась к рюмке и упала на колени, так и не дотянувшись до нее, но Дангель заметил это движение и визгливо рассмеялся.

— Может быть, — буркнул Гедиминас. — До войны у меня было много знакомых, но я не знаю, кто из них теперь в лесу.

— Хорошо. — Дангель неожиданно сменил тон. — Допустим, у вас нет ничего общего с лесом. Положим, все красноречивые факты, которые я перечислил, лишь игра случая. Да будет так. Но как вы объясните, что у

фрау Милды оказалась пачка антигерманских националистских газетенок?

Гедиминас побледнел.

— Вы ее арестовали?! — воскликнул он, вскочив с места.

— Вопросы здесь задаю я, господин Джюгас, — Дангель развалился в кресле, выпустил изо рта кольца дыма и проследил, как они тают в воздухе. — Полагаю, вы не посмеете отрицать, что ваши отношения с фрау Милдой были интимными?

— Я ее люблю, — взяв себя в руки, ответил Гедиминас. — Скажите, что с ней?

Дангель нетерпеливо махнул рукой.

— Итак, откуда мадам Милда получила эту антигерманскую стряпню?

— Не понимаю, господин Дангель.

— Думаете, я поверю, что между вами и фрау Милдой были секреты?

— Подпольные газеты у Милды… — все не мог прийти в себя Гедиминас. — Невероятно, господин Дангель! Милду никогда не интересовала политика. Это какое-то недоразумение, господин оберштурмфюрер.

Дангель внимательно посмотрел на Гедиминаса.

— Что ж, на сей раз ваши глаза не лгут, — сказал он, взбудораженный неожиданной догадкой. — Но факт остается фактом — газеты обнаружены в квартире Вайнорасов. Неужели вы думаете, что господин Адомас?..

— Я ничего не думаю, господин Дангель. Вы сами справедливо отметили, что между мной и Милдой секретов нет. Она столь же далека от политики, как и я, это уж мне хорошо известно, поверьте.

Дангель одобрительно покивал головой.

— Господин Джюгас, позвольте задать вам еще один вопрос, — задумчиво сказал он. — Мне известно, что не так давно вы с Адомасом Вайнорасом были

близкими друзьями. Вы не из тех людей, которые столь легко поддаются женским прелестям, чтобы ради любви жертвовать моральными принципами. Какая причина толкнула вас разрушить семью друга?

Гедиминас печально усмехнулся.

— Семью разрушил сам Адомас, господин Дангель.

— Попрошу уточнить.

— Милда не из тех женщин, которым нравится носить перстни, снятые с трупов, господин Дангель. Ей противно целовать мужчину, от которого несет человечиной.

— Самка-вегетарианка, это вы хотели сказать? — Дангель деланно рассмеялся. — Да, в этом отношении вы под стать друг другу — оба травоядные. Вы, конечно, считаете, что у каждой двуногой твари, рожденной женщиной, есть право жить? Довольно поэтическая философия, господин Джюгас, но, увы, ненаучная. Вообразите только, какой хаос творился бы в природе, если бы сильные не уничтожали слабых. Фауна земного шара давно бы выродилась, так как посредственность, имеющая количественное превосходство, сожрала бы элиту. Тот же закон природы обязателен и для нас, людей. Увы, с увеличением числа травоядных его все чаще нарушали. Филантропы вашего типа, господин Джюгас, отравили сознание людей губительными идеями, прививая антигуманную мораль, по которой гений должен делиться куском хлеба с калеками, дабы, ограбив себя, самому превратиться в калеку. А мы говорим — нет! Земля принадлежит самым сильным, здоровым, талантливым! Каждый неполноценный — бремя для человечества, препятствие на пути прогресса, он не может править, создавать культурные и духовные ценности, его призвание — таскать кирпичи, из которых мы, совершенные, построим здание новой цивилизации. Германия призвана историей выполнить эту

величественную миссию. По глазам вижу, вы не верите, господин Джюгас. Очень жаль. Диву даюсь, как вы, просвещенный человек арийской крови, не желаете идти в широко распахнутые перед вами ворота, а ищете дыру в заборе. Просто не понимаю литовских интеллигентов. Смешные дети, строящие домики из песка. Разжигают антигерманские настроения, распускают несуразные слухи, а не видят, что рубят сук, на котором сидят. Вы же помогаете красным, господин Джюгас! Москве! Если Германия потерпит поражение, во что, разумеется, не верит ни один нормальный человек, сюда придут русские. Не англичане, не американцы, на что вы уповаете, а именно большевики. Итак, я бы посоветовал обдумать мои слова и отвечать на вопросы без уверток. Не злоупотребляйте нашими хорошими манерами, господин Джюгас. Знаете ли, человеку не очень-то приятно, когда его вешают вниз головой и раскаленным железом щекочут пятки или срывают ногти. Весьма неприятная процедура. Стоит ли страдать за тех, которые в случае прихода красных все равно отправят вас на тот свет?

Дангель наполнил свою рюмку, отхлебнул и закурил новую сигарету. Гедиминас смотрел на его руку, лежащую на столе. Мертвенно бледную, чистую и холеную. Бывают ли у палачей такие красивые руки? Эти длинные пальцы с ухоженными ногтями могут сорвать цветок, ласкать женщину, погладить головку ребенка. Как легкомысленно поступает природа, украшая то, что следует изуродовать! Гедиминас вздрогнул, настигнутый картиной. Милда и Дангель... В кровати или на диване. Он не знал и знать не хотел подробностей. И так понадобились гигантские усилия, пока он вытравил из души картину, которую нарисовал сам, услышав скупое признание Милды. И теперь, когда ослабела воля, она снова со всей яркостью всплыла в

сознании. Милда и Дангель... Белокурые волосы на подушке, гибкая ладонь с пальцами пианиста... На ее обнаженной спине, груди...

Гедиминас с ненавистью посмотрел на Дангеля. Усталость и апатию как рукой сняло.

— Я сказал вам все, что мог сказать, — бросил он, почувствовав, что невидимые тиски, сковавшие его перед Дангелем, ослабли. — Если б вы даже за ноги меня подвесили или сдирали ногти, как вы любезно изволили выразиться, я ничего бы не сумел добавить.

— Вы так полагаете? — Дангель презрительно усмехнулся, но не смог скрыть раздражения; выдали беспокойно блеснувшие глаза. — В нашем арсенале есть более эффективные средства, чем те, которые я на скорую руку перечислил. Полагаю, мы не успеем пустить в ход и половины из них, как вы запоете ангельским голосом, исповедуясь в своих и чужих грехах.

Гедиминас осклабился.

— Если я и провинился перед вами, господин начальник гестапо, то лишь в том, что стараюсь остаться человеком, — сказал он; ему страстно захотелось схватить со стола бутылку и ударить Дангеля по голове. — Применяя вашу терминологию — травоядным. Не умею пожирать людей. Что поделаешь, организм не принимает. Конечно, были все условия приспособиться к духу времени — уйти в лес или поступить к вам на службу, подобно Вайнорасу, — но, по-видимому, я из тех, кто охотнее согласится умереть от руки инквизитора, не замарав человеческое достоинство, чем остаться в живых с тридцатью сребрениками в кармане. Сомневаюсь, смогут ли ваши средства, от которых, как вы изволили выразиться, мученики поют голосами ангельскими, заставить меня включиться в их хор.

Дангель прищурился. Правое веко дернулось и застыло, словно приклеенное, лицо перекосилось. Но лишь на мгновение. Как будто он хотел рассмеяться, но спохватился, что это будет не к месту, и, смутившись, с досадой прикусил губу.

— Ja, Sie sind ein ungewöhnliches Wesen[45],— процедил он сквозь зубы. Его голос неузнаваемо изменился. — Но мы видели и таких. Опыт у нас, слава богу, есть. Вы относитесь к тому классу животных, которые не чувствительны к физической боли, но довольно живо реагируют на мучения другой, тем более — близкой твари. Полагаю, вы не останетесь равнодушным, любуясь, скажем, такой картиной: мои мальчики сжимают прекрасную ладонь фрау Милды специальными клещами. Кончики пальцев поначалу синеют, потом сквозь кожу просачиваются едва заметные капельки крови. Ноготки расшатаны, но еще далеко до полного маникюра: раскаленные докрасна иглы под ногти и все такое прочее…

Гедиминас съежился; он почувствовал рези в желудке.

— Вы этого не сделаете! — вскочив, пролепетал он. — Милда не виновата. Вы не можете так поступить с женщиной, которой… которую сами…

Дангель скособочился в кресле, и Гедиминас увидел в его руке пистолет.

— Коль скоро вы все равно отмалчиваетесь, сомневаясь, стоит ли положить в карман тридцать сребреников, — продолжал Дангель тем же бесцветным голосом, — мы вставляем в специальный станок ножку фрау Милды, которую мы с вами неплохо исследовали от щиколотки до того места, где она подвешена к туловищу. И вы слышите, как с хрустом ломается кость. Примерно так же хрустят сушки, но от этого звука у вас,

пожалуй, не потекут слюнки, пусть даже вы три дня ничего не держали во рту.

— Уму непостижимо… — прошептал Гедиминас, утирая дрожащей рукой пот со лба. — Звери… На такое способны только звери…

— Почему же, господин Джюгас? Минута откровенности — и всего этого не будет. Выйдете отсюда под ручку с фрау Милдой, как молодожены из костела. И на ваши шалости с поставками мы закроем глаза. От вас, только от вас зависит — спасти или погубить дорогого вам человека и самого себя.

Дангель встал, давая этим понять, что беседа окончена. Гедиминас тоже поднялся, но не сразу: голова кружилась, ноги стали непослушными, онемели, и лишь с третьей попытки ему удалось оторваться от кресла.

— Вы страшный человек, господин оберштурмфюрер, — прошептал он, глядя на натертый до блеска паркет под ногами.

— Весьма относительное понятие, господин Джюгас. — Голос Дангеля отдалялся вместе с шагами. Громыхнул стул: гестаповец сел за письменный стол. — Лев для газели — ужас, а для льва всего лишь лев. Станьте львом, господин Джюгас, и кончатся недоразумения между нами.

— Вы хотите, чтоб я утопил других, спасая себя и Милду. Но скажите, были бы мы счастливы, купив такой ценой свободу? Нет, я потерял бы Милду, как ее уже потерял Адомас. Мы бы не понимали друг друга, даже если бы прожили всю жизнь в одной комнате. Вам, представителю другого класса животных, трудно уразуметь, что лучше несколько дней умирать в страшных муках, чем мучиться душой всю жизнь.

— Abführen![46] — крикнул Дангель.

Гедиминас поднял голову: в дверях стоял навытяжку эсэсовец.

Глава седьмая

I

Кто мог бы, даже вольными словами,
Поведать, сколько б он ни повторял,
Всю кровь и раны, виденные нами?
Любой язык наверно бы сплошал:
Объем рассудка нашего и речи,
Чтобы вместить так много, слишком мал.[47]

Его втолкнули через широкую двустворчатую дверь в обширный зал, вроде исполинского кубического колодца, вырубленного в серой скале. Пустой и мрачный, без окон и мебели. Сюда каким-то образом попадал ажурный свет угасающего вечера. Поначалу Гедиминасу показалось, что, кроме него и двух гестаповцев за его спиной, в этом огромном каменном гробу с отшлифованными стенами никого нет, но, приглядевшись получше, он увидел в конце зала белую фигурку; все увеличиваясь, она медленно двигалась к нему. Это была Милда. Она шла зигзагами, — так ходят по мокрому лугу, огибая топкие места. Вся она — опущенная на грудь голова с белыми кудряшками, осиная талия, прозрачное короткое платье — отражалась в сверкающих плитах пола. Гедиминасу было странно, что она не бежит к нему, расставив руки, смеясь и шаля, как летом, когда они встречались в условленном месте, а бредет, словно что-то ищет. Лишь когда она подошла ближе, он понял, почему она так странно ходит: через весь зал, отмечая ее путь,

извивалась узкая тропа, густо усеянная металлическими шипами. Милда делала шаг то в одну, то в другую сторону, старалась ступить босой ногой на гладкую каменную плиту, но и здесь мгновенно вырастала стальная стерня.

«Стоит сказать, что знаю о партизанах, выдать Культю, повести их к домику на опушке, и мы с Милдой выйдем отсюда», — подумал Гедиминас. Она подняла голову и посмотрела на него, словно услышала. На лице — страдание, в глазах — мольба. Бескровные губы зашевелились и не раскрылись, но он понял, что она хотела сказать.

Он опустил глаза, не выдержав ее взгляда. Медленно, сантиметр за сантиметром, скользил он взглядом по легкому телу, от головы до босых ног. До крохотных белых ступней, проросших густой щетиной стальных игл. На остриях ягодками земляники алели капли крови. Потом капли стали набухать, словно почки цветка, зал исчез, уступив место голубому небосводу, каменные плиты залило поле красных маков. Милда шла по нему, подскакивая, как зайчонок. Белые кудряшки развевались на ветру, прядки падали на стройную шею, на раковины маленьких ушей, на лоб, на сверкающие, как голубые стекляшки, счастливые глаза. «Я напишу о тебе стихи, — сказал он, — и назову их „Мотылек“». Она смеялась и не соглашалась: мотылек живет считанные дни, а она хочет быть счастлива с ним, своим поэтом, всю жизнь. Он поймал ее и посадил на плечи, как ребенка. Босые пятки колотили его по груди, и он гладил икры, покрытые изморозью серебристых волосков, и, словно лепестки ромашки, трогал пальцы ее ног, гадая «любит — не любит». В сущности, пошло, но каждый раз это было внове… И высокое небо над головой — то солнечное, ясное, то по-осеннему мрачное, взлохмаченное тучами, — и

заброшенный сеновал у дороги, и лес, наполненный радостным щебетом.

«Что ж, господин Джюгас? Вам все еще нечего сказать господину оберштурмфюреру?»

Голос шел откуда-то сверху. Спокойный и холодный, как стены этого зала — заплесневевшие, в мутных каплях. Маковое поле пропало. Перед ним снова была каменная плоскость пола, по которой удалялась, все уменьшаясь, белая фигурка.

— Остановите! Остановите ее! — закричал Гедиминас, поняв, что никогда больше не увидит Милды. — Верните ее! Я все скажу…

Первое, что он услышал проснувшись, был скрип нар. Сердце отчаянно колотилось, его тряс озноб. И не от холода, хотя пальто лежало на полу: его напугал собственный крик, который, кажется, все еще звучал в камере. Не столько даже сам крик на него подействовал, сколько мысль, что это был не только сон. Он дремал, а не спал крепко, потому что теперь вспомнил звуки — стук в потолок, шаги надзирателя за дверью, даже скрипение нар под собой — звуки эти вплетались в картины, запечатленные в подсознании. Это законченное сновидение не могло возникнуть без участия рассудка. Неужели в нем зреют семена предательства? Шестнадцать суток он варится в этом адовом котле, и каждую ночь сны один страшнее другого — то отец, то Милда под пыткой, — но ни разу не возникала мысль спасти их ценой подлости. Каждый раз, услышав скрежет засова, он просыпался в холодном поту, решив, что его ведут к палачу, где он увидит Милду. Измученную, умоляющую о спасении. Потом — визжащую от боли (смрад горящего мяса), проклинающую его, Гедиминаса. Входил эсэсовец, приносил завтрак, обед, ужин. Раз в сутки его отводили по узкому темному коридору в уборную, где Гедиминас опорожнял свою парашу. Нет, днем он мог быть

спокоен: днем они не устраивали кровавых представлений, полагая, что лучше это делать ночью, когда человек спит глубоким сном. Стащить его с нар, иногда обдать из ведра холодной водой, а потом, дрожащего от холода, страха и ярости, тащить в девятый круг ада. Каждый раз он шел, готовый к страшной встрече, и каждый раз за дверью, в ярко освещенной комнате, Милды не оказывалось. На ее месте перед письменным столом стоял мужчина. Не всегда один и тот же, но всегда — мужчина. Гедиминаса сажали на стул в углу, и начиналось... Он опускал голову, закрывал глаза, старался спрятаться от этого зрелища, но от криков он не мог убежать. Воздух пропитывался запахом крови и паленого мяса, от которого его мутило, но так и не выташнивало. Когда человек терял сознание под пыткой, палачи выволакивали его из комнаты и возвращались с новой жертвой.

— Господин Джюгас, — в таких случаях неизменно обращался к Гедиминасу следователь в серо-зеленой форме гестаповца со знаками отличия унтерштурмфюрера, — вам все еще нечего сказать господину Дангелю? Когда мои мальчики приведут женщину, которую вы не очень-то желали бы здесь видеть, будет уже поздно.

Гедиминас молчал.

Возвращались «мальчики» следователя. С ними — новая жертва. «Не женщина...» Гедиминас вздыхал с облегчением, стыдясь этого чувства.

И снова удары, вопли разъяренных палачей, стоны, грохот падающего тела.

Несколько часов спустя Гедиминас возвращался в свою камеру, едва держась на ногах, и уже не засыпал до утра. Весь день он слышал животные крики жертв, удары, видел людей, избравших мучительную смерть, чтобы другие продолжали жить. Он метался по камере,

мерил ее шагами, и ни на секунду его не покидала мысль, что с каждым своим шагом он все ближе к вечеру, к ночному часу, когда загромыхает засов и они поведут его на кровавый спектакль. Он знал: лучше не спать — уставший организм реагирует слабее, — но только одну ночь ему удалось дождаться их, не сомкнув глаз. Он засыпал на минуту, на две, но они собачьим нюхом догадывались, что он задремал, и врывались в камеру. Он шел по коридорам и думал: на этот раз там уже будет Милда, — и снова заставал перед столом мужчину, иногда нового, иногда уже виденного. «Они хотят выбить меня из равновесия, натянуть нервы до предела. Когда моя психика нарушится, они станут пытать Милду, — делал он вывод. Но тут же думал: — Подпольные газеты, найденные в доме Вайнорасов, — ложь Дангеля, Милда на свободе; если и арестовали, чтоб попугать, то у них нет морального права пытать ее. Морального права...» Он отгонял эту мысль, ведь опасней всего в его положении успокоиться. Нуждаются ли звери в моральном основании? Эх, юноша, тебя только могила исправит...

Когда на злобный нрав накручен гнев,
Они на нас жесточе ополчатся,
Чем пес на зайца разверзает зев.

Однажды ночью — это было накануне казни на городской площади — в кабинет следователя втащили человека, которого Гедиминас уже видел в пыточной камере. Его усадили на стул — он не держался на ногах — и, привязав к спинке, принялись за дело. Человек не кричал, не проклинал, не клялся, что ничего не знает, — он молчал. Изредка из его груди вырывался стон, но он тут же подавлял его. Гедиминас не знал, чего они от него хотят; следователь каждому задавал один и тот

же вопрос: что он может добавить к сказанному ранее? Когда человек, обезумев от пыток, начинал кричать, что все скажет, Гедиминаса уводили.

— Нервы этого скота в конечностях, — услышал Гедиминас яростный голос следователя. — Укоротите ему левую ногу.

Гедиминас зажмурился, хотя сидел, уткнув подбородок в воротник, и видел только свои скованные руки на коленях, — перед тем, как вывести из камеры, на него надевали наручники. Громыхнул стул, раздались шаги. Готово. Палачи не любили переговариваться за работой. Потом тишину нарушил звук, который исподволь крепчал, становился все пронзительней, визгливей — так трется напильник о сухую древесину.

Человек скрипнул зубами и застонал.

Гедиминас зажал плечом одно ухо, а другое заткнул пальцем, подняв к голове скованные руки.

— Господин Джюгас, — приблизившись к нему, сказал унтерштурмфюрер, — мы своим практикантам спать не разрешаем. Зарубите себе на носу: пока вы сидите, уткнув нос в ширинку, мы пилим дрова. Если вам хоть немного жаль эту скотину, почаще поглядывайте на нее.

Гедиминас поднял ошалелые глаза. Следователь махнул рукой, и скрежет затих.

— Каждый раз, когда увижу, что вы интересуетесь тем, что мы делаем, я прикажу делать перерыв, — добавил он и криво, как будто у него болел зуб, улыбнулся.

— Сволочи… — буркнул Гедиминас.

Не веря своим глазам, он смотрел на человека меж двух стульев. Одна его нога была привязана проводом к ножке одного стула, а другая просунута под спинкой второго. Штанина была отодрана выше колена. Здесь чернела какая-то масса, из которой торчала пилка для

металла. Один гестаповец стоял, держась за спинку стула, из-под которой торчала нога, а второй, привстав на колено, держал рукоятку ножовки и равнодушно ждал приказа возобновить работу.

Гедиминас, не в силах больше выдержать, закрыл глаза скованными руками.

Следователь гаркнул по-немецки, и снова послышался скрежет пилы по кости.

«Старайся смотреть... смотреть на него, тогда они перестанут...» Дрожа так, что был слышен тихий перезвон наручников, Гедиминас посмотрел на палачей, и унтерштурмфюрер, по-волчьи оскалившись, крикнул: «Genug!» [48]

— Этот господин в углу вам сочувствует! — обратился он на ломаном литовском языке к допрашиваемому. — Постарайтесь вспомнить, не знакомы ли вы.

Человек не шелохнулся. Он сидел, привязанный ремнями к высокой спинке стула, склонив на плечо тяжелую голову. По тусклому, как жнивье под дождем, лицу лился пот. Желтые набрякшие веки приоткрылись, и Гедиминас увидел карие глаза, которые светились такой внутренней силой, такой несгибаемой верой в свою правоту и такой ненавистью, что казалось, пожалеть его — значит унизить. Угловатый подбородок, шрам у прямого мясистого носа, черные волосы... Гедиминас не мог вспомнить, но был уверен: это лицо он где-то видел...

Лишь наутро, снова столкнувшись с ним — на сей раз под виселицей на площади, — он узнал его. Это был один из трех партизан в домике на опушке. Марюс его называл Медведем. Эсэсовцы первым стащили его с грузовика, на котором привезли смертников, и поволокли к виселице. Здесь стоял табурет, на него полагалось поставить смертника и накинуть петлю.

Медведь не мог стоять, и два эсэсовца держали его, пока третий не просунул голову в петлю. Гедиминас, со связанными за спиной руками, не отрывал взгляда от смертника и чувствовал облегчение. Наконец-то кончатся его страдания. После всего виденного в камере пыток Гедиминасу казалось, что, добивая жертву, палачи совершают благодеяние. Нет, смерть не самая страшная минута в жизни, иногда ее ждешь как спасения. Медведь, пожалуй, думает то же самое, глядя на толпу, согнанную к виселице. Людей было много, и эсэсовцы продолжали сгонять прохожих, пойманных на улице, — пусть полюбуются зрелищем и призадумаются, стоит ли бунтовать. Если бы не крики немцев, сгонявших народ, и гул машин (иногда — самолет в небе), на площади царила бы могильная тишина. Люди стояли молча, опустив головы, лишь несколько любопытных пробирались поближе к виселице, но и они, застеснявшись, застряли в толпе, повинуясь общему настроению. А ведь в этой толпе не все ждали возвращения знамен, за которые сражались и погибнут сейчас приговоренные… Но Медведь словно отыскал и здесь своих товарищей и мысленно прощался с ними. Широкий взгляд карих глаз обежал людей, распухшие губы приоткрылись, и Гедиминас услышал слабый возглас:

— Да здравствует…

Не кончил: третий эсэсовец взмахнул рукой, и те двое разом выпустили свою жертву, которая повисла в воздухе. Но Гедиминас уже потупил глаза. Он видел только ноги Медведя. Голые до колен, почерневшие, со скрюченными пальцами. Они раскачивались над булыжником площади то в одну, то в другую сторону, словно искала опору, чтобы оттолкнуться и закончить фразу. Потом рядом с этой появились вторая и третья пара ног. Гедиминас закрыл глаза, но все равно видел ноги повешенных. Эти пять пар ног сопровождали его

через весь город до камеры и поселились в ней, как и прочее, пережитое им в этом круге ада. Изредка всплывало лицо Медведя, освещенное последним порывом, он слышал его сиплый голос и удивлялся, что не жалеет казненного. Умер, как человек, честно проживший свою жизнь, вот и все. Так уж заведено, ничего не поделаешь. Гедиминас жалел другого — единственного из приговоренных, который бросился под виселицей на колени, умолял помиловать, кричал, что не виноват, друзья погубили. Ничтожество. Любой ценой хотел сохранить жизнь, наверно, выдал гестаповцам не одного, а все равно повис рядом с настоящими людьми. Да, они умерли счастливыми, веря в свою правду. Может быть, на их совести тоже не одна жизнь, но они убивали, защищаясь, а не для того, чтобы упрочить идеологию, выдуманную маньяком.

«Когда сталкиваются два зла, меньшее воплощает в себе положительное начало, дающее право уничтожать. Дангель хочет ценой страданий миллионов людей создать рай для арийской элиты, для немцев, а Марюс поднимает оружие, чтобы остановить убийц.

Прольется кровь и власть лесным доставит,
А их врагам — изгнанье и позор.
Когда же солнце трижды лик свой явит,
Они падут…

Хватит ли места всем, когда солнце явит свой лик? Вряд ли… Люди никогда не умещались на Земле. Быть может, после войны тоже будут слезы разлуки, одни будут унижены, другие возликуют, но ведь камеры пыток, виселицы, кладбища в ольшаниках существуют сейчас! А сколько преступлений фашистов нам еще неизвестны? И все это существует сейчас! Сегодня! Ежечасной ежеминутно в страшных мучениях гибнут

люди. Наша священная земля превращена в ад, в котором заправляют дангели. А я, святая простота, надеялся укрыться от этого ада в самом себе. Не обжечься, когда кругом бушует пламя, не измазаться дегтем, когда подо мной клокочут котлы. Иллюзии — я жил ими. Словно не ломали человеческих костей, не клеймили людей раскаленным железом, не расстреливали, не вешали, пока не увидел всего этого своими глазами...»

Эти мысли мучили Гедиминаса не меньше, чем ожидание минуты, когда откроется дверь и его поведут на очередное зрелище к палачу, именуемому следователем. Сидя в своем углу со связанными за спиной руками (наручники заменили веревкой, чтоб он не мог затыкать ушей), он чувствовал свою вину перед истязуемым. Словно сделай он что-то раньше, и этому человеку здесь бы не мучиться. Не сделал, и уже не исправит ошибки. Поздно. И в бессильном отчаянии он тихонько постанывал, как будто это его пытали, или принимался кричать на палачей, понося их последними словами. Тогда его привязывали к спинке стула, а следователь, по-волчьи осклабившись, обеими руками наотмашь бил его по лицу. Гедиминас смотрел ему прямо в глаза, и ему было больно и страшно, что он может так ненавидеть человека. «Если бы руки были свободны... если бы руки были свободны...» — гудела кровь в ушах. И он видел: вот он хватает следователя за глотку, швыряет на пол — и прямо в голову из его же пистолета. Потом обоих палачей... Никогда не думал, что настанет минута, когда он сможет наслаждаться, воображая, как убивает человека. «Человека? Какого человека? В этой камере пыток есть только один человек — жертва. Я? Нет, я не человек, я зритель».

Перед тем как его увести, следователь больше не спрашивал: «Вам нечего сказать господину Дангелю?» Прощальная фраза звучала теперь чуть иначе: «Когда

пожелаете увидеться с господином оберштурмфюрером, без стеснения говорите». А позавчера ночью, когда Гедиминас, не выдержав криков истязуемого, тоже начал вопить, и ему досталось больше пощечин, чем обычно, следователь, провожая его до двери, сказал:

— Как вижу, господин Джюгас, вы напрашиваетесь на знакомство с моими мальчиками? Что ж, я не против, сможете испытать на своей шкуре, на что они способны.

— Знаю. Они умеют содрать шкуру с живого человека, могут вырвать сердце и тут же сожрать его, но сделать из человека подлеца, если он этого не захочет, им не под силу, — отрезал Гедиминас.

Нет, у него и в мыслях не было откупиться предательством. Наоборот, с каждым часом, проведенным в камере пыток, его упорство росло, питаясь ненавистью к зверям, сделавшим его свидетелем своих преступлений, и все то, что Гедиминас считал своим духовным превосходством, возвышающим его над скверной мира, таяло на глазах, как песчаная дамба под напором прибоя и ветра.

Откуда же этот бред? Эта голгофа Милды в каменном зале? Откуда крик: «Остановите! Верните ее! Я все скажу!»

Гедиминас сел на нарах. Удивился и еще больше встревожился, увидев, что в камере светло. Утро… Погожее декабрьское утро (он уже научился отличать пасмурный день от ясного, хотя матовое стекло и не пропускало солнечных лучей). Как это случилось, что сегодня он так заспался? Правда, ночью его не водили в камеру пыток! Первая такая ночь за шестнадцать суток заточения. Что они придумали? Решили дать передохнуть или расставили новые сети? Да, это самое вероятное.

Еще сегодня он увидит Милду у них на стуле, а то и его самого посадят. Эти негодяи не окажут бесплатно

самой пустяковой услуги, за все приходится расплачиваться пытками.

За дверью загремели шаги, громыхнул засов. «Завтрак...» Гедиминас вскочил с нар, силясь унять нервную дрожь, от которой, кажется, даже язык ходуном ходил во рту. «Завтрак, завтрак...» — повторял в уме, понимая, что это не так, — завтрак приносили ровно в девять, еще в полумраке. Раз завтрака еще не было, то и не будет сегодня — немцы любят пунктуальность.

— Выходи! — крикнул эсэсовец, просунув голову в дверь. — Schneller!

Знакомый коридор, двор, кирпичное здание с готическими окнами. Узкая дверь справа. Но эсэсовец направился к широкой, через которую Гедиминаса вели первый раз. К Дангелю. Да, витая бетонная лестница. Первый, второй этаж. Длинный темный коридор, пахнущий галантерейной лавкой. Сегодня все не так, как обычно. Даже руки не связаны.

— Доброе утро, господин Джюгас. Хорошо ли выспались? — говорит Дангель, радушно улыбаясь, словно они вчера пировали за одним столом.

Гедиминас молча смотрит в стену над плечом Дангеля. «Кучкайлиса повесили люди Марюса. Хорошо. Но этого двуногого вампира надо было раньше...»

— Чувствую, вы оскорблены, господин Джюгас. — Дангель проводит ладонью по щекам, словно стирая невидимую грязь. В глазах — искреннее сожаление. — Простите. Произошло небольшое недоразумение. Я рад, что в отношении вас не принял более крутых мер. Вы свободны, господин Джюгас.

Гедиминас даже вздрогнул. «Что за новая затея?..»

— На каких условиях, господин начальник гестапо?

— Невиновным мы не ставим условий. Я убедился в вашей невиновности, господин Джюгас. У нас есть доказательства. Вот одно из них. — Дангель

откидывается на стуле и вяло машет рукой в сторону двери.

Гедиминас медленно оборачивается, надеясь услышать издевательский смех, и даже открывает рот, — за круглым столиком сидит Туменас. В том самом кресле, где пятнадцать суток назад сидел сам начальник гестапо, когда Гедиминас смотрел на его холеные пальцы, держащие рюмку коньяку. Испуганное, серое лицо, трехдневная борода. Он опускает усталые глаза, не выдержав взгляда Гедиминаса. Рядом с ним стоит эсэсовец.

— Мы сделали обыск у Туменаса, — скучающим голосом продолжает Дангель, — и, надо сказать, не разочаровались. А господин Туменас умница, счел, что с нами лучше договориться по-хорошему, и перечислил своих…

Туменас вскакивает, трясет головой. Длинные, свалявшиеся пряди падают на горящие безумием глаза.

— Не верьте! Ты не верь ему, Гедиминас! — кричит он, протянув руки к эсэсовцу, который хватает его за плечо и швыряет в кресло. — Он лжет! Я никого не продал.

Дангель снисходительно улыбается.

— Прошу прощения, господин Туменас, что раскрыл наш с вами секрет, — говорит он спокойно, но с подчеркнутым сожалением. — Злосчастная рассеянность…

— Лжет… Лжет! — выдыхает Туменас, ерзая в кресле.

— Да будет так, если вам угодно, господин Туменас. — Дангель равнодушно осматривает ногти. — Хотя, если начистоту, стоит ли стесняться? Отправим в Германию вместе с другими гимназическими борцами за свободу Литвы, как вы себя звучно именуете, и не видать вам больше ни господина Джюгаса, ни других,

перед которыми вам неловко из-за такой, в сущности, чепухи.

Гедиминас, не зная, что и думать, печально смотрит на Туменаса. «Альгис… Вот какие пироги… Гердайтиса, Дирвонайте, Липкуса, а может, еще кого. В Германию. На принудительные работы» («В лагерь смерти…» — сказал бы он года через полтора, когда рухнула гитлеровская империя и весь мир узнал о фантастических преступлениях нацистов).

«Не верь! Не верь ему!» — умоляют глаза Туменаса.

Дангель закуривает. Открывает ящик письменного стола, ищет что-то. Роется в ящике и говорит небрежно, словно к нему зашли старые друзья, — они поймут и простят хозяина, который пока не может уделить им должного внимания:

— Так вот, господин Джюгас, при содействии господина Туменаса мы пришли к выводу, что вы лояльны к Германии. Были подозрения в связях с бандитами, но их рассеял материал допроса некоторых арестованных. Правда, нельзя похвалить вас за необдуманный жест с поставками, но это дело мы передаем на рассмотрение другой инстанции. Отправляйтесь-ка подобру-поздорову в свой Лауксодис к папаше, господин Джюгас.

Гедиминас, все еще не веря («Чему можно верить в преисподней?»), посмотрел на Дангеля. Меньше надежд, нет, лучше никаких надежд: не так будет больно, когда окажется, что обещание Люцифера лишь очередной трюк, чтобы пожарче разогреть котел со смолой.

— Милду вы тоже отпускаете? — криво улыбаясь, спросил он.

— Увы… — вздыхает Дангель.

— Почему? Если вы убедились в моей невиновности, то тем более…

— Oh, mein Негг, вы не знаете женщин! Она выкинула шутку еще до вашего ареста. Непродуманный шаг, если можно так выразиться.

— Да?

— Вот именно, господин Джюгас. Фрау Милды больше нет; в тот день, когда вы стучались к Вайнорасам, желая излить тоску, она лежала в гробу.

— Может быть… («Главный Люцифер».) После всего, что я у вас увидел, не удивлюсь, если скажут, что весь город лежит в гробу.

— Я говорил вам про подпольные газетенки, которые мы нашли у Вайнорасов. Она испугалась ответственности и приняла стрихнин. Господин Туменас, поправьте меня, если я ошибаюсь.

Молчание.

Дангель затягивается сигаретой; склонив голову на плечо, он следит за цепочкой колец, пока они не расплываются в воздухе. Пых-пых! — взрываются губы Дангеля, пуская новые кольца.

Тишина.

Гедиминас дико озирается вокруг. Черная статуя эсэсовца у стены. Туменас, съежившийся в кресле. Заснеженные крыши за окном. Жалобное бренчание бубенцов в бесконечной снежной пустыне. Русская тройка… И снова — эсэсовец, белый череп со скрещенными костями на высокой тулье фуражки, кольца дыма (Пых-пых! — гуттаперчевые губы Дангеля), Туменас, белые крыши за окном…

Вокруг нас белым-бело,
Снегу много намело…

— Да, Гедиминас… Трудно поверить, но это так… В ту ночь, когда ты ночевал у меня. — Подбородок Туменаса вылезает из воротника пальто. Оказывается,

на лице есть губы, нос: не чучело — лицо человека. В глазах влажный блеск. Молчи, молчи, Альгис. Хватит. Не надо больше!

— Сочувствую вам, господин Джюгас, но ничем не могу помочь. Жаль, хорошая была бабенка. Кому-кому, а нам с вами это доподлинно известно.

Гедиминас, не мигая, смотрит на душистое облако дыма, повисшее над письменным столом. «Убить гада! Схватить стул — и по голове!» Но тело не подчиняется мысли. Вместо рук и ног — сплошная тяжесть, прижимающая к земле. Камень. Весь, с головы до ног, одет в каменную скорлупу. Вечное одиночество.

— Вы убили ее! Вы! — вырывается крик.

Ядовитая улыбка на узком бледном лице Дангеля.

Взгляд сытого зверя, знающего, что скоро опять пировать.

— Гедиминас, ты его не слушай, я никого не продал… — кричит вдогонку Туменас.

Хихиканье Дангеля.

Эсэсовец идет рядом. По коридору, вниз по крутой лестнице, потом — по двору. Выпускает через ворота на улицу, даже приподнимает руку.

От стены отделяется неряшливый мужичок — заячий треух, кожанцы из недубленой кожи на кривых ногах — и топает вслед за Гедиминасом.

Немыслимый город… Стоишь на месте, а дома шествуют мимо. Черные подворотни, черные окна, черная снежная каша на тротуарах. Черные люди. Черный шпиль костела, вонзившийся в гнойную вату туч. Иссиня-желтый волдырь повис над Большим Бугром, над каменной оградой кладбища, над голыми деревьями, пустившими корни в землю, удобренную людьми, обсаженную крестами и каменными надгробиями, — солнце. Избитое лицо солнца, горестно глядящее из-за окровавленной повязки туч. Кто-то приподнимает на ходу шляпу. Кто-то останавливается,

шевелит губами. Черными, как ржавые листья металлического венка на прошлогодней могиле. Чего они хотят, люди мертвого города? Размозженные кости, лица, изъеденные гнилью, с содранной кожурой; мерзлые яблоки. Чего надо мертвецам от мертвеца? Странная улица. Не свернул бы на нее, но дома сами выходят навстречу. Вот дом, в котором ты бывал еще при жизни, когда считал себя счастливым. Крыльцо, дверь. Надеешься, что ее откроют? Город же мертв! Зачем это? Да, в тебе еще теплится надежда. Крохотный уголек в залитом очаге. Но вода просачивается глубже и гасит его.

Миграта… Машет руками, удивляется, таскает по комнатам. Еще одна покойница. Это — из деревни Лауксодис… Да, была когда-то такая деревня…

«За этим столом мы пили вино. Скатерть с амурчиками, картавый говорок, мягкие руки на шее. Живые, теплые руки. Нет, это было многим раньше. Она играла на пианино, а я читал стихи. Сидела перед черным гробом и играла… „Мой седовласый котенок скоро придет…“»

— Где ее похоронили?

В семейной могиле Берженасов. Узкая улочка, извиваясь, поднимается на Большой Бугор все выше и выше. Шеренгами выстроились надгробия, колоннами шагают кресты. Мертвых и то муштруют. Свежий холмик над покосившимся вязом. Наверху, словно скатерть, залитая вином во время пирушки, подтаявший четырехугольник снега. Там, где тяжелый мраморный памятник с именами и фамилиями покойных Берженасов и Берженене, наверно, находится ее голова. Закрытые глаза, губы, которые он так недавно целовал, маленькие руки, сложенные на груди. Полтора метра, не глубже. Их разделяет полтора метра грунта. Людей разделяют сотни километров, горы и океаны, и

они сходятся, а тут жалких полтора метра, но их не преодолеть.

Подходит кладбищенский сторож. Его сын был первым учеником в классе. Молча смотрит на холмик, потом на Гедиминаса, на его черную бороду. Говорит, по походке и одежде узнал. Что греха таить, непонятные дела творятся на грешной земле. Взять, к примеру, госпожу Вайнорене. Знавал ее: симпатичная была женщина. Чего ей не хватало? И вдруг ни с того ни с сего… В голове не умещается, господин учитель.

Гедиминас, не сказав ни слова, уходит прочь. «Симпатичная была женщина…» Дангель сказал: «Кому-кому, а нам с вами это доподлинно известно…» Сколько знакомых харь в этом покойном городе! Лживое сочувствие, гадкие сплетни, украдкой вырвавшийся вздох облегчения: не хотел бы оказаться в его шкуре.

Серые дома допотопными тварями ползут мимо. Все ниже и ниже, все дальше и дальше друг от друга. Пригород. Полосатая спина дороги (ни на санях, ни на телеге), белое поле, то тут, то там — черные деревья хуторов. Где-то вдалеке, вписавшись в серую черту горизонта, родная деревня. Собака, привязанная к конуре, гремит цепью, кудахчут, разгуливая по двору, куры. Заплаканные оконца ранним утром… Отец… Может, немцы его уже выгнали из дома и он побирается по деревням? Несчастье… Смешное слово, когда ты видел, как срывают ногти, сдирают кожу, когда ты все еще слышишь крики людей, обреченных на страшную смерть, когда ты сам, с изувеченной душой, возвращаешься от могилы любимой. Куда? Ведь там — твое прошлое. В каждом знакомом лице, в дереве, повороте тропы. На дороге, на мосту, над озером, на цементном крыльце молочной — всюду, куда ни ступишь ногой, встретит тебя прошлое. Напомнит о себе, будет спрашивать, наставлять, бередить раны, которые может залечить только время.

Нет и не было Лауксодиса. Не было хутора с собакой, что гремит цепью. Оконцев избы, заплаканных ранним утром. Ничего нет и не было никогда. Есть раскисший большак (ни на санях, ни на телеге), бегущий в другую сторону. Извилистая дорога времени, обросшая проселками, где чужие хутора и деревеньки, чужие люди, нехоженые тропы, неизлазанные деревья с вороньими гнездами. Там собаки иначе гремят цепью, иначе плачут оконца изб, иначе петляют тропинки, иначе растут кусты ивняка вдоль канав. Там мир без твоего прошлого.

II

Первый попавшийся проселок затянул его, как водоворот щепку. Увидел впереди густой березняк — стройные белые березы с обвисшими ветвями, унизанными мерзлыми капельками. В печальном удивлении смотрел он на косы деревьев, разукрашенные ледяными самоцветами, которые, едва солнце выглянуло из-за тучи, засветились ярко, так, что екнуло сердце: это он уже видел… Поздней осенью или ранней весной, когда они скидывают ветхий тулуп снега, а под соломенными стрехами висят заострившиеся сосульки и серые деревья на фоне высокого неба кажутся черными и мягкими, как рисунок углем. В воображении мелькнули березы родного хутора, окружившие пруд, заросший аиром. Гнездо аиста на тополе, обломленном бурей, дерущиеся на крыше голуби, отец в одной рубашке, подставивший лицо жаркому летнему небу («Вокруг солнца ободок, поди, соберется дождичек — в самый раз для свеклы»).

Нет, оно было, его прошлое. Оно трусило за хозяином по пятам, словно пес, которого ведут пристрелить. По проселочным дорогам и по улицам

деревень, по нехоженым тропам мимо незнакомых хуторов, обивало вместе с ним чужие пороги, вместе садилось за стол, глядело знакомыми глазами на Гедиминаса. Его встречали подозрительные, испуганные лица (его борода, грязная, мятая одежда никому не внушали доверия), на которых отражалось нескрываемое желание побыстрей сплавить странного пришельца; частенько дверь захлопывалась у него перед носом. Но даже эта оскорбительная людская грубость не помогала убежать от себя: какая-нибудь мелочь (скрип колодезного журавля, ряд ульев в саду, распятие в избе крестьянина) снова и снова сотрясала сознание, напоминая о прошлом. Лучше всего забраться к кому-нибудь на сеновал, зарыться в солому (или в сено) и лежать так целыми часами. Усилием воли он заставлял себя ни о чем не думать (представлял себе, что бежит по нескончаемому кругу) и засыпал. Просыпался от голода, так и не отдохнув. Зуд в теле напоминал о бане, но он тут же отметал соблазн: не мог представить себя в интимном окружении людей. В избы заходил только купить себе еды (кстати, денег никто не брал), и лишь там, где его встречали радушно, правда, не без любопытства, задерживался на минутку. Что, как, откуда? Он пожимал плечами, мучительно улыбался и вставал с лавки. Этим людям, которые не считали его ни умалишенным, ни преступником, скрывающимся от властей, он не мог лгать. Но как скажешь правду без того, чтоб не разбередить рану? Да и вообще — есть ли такие слова, которыми опишешь недавние ужасы, отравившие ему душу? Нет, воображение оскудело, а дух заболел; он не мог это воссоздать. Поэтому любопытным («Издалека идете?») он коротко, не кривя душой, отвечал: «Из преисподней иду».

— Взаправду? Часом не скажете, где это? — спросили в одной избе.

Гедиминас остановился в дверях и, виновато улыбаясь, обернулся — он не хотел, чтоб этот рослый старик с желтыми от табака зубами принял его слова как оскорбление.

— Прошу вас, не обижайтесь. Это долгая история, и я не сумею рассказать так, чтоб вы поверили.

Старик растерянно развел руками; в прищуренных глазах нескрываемое сочувствие здорового человека к больному.

Гедиминас вздрогнул: однажды, совсем недавно, он уже видел этого человека. Он отчетливо помнил бородавку у правого уха, лиловые прыщи на подбородке. На стене между семейными фотографиями засиженный мухами календарь («Скоро месяц, как я ушгл из Лауксодиса...»), в углу неубранная постель. Да, он уже был в этой избе, ел из глиняной миски деревянной ложкой свекольник, и тогда на него повеяло запахом отцовского дома. Видел и колодезный сруб, прислонившийся обомшелым боком к вишенке, хлев с провалившейся крышей, белого в черных пятнах незлого пса во дворе; сейчас по двору шла женщина, несла корзины со свеклой. Тогда она сидела у окна за прялкой и с любопытством поглядывала на него. «Издалека идете?» — спросил старик. И Гедиминас ответил теми же словами, что и сегодня. Прялка перестала жужжать; Гедиминас вышел во двор с чувством, что женщина смотрит на него из окна и стучит себя пальцем по лбу: «Бедняга... у него не все дома...» За сеновалом двое парней пилили тогда дрова. «Бог в помощь!» Они не расслышали — хохотали над чем-то, тягая пилу. «Вот люди, еще не ведающие, что такое горе», — с возмущением подумалось ему. Он едва сдержался и не подошел к этим двум молодцам, пышущим здоровьем и весельем, и не спросил: известно ли им, что в ту самую минуту, как они хохочут, совсем рядом страдают и гибнут люди?

Теперь парней не было за сеновалом. Ясеневые козлы торчали из толстого слоя опилок. Пахло свежепиленым деревом и заснеженными полями. Снега было немного, на ладонь. Не укатанный санями проселок не баловал пешехода: ноги то скользили по припорошенной рытвине, то выше колен проваливались в скрытую колею. Гедиминас шел не спеша, но усталость вскоре подкосила ноги, на лбу проступила испарина. И все-таки он был доволен таким способом передвижения: приходилось идти, напрягая все внимание, и это отвлекало от действительности, которая обрушивалась на него, если не было посторонних возбудителей. Иногда мелькала мысль зайти на какой-нибудь хутор, но он вспоминал взгляд старика из-под прищуренных ресниц и брел дальше. Нет, лучше он посидит на кочке или камне. Неудобно, но все равно приятнее, чем лавка, пропитанная дымным теплом избы, где ползают дети в одних рубашонках (а может — будущие звери; было же время, когда и Дангель ползал?). Здесь, в этом белом царстве природы, на тебя не будут глядеть с подозрением, и ты, видя незнакомые лица, не будешь мучиться догадками, в ком добро перевешивает зло, а в ком их поровну, то есть столько, что в минуту решающего выбора человек скорее заплатит за свое существование жизнью ближнего, чем, повинуясь голосу совести, выберет удел мученика. На тебя будут глядеть серое декабрьское небо, голые кусты вдоль канав и черная кайма лесов, изогнувшаяся на горизонте. Может, еще зайчонок посмотрит, смешно присев на задние лапки, петух с недалекого хутора выкрикнет бодрое «ку-ка-ре-ку». И все. Никого больше вокруг. Ты один, один-единственный человек в полях, пока еще не запятнанных бессмысленной резней и предательством.

Рядом с дорогой валялось бревно. Гедиминас смахнул руками снег и сел. Впервые за эти недели у

него мелькнула мысль, что он проходит не меньше десяти километров за день и Краштупенай, наверное, далеко позади. Но он не мог сказать, что не знает этих мест. Где-то он видел и продолговатый холм, поросший стройными сосенками, и ветряную мельницу, чуть правее машущую четырьмя крылами, и какое-то одинокое строение с провалившейся крышей. Рядом с ним — два дерева, обнявшиеся кривыми ветвями. «Не люблю ясеня, — говорила Милда, когда они, положив велосипеды на траву, располагались в тени, — но эти словно для нас посадили».

Гедиминас закрыл глаза. Да, он уже проходил здесь («Я кружу вокруг Краштупенай, как пес вокруг конуры»). Заброшенный сеновал, где они встречались с Милдой, приютил его в первую ночь после гестапо. Целые сутки он провалялся на прелой соломе, а потом долго сидел на груде гнилых досок, прислушиваясь к чириканью воробьев. Он ждал чуда: вот она — веселая, со спутанными белыми кудряшками, соскользнет с кучи соломы в углу и, подкравшись сзади, закроет глаза мягкими душистыми ладошками. Но чуда не было. Он обошел сеновал, как храм, где еще обитает душа любимого человека, принесенного в жертву богам, и направился к двери. Но выйти не успел — за спиной раздался шорох, кряхтенье, и Гедиминас, испуганно обернувшись, увидел, что с соломы сползает человек. Он был в кожанцах, коротком латаном полушубке, заячьем треухе; в рыжих усах застряли соломинки.

— Вы часом не хозяин этого дворца? — заговорил он, мягко улыбаясь. — Не прогневайтесь, пожалуйста, что вломился без спросу. Когда человека беда прижмет, всякое бывает.

— Я такой же постоялец, как и вы, — сухо ответил Гедиминас. По спине у него пробежал холодок от мысли, что, пока он спал, какой-то тип пристроился рядом.

— Курева не найдется?

Гедиминас покачал головой.

Тогда человек подошел поближе и, не дожидаясь расспросов, стал плакаться. О, эти немцы, истинное божье наказание! Весной увезли дочку в Померанию, а сейчас его очередь настала. Схватили несколько дней назад в волостном городе (он родом из Аукштайтии), в вагон засунули. Одно счастье — русские самолеты; налетели ночью — и ну бомбить железную дорогу! Охрана разбежалась, и ему удалось удрать из вагона. Но далеко ли уйдешь в незнакомом краю? Напорешься на какого-нибудь предателя — а в такое время ими пруд пруди — и выдаст, сука, немцам. Нет больше надежды увидеть жену. Если немцы не схватят, то подохнет с голоду или замерзнет; на сеновалах на одном хлебе не перезимуешь. Одно спасение — партизаны. Но как к ним попадешь-то? Да и примут ли незнакомого человека? Другой разговор, если б был в своем приходе — четыре приятеля из деревни в лесу. Не раз ночью к нему захаживали. «Видать, пронюхали, проклятые. Оттого и дочку, а теперь меня самого. Как же, красный, против Гитлера...»

Незнакомец говорил чуть ли не со слезами, умоляюще поглядывая на Гедиминаса, словно тот был знаком со всеми партизанами окрестных лесов.

— Знаю, наболтал тут лишнего, — вдруг спохватился он. — Первому попавшемуся... Да мне уж все равно. Умаялся, не могу больше. Пусть будет как бог даст — немцам в лапы или в партизаны. Только бы поскорей!

— Ваше горе не самое большое, — жестко ответил Гедиминас, поворачиваясь, чтобы уйти.

Ему было странно, что он нисколечко не жалеет человека, попавшего в беду. Погрузившись в свои заботы, он тогда не понимал, что собственная беда сделала его слепым и глухим к чужому страданию. Но

день за днем он оправлялся от кошмара, возрождался, как потравленные до черноты посевы, после дождя дающие новые стебли. На каждом хуторе, на сеновалах, где он проводил ночи, в каждой сажени пройденной дороги он оставлял часть бремени, с которым вышел из тюрьмы.

И сейчас, глядя на этот сеновал, он уже мог думать о Милде спокойно, как о ком-то, давно унесенном временем. То, что, казалось бы, должно было стать вершиной его горя, неожиданно быстро потускнело, отступило на второй план. Зато картины пыток в гестапо, виселица на городской площади по-прежнему стояли перед глазами. Они не блекли, а, наоборот, становились все ярче, насыщались новыми деталями; они всплывали в воображении Гедиминаса, словно кинокадры, которые оператор раньше вырезал как лишние. Этих кадров было множество, их все прибывало. Он видел виселицу, но не одну: тысячи виселиц стояли в тысячах городов; они не назывались Краштупенай, но там жили и умирали такие же люди, хоть и говорившие на другом диалекте или на другом языке, придерживавшиеся иных обычаев, иначе крестившиеся или вообще не знавшие крестного знамения. Тысячи грязно-зеленых следователей метались в клетках, в ожидании минуты, когда черные служители зверинца бросят к ним жертву, и они в пытках утолят свой голод. Уму непостижимо, как ему, Гедиминасу, удалось живым вырваться из волчьей пасти. Он чувствовал, и с каждым днем все явственней, следы клыков на себе. И чувство вины росло. Словно он что-то сделал не так, как следовало, откупился этим от преисподней, став простым зрителем.

Он сунул в карман недоеденную краюху хлеба и кусочек сала и побрел мимо сеновала к большаку. Мелькнул образ Милды (охряные березы на опушке, жнивье, затянутое голубыми шелками паутины;

«Гедмис, прочитай еще раз свои стихи») и тут же исчез. Он не знал, куда теперь повернет. Скорее всего, он машинально свернул бы направо: там был Лауксодис, хутор отца. Но все решили сани с ольшаным хворостом. На санях, спиной к нему, сидел крестьянин, спрятав голову в воротник полушубка. Рядом лежала спиленная елка. В нос ударил пряный запах свежесрубленной ольхи и живицы, от которого вдруг пересохло в горле и закружилась голова. И еще запах конского пота, дым трубки, визг полозьев, изредка касающихся голой земли... Все смешалось, но в этом был какой-то лад, и Гедиминас неожиданно увидел вечер из далекого детства. Вечеров, подобных этому, было много, но тот сильней других запомнился, хотя и не случилось ничего особенного. Было рождество. Посреди горницы стояла разукрашенная елка. Мать, молодая и смеющаяся, подняла его, взяв под мышки, и он зажег «ракету». Дождь искр захлестнул комнату. Было много детей и взрослых, был шум, смех, но он не видел ничего, кроме волшебной елки, брызжущей серебристыми лучами света. И слышал сладковато-кислый аромат хвои, смешанный с запахами жаркого и табачного дыма, легкой голубизной окрасившего потолок.

И, как будто его заворожили, он свернул налево, погнался за этим давнишним вечером. Елка на санях подрагивала, шевелила ветками, которые вскоре оденутся в разноцветные свечечки, конфеты и серебряные бумажки. Плача, он смотрел на нее и видел уже, как она мерцает огнями и поет гимн рождеству, слышал веселые детские крики, гул взрослых голосов и чувствовал у себя под мышками теплые материнские руки, которые поднимали его выше, чтобы ребенок своими хрупкими пальчиками прикоснулся к волшебному миру сказок.

Он шел и шел за вечером далекого детства... .....

.....

III

Если б крестьянин не обернулся и не посмотрел на него в упор... Если б раньше рассеялась иллюзия давнишнего вечера... А может, ни то ни другое не было важно — он просто задыхался в одиночестве, его душила нескончаемая вереница видений, и, не найдя успокоения в разлуке, он возвращался туда, откуда бежал.

— Садись! — пригласил крестьянин, тпрукнув на лошадь.

Знал ведь, на чьем хуторе окажется и кто человек, прислонившийся спиной к елке. Да и хуторянин его узнал. Но они сидели рядышком, словно увиделись впервые, и говорили, что полагается при первом знакомстве. («До леса-то далеко?» — «Изрядно». — «Санный путь не ахти какой». — «Известное дело, да и этот снежок скоро сойдет — западный подул». — «Первому снегу положено стаять». — «Да уж, зима-зима, а глядишь, рождество без снега».)

О, если бы он знал, чем обернется это путешествие за вечером детских лет! Если бы заранее, до того как это случилось, увидел гостей, набившихся в горницу Габрюнасов, услышал крики, пьяные песни... Словом, впитал бы в себя весь хмельной угар, который охватывает людей, живущих в неизвестности и нашедших в водке успокоение. Ему сказали: «Послезавтра рождество. Позовем соседей, кое-какие родственники приедут. Как хорошо, что вы нас проведали, господин Джюгас! Вместе отпразднуем рождение младенца Иисуса». Но эти слова прошли мимо ушей, как звон пустой посуды. Он все еще жил как во сне, где все происходит само собой, без воли человека.

Ужинал, потом завтракал и обедал за столом Габрюнасов, парился в баньке, а перед тем соскреб бритвой хозяина четырехнедельную бороду. А еще раньше без зазрения совести выспался, вшивый, в чистой постели. Куда там! Даже злорадствовал, словно в грязи, которой он набрался в своих блужданиях, частично повинны и Габрюнасы. Проснувшись поутру, обнаружил на спинке стула отутюженные брюки, выстиранное белье. Поблагодарил, но скорей машинально, — в сердце не было ни капли благодарности. И совсем этому не удивился. Правда, было странно, как он может сидеть за столом, есть, пить праздничное пиво, глубоко презирать этих сытых людей и одновременно кивать, улыбаться и отбиваться стандартными словечками. («Благодарю покорно», «Спасибо, охотно попробую», «Что вы! Очень даже вкусно, госпожа Габрюнене»). Ему было тошно от звонкой чистоты горницы, святые образа и семейные фотографии под чистыми, как слеза, стеклами оскорбляли взор, и он, кое-как справляясь с раздражением, думал: «Надо бы каждого из этих чистюль пропустить через тот адов котел. Тогда бы здесь не пахло праздничной булкой».

В сочельник его усадили на почетное место — между хозяевами. Напротив — Рута, оба младших брата, мальчики двенадцати и тринадцати лет. Вкусно пахло маковым молоком, селедкой в постном масле, квашеной капустой. Без девяти блюд не сочельник. И без пшеничных прозрачных облаток — «пирога младенца», — положенных рядом с горстью сена, символизирующей ясли Иисуса. На несколько мгновений он как бы ослеп. Исчезли горница, стол, Габрюнасы. Он увидел другую горницу, другой стол и другие лица. Своих отца и мать, бабушку, сестру Анеле и брата Миколаса. И себя, старшего сына, между отцом и

матерью. Отец встал, перекрестился, разломал облатку и торжественно роздал всем.

«Благослови кров наш, господь. Чтоб и на другой сочельник все собрались за этим столом. Внемли нашей молитве, господи, будь милостив к детям своим. Аминь».

— Кушайте, господин Джюгас, просим. Небогатый стол, да что поделаешь — сочельник, пост. Завтра разговеемся.

— Разговеемся... — буркнул он, мутным взглядом обежав стол. — Разговеемся... Мы-то уж разговеемся, госпожа Габрюнене...

Рута почтительно улыбается. Ласково скалится во весь жирный рот Габрюнене. Празднично-сурово лицо Габрюнаса. Мир, покой, благодать. А как же, завтра — великая радость для всего человечества: родится младенец Иисус, искупит грехи людские.

— Мы-то уж разговеемся... Разговеемся... — повторял он, не мог отвязаться от этого слова и чувствовал, что все недавно пережитое с новой силой засасывает его. Серо-зеленый следователь, черные привидения с засученными рукавами. Лица, искаженные пыткой, смрад жженого мяса. Где искупитель, где же искупитель?!

Гедиминас встал, отодвинул тарелку. Слова шмякались, как тела убитых в яму. Недобитые, полуживые. Покрытые запекшейся кровью, дергающиеся в предсмертных судорогах. С переломанными костями, выдранными глазами — пародия на самое прекрасное творение природы... Вы видели все это, господа Габрюнасы?

Как они берут человека, которого, как и нас, родила мать, и медленно, капля за каплей, высасывают кровь, ниточка за ниточкой выдергивают жилы, а потом, когда остается мешок костей и мяса... Вы видели все это, скажите?

Улыбка угасла на лице Руты, молодецки закрученные усы Габрюнаса поникли, как стебли от внезапной жары.

— Хватит, хватит… — шептала Габрюнене, закрыв ладонями оплывшее лицо. — Пожалуйста, господин Джюгас… Такие ужасы при детях…

Но Гедиминас не мог совладать с собой. Лопнул фурункул, и он со злобной ухмылкой глядел, как из нарыва хлещет гной, распространяя ядовитый смрад, от которого серели лица и застывали в ужасе глаза. Отравились! Так им и надо! Никто не вправе дышать чистым воздухом, когда земля окутана клубами испарений. Никто! Даже дети.

— Вам повезло, господин Джюгас, — сказал Габрюнас, когда Гедиминас наконец замолк. — Из такого пекла вырваться целым и невредимым… не шутка.

— Оттуда никто не выбирается целым, господин Габрюнас. Раньше, если хотите знать, я не мог спокойно пройти мимо человека, если тот страдал. А после всего, чему был свидетелем… Иногда кажется, я мог бы теперь убить этого страдальца, если б знал, что он негодяй. Нет, господин Габрюнас, оттуда никто не выходит целым и невредимым. Это фабрика смерти, где одних, к их счастью, приканчивают сразу…

— Я понимаю вас, господин учитель, — сказала Рута.

— Понимаете? Вы?! — Он удивленно поднял на нее глаза и тут же опустил их: таким ослепительно чистым, пылающим внутренним огнем был ее взгляд. (Класс. Вызывающе выпрямившаяся девушка в строгом гимназическом платье. «Я так верила в вас, господин учитель, так верила…») — Не знаю, что вы имеете в виду, Рута, но я бы не хотел, чтоб вы еще раз во мне разочаровались. Я не герой, хоть и попал туда. Я не вернулся к старому алтарю, который оплевал, и не нашел нового. Я смеялся над компанией Туменаса. Но

они знают, за что будут страдать. А я? Наивный путник, не взявший палки, хотя и знал, что деревня полна бешеных псов.

— Мы чересчур долго боролись с немцами словами, господин учитель.

Он ничего не ответил. Наверное, удержало кислое выражение на лице Габрюнене. (Габрюнас недовольно крякнул: «Борец в юбке. Ишь ты, захотела мир перевернуть».) Но потом не мог заснуть, хоть и осоловел от жаркой бани и сытного ужина. «Чересчур долго боролись словами...» Нет, эта мысль была не новой. Он не знал, когда она возникла у него, но ужа на могиле Милды он мог произнести эти слова. Правда, тогда он счел бы их запоздалым выводом (непоправимая ошибка, и все), а теперь знал, что здесь нельзя ставить точки, что есть какое-то продолжение этой мысли — он о нем догадывается, но не смеет додумать до конца. Ведь додумать до конца — значит принять решение. Он понимал, что нужен лишь легонький толчок, и был уверен: раньше или позже это случится.

И когда на следующий день в горницу Габрюнасов набились гости, ему стало ясно: пробил час. Охваченный странным чувством (моряк, который видит, как удаляется родной берег, и знает, что туда не вернется), он смотрел на гудящие столы, уставленные мисками и кувшинами, и с горечью думал, что эти люди собрались сюда лишь для того, чтобы набить желудок, напиться и, опорожнившись, начать все сначала. Святая обязанность каждого — как можно больше пропустить через свой желудок. Сальные подбородки... Осоловевшие глаза... Рты... Глотающие, жующие, давящиеся лакомым кусочком, изрыгающие рев. Скоты... Еще вчера он бы осудил их, высмеял, не выделяя из этого стада и себя, а сейчас вместо презрения были жалость и чувство своей

ответственности за все это. Да, ответственности, «... поскольку, — думал он, — я уже понял, а они еще не могут понять. Мое горе, излей даже я его за этим столом, было бы лишь рассказом, а не их собственным чувством. Итак, говоря словами Христа: они невинны, ибо не ведают, что творят. А я?»

— Выпьем, господин учитель. Так или сяк — один конец.

— Да уж, сегодня — молодец, завтра — мертвец.

— Вот и я так говорю. Завтрашний день не лошадь, не купишь, в зубы не посмотришь. Так что милости просим, не побрезгуйте, господин учитель, — приставали к Гедиминасу со всех сторон.

Он машинально поднимал стакан, чокался с соседями по столу, пил не меньше других, но не пьянел.

— Верно говоришь, Йокимас, завтрашний день не лошадь. Бей, пока лежит, валяй, пока... Ха-ха-ха! Большевики придут, все дырочки заткнут.

— Гуляй, сосед, пока гуляется!

Пивка! Пивка! Хозяин, пивка!
Янтарного пива
Налей-ка нам живо!
Пивка! Хозяин, пивка!

— Господин учитель... Потише, чего разорались, дайте потолковать с ученым человеком. Вы же умный человек, господин учитель, скажите, неужто большевики немцев побьют?

— Да не дури ты ему голову. Жалко тебе их, немцев-то? Учителей арестовали, гимназию закрыли. Выбросить наших детей на улицу, а на их место солдат поставить... Друзья нашлись! Таким только в морду да под зад коленкой. Вон в свой фатерланд!

— Будет драться-то. Посмотрим, что запоешь, когда красные комиссары прикатят.

— Не прикатят, не бойся: англичане с американцами их за шиворот схватят. Снова будет Литва!

— …Жеребчик на диво. Хорошая лошадь будет…

— …За быка — пуд! Очумел! Батрак за день пуда не наработает. Его же коровенке радость, да еще пуд в придачу. Дудки!

— Зато какой приплод!

— …Можно жить, ты не говори, соседушка, можно!

— Такую лошадь, сволочи… Поди, уж под Ленинградом, бедняжка… Гнеденькая, моя гнеденькая… За родного сына так бы не…

— …Так вот, через кого наше родство приходится. Одного пня побеги, можно сказать, а если б Габрюнас вместе за стол не посадил, и дальше бы ходили: здравствуй — до свидания, и пошел. Давай расцелуемся, что ли…

— …А я-то думал…

— …Да что ты артачишься, Тамошюс? Зачем на весы-то? Ведь на глаз видать: у моей бабы задница на три пяди шире, а титьки… хе-хе… одну заместо подушки подложишь, другой укроешься. А твоя что — свистулька. Задик как у зайца, в поясе ладонью обхватишь. Ветром унесет! Нет, так на так не выйдет. Не меняюсь! Давай сусек пшеницы в придачу.

— …Антихрист… Гремит, летит… И будет как в пророчествах царицы Савской написано. Налетят, как саранча, сметут. Были люди, народ, вера, а настанет царство антихриста, где правит Люцифер.

— Немцы хвастают, что тайное оружие изобрели.

— Оружие! Ха! Поможет оно нам, как мертвому припарка, это ихнее оружие. Когда два кабана сцепились клыками, а ты вроде муравейника под ихними копытами, спасения не жди. Потопчут,

расшвыряют, сам господь бог не узнает, что был тут божий мир.

— Газеты нарочно стращают. Это чтоб наши помогли им воевать.

— Дай боже, дай боже, чтоб было так…

Разговор ширится, отрывая одного за другим от песни, которая наконец затихает. Повседневные дела, заботы, их оттеснила политика. Правда, кое-кто еще жалуется на напасти, преследующие горемыку крестьянина («Черт, не сноха…» — «Была бы у тебя, сосед, такая бешеная теща…» — «А уродилась-то редкая, плешивая, сам-восемь, не больше…» — «Не было б поставок, еще туда-сюда, а то суешь им в глотку задарма…»), но и их, занятых своей хворью бедолаг, вскоре увлекает общее течение. Что будет завтра? Не с Юргисом, Пятрасом или там Йонасом, а со мной. Вот-вот — со мной. Доля одна, это ясно, потому и охаем вместе, но раз тонуть, то почему разом, связанным одной веревкой. Вот бы обрезать ее и вынырнуть на поверхность!.. Куда уж там… Ты такое же зернышко, как и другие, сидящие здесь, — вместе просеетесь сквозь сито, а оттуда — в корыто свиньям. Последыши! На семена вы не годитесь. Но подожди, подожди… Если по имуществу смотреть, то у него земля получше моей. И родня у меня чистая — никто руки к евреям не приложил да с белой повязкой не гулял. Не возьмут же всех да, как баранов, подряд… Не-ет, должен быть какой-то отбор! Ведь и в первый год, как пришли… Хоть и тогда таким, как я, досталось. Правда, землю не тронули, было тютелька в тютельку, зато налоги и вообще… Кулак! Рабочую силу эксплуатируешь. Все, кому не лень, пальцами показывали, ругали в глаза и за глаза, будто я человека убил. А теперь, ежели воротятся, еще круче возьмут. Сделают, чего тогда не успели. Смеешься, соседушка? Смотри, чтоб не заплакал. Думаешь, у тебя дюжина гектаров, так ты за

ними как у Христа за пазухой? Отберут! Колхозы будут. Сгонят всех к одному котлу, как у них в России. Дадут держать курицу да козу, а остальное — ихнее, казенное. И сам ты будешь казенный. Кормежка, одежка ихняя, как в армии, а ты служи до могилы. Рекрут. Лодырь будет прохлаждаться, а ты, честный человек, за него вкалывай. Потом и ты начнешь прохлаждаться, — кому же приятно трубить, когда другой лежмя лежит? Так все приспособимся, а тут и хлеба поубавится. И тогда, хочешь не хочешь, начнешь воровать. А где эти близнецы — воровство да лень, — там и до сумы и до тюрьмы рукой подать. Говорят вот, придут, зарежут, а чего им резать, коли сами подохнем? Сгнием заживо и телом и душой. Такова воля божья, такова доля наша. Скачи не скачи, как лягушка перед косой, никуда не денешься: с обеих сторон косари, да две косы, да две разинутые пасти. Какая разница, к кому попадешь: медведю в зубы или волк тебя схрупает? Главное, чтоб не жевал. Если уж помирать, так сразу! Чего тут страшного, если придут и всех — р-раз! — с лица земли… Чему быть, того не миновать, а пока — живем. Живем, братцы! Наш этот час, этот день, это рождество. Может, последний (капут, конец!), но наш. Веселись! Пей, радуйся! Ну-ка, песню!

Реки наши каменисты,
Реки наши каменисты,—

затягивает сидящий напротив Гедиминаса человек с торчащим кадыком.

И тут же голоса подхватывают:

Эх!
Реки наши каменисты,
Негде нам напиться.

Вот привел я молодуху,
Вот привел я молодуху,—

движется кадык. Подхватив песню, гудят сидящие поближе, а когда настает черед второй половины куплета, в горнице нет человека, который бы не взревел:

Эх!!
Вот привел я молодуху,
Поругаю — плачет.
Да не плачь ты, молодуха,
Да не плачь ты, молодуха,
Эх!!!

Все дружно бухают кулаками по столу, топают ногами по полу. Звон подскакивающей посуды сливается с оглушительным грохотом, вплавляется в песню, которая приподымает потолок, рвет на куски воздух:

Да не плачь ты, молодуха,
Я ругать не стану.
Сам сварю да сам нажарю,
Сам сварю да сам нажарю,
Эх!
Сам сварю да сам нажарю,
Сам натру картошки.
Эх!!!
Сам сварю да сам нажарю.
Сам натру картошки.

Багровые потные лица, скачущие глаза. Руки... То дружно поднимаются, то опускаются на столы («Эх!!!»). Со звоном разлетаются вилки и ножи, опрокидываются стаканы, подскакивают тарелки, рассыпаются на скатерть объедки. Не люди, деревья под натиском бури. Женщины и те — грудь колышется, как цветущее ржаное поле на ветру; ода сеятелю; одному богу известно, доживем ли до жатвы. Вот растут, сгущаются тучи. Багровые, чреватые грозой и градом, несущие смерть. Кто знает, пройдут ли стороной? Нет такого мудреца, который бы отвел карающую руку. Побудем сами мудрецами, братцы! С песней наши отцы и деды шли на свою голгофу, пускай песня поможет и нам веселей встретить гибель. Песню! Песню! Песню!

Подою курей да свинок,
Подою курей да свинок.
Эх!
Подою курей да свинок.
Запрягу корову.
Эх!!
Подою курей да свинок,
Запрягу корову.
Эх!!!
Эх!!!!
Эх!!!!!

Гедиминас судорожно вцепился в лавку. Вихрь безумия, бесовский кошмар вот-вот закрутит его и подкинет к потолку. Как порыв ветра ночного мотылька. Прямо к керосиновой лампе, которая то пригасает под напором звуковой волны, то снова оживает, но не занимается в полную силу, потому что воздух взбудоражен, как озеро, расколышенное осенними ветрами. Там, под этим крохотным солнцем, уже

мечется мотылек. Ей-богу, мотылек. Кружит вокруг раскаленного стекла. Все ближе и ближе к стеклу подлетает мотылек. Гедиминас знает: за окном зима, декабрь (неважно, что с полудня моросит), не может быть никакого мотылька, но все равно его видит. Крохотного мотылька, соблазненного убийственным светом, — нас, литовцев. Дворы, куда он заходил, выстраиваются нескончаемым похоронным шествием. Клены и каштаны у ворот, коньки на соломенных крышах, пруды с зарослями аира. Деревни и хутора. Избы, избы, избы... Большие и маленькие, осевшие до самой земли и поднимающие к небу хребты крыш — черепичных, жестяных, драночных. С подслеповатыми оконцами и широкими окнами, с громоотводами, антеннами и без ничего. Жилые избы, хлева, сенные сараи, бани... Гробы, гробы, гробы... У каждого жилища другое лицо, иная судьба, но все бредут одной дорогой к одной цели. Живые трупы, думающие, что выполнили свой долг перед землей и своими детьми, но забывшие, что когда-то здесь шумели непроходимые леса и земля радостно дрожала под копытами коней, призывно звенел рог. В бой! В бой! Лучше смерть на поле брани, чем сытая жизнь под чужим ярмом. Люди умели умирать за свою честь и свободу. А эти потомки крепостных мужиков... рабы своих наделов, для них литр снятого молока дороже человеческого достоинства... Шевельнут ли они хоть пальцем ради того, что не умещается в обиходе хозяйства? Нет! Вокруг страдают и гибнут люди, а они как ни в чем не бывало кормят своих свиней, доят коров, скулят за праздничным столом. Зверь протянет, да, протянет и к ним свои когти — пробьет этот час. Не всех сразу, по одному их передушит. Они собьются в кучу, как стадо, учуявшее волка, а когда одному из них перекусят горло, другие обрадуются: хорошо, что этого с краю, не меня... Но пробьет час, когда и тебе стоять с краю, да, пробьет

час... Ты это знаешь, но не хочешь признаться, тешишь себя лживой надеждой: этот проиграет, а тот освободит... Способен ли ты понять: что бы ни случилось (пусть даже твои надежды сбудутся!), ты будешь в проигрыше. Сбережешь имущество, жизнь, но утратишь самое дорогое для человека — честь. История спросит: что ты делал, когда рядом с тобой зверь душил человека? Когда народы стояли на краю пропасти? Слышал ли ты крики гибнущего, видел ли руки, взывающие о спасении? Да, ответишь ты, я все это видел, но... Я все это слышал, но... Хватит! Замолчи, мы знаем! Когда рядом с тобой тонул человек, ты спокойно шел по берегу. Пора было кормить скотину, пахтать масло; сосед сварил пиво, надо было успеть, чтоб все не выпили. Преступник! История тебе этого не простит. Никогда!

— Эй, замолчите, черт вас возьми!

— Слышите, господин учитель хочет говорить.

— Просвети нас, темных мужиков, господин учитель.

— Песню, песню давай! Патриотическую, господин учитель.

— Погромче, господин учитель.

— К черту политику!

Девушка, милая, замуж пора,
А то у тебя ни кола ни двора...

— Замолчите, черт вас возьми! Не видите, что ли? Господин учитель... .....

IV

.....

— Сам не понимаю, как получилось, что я встал. Решил выйти во двор? Наверное, ведь до последней секунды я не собирался говорить. Но когда встал и как бы с возвышения увидел гудящие столы, кадык у человека напротив, в груди вдруг вскипело, и я не мог совладать с собой. Понимал, что не имею права говорить это — я ведь пока еще под стать им, сбежавшимся к рождественским яслям, — мне не хватало какой-то малости, чтоб пересилить свое прежнее «я». И я сделал это, давясь стыдом и отчаянием, — знал, что никто не встанет и не скажет: «Ваша правда, господин учитель. Мы стращаем друг друга букой, которой пока нет, и притворяемся, что не видим змея, которому каждый день приносим кровавые жертвы». Все это я хотел сказать себе, в первую очередь — себе. Загнать крюк в скалу, как делают альпинисты, чтоб взобраться еще выше.

Они молчали, уткнув носы в тарелки с объедками; пожимали плечами, подталкивали друг друга; что-то бурчали, навалившись грудью на стаканы; некоторые, правда, прятали глаза, словно их поймали за руку при попытке залезть в чужой карман, но не нашлось ни одного, кто бы хоть взглядом поддержал меня. (Побойтесь бога, такое за праздничным столом! Будто не о чем по-людски потолковать. Насосался, как шваб, — вот и катись спать, нечего тут воду мутить… Вот гад! В лес, к красным, захотел.

Пляшет волк, лисица скачет,
Веселятся звери.
А зайчишка нализался
И лежит у двери…)

Лишь один человек (как мне тогда показалось) понял меня. Какой-то прохожий, пущенный

переночевать, — хозяева пригласили его отпраздновать со всеми рождество. Он мне показался знакомым, но я слишком устал за эти дни, да еще выпил, разволновался и не мог вспомнить, где встречал этого человека. Он улыбался мне от двери, где сидел, кивал, а потом, когда гости загалдели, не соглашаясь с моими словами, попросил их помолчать и выслушать его. Да это был он, крестьянин, которого две недели назад я встретил на запущенном сеновале под ясенями. Запинаясь от волнения, он поведал слово в слово то самое, что я уже слышал от него, и попросил прощения, что своими бедами омрачил всем праздник. Сказал, что и за этим столом может сидеть человек, которому ничего не стоит выдать беглеца немцам. Ну и ладно! Лучше уж пасть от пули (так и так жизни нет), чем зверем бродить по полям.

— Что ты тут плетешь, дядя! — рявкнул кто-то.

— Да он пьян.

— Ну, Габрюнас, и пускаешь же ты за стол всякую шваль!

Человек вскочил, задетый за живое. Мне показалось, что он пьян, — во всяком случае, дошел до той степени опьянения, когда не отдают отчета в своих поступках.

— Хорошо! — выкрикнул он, по-утиному ковыляя к двери. — Я уйду! А вы оставайтесь и жрите, пока немцы вам столы не подчистили. Но помните — настанет и для вас такой день, когда, потеряв избу и родных, вы будете таскаться по деревням. Вот-вот придет такой день, как тут господин учитель говорил. Придет, помяните мое слово!

Он бы говорил еще, но тут подскочил к нему дюжий парень и, схватив за шиворот, вытолкал во двор. Вслед за ним полетел полушубок, висевший в сенях. Габрюнас топтался у двери, выговаривал на правах радушного

хозяина: ешь, спи, будто жалко, но зачем такую чепуху…

Я встал с лавки и, воспользовавшись суматохой, незамеченным проскользнул на другую половину дома, где висело мое пальто.

Была полночь, темно, хоть глаз выколи, моросил мелкий дождь, на дороге — гололед. Конечно, следовало выспаться и с рассветом тронуться в путь, который теперь казался смыслом моей жизни. Но я не мог больше оставаться под крышей Габрюнасов! Нет! Будь что будет, я должен уносить отсюда ноги. Пока еще горю, как только что зажженный факел, который до этого только коптил и не давал света. Разумеется, я просто не доверял себе, боялся, что это лишь временное прояснение в мыслях, оно минует, и я еще откажусь от своего решения. Или случится что-то, какое-то препятствие остановит меня, и я лишусь возможности искупить свою вину перед людьми и самим собой. Главное — перед собой. От людей можно спрятаться, скажем, сбежать туда, где тебя никто не знает, — люди ведь снисходительны и забывчивы, — а от себя не убежишь. Так что иду я к вам не мстить, хоть вы и назвались народными мстителями, Пятрас, а очистить совесть, чтобы дальше жить человеком, Я мог пойти и к людям Туменаса, если б они не думали, что можно уничтожить лютого зверя, бормоча у себя под носом проклятия в его адрес.

Ах, Пятрас! Тебе трудно себе представить, что я пережил, уйдя с хутора Габрюнаса. Темная ночь, да еще дождливая, всегда наводила на меня тоску, но теперь я чувствовал себя уютно, как младенец на руках матери. Талый снег, смешанный с грязью, хлюпал под ногами, местами доходил до щиколоток; через каких-нибудь полчаса я промок и изгваздался до ушей, потому что поначалу, пока глаза привыкали к темноте, то и дело падал. Но ни разу не подумал зайти куда-нибудь и

дождаться рассвета. Нет, здесь мне нечего было делать. На хуторе, где два молодца, беззаботно хохоча, пилили дрова, во дворах с униженно кланяющимися журавлями, с подойниками на изгородях, в избах с занавешенными окнами, за которыми храпели (или праздновали рождество) крестьянин с женой и детьми, а в хлеву, в окружении поросят, довольная всем, хрюкала свинья. Нет, этот мир не для меня. Я не хочу быть белкой в колесе, мне надо вырваться из этого мира, освободиться от него. Скорей, не медлить ни минуты! Если и остановлюсь перевести дух (я почувствовал усталость), то только на заброшенном сеновале под ясенями. Зароюсь в солому там, где мы лежали, поглажу в мыслях льняные волосы, расцелую губы. Попрощаюсь с прошлым, обещавшим так много, а в конце концов отнявшим даже последние жалкие крохи.

Временами меня охватывало чувство, словно за мной следят, но я приписывал эти страхи больному воображению. Лишь выйдя к развилке, откуда одна дорога вела в Краштупенай, а по другой, оставив город в стороне, можно было добраться до Лауксодиса — я увидел силуэт человека. Но он двигался навстречу, а не за мной. Мне и сейчас неясно, как он меня обогнал, — наверное, когда я случайно свернул не на тот проселок или когда переобувался, присев у стены какого-то дома? Мне и в голову не пришло, что кто-то может идти за мной по пятам, а потом забежать вперед единственно для того, чтобы я своими руками сделал то, чем так гнушался, за что презирал и осуждал других.

Было часов шесть утра. Дождь перестал. Подул сухой, холодный ветер, в прояснившемся небе замигали звезды. Черная от дождя земля, хранящая в складках белую пену не растаявшего еще снега, четко выделялась на посветлевшем горизонте, на котором

еще рано было появиться заре, но звезды и луна, блуждающая где-то между поредевшими тучами, давали достаточно света, чтобы я разглядел человека на развилке дорог. Сделав несколько шагов в сторону Краштупенай, он нерешительно трусил назад и бросался на другую дорогу, потом снова возвращался на развилку и тщетно пытался прочесть в потемках надписи на указателях.

Это был все тот же крестьянин из Аукштайтии, бедняга, как я с жалостью подумал о нем несколько часов назад, мой товарищ по несчастью, которого нажравшиеся боровы Габрюнаса выкинули за порог… Вы можете смеяться над моей наивностью, доверчивостью, слепотой, над чем хотите, издеваться, как я теперь издеваюсь над собой, хотя руки все еще трясутся, но поверьте: я и правда обрадовался этому человеку. Ему не нужно было даже прикидываться — я сам мог взять его за руку и сказать: «Виноват, дружище. Прости. Я рад, что ничего с тобой не случилось за эти недели. Давай забудем первую неприятную встречу и станем друзьями. Тогда я не знал, что у нас один путь, а теперь — пошли. Можно бы прямо в домик на опушке, но боюсь, мне там не поверят, однажды они протянули мне руку, а я показал им кукиш. Не унывай, в Лауксодисе у меня есть приятель, пожалуй, даже друг. Он отведет нас с тобой по назначению, не бойся. Не будешь больше таскаться, трястись за будущее, прятаться от преследователей, терпеть унижения от своих. О, Черная Культя для нас сделает все». Но я сказал все это через десяток минут, и еще горячей: меня подкупило отчаяние этого человека.

— Приятель! — крикнул он, когда я свернул на дорогу, ведущую в Лауксодис. — Не скажете часом, как выйти на Краштупенай?

— Чего вам там? — удивился я, узнав его. — Хотите прямо к немцам угодить?

— А, это вы, господин учитель! — в его голосе я почувствовал радостное облегчение. — Если б я не слышал, чего вы наговорили этим свиньям, подумал бы, что выслеживаете меня, хотите выдать гестаповцам. А может, так оно и есть: хитер народ стал… Да чихал я на ихние хитрости! Вот пойду и сдамся властям.

Я шагнул к нему и взял за плечо:

— Вы все еще не протрезвели, дружище. Такие дела не решаются с пьяных глаз.

— А мне виднее! — отрезал человек. — Отец частенько меня поколачивал — строгий был старик, — да только по мягкому месту. Никто меня не пинал, за шиворот не таскал, а чтоб выбросить на улицу, как последнюю собаку… Не-ет, такого сраму ни я, ни мой отец, а может, ни мой дед не знали… Свои же люди, литовцы… Никакого сочувствия к человеку, попавшему в беду… Никакого единства, каждый за свою шкуру трясется… Обидели!.. — Человек икнул, видно, захлебнулся слезами, и добавил. — Я-то не обидчивый, в бутылку не лезу. Но вы вот рассудите: как долго продержишься, раз такой народ! Раньше или позже… Так какого черта вшей кормить, коли один конец? Пойду, сдамся, пускай везут в этот ихний рейх.

— Опомнись! — Я потряс его за плечи. — Раз мы третий раз встречаемся, значит, суждено до конца быть вместе. Пошли!

До заброшенного сеновала под ясенями оставалось не более четырех километров, но мы, наверное, не прошли бы это расстояние и за час: от усталости оба едва держались на ногах. А если двигались вперед, то только благодаря общей мысли: быстрей добраться до цели.

Общая мысль… Ах, Пятрас, как я был наивен, полагая, что у нас одна мысль! Не один, я больше не

один! — заходилось от радости сердце. Я могу опереться на своего брата, обиженного судьбой. Все-таки жизнь иногда бывает и справедлива... Моя душа распахнулась, кал so рота хутора перед долгожданным гостем. Я то шел рядом, то обгонял его и говорил, говорил... Этот человек должен знать, думал я, какие пытки я перенес в гестапо. Пускай поймет, что не только он потерял кров, родных, что рядом с ним человек еще более несчастный, навеки утративший женщину, которую любил, выгнанный из родной избы, где уже хозяйничают чужие. Ладно, не унывай, дружище, есть еще люди на земле, они нас приютят.

Откуда я мог знать, Пятрас, что, изливая душу, выдаю тебя и товарищей агенту гестапо! Если б я не был доверчив, если б меня не оглушили все несчастья, этого не случилось бы. Я бы задумался, почему Дангель выпустил меня на волю, когда его палачи разделывались с каждым, кто к ним попадал, и пришел бы к логическому выводу. Увы... Спасительная мысль, как часто уже бывало со мной, пришла с опозданием. Не знаю, что возбудило мои подозрения — то ли слишком поспешное его поддакивание, то ли голос, как-то изменившийся, когда я заговорил о встрече с Марюсом в домике на опушке. Как бы то ни было, я внезапно почувствовал, что держу в руке фальшивую монету, хоть и не поверил в это сразу.

— Послушайте, — сказал я, понимая, что этот вопрос следовало задать полчаса назад, а то и за столом Габрюнаса. — Вы говорили, что в родных краях у вас есть знакомые партизаны. Почему вы не пошли домой, а болтаетесь вокруг Краштупенай, рискуя угодить немцам в лапы?

Он не ждал этого вопроса. Хотя, без сомнения, держал наготове ответ и на него, просто не думал, что он прозвучит сейчас, когда работа иуды сделана и остается скомандовать: «Руки вверх!» Он начал

объяснять, и довольно складно, почему он все еще кружит по Краштупенайскому уезду, но я уже не верил его словам. От слабости (можешь назвать это страхом, волнением, испугом — как тебе угодно, Пятрас) подкосились колени, шаг стал короче. Он тоже придержал шаг, стараясь идти так, чтобы я находился рядом и чуточку спереди.

Да, хорошеньким другом я обзавелся! Поскользнувшись, я неожиданно повернулся к нему и увидел, как он отпрянул и полез правой рукой в карман.

Христоф Дангель добился-таки своего! Вот-вот полиция постучится в твою дверь, Пятрас, заберет того, из избушки, а если вы не выдержите пыток, то они докопаются и до Марюса. Гедиминас Джюгас, не кто иной, а Гедиминас Джюгас, дал им в руку ниточку, благодаря Гедиминасу Джюгасу снова будут гибнуть люди…

Ах, Пятрас, я никогда не думал, что смогу убить человека! Посмотрю исподлобья на небо, увижу россыпь звезд в прорехах туч, поглубже втяну в легкие предрассветный воздух и… Черные поля замелькали перед глазами. Верхушки деревьев, небо, колышущееся, как надуваемая ветром огромная палатка. Перекошенное лицо. Голова. Огромный тусклый пузырь, заполнивший все вокруг. Но так показалось лишь в первый миг, когда я, молниеносно повернувшись, ударил его в челюсть, чувствуя во всем теле такую невероятную силу, что сам испугался. Без сомнения, он готов был к подобной неожиданности, он все время держал руку в кармане, но не ждал, что я на него так внезапно брошусь. Он упал навзничь, ударился головой о дерево у дороги. Рука с пистолетом выскользнула из кармана, но пальцы обмякли раньше, чем он успел спустить предохранитель. Я схватил выпавшее оружие и стал колошматить им по лицу и по голове. Молотил изо всех сил, яростно, словно это был

не человек, а ржаной сноп, который надо побыстрей выбить, вытрясти зерна и тут же хватать другой. Его голова теперь казалась крохотной — гуттаперчевая головка куклы, которую кто-то в шутку пришил к телу человека. Эту иллюзию еще усиливали отклеившиеся усы и парик, слетевший от удара пистолетом и обнаживший лысый, точно полированный череп. Я колотил не человека, а мертвую голову куклы, Пятрас. Видел, как расползаются пятна, чувствовал, что пальцы стали липкими — это была кровь! Но я представлял себе осколки и трещины, которые получаются, когда разобьешь хрупкую вещь. Потом я взял его за ноги — свою первую жертву («Поздравьте меня, люди, я записался в мужчины!..»), перетащил через кювет и утопил в заброшенном мочиле. Там и руки умыл. Видишь, чистые. Пятна на обшлагах? Кровь на поле пальто? Ничего, вода всемогуща — смывает все, что человек натворит.

V

Черная Культя молчит, глядит на свои руки, бессильно лежащие на столе. За перегородкой рев — подрались младшие дети. В кухне (окно занавешено, хоть на дворе светло) воняет квашеной капустой, помоями, сохнущей одеждой, чадит свекольная коптилка на подоконнике, окрашивая все вокруг унылым багровым цветом.

— Чего не спросишь, как отец живет? — наконец говорит Культя. — Власти управляющего прислали.

Гедиминас удивленно смотрит на него. Неужели это теперь важно? А может, Путримас спал, пока он совершал самую мучительную исповедь в своей жизни?

Культя кашляет, роется в карманах — ищет кисет. Ну и дни теперь, чтоб их сквозняк: не успело

проясниться, глянь, и смеркается, ничего не успеваешь сделать за такой день.

— Послушай, Пятрас… Ты думаешь, я пришел к тебе рассказывать истории, чтоб повеселей было в скучный зимний день?

Культя слюнит самокрутку, плюется, наклонясь над столом: крошки табака на язык попали. Слишком долго отплевывается и кряхтит Черная Культя.

— История интересная, как же, — наконец говорит он. — Необыкновенная история! С каждым может такое случиться, чтоб их сквозняк.

— Не с каждым, — отмахивается Гедиминас. — Не думаю, чтоб вам с Марюсом удалось вырваться живыми из лап Дангеля.

— Ну, это дело другое…

— Почему? — Гедиминас хочет посмотреть Культе в лицо, но тот отвернулся к окну, нагнулся над плошкой, прикуривает. Черная тень закупорила кухню. Видна лохматая голова, как бы положенная в отдельности от тела на подоконник, но изредка и она исчезает, утонув в густых клубах самосада. Гедиминас закрывает глаза. Чах-чах! — опускается и поднимается пистолет. Полированная лысина, жгучий клей на пальцах… — Что случилось, Путримас? — шепчет он, боясь открыть глаза, чтоб снова не увидеть голову на подоконнике. — Ты мне не веришь? Я убил человека, да, человека убил, а ты мне не веришь…

— Верю не верю, эх! Видишь, коли человек воротился оттуда в целости, вольно всякое подумать. Немцы задарма не милуют.

— Задарма! Я вернулся оттуда с кровью на руках! Тебе этого мало? — Гедиминас вскакивает, хватает Культю за грудь, но, встретившись с ним глазами, снова опускается на стул. — Как ты мог такое про меня подумать, Пятрас? Когда твою свадьбу играли, я первую зиму в школу ходил. Ты же меня сызмальства знаешь!

Два месяца назад не побоялся свести с Марюсом, а сейчас, когда это позарез нужно, у тебя поворачивается язык сказать, что я продался гестаповцам? Если б это было так, висеть бы тебе на площади вместе с теми пятью.

— Меня одного немцам мало, они хотят партизан перебить, — отвечает Культя, спокойно попыхивая своей вонючей цигаркой. — До Марюса докопаться, вот чего они хотят, чтоб их сквозняк!

Гедиминас с минуту смотрит на лицо в облаке дыма. И это Черная Культя, на столе которого лежит каравай хлеба, испеченного из муки Джюгасов! Острая боль пронизывает грудь, руки дрожат, напрягаются, как струны, гудит голова.

— Да, я пообещал Дангелю пробраться к партизанам, выдать их, и за это волос у меня с головы не упал, — шипит он, испытывая страстное желание съездить Культе по торчащему кадыку («И тот горлопан у Габрюнасов был с кадыком»). — Что стоит такому выродку, как Гедиминас Джюгас, осквернить память Милды, наплевать на своего отца, выдать друзей. Мне, наверно, все это снится или я сошел с ума!

— Потише, Гедиминас. Успокойся, чтоб тебя сквозняк. Кто говорит, что я тебе не верю? Ты лучше вникни. Звали ведь тебя в лес, и недавно. Отказался. А тут сам рвешься. Непонятно… Эти страхи в гестапо, все твои переживания, убитый гад и прочее, кто знает… Нет, я-то знаю, понимаю, ты не высосал из пальца. Думаешь, другие поверят? Товарищи-то? И еще: одно дело прийти самому, сознательно, так сказать, а другое — прибежать, когда штаны уже горят. Враг хитер, силен на выдумки. Даже самый сильный человек может не устоять перед соблазном выжить…

— Да, понимаю, у меня нет доказательств. — Гедиминас негромко смеется. Поднял бы голову и посмотрел на Культю, но шея одеревенела, не

повернуть. — Пятна крови на рукавах не доказательство — мог в свиной измазаться. Моему рассказу тоже грош цена — такую историю могла сочинить фантазия поэта при помощи Дангеля. Если б не бросил в мочило пистолет… Но он был в крови, потом я еще раз руки мыл. Нет, пистолет тоже не доказательство: сказали бы — дали в гестапо. Спасибо тебе, Путримас. Не думал, что можно прожить столько лет с человеком в одной деревне и совсем его не знать! Нисколечко! Ведь ты не тот, что был раньше…

— Нет, Гедиминас, я такой же, только время другое, чтоб его сквозняк, особенное время. В такое время волей-неволей поворачиваешься другой стороной лица к свету. Кто хорошей, а кто и плохой. Был тут недавно случай — Марюс угодил в переплет. Думали, этот человек выдаст его немцам — серьезные причины были. Ошиблись. Правда, скрепя сердце кормил и поил, ругал его всячески, но не выгнал, хоть за это фашисты его бы не помиловали. О-о, много людей знаешь, как самого себя, а приходит час, и они все карты смешают, чтоб их сквозняк. Пойми же: не люди, время виновато. Если все верно, что ты тут наговорил… Правда, она завсегда наружу выплывет. А сам беги, прячься где можешь. Только будь человеком, не у таких, как я или тот, что живет на опушке, чтоб беды не накликать. Думаешь, по твоему следу пустили одну ищейку, затолкал ее в мочило — и ладно? Не-ет, Дангель целую свору пустил. Может, и теперь бродит какая сука вокруг нашей деревни.

Гедиминас сжимает ладонями виски. (Чах, чах, чах! — поднимается и опускается пистолет.) Веки слипаются, как вымазанные в крови пальцы. Сверлящая боль в висках. Дыры, трещины… Потрескалась, как спелый арбуз. «А ведь Культя прав. Они выпустили меня, чтоб бежать по моему следу и найти других. Я — носитель бацилл чумы. Прокаженный! Такие люди, если

у них есть хоть капля совести, идут околевать в пустыню».

— Прости меня, Путримас, не хотел тебя погубить.

Встает, упираясь руками в скрипящий стол. Надо бы к отцу зайти, переодеться в сухое. Нет, нельзя — там немец управляющий. Нет больше дома… К Кяршисам? Тоже нельзя. В пустыню, только в пустыню и околеть там. На необитаемый остров, как сказала как-то Милда. Но где он, этот укромный клочок земли на горящей планете?

— Прощай, Пятрас.

— Погоди! Куда в таком виде? Поищу одежду посуше. — Культя встает на пороге кухни.

— Гестаповскому шпику?

— Кто ты ни на есть, ищейка или заяц, — мне один черт. Если схватят, все равно кончу, как Матавушас…

Гедиминас хватает Культю за лацканы и, притянув его к себе, всматривается в глаза. Дурацкая надежда… Глаза пустые и холодные, как поле на осеннем ветру. Ничего не говорящие глаза. Серая стена, за которой притаилась неизвестность. Но нет! Какой-то едва заметный луч, микроскопический солнечный зайчик мелькнул в них, на миг залив лицо лаской, и… снова гаснет… Гаснут закаты, багровым крылом осенив удаляющуюся деревню. Не слышно больше звонкого лая, скрипа журавлей, детского гомона. Не веет больше теплым дымом родных изб. Лес встал перед ним, распахнув широченную грудь. Пропахший смолой и прелью. Зеленый брат, радушно раскрывший щедрые объятия. Владыка царства зверей и птиц, в котором хватает места и человеку.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке BooksCafe.Net

Оставить отзыв о книге

Все книги автора

notes

Примечания

1

Германия, Германия превыше всего! (нем.).

2

Из стихотворения Майрониса, крупнейшего поэта периода национально-освободительного движения в Литве (1862–1932).

3

Только для немцев (нем.).

4

Барышня, поехали с нами в Россию! Барышня, поехали с нами! (Нем.).

5

Большое спасибо, мать. Мы всласть напьемся в Москве... (Нем.).

6

Мемель — немецкое название Клайпеды.

7

Да, да. Немножко (нем.).

8

Но не все немцы понимают по-литовски (нем).

9

Да, конечно (нем.).

10

Господин начальник полиции (нем.).

11

Да, это прекрасно (нем.).

12

Националистическая студенческая организация.

13

Националистическая партия в буржуазной Литве.

14

Лит — денежная единица.

15

Юго-западная часть Литвы.

16

Основатель Союза шаулисов — военизированной профашистской организации в буржуазной Литве.

17

Есть один пленный (нем.).

18

Прочь! (Нем.).

19

Да здравствует победа! (Нем.).

20

Руки вверх! (Нем.).

21

«...Дамы и господа, пожалуйте все во двор... Редкостный спектакль... Вы не пожалеете... Идите поскорей во двор...» (нем.).

22

Стой (нем.).

23

Дорогая мать, яйца, масло... (Нем.).

24

Извините меня, господин капитан! (Нем.).

25

За что ты нас, пан Жакайтис? (Польск.).

26

Очень хорошо, господин штурмфюрер. Садитесь, пожалуйста (нем.).

27

О нет (нем.).

28

Это положительно действует на посетителей (нем.).

29

16 февраля 1918 года — день объявления Литвы «независимой» республикой.

30

Огонь! (Нем.).

31

Автоматы (нем.).

32

Проклятый дурак (нем.).

33

Вывести (нем.).

34

С нами бог (нем.).

35

О господи! Умру со смеха (нем.).

36

Да, да, это нехорошо (нем.).

37

О нет, мадам! (Нем.).

38

Действительно, грустное начало (нем.).

39

Моя маленькая девоч...(нем.).

40

Моя любовь (нем.).

41

Имейте это ввиду, фрау Милда (нем.).

42

Прочь! (нем.).

43

Входите! (нем.).

44

Направо! (нем.).

45

Да, вы тварь особого рода (нем.).

46

Увести! (нем).

47

В этой главе цитаты из «Ада» Данте в переводах М.Лозинского.

48

Хватит! (нем.).